Александр Проханов
Виртуоз
роман-триллер

Annotation

УДК 82-311.6 ББК 83.3 П 84
Проханов А.А.
П 84 Виртуоз. Роман-триллер. – М.: Алгоритм, 2009. – 512 с.
ISBN 978-5-9265-0731-4

Во властных кругах затеяна интрига с монаршим престолонаследником. Нашелся «царевич Алексей» – молодой историк из Тобольска. Войдя в предлагаемую роль, сам он становится жертвой обмана, измен и предательств, в том числе и любимой женщины… Политическая комбинация разыграна кремлевским «маэстро», в чьих услугах нуждается президент России.

Многие фигуры романа-триллера известного писателя, главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова прозрачно узнаваемы. Некоторые совпадения случайны.

УДК 82-311.6 ББК 83.3
ISBN 978-5-9265-0731-4
© Проханов А.А., 2009 © ООО «Алгоритм-Книга», 2009

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

- ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
- ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов».

Первая Книга Царств. Гл. 8, стих 5

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Его имя — Илларион Васильевич Булаев — редко употреблялось среди кремлевских чиновников, вездесущих журналистов, велечивых политологов. Заменой ему служило устойчивое прозвище — Виртуоз. Произносимое без насмешки, с оттенком восхищения, тайной завистью и потаенным страхом, оно возникало на устах каждый раз, когда он появлялся в собраниях. Его круглые кошачьи глаза с зеленоватым отливом загорались наивной радостью, начинали вдохновенно сиять. И вдруг становились хищными и жестокими, с рыжей искрой, беспощадно выбирали жертву, которая трепетала, готовясь погибнуть. Но в следующее мгновение глаза, на нее устремленные, наполнялись фиолетовой тьмой, и было невозможно понять, видят ли они перед собой мир, или отражают открывшуюся чернильную бездну. Его рот был подвижен и свеж, словно только что вкусил гранатовый сок. Брови пушистые, нежные, почти девичьи, великолепно осеняли большой белый лоб, абсолютно гладкий, без следов мучительных раздумий и душевных переживаний, словно открытия, которыми он блистал, были дарованы ему, как откровения свыше, не требовали затрат ума и духа. Его гибкое тело, облаченное в элегантный костюм, двигалось с грацией и плавностью бального танцора, будто он слышал неведомую другим музыку, и она определяла его жесты, выражение лица, внезапные появления и исчезновении. Его можно было назвать красавцем, если бы среди овального, правильного лица не чудился едва различимый второй центр, относительно которого вот-вот начнут смещаться оси симметрии, превращая писаного красавца в отвратительное исчадие. Он был Виртуоз по части изощренных политических комбинаций, к которым прибегала власть для своего балансирования и сохранения. Был закулисным кремлевским маэстро, в услугах которого нуждались все три Президента России, сменявшие друг друга в малахитовом кабинете Кремля. Многие приписывали ему тайное знание, с помощью которого он управлял громадной лавиной событий, выстраивая ее в нужном для Кремля направлении. Одни, склонные к мистике, называли его демиургом. Другие считали, что он, а не кремлевские

правители, является истинным обладателем власти. Третьи, самые экстравагантные, полагали, что такие, как Виртуоз, с помощью магических технологий, управляют не просто политикой, но и самой историей. Виртуоз знал эти о себе мнения. Иногда отшучивался. Иной же раз не опровергал, и глаза его, устремленные на собеседника, дружелюбно и наивно сиявшие, вдруг наполнялись кромешной чернильной мглой.

Он проводил свой очередной день в череде посещений и встреч, уделяя каждой толику своего драгоценного времени в той степени, в какой встреча способствовала текущей политической интриге. Посетил собрание активистов молодежной организации, которую сам же и создал, — пестовал провинциальных неотесанных увальней, присылая к ним элитных лекторов по истории и политологии, «притравливал» на пикетах и митингах, науськивая на либеральных соперников, приучал к уличным схваткам, собирая на концертах и творческих вечерах, где исполнялись «песни атаки». Именно одну из таких песен, сочиненную на его собственные стихи, он с интересом и веселой снисходительностью прослушал в концертном зале. Ансамбль старательных певцов под гитары и синтезаторы, страстно, с аффектацией, возглашал:

Мы — всадники Вселенной,
Живем мечтой нетленной.
Мы — конница стальная.
С дороги, чернь больная!
В лучах звезды железной
Мы пролетим над бездной.

В баре гостиницы «Мариотт» он выпил коктейль с руководителем одного из телевизионных каналов. Муравин, знаток виртуальных технологий, был мягкий, вальяжный бонвиван, исполненный барственного благодушия. Виртуоз попросил его вставить в сетку программ фильм о Византии, в котором проводилась параллель между древней православной империей и сегодняшним Государством Российским. Сравнивались роковые причины, погубившие цветущее царство с угрозами, нависшими над нынешней Россией.

— Это очень сильный и своевременный жест Православной церкви, — говорил Виртуоз, отталкивая трубочкой ягоду вишни в коктейле. — Я поздравил митрополита Арсения с этой политической и идеологической удачей. Сильный, изящный жест.

— На нашем канале, как вы могли заметить, церковь жестикулирует все энергичней. Мы отодвигаем другие программы, чтобы церковный жест ненароком не задел какого-нибудь назойливого юмориста.

— Нам и шуты нужны. Царям нужны и шуты, и святые.

Они дружелюбно рассмеялись, симпатизируя друг другу, сохраняя при этом дистанцию начальника и подчиненного.

В ресторане «Ваниль» он пообедал с приехавшим из Америки известным футурологом, чьи книги о будущем с юности пленяли его воображение. Футуролог был очень стар. Его лицо было скомкано интеллектуальными катастрофами минувшего века, смято разочарованиями и несбывшимися прогнозами. Он моргал слепыми, полными голубой слизи глазами, излагая Виртуозу свою гипотезу переселения Европы на территорию России в связи с потеплением климата и затоплением европейских пространств.

— В «Рэнд корпорейшн» рассматриваются несколько вариантов такого переселения. Южный Урал с древним городом Аркаим все настойчивей называют колыбелью европейской цивилизации. Заселение Среднерусской равнины и Предуралья будет объявлено возвращением европейцев к своим истокам. Именно в этом контексте я бы рекомендовал рассматривать продвижение НАТО на Восток.

— Я всегда утверждал, что Европа является далекой периферией России. — Виртуоз любовался тем, как шевелятся дряблые складки на лице футуролога, словно под желтой кожей перемещается пузырь воздуха. — Мы превратим Аркаим в этнографический заповедник, где будем содержать остатки европейских народов, показывая нашим друзьям — китайцам, чем были когда-то англосаксы, немцы, французы. Ваши прозрения продолжают меня восхищать.

Он смотрел на собеседника сияющими глазами преданного ученика, и глубокомысленный старик не умел различить в его словах иронию.

Перед тем, как вернуться в Кремль, он посетил выставку «Артманеж», на которой счел за благо просто помелькать среди

художников-модернистов, выражая тем самым свое к ним внимание. Задержался ненадолго перед забавной экспозицией, где демонстрировалась книга с листами, изготовленными из тонко нарезанного сырого мяса. На розовых сочных страницах темной тушью были начертаны стихи Иосифа Бродского. Автор изделия, черный гривастый художник тревожно и подобострастно заглядывал в глаза вельможного посетителя. Читал вслух: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать…» Виртуоз с одобрением посмотрел на художника, на собравшихся вокруг репортеров и критиков и шутливо произнес:

— Зажарьте мне первые две буквы, — чем вызвал аплодисменты.

Ближе к вечеру на своей великолепной «Ауди», мягко шуршащей, с задумчиво вздыхавшей сиреной, въехал в Троицкие ворота Кремля, розового, фиолетового, среди серых облаков и внезапных вспышек белого солнца.

Прошел по коридорам административного здания, кивая козырявшей охране. В приемной при его появлении секретарша вскинула просиявшие и слегка печальные глаза, в которых он не без удовольствия прочитал молитвенное обожание.

— Звонки? Посетители? — Он задержался, прежде чем переступить порог кабинета.

Она заглянула в листок, перечисляя имена звонивших персон. Среди них был один из директоров Газпрома, Посол Великобритании, примадонна шоу-бизнеса, лидер левой оппозиционной партии. Два телефонных аппарата цвета слоновой кости, без циферблатов, соединяли его кабинет с двумя президентами, ныне действующим и его предшественником. Оба молчали. Их молчание объяснялось протокольными встречами, в которые были погружены и тот, и другой. Молчание продлится еще некоторое время, после чего оба телефона разразятся настойчивыми и требовательными звонками.

Виртуоз вошел в кабинет, плотно затворив дверь. В кабинете было просторно, тихо, вкусно пахло темной кожей кресел, сладкими лаками столов и стульев. Полупустой книжный шкаф с декоративными, тисненными золотом томами Брокгауза и Эфрона. Портрет президента Артура Игнатовича Лампадникова, его волоокое, с нарочитой твердостью лицо. За окном, совсем близко, — купола Успенского собора. Золоченые, чуть помятые оболочки заглядывали к нему в

кабинет, и он чувствовал их золотые, обращённые к нему лица, сияющие глаза, взиравшие с таинственным ожиданием. Купола были одухотворенны, были живые, были вместилищем загадочной властной субстанции, которая незримо наполняла чашу, ограниченную розовой кремлевской стеной. Оказавшись однажды в Кремле, он попал под воздействие этой бестелесной субстанции, что накапливалась от царства к царству, от одной империи к другой. Составляла не определимую словами природу власти. Была ее нимбом, ее бесплотной атмосферой, в которой власть принимала образы царей, вождей, повелителей. Помимо всех уложений и конституций, они, питаясь этой субстанцией, обретали право повелевать гигантской, среди трех океанов, страной, сберегая ее среди катастроф и триумфов истории.

Он был погружен в эту бестелесную материю власти. Плавал в ней, словно гибкая рыба в таинственной влаге, вдыхал невидимыми жабрами, которых были лишены обычные, пребывавшие за пределами власти люди. Купола, словно гигантские золотые яблоки, взращенные на древе государства, слабо раскачивались за окном. Излучали бесшумные вспышки, которые сквозь стекло наполняли кабинет. Проникали в нервные ткани, будоражили кровяные тельца. Он жил, пораженный этой загадочной лучевой болезнью.

Испытывая волнение и нервическое, болезненно-сладкое возуждение, он приблизился к потаенной двери в углу кабинета. Отворил. За деревянной панелью обнаружилась алюминиевая конструкция лифта. Створки с легким шипеньем распались. С мягким шелестом сомкнулись, и он полетел вниз, гораздо ниже цокольного этажа, останавливаясь в глубине кремлевского холма. Его встретила охрана, холодные бдительные глаза осматривали его, словно не узнавали, и, лишь прикладывая ладонь к электронному сканеру, он получал доступ сквозь очередные автоматические двери. Шел по коридору, озаренному призрачным светом люминесцентных ламп, уже миновав основание кремлевской стены, пересекая Красную площадь, приближаясь к фундаменту Василия Блаженного, где коридор начинал ветвиться. Одна ветвь соединялась с туннелем секретной линии метро, где в сумерках дремотно покоился затемненный состав. Другое ответвление вело под Васильевский спуск к набережной, где у потаенного пирса дежурило несколько скоростных катеров. Третья ветвь, по которой он теперь направлялся, вела в подземное

вместилище. На языке посвященных оно именовалось «Стоглав». Туда, минуя последний пост, прошел Виртуоз.

Стены и своды раздвинулись, и он оказался в просторном зале, среди блеска стекла, белого кафеля, лучистого металла. Воздух был теплый, маслянистый, наполнен легчайшим тлением, словно в тропической оранжерее увядали экзотические цветы. Повсюду слышались слабые шорохи, нежные, едва уловимые трески, будто в зарослях трепетали невидимые цикады. Перелетали голубоватые сполохи, скользили прозрачные тени. На длинном каменном столе в ряд стояли стеклянные сосуды, полные золотистой жидкости, цвета слабо заваренного чая. В золотистом растворе, похожие на огромные корнеплоды, плавали головы.

В ближайшей колбе покоилась голова последнего русского царя Николая. Белесая, то ли седая, то ли выцветшая в растворе борода. Залысины. Раскрытые, с выражением ужаса глаза, остекленевшие в минуту, когда из наганов летели пули. Падали с криками дочери, жена опускалась вдоль стены, оставляя красную бахрому, цесаревич, сидевший на стуле, содрогался от попаданий, и повсюду вспыхивали дула наганов. Шея царя была перерублена, торчал рассеченный лезвием позвонок, вяло отстал лоскуток мертвой кожи. Голова была послана Юровским в Москву, на обозрение Зиновьева, в ведре со спиртом. Долгое время сберегалась в кремлевском морозильнике и была, по приказу Ленина, передана в особое хранилище.

Рядом высился подобный сосуд с золотистым раствором. В нем, похожая на чайный гриб, помещалась голова Ленина. Огромный выпуклый лоб был в голубоватых вздутиях. Виднелись черепные швы, обтянутые дряблой кожей, из которой кое-где торчали рыжеватые волоски. Уши были оттопырены, пергаментного цвета, а в белых, как у вареной рыбы глазах, была муть. Нижняя, выступавшая из бороды губа была мучительно сморщена, и виднелся впившийся в нее ржавый зуб. Шея была аккуратно срезана, но из нее тянулись бесцветные волокна, словно голова, подобно луковице в воде, пустила корешки. Эту голову по приказу Сталина не стали мумифицировать, а передали профессору Бехтереву для изучения мозговой деятельности.

Следом, в колбе, чуть завалившись на бок, плавала голова Сталина. Редкие серебристые волосы, вислые усы, коричневый склеротический нос с торчащими из ноздрей волосками. В

выпученных глазах сохранилась невыносимая боль, разорвавшая сосуды головного мозга, наполнившая глазницы коричневой сукровью. Голову перед бальзамированием тела, отрезали по приказу Берии и поместили в хранилище, ставшее к тому времени тайным пантеоном и исследовательской лабораторией.

Голова самого Берии не стояла в первом ряду, а была размещена на удаленном столе, среди других стеклянных ваз, в которых можно было разглядеть головы Бухарина, Зиновьева, сморщенную, как сухофрукт, маленькую голову Радека. Там же, вперемешку с ленинской гвардией, виднелись головы Кирова и Орджоникидзе, Ворошилова, Молотова и Кагановича. А также голова Микояна с насмешливыми черными усиками и смеющимися даже в смерти глазами.

Голова Хрущева напоминала огромную картофелину — пухлые, разных размеров, щеки, узкие щелки глаз, неряшливо оттопыренные губы. Кожа местами отслоилась от черепа, как это бывает у переваренного клубня. Лицо выражало недоумение, словно последний вздох был связан с непониманием огромной, случайно доставшейся ему жизни. Шеи почти не было, отсекавшее голову острие прошло под самым подбородком.

Голова Брежнева походила на фиолетовый, извлеченный из раковины моллюск. Обвислые маслянистые щеки, морщинистый лоб, черные губы, из которых выступал синеватый, в желтых отложениях язык. Непомерно косматые брови пучками вырастали изо лба и слегка колыхались, ноздри были напряжены и вывернуты, словно голова продолжала дышать. Вид головы был хмурый, усталый, почти раздраженный, словно до последней минуты ей продолжали докучать.

Черненко был пепельного цвета, глаза не видны под кожаными чехлами век, плоти на лице почти не осталось, и оно напоминало уложенный в целлофановый пакет костяной череп. Сохранился длинный обрубок шеи с кадыком и отвисшей кожей. Из шеи выпадал трубчатый, все еще розоватый пищевод и похожей на пластмассовую трубку трахея.

Голова Горбачева была круглая, глянцевитая, целлулоидная, с аккуратным родимым пятном, очертаниями напоминавшим остров Суматра. Глаза смотрели в разные стороны, а губы, приоткрытые, беспокойные, казалось, продолжали говорить что-то частое, непрерывное, захлебывались в незавершенных лихорадочных мыслях.

Черенок шеи был рваный, лохматый, словно голову отпиливали бензопилой. Плавала соединенная с шеей длинная жилка, напоминавшая медицинскую нить. Наверное, голову сначала отрезали, а потом пытались пришить.

Экспозицию завершала колба с головой Ельцина. Так выглядит огромные корявые наросты на березах, шершавые, грязно-белые. Они служат материалом для скульпторов-самоучек, которым вдруг померещится в дереве образ лешего, или дикого животного, или странного сказочного чудища. Голова выражала тупое неодолимое стремление, которое и в смерти грозило разрушением. Голову отделили от туловища сразу после отпевания в Храме Христа Спасителя, где гроб Ельцина, убранный белыми жирными цветами, казался кремовым тортом с орехами и марципанами.

На удаленных столах поблескивало множество стеклянных ваз, в которых угадывались головы видных государственных деятелей, окружавших преданной толпой былых вождей и генсеков. На каменном столе, возле сосуда Ельцина, стояла пустая колба с нежно-золотистым настоем, ожидая очередной, пока еще живой головы. Весь этот ряд голов внимательно и испытующе осмотрел Виртуоз, заглядывая в мертвые глаза, читая на ликах предсмертные переживания.

«Стоглав» был пантеоном, учрежденным по велению Сталина, который распорядился собирать в него головы государственных деятелей, в том числе и опальных. Чтобы накопленная в мозговых клетках субстанция власти концентрировалась в одном месте, увеличивая гравитацию могучих сил, сберегающих империю в ее грозные и трагические периоды. На поверхности, на брусчатке Красной площади, могли кататься легкомысленные конькобежцы, проходить развязные рок-фестивали, дефилировать развратные гей-парады, но таинственная подземная сила просачивалась сквозь толщу, сохраняя на священной площади ощущение чудовищного величия, неодолимого всесилия, заповедного волшебства, от которого у обывателя вдруг расширялись зрачки, немело сердце, останавливались часы.

Однако хранилище не было просто пантеоном или механическим средоточием мертвых голов. Тогда же, по распоряжению Сталина, оно было превращено в секретный исследовательский центр, сберегаемый

органами государственной безопасности не менее тщательно, чем «атомный проект». Множество ученых — биологов и нейрохирургов, энергетиков и знатоков информатики, лингвистов и специалистов по распознанию образов — трудились в лаборатории. Они исследовали мертвый мозг, считывая запечатленную в нем информацию, которая не покидала центры памяти и после смерти. Исследовалась сама субстанция власти, бесконечные комбинации и замыслы, возникавшие в сознании властителя, позволявшие управлять огромным народом. Направлять его на войны и стройки. Подавлять недовольство. Отвлекать от мучительных нужд. Переигрывать соперников в смертельно опасной игре. Добытые данные ложились в основание Теории власти — науки будущего, которая должна была сохранить за Россией ведущее место в мире.

Виртуоз явился в лабораторию, чтобы узнать результаты последних экспериментов. А также для того, чтобы поместить свой живой, переутомленный борениями мозг в поле таинственного магнетизма, витавшего в подземельях «Стоглава». Так, утративший свои природные свойства магнит вносится в поле могучего соленоида, вновь заряжаясь от неисчерпаемого источника.

Каждая склянка была накрыта колпаком, в котором содержались микроизлучатели, источники световых и ультразвуковых импульсов, крохотные электронные пушки, генераторы элементарных частиц, невидимые датчики, микроскопические экраны и сканеры. По определенной программе, заложенной в компьютере, голова подвергалась воздействию. Просвечивалась, бомбардировалась частицами, прожигалась импульсами плазмы, прокалыва– лась лазером. Тончайшие слои облучались, охватывались кодированными сигналами, возбуждались разноцветными вспышками, будоражились вторжением звука. Крохотные генераторы тревожили мертвый мозг, извлекая из него отпечатки исчезнувших переживаний, оттиски мыслей и образов, интеллектуальные модели и стратегические замыслы. Множество световодов и волноводов, кабелей и проводников тянулось от каждого, накрывавшего банку колпака в соседнее помещение.

Суперкомпьютеры денно и нощно поглощали информацию, наращивали объем искусственного мозга, приближали его электронную копию к прототипу. В «Стоглаве» создавались

электронные аналоги выдающихся политических лидеров, управлявших Россией в продолжение двадцатого века.

Виртуоз наблюдал, как в колпаках возникали едва заметные вспышки. Голова царя Николая озарялась алым, изумрудным, серебряным цветом, будто где-то, невидимый, взлетал фейерверк. Из головы Горбачева начинали истекать пузырьки — из ушей, ноздрей, приоткрытого рта. Кустистые брови Брежнева колыхались, как водоросли. Из черепа Троцкого, в том месте, где его пробил ледоруб, сочилась розоватая муть. У Сталина дергалось левое веко, будто его мучил тик.

Неслышно подошел профессор Коногонов, крупнейший нейрохирург и специалист по физиологии мозга. Любезно поздоровался:

— Давно вы не были у нас в подземном царстве, Илларион Васильевич. Видно, там у вас на земле назревают большие проблемы.

— «Мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час», — Виртуоз ненароком взглянул на пустой сосуд, предназначенный для очередной головы. Его взгляд перехватил профессор и тонко усмехнулся:

— Надеюсь, соперничество наших двух лидеров не приведет к преждевременному расчленению шейных позвонков. Хотелось бы знать заранее, чтобы позаботиться о приобретении компьютерной группы.

— Я вас предупрежу за неделю.

Оба с удовольствием осмотрели друг друга. Испытав на себе взгляд проницательных темно-синих глаз. Виртуоз подумал, что так оглядывают пациента, прежде чем снять у того купол черепа и залезть в мозг.

— Какие новые откровения в вашей работе, господин профессор? В прошлый раз мы обсуждали сталинские технологии Большого террора и использование смерти Кирова для начала массовых чисток.

— Мы сканируем срезы сталинской памяти, относящиеся к тридцать четвертому и тридцать седьмому годам. Удивительно, но все это время Сталин внимательно перечитывал Пушкина. Учил наизусть фрагменты «Медного всадника» и «Полтавы», «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Такое впечатление, что постановление пленумов, передовицы «Правды», докладные записки Ягоды и

протоколы допросов Зиновьева занимали в его сознании меньше места, чем строки: «От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля»?

— «Большой террор», дорогой профессор, способствовал перекодированию советского общества, которое порывало с «большевизмом» и Интернационалом, расставалось с идеей «мировой революции» и превращалось в национальную империю, которой предстояло выиграть войну с Германией. Пушкин был символом русской империи. Недаром завершение массовых репрессий совпало с академическим изданием Пушкина в тридцать седьмом году и всенародным чествованием русского поэта через сто лет после его убийства. Заметьте, — не смерти, а убийства. Волна репрессий странным образом ассоциировалась с возмездием, которое с опозданием в сто лет постигло убийцу Пушкина, иноземца, врага имперской России.

— Значит ли это, что концепция «Развитие», которая обнародована предшественником нынешнего президента, Виктором Викторовичем Долголетовым, потребует для своей реализации нечто подобное? — на ясном лице профессора Коногонова играли усмешка. — И нашу интеллигенцию опять ожидают Соловки?

— Только экскурсионные маршруты, почти без принуждения, — в тон, с легкой усмешкой, ответил Виртуоз. — Похоже, новый Президент отказался от идеи «Развития». Есть масса политических технологий, способных организовать общество. Однако политика отличается от истории тем, что последняя творится не технологиями, а промыслом. Вопрос, кто из былых политиков обладал мистической прозорливостью? Кто из них, действуя в земном измерении, мог создавать не только гениальные технологии и виртуозные интриги, но еще имел выход ввысь, в небо? Кто мог соединиться с небесным царством, откуда получал великие указания? Реальная власть — это то, что соединяется с небом. Из неба власть получает свое оправдание и свой таинственный дар творить историю.

— Из представленных в нашем собрании экземпляров только мозг царя Николая и мозг Сталина были соединены, как вы говорите, с небом. Мы обнаружили у того и другого следы мозговой деятельности, совершаемой под мощнейшим воздействием извне. Это воздействие

мы приписываем существованию надличностного разума, который на языке теологов вполне может именоваться Богом.

— Что ж, продолжайте исследования. Когда вы обнаружите туннель в небеса, будем строить лифт.

Они раскланялись, и профессор, крепкий и стройный, с васильковыми глазами рязанского пастуха, удалился, растаяв среди стеклянного блеска, шелестящих вспышек, моментального скольжения лучей.

Виртуоз оставался среди плавающих голов, которые видели мертвые сны. Таинственный магнетизм власти волновал его, освежал утомленный дух, бодрил интеллект, поддерживая сверхъестественную способность творить немыслимые политические комбинации, снискавшие ему репутацию мага. Однако он знал про себя, что его способности простираются только в земной реальности. Он не в состоянии осуществить «вертикальный взлет». Туннель в небеса остается для него закрытым. Сообщения с небес не достигают его, и он вынужден довольствоваться их земным отражением, их мирскими тенями, не получая откровения свыше.

Пустая склянка, замыкавшая ряд отсеченных голов, тревожила его своей пустотой, обещавшей скорое заполнение. Он мысленно помещал в сосуд одну из двух, стоящих на очереди голов, не умея угадать, какая из них первая пройдет процедуру усекновения и займет свое место в сосуде. Это мучило его, создавало ощущение неопределенности, которое сказывалось на его отношениях с двумя властителями, поделившими между собой государственную власть в России. Он, изобретатель властной формулы — «два в одном» или «один в двух», чувствовал шаткость конструкции, ее непродолжительность, нарастающую деформацию, не умея предугадать, кто уцелеет в предстоящем крушении. Кто из двух проиграет. Кому придется сложить голову на гильотину истории, уступая счастливцу страну.

Он полез в карман и извлек крохотный ларец, изготовленный из двух розовых раковин с золотыми скрепками. В перламутровой полости хранилась россыпь миниатюрных ампул, напоминавших муравьиные яйца. В тончайших желатиновых оболочках был заключен экстракт волшебных грибов, которыми пользуются бразильские колдуны для спиритуальных практик. Сидя на берегу Амазонки, окруженные непроходимыми джунглями, они вкушают грибные

споры, превращаясь из худосочных, трахомных стариков в царей Вселенной, в повелителей мира. Облетают галактики, путешествуют в будущее, посещают исчезнувшие в древности царства. Эти ампулы Виртуоз получал от друга, когда-то менеджера банка «Менатеп», который совершил однажды развлекательный туристический тур в Бразилию, да так и не вернулся в банковское сообщество из галактических странствий, в которые отправляли его обитатели тропической хижины.

Стоя перед стеклянным сосудом. Виртуоз намочил слюной мизинец. Окунул в раковину. Прилепил к пальцу одну из ампул. Положил на язык. Вкуса не почувствовал. Ждал, когда растворится желатиновый хитин и споры галлюциногенных грибов соединятся с кровью.

Вдруг ощутил, как во лбу кость стала таять и возникло темное прободение. Всем своим составом — плотью, духом и волей — он устремился в скважину, вращаясь, словно снаряд в нарезном стволе. Ввинчивался в узкую щель, испытывая ужас сжатия. Пролетев сквозь игольное ушко, сточив о кромки все свои телесные формы, бестелесный, бесформенный, он вырвался в необъятный простор. Это моментальное расширение было как счастье. Он стал всем, пребывал во всем, присутствовал везде.

Видел с высоты дельту Оби, уходящей за горизонт, и одновременно созерцал крохотные травинки в африканской саванне с прозрачными эфемерными тварями. Разгуливал под коринфскими капителями среди загорелых, облаченных в туники афинян и любовался серебристыми шарами и мачтами фантастических городов на дне лунных кратеров. Раздвигал прибрежные кимыши, и они говорили с ним человечьими голосами, каждый лист пел, звучал скрипкой, звенел фортепьяно, и все сливалось в божественный хор. Он видел перед собой геометрические фигуры. Прозрачный куб был тождественен вкусу меда, светящаяся сфера вызывала прилив сыновней нежности, а матовый цилиндр был наполнен благоуханием нагретой солнцем смолы. Его чувства создавали прихотливые ансамбли. Запахи имели цвет. Звуки имели размеры и формы. Скорость была неподвижной. Кривизна вызывала наслаждение. Вкус был выражением математических величин. Осязание превращалось в стихотворные рифмы. Он чувствовал свое всеведение. Его мозг

вместил содержание всех написанных человечеством книг. Он расшифровал все тайные знания, доказал недоказуемые теоремы, открыл неведомые законы природы. Мир, в котором он пребывал, непрерывно менялся, порождал другие миры, множил бессчетные мироздания, которые вдруг превращались в огненную, предельно сжатую точку. И этой точкой был он сам. Содержал в себе все. Был безымянным, лишенным определений и свойств. Был стиснутый безразмерный вихрь, который начинал распрямляться, развертывался в спираль, порождал гигантские взрывы, плазменные протуберанцы галактик, сонмы светил и звезд, среди которых начинало звучать божественное Слово, — на его растворенных губах.

Это всеохватное счастье сменилось сосредоточенным обдумыванием мысли, от которой он оттолкнулся, пускаясь в космическое странствие. Теперь он к ней снова вернулся, обладая волшебными свойствами разума. Мысль была о пустом стеклянном сосуде, поджидавшем очередную голову. И голова не замедлила явиться. Оказалась в стеклянной вазе, выдавив излишек раствора, который растекся по мраморному столу.

Голова принадлежала тому, с кем связывала Виртуоза опасная и романтическая судьба, сочетавшая обеих нерасторжимой близостью и особенной дружбой. Если таковая может сложиться между Президентом государства и его приближенным советником, политическим гримером, творцом неповторимых комбинаций, укреплявших государственную власть. Это была голова Виктора Викторовича Долголетова, именуемого в кремлевских кругах Ромулом, — плод извечной аппаратной иронии. Восемь лет Ромул занимал президентский пост, окруженный вниманием преданного советника. Но затем пренебрег настояниями свиты, требованиями многочисленных кланов, в первую очередь самого Виртуоза, оставил пост, передав власть ближайшему сподвижнику Рему. Так остроумная кремлевская челядь нарекла новоявленного президента Артура Игнатьевича Лампадникова, который правил страной уже третий год.

Теперь голова Ромула смотрела сквозь стекло живыми бледно-голубыми глазами, моргала белесыми ресницами, обиженно складывала трубочкой небольшой розовый рот. Лицо с заостренным хоботком носа, близко поставленными глазами, редким пушком на аккуратной небольшой голове выражало жалобное раздражение,

детский каприз, хорошо знакомые Виртуозу. Выражение опасное и мнимое, скрывавшее потаенную жестокость и мстительность. Их жертвами пало множество наивных и недальновидных соперников.

— Мне кажется, Илларион, что ты меня предаешь, — эти слова вырвались не из шевелящихся губ Ромула, а были эквивалентом радужной, спектральной кромки, окружавшей голову. Кромка, как разноцветная пленка нефти, струилась, и в переливах фиолетового, золотистого, алого рождались слова. — Мне кажется, что в последнее время ты от меня что-то утаиваешь. Твои встречи с Ремом участились. Их содержание мне не известно. Но я чувствую, как мое влияние падает.

— Участились не мои встречи с Ремом, а твои приступы мнительности, дорогой Виктор. Поезжай лучше в Альпы и покатайся на лыжах. Или прими приглашение князя Монако и поплавай неделю на яхте в обществе топ-моделей. — Эти фразы дались Виртуозу не шевелением языка и губ, не пульсацией альвеолы. Легкий сияющий эллипс излетел из его лба, погрузился в глазные яблоки Ромула, оставив в сосуде слабое меркнущее свечение.

— У меня есть ощущение, что ты меня покидаешь. Твои предпочтения Рему очевидны журналистам, которые все чаще позволяют себе неуважительные по отношению ко мне выходки. Этот Натанзон из кремлевского пула, который был готов целовать подхвостье моей очаровательной сучке Нинель, теперь нагло спрашивает, каково мне скучать в роли Духовного Лидера. Не намерен ли я в скором времени уйти в монастырь, чтобы там молиться за реального Президента России. Не ты ли придумываешь для него подобные каверзные вопросы, Илларион? — Эта фраза была ифечена не словами, а круговращением головы в сосуде, которая повернулась вокруг своей оси, открыв Виртуозу аккуратно подстриженный затылок. Голова выглядела, как голографическая картинка. Ее можно было наблюдать одновременно со всех сторон. От вращения в сосуде образовался вихрь, и еще некоторая часть раствора пролилась на каменный стол.

— Ты требуешь каких-то особых доказательств моей преданности? — Виртуоза пугала прозорливость Ромула, который угадал тайный ход его мыслей. Подозрения недавнего Президента были справедливы. — Ты хочешь, чтобы я снова, как во время нашего

путешествия в Тихвин, поклялся на чудотворной иконе? — этот вопрос не был обличен в слова. Большая синяя стрекоза с выпуклыми глазами прошелестела над сосудом прозрачными крыльями, и Ромул, из банки проследив ее полет, недоверчиво мотнул головой.

Виртуоз не желал быть разгаданным. Укоры Ромула звучали справедливо, но истина их отношений не должна была быть обнаружена. Обнаружение истины было преждевременно. Истину следовало держать в самой глубине сознания, окружая ее мнимыми образами, ложными смыслами, фальшивыми утверждениями, чтобы даже придворные экстрасенсы не смогли ее выудить из тайных лабиринтов разума. Одухотворенный воздействием галлюциногенных грибов, Виртуоз принялся убеждать недавнего Президента и друга.

— И это недоверие, Виктор, ты высказываешь мне, который способствовал твоему возвышению? Разве не я, после чудовищных взрывов московских домов, так организовал пропаганду, что обезумевший народ считал дурного кремлевского идола виновным в катастрофе? Я показывал рухнувшие дома, трупы, рыданья. Показывал тупого бессмысленного идола. И снова трупы, рыданья, венки на могилах. Вооруженных до зубов горцев, бороду Басаева, железные зубы Радуева. После этих показов рейтинг Ельцина упал до нуля. Разве не я создавал твой образ победителя в Чеченской войне? Твое волевое лицо, и удары танков по Грозному. Твой спокойный мужественный взгляд, и штурмовые группы, атакующие дворец Масхадова. Это я придумал классный сюжет с твоим прилетом в Грозный на истребителе. Ты отлично смотрелся в кабине боевой машины. Выглядел, ангел небесный, как ниспосланный с неба спаситель нации, как лидер нового типа, долгожданный, волевой, лучезарный. Твой рейтинг подскочил до звезд, и тебя встретили, как встречают Мессию. Это я изобрел бесподобную мизансцену, когда под звон курантов, грузный, похожий на мешок идол покидает свой кабинет, уступая его тебе, новому герою, защитнику государства Российского. И подобное ты можешь забыть?..

Действие бразильских наркотиков было таково, что чувства Виртуоза преобразились в сияющую звезду, лучи которой разлетелись по всей Вселенной. Он присутствовал сразу во множестве миров, перелетал из одного времени в другое, и эти перелеты были подобны восхитительным вспышкам. Сосуд с головой находился теперь не в

кремлевском подземелье, не на каменном столе, а парил в стратосфере, среди перистых, окрашенных зарей облаков, и их малиновый цвет делал раствор похожим на молодое вино.

— Это я ухищрениями и интригами освободил тебя от данных Семье обязательств. Я отделил тебя от хищной и беспощадной Семейки с помощью утонченной операции, как разделяют сиамских близнецов. Я отклеивал тебя от Ельцина, как отклеивают от грубой обертки драгоценную марку, не повредив ни единого зубчика. По моему совету ты вошел в конфликт с наглецом Березовским, выдавил его из России, а я превратил его в демона, так что теперь простолюдин считает его причиной любого злодеяния, будь то теракт в Москве или рождение двухголовой кошки. По моему наущению ты посадил Гусинского, на один только день, в Бутырку, дал ему понюхать «парашу», после чего он бросил свой бизнес и умчался в Израиль. Я тонко спровоцировал Ходорковского, внушив ему президентские амбиции, и вслед за этим ободранный, как липка, легковерный олигарх оказался на урановых рудниках. Я отправил Чубайса в почетную ссылку отключать электричество в городах и поселках, превратив его из опасного политика в злополучного электромонтера. По моему сценарию, по моим художественным эскизам были устроены отпевание и похороны Ельцина, когда под звон колоколов, под рев кафедрального дьякона погребали не просто гору мертвой материи, но хоронили все данные тобой обязательства, все уговоры, которые ты подписал своему политическому прародителю. Я видел твое лицо. Ты плакал, но не от горя, а от радости, празднуя освобождение …

Голова Ромула, помещенная в сосуд, парила над маслянистыми нильскими водами, по которым скользила ладья. Гребцы осторожно проводили ладью в зарослях лотоса. Жрец серпом срезал белые дивные цветы и складывал на днище. Белоснежный ворох благоухал, был усыпан брызгами. Над огромной рекой медленно, вытянув шеи, летели розовые фламинго.

— Твои первые президентские годы были отмечены кошмарами, «метами смерти», знамениями «черных времен». Такие знамения стоили Борису Годунову царства и жизни и явились знаками «смутного времени». Я переборол эти метафизические послания о близком конце России и о твоем падении. Апокалипсическую катастрофу лодки «Курск», когда в ожидании конца света онемела вся Россия, я сумел

переосмыслить, как светоносный подвиг защитников Родины, поставил их в ряд с великими русскими мучениками и подвижниками, и народ в горе, рыдая, сплотился вокруг тебя. Во время «Норд-оста», когда террористы расстреливали заложников, а спецназ пускал боевой отравляющий газ, от которого умирали дети и женщины, когда обезумевшие люди вышли на Красную площадь, готовые штурмовать Кремль, я показал тебя, бесстрастного, твердого, знающего, что делать. Ты выглядел, как хирург, проводящий кровавую операцию, отсекающий злокачественный орган. Глядя на тебя, люди не чувствовали себя беззащитными, знали — у них есть лидер, заступник, вождь. Во время «Беслана» я создал метафору библейского избиения младенцев царем Иродом, заставил людей поверить, что эта чудовищная жертва связана со спасением святого младенца,— нашей России, омытой кровью. В центре этой жертвы и этого спасения стоял ты, мистический герой. И народ дождался искупления. Я показывал тебя на фоне новых атомных лодок «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий». Я показывал народу уничтоженных тобой бандитов Гелаева, Басаева и Масхадова. Ты выглядел как победоносный Спаситель, о котором мечтал народ …

Виртуоз общался не с реальным Виктором Викторовичем Долголетовым, а с духом, который был вызван с помощью магических практик и наркотических дурманов и заключен в стеклянную колбу. Сознание, распустившееся, словно гигантский цветок мальвы, обнимало лепестками Вселенную, и Виртуоз переносился по ней со скоростью светового луча. Ощущение всеведения сопровождалось волной галлюцинаций, доставлявших неземное наслаждение. Он испытывал сладость, погружаясь в бестелесную женственность. Благоговел перед шедеврами искусства, неизвестными на Земле. Был исполнен обожания ко всему сущему, от живой, растущей в болоте травинки до летящей среди галактик электромагнитной волны. Но при этом не прерывал своего общения с говорящей головой, пытаясь убедить ее в том, в чем сам уже не был уверен.

Теперь они находились на предзимней опушке, у разъезда Дубосеково, в окопе «панфиловцев». Лес был в последней, ржаво-красной листве. Под тучей, сквозь мелкий дождь, летела одинокая тоскливая сойка. Артиллеристы в сырых шинелях курили на заляпанном грязью лафете, и сталь бронебойной пушки тускло

светилась в дожде. Виртуоз смотрел на стеклянный сосуд, стоящий на мокром бруствере, и рядом, в липкую глину была воткнута саперная лопатка.

— Ты получил в наследство страну, в которой не было государства. Была отвратительная жижа, где копошились черви. Так выглядит бессмысленное тело, по которому без устали молотили бейсбольными битами, — переломанные кости, разорванные органы, сплошные гематомы. Мы вместе создавали государство. По моему совету ты насадил повсюду спецпредставителей с полномочиями диктаторов, и они накинули удавку на сепаратистов в Якутии и Татарстане, на Урале и на Кавказе. Мы подавили вольницу наглых губернаторов, и они теперь на коленях ползут в Кремль, чтобы получить из твоих рук «ярлык на правление». Мы набросили целлофановый мешок на беспардонную «четвертую власть», находившуюся в руках олигархов. Я создал подчиненную тебе «партию власти». Набирал в нее комья глины, вдыхал в них смысл, превращал в политиков, с их помощью навел порядок в Думе. Я предложил соединить золотого двуглавого орла с красным знаменем Победы и советским, сталинским гимном, для чего сам ездил к вельможному старику Михалкову, водил его склеротической рукой, подыскивая слова для нового текста. И, наконец, я создал идеологию «суверенной державы», вооружив ею толпы легкомысленных молодых активистов и узколобых чиновников. И после этого ты смеешь меня упрекать?..

Они помещались в мире, состоящем из одухотворенных цифр. Цифры возникали в объемной матрице, воплощавшей в себе мироздание. Каждая цифра имела цвет, запах и форму, была осязаема, издавала звук. Цифра 8 была золотой и сияющей. Цифра 2 была шелковистой на ощупь. Цифра 9 издавала густой басистый рокот. Цифра б была приторно сладкой. Цифра 4 представляла квадрат. Цифры складывались в числа, и каждое обозначало животное или камень, химический элемент или черту характера. Число 72 означало бесконечную доброту. Число 113 являло собой вирус СПИДа. Число 296401 соответствовало марганцу. Число 666 имело своим подобием косматую, с окровавленными лапками сороконожку, извергавшую пламенную сперму Иногда цифровая комбинация складывалась в число, порождавшее ослепительную вспышку, в которой пропадали

все имена и свойства и звучало бесконечно длящееся слово из гласных звуков, означавшее «Свет».

— Мы строили государство, как строят дом на оседающем склоне, как ставят дворец на сходящей лавине, как развертывают полярную станцию на тающей льдине. Народ ненавидел власть. Ненавидел Кремль. Ненавидел Газпром и Рублевку. Мечтал о «калашникове» и баррикадах. Требовал Сталина и революции. Я изготовил «опиум для народа». Все телевидение было превращено в чашу с наркотиком, которую я подносил ежедневно и ежечасно к жадным ртам и вливал в них галлюциногенный отвар. Люди начинали хохотать, когда выпивали «коктейль Петросяна», гляди на бесчисленных пародистов. На переодетых в бабье платье мужиков и выморочных шутников. Пошлых куплетистов и одесских юмористов. Хохот длился месяцами, годами, десятилетиями. Страна хохотала до колик, до изнеможения, натощак, среди гниющих квартир, над трупиком ребенка, рядом с повесившимся стариком. Юмористы были моими солдатами, моим спецназом, отвлекавшим озверелый народ от хрупкого, едва родившегося государства. Я запустил бессчетное количество развлекательных программ, где полуголые звезды демонстрировали свое мясо, извергая потоки пошлости и глупости. Я поставил на поток дешевые детективные сериалы с бездарями, играющими «Ментов». Мыльные оперы с разводами, изменами и постельными сценами. Ток-шоу, где мать живет с сыном, а бабушка варит суп из внука. Мозги людей превратились в стекловату. Я изобрел Ксюшу Собчак, которая стала кумиром молодежи, вытеснив из молодых голов образы героев, космонавтов, гениев науки и техники. «Дом-2» стал огромной звероферм
ой, на которой потенциальные революционеры и мечтатели превращались в животных. Ксюша показывала свой круп и раздвинутые ноги, и несостоявшиеся «лимоновцы» и «скинхеды» хрюкали в сексуальном восторге, расходовали в оргазмах протестную энергию, покидая звероферму импотентами. А чего стоит старая Примадонна с обнаженными склеротичными ляжками, вокруг которой вьется молодой гомосексуалист, неутомимый в дегенеративных шутках. Даже староверы не могли оторваться от этого зрелища. Все это сделал я, заслоняя тебя от народного бунта, в котором Россия могла погибнуть навеки…

Их унесло из мира материальных форм и поместило в царство энергий, где одна энергия преображалась в другую. Им навстречу мчалась вспышка света, пучок аметистовых лучей. Мирозданье превращалось в трепетную волну, рождавшую в душе ликованье, ощущение вселенской победы. Свет претворялся в тепло, в раскаленную плазму, где атомы распадались на первородные частицы, и бушевала бестелесная, бесцветная буря, из которой доносилась молитвенная слава Творцу. Сила всемирного тяготения наполняла Вселенную гулом, в котором летели планеты и луны, скопления звезд и галактики, слипались в гигантский серебряный ком, сплющивались в фольгу, превращались в безразмерную точку, где исчезала материя и оставалось одно только Слово, — Бог.

Вселенная была непомерным магнитом с полюсами, разнесенными в бесконечность, между полюсами были натянуты силовые линии, словно струны громадной арфы. Звуки арфы вызывали любовь и боль, и было неясно, где нежность и обожание превращаются в невыносимое страдание. Где ощущение вселенской смерти сменяется предвкушением рождения. Где сотворению Мира сопутствует его неизбежный Конец.

Ромул внимал уверениям Виртуоза, напрягая на лбу недоверчивую морщинку. Его небольшие глаза, тревожно-выпуклые, смотрели в удаленную точку, в которой сходились линии носа и подбородка. Эта заостренность была ему свойственна в моменты тайной мнительности и недоверия, которые сопутствовали ему со времен работы в разведке. Виртуоз чувствовал, как проникает в него это острие, стремился избежать разоблачения. Носился в мироздании, держа перед собой вазу с головой, как держат олимпийский огонь.

— Ты подвергался губительным смерчам, которые направляли на тебя враги в России и за ее пределами. Они выбрали твой день рождения для ритуального убийства журналистки Политковской. В день рождения человек беззащитен перед ударами магических копий, его пуповина открыта для вторжения сокрушительных наконечников. Черная энергия убийства ворвалась в тебя, как кумулятивный заряд, и я видел, как ты обугливался в адском огне. Я заказал во всех епархиях молитвы о твоем спасении, и в трехстах монастырях молились о тебе денно и нощно, окружив защитным покровом, отбивая адскую атаку. Вскоре последовало отравление легковесного болтуна Литвиненко,

которому в чай бросили несколько молекул полония. Тебя обвинили в этом отравлении. Магический прием заключался в том, что маги — отравители мысленно помещали на место Литвиненко тебя, в твою кровь вводили молекулы полония, тебя на расстоянии поражали лучевой болезнью. Я разгадал их замысел и выписал из Мордовии и Удмуртии сорок языческих колдунов, самых одаренных шаманов. Они устраивали вокруг твоей резиденции ритуальные танцы с бубнами и берестяными дудками, отбивая атаки английских магов. Эта была схватка, от которой в ночном парке повалило несколько деревьев и перевернуло джип охраны. Нападение было отбито, хотя два шамана погибли от разрыва сердца, и им посмертно, закрытым указом, присвоили звания Героев России. Американцы организовали кампанию, обвиняя тебя в коррупции, и сколачивании баснословного состояния, в создании полицейской тоталитарной России. Я написал тебе знаменитую «мюнхенскую речь», и американцы умолкли, испугавшись новой «холодной войны». Они окружили Россию кольцом «оранжевых революций», надеясь запустить и у нас «оранжевого петуха», но я создал военизированную молодежную организацию, и марши «Наших» подавили робкие группки «оранжевых» смутьянов. И после всего этого, Виктор, ты видишь во мне предателя?..

Они покинули поверхность огромной ледяной планеты в созвездии Лебедя. Поверхность напоминала снежное серебристое поле, по которому перетекали поземки. В туманном небе сияло сразу несколько красных лун, желтых полумесяцев, розовых искристых шаров. Каждый был окружен радужной оболочкой, мерцающим сиянием, волшебным нимбом, как на картинах Ван Гога. Художник употреблял гашиш, переносивший его в иные миры, и, по-видимому, он тоже побывал на этой удаленной планете. Виртуоз подхватил драгоценный сосуд, вернулся на Землю и очутился внутри разраставшейся раковой опухоли.

Здоровые клетки, полные алой крови, глянцевитые, свежие, выстилали живую ткань. Так выглядит разрезанная клубника, напоенная душистым соком. Но красные зерна клеток вдруг начинали темнеть и морщиться. Становились фиолетово-черными, увеличивались и одновременно покрывались складками, образуя пухлый, с отростками и рогами нарост. Он напоминал фиолетовый

гриб, отекавший слизью, отливавший мучительной радужной пленкой. На опухоль изливалась здоровая кровь. Красные кровяные тельца мчались по кровотокам яростные, как пехотинцы, штурмующие враждебную крепость. Окружали опухоль, стремясь ее сокрушить. Погибали, словно солдаты на приступе. Их опустошенные, бледные оболочки уносились по кровеносным сосудам, как мертвые тела уносятся буйной рекой. Другие попадали в плен, затягивались в глубь опухоли. Чернели, морщились, превращались в темных уродцев, становились частью растущего гриба. Из фиолетового нароста вытягивались мутно-белые, как волокна плесени, метастазы. На них возникали темные завязи новых опухолей, ненасытно поедали живую ткань.

— Тебе угрожали не только объединившиеся с олигархами либералы. Твоими опасными врагами оставались объединенные «красные» и «белые» патриоты. Я расколол их союз. «Белых» патриотов, русских националистов я поманил в партию «Родина», дал им места в парламенте, обещал ее превратить в крупнейшую партию, лидер которой со временем станет президентом. «Родина» собрала в себя, как ловушка, всех самых видных и талантливых русских лидеров, а потом я ее захлопнул и всех пойманных вынес за пределы политики. «Родина» перестала существовать. Ее талантливый вождь сначала стал маргиналом, а потом, с твоего всемилостивейшего благоволения, его отправили в Брюссель на престижную и ничего не значащую синекуру. Коммунисты остались в одиночестве, и я держу их в постоянном страхе, что вот-вот вынесут тело Ленина из мавзолея…

Теперь они находились в голубом цветке цикория. Среди лепестков сидели две бабочки-капустницы. Самец, похожий на белый шелковый треугольник, оплодотворял самку, чьи растворенные, в желтоватой пыльце крылья чуть заметно вздрагивали. Находившийся сверху самец перебирал лапками, ласкал самку. Покрывал ее поцелуями, — его хоботок то сворачивался в спираль, то вытягивался в чуткую, нежную нить. Изогнул свое пухлое тельце, прилепился к самке, впрыскивал в нее тончайшие струйки семени. Обе бабочки вздрагивали, будто их сотрясали вспышки наслаждения. Виртуоз ощущал эти сладкие импульсы, был самцом бабочки, испытывал несказанную нежность, божественную любовь к шелковистым крыльям подруги, к зеленоватому блеску ее стеклянных завороженных

глаз, к нежной мякоти, в которой совершалось зачатие. Он чувствовал, что на него направлена из неба горячая сила, даровавшая ему жизнь, сотворившая голубой цветок, вселившая в него несказанную сладость.

— А теперь самое главное, Виктор, — Виртуоз сосредоточил на выпуклом лбу Ромула свой убеждающий взгляд, — когда стали завершаться твои триумфальные восемь лет, когда стали истекать два твоих президентских срока, я умолял тебя остаться в Кремле третий раз. Легкий грим Конституции, изящное толкование юридических процедур, и ты сохраняешь свой скипетр. Я уговаривал тебя сверх всякой меры. Объяснял, почему мы должны отвергнуть наглые возражения американцев. Почему нельзя терять золотой слиток народного обожания. Доказывал, что с новым Президентом всколыхнется либеральная и «оранжевая» муть. Начнется схватка алчных силовиков и тучных «сырьевых» олигархов. Запылает Кавказ. Осмелеют сепаратисты Поволжья. Я создал «партию третьего срока», которая истошно требовала твоего третьего переизбрания. Я оказывал на тебя недопустимое давление — организовывал статьи, где тебя пугали Гаагским трибуналом, если ты покинешь Кремль, разоблачением твоей тайной коммерческой деятельности, сделавшей тебя самым богатым человеком планеты. Говорил об угрозе твоего убийства, как только ты потеряешь иммунитет Президента. Тебя приговорили к смерти сторонники Багаева. Приговорили изгнанные тобой олигархи. Ты приговорен сатанистами, которые не могут тебе простить усиление православной церкви. Ты оказался глух ко всему. До сих пор не могу понять зловещих причин, побудивших тебя отказаться от «третьего срока». Подозреваю, что указание последовало из тайных кругов, куда тебя ввели те же магистры, что сопутствовали Горбачеву и Ельцину и дали согласие на твое президентство. Что я должен был делать? Смириться и как всегда тебе помогать. Мы выбрали среди твоего окружения того, кому бы ты мог передать свой скипетр, сохраняя неформальную власть. Человека, чья психика, интеллект и воля наилучшим образом допускали твой контроль и влияние. Мы произвели множество тестов и проб. Составляли психологические портреты десятков твоих приверженцев. Каждого погружали в глубокий гипноз, чтобы узнать истинное к тебе отношение. Сканировали его мозг по методике профессора Коногонова. Остановились на Артуре Игнатовиче Лампадникове, на

Реме, как его называют язвительные аппаратчики. На друге твоего детства. Предстояло создать технологию передачи власти, чтобы новый Президент оставался под твоим полным контролем и через четыре года вновь передал тебе заветный скипетр…

Они путешествовали в «Интернете», перелетая с сайта на сайт. Кружили в лабиринтах, вращаясь в виртуальных мирах. Были импульсом, электромагнитной волной, бестелесной тенью. Посетили секретный сайт Пентагона, где хранились данные о потерях в Ираке и размещались снимки растерзанных фугасами и пробитых пулями тел. Нырнули в мир порнографии, где жирная, в складках и разбухших венах, старуха раздвинула промежности и хохочущий негр заталкивал ей в матку кулак. Вынырнули в Псковской епархии, где в сельце Будник служили молебен во славу крестителя Руси святого князя Владимира. Ворвались в «Живой журнал», где Марат Гельман источал разноцветные пузырьки своих малых мыслей, а кто-то ему возражал, извергая каскады русского мата. Ненадолго стали частью компьютерной игры, где из лазерных пушек уничтожали злобных пришельцев. Увидели комиксы голландского гомосексуалиста, который глумился над Магометом. Метались среди бесконечных фантазий, информационных сражений, восхитительных образов и мерзких прельщений. Вырвались из эфемерной ноосферы и очутились в глухой вологодской деревне, где на деревянной кровати умирала одинокая старуха. У ее изголовья горела свеча.

— Я совершил невозможное. Создал шедевр, о котором станут писать в учебниках политологии. Внес в историю России сюжет, еще небывалый. Создал конструкцию власти, которая напоминает двоецарствие патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, но гораздо более прочную и надежную. Я придумал, как передать царственный скипетр в руки Артура Лампадникова, чтобы этой рукой управлял ты, Виктор Долголетов. Нашел, как передоверить Рему «ядерный чемоданчик», но чтобы пульт с кнопками оставить в твоих руках. Я превратил тебя из политического руководителя и удачливого менеджера в русского Духовного Лидера, чья власть сильнее любых юридических норм и банальных статей Конституции. Ты уступил преемнику власть политическую, но обрел над Россией власть духовную, которая для русского человека важнее всех конституций. Твои слова о божественном предназначении России весомее, чем

проповедь Святейшего Патриарха. Твои размышления о мистике русской истории, о Русском Чуде, о неизбежном русском Воскрешении ставят тебя вровень с великим Федоровым и его «Философией общего дела». Твой призыв к русскому примирению, к преодолению зла созвучен с учениями Толстова и Достоевского. Уступая Лампадникову гражданские атрибуты власти, ты возвышаешься над ним, как помазанник, носитель власти божественной. Это ли не великое мое достижение? Я произвел изысканную операцию по пересадке твоих политических органов в политическое тело Рема. У него — твое сердце, твоя печень, твой мозг, и от тебя зависит, чтобы не произошло их отторжение. Он проживет с чужими органами до конца своего президентского срока, а потом вернет их истинному хозяину. К тому же, ты сохраняешь контроль над «партией власти», тебе по-прежнему преданы «силовики». Бедный Рем и пальцем не посмеет шевельнуть, так мы его спеленали. Ну, как ты можешь сомневаться в моей преданности? Я служил тебе верой и правдой, был рядом с тобой в самые черные дни, и теперь остаюсь твоим верным, преданным другом …

Виртуоз умолк, чувствуя усталость. Многословные заверения отняли у него силы, и он ослабел. Действие чудотворных грибов уменьшалось. Голова в стеклянном сосуде смотрела на него печально и строго. На лбу пролегла морщинка неверия. Синие, чуть навыкат глаза смотрели укоризненно. Сжатые в трубочку губы раскрылись, и Ромул произнес:

— Я чувствую, что ты изменяешь мне. Чувствую, как ты удаляешься.

Виртуоз растерялся. Он был разгадан. Его сокровенные мысли прочитаны. Его погрузили в глубокий гипноз, и под воздействием тонких внушений он сделал признание.

Действие бразильских грибов стремительно таяло. Он выпадал из галлюциногенных видений и возвращался в реальность. Так возвращается в воронку вырванная взрывом земля. Так возвращается обратно в желудь трехсотлетний дуб. Распахнутое, бесконечно расширенное мироздание сжималось. Выпадая из миров, он успел разглядеть лицо мертвой женщины на деревянной кровати и гаснущую на табуретке свечу. Он облетел мирозданье, но путь к Божеству ему не открылся. Туннель в мир божественных тайн был для него замурован.

Стоял перед мраморным столом с батареей стеклянных сосудов, в которых плавали головы. Последняя банка была пустой. Голографическая голова Ромула исчезла. Виртуоз двинулся к выходу среди призрачных вспышек и сполохов. Голова Черненко растворила рот, и из нее вытекала синеватая муть. Голова Троцкого бессильно и яростно кусала губы. Сталин весело приоткрыл свой рыжий кошачий глаз. Проходя мимо головы царя Николая, Виртуоз заметил, как над ней едва золотится прозрачный нимб святости. Покинул «Стоглав», испытывая разочарование и усталость.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Особняк на Бульварном кольце именовался «Дом Виардо». В нем во время русских гастролей селилась знаменитая французская певица Полина Виардо. Здесь будто бы ее впервые увидел Иван Тургенев. Их любовь длилась сорок лет, питая вдохновение великого писателя и служа великолепной «легендой», позволявшей резиденту русской разведки Тургеневу годами жить в Париже. Дом, в стиле позднего ампира, менял обитателей, перестраивался, лишался хозяйственных служб, дважды горел, пока, наконец, архитектурный гений позднейших времен не превратил ветхий, с деревянными перекрытиями и облезшей штукатуркой особняк в изящное, ультрасовременное сооружение. Фронтон с лепным фризом, ионические капители, полукруглые окна — вот и все, что напоминало о старине. Их дополнили стеклянный купол над внутренним двориком, сталь и бетон конструкций, подземная автостоянка и конференц-зал, ресторан и все виды связи, зимний сад и деловые кабинеты. Все это послужило прекрасным поводом, чтобы «Дом Виардо» стал резиденцией экс-президента России Виктора Викторовича Долголетова. Обретя неформальный статус Духовного Лидера, Ромул продолжал влиять на ход российской политики и опекал своего преемника, нынешнего Президента Артура Игнатовича Лампадникова. Духовный статус подчеркивался библиотекой, содержащей религиозные и философские тексты, а также несколькими гостиными, где Духовный Лидер общался с представителями разных конфессий. С православными иерархами встречи протекали в гостиной с чудесными древнерусскими образами, среди которых выделялась чудотворная икона Казанской Божьей Матери. С мусульманами общение проходило в комнате, украшенной голубыми и зелеными изразцами, с затейливой арабеской на стене. Иудеи чувствовали себя комфортно, когда видели в центре удобного и массивного стола девятисвечник, а на книжной полке прекрасно изданную Тору. Взор буддистов ласкал золоченый Будда с сапфиром во лбу, уменьшенная копия гигантской статуи из буддийского храма в Шанхае.

Именно здесь, в «Доме Виардо», проходили пресс-конференции, на которые Ромул регулярно приглашал избранных представителей прессы.

Как всегда в подобных случаях, у входа толпились операторы с телекамерами, журналисты «кремлевского пула». Охрана тщательно проверяла аппаратуру, заглядывала внутрь объективов, исследовала диктофоны и мохнатые, как пекинесы, микрофоны. Попискивала рама детектора, мурлыкал металлоискатель, скользя по спинам и бедрам ироничных, отпускавших шутки визитеров. Журналисты наполняли полукруглый конференц-зал, ставили штативы, выбирая удобные ракурсы, ненароком разведывали у распорядителей, будет ли в заключение фуршет. Виртуоз был устроителем и куратором пресс-конференций, подбирал журналистов, утверждал обращаемые к Ромулу вопросы. Он находился в соседней комнате, недоступный для посторонних глаз, наблюдал действо на широкоформатном мониторе.

На невысоком подиуме появился пресс-секретарь, импозантный, светский, кивая знакомым журналистам. Своими улыбками и поклонами устанавливал между собой и ними дружеские, почти панибратские отношения, в которых сквозила стальная беспощадность дрессировщика, явившегося в цирковой зверинец.

Через минуту появился Ромул. Как и в президентские времена, его встретили аплодисментами — дань уважения и благодарности. Однако в аплодисментах отсутствовал былой, избыточный энтузиазм. Ромул был одет в темный, строгий костюм и розовую рубашку без галстука, со стоячим воротничком, что придавало ему сходство с пастором и лишало былой светскости. Это соответствовало образу Духовного Лидера, в котором черты динамичного политика, резкого полемиста, волевого и бескомпромиссного правителя растворялись в мягких жестах, тихих улыбках, плавных, емких фразах. Работа с опытным актером позволила ему отказаться при ходьбе от сильного взмаха левой руки, в то время как правая оставалась неподвижной, — признак упрямства и своенравия. Он избавился от легкого заикания, когда рвущаяся наружу мысль опережала речь. Научился многозначительно молчать, печально и понимающе смотреть на собеседника, придавать своим словам округлую плавность и продолжительность, позволявшую любое суждение облечь в философскую и поучительную форму.

Он вышел и молниеносно оглядел зал. Виртуоз на его радушном лице уловил мелькнувшее разочарование. Прежде его пресс-конференции собирали толпы журналистов, телекамеры забивали проходы, люди стояли вдоль стен, и все пространство зала непрерывно мерцало от бесчисленных вспышек, которые страстно выхватывали и уносили его желанный образ. Сейчас зал не был заполнен, оставались пустые кресла, и это вполне ожидаемое и объяснимое обстоятельство ранило его. Он не мог примириться с тем, что толпы журналистов рвались теперь к его преемнику Рему, обделяя вниманием прежнего кумира.

Ромул занял место за столиком, тронул стебелек микрофона. Зорко осмотрел зал, одними глазами улыбаясь особенно приятным ему журналистам.

— Господа, — начал пресс-секретарь характерным протокольным голосом, в котором были чопорность и торжественность, ирония и легкая развязность, призывавшая собравшихся чувствовать себя, как дома.— Мы начинаем наше общение, которое, как я полагаю, продлится тридцать-сорок минут, то время, что отделяет нас от фуршета. Вы сможете утолить свое любопытство, услышать исчерпывающие ответы на тревожащие вас вопросы, и полагаю, часть ваших тревог улетучится. Итак, начнем. Пожалуйста, — он протянул руку в зал, давая слово журналисту Первого телевизионного канала, который заранее, в согласии с Виртуозом, приготовил свой вопрос.

— Виктор Викторович. — Привилегированный журналист, сознавая превосходство над многими из присутствующих, своим обращением подчеркнул особые, доверительные и сердечные отношения, сложившиеся между ним и Ромулом за предшествующие годы. — Как вы оцениваете отношения между Русской зарубежной церковью и Московской патриархией после их объединения, к которому вы, Виктор Викторович, имеете самое непосредственное отношение?

Вопрос был согласован с Виртуозом и должен был изначально задать всей пресс-конференции тон духовного общения. Поддержать у журналистского сообщества и у телезрителей, собравшихся у экранов, репутацию Ромула как общенационального Духовного Лидера. Ромул прекрасно играл свою роль. Задумался, будто погружался в глубины народного духа, в богословские сущности и канонические толкования.

Поднял голубые проникновенные глаза, бережно и осторожно подыскивая слова:

— Объединение церквей продолжает начавшийся благотворный процесс объединения всего Русского Мира, рассеченного ужасным двадцатым веком. Канонически церковь не была рассечена, ибо невозможно рассечь Христово распятие, рассечь Христову плащаницу, рассечь самого Христа. Однако политические мотивы мешали двум нашим церквям служить литургию в общем храме. Теперь эти препятствия устранены, и я счастлив, что в этом есть и моя скромная роль. Хотя главным действующим лицом здесь является Господь. Христос — Бог плачущих, страждущих, взыскивающих правду, и не таковыми ли являются русские люди, омывшие весь двадцатый век своими слезами и кровью?

Виртуоз был доволен ответом. В нем была глубина, искренность, некоторая недосказанность, объяснимая необъятностью темы. Голос был мягок, но и тверд, как у проповедника, убежденного в истине. Мнение не навязывалось, но звучало, как приглашение его разделить. Было направлено в сердцевину страдающего русского чувства, которое откликалось благодарностью и любовью.

— Прошу вас, — пресс-секретарь указывал в зал, выбирая из множества одного, и тот благодарно и торопливо вставал, — газета «Ведомости»!

Молодой журналист был артистичен, вместо галстука его шею закрывал шелковый шарф, и блокнот он держал так, как художники держат альбом для этюдов:

— Господин Президент, — он произнес эти слова и смутился. Замотал головой и тут же исправил оговорку, — Виктор Викторович… — Ромул мягко улыбнулся, прощая журналисту ошибку, которая означала, что в глазах многих он все еще остается Президентом. Оговорка была срежиссирована Виртуозом и произвела должное впечатление. Журналисты весело шептались, писали в блокноты, отмечая этот маленький, но характерный курьез.— Виктор Викторович, как вы оцениваете слух, согласно которому известный эстрадный певец Борис Моисеев отправится в космос? Не возмутит ли это российскую общественность, которая не допускает проведения на Красной площади гей-парадов и будет шокирована перенесением этих своеобразных манифестаций на космическую орбиту? Насколько

верно, что космическая «одиссея» Бориса Моисеева патронируется действующим Президентом?

Виртуоз слегка усмехнулся. Придуманный им вопрос был с двойным дном. Позволял Ромулу выступить ревнителем духовных норм, борцом с растлевающими народ инфернальными силами. И одновременно тонко сочетал с этими инфернальными силами действующего Президента, что было в интересах Ромула.

— У России есть свой Человек Неба. Это Юрий Гагарин. Он олицетворяет русскую силу, благородство, красоту, целомудрие. Недаром его называют — русский Ангел. Борис Моисеев — несомненная звезда. Он своеобразно смотрится на эстраде в окружении изнеженных юношей. Но не будем искушать офицеров наших космических войск. А то ненароком кто-нибудь из этих простых и незамысловатых мужчин запустит противоспутниковое оружие, и мы лишимся нашей голубой звезды. Что касается действующего Президента Артура Игнатовича Лампадникова, то мы совсем недавно обсуждали с ним проблему космического мусора, меры, которые могут уменьшить захламление космоса.

Виртуоз отдал должное тонкой язвительности Ромула. На его лице, выражавшем глубокомыслие, проникновенное сочувствие и тихую, свойственную мудрецам печаль, промелькнула шальная веселость, шаловливое молодечество, которое так нравилось народу во время его выступлений.

— Прошу. Газета «Аль Пайс»! — пресс-секретарь указал на худую изможденную женщину, представлявшую в Москве известную испанскую газету. Такая изможденность характерна для немолодых курящих журналисток, неутомимых в погонях за сенсациями, будь то локальные конфликты, опасные расследования или светские рауты. Испанка откинула седую, упавшую на глаза прядь. Обратила на Ромула носатое, землистого цвета лицо. Спросила, слегка коверкая русские слова:

— Виктор Викторович, нынешний Президент России Артур Игнатович Лампадников на встречах в формате «восьмерки» демонстрирует стиль общения, отличный от вашего. Он гораздо более сдержан, реже улыбается, не называет своих партнеров на «ты». Во время ужина в Рамбуйе он единственный из присутствующих был в галстуке. В парке Елисейского дворца он держался в стороне, словно

его не вполне принимают в семью мировых лидеров. Что за этим скрывается? Замкнутость характера или растущая отчужденность России?

«Умная, злая баба», — подумал Виртуоз, рассматривая некрасивое лицо испанки, ее птичий нос и белые вставные зубы. Ромул, лишившись статуса Президента, утратил множество престижных ролей, среди которых участие в «восьмерке» было самым эффектным и желанным. Теперь, оставаясь в стороне от «встреч на высшем уровне», он мучительно ревновал Рема, тайно ему завидовал.

— Мне нравится, как Артур Игнатович держался на встрече в Париже. То, что вам могло показаться отчужденностью, есть просто черта характера. Мы с ним очень близкие люди, но и в дружбе он никогда не допускает фамильярности. Что касается галстука, он показал мне его перед своей поездкой в Париж, и я одобрил его выбор.

Ответ сопровождала милая улыбка, но в синих глазах Ромула промелькнула тоска и злоба.

Он с трудом скрывал ревность. Выдал себя замечанием о галстуке. Дал понять, что даже в таких мелочах, как выбор галстука, действующий Президент зависит от вкуса и воли его, истинного хозяина Кремля.

Виртуоз придирчиво наблюдал утонченную игру Ромула, преуспевшего в науке лицедейства. Уроки мимики, декламации, жеста, взятые у актеров Малого театра, пошли ему впрок. Общаясь с журналистами, он облекал свои ответы в округлые, пластичные формы, как это приличествует Духовному авторитету. Был преисполнен мудрости, терпимости, располагал к себе циничную и скептическую журналистскую публику. Иногда интонациями повторял патриарха, когда тот проповедовал нараспев, и в его пасторском голосе проскальзывали слезные всхлипы и молитвенные воздыхания.

Но при этом Виртуоза не оставляло ощущение едва уловимой фальши, неестественного напряжения, которого прежде не было. Ромулу все сложнее было справляться с выбранной ролью. Словно его покидало вдохновение. Все труднее давалась игра. Все меньше оставалось творческих сил, которые требовались для ноплощения замысла. Согласно замыслу, духовная власть Ромула оказывалась сильнее конституционных полномочий Рема. Духовидец был выше Президента. Народное обожание служило опорой неформального

главенства одного над другим. Все непревзойденное искусство Виртуоза, весь колдовской дар его политологических построений были воплощены в уникальной модели, где оба лидера помещались в единое властное поле. Это поле не позволяло им распасться, удерживало обоих в нерасторжимом единстве, как двух конькобежцев, выступающих в парном катании. Четыре года Рем должен был изображать Президента при неусыпном контроле Ромула, а затем вновь передать ему полномочия. Это мнимое двоевластие было изобретением Виртуоза, его высшим политологическим достижением. Он управлял энергией народного обожания, преобразовывал ее в субстанцию власти. Дозировал, распределял между двумя полюсами, как поступает диспетчер уникальной энергетической установки.

Однако в последнее время управление давалось все труднее. Установка выходила из-под контроля. Энергия, окружавшая Ромула, служившая источником его властного превосходства, начинала таять. Не просто таяла, а постепенно перетекала к Рему. Тот выпивал энергию Ромула, становился все сильнее и независимей. Равновесие полюсов нарушалось, установка могла взорваться.

Виртуоз искал причину. Все больше обнаруживал ее в том, что Рем, находящийся в Кремле, пребывал под воздействием гравитации великих святынь. Грановитая палата. Успенский собор. Гробницы князей и царей. Пантеон кремлевской стены. Магический кристалл мавзолея. Скрытый под Красной площадью «Стоглав» с батареей отсеченных голов. Все это благотворно воздействовало на Рема, утяжеляло, увеличивало его массу, и субстанция власти перетекала от Ромула к Рему, как перетекает атмосфера с более легкой планеты к более тяжелой и плотной.

Пресс-секретарь предоставил слово корреспонденту польского телевидения. Красивый поляк с золотистыми волосами, чуть шепелявя, спросил:

— Газпром продолжает прокладывать трубы на восток и на запад. Охватывает Европу и Азию, как щупальца осьминога. Не есть ли это форма русской имперской политики, осуществляемой с помощью «энергетического оружия»?

— Если в результате такой политики в домах простых людей становится тепло, если развивается экономика и благосостояние стран, то разве можно ее назвать имперской? Сила России не в ее ракетах, не

в ее углеводородах, а в глубинном, свойственном русскому человеку чувстве справедливости, братства, любви. Мы слишком много страдали от самых разных империй, чтобы их обожать. Вместе с газом и нефтью мы экспортируем русское дружелюбие, вселенскую русскую открытость, о которой говорил Достоевский. Рассматривайте нас не как страну царя Петра или Сталина, а как страну Пушкина и Толстого.

Виртуоз рассеянно выслушал ответ, найдя его слегка ходульным. Еще раз мысленно воспроизводил уникальную конструкцию власти, которую строил по заданию Ромула в последние месяцы его президентства. Окружал его ликующими партийными толпами. Собирал вокруг блеск культурной элиты. Помещал в центр религиозных праздников и военных парадов. Экспонировал на фоне шедевров архитектуры и живописи. Создавал из него Отца нации и Духовидца. Воина, перешагнувшего с поля боя в храм, сменившего разящий меч на осеняющий крест. Когда преображение состоялось и Россия, в лице Ромула, утратила Президента, но обрела своего Духовного Вождя, Виртуоз, словно искусный хирург, произвел метафизическую трансплантацию органов от Ромула к Рему. Уложил их рядом на двух воображаемых операционных столах. Мысленно разъял их грудные клетки. Извлек из Ромула сердце. Пересадил в Рема, прибегнув к магическим заговорам и волшебным заклинаниям, чтобы не случилось отторжения. В ночь, когда состоялись выборы Рема, это он, Виртуоз, задумал выход обоих из Спасских ворот, по брусчатке, в голубых вспышках света, под музыку группы «Любэ». Шли рука об руку, словно два брата, Ромул и Рем, по имперской брусчатке, к ликующим толпам, демонстрируя единство национального Духа и национальной Политики. Шедевр его, Виртуоза, искусства, лучше других понимающего колдовскую природу власти.

Из рядов поднялся корреспондент «Рейтер», стареющий плейбой в джинсовом костюме, с поблескивающей на груди журналистской биркой:

— Мой вопрос касается знаменитого «плана Долголетова», который был провозглашен в годы вашего президентства. Вы обещали быстрое развитие экономики, увеличение производства, новые русские корабли и самолеты, новые дороги и медицинские центры. Не перешел ли «план Долголетова» в долголетний «план Лампадникова»? Мы до сих пор не видим новых русских ракет и подводных лодок. Я ездил на

автомобиле из Москвы в Петербург и два раза менял колесо. Почему в России так и не произошел обещанный вами скачок?

Ромул сжал губы в плотный бутончик. Его нос стал похож на чуткий хоботок. Глаза округлились и настороженно замерцали. Уши странно оттопырились. Он вдруг обрел сходство с маленьким пугливым домовым, вызывавшим симпатию и сострадание. Это сходство служило поводом для множества карикатур и насмешек, наводнивших «Интернет». Виртуоз потратил немало сил, чтобы разрушить эту вредную ассоциацию, заменив ее другой. И результате Ромула стали сравнивать не с домовым Добби, а с актером Дениэлом Крейгом, сыгравшим Джеймса Бонда в «Казино «Рояль», что импонировало Ромулу, который не забывал свою причастность к разведсообществу. Однако нет-нет, но у Джеймса Бонда вылезали настороженные ушки домового Добби.

— «План Долголетова» не рассчитан на бесконечно долгие лета. — Джеймс Бонд победил домового Добби, и лицо Ромула стало мужественным, слегка ироничным. — Если мне в свое время пришлось мучительно строить новое Государство Российское, собирать по крохам оставшиеся ресурсы, строить Газпром как источник национального богатства, а также накапливать средства для экономического рывка, то Президент Лампадников бережет эти ресурсы. Вам они пока не видны. Но уже стоят на стапелях готовые к спуску сверхсовременные подводные лодки. Выруливают на взлетные дорожки самолеты пятого поколения. Поверьте, скоро Россия взмоет ввысь, как звездолет, и мир изумится новому Русскому Чуду. Мы, русские, медленно запрягаем, да быстро едем. Потерпите еще немного, а потом начнете аплодировать.

Ответ сохранял за Ромулом главные заслуги в становлении новой России и едва заметно принижал нынешнего Президента, которого Духовный Лидер был вынужден брать под защиту. Это давало понять, кто при нынешнем двоевластии является слабым и сильным. Кто нуждается в защите и кто эту защиту осуществляет.

— Прошу, «Франкфуртер альгемайне», — артистично взмахивал рукой пресс-секретарь.

Поднялся миловидный белесый немец в больших, слегка нелепых очках:

— Уважаемый Виктор Викторович, в политических кругах Москвы ходят слухи, что будто бы Президент Лампадников, по завершении четырех лет, намерен избираться на второй срок. А это, как мы понимаем, противоречит достигнутым между вами договоренностям, согласно которым, после первого срока Президент Лампадников уходит, уступая вам место в Кремле. Как бы вы могли прокомментировать эти слухи?

Вопрос был неприятным. Ранил Ромула в потаенное яблочко. Касался мучительной неопределенности, возникшей между соратниками в последнее время. Неопределенность усиливали слухи, умело распускаемые политическими интриганами. Между соратниками назревал конфликт, которого страшился Виртуоз и старался его избежать. Он видел, как по лицу Ромула скользнула едва заметная злая гримаса, но тот заслонил ее хорошо усвоенной маской благодушия и милой усмешки.

— Дорогой Отто, — Ромул выражал корреспонденту особую симпатию, называя его по имени, — бессмысленно комментировать слухи, как бессмысленно ловить ветер. Президентов не назначают. Их выбирает народ. Наш народ обладает здравым смыслом и свободой выбора. Он трезво оценивает своих лидеров и на выборах воздает им по заслугам. Природа власти такова, что она не поддается никаким уговорам. Она от Бога — так продолжает думать множество русских людей. Не будем тревожить общественное сознание непроверенными слухами. Не будем мешать Президенту Лампадникову в его сложной государственной работе.

Пресс-секретарь искал в зале кого-нибудь из тех, чей вопрос был заранее согласован с Виртуозом и ответ на него мог сгладить возникшую досадную шероховатость.

— Прошу вас! — он протянул руку в сторону корреспондента «Российской газеты», проверенного члена «кремлевского пула», умеющего быть умным и одновременно угодным. Немолодой вальяжный журналист слегка замешкался. Промедлением воспользовался его сосед, сделавший вид, что принял приглашение на свой счет. Это был Илья Натанзон, известный интервьюер, которого в свое время обласкал и приблизил к себе Ромул, но тот изменил своему благодетелю и теперь был занят тем, что писал книгу о Президенте

Лампадникове. Илья Натанзон бойко вскочил и шумно, трескуче, с легким грассированием, произнес:

— Виктор Викторович, правда ли, что между вами и Артуром Игнатовичем усиливаются трения? 9 мая, на возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата, вы отсутствовали, а присутствовал один Президент, чего раньше не бывало. Во время недавнего визита в Москву Премьер-министра Италии, он не нанес вам традиционный визит, хотя все знают о вашей дружбе. Подобных примеров немало, и мы внимательно следим за ними.

Натанзон, маленький, круглый, с румяным лицом, окруженным черной бородкой, среди которой весело шевелились красные сочные губы, смотрел на Ромула плутовато и радостно, словно видел перед собой не человека, а ловко приготовленную яичницу.

Ромул некоторое время молчал, бледнея и играя желваками. Стал похож на костяную, тонко вырезанную шахматную фигуру. Резная кость лопнула, маска мудреца и духовного проповедника соскользнула, и в зал брызнула ядовитая струя ярости:

— Послушайте, любезный, можете следить в замочную скважину за своей женой, чтобы она не спала с сантехником. Но ведь дверь может ненароком открыться, да прямо в лоб. Опять будут говорить о политическом убийстве, как в случае с Политковской. А всего-то сантехнику в сортир захотелось!

В конференц-зале воцарилась тишина, в которой мерцали вспышки фотокамер, запечатлевая яростного, с волчьей улыбкой Ромула и сияющего Натанзона, ставшего моментально центром мирового скандала.

Виртуозу стало худо. Он вдруг остро ощутил неминуемый крах Ромула, вокруг которого исчезал мистический ореол. Истерический скандальный вскрик, прорвавшийся блатной жаргон свидетельствовали о том, что дни Ромула сочтены. И никакие ухищрения Виртуоза, никакие искусные затеи не вернут ему власть, от которой тот, по загадочным причинам, сам отказался, передав ее недавнему другу и сподвижнику. Этот истерический срыв указывал, как будет сокрушен Ромул, какими средствами воспользуется соперник, чтобы одолеть конкурента, какую дурную услугу окажет Ромулу его мнительная раздраженная натура. Ему, Виртуозу, не остаться в стороне от неминуемой жестокой схватки. Чью сторону он

изберет? Кому передаст оружие политической борьбы, смертоносное оружие власти?

Испуганный пресс-секретарь махал рукой, поднимая с места корреспондента «Российской газеты». Тот, чувствуя вину за скандальную оплошность, торопливо встал, заикаясь, произнес:

— Уважаемый Виктор Викторович, как вы прокомментируете сведения о том, что на Урале найдены фрагменты черепа цесаревича Алексея? Значит ли это, что в Петропавловской крепости захоронены не царственные останки?

Ромул уже овладел собой. К тому же, и вопрос позволял вернуться к глубокомысленному тону и величавому выражению лица. Он вновь был Духовным Лидером нации, чьи помыслы одухотворены свыше.

— Злодеи, совершившие цареубийство, желали скрыть следы своего злодеяния и разбросали прах мучеников по большой территории. Но каждая частица праха, каждая святая молекула прорастает, дает о себе знать, вопиет. Мы собираем эти частицы, как собираем тело рассеченной России. К этому я всегда стремился и буду стремиться.

На этом пресс-конференция завершилась. Журналисты собирали штативы, укладывали камеры. Устремлялись в фуршетный зал, где их поджидала вкусная еда и выпивка. Ромул, благожелательный и осанистый, покидал зал, стараясь не взмахивать левой рукой. Виртуоз различил в толпе журналистов бородатенького торжествующего Натанзона.

Они встретились в «русской гостиной» с чудотворной иконой Богородицы, длинным столом и стеклянными шкафами, в которых, словно в ризнице, красовались усыпанные каменьями кубки и серебряные ларцы, золотые, с рубиновыми глазами павлины и старинные книги в тяжелых переплетах, инкрустированных самоцветами. Ромул был возбужден состоявшейся пресс-конференцией. В нем не было торжествующего самодовольства, как в былые президентские времена, когда часами он жонглировал остроумием, властной иронией, грозными намеками, выходя победителем из интеллектуальной схватки. В нем кипело нетерпеливое раздражение, сознание своего поражения. Виртуоз сочувствовал, был готов разделить с ним горечь неудачи.

— Этот чернявый иудей Натанзон, что он себе позволяет? Это правда, что его перекупил Лампадников? Говорят, заканчивает о нем подобострастную книгу? А ведь стелился передо мной, как коврик. Суку мою взасос целовал, она потом, бедная, неделю чихала от чесночного запаха. Кто его сюда притащил? Неужели ты?— Ромул пронзительно, в упор, взглянул на Виртуоза, словно старался угадать в нем признаки вероломства. — Гнать его в шею с моих пресс-конференций! Позови попов, пусть освятят помещение!

Виртуоз не отвечал, ожидая, когда погаснут малиновые пятна на бледном лице Ромула и его умная, осторожная воля опять обретет способность воздействовать на окружающий хаос, отсекая наиболее опасные его проявления. Маленький, ладный, с верткими движениями дзюдоиста, он умел уходить от лобовых столкновений. Был способен круто менять ход мыслей, подобна горнолыжнику на скользком склоне, бросающем тело в крупно виражи.

— Сейчас соберется ареопаг, — произнес Ромул. — Меня информировали, что некоторые из моего ближайшего круга установили особые отношения с Лампадниковым. Хочу их проверить. Хочу заглянуть им в глаза. Если прилетают скворцы, значит, пришла весна. Если появляются изменники, значит, власть начинает слабеть.

— Если у женщины появляются веснушки, значит, их пора выводить,— Виртуоз произнес эту фразу с серьезным видом и смеющимися глазами. Ждал, когда ледяные, синие глаза Ромула оттают и задрожат живым смехом. Оба рассмеялись, и смех Ромула был заливистый, детский, счастливый. Прошел мимо Виртуоза и на ходу быстро, благодарно пожал ему локоть.

— Когда они все соберутся, прошу, изложи им идею праздника «День Духовного Лидера Русского Мира». Дай им понять, что на время праздника статус «Духовного Лидера России» меняется на статус «Духовного Лидера Русского Мира». Этим я начинаю мою президентскую кампанию. Это лишит Лампадникова политического маневра, сорвет его намерение избираться на второй срок. Подтвердит превосходство духовной власти над светской. Все, как ты говорил, Илларион.

— Идея возникла у тебя, Виктор. Я только эффектно ее оформил.

— Не скромничай, мой дорогой. Все идеи твои. Ты умеешь ненавязчиво и необидно одаривать меня своими идеями. Благодарю

тебя за это, мой друг.

В этих, несвойственных Ромулу словах благодарности проскользнула беззащитность, даже мольба. Он просил не оставлять его одного в момент, когда все вокруг начинает двоиться, расслаиваться, становится зыбким, двусмысленным. «Эффект двоевластия», о котором предупреждал Виртуоз. Ромул, по необъяснимым причинам, отверг возможность остаться Президентом на третий срок. Породил мучительную и нестойкую конструкцию власти — «один в двух» и «два в одном». Осуществлять ее было столь же трудно, как сохранять термоядерную плазму в установке Токамак, когда удерживающая оболочка из магнитных полей то и дело рвется и огнедышащий язык выплескивается наружу.

— Какой странный, тревожный сон я видел сегодня, — произнес тихо Ромул, — Будто у меня нет тела, а одна голова, в которой сосредоточено все мое «я». Эта голова совершает фантастические полеты, над дивными озерами и лесами, золотыми куполами и пагодами. Такой красоты нет на земле. Я оказываюсь на безымянных планетах под полумесяцами и лунами, как на картинах безумного Ван Гога. А то вдруг попадаю в ловушку зеркал, которые отражают меня бесконечно, и я не могу понять, где я, а где мои отражения. Становлюсь каким-то числом и испытываю сладость первой влюбленности. Превращаюсь в другое число, и мне хочется плакать, как в тот день, когда умерла мама. Или вдруг я испытываю ужас, тот, когда мне позвонил Президент Америки и сообщил, что его лодка протаранила наш атомный «Курск». Во время этих полетов меня сопровождал дивный поющий голос какой-то восхитительной женщины. Ты, Илларион, был где-то рядом, что-то требовал от меня, а я не мог тебе ответить, потому что слушал дивный женский голос. Кто это пел? — лицо Ромула было мечтательным и нежным, словно в нем проснулся отрок.

Виртуоз знал, какие полеты ему приснились. Галлюцинации, порожденные бразильскими грибами, были столь сильны, что вовлекли в себя не только сознание самого Виртуоза, но и душу Ромула, которую он увлек в фантастический сон. Виртуоз был уверен, что под стоячим воротником, закрывавшим шею Ромула, таится нечто, что подтверждает реальность лунатического сна.

— Кто это пел? — задумчиво повторил Ромул.

— Должно быть, это пела Полина Виардо. Эти стены сберегли ее голос, и твой ночной слух улавливает отголоски.

— Не мудрено, что разведчик Иван Тургенев находился под чарами этого голоса. Думаю, влюбленность в Полину помешала ему выполнить поручение русского императора и предотвратить участие Франции в Крымской войне.

— Одну секунду, — Виртуоз потянулся к Ромулу, — у тебя воротничок на рубахе загнулся. Позволь, я поправлю. — Он прикоснулся к стоячему воротничку, слегка отогнул и увидел на шее Ромула тонкий розовый рубец, какой оставляет удушающая гитарная струна, — Вот теперь хорошо. — Он разгладил воротник и, удовлетворенный, отошел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В «Дом Виардо», в гостиную с чудотворной иконой, собирались приближенные Ромула. Они составляли ближний круг в период его президентского правления. После добровольного отречения, перейдя в услужение к новому Президенту, поддерживали репутацию Ромула, как Духовного Лидера. Все были хорошо известны Виртуозу, как садовнику известны взлелеянные им цветы. Каждого он взращивал, поливал и подкармливал удобрениями, добиваясь цветения. Наполнял ими придворную оранжерею. Каждый обладал неповторимым цветом и запахом, великолепно смотрелся в многоцветном букете, источал приторное благоухание власти.

Именитый кинорежиссер Басманов явился первым и сердечно расцеловался с Виртуозом, пощекотав его щеку пушистыми холеными усами. Виртуозу он казался пышной, белой астрой с множеством чутких бархатистых лепестков. Следом появился председатель правящей партии Сабрыкин, сухощавый, с землистым лицом и колючей щеткой усов, которому в мире цветов соответствовал жесткий садовый василек. Директор Федеральной службы безопасности Лобастов, крупный, слегка заторможенный и расплывшийся, имел глубинное сходство с фиолетовым гиацинтом, чье удлиненное сочное соцветие окружено едва заметным пламенем. Министр иностранных дел Валериев, угловатый, лысый, с выпуклыми надбровными дугами и длинными руками, ассоциировался с садовым колокольчиком, неприхотливым, выцветающим на солнце до седой белизны. Министр обороны Курнаков, крупный, упитанный, кипящий энергией и энтузиазмом, был золотой шар, украшение любого палисадника. Мэр Петербурга Королькова, немолодая, с плотным крупом и тяжкой поступью дама, обладавшая, благодаря хирургическим и косметическим ухищрениям, нежным лицом тридцатилетней красавицы, была белой лилией, сочной и маслянистой, как сливки. Директор правительственного телеканала Муравин, благодушный, вальяжный, погрузивший длинную сухую кисть Виртуоза в теплую мякоть своей ладони, был малиновым пионом с золотистой сердцевиной. Министру промышленности и энергетики Данченко,

лысому, с большими губами и умными глазами навыкат, соответствовал львиный зев, облюбованный пчелами, которые охотно погружают свои лапки и голову в сладкую пасть цветка. Последним явился митрополит Арсений, в черной рясе, с драгоценной, усыпанной бриллиантами панагией. Огромный, крепкий, он напоминал деревенского мужика с седой бородой, крупным носом и косматыми бровями, из-под которых блестели черные, грозные, иногда плутоватые глаза. Среди цветочных аналогов ему соответствовал мясистый, тяжеловесный георгин вишневого цвета, в алмазных каплях дождя.

Как только вошел Владыка, все потянулись к нему за благословением. Виртуоз со стороны не без иронии наблюдал, как неловко они целуют могучую лапу митрополита, вытягивают губы к панагии, словно хотят всосать сияющие алмазы. Лишь режиссер Басманов, близкий к монархическим и церковным кругам, проделал всю операцию ловко и благостно.

В ожидании Ромула похаживали по гостиной, обменивались новостями. Чувствовали себя сплоченным братством, благополучие которого поддерживается невидимой сущностью, обитающей в пределах розовой кремлевской стены с золотыми шарами соборов. Виртуоз наблюдал за визитерами, каждый из которых был обязан ему своим восхождением и влиянием. Но и он не мог обходиться без них, зависел от их талантов, умов и капризов.

— Восхищаюсь вашими режиссерскими талантами, Илларион Васильевич. — Басманов смотрел на Виртуоза восторженными глазами, в которых искрилась балаганная насмешка, острая прозорливость, готовность схватить настроение собеседника и действовать исходя из сиюминутной выгоды. — Не понимаю, как вы умудряетесь создавать сценарии грандиозных спектаклей с тысячами ролей, миллионами актеров, ритмами времени, декорациями эпохи. Ваша сценическая площадка — вся страна, а зрители — весь мир. Мне кажется, я мог бы снять потрясающий фильм по одному из ваших сценариев.

Виртуоз с удовольствием выслушал тонкую лесть. Цветок белой астры щекотал его чуткими лепестками, заманивал в свою белоснежную глубину.

— Почему бы и нет. Как знать, может быть, для этого мы собрались здесь сегодня. Никто, кроме вас, не создаст кино

государственного масштаба.

Заинтриговав Басманова, он отошел к митрополиту, приблизившись к его вздымавшемуся под рясой животу, на котором поблескивали бриллианты.

— Владыко, меня очень огорчают ползущие слухи о нездоровье Святейшего. Конечно, он далеко не молод, как и все мы, может болеть. Действительно, ездил в Швейцарию, чтобы показаться профессору Кляйнеру, кстати, католику. Но кто-то в Патриархии упорно распространяет слухи о скорой кончине Святейшего, о близком избрании нового Патриарха. Согласитесь, это вредит церковным делам.

Виртуоз знал, что источником слухов является сам митрополит Арсений, участвующий в острой внутрицерковной схватке за будущий патриарший престол. У Арсения среди епископов было немало противников, ему припоминали скандал по поводу торговли табаком и водкой, к которой он якобы был причастен. Однако Кремль благоволил Арсению, исповедующему государственную философию Иосифа Волоцкого. В случае скорой и неизбежной кончины нынешнего Патриарха, Кремль поддержит кандидатуру Арсения.

Митрополит — тяжелый георгин темно-вишневого цвета, раскрыл свои мясистые лепестки властно и царственно, господствуя среди прочих цветов. Виртуоз любовался его зрелой, тяжеловесной красотой.

— Мы молимся о здоровье Святейшего, о продлении его дней. Злокозненные слухи исходят от тех архипастырей, которые сеют семена раскола в нашей церкви, обвиняют нынешнего Патриарха в том, что он слишком тесно прильнул к власти, не внемлет народному стону и ропоту. Я же, как вы знаете, Илларион Васильевич, всегда проводил и провожу политику соединения светских усилий власти и духовных радений церкви в деле укрепления основ православия и Государства Российского.

Митрополит благожелательно и твердо смотрел на Виртуоза. В его умных глазах было превосходство тысячелетней церковной традиции над краткосрочными и эфемерными претензиями светской власти.

— Ну, как рыбалка? — Виртуоз, посмеиваясь, обратился к партийному председателю Сабрыкину. — Слышали, что вы щучку вытащили на двадцать килограмм, а на ней кольцо времен царя Петра.

Правда, что ли? — Виртуоз знал о рыбацкой страсти Сабрыкина, которой тот предавался в большей степени, чем партийным и думским заботам. — На уху бы хоть пригласили?

— Да кто это чепуху всякую разносит! — раздраженно ответил Сабрыкин.— Какая такая щука?

— Как? — делано удивился Виртуоз. — На партийном сайте вывешена фотография щуки и текст: «Золотая рыбка партии «Единая Россия». Загадайте желание». Я загадал.

— Какое же вы желание загадали? — недоверчиво, ожидая подвоха, спросил Сабрыкин.

Жесткий садовый василек ощетинился колючим соцветием, напрочь лишенным запаха.

— Желание мое скромное. Чтобы в нашей любимой партии появилась хоть одна голова, которая думала бы не о своем разбухшем кошельке, а о государстве. Иногда я смотрю на вашу толпу, и она мне напоминает стадо быков на водопое. Все одинаковые, жадные, тупые и травоядные. Зелень любят. — Виртуоз жестоко улыбнулся и отошел, перехватив злой и мстительный взгляд председателя.

— Боже мой, какой счастье! — Он раскланялся перед мэром Корольковой, с театральным обожанием созерцая ее девичье лицо, ставшее жемчужным под скальпелем пластического хирурга и пальцами массажиста, ежедневно втиравшего в щеки и подбородок дамы килограммы омолаживающих мазей. — Как бы мне хотелось побывать в вашем дивном городе! Опять белой ночью промчаться на катере по каналам, среди дворцов и парков. Не забуду, как мы пили с вами шампанское посреди Невы, чокались бокалами с крейсером «Аврора».

Белая лилия пленительно растворяла душистые лепестки, источала свежесть и девственность. И хотелось приблизить губы к цветку, растворить нежное лоно, целовать в интимную сердцевину.

— Петербург — город блестящих дам и изысканных кавалеров. Вы, Илларион Васильевич, самый завидный кавалер России, — чуть жеманно улыбнулась красавица, переступив тяжелыми, одутловатыми ногами.

Виртуоз, словно шмель, перелетал с цветка на цветок. Все цветы взрастали под ласкающим солнцем власти. Питались ее живительными лучами. Поворачивали в сторону властного светила чуткие венчики.

Светило текло по небосводу, меняло свое расположение, и цветы следовали за ним, обращая в его сторону свои лепестки. Солнце власти переместилось от Ромула к Рему, и цветы, согласно своей природе, отворачивались от Ромула и тянулись к Рему. Это поведение царедворцев Виртуоз не мог изменить, даже если бы зажег над головой Ромула искусственное солнце.

Ромул появился в гостиной внезапно, порывистый, стремительный, исполненный раздражения, забыв о своей осанке Духовного Лидера. Его левая рука совершала резкие взмахи, а правая была прижата к бедру, словно он придерживал эфес сабли. Резко и неприветливо обменялся со всеми рукопожатиями. Подошел под благословение и, казалось, через силу, с брезгливостью, припал к пухлой фиолетовой руке митрополита.

— Прошу садиться, — кивнул на стол, занимая место в торце, нетерпеливо глядя, как рассаживаются приглашенные соратники. Виртуоз расценивал эти нервические проявления, как стремление вожака подтвердить свое главенство в стае, в которой обнаружились признаки неповиновения.

— Я хотел бы напомнить основные закономерности, на которых мы, с нашего общего согласия, создали образ нынешней российской власти. В основе образа лежит композиция «два в одном» и «один в двух» — разделение и слияние двух полюсов. Светского, политического, оговоренного Конституцией и представленного законно избранным Президентом Артуром Игнатовичем Лампадниковым. И духовного, неформального, основанного на глубинном народном доверии и мистическом чувстве, из которого родился статус Духовного Лидера России, представленного вашим покорным слугой …

Виртуоз потупил глаза, не позволяя читать в них всплески иронии и веселья, знаки острого внимания или скуки. Произнесенное Ромулом соответствовало зодиакальному символу Весов, на чашах которых, среди звезд и светил, поместились Ромул и Рем, оба небольшие и ладные, как две одинаковые гирьки. Стрелка весов совпадала с вертикалью, демонстрируя принцип вселенского равновесия, нарушение которого могло обернуться падением звезд и гибелью Вселенной.

— Вы знаете, как я люблю и ценю Артура Игнатовича. Он мой друг, почти брат. Я передал ему не просто мой малахитовый кабинет в Кремле. Я передал ему мои начинания, мои незавершенные деяния, передал страну, которую едва удалось спасти от исчезновения и которая требует непрерывных, неусыпных радений. Передавая ему власть, я думал также о вас, моих сподвижниках, благополучию которых я отдавал все свои силы, взращивая из вас деятелей национального масштаба. При неверном выборе преемника это благополучие могло бы оказаться под угрозой. Оно окажется под угрозой, если нарушится равновесие полюсов, и вихри дисгармонии сметут страну и ее правящий класс. Артур Игнатович — безупречный государственник, талантливый юрист, блестящий знаток Римского права. Но Закон, создающий материальный каркас государства, дополняется благодатью, дарованной в Духе. Две эти силы обеспечивают мощь государства. Так было в древнем Риме, в Московском царстве, в Сталинской «красной» империи. Государства падают, когда разрушается двуединство «два в одном» и «один в двух» …

Виртуоз отдавал должное лексике Ромула, в которую тот облекал запутанную политологию. Ту, которая была использована им, Виртуозом, для создания небывалой, двухкупольной архитектуры власти. Две главы единого собора покоились на сложных опорах, вертикальных столпах, горизонтальных растяжках, удерживались монолитом стен и фундаментов. Конструкция могла быть нарушена порывом ветра, или грунтовыми водами, или голубиной стаей, перелетевшей с одного купола на другой, или неравномерностью сусальной позолоты, покрывавшей купола, или ласточками, уносящими с куполов крупицы золота. Легкая птица склюет золотую крошку, равновесие нарушится, и собор начнет падать, купола провалятся, великолепное сооружение обрушится на головы молящейся паствы.

— Не забывайте, мы живем на замороженном взрыве. Невероятными усилиями я остановил, заморозил, заковал в ледяную глыбу народную ненависть. Я остановил революцию, казавшуюся почти неизбежной, когда алчные, хищные, ненастные волки проглотили все народное достояние. Всю нефть и газ, алмазы и пахотную землю, заводы и банки, и оставили голый, нищий,

ненавидящий народ без средств существования. Революция, которая должна была разразиться, была бы страшнее революции семнадцатого года. Все светила экономики от Гайдара до Ясина, весь цвет управленцев от Чубайса до вас, господин Данченко, все сливки интеллигенции от Виктора Ерофеева до вас, господин Басманов, все мэры и губернаторы от Лужкова до вас, госпожа Королькова, были бы повешены на фонарях от Пушкинской площади до Манежа. Тротуары были бы скользкие от мозгов эстрадных звезд и руководителей телевизионных каналов, не правда ли, господин Муравин? По Москве-реке мимо ликующих толп поплыли бы трупы миллиардеров из списка журнала «Форбс», с обрезанными ушами и носами, и никто бы не смог распознать в них Вексельберга или Фридмана, Дерипаску или Прохорова. Сегодняшний гражданский мир обеспечен «глубокой заморозкой» всей социальной жизни, а также согласием и равновесием духовного и политического центров, братскими отношениями между Президентом страны и ее Духовным Лидером…

Виртуоз вдруг остро, до сладостной боли в паху, ощутил свое господство над всеми, кто важно восседал за широким столом. Над тем, кто властно и нервно витийствовал, и тем, кто в малахитовом кабинете Кремля в эти минуты говорил по телефону с Президентом Америки. Все они были частью великолепной машины, сконструированной им. Виртуозом. Ее чертежами обладал только он. Ухаживал за ней, смазывал трущиеся части, шлифовал до блеска шероховатости, регулировал пульсацию элементов. Эта машина власти обретала свою жизнь и целостность в его неусыпном сознании, в его изобретательном разуме, в творческой, ни на секунду не ослабевающей воле. Стоит ему пожелать, и она остановится. Стоит подпасть под сатанинское искушение, поддаться обольщению Герострата, и он выключит из цепи управления крохотный нейрон своего мозга. Хрупкая цепь разомкнется. Машина пойдет вразнос. На улицы Москвы выльются ненавидящие толпы. Запылают особняки и дворцы. Воспламенится Кавказ. Обезумевшие кланы начнут убивать друг друга. Губернии охватит война. Отломятся Урал и Сибирь. Лихие банды захватят власть в городках и селеньях. Великий хаос, чудовищный русский бунт затянут мир в испепеляющий ад.

Он пресек в себе этот черный фонтан воображения. Это было искушение, которое переживает командир стратегической ядерной

лодки, рассматривая устройство, способное вскипятить океаны, согнуть земную ось, превратить планету в плазму белого газа.

— А теперь я бы хотел задать вам вопросы, требующие пояснения, — Ромул оглядел членов ареопага пронзительным, обличающим взглядом. — Почему Министерство обороны наметило пуск ракеты «Порыв» в середине августа, а не в июле, в дни, когда Президент Лампадников будет с визитом во Франции? Вы хотите, — он грозно, с потемневшими от гнева глазами, воззрился на министра Райкова, — хотите пригласить на пуск уникальной ракеты Президента? Ему передать лавры этого стратегического успеха? Разве не я лично стимулировал создание «Порыва», способного преодолевать американские антиракеты в Польше и Чехии? Разве не мое присутствие мы оговаривали с вами три месяца назад?

— Но, Виктор Викторович, мы решили, что логичнее будет запустить «Порыв» в дни натовского саммита. Так сказать, по принципу: «Вы — нам, а мы — вам»! — оправдывался министр Курнаков.

— Вы нахватались этих двусмысленных поговорок на макаронной фабрике, откуда я вас пересадил в кресло военного министра? Чем еще щеголяли мастера спагетти и вермишельные философы?

Министр покраснел от обиды, что-то начал доказывать, шлепая толстыми губами. Но Ромул резко его оборвал:

— Пуск перенести на июль. Я не поеду, но и Президент в эти дни пусть щебечет с Саркози и его вянущей топ-моделью.

Члены ареопага нахохлились, как скворцы под дождем. Ромул хищно, по-ястребиному набросился на министра промышленности и энергетики Данченко:

— Вы же, наоборот, прохлаждаетесь на Бурейской ГЭС. Почему вышли из графика? Кто обещал задействовать шестой блок в третью годовщину моего выступления в Кремле «О развитии Дальнего Востока»? Если не мы оседлаем электростанциями дальневосточные реки, то их оседлают китайцы.

— Войдем в график, Виктор Викторович. Через месяц доставим по воздуху, на «Руслане», колесо шестой турбины весом в девяносто тонн. Зрелище, скажу я вам, потрясающее. Приезжайте, подержитесь за лопасть. Телевидение покажет сюжет: «Колесо турбины — колесо истории». — Данченко открыто польстил Ромулу, и тот усмехнулся

этой явной лести. Но она ему понравилась, как нравился деятельный и расторопный министр.

— Ну, а вы, наш Горчаков, — Ромул неприязненно посмотрел на министра иностранных дел Валериева. — Как вы могли допустить, что наш Президент, возомнивший себя крупным международником, назвал организации «Хамас» и «Хесбалла» чуть ли не террористическими? У него что, прадедушка раввин? Или его жену зовут Ребекка? Я столько сил отдал, чтобы на Ближнем Востоке у нас появился козырь, которым бы мы могли шантажировать Америку и Израиль. Я в Кремле принимал лидера «Хамас», и, признаюсь, он понравился мне куда больше, чем израильский премьер, олицетворение простатита и педофилии.

— Виктор Викторович, мы уже дезавуировали заявление Президента. А чтобы сгладить неловкость, мы ускорили поставку «Хесбалле» противотанковых систем «Корнет», а организации «Хамас» увеличили финансовую помощь. — Министр Валериев сморщил на лбу кожу, образовав глубокие пластилиновые морщины. Умные глаза под выпуклыми надбровными дугами замерцали тревожно и печально.

— Ну, а вы, сударыня… — Ромул обратился к губернаторше Корольковой, чье жемчужное лицо тут же окрасил румянец влюбленности. — Мне сообщили, что вашими стараньями установлена мемориальная доска на школе, которую окончил наш талантливый Президент Лампадников. Будто бы доска того же размера, с такими же буквами, что и та, которую вы установили в мою честь на той же школе, ибо мы, как многим известно, оканчивали одну и ту же школу. Вы действительно так привержены мемориальным доскам? А, может быть, небольшой бюст Лампадникова работы художника Шемякина, который умеет изобразить человека наподобие насекомого? Или маленькую урну с прахом, не Лампадникова, разумеется, а его любимого песика, который год назад умер от чумки?

— Виктор Викторович, мне казалось вполне гармоничным… Я полагала, в духе петербургских традиций… Я сама выбирала мрамор, сама утверждала шрифт…

— Ну, хоть сделайте доску Лампадникова чуть меньше моей! Залейте его буквы не золотой, а серебряной краской!

— Будет сделано, Виктор Викторович. Сегодня же позвоню в Смольный, — отчеканила Королькова с комсомольской исполнительностью и преданностью.

Не избежал нареканий и директор ФСБ Лобастов.

— Вы обещали разобраться с сайтом «Карлик, собака, точка ру». С тех пор, как мы обсуждали эту тему, на сайте появились номера счетов в Нью-Йорке, в банке «Барклай», в «Дейчебанке», на Кипре, на Каймановых островах и еще бог знает где, на общую сумму сорок миллиардов долларов, и якобы это счета мои. Там появилась информация о том, что это я лично отдал приказ спецназ открыть огонь из огнеметов и танков по школе в Беслане. Перехват моих переговоров с Президентом США во время аварии «Курска», где якобы я готов закрыть глаза на причастность к катастрофе американской подводной лодки и обещаю Президенту Америки не спасать гибнущих моряков. Там вывешены мерзкие снимки, сделанные в лондонском отеле «Дорчестер», на которых и развлекаюсь с английской топ-моделью. Гнусные комиксы, изображающие меня и Президента Лампадникова, целующихся взасос на кремлевской брусчатке. Неужели вы, Лобастов, бессильны закрыть этот сайт?

— Виктор Викторович, он зарегистрирован в Голландии и постоянно меняет прописку в пределах Европы, Эмиратов, Латинской Америки. В последний раз мы засекли его в Мексике.

— Так пошлите туда агента, черт побери! Пусть раскроит голову держателю сайта, как это сделал Меркадер Троцкому!

— Это сопряжено с большим риском, Виктор Викторович.

— Когда взорвали в Катаре Яндарбиева, меньше был риск? Ведь можете, когда хотите? Или вы не хотите, Лобастов?

— Сайт ликвидируем, Виктор Викторович.

Раздражение Ромула сделало его похожим на рассерженного лисенка — заострившееся лицо, слившиеся чуткий нос и дрожащие губы, длинная, с блестящим оскалом улыбка, яростные глаза. И все это нацелилось на лидера правящей партии Сабрыкина.

— К вам вопрос, партийный босс! — Сабрыкин ссутулился, будто ожидал удара хлыстом. Его землистое лицо ссохлось, щетка седоватых усов дрожала над верхней губой. — До меня дошла информация, что в партии складывается группа, которая выступает за переизбрание

Президента Лампадникова на второй срок. Что это за группа, хотел бы я вас спросить? Кто стоит за этой замечательной инициативой?

— Виктор Викторович, это не так. Позвольте, я объясню… — залепетал Сабрыкин.

—Что «Виктор Викторович»! Что «объясню»! На ваших глазах создается антипартийная и, я бы сказал, антигосударственная группа, и я узнаю об этом не от вас, а от посторонних людей!

— Виктор Викторович, позвольте я доложу…

— Кто они, эти люди? Кто за ними стоит? Кто финансирует? Может быть, «узник совести» Ходорковский, который один раз уже захотел скупить все думские фракции, и где он теперь? Или лондонский фигляр Березовский, который поклялся больше не допустить меня в Кремль и сделать все, чтобы я вновь не заступил на место Лампадникова?

— Виктор Викторович, вы преувеличиваете. Это никакая не группа… — пытался объясниться Сабрыкин.

— Значит, вы, Сабрыкин, хотите увести партию у меня из-под носа? Партию, которую я лепил из комков сырой глины! Лепил каждого члена, как лепят горшки, а потом обжигают в печи! В каждый горшок я вдувал дух, вкладывал мозги, давал ему место в организации, обеспечивал финансированием! Я и вас, Сабрыкин, слепил из придорожной грязи вашего Уржума. Я ведь вас могу затолкать обратно в ту канаву, из которой вас палкой выковырял!

— Я не виноват, Виктор Викторович… Вас неверно информировали… — Сабрыкин был белый, серые усы казались приклеенными, руки дрожали. Его слабость и жалкая безответность только гневили Ромула.

— А не пора ли нам устроить партийную чистку? Как это делал Иосиф Виссарионович. Всех бандитов с криминальным прошлым — под нож! Всех коррумпированных, связанных с олигархами — под нож! Всех педофилов и гомосексуалистов — под нож! Всех агентов иностранных разведок и патентованных предателей под нож! Всех дебилов и душевнобольных — под нож! Кто же останется, Сабрыкин? Только вы? Или вы тоже один из них?

— Виктор Викторович! — возопил Сабрыкин, трясясь, прикладывая руки к груди. — Я вам верен, как отцу родному! Партия ваша, и никому ее не отдам! Только прикажите, и объявим Президенту

импичмент! Досрочное прекращение полномочий, и вы опять Президент! В чем я таком провинился?

— Мне кажется, что ты — предатель, Сабрыкин! — жестко отчеканил Ромул. Он наслаждался, торжествующе блестел глазами, продолжая мучить Сабрыкина. — Мне докладывали, что ты тайно встречаешься с Президентом на мнимой рыбалке. Никаких там щук двухпудовых с кольцом царя Петра. Вы тайно готовите съезд, на котором Лампадников будет объявлен лидером партии и выдвинут на второй президентский срок!

— Вот вам крест, Виктор Викторович!.. Вот вам крест, перед чудотворной иконой!.. Пусть меня молнией расшибет в сию же минуту, если вру!..

Он выскочил из-за стола. Рыдая, ухнул на колени перед образом Богородицы. Стал креститься, сотрясаясь плечами. Ромул выжидал, пока рыдания не перешли в сплошной истерический вой. Встал, подошел к Сабрыкину. Поднял, приобнял за плечи.

— Ладно, Сабрыкин, я верю. Успокойся. Ты человек православный, не станешь лгать перед образом. Работай дальше. У нас впереди много дел. — Усадил партийного лидера на место. Тот шдрагивал худым телом, сморкался в платок, отирал глаза. На седых усах, как дождь на весенних вербах, блестели слезы.

Все общество подавленно молчало, усваивая преподнесенный урок. Виртуоз, привыкший к жестокой педагогике Ромула, отмечал, как разом поникли лилии и пионы, увяли ирисы и золотые шары, сникли садовые колокольчики и астры. Вдруг подумал, что этот многоцветный букет, стоящий в хрустальной вазе в резиденции Ромула, весь, целиком, он может переставить в резиденцию Рема, и они будут источать тот же аромат, радовать другого хозяина своим многоцветьем, поворачивать к источнику света свои изысканные соцветья.

— Прошу вас не принимать близко к сердцу мои резкие упреки. Вы — великолепная команда, которую я создавал в страшные для страны времена, среди терактов и войн, заговоров и внешних угроз. Вы — лучшее, чем располагает Россия. Мы еще подождем год, не больше. Я вернусь в Кремль, и мы запустим Развитие, которое я вам обещал. Мы вырвем Россию из «черной дыры истории» и вознесем ее на небывалую высоту, как это в разное время сделали Петр и Сталин. Вам уготована роль сталинских наркомов и маршалов, руководителей

промышленности и идеологии. Мы вздернем Россию на дыбы, поведем ее путем огненных пятилеток. У нас будет самая лучшая в мире наука, самая современная промышленность, самая могучая армия. Вы оставите свой след в истории, и о вас не забудут, как о сотнях бесцветных, бездарных чиновников, которые, как тени, приходят в министерства и ведомства и исчезают, как блеклый дым. Я подарю вам величие, открою для вас историческое творчество.

Он воодушевленно вещал, стремясь передать им заряд своей молнии, зажечь в их глазах огонь небывалой мечты, вовлечь в свою неистовую стихию. Они испуганно слушали. Виртуоз видел их затравленные лица, опущенные долу глаза. Им не хотелось разделить долю сталинских наркомов, работавших по двадцать часов в сутки. Не хотелось страхов, когда в дни испытаний самолетов и танков, в случае неудач, их ожидал расстрел. Не хотелось казенных дач и скудных пайков, несравнимых с их нынешними загородными дворцами, роскошными приемами, увеселительными поездками в Ниццу.

Ромул не замечал их тусклых взглядов и сутулых плеч:

— Друзья, теперь же прошу сосредоточиться и выслушать сообщение нашего несравненного Иллариона Васильевича Булаева, для чего, собственно, я и пригласил вас к себе, оторвав от насущных дел. Прошу, мой дорогой друг — Ромул стушевался и как бы исчез, предоставив открывшееся пространство Виртуозу.

— Каждый из нас на своем посту, — начал вкрадчиво Виртуоз, — сообразно с принятой на себя добровольной ролью, способствует поддержанию образа Духовного Лидера России. Что, как напомнил нам Виктор Викторович, является важнейшим условием нашей политической и социальной стабильности. Поддержание этого образа предполагает непрерывное его расширение. Ибо по законам квантового сознания стабильность есть преодоление этой стабильности в движении, а сохранение незыблемости и неизменности формы есть постоянное ее расширение. Таким образом, статус Духовного Лидера России расширяется до статуса Духовного Лидера Русского Мира…

Предмет, который он взялся излагать, был не прост для понимания собравшихся за столом деятелей. Требовал от них не только эрудиции, но и мистического опыта, которым далеко не все обладали. Поэтому Виртуоз прибегнул к испытанной практике внушения. Вкладывал

мысль непосредственно в сознание слушателя, где она превращалась в компактный геометрический образ.

— Этой осенью, в сентябре, мы намерены провести в Москве, ни Красной площади, Мистерию собирания Русского Мира. Министерству иностранных дел, через свои консульские отделы, надлежит связаться с русскими и русскоязычными общинами, прожинающими в различных странах. Выбрать в этих странах места, так или иначе связанные с русской жизнью. Забрать из этих мест горсти земли. Привезти в Москву и ссыпать эти священные горсти к основанию кремлевской стены, левее от Спасской башни, напротив Василия Блаженного, который, как известно, является образом Русского Рая. Потомки дворянских родов и наследники Белой армии, мученики Второй мировой и пилигримы «третьей волны», братья Крыма, Северного Казахстана, Прибалтики. Пусть к кремлевской стене ляжет земля Порт-Артура и русского Сиднея. Горсти с кладбища Сен-Женевьев-де-Буа и от русских святынь в Палестине. Земля из Павлодара и Ермака, возведенных русскими строителями в казахстанской степи, и от церкви «четырех адмиралов» в Севастополе. Здесь будут частички почвы от Рейхстага и Сен-Готарда, с Шипки и Корфу, из Тбилиси и Минска. Везде, где пролилась русская слеза или русская кровь, где ступала нога русского воина или исследователя. Люди съедутся к Кремлю и бросят мистические горсти к священной кремлевской стене, символически восстанавливая имперскую силу России…

Свои слова Виртуоз обращал к министру иностранных дел Валериеву, для чего уподобил их туго свернутой спирали. Внедрил в наморщенный лоб министра. По другую сторону лобной кости спираль распрямилась, впечатав в сознание дипломата смысл произнесенных слов.

— Вам, Владыко, поручается культовая часть торжества.— Виртуоз заготовил тираду, которую отождествил с пульсирующей синусоидой, намереваясь внедрить ее в догматическое сознание митрополита Арсения. — Вслед за обрядом землеприношения над Красной площадью появляются четыре сияющих дирижабля, выполненных из легчайших сплавов. Под ними подвешены молельни в виде православного храма, мусульманской мечети, еврейской синагоги и буддийской пагоды, прозрачные, из хрустального стекла. Пока

дирижабли проплывают над площадью, в них батюшки и раввины, муллы и бонзы совершают молебен, символизирующий имперскую веротерпимость России…

Митрополит Арсений, не понимая, как ему обеспечить появление в московском небе еврейской синагоги и буддийской пагоды, недоуменно шевелил бровями и разглаживал на груди благоухающую духами бороду. Виртуоз вонзил ему в левый висок синусоиду, продернул, как трепещущую золотую нить, и она заиграла, словно молитвенный всплеск из «Достойно есть» Дмитрия Бортнянского.

— Министерству обороны поручается провести военный парад, выставив на него все образцы новейшей техники, пусть даже совершенно секретные, в единичных экземплярах. Надеемся увидеть танк Т-95, ракету «Порыв», бэтээры и боевые машины пехоты третьего поколения, разведывательно-ударные комплексы, антиракеты российской ПРО, спутники-убийцы, платформы с боевыми космическими лазерами и электромагнитными пушками, геофизическое оружие, способное согнуть земную ось и вызвать у берегов США волну высотой в 120 метров. Пусть пролетят над Красной площадью эскадрильи беспилотных разведчиков, беспилотные штурмовики и истребители и беспилотные бомбардировщики-невидимки. Последние, конечно, должны быть видны для обозрения публики. Большое впечатление должна произвести стратегическая подводная лодка нового проекта «Царь Николай». Для ее транспортировки через Красную площадь следует на время передвинуть Иверскую часовню и снести скульптурки зверьков работы Церетели, заполонившие Манежную площадь. Скульптурки не уничтожать, а расставить по периметру Третьего кольца, чтобы ими любовались застрявшие в пробках водители…

Министр обороны Курнаков надул лоб, в котором, словно пузырь, скопилось непонимание, — каким образом доставить гигантскую лодку с завода в Северодвинске и провезти ее по Красной площади. Чувствуя предынсультное напряжение министра. Виртуоз начертал на его невысоком лбу окружность, словно наложил тавро, добившись от министра ясного видения проблемы.

— Вам, сударыня, с вашим непревзойденным организационным опытом, полученным во времена комсомола, поручается театрализованное действо. — Королькова, польщенная комплиментом,

порозовела, отчего на ее жемчужном лице проступило множество тончайших шрамов, оставленных пластическими хирургами. — На Красной площади должна появиться процессия пляшущих, танцующих и поющих людей. В национальных костюмах, с национальными инструментами, все народы Советского Союза. Узбеки и казахи, грузины и армяне, эстонцы и литовцы, белорусы и украинцы. Как если бы страна не распалась и имперский союз народов продолжал существовать. Мало того, к ним примкнут представители Африки и Латинской Америки, баски, каталонцы, ирландцы, шотландцы. Русский мир принимает в себя вселенское человечество, и Духовный Лидер Русского Мира приветствует эту мировую империю…

Королькова быстро записывала в блокнот золотым карандашиком. Виртуоз, не сомневаясь в ее понятливости и исполнительности, на всякий случай начертал на ее щеке аккуратный ромбик, словно поцелуй молодого пажа.

— Господин Сабрыкин — замечательный организатор, преданный нашему общему делу.— Виртуоз счел за благо утешить и поощрить Председателя правящей партии, который все еще время от времени всхлипывал. — На вашу долю, мой друг, выпадает задача организовать массовую демонстрацию трудящихся, — молодежь, спортсмены, работники предприятий. Пусть идут свободными колоннами, — воздушные шары, гирлянды цветов, конфетти, транспаранты. Скандируют лозунги. И конечно, как можно больше портретов нашего Духовного Лидера…

Сапрыкин благодарно кивал. Ему вновь доверяли. Он оставался в центре политики. Был вхож в ближайший круг. Виртуоз начертал на его подбородке эллипс, скреплявший распавшееся было сознание.

— Не скажу, что Федеральной службе безопасности будет проще, чем остальным. — Услышав эти слова, Лобастов странно расплылся, рассредоточился. Лицо его стало стертым, невыразительным, словно он хотел раствориться, исчезнуть, уклониться от предстоящей обузы. — Вам надлежит организовать ночной праздник на Москве-реке. Фейерверк, пылающие отражения на черной воде. Огненные письмена, воспроизводящие на водной поверхности высказывания Духовного Лидера. Десятки речных трамвайчиков, снующих мимо Кремля, и на каждом — ресторан с национальной кухней, мексиканской,

скандинавской, кавказской, африканской. Последняя, я надеюсь, будет свободна от любимо– ю блюда императора Бокассо. Пусть ваши агенты позаботятся и достанут рецепты…

Виртуоз выбрал на затуманенном лбу Директора ФСБ место над правым глазом и поставил жирную точку — магический знак, нозвращающий рассеянному сознанию прежнюю сосредоточенность и проницательность.

— И наконец, сложнейший технический аттракцион. — Виртуоз воззрился на министра промышленности и энергетики Данченко.— Подумайте, какие технические средства, какие ультрасовременные технологии нужно употребить, чтобы ночью над Москвой, на огромной высоте воссиял разноцветный парящий портрет нашего Духовного Лидера. Он должен быть невесом, начертан на небесах, соткан из бесчисленных лучей. Должен напоминать Спас Нерукотворный. Если это под силу вашему министерству, значит, вы по праву его возглавляете…

Данченко закрывал то один, то другой глаз. Чесал то за одним, то за другим ухом. Щелкнул в воздухе пальцами, словно нашел решение. За что и сподобился начертания на лысом темени гиперболы.

— Теперь, быть может, о самом главном. — Виртуоз обратился к директору правительственного телеканала Муравину. — Ваши операторы должны транслировать торжество непрерывно, в течение суток, и повторять его многократно в последующие недели. Вы же, господин режиссер… — Виртуоз перевел взгляд на Басманова, нетерпеливо и жадно внимавшего, — Вам предоставлена самой историей возможность создать шедевр, не уступающий творению Лени Рифеншталь. Это повод — в символической форме выразить смысл русской истории двадцать первого века, ее мистику, ее необъятную широту и величие. Вы станете пророком кинематографа нового времени, сокрушите авторитет Голливуда, сделаете Москву столицей киноискусства…

Квадрат на переносице Муравина и пучок лучей, символизирующих солнце, на виске Басманова были магическими символами воли и угодности богу.

— А как с финансированием? Как с денежками? — азартно раздувая усы, поинтересовался Басманов.

— Внебюджетный фонд, без ограничения, — сухо ответил Виртуоз.

— Это другое дело. Это я понимаю, — режиссер потирал ладони, предвкушая успех этого поистине царского заказа.

— Все свободны, — произнес Ромул, который вновь явился из небытия и стал главной персоной в собрании. — Благодарю всех за службу.

Члены ареопага поднимались, раскланивались с хозяином. Митрополит благословлял Ромула на прощание. Когда из гостиной выходил министр иностранных дел Валериев, из него выпала, звонко распрямилась блестящая спираль, похожая на пружинку часов. Виртуоз поднял ее и бережно спрятал в нагрудный карман.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они остались вдвоем в опустелой гостиной. Горела малиновая лампада перед чудотворным образом. Сдвинутые недавними посетителями, стояли дубовые стулья. Ромул выглядел утомленным. Глаза запали, смотрели недоверчиво и тревожно:

— Понимаю, как тебе тяжело, Илларион. Вижу, как ты стараешься. Сколько сил тратишь на то, чтобы поддержать этот двухкупольный храм. — Виртуоз слышал в словах Ромула странные интонации, напоминавшие едва различимые шорохи. С такими звуками скатываются с горы кусочки камней, частицы материи, крохотные песчинки, неуклонно, ежечасно уменьшая гору, оставляя на ней морщинки эрозии. — Я чувствую, как ослабевает мое влияние на Артура, как он уходит с орбиты, на которую мы его запустили. Происходит то же, что и в случае с Ельциным, когда я воспользовался твоими оккультными рецептами, чтобы от него отделиться. Ты научил меня приему, овладев которым я вырвал у Ельцина сердце. Мне страшно, что Артур овладеет тем же приемом и вырвет мое сердце. Ты не открыл ему этот прием?

— Эта наша с тобой тайна.

Ромул всматривался в зрачки Виртуоза, боясь обнаружить легкую искорку лжи. Виртуоз не опустил глаза. Тайный прием, о котором шла речь, был частью все той же оккультной хирургии, которую использовал Виртуоз, осуществляя переход власти от Ельцина к Ромулу. Оба были уложены рядом на воображаемые операционные столы. Виртуоз обоим вскрыл грудь и мысленно пересадил сердце Ельцина, фиолетовое от гематом, с коричневыми больными заплатками, в черных скользких рубцах, — в разъятую грудь Ромула, рядом с его молодым, ярко-алым, страстно трепещущим сердцем. Оба сердца оказались в одной груди. Пересаженное старое сердце навязывало молодому свой пульс, подчиняло его своей воле, что и означало контроль отступившего в тень Ельцина за молодым честолюбивым преемником. Новый Президент внешне казался самостоятельным. Однако в нем, наряду с его собственным сердцем,

билось чужое, стариковское сердце. Чужая сущность управляла его волей, контролировала ею политику, делала пленником Семьи.

— Помню, во время отпевания Бориса Николаевича в Храме Христа ко мне подошла Наина Иосифовна и каким-то шипящим, змеиным голосом прошептала: «Я знаю, это ты его убил! Ты вырвал у него сердце!»

Ромул не мог расстаться с мучительным воспоминанием. Огромный, заваленный цветами гроб. На нем, как на сыром стогу, мертвый Ельцин. Золотые ризы священников. Черные с красным венки. И яростные, ненавидящие, из-под траурной вуали, глаза вдовы. — «Я знаю, это ты вырвал ему сердце!».

Виртуоз, освобождая Ромула от обременительной опеки Семьи, научил его тибетскому приему, разрушающему в одном человеке присутствие другого. Этот прием назывался «Скрипичный ключ». Человек, несущий в себе чужое сердце, становился в напряженную позу танцора, выгибал хребет, напружинивал таз. Его грудь выпячивалась, наполнялась воздухом. Одна нога отрывалась от земли и застывала в воздухе. Руки становились похожими на лопасти, словно собирались совершить винтообразное движение. Вся фигура приобретала сходство со скрипичным ключом. В этой позе человек сосредотачивал внутренний взор на своей грудной клетке, где на едином стебле, словно два цветка, пульсировали оба сердца. Отыскав в себе чужое сердце, человек разящей мыслью, острой и молниеносной, как скальпель, отсекал его и бурно выдыхал воздух. Иногда эта операция кончалась обмороком. Иногда изо рта начинала хлестать черная гуща — распавшееся отсечное сердце. При этом хозяин исторгнутого сердца, где бы он ни находился, умирал от сердечного приступа.

Виртуоз помнил, как в резиденции Ново-Огарево, в бильярдной комнате, рядом с зеленым бильярдным столом, он поставил Ромула в позу тибетского танцора. Тщательно выгибал ему поясницу. Поддерживал на весу стопу. Раздвигал руки, придавая им подобие пропеллера. Заставлял погружать взор в глубину груди, где бились в тесноте спаренные сердца. Когда черенок одного отделился от другого настолько, что между ними легко мог скользнуть скальпель, тихо скомандовал: «Режь!» Последовал изящный всплеск руки, мучительный стон. Ромул, схватившись за грудь, рухнул на ковер. Из

губ потекла черная, похожая на варенье кровь. Через четверть часа раздался панический звонок — сообщили, что Ельцин умер.

— Я помогал тебе и буду впредь помогать. — Виртуоз видел, как терзают Ромула тайные страхи, как обременительно для него воспоминание об умерщвленном благодетеле. — Но я до сих пор не знаю, почему, выбирая преемника, ты остановился на Лампадникове. Ведь были и другие, не менее достойные. Неужели только потому, что вы были знакомы с детства? Детские дружбы таят в себе надломы, которые проявляются в зрелом возрасте. Как протекала ваша детская дружба?

Виртуозу, который поддерживал хрупкий баланс в отношениях двух соперников, была важная каждая мелочь, выявлявшая истинный характер их детской дружбы. Любая неучтенная мелочь, подобно песчинке, могла упасть на чашу властных весов, качнуть чуткую стрелку, и тогда потребуются новые приемы и технологии, восстанавливающие равновесие, новые титанические усилия Виртуоза, воздействующего на субстанцию власти.

— Если ты настаиваешь, я поведаю тебе тайну наших отношений. — Ромул совершал над собой усилие, намереваясь посвятить. Виртуоза в сокровенные глубины своей судьбы. — Мы росли с Артуром в Ленинграде, на Литейном проспекте, в одном дворе, учились в одной школе. Я жил в тесной каморке, в полуподвале, где обитали мой отец — автослесарь и мама — уборщица в детском саду. Бедное жилище пролетариев, где подчас не хватало стаканов и чашек, под растресканным прокопченным потолком десятилетиями висел один и тот же оранжевый матерчатый абажур. Лампадниковы жили в соседнем доме, в великолепной аристократической квартире. Отец — известный адвокат, мать актриса драматического театра. У них постоянно собирались городские знаменитости — музыканты, актеры, поэты, модные режиссеры и знатные архитекторы. Заглядывали чины из Смольного, наполняя наш двор черными лакированными «Волгами» и атлетического вида шоферами. Когда я забегал к ним в гости, меня поражала мебель из карельской березы, китайские и японские вазы, роскошная библиотека с золочеными старинными корешками и современными суперобложками. Артур был умница, отличник, все схватывал на лету, но телом чахлый, тщедушный. Не умел за себя постоять, так что мне частенько приходилось заступаться за него во

время дворовых потасовок, отбивать от нападок задиристых соседских хулиганов. Однажды его мама, красавица, актриса, с очаровательным добрым лицом, белыми пышными руками и глубоким вырезом на синем бархатном платье, дивно пахнущая духами, пригласила меня на званый ужин, где будет много великосветских гостей. Мне очень хотелось там очутиться, но я робел. Надо было сидеть за столом, пользоваться стоповыми приборами, всеми этими бесчисленными вилками и вилочками, лопаточками для рыбы, ножами и ножичками. Я попросил Артура научить меня хорошим манерам, чтобы не ударить лицом в грязь. Он взялся меня учить. Показывал, как пользоваться лопаточками для рыбы. Как правильно держать вилку и нож. Как приступать к салатам. Как обходиться с креветками и лобстерами. Он сказал: «На второе блюдо нам подадут молодую телятину, сваренную в вине. Это старинный испанский рецепт, который мама привезла из Мадрида, когда была на гастролях. Эту телятину надо брать руками из общего блюда, перенести к себе на тарелку и есть пальцами, не пользуясь ножом и вилкой. Удиви всех знанием испанских манер, и тебе будут аплодировать». Я пришел в назначенный час. Все уже рассаживались за великолепным столом. Хрусталь, фарфор, серебро. Ослепительная белая скатерть. Гости, которых я узнавал по фотографиям в журналах. Породистые мужчины. Обворожительные дамы. Меня представили, как лучшего друга Артура, подающего большие надежды. Стали обедать. Я страшно волновался, но с успехом справился с закусками, салатами, с замечательно вкусным грибным супом. Наконец, прислужница внесла и поставила на стол огромное фарфоровое блюдо с ломтями коричневого мяса, плавающего в ароматном винном соусе. Хозяйка предложила вкусить испанское мясо. И тут я, на глазах изумленных гостей, полез обеими руками в блюдо, выудил ломоть мяса, перенес на тарелку, по пути проливая на скатерть языки соуса. Стал рвать руками кусок и засовывать его в рот, полагая, что именно так на пирах вкушали испанские идальго и сеньоры. Пачкался, громко чавкал, рвал зубами мясо, лил себе на грудь едкий соус. Очнулся, увидев, с каким ужасом смотрят на меня гости, как округлились прекрасные глаза хозяйки и как торжествующе хихикает Артур. Большего позора в жизни я, кажется, никогда не испытывал…

На щеках Ромула появились пунцовые пятна, которые быстро перемещались по худому лицу и, в конце концов, остановились на кончиках ушей, превратив их в язычки пламени. Это был румянец не прошедшей обиды, цвет мщения, знак незабытого позора, мета непрощенного оскорбления.

— В детстве и юности я был хорошим спортсменом. Легкая атлетика, лыжи, борьба, поднятие тяжестей. Занимал на школьных соревнованиях первые места. Никто не решался затевать со мной драки. Мне хотелось приобщить моего немощного друга к спорту. Я брал его на тренировки. Учил бегать на коньках и на лыжах. Заставлял подтягиваться на перекладине, на которой он висел, как немощный стручок. Однажды на него напали три хулигана, стали отнимать фотоаппарат, колотили, издевались, плевали. Я пришел на помощь. Ввязался в драку, пользуясь приемами каратэ, уложил всех троих и освободил Артура. Уставший, чувствуя, как горят на лице ссадины, я шел в подворотнях, слыша поскуливания Артура. Потом он замолчал. Потом окликнул меня: «Посмотри, какая интересная открывается картина». Я обернулся и увидел, что он стоит над открытым канализационным люком и смотрит вниз. Я подошел, склонился над зловонной дырой, стараясь что-нибудь разглядеть. Артур сзади сильно меня толкнул, и и полетел в тартарары. Чудом не сломал себе ноги, плюхнулся в гадкую жижу. Стал звать на помощь. Но Артура и след простыл. Вытащили меня подоспевшие ремонтники. Я понял, что Артур хотел меня убить. Друг, которого я только что спас от несчастья, собрался меня убить. Это было чудовищно и необъяснимо. Бросило тень на нашу детскую дружбу…

Ромул казался задумчивым. Словно продолжал размышлять над причинами давнишнего вероломства. Пытался понять подпольную сущность чужой души, столь же темной и жуткой, как канализационный люк. Был бессилен найти объяснение.

— Мой отец был охотник, пристрастил меня к этой замечательной русской утехе. В тринадцать лет у меня уже было ружье, подержанная немецкая двустволка с легкими тонкими стволами и седым, от множества прикосновений, ложем. Вместе с отцом я бывал на зимних охотах. Видел, как отец выстрелил в бело-рыжий вихрь взметнувшейся над кустами лисицы, и она легла на сверкающий снег, рассыпав вокруг красные горошины крови. На лесном болоте, под утренней латунной

зарей мы стреляли уток. Срезанная отцом кряква, смугло-коричневая, с драгоценными изумрудными перьями, плюхнулась в воду и покачивалась, головой иниз. Над болотом недвижно сияла огромная заря, и медленно уплывало сизое облако дыма. Я стал брать на охоту Артура. Его родители купили ему дорогое ружье с серебряными инкрустациями, великолепный ягдташ и чудесный кожаный патронташ, который он набивал до отказа особыми, фирменными английскими нитронами. Стрелял он из рук вон плохо. Нервничал, торопился, мазал и всегда завидовал мне, когда под мой выстрел выскакивал пушистый ошалелый заяц или моя дробь сбивала с сосны красносинюю, свитую в клубок белку. Мы решили поехать на весеннюю охоту, на тягу, пострелять вальдшнепов. Эта охота не имеет себе равной. Ты выходишь к вечерней опушке, когда над лесом вьется гонкая золотистая зорька. Птицы на закате поют заливисто, неистово, по всему огромному, гулкому, по-весеннему пустому лесу. К.жая-нибудь пичуга с малиновой грудкой сядет высоко на берегу и заливается дивно, словно прощается с чудесным весенним днем. Затрещат дрозды и смолкнут, накрытые сумерками. Пролетят в стороне стремительные утки, и нет их. Ароматы холодной тяжелой земли, талых вод, невидимых, расцветающих подснежников. Темнеет, лесные вершины на угасающем небе волнуются причудливой бахромой. Загорается первая влажная божественная звезда. И вдруг — странный, таинственный звук, скрипучий, как удар смычка по виолончельной струне. На меркнущем небе возникает темный силуэт птицы — отведенные назад, заостренные крылья, круглая, чуть опущенная голова, длинный прямой клюв. Вальдшнеп плавно скользит над опушкой, вровень со звездой. Ты посылаешь в него красный, грохочущий сгусток, огненную метлу, которая сметает птицу с неба. Она падает на темную землю. Ты ищешь ее своим звериным, обостренным в ночи зрением, находишь по запаху теплых перьев, по дыму, которым пропиталось ее оперенье. Держишь на весу чудесную добычу, целуешь ржавое, черно-красное оперенье, круглый гаснущий глаз. Я взял Артура на тягу. Из благодарности он подарил мне целую пачку элитных патронов, каких я еще не видывал. Гильзы были серебристого цвета, на них красовались изображения зебры, антилопы, дикого буйвола, льва, леопарда. На донце, рядом с капсюлем, была выбита изысканная эмблема — богиня охоты Диана с луком. С такими

патронами богачи-англичане ездили на сафари в Африку. Мы отправились в замечательные угодья на Карельский перешеек. Выбрали место на опушке. Встали под двумя соседними деревьями. Дождались сумерек. Было тепло, превосходная погода для тяги. Едва стемнело, как раздались скрипучие звуки. Вальдшнеп плавно летел прямо на мой выстрел. Я ударил, видел красный ворох, пролетевшую надо мной незадетую птицу. Разочарование, досада, почти горе. Но через несколько минут, словно Бог услышал мое несчастье, — еще один вальдшнеп. На светлом небе — отчетливый, длинноносый, прямо на меня. Стреляю, опять промах. Что же происходит со мной? Зачем меня Господь так наказывает? «Смилуйся, Господи!» И вот третий вальдшнеп, посланный самим Богом, — тихо, низко. Я вел кончиками стволов, помещал его над оконечностью ружья, молил Бога, чтобы выстрел удался. Грохот, красный огонь, снова промах. Из-под соседней березы выстрелил Артур, и мой вальдшнеп достался ему. Он кричал от восторга, когда гонялся в темноте за подранком. Настиг среди жухлых стеблей, как азартный спаниель. Стал перекручивать ему шею, ломая позвонки. Моему огорчению не было предела. Не было предела его торжеству надо мной. Дома я рассматривал элитные патроны — его подарок. Почти машинально откупорил один из них. И не нашел в нем дроби — только порох и несколько пыжей. Один за другим откупоривал патроны, и нигде не было дроби, все были холостые. Он подсунул фальшивку, чтобы мне не досталась добыча. А если бы это была война? И он снабдил меня холостой пулеметной лентой, а на меня надвигалась вражеская цепь, поливая огнем? Я не сказал ему о моем открытии. Но запомнил на всю жизнь его низкое, подлое предательство…

Ромул странно улыбался, словно ему доставляло наслаждение вспоминать об этом давнем страдании. И о том, что он сохранил свое открытие в тайне, нес через всю жизнь, ожидая повода отплатить за давнишнее вероломство. Его лицо обрело призрачный лунный свет с голубоватым отливом смерти.

— В старших классах наши школьные вечера превращались и дискотеки. Я отлично танцевал — танго, румба, самба, ча-ча-ча. Но особенно любил рок-н-ролл. В этом танце мне чудилась моя будущая судьба — полет, страсть, головокружительный успех, смертельный риск. Девушки, которые приходили на дискотеку, все желали со мной

танцевать. Артур не умел танцевать. Был увалень, запинался, дичился. Очень часто, когда все неистово танцевали, стоял у стены, среди разноцветных вспышек, и я успевал заметить муку на его лице. В соседней школе училась девушка Лена, очень красивая, смелая, раскованная, с чудесными, распущенными до плеч волосами и сильной грудью. Она нравилась Артуру. Он приглашал ее в кафе, водил по музеям, зазывал к себе домой. Раз он пришел вместе с ней на дискотеку. Пробовал танцевать. У него получались только унылые медленные танцы в стиле блюз. Я видел, что это ее раздражает. Когда ударил мой любимый рок-н-ролл, я пригласил ее. Мы кружились, как два вихря. Я подбрасывал ее, шручивал вокруг себя, прогонял ее гибкое страстное тело меж моих расставленных ног. Целовал ее в танце, и она мне отвечала поцелуями. Все расступились, открывая нам место. А мы, словно неистовые счастливые звери, исполняли брачный танец. Отпуская ее, я видел ее потемневшие влажные волосы, бурно дышащую грудь, счастливые сумасшедшие глаза. Успел заметить затравленное лицо Артура с огромными, полными слез глазами. Через неделю у нас проходила районная математическая олимпиада, где мне непременно нужно было получить высокий балл, чтобы поступить в желанный для меня институт.

С математикой у меня были нелады. У Артура был тот же вариант, что и у меня. Я попросил у него черновик, чтобы списать решение алгебраической задачи. Он немного помедлил, что-то подчистил в черновике и дал мне. Я добросовестно списал. И каково же было мое удивление, когда он получил за свое решение пятерку, а я, списавший его задачу, получил двойку. Он подсунул мне неверный ответ. Внес в решение заведомую ошибку. Это была месть за рок енд ролл…

Ромул, откинув голову, хохотал, счастливо, заливисто, и этот смех постепенно переходил в хриплый мстительный клекот. Так может смеяться мучитель, наслаждаясь страданиями ненавистной жертвы.

— Я знаю, что Артур преследовал Лену, а она его избегала. Он чахнул от этой юношеской, неразделенной любви. Впадал в меланхолию, превратился из отличника в троечника. Учителя разводили руками, не умея понять, что творится с лучшим учеником школы. Раз на Литейном проспекте я случайно встретил Лену. Она стала еще краше, в ней появилось что-то от цветущей, молодой, многоопытной женщины. Мы зашли в кафе. Я стал расспрашивать, как

развивается их роман с Артуром. Она стала безжалостно и цинично издеваться над ним. Сказала, что он просто теленок. Не интересен женщинам. Может быть, природа вообще не наделила его мужскими качествами. Намекнула на какой-то эпизод, когда он пригласил ее к себе домой, пытался ей овладеть, но у него ничего не вышло. А меня словно черт дернул: «Пойдем ко мне. Родителей нет дома. Может, у меня выйдет». Мы станцевали с ней в постели замечательный рок-н-ролл. Помню ее мокрый, красный рот, белые зубы, которыми она больно меня кусала. Лежал в изнеможении, чувствуя лопатками ее дышащее сонное тело. Близко от глаз на спинке стула висело ее пестрое платье. Она ушла в ванную, не затворила дверь. Стояла под душем, стеклянная, отекающая водой. Переступила край ванной. Ее влажный золотистый лобок. Лениво идущие ноги. Маленькие мокрые следы на полу. Больше мы с ней не виделись. Но она, повинуясь какому-то женскому садизму, успела рассказать обо всем Артуру. Он бросился на меня с кулаками. Я перехватил его запястья. Он бился, хрипел, плевал в меня, рыдал истерически. На этом кончилась наша дружба. Скоро мои родители получили квартиру в новом районе, и я уехал. Таковы были наши детство и юность.

Ромул нахмурил лоб, словно решал какую-то неразрешимую мучительную задачу, над которой бился всю жизнь. Одну из тех, что, подобно теореме Ферма, остаются неразрешимыми.

— Ты поведал мне удивительные вещи, — произнес Виртуоз, скрывая торжество диагностика, разгадавшего тайный недуг. Больными были отношения Ромула и Рема. Больной была конструкция двоевластия, которую он, Виртуоз создал, поместив в ее сердцевину дефект.

Так в фюзеляже самолета скрывается трещина, неощутимая на земле или в спокойном полете, но обнаруживает себя на крутом вираже, превращая машину в груду обломков.

— Но тогда почему, невзирая на тайный надрыв, ты выбрал именно его?

— Мы встретились снова спустя много лет, когда я вернулся в Ленинград из Германии и попал в окружение Собчака. Артур был прекрасным юристом, известным в кругах демократов, был приближен к Собчаку. Мы вместе выполняли деликатные поручения мэра. Вместе создавали ленинградский бизнес, от торговли цветными металлами до

игорных домов. Нашу машину, когда мы мчались в Выборг на таможню, обстреляли бандиты, и Артур закрыл меня своим телом, хотя, слава богу, пули его избежали. Когда случился ГКЧП и многие из окружения мэра ринулись присягать коммунистам, он, как и я, под угрозой ареста или даже расстрела, оставались в Смольном и организовали сопротивление. Когда Собчак проиграл выборы и другие люди захватили мэрию, он не предал опального патрона, не выдал его секретов. Меня пригласили в Москву, в администрацию Президента, и я взял Артура с собой. С тех пор мы неразлучны. Он участвовал в создании Газпрома как имперской компании. Переводил неучтенные деньги в офшорные банки, создавал фирмы, гарантируя, что они при любых условиях останутся под нашим контролем. Он летал на секретную встречу с Президентом США, улаживая инцидент с «Курском», ценой тому было прекращение финансовой помощи Басаеву. Он был неформальным руководителем штаба во время захвата террористами Центра на Дубровке и отдал приказ о применении газа. Это он ездил на переговоры с султаном Катара, вызволяя наших героев, взорвавших Яндарбиева. Он находился в той злополучной сауне вместе с Собчаком, когда стареющий сатир в окружении обнаженных наяд плескался в лазурном бассейне и внезапно умер от разрыва сердца. Мы вместе участвовали н ночных пирах на Сардинии, где друг Берлускони устраивал поистине римские оргии. Должен сказать, что Артур к этому времени вполне избавился от юношеского целомудрия и стыдливости, и я помню, как его обнимали три обнаженных вакханки, а он украшал их прелестные тела виноградными гроздьями. Он мне близок, как брат. Нас связывают общие тайны, общие деньги, общее, если оно случится, возмездие. Нет ближе человека, чем он. На него и пал мой выбор.

По лицу Ромула блуждало странное выражение, похожее на тень листвы. Он хмурился, улыбался. Улыбка была тягучей, недоброй, словно он поведал Виртуозу не всю правду и оставалась та ее часть, что не подлежит разглашению.

—Тогда позволь задать еще один вопрос, который я задавал тебе прежде и не удостаивался внятного ответа.

— Догадываюсь, о чем хочешь спросить.

— Почему ты не захотел остаться на третий президентский срок и оставил Кремль, породив столь сложное, неверное, рискованное

двоевластие? Я создал для тебя «партию третьего срока». Собирал неистовые толпы в Москве и в провинции, умолявшие тебя остаться. Присылал к тебе ходоков-губернаторов. Они падали пред тобою ниц, как бояре перед Иваном Грозным, когда тот удалился в Александрову слободу. Почему ты ушел из малахитового кабинета?

— По-моему, причины моего ухода широко обсуждались в печати и на сайтах. Особенно убедительна аналитическая статья журналиста Натанзона, которого ты зачем-то пускаешь на мои пресс-конференции.

— Я знаю эту статью. Этот талантливый иудей, как ты его называешь, считает, что ты — прирожденный сибарит, любитель дорогих яхт и красивых женщин и, «отмотав два срока на галерах», вырываешься на долгожданную свободу, чтобы стать самым богатым, известным и независимым мужчиной мира. Еще он предполагает, что твой уход — вынужденный, тебя заставили уйти масоны, к которым ты принадлежишь, имея посвящение высокой степени. Следом он утверждает, что тебя «уволили» американцы, шантажируя Гаагским трибуналом, куда ты «загремишь» за военные преступления в Чечне. Они грозят обнародовать твои банковские счета с сорока миллиардами долларов, показать купленные тобой в различных частях Европы дворцы и замки, а также опубликовать записи твоих разговоров, где ты приказываешь убить Политковскую и Литвиненко.

— И что ты думаешь по поводу версий иудея?

— Думаю, что если бы это и было правдой, то, напротив, эта правда заставила бы тебя держаться за президентское кресло — гарант твоей безопасности и ненаказуемости. Почему ты ушел, Виктор?

Глаза Ромула затуманились, словно перестали видеть близкие предметы, а созерцали таинственную, неоглядную даль.

— Видишь ли, когда завершились самые бурные и грозные годы моего правления, и мне привезли на показ отрубленные головы Масхадова и Басаева, и притихла татарская и якутская вольница, и кичливые губернаторы поджали хвосты, и на Государственную думу мы набросили смирительную рубаху, меня вдруг охватила странная тревога. Приближалось что-то загадочное, не связанное с политикой, не соотносимое с моей личной удьбой. А с чем-то огромным, включавшим в себя и политику, и мою судьбу, и всю русскую историю. Меня вдруг необъяснимо повлекло в Псков, город, где я никогда не был. Просыпаюсь в ночи, и будто кто-то шепчет: «Езжай в Псков!»

Сижу на приемах, беседую с министрами, принимаю иностранных послов, и кто-то опять шепнет на ухо: «Поезжай в Псков». Уже кончался второй срок моего президентства, и ты все сильнее давил на меня, убеждая остаться на «третий срок», — устраивал свои митинги и «движения в поддержку». Я соглашался, рассматривал, каким образом можно это осуществить, не нарушая Конституцию. Но голос продолжал увещевать: «Поезжай в Псков». Предстоял мой визит в Швецию, шведский король приготовил мне в подарок роскошный «вольво». Но я отменил поездку и, сломав календарный план, повергнув в ужас протокольный отдел, улетел в Псков. Мне показывали чудесные церкви, старинные крепости, прекрасные озера, но я чувствовал, что прилетел не за этим. Меня ожидает здесь что-то необычайное. И вот меня повезли в Псково-Печорский монастырь, должно быть, один из самых прекрасных монастырей России. Каменные башни и стены, нарядные церкви и трапезные, множество куполов, раскрашенных, словно радостные пасхальные яйца. И глубокие пещеры в горе, христианские древние катакомбы с подземными храмами и братскими кладбищами. Я отстоял службу, вкусил монастырского обеда, как вдруг ко мне обращается настоятель и говорит: «Наш святой старец Иоанн Крестьянин зовет вас к себе в келью. Он при смерти, на ладан дышит. Мы уже приготовили в пещере место для его погребения. Он никого не принимает, даже меня. Но тут зовет вас к себе». Я тотчас пошел. Келья старца была тесная и светлая, как скворечник. Белые занавесочки, цветочки на стенах, иконки, лампадки, и на кровати, на высоких подушках, лежит умирающий старец. В черной схиме, на которой крест и череп. Остроконечный капюшон. Лицо пергаментное, с провалившимся ртом. Руки и пальцы костлявые, словно лежит в могиле. Но глаза голубые, как васильки, смотрят на меня с любовью. Я поцеловал его руку, ледяную, пахнущую лекарствами. Келейник пододвинул табуреточку и вышел, а я присел в головах у старца. «Я тебя звал, ты и пришел, — произнес старец. — Наклонись, чтобы мне легче было говорить». Я наклонился, видя близко у глаз черную схиму с белым, мучнистым распятием и глазастым адамовым черепом. И старец стал говорить. «Россия — мученица, в кровавых слезах, и каждая кровинка ее и слезинка подхватывается ангелами и уносится на небо, где Иисус Христос по этим каплям ведет счет русским страданиям. Ты пришел в Кремль, в

царский чертог, когда Россия совсем погибала, и в русских людях ни крови, ни слез не осталось. О тебе говорили, что ты последний правитель России. Но ты ее удержал на краю, не дал упасть в бездну. За это тебе особая награда на небесах. Я за тебя каждый день молился и просил Государя Императора, нашего святого царя-мученика тебя вразумлять. Однажды ночью лежу и молюсь, не вставая. Вижу, оконце мое ночное начинает светиться, словно заря занимается. Ярче, белей. В келью ко мне, весь в сиянии, входит Государь Император. В полковничьем мундире, с Георгием, в золотых эполетах, с золотым нимбом вокруг головы, а за спиной белоснежные крылья, как у ангела. «Ты, говорит, Иоанн, молишься мне каждый Божий день, и я слышу твои молитвы. Ты молишь о спасении всей русской земле и спрашиваешь, что ждет впереди Россию. Всего тебе не могу сказать, а только то, что Россия уцелеет в бурях мира сего и станет великой и сильной, и в ней опять просияет православная вера. Но будут впереди великие потрясения и великие испытания для русских людей, как и в дни моего царствования. Во время этих испытаний и напастей Верховный Правитель России будет убит. Знаю, как ты молишься за русского правителя, как просишь за него у Господа. Призови его к себе и передай, что услышал. Верховный Правитель России будет убит. А год его смерти читай на стене». Подошел и золотым перстом начертал на стене красное число. И исчез, только воздух в келье светится, пахнет лилиями, и число на стене отекает кровью. За этим звал тебя. Это хотел передать. Этому верь, потому что сам Царь убиенный велел тебе передать. Теперь же ступай». Я ушел от старца. Уехал из Пскова. Узнал, что через неделю он отдал Богу душу и был погребен в пещерах. Я же принял решение не идти на «третий срок». Чтобы в указанный царем год мне не быть Президентом. Вот истинная причина моего решения, и об этом ты знаешь один. Минует роковой год, и я снова вернусь в Кремль, как законно избранный Президент.

Он умолк, и глаза его затуманились, будто он прозревал тайну мира. Виртуоз, потрясенный, смотрел на него.

— Ты хочешь сказать, что, услышав пророчество, стараешься избежать злой судьбы?

— Именно так, — кивнул Ромул.

— Вместо себя под топор судьбы подставил Лампадникова?

— Да, — ответил Ромул.

— Таким образом, ты собираешься обмануть судьбу? Уповаешь на слепоту рока? Вместо своей головы на плаху, под топор слепого палача, кладешь чужую голову?

— Именно так, — повторил Ромул.

— Ты хочешь обмануть Господа Бога и его удар навести на другого?

— Ведь не случайно же мне старец передал пророчество. Значит, хотел меня уберечь.

— Ты выдал своего друга Лампадникова Господу Богу, чтобы Тот его поразил? Тебе не жаль друга?

— В политике не бывает друзей и не бывает жалости. Я спас Россию от распада, сохранив государство. Теперь я должен двинуть Россию вперед. Влить в нее новые силы. Возродить промышленность, армию и культуру. На месте русского пепелища и создам могучую державу, перед которой ахнет мир. Я знаю, как достигается Русское Чудо. Уже собраны гигантские деньги or продажи нефти и газа. Созданы корпорации, куда пойдут эти деньги. Готовы проекты новых кораблей и самолетов, космических станций и звездолетов. Ученые и инженеры, художники и философы, управленцы и футурологи ждут часа, когда я запущу проект «Русское Развитие». Но я сделаю это после рокового года, когда осуществится пророчество, и я вернусь в мой малахитовый кабинет. Там уже не будет Лампадникова, которого поразит молния. Этим исчерпывается его государственная миссия, что, на самом деле, очень немало. Вот почему я искусственно задерживаю «Развитие», не позволяю Лампадникову расходовать деньги на строительство дорог и медицинских центров, оттягиваю старты новых ракет и спуск на воду новых кораблей. Пусть он выполнит свою миссию и исчезнет. Я же буду творцом Русского Чуда.

Виртуоз, пораженный, смотрел на того, кто недавно был Президентом, а теперь, благодаря непомерным усилиям его, Виртуоза, именуется Духовным Лидером нации. Вся магия властных технологий, весь кладезь политических знаний, вся гениальность замысла: «два в одном» и «один в двух» — таили в своей глубине несколько тихих слов, произнесенных умирающим старцем. Громогласные партийные съезды и красочные шумливые действа, искусные виражи политиков и хитроумные выборы — лишь обманчивая внешняя видимость. Она скрывает потаенный смысл государства. Истинную природу власти,

источник которой — не в народной любви, не в сильной преданной армии, не в богатой казне, а в недоступной разумению высоте, в небесной беспредельности, где творится неземная история, звучат пророчества, рождаются и падают царства. Только праведник может подняться ввысь, встретиться с небесными ангелами, и те поведают ему о неисповедимых земных путях.

— Артур ни о чем не догадывается? Я знаю, к нему приезжали монахи из Псково-Печорского монастыря.

— Тайна эта была запечатана между мной и отцом Иоанном. Теперь ее знаешь ты.

— Значит, не случайно вы жили с Артуром на одном ленинградском дворе. Не случайно он столкнул тебя в люк, желая твоей смерти. Не случайно снабдил тебя холостыми патронами и подсунул на олимпиаде фальшивый ответ. Уже тогда ваши жизни переплелись нерасторжимо, и где-то на белой стене, начертанная золотым перстом, уже краснела роковая дата.

— Все так, — кивнул Ромул.

Виртуоз чувствовал над собой возносящийся, бесконечный коридор, ведущий в небо, где витают высшие смыслы, случаются события истинной, небесной истории, обитают духи, управляющие земным бытием. Этот коридор был закрыт для него тяжелым люком, который он не в силах пробить. Задвинут чугунной плитой, которую невозможно сдвинуть. За этой плитой чувствовался ослепительный свет, бестелесная ясность, отделенная от него непрозрачной преградой. Сколько раз он пытался взлететь и пробить чугунную крышку. Сколько раз ударялся и с разбитой головой рушился вниз. Бразильские грибы сообщали его сознанию невероятную широту и подвижность, переносили из одних миров в другие, но были бессильны отрыть запечатанную вертикаль, отомкнуть железную дверь, пустить туда, где реют ангелы и существуют ответы на все земные вопросы. Проникновение в высшие сферы сообщало властителям небывалое знание, одаривало нечеловеческой мудростью, награждало небывалым могуществом. В секретной лаборатории «Стоглав», где хранились отсеченные головы, он узнал от профессора Коногонова, что лишь два российских властителя знали путь наверх, были соединены с мирозданием. Последний царь Николай и Иосиф Сталин. Один не удержал падающее царство, но был наречен святым. Другой поднял

царство из праха, одержал мистическую Победу, но был осквернен невиданным поруганием.

— Спасибо за откровение, — сказал Виртуоз. — Теперь мне будет легче поддерживать двухкупольный храм власти. В один из куполов скоро ударит молния, и он обрушится. Но необходимо, чтобы молнии было куда ударить.

— Кстати, Илларион, хотел тебя спросить. Наш кинорежиссер Басманов действительно ведет свой род из времен Иоанна Грозного?

— От Федьки Басманова, опричника, царского кравчего, подававшего на царский стол печеных лебедей и павлинов. Его называли «согласник» и «царский ласкатель». Он участвовал в оргиях Грозного царя и вершил с ним содомский грех. Но пришел и его черед, царь отрубил ему голову.

— Богатая наследственность. Она проглядывает в его фильмах. Надеюсь, он создаст обещанный киношедевр.

— Он очень талантлив.

Ромул вдруг вытянул шею, склонил голову, приложил палец к губам и стал чутко прислушиваться:

— Слышишь? — спросил он шепотом.

— Нет,— Виртуоз, повторяя движения Ромула, вытянул шею. — Что такое?

— Поет.

— Кто?

— Не знаю. Послушай,

Виртуоз вдруг услышал дивный женский голос, доносившийся го ли из небесных высот, нисходя сквозь кровлю и лепнину здания. То ли из подземных глубин, восходя из таинственного подполья. Голос был пленительный, исполненный чарующей женственности, неизъяснимой печали, беспредельной любви. Оба слушали волшебный голос, словно дух не находил себе места, бродил по комнатам дома и кого-то звал, умолял. Постепенно звуки умолкли.

Виртуоз покинул «Дом Виардо». Мчался в автомобиле по летней Москве, ощущая над собой ребристую чугунную крышку, отделявшую его от ослепительного горнего света.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Президент России Артур Игнатович Лампадников, или Рем, как называли его на аппаратном сленге языкастые функционеры Кремля, обладал миловидным лицом, женственными глазами с поволокой, манерами интеллигентного петербуржца. Но странным образом походил на загадочное морское существо, которое струит среди подводных течений свои пятнистые волнообразные щупальца, почти сливаясь с разноцветными водорослями и морскими звездами. Это вкрадчивое колыхание и изысканная расцветка вводили в заблуждение крупную рыбу, что доверчиво, в поисках пищи, подплывала к нежным соцветиям, из которых вдруг вырывались бурные мышцы и намертво сжимали в клубке бьющуюся добычу. Острые, как бритвы, присоски вонзались в беспомощную плоть. Из шелковистой массы высовывался костяной клюв. Жутким чернильным блеском наливались выпуклые немигающие глаза. Огромной серебряной рыбой, трепещущей в железных объятиях, была Россия, из которой высасывали соки жадные щупальца, на которую был нацелен горбатый клюв и взирали мертвенные выпуклые глаза.

Так ощущал Рема Виртуоз, который входил в кремлевский кабинет, обильный малахитом и золотом, застав его хозяина, удобно развалившегося на ампирном диване в позе мадам Рекамье. Рем говорил, помогая себе взмахами маленькой холеной руки, словно перебрасывал произносимые слова собеседнику. Этим собеседником был журналист Илья Натанзон, сидящий чуть поодаль за круглым изящным столиком, на котором лежал диктофон. Мерцающий огонек диктофона, плавные взмахи ручки, сладкие обожающие глаза Натанзона создавали иллюзию безмятежности и благоденствия, которая вводила в заблуждение неосторожно заплывавших в кабинет рыб. Виртуоз, переступив порог, почтительно произнес:

— Я слишком рано? Могу подождать.

— Нив коем случае, дорогой Илларион, — Рем приподнялся с дивана, протягивая руку. Привстал и полненький, бородатенький Натанзон, устремив на Виртуоза глаза, из которых вдруг выкатились смешливые темные вишенки. Виртуоз пожал маленькую сухую ладонь

Президента и влажную, обволакивающую длань Натанзона, который улыбался румяным ртом, скалил белоснежные зубы. — Я диктую нашему летописцу очередную главу книги. Как раз ту самую, где я описываю наши детские отношения с Долголетовым. Садись, послушай, я скоро освобожусь.

— Работать с Артуром Игнатовичем — одно наслаждение, — произнес Натанзон. — Текст совсем не приходится править. Он, как драгоценное литье, выпуклый и безупречный.

— Когда будет готова книга? — поинтересовался Виртуоз.

— Еще несколько сеансов,— сообщил Натанзон.— После этого я хочу уехать в Венецию, и там, у зеленого Гранд-Канала, завершу эту увлекательную работу.

— Как раз ко дню провозглашения Духовного Лидера Русского Мира, который мы отметим в Москве, не так ли? — Рем добродушно посмотрел на Виртуоза, и тому показалось, что в струящихся плавных течениях, среди разноцветного морского дна, вдруг на мгновение показался черный жестокий клюв, приоткрылась чернильная бездна.

Итак, продолжим. — Рем вновь откинулся на диване с золочеными подлокотниками в виде египетских сфинксов, а Натанзон опустился в кресло у затейливого столика, ножки которого были выполнены в виде золоченых грифонов. — Я рассказывал об отношениях с Виктором, с которым нас свела судьба в детстве и большом дворе на Литейном проспекте.

Он был из тех, кого называют — «мальчик из неблагополучной семьи». Отец, кажется подсобный рабочий, часто пил, падал прямо во дворе, и мы, ребятня, помогали ему добраться до его бедного подвала. Мать не отставала от супруга, и мы часто слышали ее истошную ругань. «Витек», — так мы называли Долголетова, — был неухоженный, вечно голодный, в какой-то неопрятной одежде. Мои родители жалели его, принимали у нас дома, подкармливали. Брали его вместе со мной в театр. Дарили то курточку, то ботинки, которые я уже переставал носить. Однажды произошел комичный случай. У нас дома намечался торжественный раут. У отца был юбилей, и мы ждали гостей, среди них писатели Даниила Гранина, артиста Кирилла Лаврова, директора Эрмитажа Пиотровского. Мама хотела блеснуть своими кулинарными достоинствами, рылась в каких-то изысканных кулинарных книгах и приготовила праздничный стол, украшением

которого было блюдо испанской кухни. Молодая телятина, сваренная в красном нине, которая подавалась в холодном виде перед началом трапезы. Гости уже начали съезжаться, и тут вдруг неожиданно появился Витек. Словно учуял запах вкусной еды. Сначала его хотели как-нибудь деликатно выставить, но он делал вид, что не понимает намеков, и его оставили. Гости беседовали в гостиной, мой отец водил их в кабинет— показывал коллекцию старинных монет. Мама суетилась на кухне, а мы с Витьком в моей комнате мастерили макет корабля. Он на минуту вышел, а я продолжал мастерить. Вдруг слышу мамин панический крик. Гости и я имеете с ними бросились на этот крик и застали такую картину. Витек в столовой залез руками в большое блюдо с ломтями телятины, вытащил кусок и жадно ел, проливая соус прямо на белую с катерть. Когда мама застала его за этим занятием, он поперхнулся, уронил кусок на пол, кашлял, выплевывая на скатерть куски непрожеванной телятины. Он был страшно смущен, но писатель Гранин погладил его по голове, а Кирилл Лавров рассказал какую-то смешную историю из своего детства…

Лампадников улыбался, снисходительно, чуть печально, словно сожалел о милом, навсегда миновавшем детстве. Натанзон не скрывал ликования. Эпизод станет украшением книги, сплошь состоящей из пикантных подробностей президентской жизни. Губы румянились в черной бородке. Сладострастно блестели белые зубы. Глаза победно сияли, словно видели книжную полку элитного магазина, пухлый том, изданный головокружительным тиражом, и название, придуманное для него Виртуозом: «Президент. Негасимая Лампада».

— Еще один эпизод наших отношений, который я шутливо называю «На краю бездны». Как-то тайком я взял у моих родных деньги, которые они держали в гостиной под большой, красиво изданной книгой Пушкина. На эти деньги мы с Витьком пошли покупать эскимо. Я беззлобно его поддразниваю: «Если поклонишься мне до земли, куплю тебе эскимо». Он поклонился. «Кланяйся еще». Еще поклонился. Я купил эскимо ему и себе. Идем, болтаем. Проходим мимо канализационного люка. Люк открыт, чугунная крышка рядом. Поодаль копошатся ремонтники. Он вдруг хватает меня и пытается сбросить в люк. Теснит к краю, я вижу эту черную дыру, чувствую зловонье. Думаю: «Он хочет меня убить. Сейчас упаду и

разобьюсь насмерть». В последний момент я как-то вывернулся, выскользнул. Он не удержался и упал в люк. Наверное, больно ушибся. Плачет на дне, умоляет вытащить его. Я бегом к ремонтникам. Они с фонарем спустились в люк и вытащили его, жалкого, мокрого и зловонного. Я его привел к себе домой, отмыл под душем, дал чистую одежду. И уже остерегался подшучивать над ним, зная его мстительность и жестокость…

Натанзон не мог скрыть наслаждения. Весь трепетал, покрывался пунцовыми пятнами. Книга обещала быть сенсационной. Ее переведут на многие языки. Ее ждут презентации, распродажи. Она принесет ему не меньшие успех и благополучие, чем та, что была посвящена Президенту Долголетову в пик его славы и могущества и называлась: «Долгие лета, господин Президент». Виртуоз выбрал его среди многих других журналистов, открыл доступ в Кремль, включил в «кремлевский пул», представил Ромулу. Теперь, когда звезда Ромула стала закатываться, он не стеснялся в своих статьях злопыхать в его адрес, поминал былые ошибки, упрекал за авторитарный стиль, отдавал предпочтение новому светилу, чей либерализм возвращал России утраченную было свободу. Натанзон напоминал деятельного трудолюбивого шмеля, отобравшего у одного цветка все его сытные и сладкие соки и перелетевшего на соседний, полный нектара.

— Еще один характерный случай, — продолжал Рем, взмахивая рукой, словно зачерпывал ладонью невидимую влагу и подносил к черному рыльцу диктофона, который походил на пьющего знерька с мигающим рубиновым глазком.— Витек был одержим страстью, которой заразил его отец. Он был охотник. Уезжали вместе с отцом на Карельский перешеек или на псковские озеро на несколько дней. Возвращались с добычей. Зимой — зайцы, весной и осенью — утки, тетерева, рябчики. Витек приглашал меня отведать дичь. На клеенке, под матерчатым абажуром появ– милась масленая сковорода, а на ней зажаренные, смуглые утки, рябчики. Жесткие, но душистые, невероятно вкусные. Отец Витьки ломал руками птицу, клал перед каждым на клеенку, наливал себе водку и выпивал. Мы ели, и если на зуб попадала застрявшая в мясе дробинка, клали ее на клеенку, состязаясь, у кого отыщется больше. До сих пор помню эти свинцовые катышки, сплющенные о птичью плоть, тускло поблескивающие под абажуром. Однажды осенью Витек сообщил заговорчески, что

собирается на охоту, чтобы добыть лося. Он знал болото, где живет лосиное семейство, состоящее из двух взрослых лосей и лосенка. Он задумал убить лосенка, обеспечить свой дом мясом на всю зиму. Охота на лосей была запрещена, и то, что он задумал, было преступлением, жестоким и отвратительным. Я отговаривал его, стыдил, корил. Он смеялся надо мной, называл тряпкой. Сказал, что не нуждается во мне и сам убьет лосенка. Я не находил себе места. Представлял это звериное семейство, живущее на глухом лесной болоте. Как ночью под звездами они лежат в тростниках, грея друг друга дышащими боками. Как на рассвете идут чередой, раздвигая заросли, взрослые — впереди, а лосенок следом, переставляя хрупкие, как струнки, ноги, и над ними красная осенняя заря. Я знал, что Витек осуществит свою злую затею, убьет лосенка. И у меня возник план. Я сказал, что согласен ехать с ним на охоту, согласен разделывать тушу убитого зверя, вытаскивать ее из леса. Готов раздобыть патроны, снаряженные картечью, специально на крупную дичь. Через друзей отца добыл две пачки американских, «хемингуэевских» патронов, с которыми заправские охотники ездят в Африку на сафари, стреляют буйволов, антилоп, носорогов. Серебристые гильзы с оттиснутыми изображениями африканских животных. Я вскрыл один патрон, показал Витьку крупную, как ягоды смородины, дробь. Пересказал новеллу Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Витек попробовал дробину на вкус. Остался доволен, приял пачки с патронами. Не знал, что из остальных патронов я высыпал порох, насыпал вместо него обыкновенный песок. Мы поехали на охоту на Карельский перешеек, в сторону Выборга. У обоих ружья, большие рюкзаки за спиной, ножи для разделки туши, виниловая пленка, в которую мы завернем кровоточащие ломти, чтобы кровь не проступила на рюкзаках. Добрались до места, переночевали у знакомого старика, а утром отправились в лес. Эти чудесные осенние дебри, сумрачные ели, последняя желтизна еще не опавших листьев, запах сырости, свежести, студеный предзимний холод. Мы отыскали болото, и оно пахло мхами, тяжелыми, стылыми водами, в кочках, в кривых березках, в поломанных черных тростниках. Шли, хлюпая сапогами, с ружьями наперевес. И вдруг увидели лося. Большая, коричневая, с проседью лосиха, с крупным лбом, огромными фиолетовыми глазами, с бархатными ноздрями, из которых вылетали букеты пара. И чуть поодаль — лосенок, изящный, хрупкий,

грациозный, с выпуклой спиной и очаровательной лобастой головой, по грудь в вялой траве. Их явление среди леса было волшебным, это были первозданные боги, принимавшие людей в свое зачарованное звериное царство. Я любовался, боялся их спугнуть, обожал их дышащие живые тела, стеклянно-черные немигающие глаза, чуть заметное, витавшее над их головами сияние. Витек вскинул ружье и нажал на курки, раз, другой. Вместо громогласного выстрела прозвучало два трескучих хлопка. Взорвались капсюли. «Стреляй же, стреляй!» — крикнул он мне истошно. Я, не целясь, куда-то мимо выстрелил, слыша все те же холостые хлопки. Лоси развернулись и побежали. Я видел, как они переставляют ноги, как лосенок неловко перескакивает поваленное дерево. Когда выяснился мой подвох, Витек с воем кинулся на меня, и мы жестоко подрались. Не разговаривали месяц. И лишь с большим трудом помирились…

— Какой великолепный эпизод! — ликовал Натанзон, делая пометки в тетрадь. — Как он выпукло характеризует вас обоих!

Виртуоз разглядывал чернобородого толстячка с плотоядными губами и глазами умного плута, которому все всегда удается. Натанзон был оружием, грозным и точным, которое не раз использовал Виртуоз, уничтожая с его помощью, казалось бы, неуязвимые цели. Это оружие обладало стремительной скоростью, непредсказуемым маневром и глубокой проникающей силой. Оно было оснащено головкой самонаведения, и ему следовало сообщить лишь первоначальный вектор, после чего оно «захватывало» цель и преследовало ее до полного уничтожения. Однако владеющий этим оружием должен был знать, что возможны случаи, когда оно выходит из подчинения, разворачивается вспять и поражает того, кто дал ему старт.

— Продолжим печальный рассказ о нашей детской дружбе с Виктором Викторовичем Долголетовым, которому я столь многим обязан. — Рем печально улыбнулся, словно прощал другу давнишние прегрешения, о которых упоминал без мстительности, а лишь желая увековечить важные для истории подробности. — В десятом классе с моим другом что-то случилось. Он был неузнаваем. Прогуливал занятия. Не ночевал дома. Связался с какими-то новыми друзьями, которые водили его по дискотекам, ресторанам, злачным местам. Должно быть, у него появились женщины, потому что лицо его исхудало, осунулось, под глазами легли черные тени. Мы почти не

общались, ему казалось, что я слишком инфантилен. Нам в школе предстояла контрольная работа по математике, очень важная для будущего аттестата. Виктор запустил все занятия, ничего не смыслил в алгебраических уравнениях. Во время контрольной работы взмолился, чтобы я помог решить ему задачу. Времени было в обрез, но я отложил свою задачу и решил его вариант, передал черновик с ответом. Мне не хватило времени, и моя работа оказалась незавершенной. Я получил три с минусом. Он же был настолько рассеян и не подготовлен, что, списывая мою шпаргалку, умудрился напутать. За что и получил двойку. Он обвинил меня, что я будто бы нарочно подсунул ему фальшивку, как и в случае с холостыми патронами. После этого наша дружба повисла на волоске…

— Ваша дружба зиждилась на взаимном влечении и антагонизме, — Натанзон поднес к глазам крохотный диктофон, на котором пульсировали хрупкие электронные цифры. — Я изучал ваши гороскопы, и в них есть очень сильные полюса притяжения и отталкивания. Вы обречены на дружбу и войну, сотрудничество и противостояние. Я думаю, что Илларион Васильевич, создавая оригинальную, небывалую в России «двуглавую» систему власти, очень внимательно изучал ваши с Виктором Викторовичем гороскопы. — Натанзон высказал это предположение так, словно не он по просьбе Виртуоза составлял эти два гороскопа. Талантливый журналист и непревзойденный мастер «черного пиара», Натанзон часто использовал астрологические познания, дабы изъясняться с суеверными читателями на «языке звезд». Это ему принадлежали «черные гороскопы» Ромула, напечатанные в оппозиционных газетах накануне второго переизбрания, в которых звезды сулили избраннику напасти и беды, а избравшей его стране — голод, войну и мор. Эти астрологические пророчества Натанзон выполнил по заданию лондонского изгнанника, ненавидящего Президента Долголетова. Виртуоз знал об этой тайной операции, но счел за благо ее не заметить.

— Что ж, поручим звездам сплетать и распутывать нити наших с Долголетовым отношений, — философски заметил Рем. — Но вот еще один эпизод, на котором наша юношеская дружба оборвалась. Я увлекся девушкой по имени Лена. Она была красива, романтична, светилась обаянием, наивной доверчивостью и возвышенными порывами. Она увлекалась Серебряным веком, знала живопись «Мира

искусств». Мы ходили в Русский музей, где искусствоведом работала ее мама. Она отводила нас с Леной в запасник, показывала холсты Филонова и Малевича, феерического Лентулова и магического Кандинского. Мы много гуляли с Леной, и она рассказывала мне удивительные истории о старых петербургских особняках и дворцах. Я целовал ее у сфинксов на набережной, и Нева, черно-блестящая, несла на себе огненные отражения. Виктор подсмеивался над моим увлечением, которое казалось ему старомодным и платоническим. Он изображал из себя опытного любовника, искушенного ловеласа, но иногда присоединялся к нам во время прогулок. Сидел с нами в кафе, остроумно шутил, и Лене нравились его едкие шуточки. Случилось так, что я заболел и неделю лежал в постели с ужасным жаром и бредом. Мне мерещились чудовища в какой-то красной раскаленной пещере. Мерещилась Лена в ужасающем растерзанном виде. Мерещился Виктор в отталкивающих отвратительных позах. Когда бред отступил и жар начал спадать, внезапно зазвонил телефон, и я услышал несчастный, рыдающий голос Лены: «Приезжай!.. Спаси меня!..» Очень слабый, шатаясь, я подхватил такси и нашел ее в какой-то запущенной, ужасной квартире на Фонтанке. Она лежала на жутком скомканном покрывале, вся растерзанная, с синяками от засосов на груди и шее. На столе валялись опрокинутые рюмки, недопитая бутылка. «Что с тобой?» Она рассказала, что встретила на улице Виктора. Они гуляли, забрели в кафе. Пили легкое вино. Видимо, он подсыпал в ее бокал какое-то снадобье, потому что она почувствовала ужасную сонливость. Полусонную, он привез ее в квартиру к приятелю, снова угощал вином. И снова что-то подсыпал, так что бедняжка потеряла сознание. Очнулась в этой мерзкой постели, голая, в укусах и засосах. Я отвез ее домой, и больше мы не встречались. Я слышал, что она уехала во Францию, окончила Сорбонну, преподает там и редко наведывается в Петербург. Так и не вышла замуж. После этого мы порвали с Виктором, и лишь спустя много лет нас снова соединила судьба.

— Роковые отношения, — Натанзон выключил диктофон, понимая, что сеанс общения завершился. — Верю, что книга «Негасимая Лампада» будет исполнена пронзительной искренности. Мы выпустим ее к тому дню, когда будет провозглашен Духовный Лидер Русского Мира, о котором говорил Илларион Васильевич.

Благодарю за исповедь. — Он встал и, пятясь, с легкой театральностью, проследовал к дверям. Покинул кабинет, оставляя Виртуоза наедине с Президентом.

Рем гибко поднялся, покинул ампирный диван и перешел к рабочему столу, на котором стоял плоский компьютер. Он был соединен с множеством удаленных компьютеров, размещенных в ситуационной комнате. День и ночь эти компьютеры собирали информацию о мировых событиях в режиме реального времени. Работавшие за ними аналитики складывали из этих бесчисленных фрагментов общую картину мира, которая, как облако, постоянно меняла свой образ. Отражала со всей возможной полнотой исчезающе малый отрезок длящейся бесконечно истории. Рем включил компьютер, поиграл клавишами. Отыскал сообщение об ангитеррористической операции в Дагестане. Были видны стреляющие бэтээры, перебегающий в шлемах спецназ, выстрел гранатомета, от которого рухнула стена одноэтажного дома.

— Мне дали понять, что эти точечные вспышки насилия инициируются нашим Духовным Лидером. Виктор, таким образом, дает мне понять, что только он один может контролировать ситуацию на Кавказе. И в случае, если я не стану соблюдать наши с ним договоренности, он может вновь запалить Кавказ.

— Такое возможно, но маловероятно, — ответил Виртуоз, рассматривая картину боя, раненого в носилках, вспышки выстрелов из дымящего дома. — Не следует поддаваться мнительности. Она — не лучший советчик.

Рем ударил по клавише. Появилось печальное, с выпуклыми губами и оленьими глазами лицо Ходорковского, который читал какую-то книгу, устало откинувшись в кресле. Он все еще находился в заключении, но уже не в общем бараке, а в отдельном, комфортно обставленном помещении, с хорошей мебелью, телевизором, библиотекой. Такое улучшение условий произошло сразу же после избрания нового Президента. Рем лично распорядился перевести Ходорковского из общего барака, что породило слухи о скором освобождении именитого узника.

— Пожалуй, я освободил бы его. — Рем рассматривал узника, который перевернул страницу книги и стал растирать затекшую ногу, не зная, что за ним наблюдают в Кремле. — Это резко ослабит нашего

достопочтимого Виктора. Поставит рядом с ним другого Духовного Лидера, не мнимого, а истинного, снискавшего свою репутацию мученичеством. Но это опасно, не правда ли? Мы выпустим на свободу будущего Президента.

— Пусть живет, как княжна Тараканова, — усмехнулся Виртуоз. — А хочешь, давай наденем на него «железную маску».

Рем уже рассматривал биржевую динамику, показатели крупнейших отечественных корпораций, в том числе и Газпрома. Индексы последнего шли вверх, повторяя кривую цен на нефть.

— Теперь, когда наши с Долголетовым доли в акциях Газпрома сравнялись, пора подумать о разделении банков, где хранятся наши с ним деньги. Пусть он остается в «Дойче банке», в «Барклае», в «Банк оф Нью-Йорк». Я же перевожу свои деньги в Гонконг и Макао. На разных континентах им будет уютнее.

— Что называется, дружба дружбой, а денежки врозь, — съязвил Виртуоз.

— А вот посмотри, — Рем бегло читал статью в «Вашингтон пост» под названием: «Разногласия между Лампадниковым и Долголетовым больше нельзя утаить в мешке». Как ты думаешь, кто заказал американцам эту замечательную статью? Уж не ты ли?

— Я по-прежнему делаю все, чтобы сохранить баланс ваших отношений. Но не все в моих силах. Долголетов покинул Кремль и лишил себя таинственного магнетизма власти, которую источают гробницы царей, урны красных вождей, фрески Грановитой палаты. А ты подпал под действие этих волшебных сил. Ты становишься все тяжелее, а он все легче.

— «Ты взвешен и найден слишком легким», — задумчиво произнес Рем. По его лицу пробежала легкая судорога, и на мягком, интеллигентном лице на мгновение обозначился черный жестокий клюв.— Ага, губернатор Приморья, опасаясь ареста, покончил жизнь самоубийством… Так мы скоро лишимся всех губернаторов, а также большей части мэров. Борьба с коррупцией не должна лишить нас «вертикали власти»… А, вот еще… Рухнул мост чрез реку Обь, а вместе с ним пассажирский поезд. Среди пассажиров есть утопленники…. Значит, надо снабжать пассажиров надувными плотиками, черт побери!..

Рем выключил компьютер и повернулся к Виртуозу:

— Скажи, что ты знаешь о поездке Долголетова в Псково–Печорский монастырь? О чем он там говорил со старцем Иоанном Крестьянкиным?

— Не ведаю, — ответил Виртуоз, стараясь не выдать волнения. — Ты же знаешь, он афиширует свои отношения с Церковью. Это соответствует его образу Духовного Лидера.

— Все-таки интересно, о чем они там говорили?

— Я наводил справки у монахов, но никто, даже настоятель, не присутствовал при встрече. Скоро после нее старец отдал Богу душу и был похоронен в пещерах.

— А нельзя ли его оттуда выкопать, отрезать голову и передать профессору Коногонову в «Стоглав»? Пусть добудет из мертвой головы содержание их беседы.

— Это рискованно. Вызовет недовольство в церковных кругах. Усекновение головы— это иудейская традиция. Вспомни Юдифь, обезглавившую Олоферна. Вспомни Соломею — ей поднесли на блюде голову Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель — Иоанн Крестьянкин, это очень похоже. У тебя и так ищут еврейские корни.

— Это дело можно уладить, — настаивал на своем Рем. — Похитить голову, снять показания, а потом вернуть обратно. Я бы дал такое поручение директору ФСБ Лобастову.

— Поостерегись, — сказал Виртуоз.

— Ну, хорошо,— Рем мановением руки отмахнулся от сомнительной темы. — Сейчас начнут собираться наши «яйцеголовые». Ты их недавно слушал у Долголетова. Послушай теперь у меня.

В соседнюю с кабинетом «совещательную» комнату, где еще недавно главенствовал бывший Президент Долголетов, теперь входили знакомые Виртуозу сановники, присягнувшие на верность новому владыке — Президенту Лампадникову. Тут был энергичный, с верноподданным блеском в глазах кинорежиссер Басманов, схвативший двумя белыми жадными руками маленькую ладонь Президента. Лидер правящей партии Сабрыкин с тусклым жестяным лицом и жесткими, как кухонная терка, усами, — согнулся в поклоне, словно не решался схватить и поцеловать августейшую руку. Министр промышленности Данченко с влажными воловьими глазами, стремившимися угадать настроение и волю начальника.

Очаровательная петербургская дама, мэр Королькова, в юном васильковом платье, пахнущая фиалками, с жемчужным лицом неотразимой светской львицы, тяжело переступавшая на венозных ногах. Директор ФСБ Лобастов, вкрадчивый, осторожный, с размытыми чертами лица, невыразительной вялой фигурой, — казалось, воздух вокруг его головы слабо туманится, словно голова испаряется.

Министр иностранных дел Валериев, лысый, лобастый, с коричневыми морщинами и выпуклыми надгробными дугами, — напоминал примата сутулой спиной и длинными повисшими руками, и только умные, усталые, все понимающие глаза выдавали в нем утомленного жизнью мудреца. Председатель правительственного телеканала Муравин, сдобный «бонвиван», не отказывающий себе в удовольствиях, искусно, словно мягкий шар, перекатывался из одной политической эпохи в другую, привнося в нее респектабельный конформизм. Министр обороны, неуклюжий увалень, никогда не носивший мундир, снискавший в войсках прозвище «макаронный маршал». Последним, сияющий и величественный, в благочестии и радушии, явился митрополит Арсений, седобородый и розовощекий, с эмалевой панагией, источавший бриллиантовый блеск и запах дорогих духов. Все пожимали Президенту руку, выслушивая от него несколько ласковых слов. Усаживались за широким столом, выражая готовность внимать, запоминать, исполнять. Виртуоз воспринимал их, как букет в хрустальной вазе, которую перенесли из «Дома Виардо» в Кремлевские покои, переставили с одного стола на другой.

— Спасибо вам, мои верные друзья, что почтили меня своим вниманием. — Рем мягко шутил, облекая обязательную еженедельную встречу в форму непринужденного дружеского собеседования.— Когда вас нет поблизости, я чувствую, что мне не хватает духовных калорий. Я нуждаюсь в вас, не только в ваших советах, но просто в вашем присутствии.

— А уж мы-то, Артур Игнатович, можно сказать, задыхаемся от недостатка кислорода, когда вас подолгу не видим, — пропела Королькова, и в ее миндалевидных глазах промелькнула блудливость старой комсомолки. — Уж вы нас пожалейте, приглашайте почаще.

— Вот и хорошо, что мы необходимы друг другу. Мой верный товарищ Виктор Викторович Долголетов замучил вас упреками. Мне

говорили, он с карандашом просматривает газеты, считая, сколько раз появляется в статьях его и моя фамилия. Простим ему, у каждого свои слабости. Моя слабость — необходимость вас видеть, слышать ваши голоса, учиться у вас уму-разуму.

Напряжение, с которым поначалу усаживались за стол, улетучилось. Все чувствовали себя непринужденно, обласканные высочайшим расположением.

— Начну с поздравления вас, мой дорогой талантливый друг, — Рем обратился к режиссеру Басманову. — В Каннах мировая художественная элита склонилась перед вами, русским гением. Золотая пальмовая ветвь, которой отмечена ваша победа, помещает вас в круг лучших режиссеров мира. Вы возвращаете Россию в мировую культуру, преодолеваете нашу обособленность и отсталость. Знайте, что в ваших начинаниях я всегда рядом. Рассчитывайте на бюджетное финансирование. Россия нуждается в богатых, великолепных кинофильмах.

— Я задумал фильм о последнем нашем Государе, о его восхождении на Голгофу,— поспешил откликнуться Басманов.— Ведь понимаете, его святость обнаружилась уже в самые первые дни царствования. Святыми не становятся, ими рождаются. Большевики своим кровавым злодеянием лишь оформили святомученическую роль последнего русского царя.

— Как знать, может, и не последнего,— задумчиво произнес Рем, переводя взгляд на министра промышленности Данченко.— Мне очень понравился завод «БМВ» в Калининграде. Какой конвейер, какая культура производства. Настоящая Европа. Вы — молодец. Надо смелее избавляться от устаревших советских производств. Продолжайте привлекать известные мировые «бренды». Пусть будут «Самсунг», «Тошиба», «Сони». Пусть будут «Сименс», «Мерседес», «Дженерал моторс». Мы — часть мирового хозяйства. Пускай над русскими городами сверкают названия мировых лидеров.

— Хочу доложить, Артур Игнатович, через месяц мы пускаем пятый блок Бурейской ГЭС. Доставляем на «Руслане» по воздуху из Петербурга громадное колесо турбины. Было бы здорово, если бы вы приехали на открытие, подержались бы за лопасть турбины. «Колесо турбины, колесо истории». — Данченко повторил заготовку, которую перед этим озвучил на встрече с Ромулом. Виртуоз испытал к нему

мимолетное презрение — за двуличие, за убогую, с трудом дающуюся образность. И тут же подумал, что поездкой на Дальний Восток Рем выбьет у Ромула еще один пропагандистский козырь.

— Как вам идет ваш васильковый туалет, — Рем польстил Корольковой, добившись пунцового румянца на ее очаровательном лице. — Хочу поблагодарить за внимание к моей скромной персоне. Мне передали фотографию доски, которую повесили, благодаря вашим радениям, на стену моей школы. Слышал, что Виктор Викторович ревнует, сравнивал размеры досок, прикладывал линейку к буквам. Ну, уступите ему, сделайте ему доску на десять сантиметров больше. Только не изображайте его профиль. А то в профиль он похож на зверька. Впрочем, и в фас тоже.

— Сообщаю по секрету, Артур Игнатович. Уже готова доска на здание университета, где вы учились. Мы хотим выбить на ней золотом стих, который вы сочинили в студенческие годы.

— Это какой же стих? — поинтересовался Рем.

— Помню наизусть. «Друзья, преодолейте приступы тлетворной лени. Усовершенствуйте плоды глубоких размышлений»

— А что, недурно! — засмеялся Рем. — У вас прекрасная память, сударыня.

Виртуоз сидел поодаль, слушая разговоры. Перед ним лежал раскрытый блокнот, и он карандашом рисовал в него головы вельможных посетителей. Головы обладали сходством с оригиналами. Виртуоз, физиономист и психолог, обладал даром рисовальщика. В его домашних альбомах скопилась обильная коллекция карандашных портретов тех, с кем случалось ему сидеть на бесчисленных «круглых столах», представительских встречах, секретных совещаниях. Устрой он свою персональную выставку, она имела бы несомненный успех. Ибо это были не просто рисунки, а магическая графика, с помощью которой он воздействовал на живые объекты, подвергая их внушению и гипнозу. Вот и теперь он находил характерные мимические черты, переносил их в небрежные эскизы, слегка ретушировал, изображая на каждой голове геометрический знак, — квадрат, треугольник, эллипс, волнистую синусоиду, стиснутую спираль. Это были крохотные руны, миниатюрные каббалистические символы, которыми он кодировал человека, вскрывал его подсознание, овладевал его тайными сущностями. Сидящие перед ним господа вызывали в нем чувство

презрения. Живучие и лукавые, вероломные и алчные, лишенные благородных порывов и возвышенных помыслов, они с энергией грызунов заполняли высшие этажи власти, цепко хватались за нее, мало помышляя о служении, о народе и государстве. Ничем не напоминали царских камергеров и сталинских управленцев, для которых государство было религией. Они имитировали деятельность, жадно обогащались, отправляя своих сыновей учиться в английские университеты, а дочерей — рожать в германские клиники. Все они имели тайные доходы, заграничные счета. Говорили о патриотизме и великой России, но, явись на Русь какой-нибудь оккупант или самозванец, были готовы переметнуться к нему и служить преданно, как недавно служили другому. Виртуоз их презирал и боялся, зная их жестокость и вероломство. И одновременно дорожил ими, как единственным ресурсом, которым обладало на сегодняшний день государство.

Рем обращался теперь к директору ФСБ Лобастову. Не приказывал ему, а дружески просил:

— Может, нам прекратить эти шпионские скандалы? Может, выпустить этих наших злополучных ученых на свободу? Ну что они могли украсть, если наша наука на полвека отстала от западной мысли? Двигатель внутреннего сгорания от «Запорожца»? Секрет брезента, обтягивающего фюзеляж По-2? Давайте-ка выпустим этого несчастного физика, за которого хлопочут наши правозащитники, улучшать репутацию России в глазах мирового сообщества.

— Да ведь он, Артур Игнатович, космические технологии хотел передать.

— Ну, зачем нам космические технологии? Мы что, на Марс хотим полететь? Давайте лучше устроим космический город в районе Сочи. Пусть миллиардеры приезжают сюда, как на Сардинию или Лазурный Берег. Здесь они поймут, что такое Русский Рай.

Он обратился к министру иностранных дел Валериеву:

— Если говорить о мировом сообществе, то, мне кажется, мы слегка переборщили в наших симпатиях к «Хамас» и «Хесбалле». Ребята крутые, ничего не скажешь. В мечеть сходить, из гранатомета пальнуть — это у них получается. Но нам интереснее последние достижения израильской медицины. Нам важны еврейские биотехнологии, позволяющие увеличить урожай пшеницы в сто раз. Я

распорядился аннулировать поставки «Хесбалле» гранатометов «Корнет» и «Фагот».

— Совершенно с вами согласен, — Валериев болезненно наморщил лоб, и в его усталых умных глазах мелькнула затравленность обложенного флажками волка, — у меня завтра встреча с послом Израиля, и я передам ему эту приятную новость.

— Кстати, у меня на канале есть превосходный фильм об Израиле: «До встречи в Иерусалиме», — с готовностью произнес телевизионный председатель Муравин.— Все-таки удивительный народ, евреи. Вдруг собраться со всех концов света, вернуться на свои священные камни, построить государство, которому ней равных по стойкости, организованности, темпам развития. Я обязательно покажу этот фильм.

— Я не настаиваю, — мягко улыбнулся Рем, — а то и так «Интернет» полнится подробностями моей еврейской родословной. Уж ни шуточки ли это моего задушевного друга Виктора Викторовича? Признаться, он еще в школе отличался антисемитскими высказываниями в адрес нашей учительницы Семалии Львовны Трахтенберг, когда она ставила ему двойки по истории.

Виртуоз рисовал в блокнот, отнимая у сидевших за столом сановников их образ. Переносил на бумагу. Ставил на них крохотные тавро. Магическими символами соединял с незримыми полями энергий, где обитали высшие смыслы, существовали бесплотные духи, ждали своего воплощения великие идеи. Подобно Ромулу, хотел приобщить мелкие души к возвышенным идеалам, преобразить пошлых меркантильных служак в героев и подвижников, в Сынов Отечества, в опору государства. Он чаял преображение элиты, в которой вдруг зажжется жертвенная страсть, божественная идея служения. Преисполненные вдохновения и творчества, они повлекут за собой народ на исполнение долгожданного имперского дела, стремительного рывка, животворного Развития, в котором Россия обретет, наконец, свое потерянное величие. Но собравшиеся за столом камергеры оставались себялюбцами и плутами, искусными интриганами и мелкими сплетниками, которых не заботила судьба государства. Они облепили государственное древо, как летучие перепончатые мыши, пускаясь с наступлением сумерек в свой

бесшумный скользящий полет, мелькая в свете кремлевских звезд, как исчадия.

— Я поддерживаю решение Министерства обороны не форсировать испытания стратегической ракеты «Порыв». — Эти слова Рем обратил к военному министру Курнакову. — Мир устал от ракет и тяготеет к фестивалям высокой моды. Прекрасна форма, придуманная нашим именитым кутюрье Любашкиным. Своим изяществом она напоминает театральные костюмы эпохи Дягилева. В глобальном мире будут состязаться не танки, не ракеты, не подводные лодки, а направления высокой моды. Нельзя ли пригласить модельеров от Версаче и Сен-Лорана, чтобы они придумали форму для наших танкистов, ракетчиков, а еще лучше — кавалеристов? Кавалерия — вот что возвращает армию в романтические времена рыцарства и благородного подвига.

Курнаков не мог понять, шутит Верховный Главнокомандующий или говорит серьезно. На всякий случай, заметил:

— Конь — скотина терпеливая. На нее куда меньше затрат. Кавалерист, хоть ноги кривые, но с виду всегда герой. Я за то, чтобы парады верхом принимать, как Жуков.

— Вы и есть, мой дорогой, Жуков наших дней. И живете в Жуковке, — незло пошутил Рем, отводя глаза от смущенного министра.

Митрополит Арсений разгладил свою платиновую бороду, сытно пошевелил свежими губами и сочным рокочущим голосом произнес:

— А как вы отнесетесь, уважаемый Артур Игнатович, к предложению возглавить крестный ход, идущий по местам мученичества и царственного служения последнего российского императора Николая Александровича? Святейший был бы счастлив, если бы вы согласились.

— Для меня это — несомненная честь, Владыко. Но передайте Святейшему, что это скорее приличествует нашему дорогому Виктору Викторовичу Долголетову. Ведь он у нас — Духовный Лидер, и ему отводится место под хоругвями. Я же, недостойный, призван руководить страной.

Теперь он обращался к Председателю Думы и партийному лидеру Сабрыкину, который страстно и преданно, как спаниель, откликнулся на голос хозяина:

— Передайте инициативной группе партийцев, сделавших лестное для меня предложение, что я очень ценю их намерение. Вообще, партия под вашим водительством сделала заметный организационный и интеллектуальный рывок. Ее работа в Думе выше всяких похвал. И пусть не верят слухам, которые стали распускать еще во времена прежнего президентства. Что, дескать, партию ожидают чистки, гонения, выбивание из ее рядов каких-то мифических коррупционеров, привлечение к суду каких-то несуществующих взяточников. Партия — наш золотой фонд, наш кадровый резерв, наша интеллектуальная лаборатория, где мы отрабатываем самые эффективные методы государственного строительства. Никогда нечистая рука не коснется белых одежд, в которые облекла себя наша партия. — Сабрыкин, по мере того, как говорил Рем, расправлял плечи, выпрямлял спину, начинал гордо посматривать по сторонам. На его блеклом, в металлической шелухе лице заиграл румянец. — Я слышал, вам недавно здорово повезло на рыбалке? Выловили щуку, окольцованную Петром Великим? Первые апостолы тоже были рыбаками. Не забывайте, вы не только ловец рыб, но и ловец человеков. Партия — это бредень, который мы погружаем в людское море и вылавливаем лучших из людей.

Виртуоза восхищала та легкость, с какой Рем отбирал у Ромула его приверженцев, поднося каждому пиалу сладкой лести И те самозабвенно выпивали приторный нектар, позволяя себя обольщать. Он восхищался Ремом и презирал вельможную челядь, чуждую благородства, столь глубоко проникли в нее пороки власти. Государство, имея таких приверженцев, было обречено. Но не было иных вельмож, и он, демиург государства, должен был работать с чернью.

— Теперь, когда мы обменялись мнениями, я бы хотел сделать небольшое заявление по поводу ряда статей, появившихся в наших ветряных и взбалмошных СМИ. Не знаю, откуда дует ветер, может быть, из «Дома Виардо», но обществу навязывается мнение, будто бы прежний Президент Виктор Викторович Долголетов готовил страну к Развитию, к долгожданному рывку, к русскому экономическому и духовному Чуду. А я, нынешний Президент, останавливаю это Развитие, отказываюсь от рывка, отдаляюсь от Русского Чуда. Это в корне не верно. Если бы страна приняла вариант Развития, который

вынашивает наш уважаемый Духовный Лидер, мы получили бы — не преуменьшаю — сталинские пятилетки, сталинское насилие, сталинский ГУЛАГ. Мы получили бы в качестве врага объединенную Европу и Америку и все свои небогатые накопления спустили бы на гонку вооружений, на возведение нового «железного занавеса». Вы хотите, чтобы вас смещали с должности за малейший просчет? Хотите показательные процессы, связанные с коррупцией? Хотите конфискацию имущества и позор под улюлюканье злобной толпы? Хотите, чтобы вновь народ надел стеганые ватники, а вчерашние министры, главы департаментов, председатели советов директоров валили лес в сибирской тайге, осваивали месторождения меди в районе БАМа? Я гарантирую России плавный экономический рост, неуклонное преуспевание, с сохранением драгоценного кадрового потенциала, к которому вас всех причисляю. Мы не станем ссориться с Западом и Америкой, не будем раздражать их необдуманными «мюнхенскими речами». Запад стремительно падает, Америка на глазах слабеет. Мы не станем с ними сражаться, и они сами рухнут, как рухнули здания-близнецы, когда в них врезались «Боинги». Два года, как страна проголосовала за меня на выборах. Еще два года я останусь в Кремле. Но время летит быстро. Уже теперь народ хочет знать, стану ли я переизбираться на второй срок, или вновь уступлю мое место Долголетову. Элиты хотят знать, кто будет Президентом через два года. Вы стоите перед выбором, — он или я. Сталинский мобилизационный режим с непредсказуемыми результатами, «черными воронками» и многомиллионной армией или гарантированный, гармоничный прогресс с сохранением демократических свобод, при которых каждому таланту в бизнесе, культуре или политике гарантировано преуспевание. Не требую немедленного ответа. Мы еще не раз соберемся, чтобы поговорить на эту тему. Знайте, что все вы мне дороги. Я не могу без вас обойтись. Вместе мы сделаем Россию великой.

С этими словами Рем поднялся и стал обходить стол, с каждым прощаясь за руку. Взволнованные визитеры кланялись и расходились. Когда мимо Виртуоза проходил сутулый, длиннорукий министр иностранных дел Валериев, Виртуоз задержал его и протянул на ладони крохотную спиральку, выпавшую из министра в гостиной комнате «Дома Виардо». Министр испуганно взглянул на блестящую

пружинку. Быстро взял и вставил себе куда-то за ухо. Виртуоз услышал, как в голове министра что-то нежно затикало.

Виртуоз собрался было проститься, но Рем удержал его. Держа под локоть, вернул в кабинет, усадил за маленький столик.

— Хотел тебя спросить, что собой представляет «монархический проект»? Существует ли он еще в нашем обществе?

— «Монархический проект»? — удивился Виртуоз. — Пожалуй, существует в виде фантазии нескольких интеллигентов. Художник Глазунов, например, режиссер Михалков, князь Чавчавадзе. Ну, конечно, православная церковь на уровне приходских священников и монахов в отдаленных обителях. Еще кое-кто из казачества, выбиравшего себе в цари покойного скульптора Клыкова. «Монархический проект» всплыл, как затея Бориса Немцова, руководившего захоронением в Петропавловской крепости царских останков. «Проект» был нужен для того, чтобы облагородить позднего Ельцина, которого, с легкой руки либералов, называли «Царь Борис». Пожалуй, больше тебе ничего не скажу.

Рем смотрел в окно, за которым открывалась Ивановская площадь, влажная и солнечная от грибного дождя. Тускло темнела Царь-Пушка, отбрасывал тяжелую тень Царь-Колокол. Сияли купола, похожие на мятые золотые яблоки.

— Посмотри вот это, — Рем подошел к столу, взял лежащую на нем газету, протянул Виртуозу. — Почитай.

Виртуоз принял несвежую, на дешевой бумаге газету с блеклой надписью «Тобольские ведомости». Стал читать статью, выделенную красным фломастером. Статья называлась: «Цесаревич избежал большевистской казни».

В статье говорилось, что злодеяние в Ипатьевском доме имеет тайну, доселе тщательно скрываемую. Цесаревичу Алексею чудом удалось избежать убийства, ибо в ночь перед казнью его место занял мальчик, сверстник царевича, Иван Мызников, сын екатеринбургского мещанина Егора Мызникова, который, будучи монархистом, принес сыновью жертву, спасая наследника престола. Через своего родственника, служившего в охране дома; тоже тайного монархиста, мещанин Мызников осуществил подмену, принял цесаревича, переправив его в безопасное место. Сын же его погиб мученической смертью вместе с царем и его семейством. Именно этим

обстоятельством объясняется несовпадение ДНК найденных останков царевича с ДНК остальной семьи. Спасенный царевич, передаваемый из одних спасающих рук в другие, изменил фамилию и имя. Нареченный Семеном Горшковым, благополучно достиг совершеннолетия, работал в одном из леспромхозов Урала, женился на дочери лесного объездчика и родил сына Федора. Когда началась война, добровольцем ушел на фронт и погиб под Сталинградом в 43-м году, в штрафном батальоне. Федор Горшков окончил горный техникум, работал на горнодобывающих предприятиях Южного Урала, вступил в партию и был направлен на партийную работу в Богорякский район Челябинской области, где получил должность инструктора райкома. Женился на местной учительнице. У них родился ребенок, которого они назвали Алексеем, в честь деда, скрывавшего свое истинное имя. Когда младенцу едва исполнилось пять месяцев, оба родителя скоропостижно скончались, предположительно от того, что выпили воду из реки Сечи, отравленной радиацией. Младенца отдали в местный детский дом, где он и вырос без родителей. Окончив школу и Челябинский педагогический институт, историческое отделение, Алексей Горшков, а, по сути, Алексей Романов, сберегая тайну своей родословной, отправился в город Тобольск, место пребывания царской семьи перед ее отправкой в Екатеринбург. В Тобольске Алексей Горшков работает в краеведческом музее, изучая материалы о тобольской ссылке Романовых. Готовит экспозицию редких фотографий, сохранившихся в тобольских архивах. И никто из сотрудников музея, из друзей и знакомых Горшкова не догадывается, что среди них находится прямой потомок Государя Императора Николая Второго, законней наследник и претендент на российский престол.

Посменным подтверждением родственных связей Алексея Горшкова с цесаревичем Алексеем Романовым является тот факт, что Горшков страдает гемофилией — несворачиваемостью крови, которой, как известно, страдал царский отпрыск.

Статья была подписана: корреспондент «Тобольских ведомостей» Марк Ступник. К ней прилагалась фотография низкого качества — лицо молодого мужчины, обрамленное русой бородкой, с высоким лбом и спокойными печальными глазами, отдаленно похожее на лицо Николая Романова.

Прочитав статью, Виртуоз удивленно взглянул на Рема:

— Что тебя здесь поразило? Обычный апокриф. Их много появляется — и о Романове, и о детях Сталина, и о смерти Юрия Гагарина. Россия — страна апокрифов. Русский человек не верит официальной истории и создает свою, подпольную историю. Я даже думал издать том альтернативной истории, как ее пишет русское катакомбное сознание. Там может быть такая глава: «Самозванец как недостижимый идеал русских представлений о власти».

— Слушай, Илларион, а ты не мог бы этим заняться? — Рем кивнул на газету.

— Чем, прости, заняться?

— Я и сам не знаю. — Рем рассеянно смотрел в окно, где круглились мятые золотые яблоки на древе русского познания добра и зла. — Как бы тебе сказать… Наш друг Виктор Викторович Долголетов, он ведь у нас Духовный Лидер. Благодаря твоим технологиям его Духовный авторитет уравновешивает мой президентский статус и делает наши властные потенциалы равнозначными. Но его авторитет неуклонно падает, его духовная власть тает, ибо придумана тобой. Это ты из своих легких надышал вокруг него атмосферу, но она улетучивается. Ибо планета «Долголетов» слишком мала, чтобы своей гравитацией удержать этот чудодейственный воздух. Мне нужно, чтобы Долголетов побыстрее потерял атмосферу. Если рядом с ним возникнет другой Духовный Лидер, другая фантастическая личность, окрашенная драмой русской истории, мученичеством, чудом и святостью. Если появится фигура, в которой люди увидят искупление ужасного века с революцией, Гражданской войной, страшной военной бойней. Если появится человек, несущий искупительную идею, благую весть о будущей России, то это и будет истинный Духовный Лидер, а от мнимого ничего не останется.

— Ты хочешь, чтобы я вырастил самозванца?

— Я тебя не неволю. Ты великий маэстро, великий Виртуоз. Я многим тебе обязан. Не мыслю себя без твоей поддержки. Но ты должен сделать выбор между мною и Долголетовым. Равновесие невозможно. Весы склоняются в мою сторону. Он добровольно ушел из Кремля, и его покинули «кремлевские духи». А я оказался в Кремле,

и «кремлевские духи» питают меня своими сокровенными силами. Ты должен выбрать, Илларион.

Виртуоз смотрел в окно, за которым росло громадное дерево, уходящее корнями в бледное московское небо, опустившее крону к башням и соборам Кремля. На ветках вещего дерева качались золотые плоды, вкусив которые мудрец приобщался к божественным знаниям, а правитель становился помазанником. Плоды качались, ударяли один о другой, издавали звоны, от которых у Виртуоза кружилась голова. Казалось, стоит откусить золотую мякоть, ощутить на губах таинственную сладость, и откроется долгожданный путь в небо, распахнется лазурь, и в душу вольются необъятные смыслы, проникнут неизреченные знания об истинном устройстве Вселенной.

— Ты действительно этого хочешь? — слабо спросил Виртуоз.

— Не знаю… Здесь таятся большие возможности.

— Ты гениален.

— Здесь только мое предчувствие. Ты со своими методиками сможешь воплотить это в жизнь.

— Это опасно.

— Власть опасна. Никто не может сказать, как завершит свое правление властитель. Повезут ли его на лафете под звуки траурных маршей, среди рыдающих толп и склоненных знамен. Или сбросят с колокольни Ивана Великого, зарядят его трупом пушку, и выстрелят в сторону Москвы-реки.

— Ты гениален, Артур. Я буду думать… — Виртуоз поднялся, собираясь уйти.

— Подожди, у меня к тебе просьба, — остановил его Рем.

— Слушаю.

— Покажи мне эту заветную тибетскую позу «Скрипичный ключ».

— Ты знаешь об этой позе? Откуда? — изумился Виртуоз. Он хранил в тайне этот пластический иероглиф, входивший в инструментарий метафизической хирургии. Дважды он осуществлял магическую пересадку сердца — от Ельцина к Долголетову и от Долголетова к Лампадникову. Открыл сокровенную позу Долголетову, мосле чего тот вырвал сердце у Ельцина. Просьба Рема испугала его. Желая овладеть этой позой, Рем замышлял вырвать у Ромула сердце.
— Откуда ты знаешь об этой позе?

— Я спускался в «Стоглав», беседовал с профессором Коногоновым. Он сообщил, что, сканируя мозг Ельцина, расшифровал его предсмертный вскрик: «Он принял позу «Скрипичный ключ»! … Изображает «Скрипичный ключ! … Он вырывает мне сердце!» Ты не раз рассказывал мне о метафизической трансплантации сердца Долголетова в мою грудь. Я чувствую, как во мне бьются два сердца, его и мое. Сердце Долголетова диктует мне свою волю. Я хочу от него избавиться.

— Этой позой нужно долго овладевать. Эта танцевальная поза есть поза палача, высекающего сердце из груди своей жертвы.

— Я не стану брать у тебя уроки этого зловещего балета. Просто покажи один раз.

Виртуоз вышел на середину кабинета. Выпрямил спину. Туго напряг крестец. Приподнял левую ногу, повернув стопу внутрь. Распростер в воздухе руки, придавая им форму пропеллера. Молниеносным взмахом провел ладонью перед грудью, мысленно ее рассекая, срезая с аорты красный бутон дрожащего сердца.

— Вот и все, — сказал он, видя, как в темных глазах Рема полыхнул торжествующий огонь, словно моментальная вспышка фотографа.

Рем встал посреди кабинета, пытаясь повторить танцевальный этюд. Его приподнятая нога смешно вывернулась. Руки криво загнулись. Он был похож на жука, посаженного на булавку.

— Нет, не могу, — разочарованно произнес Рем, — Не дается и мне загогулина.

— Я пойду, — сказал Виртуоз, унося с собой провинциальную газету.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Президент Лампадников находился в своей подмосковной резиденции «Барвиха-2», предполагая посвятить утро наблюдениям за животными в небольшом зоопарке, который размещался тут же, на территории усадьбы. Зоопарк— единственное нововведение, которое позволил себе Лампадников, заступая на место своего предшественника Долголетова, не подвергая перестройке простое и красивое здание резиденции. Он уже облачился в прогулочный костюм, достал фотоаппарат, подаренный ему премьер-министром Англии, чтобы сделать несколько снимков уссурийского тигра, недавно помещенного в зверинец. Предстояло утреннее кормление зверя. На завтрак хищнику был доставлен живой олень. Лампадников хотел запечатлеть сцену поедания оленя, чтобы пополнить серию своих «натурфилософских» фотографий. Он давно уже оставил ружейную охоту, предпочитая «охотиться» с фоторужьем, отыскивая в природе моменты схваток и поеданий. Бабочка, которую склевывает трясогузка. Дрозд, в которого вонзается ястреб. Гусеница, которую поедают муравьи. Политическая жизнь, в которой он участвовал, тоже была непрерывной едой — утром на стол гурману подавали зажаренного и проперченного политического противника, а на ужин он сам становился вкусно приготовленным блюдом. Эти забавные размышления были прерваны появлением секретаря, который доложил, что экс-президент Долголетов направляется в «Барвиху-2» и просит его принять. Раздосадованный тем, что ему помешали в приятном времяпрепровождении, Лампадников, он же Рем, отложил фотокамеру и принялся ждать.

В окно из-за шторы он наблюдал, как вышел из машины Долголетов, невысокий, стройный, точеный, чем-то напоминавший шахматного офицера, вырезанного из слоновой кости. Направился под колонны, резко взмахивая левой рукой, прижимая к бедру правую кисть. Это был признак сосредоточенности и концентрации воли, что предполагало внутреннее борение и серьезный повод, побудивший Ромула нанести внезапный визит. Рем усмехнулся и не пошел

встречать Ромула, нанося его самолюбию укол, выигрывая несколько очков еще до начала схватки.

Ромул вошел, с порога меняя выражение лица. Угрюмое и сердитое, оно сменилось на радушное и насмешливое, с той очаровательной застенчивой улыбкой, которую так обожали дамы из числа его многочисленных поклонниц.

— Прости, что не вышел к тебе навстречу. Звонил Сабрыкин, — Рем кивнул на мобильный телефон, зная, что и этим сообщением уязвлял Ромула, полагавшего, что дела партии находятся в его компетенции. Они обнялись, и Рем почувствовал неестественность объятий, напряженность гибкого натренированного тела. — Очень рад тебе, дорогой Виктор.

Ромул, разомкнув объятья, прошелся по светлой, залитой шлицем гостиной, оглядывая стены, потолок:

— Не был здесь два года. Все как прежде. Впрочем, есть небольшие изменения. На столе стоял бюст Петра Великого, теперь здесь стоит Вениамин Франклин. Здесь висела картина: «Битва при Корфу», теперь здесь милый пейзажик. В остальном все, как прежде.

— Я не хотел ничего переделывать. Через два года ты снова станешь хозяином дома, и ничто тебя не должно раздражать.

— Спасибо за чуткость. Однако эти маленькие изменения, которые ты произвел в интерьере, подчеркивают наше несходство. Я — солдат, ты — гуманитарий. Я — славянофил, ты — западник. Но именно это несходство учитывалось технологами, обеспечивающими преемственность власти. Курс прежний, однако, несколько новых оттенков.

— Наш друг Виртуоз — замечательный колорист. Его искусство — в оттенках.

Они уселись. Ромул на удобный мягкий диван в кожаных складках, напоминавший бегемота. Рем — в глубокое, обтянутое той же складчатой кожей кресло. Солнце отражалось в часах Рема, и легкий зайчик трепетал на стене над головой Ромула, повторяя пульс руки.

— Ты не можешь себе представить, какое отдохновение я испытываю вдалеке от Кремля. Быть Президентом — это рабский, галерный труд. Помню, когда я вставал каждое утро, мне казалось, что я должен отдать стакан живой крови. И так каждый день, мждый день.

Теперь этот стакан сцеживаешь из себя ты. — Ромул смотрел на преемника с видимым участием, почти с состраданиям, но и с потаенной тревогой и подозрительностью.

— Я только теперь начинаю тебя понимать. Не знаю, как насчет крови, но — ни минуты покоя. Такое ощущение, что ты складываешь за день кирпичную стену, кирпичик к кирпичику, промазываешь швы, а наутро стена рассыпается. Люди, на которых я опираюсь, — аппарат администрации, министры, силовики, самые близкие и доверенные, внушают постоянную тревогу и недоверие. В них чудится заговор, саботаж. Ведь все эти люди достались мне от тебя. Может быть, я их не устраиваю? — Рем поймал солнце хрустальным циферблатом часов и направил его в зрачок Ромула. Отраженное от «Патек Филипп» тончайшее жало вонзилось в глаз Ромулу, и тот, уклоняясь от микроскопического ожога, отдернул голову.

— Конечно, выбранная мною роль, дается не просто, — Ромул сощурил обожженный глаз. — Быть Духовным Лидером — это целое искусство. Я читаю русские народные сказки, чтобы лучше понять архетипы русского народа. Почему любимый народный герой — Иван Дурак? Почему вместо благородных рыцарей и всеведущих мудрецов явлен нам колобок? Русская печь, на которой лежал Емеля, с его «по щучьему велению, по моему хотению» — не есть ли это русская альтернатива, ожидание исторического чуда, нежелание вмешиваться в сомнительный исторический процесс? Упование русских на царя и одновременное отвержение царя, вера в самозванца — не есть ли это мечта о райском правлении, о райском совершенном правителе?

— Колобок — как образ русского рыцаря, — это уж слишком! — засмеялся Рем, вновь направляя в глаз Ромула солнечный укол. Тот отдернул голову, уклоняясь от лазерного луча. — Может быть, тебе, как Духовному Лидеру, следует явить народу чудеса?! Например, чудеса исцеления. Представляешь, к памятной доске, которую Королькова установила на стене нашей школы, к твоей, а не моей доске, приходят бесплодные женщины. Трутся об нее! низом живота и начинают плодоносить. Или являются слепцы, которые читают по Брайлю, и вдруг видят, что золотыми буквами начертано: « Окончил с отличием Президент России Виктор Викторович Долголетов». Так из Духовного Лидера ты превратишься в Святого. — Он вновь уловил энергию гигантского, пылающего в мироздании светила, направил луч

в глазное яблоко Ромула, и луч, вонзившись, сжег маленький участок сетчатки.

— Да перестань ты! — раздраженно произнес Ромул, отстраняя голову. — Кстати, об аппаратчиках и министрах. Я знаю, ты начал кадровые перестановки в силовых структурах, не посоветовавшись со мной. Хотя твои назначенцы занимают второстепенные роли, но политологи, эти трупоеды, начинают гадать, не является ли это подкопом под верных мне силовиков, не замыслил ли ты смену силового блока, чтобы уменьшить мое влияние.

— Ты правильно определил политологов — трупоеды, поедатели падали. Тебя не должны беспокоить эти новые назначения. Обычная ротация. Одни уходят на пенсию, другие проворовались, третьи — тупицы. Новых людей подбирал не я, а те, кого ты сам назначал. Вернешься в Кремль, они будут твоей гвардией. — Рем перестал мучить Ромула солнечным зайчиком. Извлек из кармана связку брелоков, надетых на ремешок, — старинная золотая монета из бактрийского кургана, собачья голова, выточенная из красного коралла, искусственно выращенный кристалл изумруда. Стал играть брелоками, перебирать их на виду у Ромула и, заметив, что гостя раздражают шевеленья его пальцев, позвякивание драгоценных безделушек, чуть улыбнулся.

Еще один мой совет. Мне сообщили, что ты направлял в Краснокаменск к Ходорковскому своего представителя и он якобы вел переговоры с узником по поводу его возможного освобождения. Учти, это очень рискованная игра. Ходорковский на свободе — фактор дестабилизации. Он становится новым центром влияния, разрушает тщательно выверенный баланс элит. Если ты хочешь сделать это в пику мне, не заблуждайся. Удар пойдет на тебя. Все знают твою роль в деле «ЮКОСа». Реванш Семьи, который возможен после освобождения Ходорковского, ударит, прежде всего, по мне, который «вырвал сердце Ельцину», как болтают все те же политологи. Но он срежет и тебя — владельцы «ЮКОСа» мстительны, как их древние иудейские предки. Они обойдутся с тобой, как евреи обошлись с Эйхманом. Будешь сидеть в Басманном суде в пуленепробиваемом террариуме.— Ромул с раздражением смотрел, как в маленьких бойких пальцах Рема меняются местами золотая монета, изумрудный кристалл и красная собачья голова.

Рема забавляло его раздражение. Забавляло, что Ромул употребил слово «террариум», косвенно отождествив его с ящерицами и змеями.

— Если прав тот, кто распространяет слухи о моих еврейских корнях, то Невзлин и Ходорковский не станут обращаться с единоверцем, как с Эйхманом. Не посадят меня в террариум. — Он манипулировал песьей головкой, бактрийской монетой и лучистым изумрудом, видя, как раздражается Ромул. — Но я хорошо тебя понимаю, хоть и не столь опытен, как ты. Любые серьезные решения впредь стану согласовывать с тобой, как мы договорились. Я твой друг, твой ученик, всем тебе обязан. Помню условия нашего священного договора.

— Прошу, убери эти дурацкие погремушки! — Ромул кивнул на брелоки. — Я хочу, чтобы ты понял главный принцип управление такой страной, как Россия. Равновесие внутри элитных кланов. Стравливай, вгоняй клин, и пусть они приходят к тебе, чтобы ты их мирил. Не дай им объединиться. Олигархам и «силовикам». «Левым и «правым». Славянам и тюркам. Мусульманам и православным. Если они объединятся, то против тебя. Так они объединились против царя, и не стало Российской империи. Так они объединились против КПСС, и не стало Советского Союза. Поддерживай уровень конфликта, который ты сможешь погасить своей волей. Но если конфликт превысит твои возможности, то элиты разорвут на части страну, как это было в Киевско-Новгородской Руси и в Московском царстве. Власть в России — это управление Чернобыльским реактором, который при неточных действиях взорвется… Да убери ты эту хрень к чертовой матери! — воскликнул Ромул, и Рем послушно спрятал брелоки.

— Прости, что я это тебе говорю, но мне кажется, что ты мне не доверяешь, — произнес Рем с легким причмокиванием, как если бы у него болел зуб. Видел, что этот «цыкающий» звук неприятен Ромулу. — Скажи мне начистоту, как брату, в чем мои огрехи? Что тебя во мне раздражает? — Он чмокнул языком, видя, как поморщился Ромул.

— Ну что ж, начистоту так начистоту, — Ромул побледнел и внезапно осунулся, как это случалось с ним в минуты неодолимого раздражения. Его лицо заострилось. Нос приблизился к губам, сложенным в трубочку. Он стал похож на обозленного лисенка.

— Мои референты провели хронометраж телевизионного времени, которое предоставляется мне и тебе. Ты постепенно

увеличиваешь свое пребывание в эфире за мой счет. Но это не самое главное.

Рем цокнул языком, издав щебечущий звук. Ромул раздраженно дернулся:

— Когда в Москву на форум прилетал мой друг, итальянский премьер, ты сделал все, чтобы мы не повидались. Но и это, в конце концов, не страшно.

Рем снова цокнул, и звук получился птичий, как у щегла. Ромула перекосило:

— Но вот почему ты перетасовываешь советы директоров банков, которые оперируют твоими и моими деньгами? Хочешь разделить потоки? Хочешь перехватить доходы от нефти и торговли оружием?

Рем чмокнул, словно во рту у него был леденец.

— Какого черта ты щелкаешь? — воскликнул Ромул. — Ты клест или человек?

— Прости, — смущенно ответил Рем, прикрывая ладонью рот.

— Но есть и более серьезные свидетельства твоего вероломства. Правда ли, что в партии сложилась группа депутатов, которые хотят во всеуслышанье упрашивать тебя остаться на второй срок? Правда ли, что ты ведешь тайные переговоры с этим олухом царя небесного Сабрыкиным? Ведь это уже попахивает заговором.

Рем чмокнул:

— Прости ради бога… — Он прижал ладонь к губам.

— Но и не это самое скверное. Мне доложили, ты отдал распоряжение министру финансов, этому скопцу, стерилизованному еще в детстве, чтобы он перевел деньги из нашего «Национальною фонда Развития» в американские ипотечные фирмы, заведомые банкроты, за которые не ответственно даже правительство США. Это значит, деньги, которые я копил на Развитие, тобою уничтожаются. Ты совершаешь диверсию государственного масштаба. Ты гробишь саму идею Развития. Какой откат ты получаешь от этих американских банкротов? Три? Пять миллиардов?

— Ты действительно веришь в Развитие? Разве это не придуманный тобой ослепительный блеф? — Рем недоуменно пожал плечами, зная, что этим жестом окончательно выводит из себя Ромула. — Ты поклоняешься Развитию, как языческому идолу.

— Развитие — это не идол, это судьба! Развитие — это то, что я вынашивал все эти жуткие подлые годы. Когда работал на Собчака, выполняя его грязные поручения. Когда юлил вокруг Березовского, притворяясь его верным сатрапом. Когда втирался в доверие к этому чудовищу Ельцину, удерживая себя от того, чтобы не всадить в него пулю. Когда смотрел на наши дивизии и армии, убегавшие сломя голову от прибалтийских карликов. Когда дымились взорванные дома в Москве и спасатели складывали в брезентовый мешок детские ручки и ножки. Я думал о Развитии, когда смотрел на Грозный, похожий на поверхность Луны в пыльных кратерах. Когда видел ржавые цеха разграбленных сталинских заводов. Когда вглядывался в изможденные лица голодных стариков, на чьих поношенных пиджаках были привинчены ордена за взятие Берлина. Я думал о Развитии, когда делал вид, что веселюсь с олигархами на их вечеринках в Куршавеле и перед нами танцевали голые французские певички с золочеными лобками. Утонул «Курск», и вдовы и матери моряков рыдали, а им подносили жестяные кружки с ледяной водой. В Беслане дети с белыми платками выглядывали из окон захваченной школы, а мы вынуждены были открыть огонь на поражение. Я скрывал мою мечту о Развитии, как мать скрывает плод в чреве, когда вокруг идет избиение младенцев, и Америка, этот царь Ирод современного мира, ищет, не осталось ли у России какого-нибудь шанса уцелеть, — сохранился ли хоть один дееспособный ученый, хоть один талантливый генерал, один не продажный политик. Я лукавил, притворялся. Ездил на поклон в Вашингтон, получая ярлык на княжение. Встречался с раввинами, надевая кипу перед Стеной Плача. Собирал преданных мне «чекистов». Стравливал между собой олигархов. Приструнил мятежных царьков на Кавказе, на Урале, на Волге. Одних купил, другим показывал из-под полы пистолет. Я направил трубы Газпрома во все концы света и создал империю углеводородов, а вырученные деньги складывал в корзины, как курица складывает золотые яйца, чтобы их не могли украсть хищные хорьки и прожорливые крысы. Я уступил тебе мое место в Кремле, чтобы через два года снова туда вернуться и начать Развитие. Выхватить Россию из «черной дыры» истории. Еще раз явить миру Русское Чудо. Создать на руинах великое цветущее государство, повторив исторический подвиг Петра и Сталина.

Ромул говорил пылко, исповедовался в тайной, снедавшей его страсти, молился обожаемому божеству. Был беззащитен пред наблюдавшим его Ремом, который холодно изучал его лоно, где свернулся горячий, пульсирующий эмбрион. Присосался незримыми щупальцами, пил энергию, готовился выпустить черный разящий клюв.

— Дорогой Виктор, ты находишься во власти великой иллюзии. Не будет никакого Развития. Народ не будет работать на твоих гипотетических стройках, запускать твои иллюзорные ракеты, строить твои сказочные звездолеты. Народ надорван, пьет и бездельничает, вырождается, и чтобы ему было радостно вырождаться, ему придумали Диму Билана и «Евровидение», Ксюшу Собчак и «Дом– 2». Элита, которую ты называешь: «мои чекисты», торгует, ворует, учит детей в Европе, отправляет жен рожать в Израиль и приезжает в Россию посмотреть, сколько еще осталось нефти и газа в их фамильных скважинах, поглазеть на чудаков, устраивающих «марш несогласных». Через десять лет нас завоюет Китай или Турция, и если ты хочешь, чтобы этого не случилось, нам следует добровольно сдаться Америке. Наши ресурсы — ее технологическая мощь. Наши пространства — ее геополитический гений, способный распорядиться этими пространствами. Находясь под протекторатом великой Америки, мы сбережем свои состояния, сохраним свои привилегии, в конце концов, просто останемся живы.

— Ты веришь в Америку? Веришь, что они станут приглашать тебя на встречи «восьмерки»? Устраивать тебе приемы в Кэмп-Девид? Как только ты лишишься последней ракеты, отдашь им последнее нефтяное поле в Сибири, они выкинут тебя на свалку, предварительно сняв со счетов все твои деньги. Так было с Нарьеги и Маркосом, с Милошевичем и Саддамом Хусейном. Сначала — лучшие друзья, потом — тюрьма и смертная казнь. Только мощная Россия с ядерной триадой и непобедимой армией — гарант того, что в Кэмп-Девиде лакей станет открывать дверцу твоего лимузина.

Ромул клокотал огненной страстью, которая сжигала его и опустошала. Рем исподволь управлял этим горением, поглощал потоки исходящей от Ромула энергии, пил, наслаждался. Его щеки нежно розовели, глаза наполнились влажной истомой, как если бы перед ним

была желанная женщина. Ромул бледнел, щеки и виски проваливались, на скулах гуляли бело-синие желваки.

— Кажется, ты и впрямь возомнил себя Президентом? Надумал самостоятельно управлять внешней политикой? Собрался изменить курс, который я выстраивал, начиная с Мюнхенской речи? Ты — жалкий ставленник, временщик, дутая фигура. Ты — надувной Президент, из которого я в любой момент могу спустить воздух, и от тебя останется плоский резиновый чехол!

— Нет, я Президент России, со всеми дарованными мне Конституцией полномочиями, — спокойно возразил Рем.

— Конституция?.. Полномочиями?.. — задохнулся Ромул. — Да я вышвырну тебя из Кремля, как вышвыривали самозванцев. Я загоню тебя на колокольню Ивана Великого и скину на землю, на потеху толпе! У меня в руках партия, и она объявит тебе импичмент! У меня в руках губернаторы, и они утвердят этот импичмент в Совете Федерации? У меня «силовики», спецслужбы, они приедут к тебе ночью, замотают в мокрую простыню и станут пропускать ток, пока ты не станешь полным идиотом, и твою фотографию опубликуют в журнале «Занимательная психиатрия»! Ты думаешь, когда я передавал тебе власть, я положился на твое благородное слово? Не было у тебя никогда благородного слова, ни и детстве, ни теперь! Я обложил тебя такими системами страховки, что ты пикнуть не сможешь без моего волеизъявления! — на бледном лице Ромула безумно сияли выпуклые голубые глаза, оскал влажно, хищно блестел. Рем вдруг представил его маленький голый череп, заостренный, как у лисы, с хохочущим оскалом, и этот выскобленный до белизны череп лежит на земле, и он, Рем, перешагивает его, заглядывая в пустые глазницы.

— Твои «силовики» давно уже — «слабовики», торгуют мебелью и китайским ширпотребом. Они у меня в кармане. Твои губернаторы ненавидят тебя за то, что ты отнял у них полномочия. Я обещал им вернуть полномочия, и они все, как один, за меня. Крупный бизнес не простил тебе расправы над ЮКОСом, изгнание Березовского и Гусинского, олигархи называют тебя палачом. Интеллигенция видит в тебе второго Сталина, только и ждет, чтобы забросать тебя грязью. Церковь, которую ты считаешь своей опорой, давно уже перенесла от тебя ко мне свои епитрахили, панагии, клобуки, а также дорогие «мерседесы» и «вольво». Партия, которую ты собирал из камней,

кизяков и головешек, надеясь превратить ее в свою политическую гвардию, так и осталась сборищем карьеристов, мелких спекулянтов и жуликов, готова голосовать за меня. Америка и Европа видят во мне либерала, а в тебе едва ли не Гитлера. Ты — один, давно один, но не замечаешь этого!

— Ты лжешь! Ты хочешь открытого конфликта? Ты посягаешь на Духовного Лидера нации? — голос Ромула сорвался на свистящий булькающий клекот, словно в горле у него была фальшиво свистящая дудка.

— Духовный Лидер? Совесть нации? Воплощение этики и благородства?.. Но если народ узнает, что нет никакого Духовного Лидера, нет блюстителя закона, ревнителя этики и благородства? Он увидит коварного, трусливого и суеверного лилипута, непомерного властолюбца, который однажды, бросив все государственные дела, помчался в захолустный монастырь к полубезумному, лежащему на смертном одре старику, и тот, уже в агонии, набормотал ему что-то про убийство в урочном году Верховного Правителя России. И этот благородный Духовный Лидер поверил в стариковский бред и решил обмануть судьбу. Не пошел на «третий президентский срок», хотя его умоляли миллионы льстецов. Сделал вид, что почитает Конституцию, уважает демократию. Передал кремлевское кресло своему сподвижнику, верному соратнику, другу детства, которого называл братом. Чтобы его, любимого брата, верного друга, поразила судьба. Чтобы в него в урочное время выстрелил террорист. Чтобы его самолет потерпел аварию над Атлантикой. Чтобы ему на приеме подсыпали в бокал шампанского горстку полония. Друг умрет, пророчества старца сбудется, и наш Духовный Лидер, уронив слезу на могилу друга, преспокойно вернется в Кремль, перехитрит судьбу, обманет самого Господа Бога. Вот какие нынче на Руси подвижники, духовные вожди, национальные лидеры.

Рем тонко улыбался, видя, как мертвенно бледнеет Ромул, как его покидают последние силы. С ужасом, забыв убрать свой оскал, тот смотрел на Рема, и в этом оскале были невыносимая мука и страдание:

— Откуда знаешь? — прошептал Ромул.

— Ветром навеяло.

— Кто рассказал?

— Прикатился колобок, русский витязь. Он и поведал.

— У моляю, скажи, как узнал? — жалобно, сокрушенно, почти готовый упасть на колени, взмолился Ромул. Рем, торжествуя победу, видя поверженного соперника, выпивая остатки его жизненных сил, ответил:

— Видишь ли, мои сторонники в Патриархии доложили о твоем тайном визите в Псково-Печорский монастырь. О твоей часовой беседе с Иоанном Крестьянкиным, после который ты вышел сам не свой. Вернувшись в Москву, сразу прекратил все приготовления к своей, третьей по счету президентской кампании. Ты неожиданно предложил мне стать Президентом. Если ты помнишь, я тебя отговаривал, убеждал не покидать Кремль. Искренне убеждал, полагая, что твой «третий срок» — это благо России. Ты прикидывался страшно усталым, что-то говорил про галеры, про уважение к Конституции, о мировом общественном мнении. Я не верил тебе. Предчувствовал какую-то тайну. Сразу же после избрания, когда мы вдвоем вышли из Спасских ворот и прошествовали по мокрой брусчатке под патриотические песни «Любэ», я послал своих агентов в Псково-Печорский монастырь. Почтенный старец к тому времени усоп и был погребен в пещерах. Тайно, ночью, агенты проникли в пещеру, извлекли из могилы тело старца и отделили ему голову. Голова была доставлена в Москву, в лабораторию «Стоглав», где профессор Коногонов произвел над ней свои уникальные опыты. Мертвая голова поведала свою тайну. Удалось прочитать несколько мыслей старца, мучивших его перед смертью. Про «индивидуальный налоговый номер», который он рекомендовал принимать православным, не считая «печатью зверя». Его любимую поговорку: «Что-то начато, что-то сделано, вот и жизнь прошла». А также пророчество, что он поведал тебе, согласно которому в урочном году Верховный Правитель России будет убит. Не Президент, а Верховный Правитель, словно речь шла о Колчаке. Профессор Коногонов сообщил мне результаты опытов. Голову старца вернули в монастырь, снесли в пещеру и приложили к телу, так что монахи ничего не узнали. Так я понял истинную причину твоего отказа от президентства. Ты выдал меня судьбе, принес меня в жертву, как древние язычники кидают на алтарь окровавленные тела своих близких. Ты совершил неотмолимый грех.

— Прости, Артур, — едва слышно произнес Ромул, и вдруг все его маленькое тело стало сотрясаться, и из глаз побежали обильные

прозрачные слезы, как у измученного ребенка.

Рем смотрел на рыдающего друга, и в нем не было жалости, а только желание продлить страдания.

— Если России нужна моя жизнь, я готов ею пожертвовать. Если тебе, моему другу, нужна моя жизнь, что ж, бери ее. Разве я не русский человек, хоть кто-то и сеет слухи, будто я религиозный еврей? Разве я не знаю, что русская власть требует жертвы? Так пожертвовали собой Борис и Глеб, хотя ведали о замысле Святополка Окаянного. Так пожертвовал собой Иван Сусанин, обувшись в сапожки юного царя Михаила, уведя по ложному следу банду польских убийц. Так пожертвовал собой последний русский царь Николай, отдавая себя в руки убийц. Так пожертвовал собой сын мещанина, отрок Иван Мызников, заступая место царевича Алексея в подвале кромешного дома. Нужна, нужна жертва! И я ее приношу, потому что знаю — России необходим такой правитель, как ты. Пусть тебя пощадит судьба. Пусть ее удар настигнет меня. «Жизнь за други своя»! «Жизнь за царя»! Я не сужу тебя — принимаю случившееся как высший дар, как возможность жизнью своей послужить ненаглядной России!

Ромул рыдал. Кинулся на грудь Рему, орошая его рубашку жаркими слезами. Рем обнял его, прижал к себе его белесую, с редкими волосами голову. Гладил, утешая, как малого ребенка:

— Ну не надо, Витя… Все хорошо… Все будет, как ты задумал.. . Если хочешь, я подам в отставку… Устроим досрочные выборы… Ты снова станешь Президентом России…

— Прости, Артур, — сквозь слезы, едва выговаривал Ромул.

Они сидели в гостиной. Ромул комкал мокрый от слез платок, изредка вздрагивал. Нос его хлюпал, был красный. Белки розовели, как у кролика. Рем спокойно его разглядывал.

— А помнишь? — Ромул нуждался в воспоминаниях, которые свидетельствовали об их светлой нерушимой дружбе.— Помнишь того жильца, который обитал в четвертом подъезде на втором этаже? Такой старомодный господин, фетровая шляпа, галстук-бабочка, всегда чуть-чуть подшафе. Встретил нас и насыпал в пригоршни конфеты «Мишка на севере».

— Помню, — ответил Рем.

— А помнишь, как в лесу набрели на гнездо тетерки? Раздвинули ветки, а она сидит на яйцах, шея вытянута, взгляд умоляющий, словно

просит: «Люди, не троньте меня. У меня будут дети». Мы снова сдвинули ветки и ушли поскорее.

— Коричневая, серая в крапинках, шея с зеленым отливом.

— А помнишь, на школьному балу поспорили? Кто подойдет к классной даме Семалии Трахтенберг и пригласит ее на танец. Я подошел, пригласил. Танцевал с ней, чувствуя ее большую грудь, твердые соски. Слегка прижал к себе, и она мне ответила тем же.

— Красивая женщина. Искушение для подростков.

— Никогда не забуду, как ты прикрыл меня своим телом. На Второй линии Васильевского острова вырулил этот джип, и автомат хлестнул. Потом мы отыскали этих вольных стрелков. Теперь на их могилках березки уже большие.

— Да, дорогой мой. Много пережили, всегда помогали друг другу. Будем и впредь помогать. Дружба превыше всего. Давай-ка, выпьем за дружбу. У меня есть великолепный коньяк. — Рем поднялся и вышел в соседнюю комнату, где размещался бар.

Ромул благодарно смотрел ему вслед, верному другу, соратнику и сподвижнику, с кем много еще предстоит совместных радений, неустанных трудов, опасных деяний. Вдруг услышал, как слабо зазвучал, наполнился сладкой силой, восхитительной нежностью женский голос, поющий божественную арию. То бы голос Полины Виардо, зовущий в бесконечность, где нет вероломства, изнурительной ревности, бессильных устремлений, а только любовь, блаженство, целомудренная чистота. Ромул устремился на тот голос, суливший бесконечное счастье.

Рем в соседней комнате открыл дверцы бара. Извлек бутылку «Наполеона». Откупорил. Поставил на столик два огромных шарообразных бокала и плеснул на дно золотистый коньяк. Не брал бокалы, задумчиво любуясь золотистыми переливами напитка. Отступил на шаг. Выгнул таз. Выпрямил и упруго напряг позвоночник. Приподнял ногу, повернув ее стопой внутрь. Развел руки, стараясь придать им вид пропеллера. Мысленно вообразил свою разъятую грудь, где на едином трубчатом стебле, на двух разных отростках пульсировали два алых сердца. Медленно воздел правую руку и резко, ребром ладони, повел вдоль груди, как если бы отсекал одно сердце. Не удержался, покачнулся, едва не упал. Почувствовал, как больно лопнул в ноздре сосудик и на губу из носа потекла соленая кровь.

Достал платок, вытер кровь и некоторое время стоял, запрокинув лицо, дожидаясь, когда кровь уймется. Подхватил обеими руками бокалы, понес в гостиную.

Ромул слушал неземной голос певицы, увлекавший его в блаженный рай, как вдруг сильный удар в сердце едва не поверг его в обморок. Сердце рванулось, словно его выдирали с корнем. С болью, неровно ухая, вернулось обратно. Он испуганно прислушивался к его перебоям, растирал грудь, когда вернулся Рем, неся стеклянные сферы, полные золотистого напитка.

— Понюхай, какое благоуханье,— он поднес бокал к лицу Ромула, и тот ощутил пьянящий аромат коньяка. — За дружбу! За Духовного Лидера России! За Духовного Лидера Русского Мира!

Стекло прикоснулось к стеклу, издав мелодичный звон. Ромул пригубил душистый, обжигающий ноздри коньяк, прислушиваясь к бою сердца. Оно успокоилось. Но казалось, вокруг него витало невесомое облако страха. Он не мог понять, что это было. Быть может, сердце не вынесло сладкой муки, в которую вверг его божественный голос, поющий о вечном блаженстве.

— Мне пора, Артур. — Ромул поднялся. Они обнялись. Лампадников провожал Долголетова до колонн портала, из-под которых наблюдал, как гость направляется к машине. Его походка была неверной. Руки безвольно висели. Голова с редеющими белесыми волосами чуть наклонилась, словно он прислушивался к чему-то внутри себя. Черный «Мерседес» умчался, сопровождаемый кортежем охраны.

Почтительно, с полупоклоном, приблизился служитель зверинца:

— Тигра будем кормить, Артур Игнатович?

— Конечно. Из-за глупости людей звери не должны оставаться голодными.

Они проследовали по дорожке в сосновую рощу, среди которой располагались вольеры и клетки с животными. Здесь был жираф, нелепый и печальный в своей красоте, с очаровательной женственной головой и трогательными рожками. Потешные лемуры — сгустки пушистой шерсти, из которой смотрели черные изумленные глаза. Африканские антилопы с огромными винтообразными рогами, словно это были прически, выполненные экстравагантным парикмахером. В железной клетке возлежал тигр, подарок уссурийских звероловов —

золотой, с черными полосами. Белая грудь, ленивые лапы, круглая, сонная голова с усами. Прищуренные зеленые глаза вдруг растворялись, полные ненавидящего желтого блеска, хвост начинал громко стучать по земле, из горячей пасти вываливался красный язык, облизывал усы, белые, в мокром блеске клыки.

Рем приблизился к стальной клетке, восхищаясь своим любимцем, вдыхая запах могучего, наполненного неистовой силой тела, — вместилища первозданной свирепости, жестокой красоты, дремлющей ярости.

— Ты моя кошечка, кушать хочешь? Забыли нашу кошечку накормить, — он чуть сюсюкал, гулил, словно разговаривал с младенцем, окружая его нежностью и обожанием. Повернулся к служителю: — Давайте кормить нашу кошечку.

Тот сделал повелевающий взмах. В соснах зарокотал мотор, появился крохотный трактор. Толкал перед собой решетчатый, на колесах, короб, в котором колыхалась, пугливо переступала ногами самка оленя. Розоватое, в золотистых крапинах туловище, точеная мягкогубая голова, на которой мерцали, страшились, умоляли влажные, окруженные ресницами глаза. Тракторист в комбинезоне, ловко управляя трактором, подогнал клетку с оленихой к жилищу тигра. Щелкая электрическими замками, служитель отворил двери в обеих клетках, и между тигром и оленем больше не было разделяющих стальных перегородок.

— Ну, давай, давай, пошла!— подгонял он олениху, толкая кулаком в мохнатый дышащий бок. Животное упиралось, отступало, мелко дрожало. С ужасом смотрело в свободный от решетки проем, в котором желтела сонная полосатая громада, — Давай ее, суку, выдавливай! — сердито приказал трактористу служитель.

Тот что-то нажал на пульте. В клетку стала въезжать штанга с поперечиной. Коснулась оленьих ног, давила, толкала. Животное приседало, противилось, скользило копытами по стальному поддону, а потом неловким больным скачком впрыгнуло в тигриную клетку, шарахнулось, прижалось к железным прутьям. Служитель замкнул дверь. Трактор отъехал.

— Ну что ж, блюдо подано. Пожалуйте кушать, — Рем наслаждался зрелищем, которое воссоздавало в искусственных условиях вековечную драму живой природы, где совершалась

непрерывная схватка. Происходило поедание одних другими. Благоденствие слабых приносилось в жертву процветанию сильных. Не было места этике, состраданию, а торжествовал закон выживаемости и пирамидальной иерархии видов.

Тигр продолжал лежать. Шевелил ноздрями, тревожно, жадно втягивал воздух, пропитанный оленьим страхом, предсмертным потом, влажной удушливой прелью. Его сонные глаза расширились, наполнились изумрудной тьмой. Почернели, выпукло уставились на добычу, словно гипнотизировали ее. Олениха теснилась к железным прутьям, ноги ее подкашивались, из глаз текли слезы. Тигр набухал, увеличивался, мускулы его наливались огненной силой, хвост с деревянным стуком ударял о пол клетки. Шумно метнулся, сверкнув клыками, ударяя их блеском в оленье горло, громко сокрушая добычу. Розоватое пятнистое тело билось под полосатой черно-рыжей громадой, копыта скользили, глазастая голова запрокинулась. Тигриная пасть хрипела, вырывая из оленьего горла кровавый комок, и в открывшейся дыре хлестала кровью порванная артерия, дергалась трубчатая трахея, из которой вырывался свист. Был виден белый олений пах, нежные соски, курчавые ляжки, из-под которых вытекала прозрачная лужа. Тигр хлюпал, хрипел, с хрустом ломал позвонки, тянул упругие красные жилы. Олениха еще жила, открывала мягкие губы, скалила желтоватые зубы, на которых дрожал розовый пузырь. Тигр рвал клыками олений живот, зарывался в сочную мякоть, глотал выдранные вместе с шерстью и кишками ломти. Из клетки в лицо Рема бил запах парного мяса, красный дух смерти, удушающее зловонье насилия. Он испытал мучительную сладость, сладострастную дрожь, слепящую судорогу. Повернулся и вяло побрел прочь, слыша за спиной мокрое чавканье и урчанье.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Недавняя встреча с Президентом Артуром Игнатовичем Лампадниковым, когда тот невнятно, полунамеками, завел речь о «монархическом проекте», о чудесном избавлении цесаревича Алексея, о существующем где-то в Тобольске живом престолонаследнике, — эта встреча повергла Виртуоза в смятение. Причиной смятения служило несколько обстоятельств. Во-первых, ему было прямо, без обиняков, предложено сделать выбор в разгоравшейся, выходящей на поверхность борьбе между Ромулом и Ремом, — той борьбе, которую всячески умягчал и сдерживал Виртуоз, видя в ней источник небывалой опасности для государства. Создавая двухкупольный храм власти, конструируя равновесную систему властных полюсов, Виртуоз сознавал всю ненадежность такой архитектуры, ее произвольный, декадентский характер. Замечал деформацию храма, едва заметные, расползавшиеся трещины. Всячески их замазывал, пристраивал к храму контрфорсы, укреплял кровлю тягами, охватывал стены обручами. Однако тектонические толчки и трясения смещали в храме оси симметрии, купола кренились, все больше удаляясь один от другого. Становилось очевидным, что рано или поздно храм рухнет, одна из глав провалится, и возникнет новый, одноглавый собор, отвечающий классическим нормам, способный выдержать тяжесть кровли и стен, противостоять тектоническим сдвигам. Не было сомнений, что рухнет Ромул, а уцелеет Рем, которому предстоит управлять Россией и который столь остро нуждается в его, Виртуоза, талантах.

Однако выбор давался непросто. Предполагал предательство человека, с которым Виртуоза связывали годы великих опасностей, ослепительных побед, невероятных открытий. Карьерным, творческим взлетом, вознесшим его на вершину влияния, Виртуоз был обязан Виктору Викторовичу Долголетову в пору его президентства. Изменить ему, переметнуться на сторону конкурента значило для Виртуоза потерять духовную стройность, ту незыблемую координату, вокруг которой клокотали вихри неустойчивого мира, взрывы

вселенского хаоса, бесконечность случайных, не охваченных закономерностями форм.

Вместе с Ромулом они проживали кромешные годы, когда бушевала на Кавказе война и страну сотрясали теракты, города бурлили протестами и Америка через свою агентуру в парламенте, правительстве, бизнесе угнетала Россию, управляя ее политикой, экономикой и культурой. В эти смутные, казавшиеся безнадежными годы, среди техногенных катастроф и природных бедствий, вселенского мора и народного стона, они с Ромулом, как два провидца, разрабатывали идеологию Государства Российского. Сформулировали понятие «суверенная держава», которым отторгали назойливый протекторат Америки, ее претензии на внешнее управление Россией. Ввели в политический лексикон формулу «русская цивилизация», утверждая неповторимый характер русского исторического пути. Недвусмысленно заявили о «русской альтернативе», которую выберет Россия, не желающая встраиваться в погибающий мировой порядок. С помощью церкви, устами ее иерархов, возгласили о Русском Чуде, как о загадочном факторе русской истории, который всякий раз, в период распада и смерти, подъемлет Россию из бездны. Заявили о модернизации страны, о Русском Развитии как о грандиозном проекте, призванном вновь, вслед за Петром и Сталиным, сделать Россию великой.

Теперь же от всего этого приходилось отказаться. Ромул, повинуясь своим капризам, охваченный суеверьем, поверил пророчеству старца и покинул власть, добровольно уступив ее Рему, мнимому другу. Ромул был обречен, и был ли смысл Виртуозу обрекать себя вместе с Ромулом? Служение Государству Российскому было выше служения отдельному человеку. Все побуждало Виртуоза порвать с Ромулом, переметнуться на сторону Рема. Но оставались сомнения, оставались угрызения совести, что являлось роскошью для политика большого масштаба.

Другое, смущавшее его обстоятельство, было еще мучительней. Проект «Лжецаревич», что поручил ему Рем, предполагал создание мифа, написание апокрифа, который вбирал в себя множество людей и страстей, становился частью живой истории. Выхватывался из далекого прошлого и встраивался в настоящее. Отрезок минувшего вживлялся в сегодняшние дни, ломая весь ход исторического процесса.

Так в длинную молекулу ДНК встраивается малый ген, меняющий всю формулу жизни. Так в древесный ствол вживляется малая почка, из которой вырастает новый, с измененными признаками побег. Предполагалась операция на историю с непредсказуемым историческим результатом. Прививка на дерево, от которого произрастет либо дивный, исполненный сладости плод, либо отвратительный ядовитый гибрид.

Виртуоз мучился, его одолевали сомнения. Ему предназначалась роль селекционера, который выращивал новый исторический вид. Он становился генетиком, менявшим генетический код времен. Клонировал потомка царской династии и встраивал его в реальность, где не было места династическим притязаниям, царствовал Интернет, торжествовал глобализм, правил новый мировой порядок, змеились интриги спецслужб, возвышался жестокий интернационал, перемалывающий государства и нации. Дело, которое ему предлагалось, могло привести к ужасающим последствиям, как искусственно выведенный вирус мог породить чудовищную эпидемию. Он, Виртуоз, одержимый творческой страстью, лишенный этических ограничений, мог стать источником мировой катастрофы непредсказуемого масштаба.

События последнего царствования свидетельствовали о болезненном завершении огромной исторической эры. Были трупными пятнами, проступавшими изнутри русской жизни. Эти следы гангрены ему предстояло привнести в неокрепшую, ранимую плоть нового Государства Российского. Многолюдные и красочные рок-фестивали на Васильевском спуске соединялись с кромешной давкой Ходынки. В отношения с дружественной Германией Шредера и Меркель вонзался Брусиловский прорыв с разгромом немецких и австрийских полков. На рудниках Потанина и нефтяных полях Алекперова повторялся Ленский расстрел. «Марши несогласных», экзотические и эфемерные, превращались в «кровавое воскресенье». Инспекционные поездки по Мойне предприимчивого мэра Лужкова перетекали в баррикады Красной Пресни, в бои рабочих дружин. Переговоры с Японией о судьбе Курильских островов озарялись кошмарным пожаром Цусимы, выстрелами крейсера «Варяг». Чествование Духовного Лидера России Долголетова становились похожими на празднование трехсотлетия Дома Романовых. Подписание договора между Украиной и Газпромом

напоминало отречение царя на станции Дно. Каждое деяние, привнесенное из прошлого в современность, взрывало эту современность, порождало события-монстры, обрушивало историю, в которой начинал дымить, клокотать русский хаос. Вихрями вылетал на просторы России. Начинал бушевать на громадных просторах Европы и Азии. Похожие на бред предчувствия ужасали Виртуоза, мешали взяться за исполнение замысла.

Изнуренный, не принимая решения, избегая встреч, он нуждался в совете и помощи. Отправился на окраину Москвы, на Старо-Марковское кладбище, где была погребена его мать. Кладбище было небольшое, безлюдное, с прозрачной пустотой редкого елового бора, в котором голосисто и печально пела одинокая птица. Асфальтовые дорожки, могильные ограды и памятники, бумажные венки. Отовсюду безмолвно взывали надписи, смотрели оттиснутые на камне лица. Виртуоз читал даты рождения и смерти, остро ощущал окаменевшее время, ограниченную этими датами человеческую жизнь, которая билась в отпущенных ей пределах, не в силах вырваться в бесконечность. Он шагал по дорожке, чувствуя с каждым шагом свое приближение к матери. Ее присутствие чудилось в чистоте и прозрачности студеного душистого ноздуха, в высоких переливах птичьего свиста, в нежности, умилении и слезной печали, которыми наполнялась его душа.

Могила матери притаилась в чудесном месте, на краю небольшого обрыва, под которым протекал весенний ручей. Две высокие, с прямыми стволами ели качали темные косматые ветви. Вода в ручье была черной, сверкающей, как на одной из маминых акварелей, будто она в своих странствиях с этюдником набрела когда-то на это место, нарисовала его, выбрала его на будущее. Он отворил оградку, вошел, приблизился к розовому граниту, из которого возвышался простой дубовый крест. Прочитал на камне материнское имя, и его шепчущие губы ощутили чудесную сладость и неизъяснимую грусть, а глаза, полные тумана и влаги, вдруг увидели на могиле пробившийся из черной земли цветок. Розово-белая бегония трепетала на хрупком стебельке, и это был несомненный знак, посланный ему матерью. Она ждала его появления, благодарила, преподносила цветок.

Он был умилен, восхищен. Его связь с матерью не прерывалась, они были по-прежнему вместе, окружали друг друга нежностью и

любовью, и мама из своей потусторонней обители прислала ему на землю этот чудный дар.

«Мама, я пришел, — произнес он беззвучно, хотя она знала о его появлении, издалека улавливала его шаги, тихо ликовала, пока он приближался. — Прости, что так редко. Все какие-то дела неотложные».

Он обращался к матери — к той, чьи легкие кости среди истлевшего с шелковой вышивкой платья покоились в глубине под его стопами. И к той, усталой, бессильно лежащей на высоких подушках, в линялой косынке, из-под которой выбивались седые волосы и глядели серо-зеленые, потускневшие в болезни глаза. И к той, молодой, с очаровательным лицом, волной золотых волос, — кидался в прихожую, услышав долгий перелив звонка, ее енотовый воротник был в снегу, благоухал холодом, духами, щеки пламенели, и взгляд жадно, счастливо устремлялся к встречавшему ее сыну. Все эти образы, и множество других, из разных периодов их жизни, сливались в струящийся, неуловимый, обожаемый и любимый образ, в котором было много бесплотного, неизреченного, витавшего среди елей, мерцавшего в бегущем ручье. Мама была рядом, вокруг него, над его головой, в его сердце.

«Знаешь, мама, мне очень трудно. Не могу ни на что решиться. Не знаю, как быть, — он жаловался, искал ее помощи, — не совета, не вразумления, а простого участия, когда в минуты своих невзгод он бывал с ней рядом, и она своей сберегающей силой отводила напасти, помогала избежать роковых ошибок. Теперь, когда мама была мертва, ее присутствие оставалось. Оно окружало его среди могильной оградки, розового камня с крестом, просторных кладбищенских елей. — Очень трудный выбор, мама. Может быть, роковой».

Он прислушивался, ожидая услышать ответ, уловить тайный знак, угадать ее пожелания. Был ответ — свист высокой невидимой птицы. Был тайный знак— блестящие искры в темном ручейке. Было пожелание — дуновение студеного чистого ветра. Но все это уводило из мучительной реальности, где ему предстояло действовать. Помещало в иной, сокровенный мир, куда удалилась мама и куда звала за собой.

В детстве, когда он болел и у него начинался жар — прелюдии близкого бреда, — он пользовался привилегией. Ему разрешалось

перебраться с крохотной детской тахты на мамину широкую, с гнутыми спинками кровать. С этой кровати открывался иной вид комнаты, по-новому, увлекательно выглядели стены с мамиными акварелями, книжный шкаф с корешками старинных романов, декадентский, набранный из разноцветных стекол све– тильник. Разноцветные, помещенные в свинцовые оправы стекла фонаря складывались в незнакомые узоры — в изображения рыцарей, животных, светящихся дворцов. И среди них отчетливо просматривался медведь, вставший на задние лапы. Чувствуя, как разгорается жар, он смотрел на медведя, принимавшего фанатические очертания. Млечно-белая голова, рубиново-красное туловище, нежно-зеленые лапы причудливо перетекали в разноцветный, ужасающий бред, куда проваливалась его беспомощная душа и из которого он возвращался, когда чувствовал на лбу мамину прохладную руку, видел близкое, сострадающее лицо.

Она старалась увлечь его историей, читала вслух Ключевского — этюды об Иване Грозном, Алексее Михайловиче, Петре Великом. Водила по музеям — Кусково, Архангельское, Останкино, красно-белые развалины Царицына. Морозный янтарный день, они в пустынном, прохладном зале Третьяковки, на иконе — растресканное золото, алая киноварь, край лазурного плаща, — все в пятне вечернего солнца. Рябые от дождя, темные пруды Суханова и бело-желтый ампирный дворец, который она рисовала, заслоняя этюдник от начинавшегося ливня. Она перелистывала рассыпающиеся от времени страницы Грабаря, стараясь увлечь его рассказами о монастырях Ярославля, деревянных шатрах Заонежья, барочных дворцах Петербурга. Она мечтала, чтобы он стал историком, повторяя профессию безвременно ушедшего отца. Он следовал ее советам, готовился на исторический факультет, но в последний момент, повинуясь странному, почти бессознательному побуждению, выбрал социологию. Что это было за побуждение, что за властный импульс, он не понимал до сих пор. Но именно этот странный порыв изменил его судьбу, переместил интересы из прошлого в будущее. Вместо археологических раскопов, библиотек и древлехранилищ он выбрал жизнь банков, газет, политических форумов, сделавших его тем, кого впоследствие нарекли Виртуозом.

Мама звала его к себе, но не в смерть, а в иную жизнь, от которой он отказался, которую отсек от себя вместе с увлечениями, милыми друзьями, невестой. Быть может, кто-то невидимый произвел с его судьбой операцию, пересадив в нее крохотный фрагмент чужой судьбы, изменил генетический код его предназначения, сотворил из него другого, не предусмотренного творцом человека. Мама звала обратно, в изначальную жизнь, словно предлагала вернуться к тому давнему перепутью, выбрать иной путь, не требующий сверхчеловеческих поступков, каббалистических знаний, сокрушительных и жестоких решений. Выбрать жизнь, в которой они были вместе, так нежно любили друг друга.

«Не теперь, — обещал он ей. — Когда-нибудь после, мама. Когда пройду этот путь до конца».

Он не нашел успокоения у могилы матери. Не услышал ее вещего слова. Наклонился, поцеловал цветок, почувствовав его нежное благоухание. Поцелуй ушел в глубину, достиг материнского живого лица, ее чудесных волос, нарядного, пахнущего духами платья.

Он отправился в оккультно-политологический центр, к услугам которого прибегал, разрабатывая рискованные, с непредсказуемым финалом, комбинации. Центром руководил блестящий знаток политических и оккультных технологий Леонид Олеарий, искусство которого не сводилось к обычным методикам, позволявшим обрабатывать лавину информации. Осваивая информационные потоки, помимо логических и рациональных приемов, Олеарий использовал иррациональные методы, мистические практики, искусство медитации и гипноза. В итоге выводы, которых он добивался, были неожиданны и экстравагантны, реальность из черно-белой и плоской превращалась в разноцветный стомерный объем, улавливающий истину. Ошибка выводов была минимальной, победа достигалась не за счет очевидного знания, а с помощью интуиции и прозрения.

Сегодня в своем лабораторно-гностическом центре Олеарий давал спектакль. Гости, пригашенные на этот закрытый сеанс, погружались в атмосферу радений и волшебных мистерий, дионисийских игрищ и элевсинских таинств. Их способности постигать и чувствовать увеличивались стократ, им открывались тайные смыслы, возрастали их творческие возможности. Они вовлекались в действо, своими эмоциями усиливая творческое напряжение, сами становились

актерами, жрецами тайного культа. Виртуоз хотел поместить себя в эту магическую реторту, достичь тех уровней познания, где ему откроется незамутненная истина и сомнения рассеются.

Центр помещался в особняке в районе Чистых прудов. Перед зданием скопились дорогие автомобили. У входа гостей встречали служители в средневековых облачениях и карнавальных масках — тюрбаны бедуинов, колпаки звездочетов, капюшоны монахов. Вестибюль был ярко освещен, именитые гости снимали с подносов бокалы шампанского, чокались, обменивались приветствиями.

Виртуоз со светской непринужденностью раскланялся с известным кутюрье Любашкиным, чьи коллекции моды отличались болезненной красотой и тлетворной изысканностью, столь ценимыми в декадентских кругах Европы. Пользуясь расположением Президента Лампадникова, он получил заказ от Министерства обороны на создание новой армейской формы. После просмотри газетные острословы шутили, что теперь геи перестанут добиваться проведения в Москве гей-парадов. Ибо в новой форме генералы и офицеры, марширующие по Красной площади, напоминают геев своими рюшками и кружавчиками, надувной грудью и декольте.

— Теперь, когда из жизни ушли Версаче и Сен-Лоран, у вас почти не осталось конкурентов в сфере высокой моды. — Виртуоз с нежным звоном ударил бокалом в бокал модельера.

— Только сам Господь Бог есть непревзойденный творец форм, — с легким пафосом ответил женственный модельер, играя бриллиантовой брошью. Виртуоз знал, что Любашкина пригласили в Америку, в Хьюстон, где ему предстоит демонстрировать коллекцию с мотивами космической эстетики — «Бал пришельцев». Любашкин явился в магический салон Олеария, надеясь раскрепостить творческое воображение.

К ним подошел молодой архитектор Кнорре, выигравший конкурс на проект небоскреба в Дубае. Стеклянный кактус вырастал из песков, распуская в раскаленных небесах фантастический цветок.

— Не сомневаюсь, очень скоро мы увидим ваши шедевры в Москве, — польстил ему Виртуоз. — Консервативный московский мэр, ориентированный на грузинскую чеканку и буржуазные башенки, уступит место свежему человеку, который пригласит вас к сотрудничеству.

— Мечтаю построить в районе Сити не унылые стоэтажные стекляшки, напоминающие моржовые фаллосы, а ослепительный образ Русского Рая. Мне чудится современный Василий Блаженный, распускающий над Москвой свои соцветья, бутоны, плоды.

— Сегодняшний спектакль будет способствовать вашим прозрениям, — поощрил его Виртуоз.

Среди гостей он раскланялся с известным банкиром Козодоевым — тот готовил слияние своего банка с крупным французским партнером, обдумывал риски, нуждался в дополнительных мотивациях, которые надеялся получить во время магического сеанса.

Тут был губернатор быстро развивающегося региона Лангустов — в его епархии предполагалось построить громадный игорный центр, русский Лас-Вегас. Губернатор встречался с инвесторами, членами кабинета, специалистами по игорному и гостиничному бизнесу. Не мог до конца осмыслить грандиозный проект, превращавший его край в «мировую рулетку». Чуть в стороне, окруженная почтительными собеседниками, стояла надменная женщина, посол Израиля. Некрасивая, резкая, с умным, властным лицом, она посещала семинары Олеария, на которых тот пророчил скорую гибель Израиля, рекомендовал неотложные меры, способные сохранить еврейское государство в океане арабской ненависти.

Через вестибюль спешил Олеарий. Быстроглазый, с розовым нежным лицом нестареющего мудреца, безупречно одетый, еще до начала спектакля он управлял нематериальным миром. Молниеносным взором останавливал слугу с серебряным подносом. Заставлял бледнеть даму из центра Карнеги. Создавал завихрения среди толпящихся гостей. Ударом зрачков выбивал бокал из рук именитого старичка. Сошлись с Виртуозом и обнялись. Касаясь щекой горячей, гладко выбритой щеки Олеария, Виртуоз ощутил легкий треск электричества и слабый ожог.

— Чем ты сегодня нас поразишь? — они были с Олеарием на «ты», сроднившись во время множества осуществленных совместно проектов, где магическим воздействиям подвергалось «коллективное бессознательное», общественное мнение, психика и воля политиков. Они нуждались друг в друге, как власть нуждается в жрецах, а жрецы — в покровительстве власти. — На что нам сегодня рассчитывать?

— Ты действительно будешь поражен. Сегодня в спектакле мы сыграем квантовую механику, изобразим театральными средствами общую теорию поля, найдем драматургическое выражение формулы E = mc*2* . На сцене будут не герои, а стихии и Эйдесы, эманации и духовные субстанции.

— Думаю, не все воспримут спектакль.

— Разумеется, не все знакомы с каббалой и неоплатонизмом, гностиками и практиками Шаолиня. Но и без такого знания они будут подвержены вибрациям, которые соединят их с высокими смыслами. В этом спектакле я управляю стихиями Космоса. А ведь каждый зритель несет в себе частицу Космоса, не так ли?

— На каком языке играется спектакль?

— На арамейском, хеттском, диалекте суахили и урду. Кроме того, я ввожу в некоторых сценах праязык, состоящий из одних гласных звуков.

— А что на этот раз с музыкой?

— Мой композитор воспроизвел звуки яйцеклетки и сперматозоида в момент их слияния. То есть в момент, когда в оплодотворенную клетку залетает душа. Кроме того, прозвучат звуки каменных скал, когда в них на рассвете вторгаются лучи солнца. Еще будет звучать расщепленная на отдельные составляющие молния.

— Если не секрет, на решение каких проблем ты направишь разбуженные во время спектакля энергии?

— От тебя у меня нет секретов. Группа визионеров, задействованных в спектакле, будет определять местонахождение Бен Ладена. Еще нам хочется уточнить ряд конспирологических аспектов в событиях 11 сентября. И конечно, что очень актуально, мы исследуем разрастающийся конфликт в системе спецслужб, порожденный разногласиями между бывшим Президентом Долголетовым и нынешним Президентом Лампадниковым.

— Ты познакомишь меня с результатами исследований?

— Повторяю, у меня нет от тебя секретов.

Прозвучал звонок. Растворились двери в зал, и гости потянулись в зияющую пустоту, из которой повеяло странным, сладковатым удушьем.

Зал был черный, с бесцветными, едва различимыми креслами. Сцена без занавеса — огромный темный провал, какой возникает в

иллюминаторе космического корабля, летящего в беспредельности. Тьма сцены давила на зал. Входящая публика, подсвечивая дорогу фонариками, была подавлена. Погружалась в кресла, замирала, словно пристегивалась невидимыми ремнями, готовясь к перегрузкам космического старта.

Затихли последние стуки и шарканья. Погасли последние фонарики. Воцарилась тишина, в которой изредка раздавался тревожный кашель. Зал был полон, но люди не видели друг друга. Было ощущение, что на сцене собралось множество незримых существ. Они неслышно перемещались в зал и усаживались рядом со зрителями. Каждый ощущал соседство с обступившими его бестелесными сущностями. Тишина длилась, гася последние звуки, словно из помещения высасывался воздух, исчезала среда, в которой распространялся звук. Каждый слышал только себя — звон крови в висках, внутренние стуки сердца, импульсы собственной жизни, которая пугалась космического одиночества.

Раздался звук, ноющий, дрожащий, как вибрирующая пластина. Вибрации травмировали, царапали перепонки. Казалось, в темноте трепещет огромное металлическое насекомое, дрожит чешуйками, ударяет хитиновым скребком. Звук жалобно ниспадал, превращаясь в бессильный шелест. Опять была тишина, напряженная, безвоздушная, но всякий, присутствующий в зале, нес под черепом прозвучавший скрежет. Мозг был ранен, болезненно резонировал.

Резко, мучительно зазвенела мембрана, теперь в другом конце сцены, словно там помещалось второе насекомое. Растопырило стальные чешуйки, вело хитиновым смычком. Этот пилящий звук был невыносим, причинял боль. Умолк, породив множество мельчайших сотрясений мозга. Тишина длилась несколько минут, насыщенных тревогой, предчувствием чего-то загадочного и ужасного.

Внезапно оба насекомых ожили, оглашая сцену скрежетом металлических столкновений. Казалось, в темноте стрекочут два огромных кузнечика, обмениваются ударами, уколами, режущими касаниями.

Виртуоз чувствовал, как над его головой движется зубчатая пила, погружается в кость. С него снимают верхнюю часть черепа, его оголенный, лишенный защиты мозг пульсирует в страхе, боясь прикосновений отточенного железа. Это напоминало трепанацию

черепа. Он чувствовал свою беззащитность, зависимость от невидимого хирурга. Не мог сопротивляться. Зрители оцепенели в креслах. У всех были срезаны черепные коробки. Из них выступал, поблескивая, обнаженный мозг.

В темноте, под потолком на мгновение вспыхнул свет, синий, тяжелый, какой бывает в больничных ночных коридорах. Тупая вспышка ударила по обнаженному мозгу, погрузилась в мякоть, породив болезненное световое эхо, которое блуждало по закоулкам сознания, высвечивая потаенные глухие углы. Виртуоз разглядел на сцене шевелящиеся, закутанные в лохмотья комки, бледные голые руки, распущенные волосы. Это были разбуженные воспоминанья из другой жизни, перенесенные в настоящее по волноводу генетической памяти. Души умерших предков, неразличимых, с синеватыми, как у утопленников, руками и лицами.

Вспышки под потолком продолжались. Тяжелые синие камни падали в мозг, погружались в вязкую глубину. Пробивая слои памяти, будили уснувшие архетипы, которые порождали сказочных существ, чудовищных духов, волшебных персонажей детских сказок. Время двигалось вспять, пространство казалось резиновым. В таинственных нишах обнаруживались странные моллюски, зыбкие, огромного размера икринки, птичьи и змеиные яйца, в которых пульсировали зародыши. Это оживала прапамять, выносившая на поверхность реликтовые формы. Действовала обратная волна эволюции. Виртуоз чувствовал, как непомерно увеличивается объем его памяти, как в нее вторгаются образы, едва промелькнувшие в младенчестве, переживания, доставшиеся по наследству, знания, которые никогда не приобретал. Сцена при вспышках синего света шевелилась, на ней взбухали бугры и комья, будто в темном подполье начинали расти сырые грибы, пучки бесцветной плесени. Заметил, как в соседнем ряду, словно синяя маска, возникло и кануло лицо модельера Любашкина. В нем была мука пациента, пробуждавшегося после наркоза.

Внезапно он ощутил запах гари. Так пахнут тлеющие свалки, разграбленные и преданные огню города,— зловонье ветоши, обугленные трупы, испепеленные кости. Гарь сменилась сернистым духом горячей окалины, словно где-то рядом работала кузня, пламенел уголь, раскалялся добела металл. Но это могло быть близкое жерло

вулкана, источавшее удушливые газы преисподней, слезоточивые испарения ада, где мучилась и терзалась изъедаемая кислотами плоть. Повеял прохладный дивный ветер, напоенный благоуханием сладких цветов, медовых плодов и соцветий, — запах райского сада, где над белой чашей цветка трепещет крохотная перламутровая птица, высасывая чутким клювом капли нектара, а на фаянсовом блюде, отекая соком, лежат виноградные кисти, круглятся груши и яблоки, пламенеет мякотью надкусанная ягода клубники. Его опьянил удушающий запах жаркого женского тела, горячих подмышек, влажных грудей, которые целовали его безумные губы, сжимали жадные пальцы. Обморочно полыхнул, заставил задохнуться терпкий запах раскаленного белка — извержение боли и сладости. Запахи менялись, рождая галлюцинации, погружали в миры, о которых он едва догадывался. Простор золотистой африканской саванны с гривами трав, в которых скользят невесомые стада антилоп. Сумрачный музейный подвал с отсырелыми камзолами, бальными платьями, линялыми камергерскими лентами. Азиатская харчевня посреди многоцветного рынка с синим дымом жаровен, румяной горой лепешек.

На сцене в тусклых отсветах носились тени, взлетали руки, развевались волосы. Это было порождения хаоса, которого не коснулась творящая воля, не выстроила созидающая сила. Напоминало тучи, летящие на осеннюю луну, и в их бессмысленных вихрях была тоска неодухотворенного мира.

Виртуоз оглянулся в зал — лицо архитектора Кнорре было исполнено страдания, словно замысел его распадался, уносимый разрушительными вихрями хаоса.

Воцарилась тишина и недвижность. Из гулкой пустоты, с перекатами, переливами, раздался голос. Зазвучали слова, бурливые, страстные, с клокочущим хрипом, пылкими воздыханиями. Казалось, тот, кто говорил, торопился поведать внезапно открывшуюся истину, поделиться увиденным чудом, предостеречь, спасти. Ему не хватало слов, перехватывало дыхание. В зарницах возникла одинокая, стоящая на возвышении фигура и распростертые, лежащие ниц тела. Это был пророк, проповедник. В него вселился Дух. Похожий на песнопение голос воспроизводил вибрации горнего мира. Слова на древнем языке выражали незыблемую, во все времена неизменную суть. Виртуоз

ощущал величие слов, чувствовал тончайшую мембрану, отделявшую его от сути, старался пробиться в ту область, откуда излетали слова и смыслы. Бурливый голос умолк, и ему на смену из другой части сцены понеслась звонкая, как трепещущая тетива, молвь. Взлетала и падала синусоида, состоящая из крылатых звуков, каждый из которых напоминал выпущенную стрелу или ласточку с серповидными крыльями. Язык был неведом Виртуозу, но вещал все о той же божественной сути, которая врывалась в мир посредством пернатых слов. Зарница освещала одинокую фигуру и множество других, павших ниц. Третий пророк, окруженный внимавшим людом, озарялся таинственным блеском. Его сочные слова напоминали букеты экзотических цветов, которые он рвал на райских лугах и рассыпал перед собой тяжелыми влажными ворохами. Язык был непонятен, но проповедь была все о том же, заповеди были все те же.

Виртуоз, исполненный молитвенного благоговения, старался проникнуть туда, где росли волшебные цветы, рождались бессмертные слова, чтобы ему открылся божественный замысел, и решения, которые предстояло принять, не противоречили волеизъявлению Бога. Чтобы он не прогневил Творца, не навлек на Миссию неисчислимые беды.

Все, кто наполнял зрительный зал, находились под воздействием магических слов. Губернатор Лангустов, замышлявший построить игорный центр, подался вперед, навстречу бурным потокам, напоминая статую на носу корабля. Банкир Козодоев, обдумывающий слияние банков, сложил молитвенно руки, словно угадывал весть — то ли о небывалом обогащении, то ли о жестоком разорении. У дамы, посла Израиля, в глазах зажегся древний огонь, и она ловила пророчества о разорении Храма, о сокрушении стен, о прегрешениях жестоковыйного народа. В углублении сцены чуть виднелись визионеры в сенсорных шлемах. Мерцали голубоватые экраны компьютеров, электронные карты горных районов Афганистана.

Пространство сцены прочертили лучи. Пронзали черноту под разными углами. Рассекали мрак, словно в мир хаоса вторгались порывы воли. Будили тьму, вносили в бесформенный хаос осмысленную геометрию, упрямый замысел, резкий чертеж. Тусклые комья, похожие на груды тряпья, колыхнулись, задвигались. Превратились в человеческие фигуры с белизной обнаженных рук и

ног. В них вонзались молнии, по ним хлестали огненные бичи, гнали, вписывали в мерцающую геометрию. Они торопились вверх, по вертикали, похожие на упорных скалолазов. Спускались обратно вниз, словно на высоте, куда их загоняли бичи, не находили желаемого. Маршировали по сцене, образуя «змейки», концентрические круги. Вспрыгивали друг другу на плечи, как ловкие гимнасты, создавая затейливые пирамиды, объемные живые фигуры.

Олеарий в первом ряду мерцал глазами. Устремлял властный взор в скрещение лучей, в скопленье гимнастов, которые повиновались ему, лишенные собственной воли, безличные, превращенные в орудие грозного замысла.

Виртуоз испытывал мучительную сладость, сладострастное вожделение. Приближался к слепящей вспышке, всепоглощающему обмороку, в котором ему откроются тайные намерения Рема, — вторжение в геном русской истории, создание лжецаревича, операция на русском историческом времени, из которого мог произрасти чудесный побег или уродливая ветвь с ядовитыми цветами и ягодами.

Олеарий управлял стихиями, распространяя бушующий на сцене конфликт на все мироздание. Гибли галактики, умирали звезды, разверзались «черные дыры», стремилось воцариться абсолютное зло. Но творящий разум вторгался в «черные дыры», возрождая цветущие миры, жемчужные планеты и луны, бриллиантовые галактики.

Виртуоз был близок к обмороку. Его дух исчерпал все возможности пребывания в теле, рвался из плоти, сбрасывал бренные оболочки. На него надвигалось слепящее пятно, в котором терялись все очертания, стихали все звуки, прекращалось бытие, и открывалось безвременье, которое и было Богом. Он устремился в эту безымянную бездну, испытывая наслаждение смерти.

Внезапно в зале сверкнула жуткая молния, как раскаленная жила. Ее звук был расщеплен на бесчисленные мелодии, в которых угадывались Вагнер и Бах, Скарлатти и Скрябин. Сумрак сцены сменился сияющим светом. Был луг живых цветов, над которыми летали бабочки и стрекозы, и в цветах, обнаженные, золотисто-телесные, словно с картины Луки Кранакха, стояли Адам и Ева, целомудренные и прекрасные. Было видно, как у Евы дышит круглый живот, а на плече Адама сидит голубая бабочка.

Зал, потрясенный, молчал. Зрители только что присутствовал при сотворении мира. Перед ними была разыграна формула E=mc*2* . Виртуоз, обессиленный, откинулся в кресле. Он так и не вырвался из бренного тела, не достиг абсолюта, не снискал благодатного прозрения.

К нему подошел служитель в шелковом камзоле и маске венецианского дожа:

— Илларион Васильевич, вас просят пройти в гримерную.

Он прошел за кулисы, где актеры в трико, с изможденными потными лицами, были похожи на космонавтов, испытавших чудовищные перегрузки. Запаленно пили воду, отирались полотенцами, бессильно сидели прямо на полу. Виртуоз проследовал по темному коридору в дальнюю часть здания, остановился перед знакомой дверью. Опустошенно стоял, чувствуя слабость и разочарование. Толкнул дверь и вошел. На мгновение сочно сверкнуло трюмо и погасло, как только дверь затворилась. В гримерной было темно, ни искры света. Пахло парфюмерией, туалетной водой, и он чувствовал присутствие близкой, горячей жизни, нетерпеливой женственности, устремленных на него из темноты глаз.

— Ты где? — спросил он, стараясь уловить волны тепла и нежных духов, которые она источала. Она подошла сзади, обняла, и он слабо целовал ее голые руки, хрупкие пальцы, чувствуя спной ее грудь, угадывая горячую голую шею, запах волос, теплый, пернатый, как у лесной птицы.

— Ты всю неделю был недоступен. Не откликался на мои звонки. Не отвечал на мои послания. Я тебя подстерегала, как подстерегают добычу. Была в гольф-клубе, но ты не появился. Была на приеме во Французском посольстве, где тебя ожидали, мо ты не приехал. Заглянула на форум молодых гениев из правящей партии, которых ты опекаешь, но и там тебя не было. Только по телевизору тебя и видела. Ты выглядел усталым и напряженным. Ты здоров?

— Да, но слишком много работы. В Кремле, в «Доме Виардо», в резиденции «Барвиха-2». Оба Президента нервничают, постоянно ко мне обращаются, требуют моего внимания, — он говорил вяло, утомленно. Спектакль опустошил его. Коварный Олеарий, словно вампир, выпил его витальные силы. Талантливые, наполнившие зал зрители были использованы кудесником для создания сверхмощного

эмоционального поля, которым питались визионеры в сенсорных шлемах. Быть может, в горах Афганистана они обнаружили пещеру Бен Ладена. Координаты пещеры уже переданы в штаб американских ВВС, с аэродрома Баграм поднялось звено штурмовиков, делает над ущельем боевой разворот, — Президенты, новый и прежний, как два капризных цветка, требуют, чтобы их постоянно поливали.

— Ты, мой милый, — не садовник. Ты и есть настоящий Президент России, — она страстно к нему прильнула, чувствуя его немощь, потерянность. Словно старалась воскресить его остывшую душу, отдавала накопившуюся нежность и женственность, восполняя понесенные траты. — Мне горько, что ты расходуешь столько драгоценных сил на этих людей. Они слабее тебя, паразитируют на твоем уме, трудолюбии, поэтическом даре. Они без тебя — ничто. Ты сделал им имя, слепил из них государственников и правителей. Заставил поверить в это народ, который, казалось, больше ни во что не верит. Ты единственный в Кремле, кто думает о стране, о судьбе России, чувствует ее величие и ее трагедию. Среди этих кремлевских кабанов, напыщенных фазанов, пустопорожних кукушек ты единственный, кто несет на себе бремя власти. Бедный, как ты можешь существовать в этом зверинце?

Ее обожание волновало его. Она знала, как его оживить, вдохновить, вернуть утраченную веру и свежесть. Ее быстрое дыхание согревало его. Сильные, жаркие удары сердца были быстрее и громче, чем его собственные. Он подчинялся ее волнению, нетерпению, проникавшим в него живительным токам.

— В Кремле у всех своя роль. У меня — своя. И в последнее время я, кажется, с ней неважно справляюсь.

— Ты не можешь с ней неважно справляться. Все, к чему ты прикасаешься, начинает сверкать. Твои стихи могут украсить любую антологию. Твои рисунки, которые ты делаешь на листочках во время скучных заседаний, сродни рисункам Пушкина на полях его рукописей. Ты оратор, мудрец, восхитительный интриган. Самые ужасные вещи ты умудряешься делать с веселостью и легкомыслием. Такими были люди Возрождения. Донателло, Брунеллески, Сирано де Бержерак. Я восхищаюсь тобой, мой политик, дуэлянт, возвышенный мистик.

— Ты очаровываешь меня, околдовываешь. Пользуешься женскими чарами, — он был ей благодарен. Она использовала испытанные ухищрения, которыми возвращала ему веру в себя, восполняла ужасные траты. — Еще минуту назад я был уныл, противен себе самому, а теперь я в плюмаже, гарцую на белом коне.

— Просто я люблю тебя. Тебя так никто не любил. Твои многочисленные женщины, о которых, поверь мне, я догадываюсь, любят в тебе твой кремлевский статус, блистательное общество, куда ты им открываешь дорогу, роскошную жизнь, которая им мерещится. Я же люблю твою душу, твой ум, твое творчество. Всю неделю ты не находил минутки, чтобы на меня посмотреть. А я, ты не поверишь, чувствовала тебя в этом громадном городе — как ты перемещаешься в нем, где находишься, с кем встречаешься. Я знаю, когда ты в Кремле, как будто бы над дворцом поднимают твой личный штандарт. Знаю, когда ты посещаешь своего мнительного и капризного патрона Долголетова в «Доме Виардо», где ему мерещатся поющие привидения. Когда тебя требует к себе лукавый и осторожный Лампадников, желающий перехитрить своего мнимого друга. Я знала, что ты обедаешь с приехавшим Бобом Диланом в ресторане «Ваниль». Чувствовала до обморока, до смертельной боли, как ты увозишь какую-то молодую женщину в свой загородный дом, и она покидает его только под утро.

— Да ты просто ясновидящая, — засмеялся он, испытывая внезапный страх от ее прозорливости, — Ты ведьма. В Средние века тебя бы сожгли на костре.

— Меня и теперь сожгут. Мы живем в средние века, и вот-вот запылают костры.

— Ты чувствуешь, как на нас надвигается опасность? — он верил ее интуиции больше любых политологических прогнозов. Она несколько дней металась, не находила себе места, перед тем как случиться «Беслану». Она начала болеть и чахнуть, словно ее морозила неизлечимая немощь, перед тем как контрразведка донесла о готовящемся покушении на Президента Долголетова. После ее кликушечьих бормотаний и чревовещаний он убедил Президента отложить поездку на Ближний Восток. — Тебе кажется, что мы на пороге беды?

— Я гадала на картах. Предстоят потрясения. Явится бубновый валет, который устранит червового короля и даст дорогу королю виней. Но потом придет валет треф, и все ему поклонятся. Ты — валет треф. У тебя великая судьба. Ты станешь Президентом России.

— Как хорошо, что моим аналитикам, которые заседают в ситуационной комнате, не выдают карточных колод. Они бы такое погадали! Или, в лучшем случае, резались бы в покер. — Он шутил, но мысленно видел карты в ее быстрых ловких руках, разноцветную масть, которая выстраивала таинственную криптограмму. Запоминал ее пророчество, куда странным образом, окруженной черными и алыми символами, заманивалась истина.

— Ты чем-то очень встревожен. Ты на каком-то распутье. Что тебя томит?

— Ты очень хорошо меня чувствуешь. Будто видишь насквозь. Меня это пугает.

— Тебя что-то очень мучит. Ты похож на птицу, которая сидит на ветке, приподымается, готовая вспорхнуть, и опять замирает. Что у тебя на уме?

— Не вправе сказать. Чтобы принять верное решение, не ошибиться, не совершить роковую ошибку, я стараюсь достичь такой высоты понимания, какой достигали библейские пророки, восточные дервиши, афонские ясновидящие, московские блаженные. Я и сюда-то, к Олеарию, пришел, чтобы раскрыть запечатанный разум. Был очень близок к откровению, возвысился духом и снова сорвался в пропасть. Видно, мне не дано. Коридор в небо замурован, и я бьюсь головой о кладку. Здесь нужно быть святым.

— Каждое время предлагает свой образ святости. Ты святой, ты мученик. Ты достиг высоких степеней посвящения.

— Я не мученик, я баловень. Но вполне могу снискать мученический венец. Дело, которым я занимаюсь, восседая в Кремле, вполне может обернуться тюрьмой, куда меня отвезут прямо сквозь Троицкие ворота. Меня могут убить — уличная толпа, или киллер, или в суматохе дворцового переворота. В любую минуту я могу умереть.

— Я умру вместе с тобой. Меня тоже убьют, как женщину Виртуоза. Я не буду жить без тебя. Пусть меня вместе с тобой растерзает толпа. Или казнят, как Марию Антуанетту вместе с

Людовиком. Или расстреляют в гнилом подвале, как расстреляли Николая Второго и императрицу Александру Федоровну.

— Ты вспомнила про Николая Второго? Случайно? — его испугала ее прозорливость, словно она угадала его непрерывные сомнения, в которых присутствовало имя царя, миф о лжецаревиче.

— Я знаю, что в этой жизни мы никогда не станем мужем и женой. Но смерть, которую мы примем вместе, будет нашим венчанием, нашей чудесной свадьбой. Как только мы умрем, мы сразу отправимся в свадебное путешествие по городам, которых не знает земная география. По садам, о которых не ведают ботаники. Мы прочитаем великие поэмы, которые здесь, на земле, еще не написаны. Увидим картины художников, которых нет в Лувре и Прадо. Ты умрешь, и я вместе с тобой.

Ее страсть была подобна истерике. Она увлекала его в смерть, где отсутствовали земные помехи, мешавшие им быть вместе. Ему начинало казаться, что она его может убить, чтобы приблизить желанное счастье. Сейчас в темноте слабо мелькнет клинок, вонзится в ямку возле ключицы, которую она целовала.

— Должно быть, я и впрямь заслуживаю смерти, если не могу здесь, в земной жизни, сделать тебя счастливой. Я столько от тебя получаю, ты даришь мне свою нежность, красоту, возвышенные чувства. Спасаешь меня от уныния, предотвращаешь мои жестокие и безумные поступки. Я пользуюсь тобой и мало даю взамен.

— Я так дорожу возможностью служить тебе. Я твоя телохранительница, твоя жрица, твоя разведчица. Готова и впредь исполнять твои самые деликатные и рискованные поручения.

— Как блестяще ты внедрилась в партию «Родина» в роли пресс-секретаря Рогозина. Помешала ему объединиться с Глазьевым и ослабила партию. Не позволила ей превратиться в мощную оппозиционную силу.

— Это было не трудно. Оба самолюбивые, ревнивые, не готовые уступать. Стоило Глазьеву прослушать кассету, где его высмеивал остроумный Рогозин, как все их договоренности полетели в тартарары.

— А блестящая операция, когда ты выманила у лидера СПС, этого холеного плейбоя, дискету с перечнем денежных сумм, которые он получал от Чубайса. Мы предъявили Чубайсу эту дискету, и он

прекратил финансирование. Перед самыми выборами «правые» сели на мель.

— Надо сказать, что этот плейбой был весьма настойчив в своих ухаживаниях. Я не рассказала тебе всех деталей операции, иначе ты мог ее отменить.

— А на Сардинии, на яхте Берлускони, ты вскружила голову обоим — и Лампадникову и Долголетову. Они были пьяны, разыгрывали тебя в карты. Ты заставила их обоих кинуться в море, а я в это время перехватил конфиденциальное письмо Жака Атоли, адресованное Ромулу. И письмо попало к Рему.

— В море они вели себя, как дельфины. Подныривали под меня, хватали за ноги, пытались целовать. Мне хотелось их умертвить точечными ударами в сонную артерию. Тогда бы президентское кресло оказалось пустым, и его занял ты.

— Ты тайный убийца. Агент десятка разведок.

— Я твой агент, мой милый.

Ее рука проникла ему под рубашку, и он почувствовал, как накаляется его плоть. Она расстегнула ему рубашку, растворила и стала целовать, рисуя губами светящийся узор. Он чувствовал, как телесность его превращается в сладость, в мучительное томление, в слепящее вожделение. Она стянула с него рубаху, расстегнула пряжку ремня, и он стоял, оцепенев, вздрагивая от приливов восхитительного страдания, и ему казалось, что он утрачивает вес, обретая невесомость, состоящую из света, боли, несравненной сладости. Он опустил руки на ее волосы, нащупывал в темноте костяной гребень, маленькие горячие уши, бурно дышащую шею. Его возносило на светящейся сфере, выше и выше, туда, где прекращались все чувства, утрачивались все мысли, а оставалось страстное, неодолимое стремление к бесцветной, приближавшейся сути, в которой таились все смыслы и истины, изначальные, от сотворения мира законы. В этой расплавленной магме ему откроется долгожданное, выкликаемое знанье, делающее его всеведущим и всесильным.

Женщина издавала глухие невнятные стоны, поднимала к нему глаза, словно хотела убедиться в степени его страдания и сладости. И страдание вдруг явилось, обрушилось сверху, словно раскаленный слепящий ливень, сверкнуло в трюмо, запечатлев какие-то флаконы, кисти, скомканные ткани. Ее, стоящую на коленях, ее лицо с

остановившимися безумными глазами, красными, как кровь, губами. Промчалось, словно шаровая молния, в которой мелькнул косматый хаос, дух преисподней, унося в бездну его заблудшую душу.

Ночью, в автомобиле, возвращаясь в свой загородный дом, он набрал номер директора ФСБ Лобастова.

— Не разбудил? — спросил он из вежливости, зная, что Лобастов из разряда сов. — Вам следует завтра же лично отправиться в Тобольск и доставить в Москву человека по имени Алексей Горшков, который работает в местном краеведческом музее. Чье указание? Президента. Доставить под конвоем? Да нет, но смотрите по обстоятельствам. Какая дополнительная информация? Поройтесь в Интернете на сайте газеты «Тобольские ведомости». Статья Марка Ступника «Цесаревич избежал большевистской казни». Доставить ли Марка Ступника? Хорошо бы он улетел на Луну. Кстати, вашу просьбу директору наркоконтроля я передал. Считайте, что конфликт исчерпан. Приятных снов.

Выключил телефон, глядя, как постовой, увидев его машину, взял под козырек.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Алексей Федорович Горшков, двадцати пяти лет от роду, среднего роста, крепкого сложения, с благообразным спокойным лицом, обрамленным русой бородкой, с синими, задумчивыми глазами, не поражал воображение окружающих. Был ровен со всеми, терпелив, не взыскателен. Выходец из детского дома, был нетребователен в быту. Довольствовался малым. Крайне редко менял костюм и обувь. Привык экономить на мелочах, и ему вполне хватало скромной зарплаты работника Тобольского краеведческого музея, где, помимо работы в запасниках, он водил экскурсии по кремлю, утоляя любопытство немногочисленных туристов. Однако обыденность внешней жизни вполне искупалась глубиной и возвышенностью жизни внутренней. С детства его посещали мгновения, когда казалось, что в его душе притаилась другая душа, нашла свой приют и теплится там, умоляя о чем-то, терпеливо ожидая случая, когда сможет покинуть прибежище и самостоятельно проявиться на свет.

Это странное чувство беременности не покидало его и в отрочестве, и в зрелые годы, и он носил под сердцем драгоценный плод, не умея объяснить его происхождение. Иногда, в самых разных обстоятельствах, — в компании шумных друзей, или на природе в какой-нибудь осенний день с хмурым небом и летящим в облаках клочком лазури, или в поезде, когда за окном мелькали сиротливые поля и нищие деревни, — вдруг посещало его пронзительное знание. Ему казалось, что это уже бывало с ним прежде, не в этой, а в другой жизни, он все это видел и чувствовал. Это указывало на загадочность бытия, в котором существуют несколько параллельных миров, и его личность присутствует одновременно в этих мирах, может перемещаться из пространства в пространство, из судьбы в судьбу, и эта неопределенность делала жизнь похожей на сон. Он предполагал, что в нем таится способность разгадать тайну множественности миров, раздвинуть границы познания. Не увлекаясь модными учениями экстрасенсов и эзотериков, он просто ждал случая, когда этот дар проявится. Он увлекался поэзией Серебряного века, особенно любил Гумилева. Знал наизусть «Заблудившийся трамвай»,

«Туркестанские генералы», «Рабочий». Часто, оставшись наедине, нашептывал «Шестое чувство» — стихотворение, созвучное его таинственным предвосхищениям. Его внутренняя жизнь была исполнена пугающего и сладостного ожидания того, что с ним что-то должно случиться, произойти какое-то чудо, вторгнуться какое-то грозное и прекрасное обстоятельство, меняющее ход его судьбы, делающее из него другого человека.

Алексей проснулся в маленькой комнатке деревянного двухэтажного дома, где он снимал квартиру у хозяйки Маргариты Ильиничны, пенсионерки, пустившей на постой обходительного, одинокого молодого человека, напоминавшего ей первую и, пожалуй, единственную любовь. Его пробуждению способствовали звяканья посуды в соседней комнате и яркое утреннее солнце, горевшее на стене янтарной полосой. И первый миг пробуждения породил счастливое недоумение— это уже было когда-то. И этот негромкий звяк тарелок и чашек за неплотно прикрытой дверью, и янтарное солнце над его головой. И было это то ли с ним, в его младенчестве, когда за дверью двигались и негромко разговаривали дорогие, любящие его люди, то ли с кем-то другим, младенчески счастливым, в ком ликовала и пела каждая проснувшаяся струнка, желала любви и счастья. Он прислушивался к этому двойному эху, дорожа странной двойственностью, в которой витала его душа, пока явь не возобладала, — за окном прогремел грузовик, наполнив дрожью и звоном стекол ветхое бревенчатое строение.

Умываясь в коридоре у старинного, гремящего рукомойника, он заглянул в старое, в резной деревянной раме зеркало. Увидел свое лицо с прижатыми к щекам пальцами, прочитал на память стихи любимого им сибирского бунтаря и златоуста Павла Васильева: «Дала мне мамаша тонкие руки, а отец тяжелую бровь». Не помня ни мать, ни отца, он рассматривал свое лицо, как драгоценное свидетельство их существования в мире. Два их туманных и милых образа переливались один в другой на его лице, распадались и снова встречались.

Он завтракал в обществе Маргариты Ильиничны. Запивал сладким чаем пропитанные молоком гренки — недорогое, но изысканное блюдо, к которому он приучил добродушную хозяйку, не чаявшую души в своем постояльце.

— Алеша, слышал, нет, ночью пожарные машины ревели. Где-то опять горело, квартала за три. Господи, и как же такой город могли построить? То водой подтопляет, то огнем жжет.

— С таким расчетом и строили, Маргарита Ильинична. Если пожар, то его тут же водой зальет. А если потоп, то его пожар осушит. Это еще Менделеев заметил, когда в Тобольске жил.

— А еще ночью молодежь хулиганила, — делилась хозяйка впечатлениями бессонной ночи, которую провела, ворочаясь с Пику на бок на высокой старушечьей кровати. — То ли напьются, то ли нанюхаются, и как дурные бродят. Песни орут на иностранных языках. Уж не они ли дома поджигают?

— Да нет, Маргарита Ильинична, это музыканты всю ночь репетировали. Я в газете читал, к нам в Тобольск английская рок-группа «Роллинг стоунз» приезжает. Вот наши музыканты и не хотят ударить в грязь лицом, — успокаивал ее Алексей.

— Уж не знаю, какие ролики и столики к нам приезжают, а грязи хоть на улицах, хоть на лицах скребком соскребай, — ворчала хозяйка, подливая заварки из цветастого фарфорового чайника. — А что я тебя хотела спросить? — исподволь, заговорщески взглянула она на Алексея.

— Спрашивайте, Маргарита Ильинична.

— Вот эта девушка, которую ты приводил. Эта Верочка — она мне понравилась. Обстоятельная, говорит разумно, красивая. У вас как с ней, серьезно?

— Вы же видите, Маргарита Ильинична, я человек серьезный. Юмора не понимаю.

— Я это к тому, Алеша, — может, ты жениться надумал? Она тебе подходит, поверь мне. Не какая-нибудь уличная пигалица. И работает и учится. Я людей понимаю.

— Ну, куда мне жениться. На мою зарплату семью не прокормишь.

— А ты работу смени. Что ты в музее просиживаешь? Чужую жизнь изучаешь, а свою проспишь. Ты все царя Николая вспоминаешь, а царь должен быть в голове. Вот ты и рассуди, сколько можно свою жизнь в музее губить. Иди в какую-нибудь фирму, ты человек грамотный. Можешь на комбинат, тебе там хорошую должность подыщут. Можешь в торговлю, ты человек честный, не воруешь.

Хорошую зарплату дадут. И она, Вера, тоже, я смотрю, работящая. Вот и семья, и достаток. А то смотри, она девушка красивая, долго ждать не станет, за другого парня пойдет. Это я в молодости своего жениха ждала, ждала, да не дождалась. Теперь женщины другие, своего не упустят.

— Учту ваши советы, Маргарита Ильинична.

Алексей с чуть насмешливым, необидным поклоном поднялся из-за стола, оставив добрую женщину допивать чай и вздыхать о своем упущенном счастье.

Он собирался на работу, складывая в папку исписанные за ночь листки, где выстраивалась хронология тобольской ссылки царя. Бегло, как по клавишам, пробежал тонкими пальцами по корешкам любимых книг, которыми обзаводился во время нечастых поездок в Тюмень или Омск, — Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Блок, Есенин. Он относился к стихам как к особой русской религии, которую исповедовали прозорливцы и мученики, сумевшие составить в стихах священное писание русской жизни.

Вышел из дома на деревянную, серебристо-черную улицу в двухэтажных постройках, над которыми ярко синело летнее свежее небо. Деревья во дворах и палисадниках сочно зеленели, и в них истошно шумели, сталкивались и дрались воробьи. «И на устах невинных море голосов воробьиных» — он отыскал в Священном Писании соответствующую стихотворную строку. С близкого Иртыша вольный ветер приносил весть о заречных просторах, сырых лесах, студеных, взволнованных водах, по которым уже прошли на север караваны судов и, догоняя основную флотилию, торопилась отставшая баржа, оглашая реку долгим гудком. Алексей радовался звуку корабельного гудка, серо-зеленой кроне тополя, полного воробьиных криков, бревенчатым, тесовым домам, над которыми поднимались белые, узорные церкви. Изумительное сибирское барокко, женственное и нежное, среди сурового почернелого дерева. «Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли» — осенил он себя еще одной васильевской строкой из стихотворного евангелия. Он испытывал бодрое, радостное чувство новизны, с каким встречал каждый, отпущенный ему день, суливший множество переживаний и открытий, среди которых таилось давно ожидаемое и пока что не наступавшее чудо. Сам город был чудом, русским, сибирским, в

котором длилось бесконечное русское время. Ермак сражался с татарским ханом. Воеводы собирали под царский скипетр Сибирь. Ершов сочинял волшебного «Конька-Горбунка». Кюхельбекер, догорая в ссылке, отсылал в Петербург прощальные письма. Звенел кандалами на тюремной барже Достоевский. Менделеев прозревал в сновидениях свою богоявленную таблицу. Причаливал к деревянной пристани колесный пароход, и царь Николай, окруженный плененной семьей, смотрел с воды на таинственный деревянный город, из которого вырастали божественной красоты и печали церкви.

Алексей жил в нижнем, лубяном городе и отправлялся пешком на работу в музей, в верхний город, в величественный и могучий Тобольский кремль. Башни и купола парили над слиянием Иртыша и Тобола — синие воды, фиолетовые дали, зеленый в траве косогор, белоснежный тесаный камень храмов, палат, с полукруглыми вратами и арками. На горе, за кремлем, начинался новый город, высокие дома, просторные улицы, который вели к комбинату. Там круглились стальные реакторы, отливали металлом нефтеперегонные башни, клокотали нефть, деньги, предприимчивые сметливые люди, которых Алексей сторонился. Они казались ему торопливыми, хваткими, синтезированными из горячих и едких материй, под стать металлическим сферам и коническим башням, среди которых они работали. Они добывали химические вещества, деньги, насаждая чуждый ему образ жизни, в котором не было места гумилевской строфе: «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой?».

Он шагал из улицы в улицу, среди ветхих домов, иные из которых были на каменных основаниях, другие уходили в землю, покоясь на нетленных венцах из могучей сибирской лиственницы, В некоторых кирпичных подклетях разместились небольшие мастерские и конторки новоявленных предпринимателей, украсивших свои заведения вывесками с нарочитыми названиями: «Бригантина», «Аллегро», «Каскад», «Эльдорадо», «Фристайл». Так именовали себя парикмахерские, лавчонки с напитками, ремонтные мастерские, магазинчики китайских игрушек. По улицам, еще помнящим телеги и конные кибитки, теперь проносились подержанные «Мицубиси» и «Хонды», в которых разъезжали владельцы перечисленных заведений.

Путь Алексея неизменно пролегал через площадь, мимо бывшего губернаторского дома, двухэтажного, кирпичного, с затейливым узорным фасадом. В этом доме, по прибытии в Тобольск, разместилась семья ссыльного императора под охраной отряда георгиевских кавалеров. Отсюда, из окон второго этажа или опираясь на чугунные перильца балкона, смотрели любопытные царские дочки. Прислоняла к стеклам печальное выцветшее лицо императрица. Высовывался по пояс любознательный и шаловливый цесаревич. Подолгу, пристально и задумчиво, взирал свергнутый император, рассматривая стучащие по мостовой подводы, бредущий с рынка народ, случавшиеся под окнами революционные демонстрации, когда на оскорбительные выкрики местных революционеров выбегала из дома охрана с примкнутыми штын ками и двумя станковыми пулеметами. Царь смотрел, покуривая папироску, удалялся в кабинет, чтобы сделать краткую запись в дневнике, — о дожде, о здоровье дочерей и сына, о тобольских ценах на хлеб и чай.

Всякий раз, проходя мимо дома, Алексей испытывал странное волнение, в котором были страдание, сладость и томительное недоумение. Словно его жизнь таинственно сочеталась с жизнями этих далеких, давно исчезнувших людей, посылавших ему из небытия тихие зовы, неслышные мольбы, невнятные повествования. Будто они нуждались в нем, на него уповали, на него одного надеялись. Он не мог понять, что должен совершить, чем облегчить их заоблачное, бестелесное существование, почему на него пал их выбор и отчего так остро, горько и нежно откликается его душа на эти беззвучные зовы. Каждый день, проходя мимо губернаторского дома, он помещал свое живое дышащее тело в пустой объем, который когда-то занимал выходивший из дома царь. Выбегал из подъезда царевич. Грациозные прелестные барышни переносили свои пышные юбки через каменный булыжник площади. И тогда он испытывал бесшумный удар, словно его висок простреливала невидимая частица. Смыкала его жизнь с жизнями тех, кто когда-то обитал в этом доме.

Он выходил из старого города, начиная подниматься на косогор, зеленый, волнистый от травы, уже любовался могучим белокаменным кремлем, когда рядом шумно затормозила машина, громко и раздражающе загудел сигнал. В темно-синем подержанном «БМВ» опустилось стекло, и на Алексея уставилось насмешливое,

рыжеволосое лицо его приятеля Марка Ступника, куда-то спешившего по своим журналистским хлопотам. Марк был худ, длиннонос, желтоглаз, с плохо причесанными вихрами. Его лицо выражало чуткую настороженность, умную проницательность, готовую смениться глупой, маскирующей ум, смешливостью.

— Смотрел, как ты молишься на губернаторский дом. Совершаешь сеанс медитации. Соединяешься в духе со своими усопшими предками. Здравствуйте, Ваше Высочество, — Марк Ступник скорчил смешную физиономию, в которой шутовское почитание соединялось с дружеской насмешкой. — Здравствуй, Великий Князь.

Алексей досадовал на эти неоригинальные шутки, но был рад утренней встрече с приятелем.

— Тебе не надоело острить? Твоя дурацкая статья уже причинила мне массу неудобств. На работе меня зовут не иначе, как Цесаревич. Одни гогочут, другие подозрительно всматриваются. Директриса Ольга Олеговна предложила сделать анализ ДНК и сравнить его с останками мучеников.

— Но ведь это необидно. Это возвышает тебя. Я прославил мое имя. Ты можешь претендовать на российский престол. Можешь требовать компенсацию за причиненный ущерб. Часть покоев Зимнего дворца принадлежит тебе по праву.

— Мне бы следовало дать тебе по шее. Ты очень опасно играешь. Незащищенными руками тронул обнаженный электрический провод, по которому бежит ток высокого напряжения. Кровавая трагедия, которая никуда не ушла и присутствует в нашей жизни. Тебя может так стукнуть, что костей не соберешь.

— Я атеист и не верю в твою метафизику. Лучше вот что, Алеха, приходи ко мне вечерком. Придут все наши, винца попьем, на гитаре поиграем, стихи почитаем. Верочка будет, на которую, я знаю, ты глаз положил. Часиков в шесть приходи.

Марк Ступник смотрел своими выпуклыми желто-зелеными глазами, выставив из машины рыжую вихрастую голову. Алексею вдруг показалось, что на худое, веснушчатое лицо приятеля легла странная тень, словно солнце занавесили серой прозрачной тканью. Взглянул на небо. Оно было безоблачным, лучезарным.

— Приду, — ответил он, освобождаясь от наваждения. В холостяцкой квартире Марка собирался богемный кружок, состоящий из местных литераторов и актеров, учителей и молодых инженеров. Помногу пили, дурачились, пели под гитару, пускались в шумные, часто бессмысленные и изнурительные споры, иногда кончавшиеся ссорами, что не мешало через неделю всем вновь стекаться в дом Марка Ступника, хранивший следы недельной давности беспорядка.

— Приду, — повторил Алексей. — А ты куда?

— Газета репортаж заказала со строительства новых очистных сооружений. Это ты — о высоких материях, о трагических, вечных. А мы — землекопы и ассенизаторы. До вечера!

Он убрал голову в глубь машины. Рванул вперед. Иномарка ушла вверх по взгорью, совершая плавный вираж на горе, над которой белели кремлевские стены и башни. Алексей смотрел вслед машине— на ее красные хвостовые габариты, облачко пыли и дыма, тусклый блеск стекол, за которыми скрывался невидимый друг, и ему почему-то хотелось все это запомнить, на всю остальную жизнь.

Он вошел в кремль, очутившись в замкнутом объеме среди белокаменных палат, тяжелых надежных стен, упрямых натруженных башен и белых, похожих на занавеси церковных фасадов. В этой каменной чаше, отрытой беспредельной небесной синеве, душа испытывала покой и уверенность. Она оказывалась среди незримых, притаившихся в каменных углублениях сил, которые в разные времена принимали вид казачьих ватаг и стрелецких полков, грозных воевод и рачительных купцов, мудрых губернаторов и пытливых исследователей. Все они вершили вековечное имперское дело среди синих сибирских лесов, слепящих снегов, звездных ночей, пылавших над застывшими реками. Здесь было тихо, через кремль шел священник, придерживая черную рясу. В приоткрытых дверях собора слабо золотился подсвечник, слышалось пение. Пестрая группка школьников окружала экскурсовода Виктора Павловича, который в тысячный раз рассказывал, как казаки Ермака, добравшись до Тобола, перековали железное оружие на галерные гвозди, построили струги, а, доплыв до слияния Иртыша и Тобола, вновь перековали гвозди на острия копий. Алексей с чувством благоговения и благодарности оглядел цитадель, служившую ему пристанищем. Вошел в здание музея.

Его встретила директриса Ольга Олеговна, пухленькая, седовласая, расчесанная на прямой пробор, с большими тревожными глазами, в которых притаился неисчезающий страх перед городским начальством, претендующим на часть музейных помещений, и церковными чинами, желающими отобрать у музея бывшую ризницу.

— Я вас, Алексей Федорович, поджидаю с нетерпением, и раздражена вашими вечными опозданиями.

— Извините, Ольга Олеговна. Зато я вечером на час-другой задержусь.

— Дело не в этом, Алексей Федорович. Не подумайте, что я считаю каждую, проведенную вами на работе минуту. Я просто интересуюсь, будет ли готова к сроку выставка фотографий, о которой уже писали газеты Тюмени. В годовщину казни Государя Императора к нам в Тобольск намерены приехать губернатор и архиепископ. Конечно же, они посетят музей и посмотрят наши уникальные фотографии, посвященные тобольской ссылке царя.

— Выставка откроется в срок. Все фотографии увеличены, заказаны рамки и стекла. Я завершаю аннотацию. Через месяц их можно будет развесить.

— Постарайтесь изготовить рамки поприличнее. Может быть, наши местные олигархи деньги пожертвуют. Хотя у них на уме одни казино и рестораны. Они за вечер проигрывают столько, что хватило бы на сто наших выставок.

— На тысячу, Ольга Олеговна, — поправил ее Алексей. Усмехнулся тому, что ни он, ни директриса ни разу не были в казино с блистающим павлиньем пером над входом. Не знают, сколько оставляют в нем денег лесные торговцы, нефтяные дельцы и сомнительные, бандитского вида предприниматели.

— Идите работать, Алексей Федорович. К двенадцати часам прибудет экскурсия, японцы и переводчик. Вам проводить экскурсию.

Она заторопилась в залы музея, где приезжий из Москвы реставратор рассматривал потемнелую парсуну, изображавшую властного седобородого старика в расшитом кафтане.

Алексей, не заглядывая в сумрачные залы с каменными топорами и бронзовыми украшениями, остатками казачьих стругов и кожаными седлами татарских наездников, прошел в свою комнатку, сплошь наполненную книгами, подшивками старых газет, архивными папками.

Достал из ящика плоскую картонную коробку из-под конфет. Раскрыл и высыпал на стол кипу старинных фотографий, чудом уцелевших в запасниках музея, сбереженных самоотверженными хранителями, рисковавшими за их сбережение головой. Это были снимки царской семьи, сделанные самим царем, императрицей, великими княгинями и цесаревичем, — большинство в губернаторском доме и по соседству. Снимки были с характерным для тех времен коричневым оттенком, с желтизной от неумелого проявления, на некоторых были-трещины и изломы, у двух-трех были оторваны уголки. Алексей разложил их на столе и в который раз стал рассматривать, испытывая тревожное томление, стараясь преодолеть глянцевитую плоскость снимка, погрузиться в брезжащий объем.

На снимке царь и царевич пилили бревно, уложенное на козлы. Царь держал пилу, уперев ее одним концом в землю. Цесаревич, запыхавшийся, счастливо улыбался, видимо, на возглас одной из своих сестер, державшей фотоаппарат. Алексей пытался разглядеть складки на военном френче царя, уловить запах свежих опилок, услышать звонкий смех отрока и насмешливо-капризный возглас барышни, неловко орудующей аппаратом с выдвижным объективом и кожаной гармошкой.

На другом снимке великие княгини и императрица, вооруженные граблями и лопатами, орудовали в садике позади губернаторского дома, чей фасад туманно выступал на заднем плане. Царь, посмеиваясь, курил папироску. Видимо, камера находилась в руках царевича. Алексею казалось, что он слышит нетерпеливый детский голос, принуждающий сестер оглянуться. Видит, как царица стряхивает с кофты приставшую сухую траву. Как смешно, подняв лопату, берет «на караул» княжна Анастасия. Как в сыром воздухе держится синеватое облачко дыма от царской папиросы.

На третьем снимке была изображена игра — в гостиной, на полу стояло большое деревянное корыто, в нем сидел царевич в папахе, греб веслом, отталкиваясь от пола. Из корыта выглядывало деревянное ружье. Царевич изображал казака в ладье, быть может, самого Ермака. Рядом, оседлав стулья, сидели сестры, подняв деревянные сабли, открыв в крике рты. Гарцевали, изображая татарских конников. На заднем плане виднелся стол, за которым царица, недовольная и насупленная, пила чай. Камера была в руках царя, который прилежно

давил хомуток, открывавший затвор объектива. Алексей слышал мягкий щелчок аппарата, видел, как в следующий момент после снимка сместилась картина — сестры подвинули стулья к чайному столу, царевич поднялся из корыта, снял папаху, и отец, шагнув, пригладил у него на макушке вихор.

Сидел, рассматривая снимки, и каждый сладко и странно затягивал его в свою глубину. Открывал место среди исчезнувших людей, которые жили, дышали, перемещались по комнатам. Читали стихи, шептались, обсуждали свое положение. Надеялись на избавление. Не думали, не могли представить, что где-то в Екатеринбурге существует одноэтажный, мучнистого цвета дом, темный ужасный подвал, револьверы, из которых полетят им в лица, головы, груди смертоносные пули.

Особенно волновал его снимок царской семьи, сидящей в баркасе, переплывающем осенний Иртыш. На веслах сидели усачи — георгиевские кавалеры. Царь на носу баркаса обнимал царицу, защищая от ветра. Царевны, все в платках, укутанные, круглолицые, чем-то напоминали одинаковых притихших куропаток. Царевич сидел на коленях у солдата, который бережно запахнул его в свою тяжелую, еще с германского фронта, шинель.

В этом снимке остекленело время, притаилось, как пузырек шндуха в прозрачной канифоли. Алексей всматривался, проникая зрачками в серо-коричневую глубину снимка, тихой болью, влечением, нежностью расколдовывал застывшее время, расплавлял холодную смолу, добираясь до крохотного пузырька, в котором притаилась былая жизнь. Канифоль потекла и расплавилась, неподвижные фигуры колыхнулись. Туго ударили весла в ветряную воду, поднимая брызги. Царь отер с бороды и лба водяные капли. Царица теснее прижалась к мужу. Сидящий на корме унтер-офицер с усами вразлет, с четырьмя «Георгиями» на бушлате, хрипло скомандовал:

— Костылев, Онищенко, левее, левее берите! Аль не видите, сносит!

Баркас, пеня воду, накреняясь на бок, причалил к берегу, на котором чадил костер, солдаты охраны подбрасывали пламя в сырой огонь, чистили рыбу, расстилали на пожухлой траве холщевую скатерку.

— Ники, мы приплыли, — произнесла царица, беспомощно глядя на мужа, на песчаный берег, на солдат, которые прыгали сапогами в воду, подтягивали баркас.

Царь осторожно встал, переступил борт, шагнул на откос. Подал царице руку, и она, робея, глядя на близкую, замутненную ноду, ступила на песок, оставляя на нем отпечаток зашнурованного ботинка.

Княжны, опираясь на отцовскую руку, грациозно перескакивали на берег, радуясь окончанию опасного плавания, разбредались по плоскому открытому лугу. Ветер теребил их платки, колыхал подолы, и Марья наклонилась, подняла с песка ракушку, показывая ее сестрам:

— Смотрите, как у нас на даче в Финляндии!

Царевич бойко подбежал к костру, где сидели солдаты, отложив в сторону ружья. Ветер пахнул в него дымом, он обошел костер с другой стороны и присел перед конвоиром, который коротким сапожным ножом чистил огромную блестящую рыбину.

— Макарыч, это что за рыба?

— Муксун называется. У нас такая рыба не водится, только в Сибири, — черные, в венах руки, осыпанные серебряной чешуей, поднесли царевичу плоскую, глазастую, с розоватой слизью рыбу, и царевич боязливо коснулся ее пальцем.

— Смотри, Ники, какой красивый отсюда город.— Царица любовалась ветряной, фиолетово-серой рекой. Из темного вороха далеких домов вставали белоснежные церкви. На открытой горе белел кремль, над которым стояла лиловая, полная дождя туча.

Царь не ответил. Смотрел не на реку, а в противоположную сторону, за луг, за низину, где начинались синие волнистые леса. Они тянулись бесконечно, без дорог, без селений, до океана, до полюса, до безлюдной тундры, где, быть может, приютилась безвестная обитель. Схимник, срубивший под кедром часовню, стоял на молитве. Туда, в это безлюдье, в эту невидимую миру келью, увести семью, укрыться от жестокого грозного мира, утратить имя, сменить обличье, спастись от чудовищных, близких напастей.

Царь смотрел на волнистую синеву, на летящую в небе одинокую сороку, и ему казалось, что кто-то из удаленного будущего смотрит на него слезными любящими глазами.

Это Алексей Горшков в крохотной комнатке музея рассматривал фотографию, в которую вновь нырнуло и спряталось время,

остановилось мгновение, притаился запечатанный в смолу пузырек.

Шумно отворилась дверь, и почти вбежал сослуживец Виктор Павлович, который только что водил по кремлю экскурсию. Теперь он был крайне взволнован. Сквозь очки смотрели круглые птичьи глаза. Седоватые волосы растрепались. Вбежав, он стал оглядываться назад, словно его преследовали.

— Алексей Федорович, они за вами… Они говорят: «Где Горшков?»… «Где, говорят, цесаревич?»

— Что случилось, Виктор Павлович? Кто спрашивает?

— Посмотрите в окно…

Алексей подошел к окну. На кремлевском пустыре, недалеко от собора, стояли две черные, блестящие машины, нарушив уложение, запрещавшее городским автомобилям заезжать в пределы кремля. У машин расхаживали люди. Один из них, рослый, властный, в черном костюме, что-то повелительно спрашивал у директрисы Ольги Олеговны, а та подобострастно, склонившись, прижав к груди руки, отвечала. Они направились к входу в музей, и Алексей, боясь, что его заметят в окне, отошел и поспешно сел.

Вошли, и стало тесно в крохотной комнате. Широкоплечий, в черном костюме человек выдавил экскурсовода Виктора Павловича, директриса угнездилась где-то под рукой человека. За порогом, не помещаясь в кабинете, маячили два молодых верзилы с квадратными плечами и красными щекастыми лицами.

— Так, так, — стараясь быть вальяжным и приветливым, произнес гость, чье лицо, тяжелое, вылепленное из грубой глины, неприятно поразило Алексея своей брутальной простотой. — Стало быть, это вы Алексей Федорович Горшков? Правильно? Я не ошибся?

— Не ошиблись. А в чем, собственно, дело? Кто вы?

— Я директор ФСБ. Пожалуйста, вот мое удостоверение, — он протянул Алексею пухлую книжечку багряного цвета с оттиснутым золотым орлом. В книжечке была приклеена фотография незваного гостя, значилась его должность — директор Федеральной службы безопасности, и стояла фамилия — Лобастов.

Алексей вернул документ, не в силах соотнести громоподобную должность человека с маленькой комнаткой провинциальною музея, в которую вторглась инопланетная сила.

— Нам стала известна ваша тайна, Алексей Федорович. Стало известно, что вы являетесь прямым потомком последнего русского императора и, стало быть, прямым претендентом на российский престол.

— Ах, вот оно что! — облегченно рассмеялся Алексей, понимая, что продолжается розыгрыш, учиненный его легкомысленным другом Марком Ступником. — Ну конечно, как я сразу не понял! Но вы знаете, может быть, кому-то от этого и смешно, но мне, право, досадно. Я не намерен поддерживать эту неумную шутку.

— Алексей Федорович, — человек, представившийся Лобастовым, попытался придать своему глиняному лицу доверительное выражение, отчего подбородок тяжеловесно вылез вперед, брови полезли наверх, а уши странно отодвинулись к затылку. — Мы уважаем вашу тайну. Понимаем, как трудно было сохранять ее вашим родным и близким. Но не надо бояться. Большевиков больше нет. Они разбежались. Пусть теперь хранят свои большевистские тайны, а мы, разведчики, будем их по мере необходимости разгадывать.

— В самом деле, я не намерен шутить. У меня много работы, — с раздражением сказал Алексей, намереваясь отвернуться от незваного гостя и продолжить изучение фотографий. Но поймал полный ужаса взгляд директрисы Ольги Олеговны, и это заставило его повременить.

— Мы знаем об этой уникальной коллекции фотографий, — Лобастов через плечо Алексея разглядывал рассыпанные по столу снимки. — Знаем, чего стоило вам сохранить эти семейные реликвии. Это подвиг, фамильный и, я бы сказал, династический. Общественность оценит его по достоинству.

— Какая общественность? Какой подвиг? Эти снимки хранились в запасниках краеведческого музея, и теперь мы готовим экспозицию.

— А нет ли у вас еще каких-нибудь семейных реликвий? Ну, может быть, какой-нибудь вещицы с царской монограммой. Серебряная ложка или нательный крестик. Хотя, понимаю, в тех условиях, в которых спасался от смерти ваш дед, сохранить реликвию было едва ли возможно. — Лобастов не принимал во внимание возражений Алексея, разговаривал с ним так, словно тот уже признался в своей родословной. — Знаете, Алексей Федорович, я и сам не чужд монархических настроений. Все-таки была целостная

государственная конструкция, с престолонаследием, предсказуемой преемственностью власти. Не то, что теперь,— какие-то преемники, двоевластие, два центра силы. Все это крайне неустойчиво и чревато. Россия, знаете ли, такая страна, что нужна крепкая власть, в одном лице. Царь или вождь, и без всяких парламентов.

— Что вы от меня хотите? — утомленно спросил Алексей. Но Лобастов вкусил сладость разглагольствований и был не прочь порассуждать и дальше:

— Конечно, династические отношения среди дома Романовых крайне запутанны. Существует известная напряженность и даже соперничество. Разные ветви, разная степень родства. Но, я думаю, ваше появление в Москве внесет предельную ясность. Вы прямой наследник престола, прямая ветвь династии.

— Да поймите же вы, наконец. Всему причиной эта смехотворная статья моего приятеля Марка Ступника, который решил, таким образом, надо мной посмеяться, чем вызвал гнев редакционного начальства. Его едва не вышибли из редакции. Был скандал, было опровержение. Все успокоились, кроме нескольких насмешников, которые дали мне прозвище — Цесаревич. Разберитесь во всем хорошенько.

— Вы хотите сказать, что мы имеем дело с таким же курьезом, когда объявляются вдруг мнимые дети Киркорова или Леонтьева? Или племянники Эдиты Пьехи или Софии Ротару? Уверяю вас, мы уже во всем хорошенько разобрались. Мы даже исследовали ваши карты в поликлинике и убедились, что вы действительно страдаете легкой формой гемофилии. Как и царевич Алексей. Эта болезнь, как известно, передается по наследству.

— Ну, так сделайте анализ ДНК! Вы же, чуть что, делаете такие анализы. У вас есть останки Романовых. Сравните пробы.

— Сравним, дорогой Алексей Федорович. Наш агент, не стану его раскрывать, передал нам ваш волос.

— Но ведь найдены останки царевича Алексея. Тоже делались пробы. Именно они совпадают.

— Есть пробы и пробы, Алексей Федорович, — таинственно произнес Лобастов, закатывая глаза куда-то вверх, будто безусловные анализы и несомненные пробы делаются только на небесах, а все земное относительно и подлежит пересмотру. — Я приехал за вами,

Алексей Федорович. Мы должны сейчас отправиться в Москву. Вертолет ждет.

— Почему я должен ехать в Москву? — возмутился Алексей, — С какой это стати?

— В интересах государства, — жестко и беспрекословно отрезал Лобастов, и его размягченное глиняное лицо превратилось в розоватый, отшлифованный ледником булыжник, в котором, словно проблески слюды, виднелись узкие глазки.— Вы, я знаю, государственник, патриот. Это заложено в вас генетически. Нашей тайной могут воспользоваться враги государства. Как это бывало не раз в русской истории. Мы, Государство Российское, берем вас под свою опеку и защиту.

— Я никуда не поеду! — исполненный возмущения, противясь тупому насилию, воскликнул Алексей.

— Вам придется поехать, — угрюмо произнес Лобастов, наворачивая на глаза мясистые складки. Стоящие в коридоре верзилы, напоминавшие чемпионов по поднятию тяжестей, надвинулись. На лице директрисы Ольги Олеговны отобразился реликтовый ужас, память обо всех арестах и ссылках и что-то еще, связанное с гибелью ящеров в начале ледникового периода.

— Вы пойдите, отыщите Марка Ступника! Приведите его сюда! Пусть он расскажет, как пришла в его рыжую голову эта глупая шутка. Он вам все объяснит!

— К сожалению, мы не сможем этого сделать. Марк Ступник час назад погиб на шоссе в своем «БМВ» при столкновении с самосвалом.

Алексей испытал бессилие, словно под ним просела земля, и его стал стаскивать вниз огромный слепой оползень. Безымянное, загадочное, неизбежное вторжение в его жизнь состоялось. Не было сил противиться, не было воли сопротивляться.

— Я могу зайти домой, чтобы взять вещи?

— Не надо. В Москве у вас будет много новых вещей.

Алексей поднялся, понуро последовал к выходу, то ли под конвоем, то ли под сберегающей охраной. Его усадили в черный лакированный «мерседес» рядом с Лобастовым. Охранники поместились в джип. На них с удивлением смотрел священник, вышедший на ступеньки храма.

Машины вынеслись из кремля на край косогора, где стоял вертолет. Взмывая над городом, Алексей в иллюминатор увидел белый кремль, черно-сизый деревянный город с барочными церквями и латунный разлив Иртыша. Среди солнечного разлива темнела лодка. Гребцы — георгиевские кавалеры напрягали весла. Царь обнимал жену. Царевны кутались в кружевные платки. Царевич хватал через борт летучие брызги, подносил к глазам мокрую ладонь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Из «Шереметьева», прямо с аэродрома, автомобиль с фиолетовым мерцающим глазом и кошачьей сиреной прорезал громаду вечерней Москвы. Остановился в самом центре, на Тверской, на Пушкинской площади, перед помпезным домом, чей фасад до половины был облицован гранитом. Директор ФСБ Лобастов проводил Алексея к подъезду, мимо консьержа, в комнате которого было странное обилье телефонов, словно комнатка соединялась не с коммунальными службами, а с Кремлем, Домом Правительства и с Генеральным штабом. На бархатно урчащем лифте поднялись на восьмой этаж. Лобастов извлек из кармана связку ключей, отомкнул дверь и впустил Алексея.

Они оказались в великолепной, холеной квартире из четырех комнат и просторной кухни, которая могла считаться столовой. Паркет блестел. Лепнина на потолке была белоснежной. Мебель сияла новизной. Люстры и светильники казались драгоценными. Шторы поражали изысканностью. В воздухе витал свежий запах новизны и безукоризненной чистоты.

— Это ваше жилище, Алексей Федорович. Надеюсь, вам будет не тесно. Здесь вы можете принимать гостей, именитых родственников, представителей интеллигенции и церкви. Каждый день к вам будет приходить работница, убирать квартиру. Другая служительница станет готовить обед и ужин. Полюбуйтесь, какой вид из окна.

Он подвел Алексея к окну, распахнул легкие серебристые шторы, и Алексей едва не ахнул от открывшейся красоты. Была видна многолюдная площадь с бронзовым памятником, гранеными фонарями, плещущим фонтаном. Тверская, полная движенья, в сиреневых сумерках, катила в одну сторону бриллиантовые огни, а навстречу рубиновые жаркие грозди. Вся в скольжении, в пленительном сверкании, в драгоценных всплесках. Движение вдруг замирало, и, пересекая Тверскую, начинал изливаться другой поток, огненно омывая зеленеющий бульвар, дрожа среди деревьев волшебными мерцаниями. Этот пульсирующий, пылающий крест волновал воображение, оставлял в груди свое чудесное подобие,

завораживал, заставлял расширяться зрачки. Бежала, пестрила толпа, словно тротуары были посыпаны разноцветными лепестками, которые неслись, увлекаемые ветром. Переливались вывески, вспыхивали сочные пятна реклам, янтарно светились витрины. Над крышами, в прогалах домов виделись кремлевские башни с красными звездами, подсвеченная белизна соборов. Дом был в самом центре Москвы, в ее трепещущей сердцевине, в животворящей матке.

— Дом сталинский. Строили пленные немцы. Гранит на фасаде был захвачен в немецких обозах после разгрома немцев под Москвой. Из этого гранита Гитлер хотел соорудить памятник немецкому солдату в центре Москвы. А теперь гранит украшает ваше жилище, Алексей Федорович. Такова непредсказуемость русской истории. — Лобастов довольно улыбался, видя изумление Алексея. — А теперь осмотрим ваши апартаменты.

В кабинете был удобный стол с компьютером, книжный шкаф, и котором были собраны поэты Серебряного века. Алексея удивило это собрание, будто кто-то знал о его увлечениях. Гостиная радовала глаз круглым столом, диваном и креслами, музыкальным комбайном и плазменным телевизором. На стене висел портрет царя Николая, масленый подлинник Репина, эскиз к картине «Государственный совет». На тумбочках были расставлены бронзовые буддийские статуэтки, фарфоровые китайские фигурки, африканские идолы из черного дерева. В просторной спальне разместилась широкая кровать под атласным покрывалом. Над головой — застекленная коробка с лазурными бабочками. Платяной шкаф, полный костюмов, плащей, модных курток, стопок свежего белья. Еще одна комната с кроватью, предназначенная для заезжих гостей. Столовая с буфетом, где сверкал хрусталь, белел фарфор, отливала серебром плетеная корзинка с ложками, ножами и вилками.

— Ну, как? Отличается от жилища вашей почтенной Маргариты Ильиничны?

— Что я здесь буду делать? Для чего все это?

— Не торопитесь, мой друг. Все узнаете. Отдыхайте, приходите в себя. Если что, звоните. Вот телефоны мои и моих помощников, — Лобастов высыпал на стол несколько визитных карточек с голографическими двуглавыми орлами. — До скорого свидания. Уверен — до очень и очень скорого.

Лобастов вышел из квартиры. Хрустнул, зашелестел уходящий вниз лифт. Алексей остался один среди гулкой пустоты огромных апартаментов.

Он был ошеломлен, потрясен случившейся с ним переменой. Еще утром — деревянные двухэтажные срубы, кричащий за забором соседнего дома петух, полусгнившие венцы с прибитой ржавой дощечкой: «Улица Базарная», пожелтелые фотографии на тесном музейном столике. И внезапное вторжение шумных, бесцеремонных людей, загадочная грозная воля, вырвавшая его из привычного уклада, перелет над Сибирью под надзором молчаливых охранников. Необъятная, великолепная, царственная Москва, пугающая своим богатством и своим равнодушием. И эта невообразимая квартира, куда он помещен то ли как желанный гость, то ли как опасный пленник.

Он еще раз обошел комнаты. Открыл бар, в котором сияло скопление бутылок,— виски, коньяки, мартини, сухие итальянские вина. В тумбочке у кровати лежала толстенная пачка денег. В ванной все сверкало белизной и никелем. На крючке висел белый махровый халат, были сложены розоватые полотенца. Вернулся в кабинет и открыл книжный шкаф. Томик Гумилева — «Под смутный говор, стройный гам, средь мерного сверканья балов так странно видеть по стенам высоких старых генералов». Томик Мандельштама — «Только детские книги читать, только детские думы лелеять». Томик Иннокентия Анненского— «Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя». Он не раскрывал книги, глядел на них с нежностью и любовью, испытывая благодарность к тем, кто, узнав о его пристрастии, приготовил их для него.

За окном в фиолетовом тумане пульсировал огненный крест. Мерно рокотала Тверская. Горели в вечернем небе рубиновые звезды. Он стоял в гостиной, не зажигая люстры, и ему казалось— из углов надвигаются медленные молчаливые тени, обступают, тянутся невидимые чуткие руки.

И вдруг внезапный ужас, черно-фиолетовый мрак нахлынули на него. Он был пойман, приведен сюда на заклание. На мучительные истязания и пытки, которыми хотели вырвать у него признание в каком-то ужасном грехе. Не его, а совершенного кем-то из его предков, из дальних предшественников, из первобытых пращуров. Быть может, в первородном грехе, который, непрощенный, передавался из

поколения в поколение, множился и усиливался другими грехами. И теперь в нем, Алексее Горшкове, достиг ужасающей полноты, за которую ему придется растачиваться, искупая своей мукой и смертью чудовищные прегрешения предков.

Ужас был необъяснимый, реликтовый. Огненный крест пылал за окном. Он был распят на этом кресте. Площадь кипела толпой, сбегавшейся поглазеть на его смертные муки. Рубиновые звезды были полны его крови. На домах и на крышах пламенели надписи, извещавшие о предстоящей казни. На крыше противоположного дома, словно выложенная из раскаленных углей, горела надпись «ИКЕЯ», насмешливо и глумливо перекликаясь с «НИКОЙ» святого распятия.

Его ум помрачился. Кто-то проник ему под череп и мял, давил, сжимал пальцами больной, жаркий мозг, причиняя невыносимые страдания. И спасительная мысль — бежать, успеть исчезнув до того, как в дверях раздастся звонок, войдут его мучители и балахонах и колпаках с прорезями и поведут на площадь.

Кинулся в одну, другую комнату. Схватил из тумбочки стопу денег. Набросил, не попадая в рукав, пальто. Выскочил из кваргиры.

Успел заметить, что комнатка консьержа пуста, и один из телефонов, костяного цвета, без циферблата, истошно звонит. Пересек двор. Выбежал в переулок, который вливался в близкую, огненную Тверскую. У дома, словно поджидая его, стояло желтое, с клеточками такси. Вскочил, упал на кресло рядом с водителем:

— Поехали, ради бога!

— Куда? — спросил таксист. Он был немолод, с тяжелым мясистым лицом, рыжими бровями и вислыми усами, в фуражке с лакированным козырьком и цветастой кокардой. Был похож на капитана дальнего плавания, провяленного жарким солнцем и солью дальних морей.

— Точно не знаю. На вокзал. Откуда уходят поезда в Сибирь.

— В Сибирь? Ну, это, должно быть, Казанский. Оттуда и китайцы, и вьетнамцы, и разные черные едут.

Такси ловко петляло в тесных переулках и улочках, залипая в блестящих сгустках. Окуналось в блеск и сверканье шумных, переполненных автомобилями улиц. То мчалось в шелестящем потоке, то почти останавливалось в разливах лака, стекла и металла. Алексей торопил шофера. Ему чудилось, что их настигают, к ним в окно из

проезжавших машин заглядывают наглые, ищущие глаза. Но это были рекламы, — огненные кляксы, плазменные экраны, крутящиеся спирали и разлетающиеся осколки изображений.

— Ну, вот вам и Казанский, — такси въехало на огромную, кипящую варевом площадь, окруженную зданиями, похожими на огромные каменные терема. — Отсюда до Сибири рукой подать.

Алексей вытянул из кармана стопу денег, показал таксисту. Тот нацепил очки. Снял сверху одну купюру. Полез в карман. Извлек из бумажника сдачу. Положил поверх стопы.

— Сразу видно, сибиряки денег не считают, — он укоризненно шевелил усами, пряча бумажник.

Алексей выскочил из машины. Пробираясь в толпе, устремился к каменному терему, воспаленно оглядывая позолоту, мозаику, узорные часы и сказочные флюгера. Скорее к кассам. Билет на любой, уходящий на восток поезд. С пересадками, остановками в городах на всем протяжении от Москвы до Тобольска. Чтобы вновь очутиться на знакомой улице, в деревянном доме, в неказистой комнатке, где так хорошо и спокойно жить, читать любимые книги, слышать негромкие шаги и благоразумные рассуждения милой хозяйки Маргариты Ильиничны. Он стремился к кассам, стараясь вырваться из гигантского города, где ему уготована гибель.

Уже увидел ряд стеклянных окошек, как вдруг навстречу, из нескольких дверей разом хлынул вал шумных, разгоряченных людей, облаченных в одинаковые футболки и куртки.

Их было множество, воспаленных юношей и девушек, кричавших, толкавших, набивавшихся в огромный зал. Задние давили на передних, заполняли все гулкое пространство вокзала. Казалось, снаружи, к перронам, подкатывали поезда и высаживали яростную, остервенелую молодежь в одинаковых футболках и спортивных куртках с красной надписью: «Наши». В руках у них были свернутые флаги, скрученные транспаранты. В них присутствовало пугающее единообразие, словно все они вылупились из одинаковых яиц, отложенных плодовитой и хищной птицей. Яйца лопались, из них, помогая головой и локтями, вылуплялись энергичные детеныши. Соединялись в дружное скопище, бежали все в одну сторону. Их агрессивное стремление было обращено на него, Алексея. Они отсекали его от касс, не пускали в вокзал, отрезали от перрона, от

необъятных сибирских пространств, куда он хотел укрыться, спасаясь от гибели.

Толпа молодежи высыпала на площадь. Строились в отряды. Рокотали мегафоны. Разворачивались флаги. Раскручивались транспаранты. Отряды что-то скандировали, кому-то грозили, кого-то желали уничтожить. У них был враг, ненавистный преемник, объект для удара. И этим врагом был Алексей. В него дули металлические сквозняки мегафонов, целились древки флагов, указывали пальцы неистовых командиров.

Он кинулся прочь, к стоящим желтым такси. Влетел в одну из машин и увидел знакомого таксиста в фуражке. Тот с сожалением на него посмотрел:

— Видать, в Сибирь поезда не ходят? Теперь-то куда?

— Самолетом, в аэропорт. Забыл, как называется, — затравленно произнес Алексей.

— Должно, Шереметьево. Туда, что ли?

— Туда.

Такси перетекало из одной огненной реки в другую. Автомобили казались слизистыми рыбинами, стремящимися на нерестилище. Забивали улицы, взбухали горбами, жадно дышали жабрами, выкатывали воспаленные золотые глаза. Повсюду урчало, надсадно завывало, трескуче шумело, — это пробирались с фиолетовыми вспышками кареты «Скорой помощи», милицейские машины, лимузины каких-то важных персон.

— Ну, все, на Ленинградку выбрались. Теперь по прямой до Шереметьева, — облегченно вздохнул таксист, шевеля под лакированным козырьком кущами рыжих бровей. Но внезапно поток замедлился, залип и остановился. Широкую улицу преградило милицейское оцепление, какие-то крики, толпа.

— Ну, это теперь надолго, — сокрушенно произнес таксист. — Днем передавали по радио. В районе «Динамо» состоится гей-парад.

— Не могу ждать. Пешком пробьюсь, — Алексей вытащил почку денег, показал таксисту. Тот снова надел очки, щепетильно взял из пачки купюру. Отсчитал из бумажника сдачу. Вернул Алексею:

— Раньше-то, чуть что, силой в Сибирь посылали. А теперь человек добровольно хочет, а его не пускают, — произнес таксист вслед покидавшему машину Алексею.

Улица была перекрыта. Раздраженно гудели машины, стесненные запрудой из милицейских рядов. На проезжей части, в присутствии множества репортеров, телевизионных операторов, журналистов с блокнотами и диктофонами, протекало действо. Пестрая, ярко расцвеченная, в экстравагантных одеждах, колыхалась толпа. В передних рядах популярный эстрадный певец растворял рыбий огромный рот, издавая сладострастные всхлипы, смачно сглатывая набегавшую слюну. Губы его были выкрашены яркой помадой, он вращал тучными бедрами, поддерживал ладонями пухлые груди. За его спиной танцевали два мускулистых, полуголых атлета, недвусмысленно приближая напряженные торсы к ягодицам певца. Тут же в обнимку шествовали известный телеведущий — Алексей не мог вспомнить его имя — и думский депутат, часто мелькавший на экранах, — Алексей забыл его фамилию. Телеведущий, приземистый, с голым шишкастым черепом, дикими красноватыми глазами, напоминал старого самца шимпанзе, влюбленного в свою молодую самку. Этой самкой был депутат, в женской блузке с декольте, кружавчиками, в шляпке, из-под которой выбивались нежные локоны. Оба обнимались, оглаживали друг друга, демонстрировали неразлучную привязанность.

И повсюду в толпе гибко двигались, обнимались, целовались взасос юноши, почти еще дети, содрогаясь от прилива похоти. Из толпы неслась музыка — унылые певучие флейты, звенящие бубны, постукивающие барабаны. Болезненные, наводящие тоску и безумие звуки, от которых по толпе пробегали мучительные судороги, сладострастные конвульсии.

Алексей, пытаясь пробиться сквозь многолюдье, вдруг почувствовал, как его затягивает вглубь липкой, струящейся гущи. Алексею стало отвратительно и ужасно. Его личность подвергалась насилию. Его человеческой сущности грозила чудовищная трансформация. Город, в котором он оказался, был дьявольской кухней, в которой готовилась омерзительная порода людей. Отпрянул, напуганный вспышкой фотоаппарата. Отыскал знакомое такси, которое тут же развернулось и помчалось назад, в объезд препятствия.

— Теперь куда, сибиряк?

— Куда-нибудь на край Москвы. Выберусь из города, а там как бог даст.

Пожилой таксист был невозмутим, словно давно привык к уродствам огромного города, в котором он доставлял пассажиров из одного круга ада в другой.

Они кружили среди переполненных улиц, застревали в пробках, перелетали эстакады. Вырвались на прямой, как луч, проспект. Двинулись к московской окраине. Там Алексей оторвется от зловещего города, одолеет его адское притяжение. Проселками, перелесками достигнет полустанка, сядет на случайную электричку, и та унесет его в глубь России, подальше от наваждения.

Однако надежды его были тщетны. Такси вновь было остановлено шумным, запрудившим улицу шествием.

Литая масса крепких мускулистых мужчин двигалась маршем, управляемая металлическим хрипом мегафонов. Иные были и черных кожаных куртках, другие в белых рубахах, перетянутых портупеями. Головы многих были обриты наголо. Колыхались знамена с крестами, похожими на молотки. В руках смоляным пламенем горели факелы. Были развернуты транспаранты, на которых готическими буквами было написано: «Мы — русские, с нами Бог!», «Слава России!», «Русские идут!» Время от времени, по команде мегафонов, шеренги начинали скандировать: «Чурки — в Азию! Негры — в Африку! Азеры — в прорубь!» Жаркие открытые рты, лязгающие бутсы, взметенные вверх кулаки. Передние манифестанты несли деревянные виселицы, на которых качались тряпичные куклы, — одна в полосатом халате и тюбетейке, другая, из черной ткани, с негритянскими белыми зубами и белками. Милиционеры, сопровождавшие процессию, посмеивались, глядя на кукол.

Алексей чувствовал неистовую силу, исходящую от потных, натренированных тел. Ярость поднятых кулаков. Мощь натянутых сухожилий. Шеренги, построенные железной волей, куда-то шли, кого-то искали, кому-то грозили смертью. «Москва — москвичам!»— выдувал мегафон, и сотни ртов, выдыхая прозрачное пламя, подхватывали: «Москва — москвичам! Москва — москвичам!» Эта угроза была направлена на него, Алексея. Его отыскивали, чтобы вздернуть на виселицу. На него опустятся потные кулаки, врежутся хрустящие сухожилия.

Парень с голым, как яйцо, черепом, держа факел, подскочил к матерчатым куклам. Поднес дымное пламя, и куклы, пропитанные

бензином, вспыхнули, жарко запылали, крутились на веревках, источая копоть и красный огонь, пока веревки не обгорели. Куклы упали на асфальт, а их гневно топтали, плевались. Расстегнули штаны и мочились, в свете огня были видны хлещущие толстые струи. Милиционеры смеялись, указывая на горящее тряпье.

Алексея охватила паника. Ему казалось, что сейчас бритоголовые кинутся на него, начнут избивать. Так было задумано теми, кто разыскал его в Тобольске. Кто убил смешливого и компанейского Марка Ступника. Кто привез его в кошмарный город, исполненный ненависти и порока. Смятение его было велико. Отпрянул от толпы, вернулся в поджидавшее его такси:

— Куда-нибудь подальше, где нет этих лысых чертей!

— Шума от них много, а проку никакого. Негров убивают, а от евреев деньги берут, — с осуждением заметил таксист, разворачивая машину.

Они вернулись назад по проспекту. Таксист затормозил:

— Дальше куда, сибиряк?

— А мы где?

— В Лужниках. Отсюда до Сибири рукой подать, — он надевал очки, намереваясь взять из пачки полагавшуюся купюру, возвращая сдачу. Когда расчет был окончен, он «сделал под козырек», выпустил Алексея и укатил, оставляя надоевшего ему провинциала в вечернем клокочущем городе.

Он был один среди Москвы, враждебной и таинственной, не выпускавшей его из своих лабиринтов, отсекавшей от остальной России искрящими кольцами, слепившей огнями, брызгавшей ядом реклам. Его попытки покинуть ужасный город пресекались воинственными шествиями, которые грозили ему уничтожением, заталкивали обратно в месиво огней, бензиновую гарь, скользящий металл. Каждое шествие напоминало отдельную стаю, особое племя, загадочный и жестокий народ, который выходил на бой, боролся за свое существование.

Он стоял на перекрестке, ошеломленный, не зная, как поступить. Почувствовал, что за ним наблюдают. Чьи-то глаза рассматривали его, и он, озираясь, нашел эти глаза. Они принадлежали верзиле в набухшем пиджаке, похожем на того, что пришел вместе с Лобастовым арестовывать его в Тобольском кремле. Боясь, что будет схвачен,

Алексей кинулся опрометью, заюлил в толпе, скользнул в высокую арку с неоновой надписью «Рынок». Побежал мимо лотков, прилавков, подсвеченных магазинчиков, забиваясь в глубину многолюдного торжища. Остановился, почуяв неладное.

Неладное состояло в том, что его окружал странный люд. Повсюду виднелись смуглые лица, черные волосы, зыркающие глаза. Людей было множество. Стояли за прилавками, перетаскивали кули, мяли ловкими пальцами разноцветные ткани. Развешивали под фонарями платья, куртки и блузки, дамские сумочки, дорожные саквояжи и плюшевые игрушки. Выставляли горки фарфора и хрусталя. Раскладывали на показ ожерелья и браслеты, серьги и кольца, ворохи пластмассовых брелоков и гроздья стеклянных украшений. Громко говорили, зычно перекрикивались, ссорились, хохотали. Блестели золотые зубы. Вспыхивали в полумраке синеватые белки. Пахло дымом. Краснели угли жаровен. Шипело мясо. Людей, принадлежавших к восточному народу, становилось все больше. Они извергались из неведомых скважин. Среди них были женщины в длинных юбках, иные в плотных, покрывавших волосы платках. Под ногами крутились дети — курчавые подвижные подростки, полуголые карапузы, младенцы припали к материнской груди. Казалось, они явились в Москву огромным кочевьем, разбили свой кочевой лагерь — этот азиатский рынок, где занимались торговлей, считали деньги, ели и отдыхали, рожали детей, опускались на молитвенный коврик. Алексею чудилось, что он видит в сумерках торговцев, насыпающих на медные чаши весов восточные сладости, орехи, остро пахнущий тмин, чешуйки корицы. Менялы выставляли напоказ деньги всех стран мира, хлопали по рукам, рядились. Где-то заунывно кричал муэдзин, слышалась арабская молитва. Он оказался в центре азиатского города, Багдада или Кабула, и ждал, что вот-вот увидит островерхий минарет, стены караван-сарая, медлительную галопу верблюда, цокающего ишачка, груженного мешками с изюмом. Только что он созерцал демонстрацию, где сжигали чучело азиата, угрожали смертью выходцам с Кавказа, а здесь эти выходцы заполонили город, были его энергичным, обильным, все разраставшимся населением.

Черная, смоляная толпа валила в одну сторону, увлекая за собой Алексея. В дальнем углу рынка, освещенный фонарями, виднелся загон, в котором топтались бараны. Тут же находился утоптанный,

посыпанный опилками круг. Здоровенный кавказец с голой грудью и могучими плечами выволок из загона блеющего барана, опрокинул на бок. Несколько сподручников стиснули барану ноги, навалились на косматое тело. Здоровяк выгнул баранью шею, выхватил нож и провел по горлу. Брызнула кровь, ярко оросила опилки, окропила мясника и помощников. Толпа взревела, затопотала, заплескала руками. Алексею показалось, что следующей жертвой будет он. Его опрокинут на опилки, выкрутят руки, сядут тяжеловесно на ноги. Гологрудый палач с золотыми зубами вывернет ему горло, махнет ножом, и все заревут, загогочут над его бьющимся окровавленным телом.

Барана подвешивали, сдирали шкуру, обнажая красные и белые сухожилья. Алексей повернулся и побежал, отыскивая выход из этого табора. А вслед ему кричали, хохотали, норовили подставить ногу.

Выбежал на проспект и тут же ощутил, что за ним наблюдают. Не было верзилы в надутом пиджаке, но его место занимала женщина, элегантная, в легком плаще, с золотистыми волосами, в темных очках. Стояла, покачивая изящной сумочкой, и могло показаться, что она ловит машину. Но Алексей чувствовал сквозь ее темные очки зоркие, въедливые, все замечающие глаза, которые хищно и возбужденно остановились на нем. Несомненно, это была разведчица, сотрудница Лобастова, которая занималась слежкой. Тоскуя, чувствуя безысходность, он кинулся прочь, стараясь избавиться от назойливого наблюдателя.

Ему повезло. Кругом вскипела толпа, которую изрыгал из себя стадион. Видимо, только что завершился футбольный матч. Болельщики казались ошпаренными, словно выпали из гигантской кипящей кастрюли, в которой продолжало что-то бурлить, жирно хлюпать и лопаться. Это были подростки и зрелые мужики, хрупкие юноши и почтенные старцы. Все одинаково багровые, мокрые, жарко дышащие, с обезумевшими, вылупленными глазами. Они держались группами, сгустками, перекрикивались, переругивались, грозили друг другу кулаками. Одни были замотаны в шарфы бело-голубого цвета с буквой «Д», заключенной в ромб. На других болтались похожие на банные полотенца накидки, белокрасные, с буквой «С». Некоторые несли государственные флаги с гербами, но все были предельно возбуждены, раздражены, сипло и жарко скандировали. «Спартак»— чемпион! «Спартак» — чемпион!» — кричали одни, ударяя кулаками в

грудь. Им отвечали: «Спартак» — параша, победа будет наша!» — и тоже барабанно, как рассерженные орангутанги, били себя в грудь. Кто-то кинул пустую пластиковую банку, и она угодила кому-то в голову. В ответ полетела стеклянная бутылка, сочно чмокнула в живую плоть, упала на асфальт и разбилась. Группы сцепились, стали избивать друг друга. Дерущаяся толпа разрасталась. Бились стенка на стенку. В ход шли кулаки, древки, стянутые с шеи шарфы, в которые были замотаны камни. Глухо стучали удары, лилась кровь, падал то один, то другой. Мат, хрип, стоны. Алексей уклонялся от летящих бутылок, увиливал от утяжеленных камнями шарфов. Перед ним подросток закрывал разбитое в кровь лицо. Мужчина в красно-белой спартаковской куртке упал, закрыв руками пробитую голову. Как грозди, облепили припаркованную машину, раскачивали, зверски ухали, и она перевертывалась на бок, осыпалась стеклами.

Завыли сирены, из боковых проулков выскакивали солдаты в касках, с железными щитами. Врезались в толпу, наносили удары дубинками, разгоняя смутьянов. Выехал неуклюжий, грязно-зеленый водомет. В центр драки ударила свистящая струя, расшвыривая сцепившихся болельщиков. Алексей видел, как подросток, сбитый с ног, скрючился на асфальте, а его гнало, сметало струей. Уклоняясь от ревущей воды, окруженный болельщиками, он бежал, чувствуя, как холодит спину промокшая одежда. Перевел дух на набережной, у вечерней реки, по которой плыл нарядный, увешенный огоньками кораблик.

Город, куда его привезли, был болен. Насыщен звериными инстинктами, безумными похотями. Ненавидел, завидовал, выделил из себя взрывную материю, в которой не было места любви, милосердию, творчеству, а только — насилию и пороку. В темном небе, за туманом размытых огней, за иероглифами раскаленных реклам реяли духи, захватившие город.

Он брел по набережной, глядя, как на той стороне чуть зеленеет в сумерках лесистая круча. Хрустальный мост был переброшен через реку, и в нем переливались драгоценные кристаллы. Крохотная милая беседка с колоннами прилепилась на противоположном берегу. И сразу за ней берег полыхал цветными огнями, озарялся сполохами. Крутились бешеные карусели, раскачивались гигантские качели, завивались металлические спирали. Среди визгов, всплесков музыки,

влетавших фейерверков, фантастический, белоснежный, с клювом и стреловидными крыльями, стоял «Буран», будто прилетел из космоса и остывал среди вечерней Москвы.

Алексей заметил двух пожилых мужчин, направлявших на космический челнок портативные фотокамеры. О чем-то говорили по-английски, по виду туристы, они как бы вскользь сфотографировали Алексея. И он вдруг понял, что это агенты, загримированные под туристов. Он по-прежнему под наблюдением. Люди Лобастова не отстают от него. Преследуют по пятам. Кинулся от них опрометью. Взбежал на стеклянный мост.

Очутился среди развлекательных павильонов, визгливой музыки, переполненных публикой аттракционов.

Публика показалась странной. Сплошь военные, в форме, кто в ботинках, кто в сапогах, но все в тельняшках и голубых беретах. У одних форма новая, с иголочки, у других поношенная, едва влезает. Береты щеголеватые, с кокардой, или приплюснутые и линялые. Шум, гогот. Рукава засучены. Наколки — парашюты и самолеты. Обнимаются, передают друг другу бутылки, пьют из горла. Падают тут же — кого поднимают, кто остается лежать. «Десантура везде пройдет! Десантник упал, не убит, а пьян!» Ревет аккордеон — танцуют голые по пояс «шерочка с машерочкой», выделывая кренделя. Разбивают кулаком кирпичи. Раскалывают бутылки о лоб. Один крутит сальто, другой грызет стакан, третий ест землю. «Ты под Кандагаром не был, а я твое Ведено в гробу видал!» «Там «духи, а тут «чечи». Один хер, все равно война».

Алексей двигался сквозь кишащий солдатами парк. Его штатский вид привлекал внимание. Кто-то пробовал его зацепить пьяной рукой. Кто-то норовил садануть кулаком. Кто-то предлагал хлебнуть из бутылки. Он отказывался, ускользал, торопился миновать опасное скопление. Фонтан шелестел пышными струями, которые меняли цвет, от лилового до огненно-красного. В фонтане купались двое абсолютно голых парней, их тельняшки и форменки лежали на краю фонтана. Вокруг стояли десантники, одобряли возгласами.

— Эй, ты чего здесь потерял? — окликнул Алексея здоровяк, оглядывая его гражданскую одежду. — Ты чего забрел сюда, чмо?

— Макнуть его, — деловито предложил другой.

Алексею дали подножку, подхватили за руки и ноги, раскачали и швырнули в фонтан, в разноцветные сполохи, в холод и визг. Он выбрался, отекая цветной водой. Заторопился к выходу, под свист и гогот.

Униженный, ошеломленный, замерзая в мокрой одежде, он покинул оргию десантников. Перебрел железный, с дрожащими струнами мост. Шел по улице, среди магазинов и ресторанов, видя впереди сияющий, как ночное солнце, купол собора. Он не мог понять, что с ним творится. Зачем его терзают и мучают. Чего от него добиваются. Кто эти люди, что воспользовались шутливой статьей Марка Ступника и навязывают ему чужую фантастическую родословную. Убили рыжего пересмешника Марка, поплатившегося за свою опасную шутку. Вырвали его, Алексея, из мирного уклада, осуществили насилие. Поместили в камнедробилку жестокого гигантского города и что-то совершают над ним, страшно и беспощадно воздействуют, ломают волю и разум, превращают в другое существо, в иную личность. И что еще предстоит ему пережить? Какие пытки? Какое вторжение в его беззащитную душу?

За ним по-прежнему следили. Стоящий перед входом в грузинский ресторан привратник, в одежде горца, с газырями, в мохнатой папахе, улыбнулся ему и тут же стал кому-то названивать по мобильному телефону. Выскочивший из ювелирного магазина продавец натолкнулся на него, отпрянул в глубь сияющего золотом и бриллиантами пространства и стал давить ловкими пальцами кнопки телефона. Алексей прибавил шаг, почти побежал, отыскивая подворотню, куда бы мог скрыться, затаиться от агентов, рыскающих за ним по пятам.

Из соседней улицы, наполняя проезжую часть, останавливая машины и пешеходов, показалась процессия. Густо, плотно валил мпрод. Впереди шествовали важные, в золотом облачении священники, бородатые, с пылающими свечами. Хор многоголосо и истово пел. Над толпой качались тяжелые, шитые серебром хоругви, разноцветные фонари, жаркие, как уголь, лампады. Струились сладкие кадильные дымы. Украшенная рушниками, виднелась икона, — юноша с пышной шевелюрой, окруженной нимбом. Голубой хитон, золотые нарукавники, вишневого цвета плащ. В одной руке крест, в другой открытая шкатулка. За иконой суровые бородачи влекли носилки, на

которых покоился ларец, напоминавший маленький гроб. Следом теснился народ. Болезненного вида женщины, согбенные старцы, инвалиды на костылях, безрукие калеки, изувеченные болезнью лица, трясуны в непрерывной конвульсии измученных тел. Матери несли синюшных, в предсмертной дремоте детей. Плакали, кланялись на ходу, осеняли себя знамениями.

— Это кто? — спросил Алексей степенного старика, поклонившегося проплывшей мимо иконе.

— Пантелеймон Целитель. Врач Божий. Мощи в Россию прибыли, от всех болезней спасает.

Алексей чувствовал себя больным, пораженным неведомой хворью. За ним гнались мучители и убийцы. Он шагнул с тротуара и вошел в густую, тихо стенающую толпу, отдавая себя под покровительство юноши с нимбом, в чьих руках находилась шкатулка с целебными травами, а уста бессловесно молились за измученный, прокаженный люд. Толпа приняла его, укрыла в своей глубине. Рядом шагала измученная женщина с полуоткрытой грудью, прижимая к ней обморочное, с высохшим личиком дитя. Тут же хромал, опираясь на палку, военный в камуфляже, с красными рубцами на обожженном лице. Следом нервно подпрыгивала похожая на птицу старуха — крючковатый нос, голая жилистая шея, седые, свалявшиеся волосы, будто пересыпанные пеплом. Что-то бормотала, хватала себя руками за губы, словно запрещала себе говорить.

Алексей шагал, глядя, как медленно приближается огромный золотой купол, словно из-за домов вставало ночное солнце. Молился на него, как на волшебное виденье, посланное ему во спасение: «Спаси, сбереги! Я слаб, беззащитен! Они гонят меня, желают мне зла! За что? В чем провинился? Заступись! Пусть я стану для них невидим!»

Ему казалось, что молитва его услышана. Его накрыла шапка-невидимка. Агенты потеряли его из вида. Под этим чудесным покровом он выберется из города и спасется.

Внезапно хромавшая рядом старуха обернулась на него, истошно завизжала, указывая костлявым пальцем: «Анчихрист! Будь ты проклят, Анчихрист! Ты моего Степушку убил, тут же и съел!» Корчилась, визжала, была готова вцепиться в Алексея когтистыми

грязными пальцами. Тот в ужасе выскочил из процессии и помчался прочь, слыша догоняющие его истошные визги.

Раздавленный, отверженный, лишенный воли, он влачился по набережной, глядя, как из синей тьмы надвигается на него розовое, дышащее диво. Кремль, озаренный лучами, с белоснежными соборами, вспышками ночного темного золота. И это было спасение. Сколько раз в своей сибирской провинции, размышляя о судьбах России, погружаясь в бесконечные тайны русской истории, он мечтал оказаться на Красной площади, прикоснуться к черно-синей, вырубленной из метеоритов брусчатке, восхититься Василием Блаженным, образом Русского Рая, ощутить вращенье невидимой грозной оси, вокруг которой кружится мир. Теперь Кремль был рядом, Красная площадь была поблизости, и он заторопился, надеясь припасть душой и сердцем к незыблемой русской святыни.

Прошел вдоль бесконечно длинной, нежно-розовой стены. Услышал, как из-за угловой башни что-то монотонно и гулко ухает. Обогнул башню и обомлел. В черном небе, озаренный прожекторами, стоцветный и многоглавый, парил Василий Блаженный. У его подножья была сооружена эстрада. На эстраде в ярких вспышках, косых лучах, в туманных клубах, грохотали музыкальные инструменты. Полуголый, потный, словно натертый маслом, лютовал ударник. Гривастые, с впалыми щеками, в драных безрукавках музыканты извергали из гитар чудовищной громкости звуки. Певец с сальными, до плеч космами, голой грудью, увешанный цепями и бляхами, в дырявых джинсах скакал по-козлиному. Пригибался, падал на колени, вскакивал. Рвал на гитаре струны. Издавал хриплые ревы, кашляющий клекот, свирепые стенания. Динамики били, как орудья, и казалось, воздух разрывается от пролетавших снарядов. Все пространство от подножья собора до реки было заполнено народом. Живое, слипшееся, шевелящееся толпище сотрясалось, вскидывало руки, свистело, ревело, откликаясь на рев безумного певца. Звуковые удары месили толпу, как тесто, размягчали, как отбивную, превращая в вязкую, хлюпающую мякоть. Это были молодые люди — юноши с экзотическими прическами, в серьгах, с проколотыми ноздрями и губами, в которых сверкали бриллиантики. Девушки, почти обнаженные, в приспущенных до лобков джинсах, в коротеньких блузках, с открытыми пупками, в которых мерцали драгоценные

камушки. Целовались — юноши с девушками, девушки друг с другом, юноши с себе подобными. Иные барышни сидели верхом на кавалерах, плескали руками и едва не падали, когда их охватывала сладострастная судорога. Пили из банок пиво, кидали банки на брусчатку, давили ногами. Время от времени толпа вскидывала руки, раскрывала два пальца, изображая рогатый знак.

Алексей был ошеломлен. Святая площадь превратилась в сатанинское игрище. На эстраде среди адских испарений и вспышек скакали черти. Священный собор утратил образ Русского Рая. Был отравленным зловещим цветком с жалящими шипами, тлетворными бутонами, смертоносными лепестками. Его облепили чудовищные цветные жуки, колючие ядовитые бабочки, чешуйчатые мухи.

На плечах парня сидела девушка, бурно двигала бедрами, била парня пятками. Наклонилась и что-то ему прокричала. Тот опустил ее на землю. Она быстро расстегнула джинсы, присела и стала мочиться. Парни обступили ее и смотрели. Алексей видел безумные, наркотические глаза сидящей девушки, притоптывающих, пританцовывающих парней, скачущего на эстраде певца, блестящую, текущую по брусчатке струйку. Повернулся и, закрывая ладонями уши, устремился прочь. Ему казалось, что-то липкое и зловонное пристало к его щекам.

Он больше не пытался покинуть город. Не чувствовал за собой слежки. Город поймал его в свои лабиринты, путаные ходы, ложные направления. Алексей, как лунатик, бродил среди ночной заколдованной Москвы, уже не чувствуя ног, не выбирая пути, изумляясь неутомимой ненасытной жизни, полной роскоши, развлечений, которым предавались великолепные женщины и счастливые мужчины, принадлежащие к неизвестному, поселившемуся в Москве племени. Пахло духами, вкусным табаком, сладким дымом невидимых кухонь и огненных жаровен. Из автомобилей выскальзывали молодые дамы в декольте и бриллиантах. Кавалеры в черных фраках проносили букеты алых роз. Звучала музыка и счастливый смех. Лишь иногда из подворотен выскакивали странные мохнатые существа в оборванных одеждах, напоминая не людей, а запуганных юрких зверьков. Путь преградили милиционеры, не пуская к желто-белому, с колоннами и фронтоном особняку. У оцепления скапливались прохожие, не роптали, с интересом смотрели на особняк.

— Это что за дом? — спросил Алексей остановившегося рядом с ним пожилого господина.

— Этот? — господин осмотрел измученное лицо Алексея, его измятую, не высохшую одежду.— Это «Дом Виардо». Такая была француженка, то ли певичка, то ли куртизанка. Теперь здесь обитает бывший президент Долголетов. Духовный Лидер России. Должно, возвращается с ночного бала. Вот и перекрыли дорогу.

Не успел он сказать, как издалека запела сирена, заметались фиолетовые зарницы. Примчался шелестящий кортеж. Несколько джипов охраны, лимузин, черный и лакированный, словно жук–плавунец. Охрана высыпала, обернулась свирепо во все стороны. Темное стекло лимузина опустилось, и близко на Алексея глянуло бледное, худое лицо — редкие белесые волосы, тонкий чувственный нос, сжатые трубочкой губы. Их взгляды встретились. Алексей испытал странное влечение, неясную боль. Ощутил загадочную роковую связь, делающую их обоих несчастными и обреченными. Хотел шагнуть, передать человеку свое невнятное ощущение, внезапное прозрение. Но ворота особняка раскрылись, и лимузин скользнул в зеленоватый свет внутреннего двора. Оцепление милиционеров распалось. Народ пошел дальше.

Он страшно измучился. Хотелось упасть в кровать и забыться. Но он не знал, где он сейчас находится. Не знал, в каком районе осталось его новое жилище. Внезапно рядом затормозило такси.

— Садись, сибиряк, подвезу! — это был знакомый шофер в капитанской фуражке. Алексей не изумился его появлению, словно ждал и предчувствовал.

— Мне бы туда, где я к вам впервые подсел. Как называется площадь?

— Площадь Пушкина, Алексей Федорович. Самое престижное место в Москве, — шофер отдирал со лба рыжие брови, отклеивал вислые усы. Перед Алексеем сидел директор ФСБ Лобастов — красное брутальное лицо с нависшими складками, торжествующий взгляд.

— Отвезите меня, — беспомощно произнес Алексей.

— Конечно, отвезу, Алексей Федорович. Вам бы сейчас горячий душ да рюмку коньяка. В фонтане вода холодная. Да и вы, прямо скажем, не десантник. Болеть нельзя, завтра работа.

— Везите, — Алексей откинулся в кресле. Такси неслось по великолепной ночной Москве, словно высеченной из хрустального льда.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он проснулся от яркого солнца, слепящего сквозь незакрытые шторы. За окнами мягко рокотало. Он вдруг разом припомнил ужасный вчерашний день, фантасмагорию встреч, кружение по огненным лабиринтам. Воспоминания были столь гнетущими, что он снова спрятался в сон, надеясь в сновидениях обрести утраченную, благодатную жизнь. Второй раз он был разбужен телефонным звонком. Не поднимался, не брал трубку, позволяя звуку разлетаться по комнатам огромной квартиры, отражаться от дорогой мебели, красивых стен, лепного потолка. Полетав по комнатам, звонок умолк. Он принял ванную, окунувшись в ее фарфоровую глубину с теплой зеленоватой водой, куда выдавил содержимое флакончика с заморским шампунем. Лежал в белой пене, глядя на свое мокрое колено, на слипшиеся в перламутровых пузырях волоски. Раздумывал над случившимися с ним переменами, не находя им объяснения. Стоял перед зеркалом, разглядывая свое похудевшее лицо, обрамленное золотой бородкой, синие встревоженные глаза, высокий лоб с пушистыми бровями — подарки безвестных отца и матери, которые незримо и неотступно ему сопутствовали. Набросив белый пышный халат, вышел в столовую, где чьей-то заботливой рукой уже был приготовлен завтрак — омлет с ветчиной, гренки, нарезанный сыр, стакан с апельсиновым соком. Из стеклянного, еще горячего кофейника налил себе кофе и позавтракал. Достал из гардероба свежую рубашку, новый элегантный костюм, оказавшийся ему впору, и не без удовольствия, поворачиваясь перед зеркалом, надел на себя. Из коллекции галстуков выбрал шелковый, с черно-золотыми полосами, напоминавшими цвета имперского флага. Будто предчувствовал появление визитера и продолжение злоключений. Действительно, в дверь позвонили. Пошел открывать, ожесточенный и недоверчивый, ожидая встречу с опасными и вероломными посетителями.

На пороге стоял высокий господин с холеными пышными усами, которые топорщились от добродушной улыбки. Глаза, умные, проницательные, зорко осмотрели Алексея, и было видно, что ему понравился костюм и галстук, он остался доволен лицом Алексей, его

лбом, бровями, бородкой. Сам же он был одет в легкий плащ, под которым виднелся изысканный серый пиджак, рубаха с полурасстегнутым воротом, артистический галстук с толстым небрежным узлом. Он был похож на чеховского героя из фильма известного режиссера Басманова, которого играл сам Басманов. С великим изумлением Алексей вдруг понял, что на пороге стоял сам Басманов. Его плутоватые, веселые глаза, известные по кинофестивалям, рассматривали Алексея. Его пушистые, узнаваемые усы топорщила еще не произнесенная дружески-насмешливая фраза.

— Позвольте, сударь, переступить порог. Извините, что без предупреждения. Но счел необходимым засвидетельствовать вам мое почтение, — Басманов уже был в прихожей, кинул на вешалку плащ и как-то незаметно и естественно переместился в гостиную. Уселся удобно в кресло, закинув ногу на ногу, — везде он был свой, везде ему было уютно, везде были рады его появлению. — Видите ли, мои влиятельные друзья сообщили мне о вашем появлении в Москве. Являясь убежденным монархистом, не мог лишить себя чести представиться вам. Поверьте, мы, Басмановы, всегда служили династиям. Сначала Рюриковичам, будучи стряпчими, постельничими и сокольничими. А затем и Романовым, будучи если и не вельможами, то видными деятелями губернского дворянства.

— Это я читал…. Вы где-то писали об этом…. Постельничий у Ивана Грозного…. Но, видите ли, здесь вышло недоразумение…. Не знаю, как объяснить… — Алексей смущался, не находил слов, догадываясь о природе визита, пугаясь упоминания о влиятельных друзьях.

— Конечно, многие нас упрекают, меня и моего отца. Что, дескать, служили большевикам, отец был приближенным Сталина, а я снимал картины о чекистах и революционерах. Но, уверяю вас, в душе мы всегда оставались монархистами. Тайно сберегали светоч, чтобы, как говорится, свеча не погасла. В самые страшные годы отец хранил в гардеробе, под кипами одежды, портрет Государя Императора. А у меня в коллекции марок присутствовала серия, выпущенная к трехсотлетию дома Романовых. Вся блистательная плеяда русских царей. Конечно, есть доля вины. Я искупаю ее. Все мои последние фильмы пронизаны любовью к Российской Империи, к русским Государям. — Басманов говорил доверительно, оправдывался, будто

его вина была именно перед ним, Алексеем, и он искал у него прощения.

— Но, поверьте, я оказался здесь совершенно случайно… То есть почти насильно… Какая-то ошибка… Какое-то недоразумение… — Алексею было неловко, он робел перед именитым режиссером, мучился нелепостью своего положения.

— Я вас понимаю. Вы долго хранили тайну, и теперь она вдруг открылась. Но вы должны знать, дорогой Алексей Федорович, что сегодня в России открыть эту тайну не опасно, а, напротив, весьма своевременно. Есть множество людей, причем в высших кругах, и среди военных, среди политиков, среди иерархии церкви, которые вас поддержат. Придут к вам, как верноподданные. Сегодня монархические идеалы, благодаря тем, кто их сберегал в страшные годы большевизма, эти идеалы востребованы. Вы можете на меня рассчитывать, я познакомлю вас с людьми, для которых вы станете путеводной звездой.

— Но право же, я не тот, за кого вы меня принимаете…. Это досадное недоразумение… Я был бы вам крайне признателен, если бы вы помогли рассеять это недоразумение.

— Ничего, ничего, не робейте. Я пришел пригласить вас в одно благородное собрание. Сегодня в «Фонде культуры» собирается кружок монархистов. Далеко не весь цвет, разумеется. Профессора истории, потомки именитых родов. Будет прослушана лекция на тему: « Монархический проект» — вчера, сегодня, завтра». И главное, наш известнейший художник Андрей Андреевич Нащокин, тоже, как видите, с генеалогическим древом, представляет свою новую картину: «Великий князь Николай Александрович н поездке по Дальнему Востоку». Поверьте, вам будет интересно. Я вам представлю цвет монархистов. Они будут польщены.

— Вы не хотите меня выслушать…. Вы тоже верите в эту легенду, — в изнеможении произнес Алексей.

— Дорогой Алексей Федорович, — шумно перебил его Басманов, — я счастлив, что смог предстать перед вами. В моем лице вы найдете не просто друга, но и подданного. Если у вас возникнут затруднения, материальные или житейские, финансовые или политические, знайте, что я всегда рядом. Все мое влияние, связи, в конце концов, состояние — в вашем распоряжении. Мы все виноваты перед династией. Не

сумели ее защитить, участвовали прямо или косвенно, в грехе цареубийства. Теперь мы отмаливаем этот грех. Я приношу к вашим стопам мое покаяние, мою готовность служить вам. В любое время дня и ночи обращайтесь ко мне за поддержкой. Верьте мне, Ваше Высочество! — Басманов поднялся, поискал в углах икону, не нашел. Истово перекрестился на крестовидную раму, за которой гуманно и солнечно пламенел московский день, переливался всеми звуками и цветами огромный город, суля Алексею опасный и волнующий опыт.

— Ну что ж, Алексей Федорович, карета подана! — шутливо поклонился Басманов, ласково и любовно оглядывая его бледно-голубыми, чуть навыкат, глазами. — Господа монархисты ждут вас

Они подкатили к старинному особняку на бульваре. Поднялись по широкой, стертой бесчисленными стопами лестнице. Оказались в просторном зале под расписным плафоном с изображением эллинских богинь, колесниц, купидонов. В одной половине зала были расставлены удобные кресла, еще пустые, предполагавшие какое-то заседание. Среди кресел стоял изящный старинный столик, по-видимому, председательское место.

В другой половине зала не слишком многочисленная публика медленно кружила по паркету, собиралась в группы, которые существовали некоторое время, распадались и вновь собирались, уже в другом составе. Публика, как показалось Алексею, делилась на две, не похожие одна на другую породы. Одна была представлена экзотическими старцами, бородачами профессорского, кафедрального вида, в помятых, плохо сидящих костюмах. У иных длина бород была такова, словно они не стригли волосы с самого конца девятнадцатого столетия. Другие были молоды, современны, в элегантных костюмах и модных галстуках — держались чуть поодаль от архаичных профессоров. Среди тех и других были женщины, казак-генерал в ладно сшитом мундире, усыпанный «Георгиями» Бог весть с каких победных войн и баталий, священник в облачении. На пиджаках у многих красовались значки, золоченые двуглавые орлы, гербы с древней дворянской геральдикой. У молодого человека с утонченным болезненно-красивым лицом был в петлице эмалевый портрет последнего Государя, усыпанный крохотными бриллиантами. Среди гостей расхаживали официанты с подносами, на которых золотились

бокалы шампанского. Многие уже обзавелись бокалами и беседовали, поднося к губам игривый напиток.

Басманов, принятый, как свой, водил по залу Алексея, представляя его то тем, то другим:

— Прошу любить и жаловать, Алексей Федорович Горшков, — при этом выпукло-синие глаза режиссера заговорщески и плутовато подмигивали. Те, кому он представлял Алексея, называли свои имена и фамилии, звучавшие, как эхо исторических хроник. Беклемишев, Нарышкин, Голицын,Трубецкой. Внимательно всматривались в Алексея, желая понять, чем таким особенным отмечен этот молодой человек, если он заслужил внимание именитого режиссера. Не понимали, вежливо улыбались и тут же о нем забывали.

— Пусть они не догадываются о вашей тайне, — усмехался Басманов, у которого, видимо, уже существовал режиссерский план, неведомый Алексею. Басманов ненадолго оставил своего подопечного и ушел, высокий, вальяжный, пожимая на ходу протянутые ему ладони, отпуская остроумные шутки.

Алексей, смущенный, не имея знакомых, переходил от одной группы к другой, вслушиваясь в малопонятные речи.

— Господа, мне кажется, страшней всего наши распри. Эти распри погубили монархию в семнадцатом году, погубят монархическое дело и теперь,— пылко изъяснялся краснощекий молодой человек с золотистым знаком, на котором поверх короны было начертано: «За Веру, Царя и Отечество». — Давайте совершим хотя бы одно, несомненно, важное дело. Привезем наследника в Россию, купим ему здесь квартиру, поможем устроиться на работу. Ведь должен же он где-то работать, чем-то зарабатывать на хлеб. Я был у Марии Владимировны в Мадриде — самая обычная квартира. Великий князь Георгий служит менеджером в компании. Давайте найдем в Москве олигарха, который поможет наследнику российского престола найти квартиру и работу.

— Наши московские олигархи в кипах ходят. Едва ли они станут помогать будущему православному монарху, — отвечал немолодой, едкого вида, с горчичным лицом мужчина, пощипывая себя за редкие колючие усики.— Впрочем, если Георгий наденет кипу, могут и помочь… — Он засмеялся, обнажив прокуренные желтые зубы.

— Какая дичь, какая бестактность! — возмущался розовощекий. — Вы повсюду видите жидовские корни. Исследуйте родословную. Ни капли еврейской крови! Грузинские князья Багратиони-Мухранские.

— Менахем-Бегенские, — язвил желтолицый, дергая костлявым плечом, отчего в его петлице вздрагивал серебряный двуглавый орел.

— Господа, мне тяжело все это слушать, — благодушного вида толстяк, поднося к губам бокал с шампанским, отходил от них с расстроенным лицом.

В другой живописной группе Алексей подслушал разговор, столь же мало ему понятный.

— Царство Небесное Вячеславу Михайловичу Клыкову, гениальный был человек. Его памятник Государю Императору дважды взрывали нынешние цареубийцы. Но все-таки я не могу до конца согласиться с его деятельностью по избранию царя «из народа своего», как он любил говорить. Слишком много гордыни. Ведь не зря был слух, что он себя самого выдвигал в цари. Хотел собрать поместный собор, чтобы его всенародно, как Михаила Романова, нарекли царем, — плотный, средних лет господин в костюме-тройке, похожий на провинциального чиновника, укоризненно качал головой, не одобряя замысел, казавшийся ему сомнительным.— Гордыня одолела Вячеслава Михайловича, хотя, конечно, гениальный был человек.

— Как можно избирать, если нет таинства крови! Династия держится на таинстве крови. Если нет таинства, то сами изберем, сами и свергнем. Так было с Годуновым, так было с Шуйским. Нельзя выбирать, хоть и гениального, — кипятился белокурый, с нежным лицом юноша, в ком трагическая судьба поколений не истребила аристократическую породу. — Царь дается от Бога, и на Божественном промысле утверждается династия.

— Но коль скоро династия оборвана, — возражал ему сухенький, похожий на козлика старичок, с длинной бородкой и торчащими седыми вихрами.— Значит, вовеки не быть царю? Я слышал, что были намерения провозгласить императором внука маршала Жукова, Георгия. Да тому масоны пригрозили убийством, пришлось отступить. Была молва, что и Сталин хотел венчаться на царство тайным обрядом.

— Ну, уж увольте. Самозванцев на Руси всегда было хоть отбавляй. От них были одни только беды. Да и оканчивали они, кто на плахе, кто на дыбе, — это говорил могучего сложения мужчина с

лысым черепом и холеными бакенбардами, напоминавший царя Александра Первого. На отвороте его пиджака красовался родовой герб с барсом, щитом и стрелами… — Давайте искать подлинную династическую ветвь. Корневище династии может залегать очень глубоко, — он многозначительно замолчал, и можно было подумать, что, говоря о подлинном, глубоко залегавшем корневище, он подразумевал себя самого.

Алексей, услышав о самозванце, отошел, словно его обожгли.

Третья, сошедшаяся группа, где каждый держал золотистый бокал, чем-то напоминала заговорщиков, — водили по сторонам настороженными глазами, приближали говорящие рты чуть ли не к уху слушателя.

— Я, господа, считаю, что мы чрезвычайно близки к моменту восстановления монархии. Нынешний режим, который является продолжением большевистского строя, окончательно обанкротился. Вор на воре, бандит на бандите. Я слышал, господа, что Запад готов объявить Россию «криминальным государством», новой «империей зла», а здесь не помогут никакие «духовные лидеры». Единственно, что может спасти этих Лампадниковых и Долголетовых, так это провозглашение монархии. Только монарх восстановит образ России, как легитимного государства, — сказав это, господин с офицерской выправкой тотчас же отвернулся от своих товарищей. Увидел проходившую мимо бледную даму в бриллиантовом колье, щелкнул каблуками, изогнулся в почтительном поклоне.

Алексей заметил, как в зале появился телеоператор с камерой и ассистент, переносивший штатив. Оператор направлял камеру на гостей, на плафон, водил по стенам, по пустым креслам, снимая предварительные, необязательные планы. Им сопутствовала молодая женщина, указывала оператору объекты для съемки, поводя рукой по сторонам. Алексей отметил ее красивое, бледное, чем-то опечаленное или даже огорченное лицо. Под большими зелеными глазами лежали темные тени. Брови, золотистые, яркие, были приподняты, словно она минуту назад была чем-то испугана. Волосы, светлые и гладкие, были зачесаны на прямой пробор, собраны на затылке, скреплены гребнем. Этот прямой пробор, открытый лоб и белая шея с ниткой зеленых изумрудов тронули Алексея своей благородной сдержанностью. Шелковое платье было темно-зеленое, с малахитовыми переливами, и

этот глубокий зеленый тон, смешанная волна серебра и зелени, всегда волновали Алексея. Она в очередной раз повела рукой, он отметил ее тонкие пальцы и хрупкое бледное запястье. Когда она сделала несколько шагов вслед за камерой, он залюбовался ее длинными ногами и узкими щиколотками, которые упруго напрягались, словно она чувствовала себя неустойчивой на высоких каблуках.

Телевизионная группа переместилась в дальний конец зала, и он на минуту потерял женщину из вида. А когда снова увидел, ему показалось, что она смотрит издалека прямо на него. Этот взгляд, удаленное, чуть затуманенное лицо, обнаженная ярко-белая шея, высокая грудь под малахитовым платьем — все это породило вдруг странную вибрацию света, взволновало воздух, словно он вдруг расплавился, по нему побежала волна. Достигла Алексея и беззвучно ударила, разбиваясь о лицо. Он задохнулся, как если бы и впрямь был накрыт волной. Волна прокатилась над ним, он опять смог дышать и, вынырнув, почувствовал, что глаза его стали зорче, краски на плафоне стали свежее и ярче, люди вокруг казались помещенными в легчайшие радужные оболочки, словно их запаяли в хрустальное стекло. Это странное состояние длилось мгновение. Женщина исчезла, заслоненная говорливой публикой, а он стоял, чувствуя, что это уже случалось когда-то — не с ним, из иной, не его жизни. То же волнение, мимолетное ощущение счастья, и разочарование, быстротечность пленительной, необъяснимой секунды.

— Вот вы где, дорогой Алексей Федорович! — раздался бравый голос Басманова. — Позвольте, я вас представлю!

Алексей оглянулся. Рядом с Басмановым, ниже его ростом, с благородной седой гривой и слегка одутловатым усталым лицом стоял человек, показавшийся ему знакомым. — Любезный, Андрей Андреевич, позволь тебе представить Алексея Федоровича Горшкова, который согласился провести сегодняшний день в нашем обществе! … А это, дорогой Алексей Федорович, наш неповторимый и непревзойденный художник Андрей Андреевич Нащокин, любите и жалуйте. — Басманов отошел на шаг, любуясь обоими, словно их знакомство доставляло ему неподдельное наслаждение.

Ну, конечно же, Алексей знал это лицо, с благородной усталостью, проницательными, печальными, настрадавшимися глазами и узким, презрительно сжатым ртом. Его мягкий подбородок

утонул в артистическом банте. Нащокин был похож на камергера, который забыл надеть алую ленту и оставил в шкафу шитый золотом придворный мундир. Альбом с его живописью хранился в тобольской библиотеке, и Алексей не раз перелистывал мелованные страницы с репродукциями великолепных картин — мистерии русской истории, апокалипсические зрелища русской революции, портреты русских философов, воинов и пророков. Теперь знаменитый художник пожимал ему руку и внимательно, остро оглядывал его золотую бородку, высокий лоб, овал лица, всматривался в глаза, точно сравнивал его с каким-то неведомым образцом. Было нетрудно догадаться, что Басманов успел обсудить с художником его, Алексея, родословную, и от этого было неловко. Алексей собирался, было, отойти, но в это время к ним приблизился оператор с камерой и женщина в зеленом платье. Что-то негромко приказала оператору, и тот стал снимать всех троих, переводя объектив с огорченного лица Алексея на пышный бант Нащокина, на шевелящиеся усы Басманова. Басманов поманил пальцем официанта, разносившего шампанское. Когда тот подошел, снял с подноса бокалы, передал Нащокину и Алексею.

— Сударыня, присоединяйтесь к нам, — с развязностью светского волокиты обратился он к женщине. Та чуть смутилась, но подошла, приняла из рук Басманова бокал.

— А ну, голубчик, увековечь этот исторический момент, — приказал оператору Басманов, — Быть может, за этот кадр ты получишь премию «Тэффи».

Они чокнулись вчетвером. Алексей, глядя в близкие зеленые глаза женщины, сладостно услышал звон их соприкоснувшихся бокалов. Она пила, улыбалась, ее брови над краем бокала изогнулись, глаза смотрели, не мигая.

— Ну, что ж, Андрей Андреевич, начинай показ своей картины.

Басманов захлопал в ладони, привлекая внимание гостей. Приказал всем рассаживаться. Усадил Алексея в первом ряду, приглашая Нащокина сказать вступительное слово.

— Господа, — начал Нащокин с легким поклоном. — Вы знаете, что я убежденный монархист, пронес мои идеалы сквозь советский ад, и нигде, никогда не изменил белому знамени. Нас малая горстка в современной России, тех, кто не поклонился Мамоне, не стал слугою

Ваала, не осквернил себя гонениями на великую идею, на незабвенную память о Государе Императоре, перед которым Россия бесконечно виновата. Тогда, в черные дни семнадцатого года, когда закатывалась золотая звезда русской монархии и восходила бриллиантовая звезда Царя Великомученика, мало было тех, кто кинулся защищать престол. Царь, всеми преданный и оставленный, даже церковью, почти в одиночестве, окруженный любимой семьей, взошел на Голгофу. Тем неустаннее должны быть труды в искупление нашей общерусской вины. Вы знаете, все мое творчество я посвятил Великой России, стараясь показать моим современникам образ святой, великой, благородной державы, которую еще не источили черви масонства, не исклевали вороны мирового заговора. Предлагаемая вам картина называется: «Великий Князь Николай Александрович посещает Дальний Восток».

В то время как он говорил, служители внесли в зал деревянный штатив и установили на нем картину большого размера, с наброшенным холщовым покрывалом.

— Вы увидите молодого цесаревича в расцвете духовных и физических сил, среди своего народа, готового присягнуть ему на верность. Ничто не предвещает будущих бурь, ничто не пророчит время войн и революций. Только над тайгой, над засохшими вершинами, летит черный ворон, словно несет недобрую весть, — с этими словами Нащокин подошел к штативу, сдернул покрывало, и во всем великолепии, обрамленная золотой рамой, открылась картина.

В бесконечную даль, в волнистую синеву тайги уходит колея Транссибирской магистрали с далеким дымком промчавшегося паровоза. На насыпи, выйдя из литерного, украшенного двуглавым орлом вагона, стоит Великий Князь Николай, молодой, статный, в кавалергардском мундире, отороченном собольим мехом. Спокойное, приветливое лицо, властная осанка, взгляд, устремленный в бескрайние просторы державы, где предчувствуется Тихий океан. Его окружает свита — офицеры, чиновники, советники — опора трона, соратники будущего Государя. К насыпи пришел народ приветствовать дорогого гостя. Строители Транссибирской — молотобойцы, геодезисты, инженеры, показывают Николая карту будущих городов, рудников и заводов. Переселенцы из Центральной России — крестьянская семья, многолюдная, дружная. Хозяйка с поклоном

подносит цесаревичу хлеб с солью. Охотники, явившиеся из тайги, увешены добытыми соболями, белками и куницами. Туземец-шаман в одеждах из шкур, с колдовским бубном. Казаки в мундирах с красными лампасами, мужественные усачи. Священник в золоченой ризе держит икону Николая Чудотворца. В картине много воздуха, света, таинственной лазури, нежной, разлитой в просторах синевы. И только в стороне, над высохшими деревами, где легла тревожная тень, летит одинокий ворон, предвестник несчастья.

Зрители встретили картину аплодисментами, поздравляли художника. Нащокин сдержанно принимал поздравления. Алексей всматривался в картину, в лица персонажей, в облик Николая, испытывая болезненное недоумение, мучительное прозрение, — картина была нарисована так, что в ней было запечатлено не только благодатное время той давнишней поездки, но и другие, последующие времена, где каждому из нарисованных персонажей была уготована трагическая судьба.

Сын крестьянина, красивый парень, в косоворотке с узорной вышивкой, будет призван в армию и погибнет под Порт-Артуром от японской шрапнели. Молодой геодезист в форме железнодорожника с золочеными пуговицами примет участие в революции пятого года, выйдет на баррикаду с красным знаменем и будет забит казачьими нагайками до полусмерти. Офицер свиты с лихими гусарскими усиками падет на Германской, в Пинских болотах, подняв в атаку поредевшую цепь гвардейцев. Вкрадчивый чиновник с папкой документов, стоящий за спиной Николая, войдет в масонскую ложу и станет передавать Временному правительству секретные сведения о царе. Казак с карабином через плечо вступит в отряд барона Унгерна и, отбиваясь от наседающих красных частей, скроется в Маньчжурии и умрет под Харбином. Охотник, смешанный пушниной, возглавит «красный» партизанский отряд и прославится зверскими расстрелами «белых» офицеров. Шаман станет проводником «красного» отряда, наведет красноармейцев на бивак утомленных «белых» и станет спокойно смотреть, как тех рубят шашками. Сам Николай, постаревший, с сединой в бороде, с залысинами на выпуклом лбу, будет пилить бревно вместе с сыном в Тобольской ссылке, а потом, умирая от пуль, видеть кричащее, окровавленное лицо цесаревича. Все

это страшное будущее уже присутствовало в картине, таилось в черной летящей птице, воздействовало на зрителя ошеломляющим образом.

— А теперь, господа, — руководил собранием Басманов в своей развязно-дружелюбной манере, — приступим к обсуждению книги нашего замечательного профессора, чьи знания соизмеримы с эрудицией исследователя русской монархии Льва Тихомирова,— обсудим книгу «Помазанник», которую написал уважаемый Антон Леопольдович Космач. Обсуждение, я полагаю, проведем в форме вопросов и ответов. Прошу, займите столик, Антон Леопольдович.

На это приглашение откликнулся господин фантастического вида. У него было изможденное, почернелое от недугов и духовных терзаний лицо с огромными глазами, в которых трепетало черно-фиолетовое негасимое пламя. Над глазами дыбом стояли спутанные брови, напоминавшие разворошенные птичьи гнезда. Нечесаные волосы спадали до плеч косматой гривой, посыпая мятый пиджак обильной, как пепел, перхотью. Но главной примечательностью была борода — косая, клочьями растущая из разных частей лица, сходящаяся в длинный, узкий, до пояса клин, имевший на конце всего несколько волосинок. Он нес эту бороду, как Черномор, величественно и священно. Казалось, в бороде, не знавшей бритвы и гребня, кроется колдовская мощь человека, его бессмертие, способность перемещаться по воздуху, принадлежность к сказочным персонажам русского фольклора. Имя «Космач» как нельзя лучше соответствовало его облику, и было скорее не именем, а наименованием языческого существа, обитающего в чащобах, лесных болотах, в сплетениях древесных крон.

Профессор занял место за столиком. Сцепил костлявые желтые пальцы. Стал яростно водить глазами, словно готовился сжечь ими всякого, дерзнувшего задать вопрос.

— Уважаемый и любимый Антон Леопольдович, — умная, похожая на библиотекаря старушка в крупных очках и девической блузке, какие носили слушательницы Бестужевских курсов, рискнула первая обратиться с вопросом, формулируя его так, чтобы показаться достойной ума и эрудиции профессора. — Все-таки как вам видится судьба «монархического проекта» в современной России?

Профессор грозно плеснул из глаз чернильное пламя, испепеляя дерзкую слушательницу. Болезненно и громко откашлялся:

— Гм, да, так сказать, рассуждение… Должен вам заметить, сударыня, что понятия «проект» и «монархия» не совместимы. Проектируют дом, машину, табуретку или, в конце концов, заговор или общественное мероприятие. Русская монархия — не дело рук человеческих, не продукт ума, а божественная данность, которая никуда не исчезала, а пребывает в современной России, как она пребывала сто лет назад. Рискну привести слова из апокрифического евангелия от Фомы, разумеется, не для того, чтобы вы уверовали в апокриф, а исключительно из-за яркости образа. «Царство Божие находится вокруг нас, но мы его не видим». Так вот, сударыня, монархия по сей день существует в России, но мы ее не видим…. Гм, да, не более того.

Космач произнес это сердито, почти гневно. Но Алексею казалось, что гневной интонацией профессор скрывает свое нездоровье, его раздражение направлено против себя самого, и страшный облик ученого не может никого обмануть. Он добрый, смертельно усталый, всю жизнь посвятивший любимой идее, спасая ее от поругания, отпугивая от нее недоброжелателей своей колдовской, лесной внешностью.

— Господин профессор,— едкий господин с крашеными хной волосами, в бархатном пиджаке, на котором красовался значок с фамильной геральдикой, был готов полемизировать с прославленным авторитетом, не желая уступать ему в учености. — Мне кажется, вы недостаточно четко обосновали мысль, почему православная монархия не совместима с Конституцией. Если вы правы, то восстановление монархии в настоящих русских условиях потребует от нас полной отмены конституционного строя. Но возможно ли это?

— Гм, да… — Космач одарил дерзкого полемиста таким огнедышащим взглядом, что, казалось, его крашеные, с медным оттенком волосы вот-вот задымятся и истлеют прямо на голове. — Если бы вы, господин Провоторов, удосужились с большим вниманием прочитать соответствующую главу, вы бы уразумели в ней сказанное. Православный Государь не несет юридической, конституционной ответственности перед народом, поэтому не может быть свода законов, устанавливающих такую ответственность. Однако Государь несет нравственную ответственность перед Богом, что включает в себя его ответственность перед верноподданным народом.

Ответственность же перед Богом закрепляется не Конституцией, а чином венчания на царство, — Космач выдыхал из себя огонь, который сжигал его легкие, и казалось, вокруг него, на стол, на бороду, на костистые пальцы, сыплется горячая сухая окалина. — Православный Государь не является просто Правителем, он является образом, которому поклоняется верноподданный народ. Преподобный Максим Грек, не только дивный богописец, но и несравненный богослов, утверждал, что православный царь есть образ Самого Царя Небесного. Он — икона, через которую мы восходим к Первообразу, то есть, ко второй ипостаси Пресвятой Троицы — Господа нашего Иисуса Христа. Мистические энергии первообраза транслируются в земную, государственную жизнь через образ. То есть, чрез Царя. В этом онтологический смысл царской власти. — Он сделал глубокий, захлебывающийся вздох, от которого в груди его жарко закраснел невидимый уголь, причиняя ему страдание. — Но и это не все. Монархия не является правлением одного человека. Правит династия. В династии осуществляется преемство от отца к сыну, передается из поколения и поколение один и тот же образ. Отсюда понятие царской крови, которая является священной. Проливающий царскую кровь, совершает святотатство, и очень часто это святотатство принимает характер ритуальной жертвы. Не случайно происхождение всех сакральных легитимных династий связано с некоей тайной. Их происхождение всегда окутано тайной. Это говорит о том, что цари ниспосланы на землю из иного мира. Недаром, историки по сей день гадают, откуда взялся Рюрик. Призвание Рюрика безусловно связано с тайной, которую мы тщимся разгадать. И это касается абсолютно всех наших царей…. Гм, да.

Профессор боролся с недугом, из последних сил удерживаясь на стуле. Иногда он хватал свою бороду, будто черпал из нее целящую силу. Он был похож на мученика, стоящего у рва, или на столпника, торчащего из своего аскетического гнезда. Алексей, не понимая его рассуждений, сочувствовал ему всей душой.

— Династия Романовых — это тоже, по-вашему, тайна? — запальчиво воскликнул розовощекий монархист с буйными молодыми вихрами, словно повторявшими завихрения его юношеских переживаний и мыслей. — По-моему, с происхождением Романовых все достаточно ясно.

Следовало ожидать гневного всплеска профессора на этот неучтивый возглас. Но болезненное лицо схимника посветлело, и глаза излили на юношу свет отцовской любви и нежности.

— С Романовыми, дорогой Арсений, все гораздо сложнее, нежели это изложено в хрестоматиях. Династия Романовых, мой молодой друг, происходит от прусско-литовских царей — жрецов. По отношению к Рюриковичам они выступали в качестве второго, вспомогательного дома, который в чрезвычайных обстоятельствах должен был заменить первый дом. Не случайно братом Андрея Кобылы, Рюриковича, был предок Романовых Федор Кошка. Слово «кошка» происходит от «кош», что означает корзина или чаша. Сакральная чаша с царской кровью, которая в Западной Европе имеет аналог в виде чаши святого Грааля. «Кощей» — тот, кто ведет запасную лошадь царя. Таким образом, дом Романовых существовал, как второй, запасной дом на случай трагедии. Так и вышло. Московская династия Рюриковичей погибла, пришел запасной род Романовых, выбранный земским собором 1613 года.

Все эти специальные знания профессор излил на голову пылкого юноши, как изливают елей на любимое чадо. Юноша был смущен, ухватил далеко не все, но продолжал вопрошать с дерзостью неофита.

— Но в чем же тогда трагическая участь Романовых, которая, если я вас правильно понял, привела к убийству царя в Ипатьевском доме?

Профессор тяжело вздохнул, и было слышно, как сипло прошумел воздух в его больных трахеях. Так гудит осенний ветер в печных дымоходах. Он устало закрыл веки, похожие на выпуклые и морщинистые грецкие орехи. Снова поднял, поражая лихорадочным блеском пророческих глаз.

— Видите ли, мой молодой друг, надо сказать, что присутствие жреческой крови у Романовых не послужило во благо роду. Подобные смешения всегда дурно заканчивались. Именно жреческое начало побудило Алексея Михайловича Романова вмешаться в дела веры, способствовало исправлению Никоном священных книг, что привело, в конце концов, к трагическому церковному Расколу. Не случайно Государь Николай Александрович в дневнике оставил загадочную надпись: «Наверное, нужна искупительная жертва. Ну что же, тогда этой жертвой буду я». В чем искупление? Думаю, в драме XVII века. Во время Раскола было уничтожено людей в два раза больше, чем во

время коммунистических репрессий. Не случайно Соловецкий лагерь особого назначения находился на том же месте, что и Соловецкий монастырь. Иноки монастыря мученически погибли во время «Соловецкого сидения», зверски убитые царскими стрельцами. Тогда же погибли тысячи свитков и рукописей, открывавших тайну древнего славянства, божественную историю Древней Руси, Государь Николай Александрович взял на себя вину династии и церковных иерархов, повинных в уничтожении лучшей части русского народа. В уничтожении святой Руси.

Алексей жадно слушал, стараясь постичь новые, прежде неведомые истины, лежащие в основе гигантского творения, именуемого Государством Российским. Это творение представлялось ему храмом загадочной архитектуры, где было множество стен и опор, фундаментов и столпов, скрепляющих тяг и замковых камней. Этот храм продолжал строиться, и ни одна его часть не подвергалась разрушению, — то попадала в тень и почти скрывалась от глаз, то озарялась ослепительным светом. Храм гудел от тектонических сдвигов, менял объемы, в нем возвышались то одни купола, то другие. В конструкции храма была важна каждая частность, каждая фреска и изразец, каждый уступ в стене, на котором притаился голубь или поселилась выросшая из зернышка травинка. Он, Алексей, не был чужд этому сооружению. Чьей-то волей, чьей-то загадочной властью ему было уготовано место среди опор, куполов, перекрытий. Он не понимал своего места. Только чувствовал огромность стройки, сосредоточенность мастеров, потаенный замысел архитектора.

— Но все-таки, господин Космач, много теории и истории, но мало, что называется, практики, — сердито заметил суровый, офицерского вида, монархист с платиновыми усами и жестким бобриком. — Как вы видите восстановление монархии теперь, когда срезаны две эпохи и нет легитимного обоснования?

— Я имел с вами, господин Разумовский, отдельную на эту тему беседу. Но, видимо, был не слишком доходчив. Повторение — мать учения…. Гм, да… — на фиолетовых губах профессора, почти невидимых среди путаницы бороды и усов, промелькнула снисходительная усмешка.— Я пытался вам доказать, что восстанавливать монархию не надо, потому что ее никто не отменял. Она по-прежнему существует. Факт отречения Государя находится под

большим вопросом. Акт, предложенный царю предателями-думцами, подписан не чернилами, а карандашом, но согласно законам Российской империи, акт, подписанный карандашом, не действителен. Почерк на указе отличается от почерка Государя. В любом случае, этот документ юридически недействителен. А значит, нелегитимным является объявленная Временным правительством республика. Нелегитимен замысел Учредительного собрания. Нелегитимен его разгон. С юридической точки зрения в России продолжает существовать монархия. Это проливает свет на некоторые деяния Сталина.

— Об этом и хотел вас спросить, — перебил монархист с платиновым бобиком. — Читая вас, ловил себя на том, что вы как бы оправдываете Советы, даете индульгенцию Сталину.

— Я не папа римский, чтобы раздавать индульгенции, господин Разумовский. Вряд ли кто-нибудь сможет упрекнуть меня в снисходительном отношении к Советам, при которых был почти полностью вырезан мой род. Но объективность историка заставляет меня утверждать, что советская власть обрела некоторую легитимность с середины тридцатых годов. Была восстановлена территориальная целостность Российской Империи, утраченная в период либеральных реформ. Была уничтожена так называемая «ленинская гвардия», повинная в русском геноциде и разгроме Православной церкви, а также в убийстве Государя Императора. А мистическая русская Победа сорок пятого года показала, что Господь простер свою длань над Сталиным. Есть свидетельства того, что в последние годы жизни Сталин спрашивал у Святейшего Патриарха Алексия, существует ли в Русской православной церкви чин тайного венчания на царство. Для кого он это узнавал, неизвестно. Быть может, для себя?

Профессор изнемогал от усталости. Он был болен, и каждое слово давалось ему с трудом. Он был похож на умирающего лешего, шевелящего своими космами и замшелыми складками, готового упасть и затихнуть под вывороченной корягой. Алексею было жаль этого величественного человека. Всю жизнь он охранял забытую святыню, от которой отвернулось время и которая питала это время тайными соками. Так лесовик охраняет в чащобе крохотное лесное болотце, из которого истекает ручеек, — набирает силу, сливается с другими

ручьями, превращается на равнине в полноводную Волгу с кораблями, плотинами, прибрежными городами.

Телевизионный оператор неслышно перемещался по залу, снимал профессора с одной, с другой стороны. Женщина в малахитовом платье появлялась и таяла. Алексей боялся останавливать на ней взгляд, продолжая чувствовать необъяснимый ожог, который она ему причинила.

Прошу у благородного собрания прощения, — профессор прижал к груди большие костлявые руки, защемив ими бороду,— Я весьма нездоров и оставил постель, только вняв настояниям уважаемого коллеги Басманова. Но хочу сказать в завершение. Многие современные православные люди верят, что истинный русский царь существует сегодня в сокрытом виде. Новый Государь — среди нас, но пребывает в сокрытом неведении.

Многие православные люди доверяют пророчествам старцев, которые говорили, что русский царь появится неожиданно, и все русские люди поймут, что это он. Духовник царской семьи архиепископ Феофан Полтавский говорил о том, что это будет отпрыск Романовых, но сам не будет носить фамилию Романов. Давайте ждать, когда Чудо проявится. Станем вглядываться вокруг очами, полными любви и веры! — Он повел своими черными, со слезным блеском глазами, словно отыскивал среди собравшихся и потаенного царя.

Неожиданно встал Басманов, театрально раскрыв руки, словно отбирал к себе все внимание публики.

— Господа, это тот самый момент, которого я ждал, чтобы сделать особо важное заявление. Среди нас находится тот, о ком только что пророчески упомянул глубокочтимый Антон Леопольдович. Среди нас пребывает прямой наследник Царя Николая Александровича, внук чудом избежавшего смерти цесаревича Алексея, доселе никому не известный, пребывавший в сокрытом неведении, Алексей Федорович Горшков. Он же Романов. — Режиссер обратился к Алексею, делая взмах руками, словно желал поднять его с кресла в надежде на аплодисменты. Алексей испытал мучительную неловкость, панический стыд:

— Ну что вы такое говорите?.. Зачем вы так?..

Но Басманов патетически продолжал:

— Вы вправе удивляться, вправе не верить. Но чудо, о котором я вам поведал, уже себя обнаружило.

Пока Басманов говорил, профессор Космач бледнел, трепетал, перебирал костлявыми пальцами прикрытую бородой грудь, словно там находились клавиши невидимой флейты, из которой он силился извлечь звук. Наконец, этот звук был исторгнут, надрывный, страдающий вопль:

— Не сметь!.. Святотатство!.. Самозванец!.. Позор осквернителям! — Он с грохотом повалился со стула на пол, прямо переду картиной художника Нащокина. Стукнул о паркет стариковскими костями, словно упал скелет. Все кинулись к нему. Алексей первый наклонился над ним, повторяя:

— Боже мой!.. Разве так можно!.. Какое несчастье!..

Сумятица вокруг старца, его косматой бороды, бездыханного тела продолжалась несколько минут. Кто-то раздвинул путаные космы, расстегнул несвежую рубашку, обнажив тощую грудь с серебряным крестиком. Кто-то пытался влить в губы старца стакан воды. Наконец профессор пришел в себя. Открыл черные, бездонные глаза, провалившиеся в глубь черепа. Безумно переводил их с картины Нащокина на лицо Алексея и обратно. Что-то соображал, что-то пытался вспомнить из того, что открылось ему во время обморока. Собравшиеся вслед за ним переводили глаза с картины на Алексея. Наследник престола Николай, стоящий на насыпи Транссибирской дороги, был полным подобием Алексея. Та же золотистая бородка. Тот же взгляд синих задумчивых глаз. Та же потаенная печаль застенчивого лица. Казалось, художник выбрал Алексея натурщиком и с него писал портрет будущего Государя. Это внешнее сходство и внутреннее подобие открылись профессору, когда его душа на несколько минут обморока оставляла землю и пребывала в общении с духами. Схватив холодными костлявыми пальцами горячую руку Алексея, он прошептал:

— Верю… Наследник… Ваше Высочество… — И опять забормотал и забредил. И уже вбегали с носилками врачи, клали на них старика, уносили.

Алексей поспешно покидал собрание, отмахиваясь от говорливого, не желавшего отставать Басманова:

— Как вы могли!.. Это злой вымысел!.. Чья-то бездарная шутка!..

— Ничего, мой дорогой, не надо стесняться. Все тайное становится явным. Вы — среди друзей, среди верноподданных. Басмановы всегда служили царям. Располагайте мной, моей честью, моей репутацией и, если угодно, — моим состоянием.

Они мчались по Москве в роскошном автомобиле Басмано ва. Постовые, завидев именитого режиссера, отдавали честь.

Виктор Викторович Долголетов, он же Ромул, покинул общество российских футболистов, получивших бронзовые медали на престижном европейском чемпионате. Их встречали, как кумиров нации, так, словно медали были золотые. Ромул посчитал нужным для Духовного Лидера России присутствовать на чествовании. Был в центре внимания, обнимал футболистов, перед телекамерами произносил здравицы в честь российского спорта, славил русскую волю побеждать. Сравнивал спортсменов с воинами Александра Невского, разгромивших тевтонов на Чудском озере. С «преображенцами» Петра, опрокинувшими шведов под Полтавой. С пехотинцами Жукова, взявшими штурмом Берлин. Снискавшие победу спортсмены получали пухлые пакеты наградных денег, тут же подписывали контракты с испанскими, английскими, немецкими клубами.

Ромул остался доволен мероприятием, поместившим его в центр народного ликования, в сияние национальной победы и национальной мечты. После упоительной встречи ему не хотелось возвращаться домой, в загородный дом, где поджидала его жена. Мысль о ней вызывала в нем скуку, чувство вины, глухое против нее раздражение. Перестав быть «первой леди», она совсем опростилась. Не следила за собой, отказалась от парикмахера и стилиста, забросила фитнес-центр и бассейн. Много ела, особенно сладкие торты и сливочные пирожные, спала или смотрела остекленелыми глазами «мыльные оперы». Располневшая, неряшливо одетая, с копной плохо уложенных волос, она стала не интересна ему и почти враждебна. Ибо в ее деградации он усматривал знак того, что она больше не готовится вернуть себе статус «первой леди», а значит, не верит в возможность мужа вновь стать президентом. Он чурался ее, редко бывал в загородной резиденции. И, как обычно, направил машину не в загородную усадьбу, а к «Дому Виардо».

Там он продолжал упиваться спортивными достижениями молодой России, возрождению которой посвятил свою президентскую деятельность. Эту молодую Россию представляла олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кара-Караева, прелестная, женственная, излучавшая сребристое свечение, когда вылетала на ковер пустой гостиной, освободившейся от всех покровов, танцуя для своего покровителя и обожателя танцы, не входившие в олимпийскую программу. Она утверждала, что в ней течет древняя ассирийская кровь, и ее танцевальные фигуры и пируэты символизируют древние культы, жреческие приемы, иероглифы тайных учений, с помощью которых волхвы и волшебники древности управляли ходом звезд, разливами рек, победами царских войск. Продлевали долголетие царям и вызывали внезапную смерть недругов. Ромул возлежал на шелковых подушках, пил из пиалы приготовленный Алиной дурманящий напиток из африканских плодов, слушал завораживающую музыку поющих раковин, свистящих тростников, знойных бубнов. Смотрел и не мог насмотреться на колдовской танец.

Вот возникала танцевальная фигура, в которой тело танцовщицы превращалось в мерцающее колесо. Катилось по ковру. Очаровательная голова с распущенными волосами оказывалась то на ковре, то взлетала ввысь. Маленькие плотные груди то касались ковровых узоров, то страстно трепетали в свете люстры. Этот танцевальный символ означал круговращение жизни и смерти, радости и уныния, успехов и поражений, дня и ночи, прозрения и безумия. Танцовщица, упав на колени, выгибалась назад, касаясь затылком земли, и этот живой трепещущий лук с натянутой тетивой означал порыв страстей, стремление к победе, непобедимость царя, соединение воли властителя с волей бога. Казалось, на маленькие жаркие груди плясуньи наложена отточенная стрела, готовая поразить враждебного воина на стремительной колеснице. Танцовщица замирала, изогнувшись гибкой спиной, образуя дугу, чуть раздвинув ноги, упираясь в ковер серебристыми ладонями. Эта фигура означала соитие земли и неба, оплодотворение звездным небом готовой к деторождению земли. Ромулу казалось, что прелестная женщина вся светится в таинственных, летящих из неба лучах. Среди ее серебристых колен раскрывает розовые лепестки, расцветает волшебный лотос — цветок любви и бессмертия.

— Ну, как я была сегодня? — Алина обняла лежащего на подушках Ромула, прильнув к нему влажным, обольстительно благоухающим телом.

— Так царица Савская танцевала перед царем Соломоном, — ответил Ромул.— Мы отправимся на Сардинию к моему другу Берлускони, и ты станешь танцевать перед истинными властителями мира.

С этими словами Ромул отломил от виноградной кисти сочную ягоду с розовой искрой солнца. Взял в рот и, целуя обожаемую женщину, вложил ей в губы светящийся, животворящий плод.

После ухода олимпийской чемпионки он дремотно смотрел телевизор — серию программ под названием «Русские сенсации».

Сначала показали русскую киноактрису. Когда-то любимица публики, лауреат множества премий, теперь она прозябала в доме престарелых, опустившаяся и заброшенная, полубезумно, со слюнявой улыбкой, лепетала о том, что и в старости нуждается в мужской любви. Затем последовал сюжет о сожительстве матери и сына, в результате которого появился ребенок без глаз. Показывали лобастое, губастое лицо олигофрена, на котором вместо глаз была плоская кожа.

Ромул смотрел сюжеты и рассеянно думал, что эта инфернальная реальность заставляет людей искать спасения у Духовного Лидера. Способствует его, Долголетова, влиянию.

На экране кривлялся карлик с большой головой, недоразвитыми ногами и руками. Он лез под юбки молоденьким актрисам, позволял пышной телеведущей поднимать себя, качать у груди, при этом проказливо лез женщине за вырез платья, шалил, допуская непристойные жесты. Ромул одобрительно разглядывал карлика. Думал: чем больше в жизни мерзости и низменности, тем рельефнее, совершеннее выглядит он сам в глазах публики. Изящный, сдержанный, обходительный с дамами, с глубоким духовным взором.

Затем он увидел странный сюжет, показавшийся ему весьма любопытным. Показывали собрание монархистов, известного художника Нащокина, кинорежиссера Басманова. Тот представил наследника царственного престола, потомка цесаревича Алексея, который будто бы избежал мученической смерти и продолжил род прямых наследников царства. Была показана картина Нащокина, изображавшего молодого царя. Так называемый наследник — его лицо

с бородкой и усами — и впрямь напоминало лицо Николая Второго. Какой-то чудовищный лохматый старик, похожий на лешего, бился на полу. Блестели позументы мундиров, краснели казачьи лампасы, фигурировали экзальтированные физиономии. Все было забавно и слегка кощунственно, в духе «Русских сенсаций». Но у Ромула осталось странное ощущение. Ему показалось, что он уже где-то видел это молодое, с золотистой бородкой лицо. Что-то тревожило его в этом сюжете, размещенном среди скабрезностей и дурацких шуток.

Выключил телевизор и прислушивался к тишине, не раздастся ли волшебный голос невидимой певицы, не позовет ли его ta собой божественная Эвридика. Но была тишина, в которой он слышал собственное тревожное сердцебиение.

Президент Лампадников, он же Рем, ужинал в «Лесной сказке» с министром финансов США. Только что они заключили соглашение, по которому значительная часть российского «стабилизационного фонда» переводилась в облигации ипотечных фирм Америки, терпящих банкротство.

— Америка никогда не забудет вашего поступка, господин президент. Вы поступили, как настоящий друг, подав нам руку помощи, — американец с аппетитом поедал свежую форель, ловко отделяя розоватую тушку от хрупкого позвоночника.

— Это в русской манере, о которой писали и Пушкин, и Достоевский. «Последнюю рубаху сними, а другу отдай». Русский народ отзывчив к чужой беде, — просвещал американца Рем, поднося к губам бокал белого сухого вина.

— Федеральные власти Америки тщательно отслеживают маршруты русских теневых капиталов, проходящих «отмывку» в офшорных зонах и мировых банках. Составлен «черный список», в который входят около сотни крупнейших ваших чиновников, бизнесменов, военных. Конечно, вашего имени, господин президент, там нет и быть не может, — министр аккуратно промокнул салфеткой жирные губы, направив на Рема маленькие блестящие глазки.

— В Америке есть круги, заинтересованные в дискредитации российской власти. Конечно, мы не идеальны, но мы единственные, кто может управлять русским народом. Последние опросы общественного мнения показали, что самой популярной фигурой в

России является Сталин. Представляете, что будет, если к власти придут сталинисты? Какое количество новых ракет, самолетов, подводных лодок будет поставлено на вооружение? — Рем поддел на вилку лакомый кусочек спаржи и бережно перенес себе в рот.

— Но ведь вы только что сказали, господин президент, что русские — очень кроткий, отзывчивый, миролюбивый народ? — министр переложил на чистую тарелку голый рыбий скелет с глазастой головой. Подумал и украсил скелет листиком салата и ягодой маслин. — Натюрморт, — усмехнулся министр.

— Русский народ действительно отзывчив и добродушен, но в душе он — сталинист. Мы, демократы, друзья Америки, управляем народом, который и по сей день исповедует культ Сталина. Это очень опасное занятие — управлять таким народом. Вы никогда не входили в клетку голодного тигра? — Рем добавил к натюрморту кисточку укропа и маленькую корочку хлеба.

— Нет, к тигру я не входил. К вице-президенту Чейни входил, — ответил министр.

— Такие натюрморты любил рисовать Пикассо, не правда ли? — Рем любовался натюрмортом, поднеся к нему горящую на столе свечу.

Расставшись с министром. Рем отправился в свою резиденцию «Барвиха-2» и уже там просмотрел телевизионный сюжет с «цесаревичем». Остался очень доволен, расхаживал по кабинету, посмеивался. Пробовал изобразить иероглиф «Скрипичный ключ». Позвонил Виртуозу:

— «Помазанник» очень хорош. Вы еще не взяли у него пробы ДНК?

— Конечно, нет, — ответил Виртуоз, отложив сочинение гностиков.

— Возьмите на всякий случай. Уж очень у него «романовский» вид.

— Возьмем, если ты хочешь. Но это займет не меньше месяца.

— Куда торопиться? А Лобастов, скажу я тебе, молодец. И Басманов молодец.

— А я?

— Ты — молодец, как соленый огурец! — рассмеялся Рем. — Позвони владыке Арсению. Завтра его выход, — Рем отложил телефон.

Виртуоз задумчиво смотрел на большую фотографию матери, сделанную незадолго до ее кончины. Мать тихо улыбалась, глядя на белый цветок пиона.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Алексей проснулся, выныривая из клубящихся, похожих на облака сновидений. Лежал в просторной спальной, глядя на лепной плафон с узорным, из разноцветных стекол, светильником. Солнце переливалось в стеклах, рассыпая на потолке павлиньи спектры. Вчерашний день — собрание странных, экзотических людей, картина именитого художника, заверения в дружбе, исходящие от прославленного режиссера, обморок косматого профессора, напоминавшего языческого колдуна, — все это присутствовало в недавних снах, перенеслось в явь, легло на потолок перистыми разводами солнца. Он старался объяснить случившуюся с ним перемену. Понять, чего хотят от него эти люди. Кто, невидимый и таинственный, скрывается за ними. Кто вырвал его из привычной, провинциальной жизни, заключил в гигантский клокочущий город, навязывает несвойственную ему, мучительную и опасную роль. Почему именно он, провинциальный историк, скромный музейный работник выбран чьей-то грозной непререкаемой волей на роль наследника русского престола. Роль, несущую в себе пугающую театральность, кощунственную лживость, навязчивую зрелищность. Кто он такой, Алексей Федорович Горшков, кого вчера мертвенные уста старика назвали «Ваше высочество».

Лежал, закрыв глаза, видя сквозь веки алую горячую жизнь, будто глаза его смотрели в глубину его сочного, напоенного алым светом тела. В этом сочном спелом соке плавала его бесплотная сущность, собирала в себя слабые сигналы из неведомого, не имеющего очертаний мира. Его личность, его нареченная сущность не имели четких очертаний. Были размыты, расплавлены, окружены тенями и образами. Одни из них казались известными, имели имена, принадлежали к сонму великих художников, полководцев, государственных деятелей, о которых он знал из книг и которые были соединены с ним загадочным родством. Другие, невнятные, с невыявленными чертами, — крестьяне, солдаты, чиновники, сельские батюшки, уездные барышни — возникали на мгновение и таяли в алом сиянии, из которого проистекала его жизнь, тянула соки его душа, таилась его родословная. Мать и отец были ближе всех. Были явлены

не лицами — он их почти не помнил, — а младенческим ощущением счастья, нежности, душистого воздуха, близкого растворенного окна, за которым что-то восхитительно белело и благоухало, быть может, куст цветущего жасмина. Вслед за близкими образами, запечатленными младенческой памятью, сразу же начинались безбрежные, словно море, дышащие и густые, как лес, воспоминания, принесенные из глубин прапамяти. Оттуда являлся ему вдруг бородатый, смуглый от солнца хлебопашец, нежная смеющаяся, с пунцовыми щечками курсистка, седовласый офицер с рубцом на лбу, с крестами и звездами на парадном мундире. Быть может, они были его забытой родней, или их лица были принесены таинственным дуновением, которое волнует безбрежное море прошлого, выплескивая в реальную жизнь случайные виденья.

Среди этих видений был последний русский Царь, его благообразная жена, его юные дочери в целомудренных девичьих блузках и отрок-цесаревич в матросской курточке корабельного юнги. Трогательный снимок, запечатлевший миг семейного счастья. Их ужасная смерть в подвале тюремного дома. Их загадочная грозная роль в разрушении великой империи, в кромешном, кровавом веке, наполненном войнами, революциями, чудовищными избиениями и муками. Все это волновало его и влекло, соединяло с царем таинственной струной, в которой трепетал мучительный звук их общей судьбы и доли. Он испытывал к царю необъяснимое влечение, слезную нежность. Слышал тайные слова, которые неслись через столетие, превращая его жизнь в служении, в невидимое миру моление, в безнадежное обожание.

Его нынешнее положение, его пленение и насильственное водворение в великолепной квартире, в центре порочного и смертоносного города имели отношение к этой неясной связи. Ом не смел и подумать о своей родственной близости к царю. Эта мысль казалась кощунственным святотатством. Он отвергал мучащие вокруг него фантастические утверждения, усматривая н них чью-то злую волю и отвратительную насмешку. Но случившееся с ним потрясение необъяснимым образом было связано с загадочной нитью, протянувшейся от царя к нему. С льющейся в сновидениях и мечтаниях мучительной и божественной музыкой, с невыразимой нежностью, с ощущением их неземного родства.

В этих размышлениях он провел утро, готовя себя к продолжению невероятных событий. И они не заставили себя ждать.

В прихожей раздался звонок. Алексей открыл дверь и увидел на пороге молодого человека с русой бородкой, доброй улыбкой, с длинными, завязанными в пучок волосами. Он был одет в великолепный костюм, галстук был повязан светски небрежно, но лучистые синие глаза смотрели с любовью и смирением, как у отроков на картинах Нестерова.

— Здравствуйте, Алексей Федорович, я — отец Анатолий, пресс-секретарь митрополита Арсения. Владыка прибыл нанести вам визит и уже поднимается. Я же предвосхитил его появление.

Алексей слушал, как мягко, приближаясь, рокочет лифт. Сочно хрустнуло, и на лестничной площадке появился огромный, тучный монах в черном облачении, фиолетовом клобуке, с золотой цепью, на которой висел фарфоровый, усыпанный бриллиантами медальон с изображением Богородицы. У монаха была могучая, с железной проседью борода, мясистое лицо и грозно-веселые, под косматыми бровями, глаза. Могучий кулак сжимал посох с крестовидным золотым набалдашником. От темных одежд, фиолетового клобука, железистой бороды исходил нежный запах духов.

— Вот и я, Алексей Федорович, вот и я! — по-отечески, как родному, улыбнулся митрополит, шевельнув в бороде свежими плотоядными губами.— Позвольте войти незваному гостю!

Алексей робко отступил, пропуская в дом величественного митрополита, который прошествовал в гостиную, постукивая по паркету пастырским жезлом. Передал его в руки подоспевшего отца Анатолия. Поводив по углам глазами, колыхая просторным рукавом, истово перекрестился на крестовидную раму, совсем как режиссер Басманов день назад. Деревянная крестовина в окне напоминала распятие. Невидимый, отбрасывая на потолок солнечные отсветы, переливался за окном огромный, шевелящийся крест.

— Вот, стало быть, вы какой, Алексей Федорович, — митрополит Арсений уселся в кресло, расставив тяжелые ноги, между которых глубоко провисла черная ткань облачения. Пытливо и радостно оглядывал Алексея, шевеля кустистыми бровями. — Поразительное, скажу я вам, сходство.

— Да нет же, — пытался возразить Алексей, понимая, что этот визит продолжает странную мистификацию, случившуюся накануне. — Это просто недоразумение.

— Наш знаменитый православный художник Нащокин показывал мне свою картину: «Великий князь Николай Александрович посещает Дальний Восток». Но я, право, не ожидал, что такое поразительное фамильное сходство.

— Случайное совпадение…Тип лица, борода… Я вынужден буду снять бороду, и тогда недоразумение будет исчерпано… — несвязно лепетал Алексей, смущенный видом могучего иерарха, которого до этого видел лишь на телеэкране, где тот своим резким, слегка трескучим голосом, излагал основы православной морали.

— Еще недавно монархическая идея таилась глубоко в православной среде, как свеча в катакомбном храме. Сегодня же о Царе-Мученике говорит общественность, снимаются кинофильмы, проводятся официальные исторические конференции. Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин рыдал в Петропавловской крепости во время погребения царских останков. Восстановление монархии перестало казаться утопией. Династические споры стали частью актуальной русской политики. Поэтому, Алексей Федорович, ваше появление в Москве может быть истолковано, как русское Чудо. А что, как не Чудо, управляет всей русской историей? — митрополит говорил кафедральным, профессорским голосом, употребляя выражения из светского, политического лексикона, оправдывая свою репутацию самого политизированного иерарха церкви.

— Но, видите ли, — пытался возражать ему Алексей. — Меня принимают совсем не за того… Я действительно чувствую свою тайную связь с убиенным императором… Бывают сны… Бывают слезы во сне… Но я не наследник… Я простой смертный Алексей Горшков, и не знаю, почему я выбран для этой непонятной и, я бы сказал, неуважительной к памяти Государя роли.

— Вот что, дорогой Алексей Федорович, а не отправится ли нам сейчас в чудесный московский монастырь, райское место среди нашего Вавилона? Отобедаем в обществе настоятеля, откушаем монастырских блюд, побеседуем душевно. Вас очень почитают, у вас много союзников в церкви. Не откажите в любезности, — митрополит

тяжело поднялся, вытянул руку, в которую проворный отец Анатолий тут же вложил посох. Двинулся к выходу, увлекая за собой Алексея волной темного благоухающего облачения, блеском бриллиантов.

У подъезда их ждала просторная машина с фиолетовым маячком на крыше. Услужливый шофер с поклоном отворил дверцу, пропуская на заднее сиденье митрополита, — подобрав пышный полог и передав посох помощнику, он тяжко уселся в кресло. Алексей поместился рядом в бархатном прохладном сумраке, среди сладких ароматов, затемненных стекол, обратив внимание на икону с угодником, окруженную циферблатами приборов.

— Трогай, Федя, — приказал митрополит, перекрестился на икону, и вместительная машина легко и бесшумно порхнула вперед. Засверкала фиолетовыми вспышками. Следом за ней устремился тяжеловесный джип, полный охраны. Они промчались по переполненным улицам, издавая воющие звуки сирены, пересекая разделительные линии, заставляя постовых подобострастно брать под козырек.

— Федя, ты летишь, как на Страшный суд, — опасливо заметил митрополит.

— Владыко, там ведь на Суде-то очередь. Как бы ни опоздать, — серьезно отозвался шофер.

Они причалили к монастырской стене, на шумной улице, среди витрин и рекламных щитов, разноцветных вывесок и помпезных фасадов. Окруженные дюжими охранниками, прошли несколько шагов в расступившейся толпе, среди гама и сверканья улицы. Шагнули в растворенную калитку и оказались в ином пространстве и времени.

В волшебной солнечной тишине возвышался прекрасный храм. Белели палаты. Среди нежной зелени деревьев золотились кресты. Журчал водопад, наполняя прозрачный, окруженный растениями пруд, в котором плавали золотые рыбы и переливались цветные камни. Было восхитительно и чудесно оказаться в райской обители, созданной по чертежам небесного рая, огражденной незримой завесой от безумного греховного мира. Навстречу, словно праведники, населявшие божий чертог, появились монахи, бородатые, в клобуках, с лучистыми благостными лицами.

— Здравствуйте, отцы,— митрополит Арсений благословлял их, целовался. Они обнимались, кланялись друг другу, напоминая

больших темных птиц, оглаживающих друг друга мягкими крыльями.

— Прошу, Алексей Федорович, познакомьтесь, — митрополит представлял одного за другим монахов, которые, казалось, готовы были осенить Алексея крестным знамением, но, видя его неуверенность и нерасторопность, ограничивались поклонами и рукопожатиями.

— Настоятель сей дивной обители архимандрит Феофан. — Хрупкий, легкий, с золотистой бородкой и чудесными голубыми глазами монах улыбнулся Алексею, как родному и близкому.— А это наш теолог, преподаватель Духовной академии профессор богословия отец Никандр. — Тучный, с печальным землистым лицом богослов мягко склонил голову. — А это настоятель храма святой Троицы отец Елеазарий. — Статный, плечистый, похожий на отставного офицера монах бодро шевелил белесыми бровями. — Ну что, отец Феофан, веди-ка нас в трапезную.

Они шли через сад с цветущими яблонями, изумрудной зеленью кустов, пестревшими на черной земле табаками. Алексей едва ни ахнул, увидев кусты темно-алых, великолепных роз, по одной на каждом кусте.

— Вы залюбовались, — отец Феофан переводил лучистые голубые глаза с Алексея на тяжелые, благоухающие цветы, — эти розы привез из Святой Земли наш садовник. У каждого цветка есть свое имя. Эта роза — Государь Император Николай Александрович, — он легко прикоснулся к цветку, тот слабо качнулся и, казалось, пролил с лепестков сладостные благоухания.— А это — Государыня Александра Федоровна. А эти четыре — царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. А это — цесаревич Алексей.

Казалось, каждый цветок откликается на свое имя. Алые розы, наполненные живой волшебной кровью, слышат и видят. Алексей чувствовал их дыханье. В них поселились души убиенных. Эта была семья, принявшая образ цветов, по-прежнему неразлучная, сохранившая друг к другу свое обожание, источавшая бессмертную святость.

Они прошли в здание, где царили прохлада и мягкий сумрак, тускло сияли оклады и позолота икон, высились книжные шкафы с кожаными, старинного теснения корешками.

Отец Феофан рассаживал гостей на удобных диванах. Повсюду стояли букеты лилий, пахло свежестью холодных, только что срезанных цветов и теплыми, сладостными ароматами благовонных масел и смол. В открытые двери виднелась трапезная, застеленный скатертью стол, на который служители в подрясниках ставили блюда, кубки, сосуды.

— Мы отдохнем здесь некоторое время, — ласково обратился отец Феофан к Алексею.— После долгого странствия, перед началом трапезы, полезно краткое отдохновение. — Владыко, — он поклонился митрополиту, — перед вашим приездом мы слушали отца Никандра, о его выступлении перед московской интеллигенцией. По-прежнему атеистическая, сумасбродная, она уже готова слушать доводы церкви. Она еще не воцерковилась, но уже нет в ней сатанинского отторжения, она хочет понять Святых Отцов, прислушивается к святоотеческому преданию.

— Что за выступление, отец Никандр? — поинтересовался митрополит, бодрым оком поглядывая на открытую дверь, где свершались приготовления к трапезе.

— Владыко, меня пригласили в Дом ученых, где особенно сильны антицерковные настроения и где рождалось печально известное письмо академиков о «церковном мракобесии», — богослов с одутловатым нездоровым лицом провел пальцами по густой бороде, и Алексей заметил, как на пальце, рассекая волосы, блестит золотой перстень.

— Главному раввину они таких писем не направляют. Видимо, «теория относительности» Эйнштейна не противоречит Талмуду и каббале, — язвительно заметил Владыка. — О чем же шла речь?

— Меня спрашивали, в чем святость последнего царя. Почему царь, чье правление отмечено революциями, двумя проигранными войнами, Цусимой, Ленским расстрелом, Кровавым воскресеньем, причислен к лику святых. Почему царь, добровольно отказавшийся от престола, что привело к хаосу, безвластию и гражданской войне, почему он, по мнению церкви, святой.

Богослов обращался к владыке, но Алексею казалось, что слова адресованы ему. Его здесь ждали. Готовились с ним беседовать. Определили тему беседы. Распределили роли собеседников. Алые розы в саду, сладкие запахи ладана, лучистые глаза настоятеля,

золотой перстень на пухлом пальце теолога создавали атмосферу, которая побуждала обсуждать тему царя, его мученичества, сопричастность его, Алексея, этой теме.

— Вряд ли современный интеллигент, циничный и скептический, сугубо рациональный и исполненный самомнения, поймет мистическую суть царской судьбы, — строго заметил Владыка. — Как же вы с ними объяснялись?

— Пытался объяснить, Владыко, сакральную суть царской крови. Кровь царей священна. Эта святость передается из одного династического поколения в другое. Каждый венценосный владыка получает эту святость по наследству и обретает ее через помазанье. Таким образом, действуют два источника святости — через династическое наследование и через венчание на царство, через соединение венчаемого царя с Богом. Поэтому царь изначально причастен к святости. В зале сидели физики, химики, математики, и, надо сказать, современные представления о Космосе, о духовной энергии, о человеке как о космическом явлении помогали мне находить отклик у слушателей.

— Святость Государя в его мученичестве. Враги христианства, враги Христа не просто пролили священную царскую кровь. Они принесли царя в жертву. Они заклали царя и царицу, целомудренных княжон и цесаревича, бросив их на алтарь своего нехристианского Бога. Царь — Агнец Христов, зарезанный слугами Ваала, — Владыка перекрестил себя, и монахи, потупив глаза, осенили себя крестным знамением.

— Позволю вас поправить, Владыко, — вступил в разговор настоятель Троицкого храма отец Елеазарий. — Вы ведь слышали о зловещем чернобородом гонце, прибывшем из Петрограда в Екатеринбург накануне царской казни. Он вошел в столовую, где ужинала царская семья, демонически всех осмотрел, после чего императрица сказала: «Это вестник смерти». Он же, когда состоялась ужасная казнь в Ипатьевском доме, начертал на южной стене подвала строку из пророка Даниила: «Валтасар был этой ночью убит своими слугами». Причем вместо «Валтасар» было начертано «Валтацарь». Как известно, Валтасар был убит за непочитание древнеиудейского бога Иеговы. Стало быть, в подвале состоялось ритуальное убийство,

была принесена ритуальная жертва христианского царя на алтарь иудейского бога. Царь умер за Христа и стал свят.

Все перекрестились, и игумен монастыря отец Феофан сказал:

— Все свидетельствует о ритуальном убийстве. Тот же «гонец смерти», сделав надпись над трепещущими окровавленными тенями, оставил еще несколько каббалистических знаков. Ученые– кринтологи расшифровали их, и вот что они значили: «Здесь, по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы». Древнеиудейский ритуал требовал отсечения голов, как это сделала Юдифь с головой Олоферна, как это сделала Иродиада с головой Иоанна Крестителя. То же было совершено с царской семьей. Головы мучеников были отсечены, заспиртованы и отправлены в Кремль.

Монахи потупились и перекрестились.

Алексей испытывал головокружение, будто находился под опьяняющим воздействием. Его пронизывали бесплотные лучи, производя странные перемены. Казалось, кровь его начинает звенеть, ей становилось тесно в сосудах, будто к той, что текла в нем, примешивалась чья-то другая. Кровяные тельца увеличивались, сталкивались, издавали звенящий, поющий звук. Он нес в себе музыку крови, в которой разливались таинственные силы, звучали невнятные веления, селились неведомые сущности — делали его иным человеком. Он не противился, отдал себя во власть бородатых мудрецов, знавших о нем нечто большее, чем он сам о себе.

— Государь, объяснял я ученым, повторил земной путь Спасителя нашего Иисуса Христа, — богослов продолжал повествовать владыке о своей встрече с интеллигенцией, но речь его была обращена к Алексею, воздействовала на его затуманенное сознание.— Как и Христос, Государь бы предан самыми близкими людьми. Как и Христос, которого народ сначала встретил ликованием в Иерусалиме, а затем отдал Пилату на распятие, царь был оставлен своим народом. Сердце народное отвернулось от царя. Народ возжелал иной страны, иной реальности, иной правды, иного правления. Возжелали простолюдины, чиновники, люди искусства, аристократы, офицеры и генералы, даже некоторые члены царского дома, даже духовенство, — ведь известно, что духовник Государя не поехал за ним в Тобольскую ссылку, а доктор Боткин поехал. И тогда Государь сказал: «Кругом

измена и трусость, и обман». Сердце человеческое свободно, Бог не властен над человеческой свободой. Сердце народа пожелало смерти царя. И он это понял, и отдал себя в руки помраченного народа, принес себя в жертву, понимая, что Россия должна пройти сквозь выбранные ею испытания, и лишь потом возродиться.

— Народ заплатил жестоко за свое отречение, — настоятель Троицкого храма отец Елеазарий, подтверждая сказанное отцом Никандром, исподволь посмотрел на Алексея. — Генерала Корнилова, который арестовывал царскую семью, разорвал большевистский снаряд. Генерал Алексеев, возглавивший антимонархический заговор, был зарублен большевистскими шашками. Крестьяне превратились в большевистских рабов. Интеллигенцию сгноили в Гулаге. Особую, искупительную жертву принесла православная церковь, взойдя на крест за царем. Я просматривал документы, связанные с прославлением новомучеников. Такие гонения претерпевали только ранние христиане. Например, Киевский Митрополит Владимир из своих покоев в Киево-Печерской Лавре был выведен на крепостные валы и там расстрелян. Архиепископ Пермский Андроник погребен заживо, но перед смертью ему выкололи глаза, вырезали щеки и окровавленного водили по улицам. Епископ Тобольский Гермоген был утоплен в реке. Архиепископ Черниговский Василий зарублен саблями. В Юрьеве большевики ворвались в покои епископа Платона, стащили босого и раздетого в подвал, отрезали нос, уши, кололи штыками и зарубили. В Воронеже большевики схватили Архиепископа Тихона, повесили на Царских вратах церкви. Епископ Белгородский Никодим был заживо засыпан негашеной известью. В Херсонской губернии три священника были распяты на крестах. Священника Золотовского восьмидесяти лет нарядили в женское платье, вывели на площадь и приказали плясать, а когда тот отказался, его убили. Протоиерея Казанского собора отца Орнатского расстреливали вместе с его двумя сыновьями. Его спросили: «Кого сначала убить — вас или сыновей?» Батюшка ответил: «Сыновей». Пока расстреливали юношей, отец Орнатский, встав на колени, читал «отходную». Его застрелили из револьвера. В Чердыни мучители схватили священника Котурова, сорвали с него одежды и до тех пор поливали на морозе водой, пока он не превратился в ледяную статую. Все это делалось, как вы заметили, с дьявольской театральностью, носило характер

ритуальных убийств. Так наши священники за прежние свои упущения и проступки снискали святость.

Алексей слушал ужасающий рассказ об избиении мучеников, сострадал, содрогался от боли. Но в этой боли присутствовал необъяснимый восторг, ликующий порыв, словно душа его, исполненная любви, неслась ввысь, вслед за душами праведником, и ей открывался бесконечный свет.

Он увидел, как в дверях появились телеоператор с камерой, ассистент и сопровождавшая их женщина, та, что присутствовали на вчерашней встрече с монархистами. Она что-то неслышно поясняла оператору, поводила рукой по стенам, где висели иконы и картины с религиозными сюжетами. Ее появление взволновало Алексея. Все это время он ни разу о ней не подумал. Но теперь с испугом и изумлением вспомнил их вчерашнюю встречу, звон соприкоснувшихся бокалов, трепетание пространства, но которому пробежала таинственная волна, поразила его бесплотным ударом. Сегодня на женщине было синее платье с серебристым отливом, какой бывает у тропических бабочек. При каждом ее движении по платью пробегал льющийся блеск, словно синий шелк пропускал свечение тела. Ее лицо, как и вчера, казалось бледным, печально-болезненным и очень красивым, словно кто-то мучил и обижал ее за ее красоту. Приподнятые золотистые брови, высокий открытый лоб, расчесанные на прямой пробор светлые волосы делали ее обворожительной, трогательной и беззащитной, и эта беззащитность и тайная горечь ее чудесного лица, как и вчера, взволновали Алексея.

Отец Елеазарий, не замечая оператора, нацелившего на него телекамеру, продолжал:

— Но, конечно, главным свидетельством святости Государя являются многочисленные чудеса, явленные им уже после смерти. Церковь тщательно собирает все свидетельства подобных чудес. Множество случаев, когда иконы с ликом Государя начинали мироточить, буквально источая потоки мирра. Бессчетны исцеления, когда больные, прикладываясь к иконе Царя, получали выздоровления, обретали зрение, спасались от неизлечимых болезней, а бесплодные женщины обретали чадо. Бесноватые не могли подойти к иконе, их отбрасывало, как от удара электрического тока, и бес в них начинал страшно рычать и выть.

— Очень важно понять, — вступил в разговор богослов, и его одутловатое, нездоровое лицо слегка порозовело, исполнилось воодушевления. Стало видно, что в молодости он был очень красив. — Искупительная жертва, которую принес Государь, была не только за давние и недавние грехи народа. Но и за будущие чудовищные злодеяния, падение в бездну, неисчислимые грехи. За них русский народ уже вычеркивался из числа народов, испепелялся, а Россия стиралась с лица земли. Есть свидетельства заступничества Царя за родной народ в самые страшные периоды нашей новейшей истории.

— Какие свидетельства? — спросил Алексей, глядя на женщину, которая поднимала руку, указывая оператору очередной ракурс, теперь на ее хрупком, бледном запястье переливалась золотая цепочка.

— Есть свидетельства начальника кремлевской охраны, который видел, как Государь явился Сталину. Это было в самые первые месяцы войны, немцы рвались к Москве, в городе паника, все чиновники жгут бумаги, бегут из столицы. Говорили, что литерный состав уже стоял на путях, ждал, когда в него сядет Сталин. Начальник охраны ночью обходил Кремль, проверял посты, огневые точки зениток, и вдруг заметил, что двери в Успенский собор, обычно запертые, открыты. Заглянул, и видит: в темном храме горят лампады, и в их свете — Сталин, а перед ним — царь в форме полковника. Царь что-то говорит вождю, а тот, потупив голову, слушает. Потом в руке Государя появились две горящих свечи, одну передал Сталину, оба они повернулись к иконостасу и молились. Начальник охраны испугался и ушел. Наутро снова явился в собор и увидел на полу перед иконостасом капельки застывшего воска. Через месяц Сталин на Красной площади обратился к народу со словами: «Братья и сестры». Вспомнил великих предков — Дмитрия Донского и Александра Невского, Суворова и Кутузова. Вернул в армию царскую форму, стал открывать приходы, и начался перелом в войне.

Алексей слушал чудесное повествование с наивной верой, не подвергая сомнению свидетельство, сбереженное в катакомбной глубине церкви, как сберегается в толще выцветшей древней книги драгоценная яркая буквица. Смотрел на женщину, странным образом связывая ее появление с этим сокровенным рассказом. Ее женственность, усталая красота, переливы синего платья были созвучны тихой музыке, звучавшей в его душе, и это неизъяснимое

звучание было вызвано рассказами бородатых мудрецов, алыми розами, сладкими благовониями.

— Еще одно свидетельство участника боев под Москвой. Сей солдат преклонных лет воевал еще в Германскую войну, а теперь под Волоколамском пригорюнился в замерзшем окопе среди зимних опушек. Ждал, когда начнется наступление немцев, последних русских солдат перебьют, и немец займет Москву. Потому что нашего войска совсем не осталось, и путь на столицу был открыт. Уже гудят за лесом моторы немецких танков, уже бьет по окопам немецкая артиллерия, и близок конец. Тогда сей человек встал в окопе на колени и стал молиться. «Господи, пошли избавление!» Вдруг видит, как перед окопом встал на снегу дивный видом офицер, в блестящем мундире царского кавалергарда с эполетами, георгиевскими крестами, при сабле. Боже, да этой царь Николай, смотрит на него и говорит: «Ничего не бойся. Москву не сдадим. Бог послал меня, чтобы вас вдохновить и спасти». Вынул саблю из ножен и пошел по снегу вперед. Сей человек схватил винтовку и с криком «ура» кинулся за царем. И все, кто оставался в окопе, побежали в атаку. Поднялась метель. Наших солдат не видно, а немцы все на ладони. И наши их бьют, стреляют. Так и шли в атаку, цепочка пехотинцев, царь впереди. А их уже сибирские полки догоняют, в валенках, полушубках, с автоматами, и погнали немцев. Учинили разгром под Москвой.

Алексей чувствовал кружение головы, будто вращалась вся комната с длиннобородыми монахами, окладами икон, женщиной в лазурном платье. Это кружение уносило в параллельное время, и параллельную историю, где совершались неявленные миру события, меняя ход истории явной. Его жизнь раздваивалась, выбирала другое русло, начинала течь в таинственном параллельном мире, который прежде обнаруживался во снах, в необъяснимых видениях, в предчувствии грядущего чуда. Этим чудом стали рассказы монахов, женщина в синем платье, его появление в Москве, куда он был насильственно водворен, чтобы с ним учинилась либо неотвратимая беда, либо несказанное счастье.

— А еще был случай с летчиком в Афганистане. Летал бомбить укрепленные кишлаки, и его сбили в ущелье. Самолет загорелся, он успел выпрыгнуть с парашютом, упал в самой гуще врагов. А пленных русских летчиков, как известно, мучили ужасно, предавали страшной

казни. Лежит он у камня. Вдали горит самолет. И видит, что бежит множество мусульман, все с оружием, прямо к нему. Настало время прощаться с жизнь, и он воззвал предсмертной молитвой к Богу: «Господи, прости меня за все прегрешения и, если можешь, спаси!» Смотрит, перед ним явился человек в царском военном мундире, в офицерской фуражке с орлом, а на плечи наброшена мантия из горностая. Господи, да это же царь. Говорит летчику: «Встань сюда!» Приподнял мантию и накрыл ею пилота. Мусульмане рядом пробегают, по-своему говорят, стучат башмаками по камням, дыхание их слышно, а летчика не видят. Он под покровом царя стал невидим. Когда убежали, царь опустил мантию, взял его за руку:« Пойдем, я тебя поведу». Летчик за царскую руку держится, идет по земле, а это не земля, а минное поле. То одна мина под ногами, то другая. Провел его царь сквозь мины, указал путь и исчез. Летчик начал в свой гарнизон пробираться. Шел по пустыне двое суток, без воды, стал умирать от жажды. «Государь, спаси, не дойду!» И тут же из-под камушка — ручеек. Летчик напился, флягу набрал, миновал пустыню. Не ел три дня, сил не осталось. «Государь, накорми, иначе погибну». Еще немного прошел, видит на камне лежит лепешка, на ней изюм, будто пастух позабыл.

Летчик поел, и ему сил еще на сутки хватило. Шел, шел и упал бездыханный. Очнулся у своих в лазарете. «Как вы меня нашли?» — «А к нам какой-то афганец пришел, на голове чалма, одет в хламиду, а лицо будто русское, глаза голубые, золотая бородка. «Там, говорит, ваш человек лежит». Летчик ничего не ответил. Знал, что это царь ему жизнь спас.

Алексей завороженно слушал, будто спал наяву. Ему казалось, в него вливается чужая судьба, необъяснимая благодать. Происходит таинственное зачатие, наливается алый бутон, готовый раскрыться волшебной розой. Оператор наводил камеру. Женщина, похожая на лазурного ангела, появлялась и исчезала, и ее появление было связано с алым бутоном, с мучительным зачатием, с волшебным преображением.

— И еще одно свидетельство,— отец Никандр, недавно тусклый, болезненно печальный, теперь был похож на юношу — своим розовым нежным румянцем, сияющими глазами, певучим взволнованным голосом. — Дело было в девяносто третьем году, при штурме Белого

дома. Там скопилось множество народу, — депутаты, отставные военные, политики, но больше простой московский люд, — женщины, дети, старики. А уже стрельба, по дому бьют танки, строчат пулеметы, все горит, кругом убитые. А был там один священник, издалека, то ли из Якутии, то ли из Коми. И была с ним икона Царских Мучеников, у нас, в России, еще не прославленных, но уже многие из батюшек ей молились. Священник видит, что бой идет страшный, и скоро все погибнут в огне или от пуль и снарядов. «Идите сюда, — говорит он женщинам, детям, а также тем, кто ранен, но еще ходить может, — государь-мученик выведет нас отсюда. Молитесь ему, и — за мной!» Построил их, выставил перед грудью икону и повел наружу. Кругом пули свистят, танки бьют, а они идут вслед за иконой, батюшка поет псалом, и пули их огибают. Так и прошли невредимы сквозь строй солдат и в городе растворились. Батюшка смотрит, а в икону пуля попала, прямо в грудь Государю.

Бутон в душе наливался, в нем трепетали готовые раскрыть– »« лепестки, и сила, наполнявшая дивное соцветие, была любовь, обожание, неведомое прежде благоговение. Бог знает к кому. И к ним степенным монахам, и к тем, кому были явлены знамения, и ко всему безымянному множеству народа, верящего и страдающею, уповающего, как и он, на спасительное благодатное Чудо, и к этой прелестной женщине, источавшей лучистую лазурь и пленительную нежность.

В дверях трапезной появился молчаливый служитель. Настоятель отец Феофан поймал его взгляд.

— Владыко, дорогие отцы, любезный Алексей Федорович, нам дают знать, что трапеза готова. Приглашаю к столу, — и повел в соседнее помещение, где был накрыт стол. Алексея усадили рядом с владыкой, напротив настоятеля. Было много фарфоровых блюд и стеклянных ваз, всевозможных белых и красных рыб, затейливых салатов, обильных овощей и фруктов. Перед каждым стоял винный кубок, чаша, серебряный сосуд. На стене висела икона Царя Мученика, большая, искусно написанная, — красная перевязь на груди, горностай на плечах, скипетр и держава в руках, золотой нимб вокруг головы.

Служитель обходил стол, держа стеклянный графин с темным церковным вином. Наполнял стоящие на скатерти сосуды. Перед Алексеем тускло сиял серебряный кубок с орнаментом и выбитой

надписью: «Чаша сия». В него из стеклянной губы графина полилась густая темно-алая струя, наполнив кубок до верха.

— Братья мои, — митрополит Арсений поднялся, сложив перед собой большие пухлые руки. — Мне радостно видеть в нашем православном монастыре дорогого, высокого гостя. Вас, Алексей Федорович. Церковь предчувствовала ваше появление, о нем тайно молились в обителях, на него было указано многим молитвенникам, тем, кто мечтает о возвращении на нашу Святую Русь исконного правления, естественной для русского народа монархии, столь жестоко и страшно уничтоженной большевиками-безбожниками.

Вы, многоуважаемый Алексей Федорович, должны знать, что в лице православной церкви вы найдете надежного союзника и заступника. Мы не повторим ошибок тех иерархов, которые не осознали мистической, промыслительной сути событий начала прошлого века, когда Государь на какой-то миг остался в одиночестве перед лицом многочисленных и коварных врагов, был ими схвачен и зверски замучен. Нас вразумило страшное прозрение. Мы до сих пор несем не отмоленный грех цареубийства. Наш любовное, преданное отношение к вам — часть искупления той вины… Братья, — он повернулся к монахам,— давайте помолимся страстотерпцу Государю Императору.

Монахи встали, обратили лица к иконе Царя. Ладно, в три голоса, нараспев, с рокотами и воздыханиями, стали читать молитву:

— Царства земного лишение, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпиче великий Боговенчанный царю Николае, сего ради мученическим венцом на небесах венча тя с царицею, и чады, и слуги твоими Христос Бог, Его же моли помиловати страну Российскую и спасти души наши.

Пророкотали молитву, крестились. Алексей, осеняя себя, чувствовал, как из образа веет тепло, переносит в грудь незримый оттиск царского лица, алой ленты, золотого нимба. Оттиск горел в груди благодатным сиянием, вызывал благоговение, нежность, слезное обожание.

— Теперь, Алексей Федорович, перед тем, как мы вкусим этих яств и отведаем пития, хотелось бы услышать ваше вразумляющее слово. — Владыка Арсений поклонился Алексею, смиренно потупил

глаза, поднимая высокий, полный вина кубок. Остальные, и Алексей вместе с ними, подняли свои чаши.

Алексея охватила робость. Что мог он сказать этим многомудрым людям, чьи знания и помыслы исходили из необъятной, не поддающейся уразумению тайны. Не было слов. Но он чувствовал, как в самой сердцевине души, где наливался алый бутон, рождается таинственное побуждение, властное поощрение, заставлявшее открыть уста:

— Благодарю вас, благодарю от сердца за внимание, которое вы мне оказали. Ваша мудрость, ваша доброта, ваше драгоценное время, которое вы мне уделяете, — я не заслуживаю этого. Я, Алексей Горохов, простой человек из провинции, вдруг удостоился такой чести. Здесь присутствует недоразумение, ошибка, но я не стану ее исправлять, потому что вам, людям духовным, все виднее. Я действительно связан с Государем Императором глубокими узами, как и многие русские люди. Это узы любви, раскаяния, боли и родственной близости. Мы все наследники Царя Мученика, все провинившиеся его дети, неразумные, часто злые, во многом еще нераскаявшиеся…

Он испытывал необъяснимое воодушевление, будто говорил не он, а растущий в душе бутон. Лепестки, желая раскрыться, оказывали на его душу и разум неизъяснимое воздействие, слова сами рождались на устах, выстраиваясь в неожиданные фразы:

— Мы знаем, как трудно живет наш народ, как он болеет и мучится. Какая тяжелая и грозная у нашей любимой России судьба. Столько бед, столько крови, столько несправедливости. Но и столько побед, столько величия, столько неугасимой веры. Какая-то хворь поселилась и мутит нас, ссорит друг с другом, отвлекает от главного смысла, от главной задачи, — сделать Россию счастливой, правдивой и благодатной…

Он видел, как внимательно слушают его монахи, как вставшие у дверей служители издалека внимают ему. Оператор направил на него глазок телекамеры, которая считывала прямо с губ рождавшиеся слова. Женщина, не отрываясь, смотрела глазами, подняв золотистые брови, то ли в восхищении, то ли в мучительном сострадании, и он чувствовал их неясную общность, неразгаданную схожесть их судеб,

которые вдруг коснулись друг друга, чтобы через миг навсегда расстаться.

— Ужасное убийство Царя, беззащитной Царицы, прекрасных царевен, больного и милого отрока — злодеяние, за которое надо мстить, искать потомков убийц, потомков, затеявших на Руси кровавую смуту, рубивших саблями священников, стрелявших из пушек в крестьян, кинувших за колючую проволоку лучших людей страны. Но все это так, если Царь — обычный земной человек. Но он — святой. Он — на небе. Он с неба видит виноватых и правых и всех прощает. Он взывает не к отмщению, которое продлит нашу русскую пагубу, нашу русскую смуту, а к прощению, к забвению обид, к взаимному примирению. Он, святой, спасал нас во время войны. Он, святой, спасет нас во время нашего больного и хрупкого мира…

Алексей чувствовал, как душа наполняется восхитительным светом, близким к обмороку счастьем. Женщина в лазурном платье превратилась в облако лучистого света. Кубок с темно-красным вином пламенел у глаз. Надпись «Чаша сия» была живой, струилась, приближалась к губам.

— Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, все не так? — слабея, боясь потерять сознание, слыша восхитительную музыку, чувствуя, как в сердце открылся алый прожектор, из которого плещет божественный свет, он пригубил чашу.

— Боже правый! — воскликнул отец Феофан. — Икона государя мироточит!

Все обратили глаза к иконе. Из нее густо, многими струями, изливалась тягучая алая влага. Из глаз, из красной перевязи, из летящего в небе ангела. В золотистом поле иконы открывались скважины, и из них начинала течь густая, как варенье, кровь, чертила на иконе длинные струи, капала на пол.

— Чудо, великое чудо! — крестился митрополит Арсений. — Вы, Алексей Федорович, были услышаны Государем. Он встретил вас, как наследника. Вы — престолопреемник. Господи Правый!

Он вышел из-за стола, низко, до земли, поклонился Алексею, так что усыпанная бриллиантами панагия коснулась пола. Монахи кланялись вслед за митрополитом. Камера снимала мироточащий образ Царя, склоненных монахов, изумленного, почти бездыханного Алексея.

Экс-президент Виктор Викторович Долголетов, он же Ромул, весь вечер провел в обществе конструктора ракетных систем, который рассказывал Ромулу о новой баллистической ракете «Порыв». Новейшая русская ракета была способна облететь вокруг земного шара и нанести удар по Америке с любого направления, в обход противоракетных установок противника. Серийное производство «Порыва» предполагалось начать к моменту возвращения во власть Долголетова, когда во всю мощь зазвучит имперский голос возрожденной России, претендующей на утраченные окраины. Америка, истощенная кризисом, окажется не способной противодействовать российской экспансии, а русское Развитие обеспечит стране современные технологии, новейшее вооружение, новые политические аргументы в международной политике.

— Мы преодолели, Виктор Викторович, отставание в элементной базе, и теперь все комплектующие «Порыва» выполняются в России.

— А этот строптивый хохол с лицом, похожим на рашпиль, обещал перекрыть нам поставки с «Южмаша», без которых в России якобы не взлетит даже сигнальная ракета. — Ромул рассматривал фотографию опытного образца «Порыва», готового к стартовым испытаниям, — волны хвойной тайги, бетонная чаша старта, белый бивень ракеты. — Правда, что Украина может начать производство собственных баллистических ракет?

— Разве что из сала, Виктор Викторович. Обстрел российской территории окороками и салом, — засмеялся конструктор.

— Когда мы объединим Россию и Украину, я определю этого строптивого парня в «Музей голодомора». Пусть изображает там людоеда. А мы будем строить империю.

— Вы приедете на испытание «Порыва»?

— Именно я, а не нынешний наш президент. Это не его епархия. Пусть строит правовое государство, а мы с вами будем строить империю с ракетами и подводными лодками.

Расстались дружески — высокий, седой, с аскетическим лицом конструктор и изящный, ироничный и властный Ромул, по-сталински требовательный и заботливый.

Еще некоторое время он расхаживал по гостиной, раздумывая, не отправиться ли ему на Съезд потомков именитых родов России. Его

прельщала мысль показаться в обществе праправнуков Пушкина и Толстого, Мусоргского и Боратынского. Но смущал комизм ситуации, когда множество Пушкиных, похожих на пращура, — все курчавые, толстогубые, с бакенбардами, — затеребят его, выпрашивая пенсии, требуя возвращения фамильной собст– венности в Михайловском, Болдине и на Мойке.

Включил телевизор. Шла малозаметная передача «Русский взгляд», финансируемая патриархией. Степенные батюшки, благоразумные проповедники, освящения колоколов, перенесение мощей. Вдруг увидел странно знакомое молодое лицо — высокий лоб, золотистая бородка, ясные, чуть выпуклые глаза. Возникла икона с изображением Царя-Мученика. Поражало сходство царя и молодого человека. Ромул с изумлением наблюдал митрополита Арсения, державшего в руке серебряный кубок. Молодой человек что-то говорил о святости Царя, о спасении через эту святость больного и хрупкого мира, о предназначении России. Крупно, близко появилась икона, из которой проступало сочное алое пятно, похожее на красную розу. Текли блестящие кровяные струи, заливали икону.

— Чудо, великое чудо!— воскликнул митрополит Арсений.— Вы, Алексей Федорович, были услышаны Государем. Он встретил вас, как наследника. Вы — престолопреемник. Господи Правый!

Сюжет завершился без комментариев. Снова последовали богомольцы, крестные ходы, рассуждение об основах православной культуры.

Ромул был раздосадован. Второй раз на телеэкране появлялся молодой человек, кажется, Алексей, которого представляли как наследника российского престола. Обе программы были малозначительны. Но в совокупности вырисовывался некий проект, смысл которого был неясен, возникала тенденция, вызывавшая беспокойство. Ромул чувствовал, что все это странным образом касается его. Между молодым человеком с золотистой бородкой и им самим существует невнятная связь. Словно между ними протянута невидимая трубочка, соединяющая их сущности, и часть его, Ромула, сущности начинает по трубочке перетекать к молодому человеку. Это было наваждением, трубочка исчезла, но тревога не пропадала. Он позвонил Виртуозу:

— Илларион, что это за странный персонаж появился в Москве? Сначала у монархистов, теперь у монахов. Будем венчать его на царство? В России восстанавливается монархия? Но почему я об этом ничего не знаю? Может быть, мне дадут место при дворе? Хотя бы камер-юнкера? — Ромул иронизировал, старался быть легкомысленным, но в голосе его звучало раздражение, которое почувствовал Виртуоз. Его уличали, подозревали в вероломстве. Интуиция Ромула угадывала интригу, указывала на признаки опасности.

— Не обращай внимания, — так же легкомысленно, со смехом, ответил Виртуоз. — Зачем мне обременять тебя пустяками? Это часть антикоммунистической технологии. Мы должны постоянно пугать коммунистов двумя вещами. Судом за убийство царя и выносом Ленина из мавзолея. Уже мне звонил дядюшка Зю и просил разъяснить ситуацию.

— Вот видишь, теперь и я звоню. Возник некий хаос.

— Есть теория управления хаосом. Мы ею владеем, а коммунисты давно уже нет. Ко мне приехал один американский ученый из Санта-Фэ. Специалист по управлению хаосом. Блестящий знаток. Не хочешь с ним повидаться?

— Занимайся хаосом ты, а я буду заниматься космосом. А дядюшка Зю пусть поволнуется. Будет сговорчивей в вопросах социальной политики.

Голос в телефоне пропал, но тревога в кабинете Виртуоза витала, как струйки табачного дыма. Его вероломство было угадано. Его предательство состоялось. Его друг и покровитель, кому он был обязан карьерой, — Ромул своим тонким чутьем и звериным инстинктом уловил интригу и замер, боясь наступить в капкан. Было скверно ощущать себя предателем. Не успокаивали мысли о политической целесообразности, банальные утверждения, что в политике будто бы нет ни друзей, ни врагов, а только интересы. Едва ли государственным интересам страны способствовала затеянная интрига. Она способствовала интересам Рема, который стремился ослабить соперника, отнять у него образ Духовного Лидера, противопоставить ему образ чудом спасенного престолонаследника. Один миф уничтожал другой. Он, Виртуоз, управлял сражением мифов, оставляя в общественном сознании только одну непререкаемую величину—

Президента, который станет избираться на «второй срок». Но отвечало ли это интересам России, было неясно.

Было ясно другое. Генетический эксперимент над историей получал свое развитие. Сонная почка, взятая с тупиковой, обрезанной ветки, была привита к живой плодоносящей вершине и приросла к ней, пустила робкий побег. Молодой провинциал с золотистой бородкой, имевший некоторое сходство с царем, преодолел свою провинциальную робость и, судя по его высказываниям у монахов, стал входить в роль. Прошлое, казавшееся навсегда отторгнутым, было перенесено в будущее и породило мутацию. Возникнет ли в результате прививки наливной сладостный плод или на стволе истории вырастет горький ядовитый сморчок, — покажет время. Неопределенность продлится недолго и выльется либо и долгожданное цветенье, либо в череду катастроф, и русская история совершит еще один уродливый кривой завиток.

Он тосковал, не в силах предугадать результат. Будущее было туманным. Канал, связывающий его с абсолютом, коридор в небеса, где витают смыслы, был для него перекрыт. Его изощренности, его мистического опыта не хватало, чтобы заглянуть туда, где творится метаистория.

Он подошел к портрету матери, сделанному именитым художником Нащокиным с ее молодой фотографии, — прекрасная, в профиль, с утонченными чертами, легкой горбинкой носа, пышными волосами, она напоминала греческую камею. Он так любил ее, так к ней стремился. Она не умерла, а лишь удалилась в чудесное время, когда они жили вдвоем на даче с солнечной, смолистой верандой. На полу корзинка с грибами — подосиновики, боровики, веселые разноцветные сыроежки, и он выбирает из корзинки тугой, прохладный, с бархатной шляпкой гриб, несет маме, и ее восхищенное, родное лицо.

Бросить все, вырваться из безумного, с нарастающим хаосом мира и умчаться на световом луче в ту солнечную теплую осень, где сухая деревянная дача, мама, ее акварели, недвижные, в золотистом сиянии, иконостасы подмосковных лесов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Алексей понимал, что над ним совершают насилие, добро или злое, но противоречащее его воле, вовлекающее в неясную, скрываемую от него затею. Затея была связана с именем покойного императора, с тревожными вихрями, которые не утихали в обществе вокруг венценосных жертв «красного террора». Балагур и веселый циник Марк Ступник тиснул в газете шутливую статейку, в которой раскрывал «тайну» его, Алексея, царственного происхождения. За эту статейку он был наказан сначала начальством, а затем беспощадным роком, лишившим его жизни. Тот же рок выхватил его из Тобольска, перенес в Москву и начал водить по кругам, где его поджидали, были осведомлены о его «родословной», принимали, как наследника трона. Он противился этой мистификации, находил ее дурной и опасной, но чувствовал, как постепенно, от раза к разу, меняется его отношение к навязанной роли, как примеряет он на себя эту роль, как пробует играть ее в угоду таинственному, скрывавшему свое имя распорядителю. Звонок в прихожей был ожидаем. Был продолжением мистификации.

На пороге стоял худощавый, с узкими плечами господин, чье лицо, казалось, было напудрено металлической пылью, а колючие, грубой щеткой, усы только что счищали окалину с водопроводной трубы. Маленькие глаза настороженно мигали, рот пытался улыбаться, но в зрачках оставалась плохо скрываемая растерянность.

— Алексей Федорович, разрешите представиться. Председатель партии «Единая Россия» и по совместительству, что называется, спикер Государственной думы Сабрыкин. Иногда меня показывают по телевизору, но все говорят, что в натуре я лучше. — Он трескуче засмеялся, топорща усы, с которых просыпалась на пол железная пыльца. Обеими руками схватил ладонь Алексея и долго тряс, проходя вслед за хозяином в комнаты.

— Да, да, узнал вас, — Алексей освобождал руку, на которой остался след металлической ржавчины. — Чем обязан визитом?

— Видите ли, Москва слухами полнится. Мы, как и все, смотрим телевизионные программы. Встреча с монархистами — странные, не

правда ли, люди? Визит в монастырь под водительством митрополита Арсения — глубочайший, скажу я вам, дух, светило и, не сомневаюсь, будущий Патриарх Московский и Всея Руси.

— Боюсь, что вы тоже введены в заблуждение.

— А это наша такая доля — блуждать. Знаете, у нас в Думе все блуждают, никто не сидит на месте. Как голосовать, так в зале нет никого. Один депутат за два десятка других голосует. А как зарплату получать, так все на местах. Но вы не подумайте, народ у нас дружный, душевный. Умеем закон принять. Вот и послали меня к вам пригласить на наш «круглый стол», чтобы вы приняли участие в дискуссии.

— В чем суть дискуссии?

— Видите ли, «белые» и «красные» никак не могут между собой столковаться. Только чуть-чуть поутихнут, как что-нибудь опять обнаружится. Сейчас вы, Алексей Федорович, обнаружились. И наши думские фракции хотят с вами познакомиться. Высказать на ваш счет свое мнение. Все будет снято на камеру и показано в программе «Парламентский час». Очень солидная, доложу вам, программа.

Нельзя было отказаться. Не он управлял событиями, а кто-то властный и ведающий выстраивал эти события, словно ступени лестницы, по которой он поднимался вверх, быть может, к последней ступени, за которой следовало падение в бездну. К тому же, на встрече появится телевизионная группа и загадочная женщина, волновавшая его своей печальной тайной, своей грустной и недоступной красотой.

— Что ж, поедем, — сказал Алексей и покорно отправился к зеркалу повязывать галстук.

У подъезда их ждала машина с четырьмя кольцами на радиаторе. Ловкий молодой шофер с загорелым лицом спортсмена предупредительно распахнул перед ними дверцы.

— Эта «ауди» закреплена за вами, Алексей Федорович. В любое время дня и ночи. Водителя зовут Андрюша, он и кофе сварит, и избу, если надо, зажжет, и коня на скаку подстрелит. Правда, Андрюша?

— Мы избы не жжем и коней влет не стреляем. Мы плохим людям во лбу дырки делаем, — белозубо рассмеялся шофер, дожидаясь, когда пассажиры удобно разместятся в салоне. — Плохим людям лучше к нам не соваться.

Они промчались по оживленному центру города, переполненного машинами, блеском витрин, вспышками солнца. Оказались у тяжеловесного, как гранитный утес, здания с высеченным наскальным гербом СССР. Алексей без труда узнал Государственную думу. Милиционеры отдавали Сабрыкину честь. Лифт вознес их на многолюдный этаж. Побежавшие навстречу услужливые секретари и помощники ввели их в конференц-зал, где были расставлены готовые к заседанию столы и уже расселись нетерпеливо ожидавшие депутаты, пестрели таблички с именами и названиями фракций, нагнули дужки грациозные портативные микрофоны, блестели бутылки с водой и хрустальные стаканы.

Сразу, с порога, направляясь к приготовленному месту, Алексей увидел телеоператора с камерой, вкрадчивой тигриной походкой обходящего столы. И следующую за ним женщину, которая, узнав Алексея, испуганно вскинула на него зеленые, умоляющие глаза, словно предостерегала от чего-то, стремилась что-то сообщить. Беспомощно шептали ее губы, выше обычного изогнулись золотистые брови. На этот раз она была одета в малиновое, с медным отливом платье, все с тем же лучистым отблеском. Любуясь ею, он подумал, что ткани, которые она на себе носит, имеют неземную природу, сотканы из неземных материй, как хитон Христа. Сама же она явилась в эту земную жизнь из иных миров, чтобы принести ему, Алексею, какую-то тревожную весть, и только ждет случая, чтобы о ней поведать. Так думал он, направляясь к отведенному для него месту с табличкой, на которой было начертано: «Алексей Федорович Горшков».

— Дорогие коллеги, позвольте приветствовать нашего почетного гостя Алексея Федоровича Горшкова, любезно согласившегося принять участие в нашей дискуссии, — Сабрыкин с интонациями спикера обращался в разные стороны. — Потому что сам Алексей Федорович, вы знаете, имеет непосредственное отношение к выбранной нами теме. А тема звучит так: «Царские мученики — покаяние или возмездие?» Ну, кто начнет, господа?

Желчный, с провалившимися, как у старой лошади, висками, с большими лошадиными ноздрями депутат от фракции коммунистов нервно потеребил стебелек микрофона, колючим пальцем ткнул кнопку и произнес:

— А почему, собственно, как черт из табакерки, возник этот «монархический проект»? Мы что, царя выбираем? У нас других проблем нет? Может быть, мы перестали вымирать, как мухи? Или, может, в России хорошие дороги построили? Или последнего коррупционера за решетку отправили? Может, старушки в мусорных бачках рыться перестали? Или в России десяток нобелевских лауреатов появилось? Нам что, мало одного Духовного Лидера Виктора Викторовича Долголетова и мы теперь царя на трон посадим, Алексея Федоровича Горшкова? — Он ехидно ухмыльнулся длинным беззубым ртом, шумно выдохнул воздух из рассерженных конских ноздрей.

В ответ вскочил молодой, бритый наголо депутат от либерал-демократов, с толстой шеей и выпуклыми, как у быка, глазами. Стал сипеть в микрофон, забыв нажать кнопку. Спохватился, ткнул пальцем, громогласно, с мембранным звоном, закричал:

— Вам, краснозадым коммунистам, придется ответить! И за убийство царя, и за невинных царевен, и за мальчика беззащитного! Вам, палачам, придется ответить за расстрелы священников, за убийство дворян и писателей, за ГУЛАГ, за все ваши кровавые зверства! Вас будут судить Нюренбергским судом, приведут в кандалах всю вашу фракцию, а свидетелем выступит тень замученного вами императора! — Он кричал, размахивал руками, копируя своего вождя. На шее играла вена, на губах выступила розовая пенка. Находящийся тут же вождь поглядывал на способного ученика одобряюще.

Алексей с первым криком, с первым желчным ненавидящим взглядом почувствовал, как дрогнули в нем глубинные пласты — не памяти, а доставшихся по наследству болей, дремлющих страхов, уснувших трагедий, среди которых витали души родивших его людей, передали ему страшные гулы и надрывные рокоты миновавшей эпохи. Ожили сановники в золоченых мундирах на картине Репина «Заседание Государственного совета». Шагнул, держа в руках папку, камергер с алой лентой. Просияли ордена на груди генерала. Луч солнца упал на лицо Императора. Зачернели дымы идущей в волнах эскадры. Побежали солдаты, падая от японской шрапнели. Забелели кресты под луной на сопках Маньчжурии. Лопнула от удара снаряда баррикада на Пресне. Промчалась на рысях казачья сотня, и лихой есаул поддел на шашку рассеченное красное знамя. Родовая память

была подобна спрессованному сланцу, который расщеплялся на хрупкие пластины с бесчисленными, притаившимися в глубине отпечатками. Отпечатки отлипали от плоскости, обретали объем. Царь в Успенском соборе, в мантии, припадал на колено, и седовласый иерарх в потоках дивного света держал над царской головой корону. Хмурое утро на плацу Петропавловской крепости, полосатый шлагбаум, мокрая перекладина виселицы, и на ней, как кули, слабо покачиваясь, висят казненные. Образы излетали из туманного кратера, будто спали в его душе и, разбуженные воплями депутатов, являлись в мир.

— А вы-то, вы-то, либерал-демократы! Вам ли винить коммунистов в смерти царя? — Это вступил в полемику длиннолицый, с волосами до плеч, с клинышком черной бородки, член фракции «Справедливая Россия». — Вы ведете свою родословную от либералов Временного правительства, от демократов Керенского. Это вы заставили отречься царя. Вы послали к нему негодяя Гучкова. Ваши предатели-генералы, Алексеев, Корнилов, Рузский, буквально силой вырвали у него отречение. Вы передали царя в руки палачей, и думаете, что вы не испачканы кровью? На вас — гибель страны, крушение империи, гражданская бойня. Вы превратили Великую Россию в кровавое месиво, в котором исчезала русская история, русский народ, русское будущее. Мы в нашей партии — не сталинисты, но Сталин выхватил за волосы Россию из заваренной вами кровавой каши. Воссоздал государство, построил промышленность, выиграл войну. А вы, демократы, как были, так и есть, вечные разрушители, гнусные агенты Америки.

— А вот это нет! Вот это нет! — взвился лысенький, подслеповатый депутат с толстыми щечками, похожий на хомячка, член правящей партии.— И вы, «розовые» социалисты, и вы, «красные» коммунисты, вы сообща сломали хребет России. Если бы не было вашего заговора, если бы вы ни подпустили «красного петуха» революции, Россия была бы сегодня первой державой мира. Накануне Германской войны Россия шагала вперед семимильными шагами. Промышленность, банки, строился новый флот, новая авиация. Русское крестьянство кормило всю Европу. Высочайшая культура, наука. После первых неудач войны мы были на пороге победы. Германия выдохлась. На турецком фронте мы были готовы захватить

Босфор и Дарданеллы, вернуть православному миру Константинополь. Только предатели либералы и предатели большевики на деньги германского Генерального штаба совершили революцию, а ваш Сталин добил страну, израсходовал человеческий потенциал, и сегодня мы, русские, погибаем.

То один, то другой депутат включал микрофон. Мигали зеленые индикаторы, визжали мембраны, пенились рты, выпучивались глаза. Сабрыкин пытался внести порядок в дискуссию, но его перебивали, стискивали кулаки, извергали проклятия. Алексею казалось, что над каждым кричащим депутатом, над каждой трясущейся ненавидящей головой туманится вихрь. Этот вихрь имел вид всклокоченной хищной птицы, которая схлестнулась с соседней. Схватка депутатов была отражением битвы неистовых стихий, которые явились из прошлого и вели в настоящем нескончаемый бой.

Войска генерала Ренненкампфа вязли в Пинских болотах. Артиллеристы закручивали полы раскисших шинелей, тянули под уздцы лошадей, толкали орудия. Плюхались в болото снаряды, выплескивая чмокающие липкие взрывы. Билась смертельно раненная лошадь, из разорванного бока блестели белые ребра, вываливались синие комья, и жутко слезился умирающий глаз. Царь с землистым лицом сидел у окна вагона, лежало на столе отречение. Депутаты Государственной думы пили чай, аккуратно звенели ложечками. Мелькали за окном сырые снега, темные псковские избы. В дверях вагона с телеграфной лентой в руках возник усатый, похожий на моржа, генерал Алексеев. Сырые, серо-желтые дворцы Петербурга, с фасада студенты в фуражках сбивают золоченый двуглавый герб. В подворотню с улицы солдаты с винтовками ведут городового — запачканный синий мундир, начищенные пуговицы, серебристый полусорванный погон. Из трех винтовок стреляют в малиновое, с испуганными глазами лицо. Из окна, полураздетая, в ночной сорочке, смотрит молодая женщина.

Алексей не понимал, откуда в нем эти видения. Кто тревожит неразличимые глубины его прапамяти. Поднимает из безвестных могил тени усопших, заставляет их стрелять и сражаться. Вот горит в снегах высокий помещичий дом. Крестьяне тащат на спинах картины в рамах, зеркало в узорной оправе, фарфоровую китайскую вазу. Летит

из пламени пепел сгоревших книг, над липами с карканьем мечется стая ворон.

— Ваш царь Николай, которого вы сделали святым, в народе именовался «Николашкой кровавым», — воскликнул депутат–коммунист. Нетерпеливый, страстный, в негодующем порыве, обнажал мелкие желтые зубы. — Он был тусклый, бездарный и беспощадный. Стрелял в народ на Лене и 9 января в Петербурге. Учинил две бессмысленные кровавые войны, в которых бездарно проиграл. Довел народ до трех революций и сам добровольно, трусливо отказался от власти, породив конституционный хаос. Вместо того чтобы решать гигантские, накопившиеся в империи проблемы, начинать долгожданное Развитие, он только молился, слушал кликушу Распутина, свою истерическую жену-немку. В это время тонули тяжелые, как утюги, броненосцы, цвет крестьянства погибал на Германской войне, а во дворцах развратничали фрейлины, в ресторанах жрали усыпанные бриллиантами банкиры, тупые церковники отлучали от церкви Толстого. Царя ненавидела вся империя. Это она, империя, стреляла в него из наганов в подвале Ипатьевского дома! Мы, коммунисты, запустили Развитие, выиграли самую страшную в истории человечества войну!

— Это вы-то запустили Развитие? Это вы-то выиграли войну? — визгливо выкрикнула женщина-депутат от правящей партии, которая раньше числилась в либеральной партии «Яблоко». Острый нос, змеящиеся длинные губы, пепельная челка, скрывавшая морщины лба. — Ваше Развитие — это ГУЛАГ, где сидела половина страны. Ваша победа — это половина перебитого населения, которое без винтовок бросали на пулеметы, ставя за спиной заградотряды. Ваш Сталин — тиран и палач, почище Чингисхана. После него деревни остались без крестьян, а города без интеллигенции. К власти пришел хам, и мы по сей день не перестаем быть рабами!

Алексею было невыносимо. Его душа была полем розни и не имеющей скончания битвы, в которой сталкивались беспощадные духи. Воскрешенные, как на Страшном суде, вырвались и терзали друг друга. Он был причастен и к тем, и к другим. Они гнездились в предыстории его жизни, питали своей ядовитой страстью его нынешнее бытие. Пленных красноармейцев в белых подштанниках выводили на речной откос, под которым текла река, и летали ласточки-

береговушки. Юнкера поднимали винтовки, целились в хмурые лица, и убитые пленники сползали вниз по откосу, среди свистящих испуганных ласточек. Пленный штабс-капитан был прикручен к стулу веревками. Сквозь разодранную рубаху сиял нательный крестик. Желтолицый китаец приставлял к плечу офицера блестящий гвоздь и вбивал молотком туда, где раньше были погоны. Офицер кричал и захлебывался, а китаец ласково шепелявил: «Васе благолодие». В ржавом депо шел субботник, среди ржавых вагонов, исковерканных железнодорожных путей тощие люди тащили огрызки рельс, гнилые расщепленные шпалы, среди изуродованного металла блестел начищенной медью, шипел белым паром восстановленный паровоз, и машинист масленой ветошью протирал заводской номер. Отплывал от невской набережной ленивый пароход. Бердяев в пенсне смотрел с верхней палубы, как тает вдали золотая игла, растворяются в дымке дворцы и соборы. И было странно видеть бородача Шестова, который читал какую– то книжицу, не глядя на берег, словно он не покидал навсегда Петербург, не в последний раз сияла ему золотая игла.

Алексей ловил издалека взгляд женщины. Она не приближалась к нему. Ее платье было цвета вечернего неба, когда кромка дождливой тучи пламенеет негасимым огнем. Она искала его взгляда, чувствовала его муку, сострадала. Ее прислало на землю то багряное предвечернее пламя, от которого душа наполняется неизъяснимым восторгом, верой в нетленную красоту и заоблачное совершенство. Он стремился к ней, искал подле нее спасения, мечтал прижать к губам ее тонкую руку.

Словом завладел лидер коммунистов, лобастый, с выпуклыми шарами на лбу, словно череп не вмещал могучие полушария, и они выдавливали кость. Сжал чешуйчатую змейку микрофона, и змейка, задыхаясь, билась в его кулаке:

— Вот вы, господа хорошие, вините коммунистов в разгроме крестьянства. А ведь вчерашние неумытые лапотные селяне окончили рабфаки и институты и стали конструкторами самолетов, ракет, атомных реакторов. Вы льете слезы по пропавшей интеллигенции, а кто тогда написал великий «Тихий Дон», «Белую гвардию», песни войны? Кто снял «Броненосец Потемкин» и «Александр Невский»? Кто, если не Ахматова и Пастернак, писали оды товарищу Сталину? Царские генералы бесславно проиграли две войны, а крестьянские генералы и маршалы под водительством Сталина вошли в Берлин. Я

согласен, давайте вернем старым московским улицам их исторические названия, но давайте вернем Сталинграду его историческое победное имя, которому поклоняется все человечество.

Вскочил, брызгая слюной, разбрасывая визги и клекоты, лидер либерал-демократов. Казалось, он был готов вцепиться в мясистые щеки коммуниста, вырвать ему глаза.

— Вон, вон из политики! Вашего дохлого Ленина вон из мавзолея! Берите эту копченую воблу к себе домой, засуньте ее себе под кровать. Вы убили царя, убили миллионы людей, убили Россию. Если бы вас не отстранили от власти, вы бы продолжали убивать! Вы убили бы всех, кто здесь сидит! Палачи, сталинисты, убийцы!

Алексей слышал, как звенят виски, как нарастает свистящий звук, словно полет снаряда. Его кровь распалась на несколько отдельных потоков, которые схлестывались, сталкивались, не смешиваясь, раздували сосуды. Каждая кровяная частица, каждое алое тельце враждовали с соседними. Ударялись, разбивались, гибли с тончайшим стоном. Звуки гибнущих кровяных частиц сливались в невыносимый звон и свист, суливший сокрушительный взрыв.

— Вы в очередной раз погубили великую империю, пляшете на костях Сталина, но сами станете гнилыми костями!

— Вас, коммунистов, на фонари! Как Геринга, Риббентропа! Всех на фонари, сейчас же!

Два лидера кричали, махали кулаками. Сабрыкин тщетно их пытался разнять. Алексей чувствовал, как туманится мир, как в этом затуманенном мире рождается бред.

Две конных армии — «белая» и «красная» — схлестнулись в смертельной атаке. Рубили друг друга саблями, стреляли с седла. Летели отсеченные головы, грызлись кони. Всадники, сбитые с седел, катались по земле, перегрызали друг другу горло. Конвоиры вели под тусклыми лампочками узников, приговоренных к расстрелу. Всаживали пули в бритые затылки. Тела со стуком падали на каменный пол. Но тут же вскакивали, окровавленные, с дырами в черепе, стреляли в своих убийц, и те валились на каменный пол, поливая его черной кровью.

Бред накрывал его. Он схватился за виски, чтобы не слышать лязга затворов, свиста сабель, криков тоски и ненависти. Но вдруг случилась тишина. Кричащие лидеры, молча, как по команде,

опустились на место. Сабрыкин перестал махать руками и замер с открытым ртом.

В конференц-зал входил человек, на которого обратились все взоры, и Алексей, сквозь свое помрачение, ощутил его властную, покоряющую волю. Человек был невысок и изящен, в темном великолепном костюме и белой, расстегнутой у ворота рубахе. Его движения были плавны и музыкальны, а глаза под пушистыми, нежными бровями смотрели вниз, и он слегка улыбался свежим красивым ртом. Приблизился к свободному месту, поднял глаза, озирая застолье, и они показались Алексею круглыми, кошачьими, с изумрудной насмешливой искрой. Вдруг засияли восторженным вдохновением, словно его посетило озарение. А потом вдруг наполнились фиолетовой тьмой, и что-то мрачное и зловещее проступило на бледном лице, на высоком, без единой морщины лбу, за которым, казалось, гнездились чудовищные мысли и преступные замыслы. Фиолетовая тьма улетучилась, и снова глаза улыбались благожелательно и насмешливо, и каждый, сидящий за столом, старался поймать его благосклонный взгляд.

— Кто это? — спросил Алексей у своего соседа, маленького, пухленького депутата с розовой плешкой на голове.

— Вы не знаете? — с изумлением прошептал депутат, похожий на розового поросеночка. — Это Илларион Васильевич Булаев. Или, как его все величают, Виртуоз. Он очень, очень влиятелен. У него, а не у Президента находятся нити управления страной. Если он пришел сюда, значит, наше совещание чего-нибудь да стоит. — Это было произнесено шепотом, с религиозным обожанием, с готовностью целовать воздух вокруг головы всемогущего человека.

— Продолжайте, — произнес Виртуоз, доставая блокнотик и крохотную золоченую ручку, давая понять, как важны ему произносимые здесь слова и идеи.

— А теперь, многоуважаемые господа, когда мы выявили исходные точки зрения, — а они, как мне кажется, весьма неутешительны с точки зрения нашего гражданского мира, нашей способности выработать единый взгляд на историю, — теперь я бы предоставил слово нашему гостю Алексею Федоровичу Горшкову. Ибо все это, что там скрывать, непосредственно его касается, и нам было бы весьма и весьма интересно. — Сабрыкин хотел казаться

изысканным, артистичным. Кланялся в сторону Алексея, июбражая верноподданного камергера, и в сторону Виртуоза, пыражая готовность безоговорочно подчиняться. — Прошу вас, Алексей Федорович.

Сидящий рядом с Алексеем пухленький депутат подобострастно включил микрофон, хотя Алексей не собирался выступать. Предложение застигло его врасплох. Он смутился, онемел, беспомощно смотрел на депутатов, которые с любопытством, с затаенной недоброжелательностью и тайным злорадством наблюдали его растерянность.

Он почувствовал в голосовых связках странное напряжение. Едва уловимый толчок. Настойчивое побуждение. Кто-то незримый, бесплотный вселился в него, поместился в области сердца, воздействовал на его волю, что-то внушал и требовал. Он боялся открыть рот, беспомощно шевелил губами, но это бессвязное шепеление складывалось в осмысленную артикуляцию. Сами собой рождались слова, словно кто-то говорил его голосом, использовал его губы для произнесения не принадлежащих ему слов.

— Видите ли, я с большим вниманием, с большим уважением выслушал звучавшие здесь идеи. По образованию я историк, хотя у меня нет трудов. Я всего лишь работник Тобольского краеведческого музея. Но и там, в залах нашего скромного музея, видны все упомянутые вами темы. У нас есть экспозиция, рассказывающая о «красных партизанах» и о «белой армии» Колчака. Есть удивительные фотографии Государя Императора во время его Тобольской ссылки, и ордена и фотографии героев Великой Отечественной войны. Есть история декабристов, сосланных царем в Тобольск, и рассказ о Сибирском генерал-губернаторе, занимавшемся освоением Сибири. Есть убранство курной крестьянской избы и рассказ о замечательном советском нефтекомбинате. Всем этим хочу сказать, что, как историк, понимаю драму нашей разорванной истории, схватку исторических эпох, вражду идей, которая не утихла за сто лет, а кипит в нашем обществе, сеет смуту, отвлекает от насущных задач…

Он видел, как возросло к нему внимание депутатов. Женщина в платье цвета вечерней зари издалека кивала головой. Виртуоз поднял красивое лицо и смотрел, не мигая, круглыми пристальными глазами, в которых не было иронии.

— «Распалась связь времен», — воскликнул Гамлет, видя в этом разрыве причину всех трагедий. — Алексей почти забыл эту строку из Шекспира, но теперь кто-то, управлявший его сознанием, напомнил ее, вложил в уста. — Ужасный разрыв пришелся на начало русского двадцатого века. Историю разрубили, как трубу, и стала утекать историческая сила, растрачиваться драгоценная историческая энергия. Когда убивали священников, расстреливали дворян и офицеров, изгоняли философов и поэтов, этим хотели оторвать революционную историю Советов от имперской, царской истории. Убийство Царя — это рассечение времен, разрыв волновода, по которому из прошлого в будущее летит незримая волна, омывая и одухотворяя последующие эпохи, Думаю, любой политик понимает, как важно соединить времена, ликвидировать бреши, остановить утечку энергии. Направить сбереженную энергию на строительство и развитие. Мне приходилось читать статьи некоторых современных идеологов, которые хотели примирить «красных» и «белых», положить конец продолжающейся Гражданской войне, сложить в одну могилу кости «красных» конников Буденного и кости «белых» добровольцев. Но эти кости и в могиле продолжали сражаться, так что засыпавшая их земля шевелилась. Не здесь проходит стык, соединяющий две эпохи. Найти этот стык, отыскать те кромки, где не будет отторжения — это задача идеолога и историка, еще не выполненная. Кто найдет этот стык, тот окажет Отчеству неоценимую услугу. Будет настоящим Сыном Отечества…

Он явственно ощущал, что кто-то незримый стоит за его спиной. Этот незримый дышал ему в затылок, вкладывал в уста слова и мысли, которые прежде ему не являлись. Эти мысли были не его, но, произнося их, он становился их хозяином. Они становились частью его сознания. Его душа на мгновение раскрывалась, пуская в себя невидимый дух, а потом, когда слова были произнесены, закрывалась, обогащенная знанием. Это чувство было волнующим и пьянящим. Его воля и память больше не обременяли его. Он испытывал легкость и счастье. Другая воля, другая всеобъемлющая память поместились в нем, вещали от его имени. Виртуоз что-то быстро писал в блокнотик. Откладывал золоченую ручку. Поднимал удивленный, вопрошающий взгляд.

— Я думаю, что стык, соединяющий разорванные эпохи, скрепляющий воедино историческое русское время, проходит между

последним Царем Новомучеником и Иосифом Сталиным, — произнеся это, Алексей почувствовал, будто его затылка коснулся холодный перст. Это высказывание не принадлежало ему, было внесено в него, проникло извне, и это проникновение он ощутил, как холодный ожег. На мгновение привиделась стальная труба, покрытая черным бархатом изоляции, на ней остывает алый шов в наплывах металла, в трубе гудит, напряженно трепещет, проносится с громадной скоростью невидимая субстанция, из прошлого в будущее. — Царь Николай был последний монархист Романовской империи, в которой не осталось приверженцев трона. Генералы и придворные, аристократия и интеллигенция, купцы и простолюдины, даже иерархи церкви — все отвернулись от империи. Оставили Императора погибать в одиночестве. Николая зверски убили, и он похоронил с собой имперскую идею на дне Ганиной ямы. Но Царя прославили, и он, святой, вознесся на небеса. Взял с собой лампаду с имперским огнем, сберегая ее в райских садах для иных времен. Первым монархистом нового времени стал Иосиф Сталин. Восстановил во всей полноте территорию Великой России. Вернул в культуру традиционные русские ценности, отвергнутые большевиками. Пушкина, Толстого и Чехова. Русскую оперу и русские народные песни. Героический эпос и русскую сказку. Поклонился Дмитрию Донскому и Александру Невскому. Возвеличил Суворова, Кутузова, Ушакова. Возродил православную церковь, вернув ей приходы и приблизив к Кремлю. Он одержал мистическую Русскую Победу, сокрушив космическое зло фашизма. Внес в мировую историю «поправку», соизмеримую с «поправкой» Христа. Сберег христианскую цивилизацию. Он соединил земную Империю с небом, внес в нее мистическое начало и стал «помазанником». Он стал «красным» Императором и принял из рук царя Николая небесную лампаду Империи. Они протянули друг другу руки, два Императора, последний и первый. Сочетали два русских имперских времени. — Алексей видел, как изумленно смотрят на него депутаты. Как недавние спорщики оцепенели и стихли от его слов. Виртуоз впитывал его слова, словно они доставляли ему наслаждение и муку. — Позднее, в конце двадцатого века, случился новый ужасный разрыв эпох. Из разорванного волновода вновь хлещет наружу историческая субстанция, не донося до нас всей полноты творящей энергии. Отсюда наша смута, ущербность и чахлость.

Отсюда мор, уныние, неустройство. Страна пропадает, как дерево с подрезанным корнем. Должен явиться государственный муж, который соединит распавшуюся магистраль. Сварит стык. Как военный телефонист, стянет концы разорванного провода. Ценою собственной жизни пропустит сквозь себя сигнал из прошлого в будущее, превратив это будущее в Русскую Победу. Будем ждать этого человека. Он грядет. Быть может, уже среди нас.

Он ощутил невесомость, в которой исчезла его телесность и остался один дух. Этот дух был не его, действовал через него. Сам же он был подобен громкому горну, в который вдували звук, и тот излетал пророческим рокотом. Каждое слово жгло губы. Через него струился ток огромного напряжения, но слишком тонким было сечение жилы, пропускавшей ток, и он был готов сгореть и расплавиться.

Все молчали. Изумленно смотрели на гостя, который дерзнул в присутствии Виртуоза оповестить о явлении нового лидера, превосходящего нынешнего президента Лампадникова и его предтечу Долголетова. Оба, стараниями Виртуоза, преподносились спасителями России, устроителями Государства Российского, но, по мнению этого дерзкого провинциала, не годились для роли вождей. Он, этот наглый выскочка, не просто ошеломил своей нелепой теорией, уравняв Николая и Сталина, жертву и палача. Он, если вдуматься, предлагал себя на роль спасителя Государства Российского, нового царя, полагая, что собрание искушенных политиков и многоопытных государственников поверило в миф о его царской родословной, в апокриф его чудесного происхождения. Все, молча, кривили усмешки. Презрительно пожимали плечами, ожидая язвительной, уничтожающей реплики Виртуоза, после которой дадут волю своему остроумию, сотрут в порошок непрошеного клоуна, изгонят из своего сообщества.

Виртуоз поднялся, секунду смотрел на Алексея, глаза в глаза, словно переливал в него фиолетовую дрожащую плазму. Поклонился ему, прижав ладонь к сердцу. Быстро, ни с кем не прощаясь, вышел.

Все онемели. Сабрыкин спохватился, заверещал в микрофон:

— Вот, господа, замечательный результат нашей дискуссии. Чаще надо собираться, ум хорошо, а два лучше. Депутатский корпус — это и теоретики, и практики, я всегда говорил. Спасибо вам, Алексей Федорович, за интереснейшее сообщение. Я и сам так думал, но не

мог сформулировать. Все видели, что Илларион Васильевич остался доволен. А теперь, господа, перерыв. Можно дать отдых головам, они нам еще пригодятся для законотворческой деятельности.— И он засмеялся, приобнял Алексея, вывел его из-за стола.

Все шумели, наперебой поздравляли Алексея, спешили высказать свои суждения.

Глава коммунистов сытым дружелюбным баском одобрял его мыс гупление:

— Царь Иосиф не то что липовый царь Борис. Коммунизм — но царство добра, а где царство, там и царь. Если так понимать монархизм, то и я монархист! — Он похохатывал, сжимал Алексею локоть, при этом глаза его, окруженные белыми ресницами, гровожно моргали.

Лидер либерал-демократов, заходясь истерической скороговоркой, характерным жестом хватал себя за нос:

— Монархия — мечта русского народа! Один монарх, одна нация! Никаких республик! Только губернии! Вернуть Украину и Белоруссию! Вернуть Казахстан и Нарву! Армия превыше всего! Ядерное оружие в космос! Группировка ядерных подлодок в память убиенной царской семьи! «Царь Николай», «Императрица Александра», «Княгиня Татьяна», «Цесаревич Алексей». Лучшие экипажи, военная аристократия, рейды к берегам Америки!

Сабрыкин был чрезвычайно доволен результатами «круглого стола». Понимая, что угодил Виртуозу, был готов расцеловать Алексея. На его тускло-металлическом лице неестественный, как экзема, выступил румянец:

— А что? Если нужно, можно поменять Конституцию, ввести монархию. Конечно, не абсолютную. Без возвращения царских земель, реституции. Как в Англии, чтобы был объединяющий символ. У нас в Думе конституционное большинство. Мы проведем любые поправки, любой закон. Вы, Алексей Федорович, первоклассный мыслитель. Надо чаще видеться. Я вам выпишу пропуск в Думу. Ко мне в кабинет, в любое время дня и ночи. От сердца!

Алексей не отвечал, был смущен и подавлен. Дух, который вселился в него и вещал его устами, покинул его. Незримый суфлер, подсказывающий несвойственные ему слова, умолк. Его душа была полна летучего дыма, словно в ней что-то испепелилось, — какая-то

часть его прежней сущности. И вместо прежней возникла новая. Он не мог объяснить, в чем ее новизна. Но его личность изменилась, его положение среди людей изменилось, Он уже не был беззащитным, наивным провинциалом, привезенным в Москву по чьей-то прихоти. У него появилась собственная роль, еще неясная, но заставлявшая окружавших его людей угадывать ее, с ней считаться.

К нему подошел невысокий господин, одетый, как французский маркиз, — узкий в талии камзол, рубаха с кружевами на груди, пышные, как пена, манжеты. Лицо было нежное, как у девушки. Локоны ниспали до плеч. На ухоженных пальцах сверкали самоцветы:

— Позвольте представиться, модельер Любашкин. Может быть, вы слышали, что по моим эскизам выполнена форма современной российской армии. Неизвестно, как сложится наша судьба, но если вдруг понадобится форма для гвардии Его Императорского Величества, я готов предложить эскизы. Посудите, что за двор без гвардии? Что за бал без блестящих мундиров?

Его сменил невысокий, похожий на грача господин с острым носом и черными, блестящими волосами:

— Имею честь представиться — архитектор Кнорре. Огромное впечатление от ваших слов. Только Император сможет породить высокий имперский стиль. Пора кончать с этой мелкотравчатой буржуазной архитектурой. Москва — имперский город и нуждается в имперской архитектуре. Если новый Император надумает строить подмосковный дворец, я к его услугам. Дворец будет традиционен, но и очень современен. Неоампир — так назовем стиль будущей империи.

Тихо приблизился респектабельный господин в костюме-тройке, с седеющей бородкой, в нарочито старомодном пенсне, с золотой цепью карманных часов:

— Банкир Козодоев. Я слышал, у царя были свои приближенные банки. Становление монархии требует немалых затрат. Готов кредитовать по самым низким ставкам.

Алексей отвечал невпопад. Никто из подходивших персон не называл его наследником престола, но все подразумевали это. К нему относились, как к цесаревичу. Это по-прежнему смущало его, но уже не вызывало недавнего отторжения.

— Разрешите представиться. Театральный режиссер Олеарий, — перед ним стоял улыбающийся человек, в блестящих очках, сквозь

которые смотрели ласковые, умные глаза, взирающие на Алексея почти с любовью и отцовской нежностью. Так художник любуется собственным, удавшимся творением. Так стеклодув не может наглядеться на изысканный, переливающийся сосуд, сотворенный его дыханием. — Я наблюдал за вами. Такое ощуще– иич, что вы в какой-то момент превратились в медиума, усваивая льющиеся на вас энергии, транслируя их в виде человеческой речи. Это дар божий.

— Вы угадали. Со мной было что-то странное. — Алексей с надеждой обратился к человеку, угадавшему его состояние. — Как будто гипноз.

— Поверьте моему режиссерскому опыту. Это свойство большого артиста. Умение перевоплощаться, играть сложнейшую, предложенную ему роль. Вам предложили роль, и вы ее начали играть.

— Но вы должны знать, что я никакого отношения не имею к царской фамилии. Это недоразумение. Сначала была легкомысленная шутка приятеля, который поплатился жизнью за свою кощунственную выходку. Потом эту шутку подхватили какие-то неизвестные мне, влиятельные силы и стали ее тиражировать. Выдавать меня за прямого наследника престола. Зачем? Для чего? Кикие цели? Но, повторяю, во мне нет ни одной капли романовской крови.

Олеарий чуть коснулся руки Алексея своими бледными заостренными пальцами с черным агатом, на котором был вырезан загадочный геометрический знак. Алексей почувствовал легкое жжение, услышал слабый треск электрического разряда.

— Видите ли, существует родство по крови и родство по духу. Есть древние практики, магические приемы, восточные школы метапсихоза. Сильное волевое воздействие на личность, духовный удар, нанесенный по биологической структуре человека, меняют эту структуру. Трансформируют личность вплоть до смены генетического кода. Одна личность заменяется другой. Родство по духу превращается в родство по крови. Я ничего не утверждаю, я режиссер, а не генетик. Но, как знать, пребывая длительное время н поле сильнейшего воздействия, не обретет ли ваша личность материальное родство с тем, о ком вы постоянно думаете?

— Вы хотите сказать, что во мне потечет кровь Романовых? — Алексей недоверчиво смотрел на человека, в облике которого было странное несоответствие. Он был оживлен, свеж, с розовой детской

кожей лица, в изысканном костюме. Но было в нем нечто остановившееся, древнее и недвижное, как ритуальная маска. Жреческое, колдовское чудилось Алексею в пронзительном взгляде, в резко заостренном носе, в жестком рисунке губ.

— Это явление называется трансмутацией. Камень превращается в хлеб. Вода — в вино. Свинец — в золото. Савл — в Павла. Преображение затрагивает личность во всей полноте. Меняется ее миссия, ее роль. Личность покидает место, предназначенное ей от рождения, и занимает другое, отведенное ей Господом Богом, Так элементы в таблице Менделеева переходят из клетки в клетку. Русский народ любит Царя, даже тогда, когда Царя больше нет, когда Царь убит. Эта любовь столь сильна, исходит из таких сокровенных глубин, имеет такую сакральную мощь, что Царь появляется. Квазицарь, как Иосиф Сталин. Мини-царь, как Виктор Долголетов. Быть может, вы переживаете сейчас процесс преображения. Народное моление о Царе находит отклик, и этот отклик — вы.

Алексей изумленно слушал, стараясь различить скрытую иронию, свойственную московским интеллектуалам в их обращении с провинциалами. Но Олеарий был подчеркнуто любезен, академически строг, жречески таинственен.

— Святость — это еще одно, не известное физикам состояние материи. Святость действует в мире как преобразующая, побеждающая энтропию сила. Святость передается через кровь и родство. Святость последнего Царя искупает грехи всех предшествующих Романовых. Если вдруг у вас появится кровное родство с Романовыми, то к вам начнет перетекать святость Царя Мученика.

Олеарий замолчал. Поднес к губам агатовый перстень с геометрическим символом. Дохнул на него. Алексей увидел, как в глубине камня, словно уголь, зажегся красный магический знак из треугольников, кругов и спиралей.

— Приходите ко мне на спектакль. В нем как раз играется тема преображения, — любезно поклонился Алексею и отошел, окруженный едва различимыми электрическими разрядами.

Алексей испытывал изнеможение, близкую к обмороку слабость. Приблизился к столу. Взял бутылку с водой. Наклонил над хрустальным стаканом. Стал наливать. Прозрачность стакана,

изрезанного лучами узоров, солнечная прозрачность воды превратились в прозрачности бытия, в котором его жизнь казалась не случайной, была явлена по чьему-то загадочному умыслу. Этот умысел сопутствовал ему, обнаруживал себя в таинственных состояниях души, когда вдруг на мгновенье открывалась узкая скважина в иные миры, и оттуда светил тончайший луч, влетали ослепительные цветные частицы, рождая чувство бессмертия и счастья. Скважина смыкалась, но счастье оставалось. Частицы неземной материи свидетельствовали о бесконечной красоте и блаженстве, к которым он был причастен.

Вода лилась в хрустальный стакан, и он знал, что неслучайно подошел к столу, неслучайно стал наливать воду, неслучайно прозрачное стекло наполнялось прозрачной водой с мелькающими пузырьками. Поставил бутылку. Поднес к губам стакан. Поднял глаза и увидел, как приближается женщина в малиново-золотистом платье, цвета вечерней зари. Ее светлый лоб с изумленными бровями. Зеленые восхитительные глаза. Высокая шея с ниткой жемчуга. Она приближалась, платье на ее груди, плечах, бедрах переливалось, и возникло знание, что это уже было когда-то, быть может, не здесь, не в его жизни, — вот так же приближалась пирующая женщина, рождая ощущение бесконечного счастья.

Стакан выскользнул из рук. Алексей видел, как медленно, словно в невесомости, падает стакан, проливая медлительные, прозрачные языки воды. Упал и разбился, брызгая водой и осколками. Он беспомощно, продолжая глядеть на женщину, наклонился, стал шарить, желая собрать осколки. Почувствовал боль пореза. Рука его была в крови, и кровь лилась на ладонь, яркая, алая.

— Боже мой! — женщина подлетела к нему, дрожа. — Вы ранили себя!.. Ваша кровь!.. Наследственный недуг!.. Как у царевича!.. Позвольте, я вам помогу!..

Она выдернула из рукава платок. Схватила его руку. Сделала перевязь. Держала его ладонь, глядя со страхом, как сквозь ткань платка проступает алое пятно:

— Боже мой, что теперь будет?

Ее страх был неподделен. Глаза слезно и страстно мерцали.

— Это пустяк. Все хорошо. Нет никакого недуга. — Алексей не отнимал свою руку. Чувствовал боль пореза, исходящий от платка

нежный запах духов, близкое тепло ее взволнованного тела. — Как вас зовут?

— Марина.

— Я вам так благодарен. Я все время вижу вас. Не решаюсь подойти. Можем ли мы сегодня погулять по Москве? Я был бы счастлив.

— Погуляем. Вот только отпущу моих коллег. — Она оглянулась на оператора, который двигался, как кот на мягких лапах, неся на плече телекамеру. Выводил в воздухе невидимые вензеля.

Виртуоз в записи просмотрел телесюжет «Парламентского часа», один и другой раз. Был озадачен. Креатура, созданная по прихоти Рема, предназначенная для запугивания Ромула, обнаружила свойства, не предусмотренные актом творения. В политическую интригу, осуществляемую на потребу дня, вмешалась сторонняя сила, возвышающая ординарного провинциала над пустопорожней болтовней депутатов, жалким лепетом монархистов, многозначительными умолчаниями церковников. В присутствии Виртуоза было совершено открытие, принадлежащее к числу историософских. Было высказано прозрение. Создан инструмент для управления метаисторией. Примирение исторических эпох, без чего невозможна полноценная жизнь государства, было темой, над которой работал Виртуоз, исследуя «субстанцию власти», Молодой тобольский историк, привезенный из захолустья, указал на точку, где возможен исторический синтез. Назвал два имени, сочетающие имперские эпохи. Николай Второй и Иосиф Сталин, казавшиеся до сей поры антиподами, вдруг обнаружили фундаментальное сходство. Передавали «имперскую лампаду» из одной эпохи в другую. Политические технологии могли осуществить этот синтез, ликвидировать разрыв световода, по которому из прошлого в настоящее летит световая волна, переносится «субстанция власти». Саму эту субстанцию провинциал связал с понятием «святости», объясняя власть как «помазанье». Властитель лишь тогда обретал полноценные права, когда его земные деяния получали небесное подтверждение, плоскость переходила в объем, земные уложения наполнялись сакральными смыслами.

И все это произнес тобольский провинциал, наделенный пророческим даром, обнаружив этот дар в присутствии Виртуоза.

Было странное чувство. Пришелец из захолустья казался ему ближе, чем все остальные, — и Ромул, и Рем, и блистательный набор политологов, и хитроумный маг Олеарий, и нейрохирург Коногонов, извлекавший из отсеченных голов сокровенные образы. Эта близость была необъяснима. Быть может, зиждилась на тяготении обоих к таинственным проявлениям власти. Подобно дереву, власть опрокинулась кроной в земную жизнь, а корнями вросла в божественный Космос. Хотелось поближе узнать ясновидца. Предложить ему свою дружбу. Воспользоваться его даром, которым не обладал он сам и без которого было невозможно управлять непостижимой Россией. Крохотная почка, которую он вживил в исторический ствол, прижилась. Вносила в историю непредсказуемые перемены.

Виртуоз задумчиво отошел от телевизора. Стал рассматривать альбом с картинами Босха. Черные, охваченные пожарами горизонты. Силуэт колеса с обезображенным телом казненного. Стая ворон, клюющих разложившийся труп.

Утром Ромул встречался в «Доме Виардо» с министром обороны Курнаковым, с которым обсуждал положение в Южной Осетии. Президент Грузии, выскочка и истерик, с бокалом хванчкары, перед телекамерами шевелил плотоядными губами, бранил Россию, хвалил Америку, пил за здоровье своих вооруженных сил, способных взять Цхинвали и вернуть отколовшуюся территорию и состав Великой Грузии. Ромул терпеть не мог грузинского нахала, допускавшего унизительные высказывания в его, Ромула, адрес. Он готовился посетить Цхинвали и продемонстрировать бесстрашие. Ободрить своим присутствием батальон русских десантников-миротворцев и показать народу связь Духовного Лидера и армии, находящейся на передовых рубежах. Этой поездкой он думал опередить своего соперника Рема, который, как доносили источники в администрации Президента, тоже собирался на Кавказ, чтобы улучшить отношения с Грузией.

— Мне кажется, наш президент излишне комплиментарен к этому грузинскому абрикосу. Я бы его очистил, выжал из него сок, а шкурку использовал и нашей имперской кулинарии для пикантного аромата, — тонко пошутил Ромул, глядя на мясистого, грузного министра.

— Я говорил с нашими комбатами в Абхазии и Цхинвали. Они уверяют, если эта обезьяна сунется, они отловят ее и поместят в Сухумский заповедник. Там как раз овдовела самка шимпанзе.

Оба рассмеялись. Министр не заблуждался относительно того, кто является истинным, а не мнимым руководителем страны. Видел в Ромуле своего настоящего начальника.

— Как идут приготовления к пуску ракетного комплекса «Порыв»? — поинтересовался Ромул своим любимым детищем, способным облететь Землю и ударить по Америке с неожиданного направления. — Учтите, я буду присутствовать на пуске.

— Ракета доставлена на полигон Плесецкий и проходит предпусковые испытания. Там вас ждут, Виктор Викторович.

— Постарайтесь приурочить пуск к визиту президента Лампадникова во Францию. Это его дело— щелкать каблуками по паркету Елисейского дворца. А наше дело — месить сапогами грязь на ракетных полигонах.

На этом они расстались, и Ромул прилег на диван, погружаясь в мир тревожных и неотступных размышлений. Он думал о предсказании старца, в котором Иоанн Крестьянкин пророчил насильственную смерть Верховного Правителя России. Срок, указанный старцем, приближался, и Ромул старался представить, как будет убит Рем.

То могли быть чеченские террористы — десяток смертников с поясами шахидов, выбегающих один за другим на правительственную трассу под колеса президентского «мерседеса». Взрывы у Триумфальной арки, перевернутая машина, растерзанное тело Рема.

Или прием в резиденции западного лидера, бокал шампанского. Агент масонской ложи раскрывает над бокалом перстень с ядом. Президент Лампадников делает сладостный глоток и через минуту бьется на ковре в предсмертных муках. На его губах — желтая ядовитая пена. Или на Северном флоте, при посещении крейсера, из строя выскакивает безумный офицер, стреляет в ненавистного Президента, лишившего флот кораблей, а офицеров — жилья и довольствия. Или роскошный президентский лайнер с помпезным названием «Россия» терпит аварию, падает в воды Средиземного моря. Флотилия кораблей кружит по изумрудным волнам и среди всплывшего мусора находит галстук от Версаче, принадлежавший

Президенту Лампадникову. Или, наконец, Рема сжирает скоротечный недуг, поселившаяся в нем опухоль. В Храме Христа Спасителя проходит отпевание. В пышном гробу среди венков, на белой подушке — маленькое, усохшее лицо Рема, еще недавно надменное и насмешливое. И он, Ромул, стоя у гроба среди лампад и кадильных дымов, опустил веки, чтобы не выдать торжествующий блеск глаз.

Он включил телевизор. Попал на программу «Парламентский час», обычно скучную и пресную, но на этот раз наполненную кровожадной схваткой депутатов. И вдруг, среди неистовых либерал-демократов, изнурительных коммунистов и упрямых «единороссов» увидел знакомое лицо. Высокий лоб, спокойные голубые глаза, золотистая, аккуратно подстриженная бородка, «а-ля Николай II». Все тот же бог весть откуда взявшийся персонаж, который настойчиво навязывался публике как возможный претендент на российский престол. Бутафорская идея престолонаследия усиливалась телевизионным каналом, на котором, по всей видимости, осуществлялся какой-то проект. Шаг за шагом, с непрерывным нарастанием, вводил в общественное сознание образ самозванца.

Ромул вслушивался в его патетические рассуждения, в которых проводилась странная параллель между последним царем и Сталиным. Невнятно упоминалась святость первого и «помазанье» второго. Эту часть речи Ромул не понял. Но когда прозвучала фраза о «государственном муже», который явится и укажет народу путь к Русской Победе, Ромул словно очнулся. Этот лжецаревич предлагал себя в качестве Духовного Лидера, русского вождя и «помазанника», отнимая эту роль у Ромула. Он был «запущен» с целью уменьшить его, Ромула, влияние, составить конкуренцию, отнять у Ромула обожание народа и присвоить себе. Смертельная опасность таилась в этом проекте. Автором этой смертоносной идеи мог быть только Рем, а ее талантливым исполнителем — Виртуоз. Это значило, что предательство состоялось. Горели костры горючие, кипели котлы кипучие, точились ножи булатные. «Хотят меня зарезати», — думал он, порываясь звонить Президенту. Передумал, набрал Виртуоза. Сбросил набор. Соединился с председателем телеканала Муравиным, услышав его теплый плюшевый голос:

— Слушаю вас, Виктор Викторович.

— Нет, это я вас слушаю. Как вы объясните появление на канале этого Лжедмитрия? Почему вы от раза к разу раздуваете этот мыльный пузырь? Вы собираетесь его венчать на царство? Кто разработал этот цирковой номер?

— Виктор Викторович, — залепетал Муравин, и Ромул представил, как быстро шевелится его розовый влажный язык. — Это наш телевизионный проект, не больше. Мы хотим начать большую телевизионную игру под названием «Имя России». Зрители будут выбирать кумира. Ну, там, Ломоносов, Суворов, Высоцкий, Гагарин. И, конечно, Петр Великий. И, конечно, Царь Великомученик. И Ленин, и Сталин, и другие. Понимаете, такая игра. Чтобы усилить внимание к каналу. Готовясь к игре, мы выпустили эту подставную фигуру. Подсадную утку. И не больше, Виктор Викторович, не больше!

В голосе Муравина слышалась такая искренность, такая преданность, что Ромул несколько успокоился.

— Не нравится мне эта игра. Лучше уж КВН или «Поле чудес». А то заиграетесь до новой Ходынки.

Тревога его не прошла, превратилась в мучительное предчувствие, в болезненное вожделение. Ночью он снова слышал блуждающий по дому божественный голос Полины Виардо, сулящий бесконечное блаженство. Он любил этот голос. Желал обнять эту женщину, которая босиком, в прозрачной ночной рубахе плутала по особняку, отыскивая дверь в его спальню. Ждал ее появления. Мечтал прижать ухо к ее поющей груди. Слушать, как из глубины одухотворенной души излетают райские звуки. Лежал и плакал, наслаждаясь своей способностью тонко чувствовать и искренне плакать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Алексей дожидался Марину у помпезного подъезда Думы, откуда один за другим отлетали надменные автомобили с фиолетовыми фонтанчиками на крышах. Уносили коммунистов и либеральных демократов, «единороссов» и «справедливороссов», неотличимых друг от друга за туманными стеклами. Шофер Андрюша, прикрепленный к Алексею чьей-то заботливой рукой, улыбался, чуть приоткрыв дверцу дорогой «ауди».

— Денек сегодня что надо. Живи, наслаждайся, — вносил он оптимистическую ноту, полагая, что это входит в его обязанность обеспечить комфорт своему клиенту.

Алексей увидел, как Марина показалась из тяжеловесных дверей, оглядываясь по сторонам. И то, как радостно и тревожно она оглядывалась, как завязывала на ходу поясок легкого плаща, как оглаживала ладонью отлетевшую на ветру прядь, вызвало у него нежность и испуг. Эта чудесная, едва знакомая женщина торопилась к нему навстречу, и огромный пугающий город вдруг обрел очарование, волшебную красоту, пленительную и прелестную тайну. Она увидела его, опустила глаза, заторопилась, глядя себе под ноги. Чуть улыбалась, зная, что он смотрит на нее. Ему казалось, что их соединяет тонкая, туго натянутая струна, и она идет по этой струне с закрытыми газами, как во сне, и хотелось подбежать, обнять, чтобы она не упала.

— Вот и я, — произнесла она, поднимая на него чуть прищуренные, против солнца, глаза, в которых переливался город, — близкий, фиолетовый от сирени сквер, белые колонны театра, вихри струящихся автомобилей. — Попросила друзей, чтобы они подготовили материал к эфиру. Куда же мы пойдем?

— Я совсем не знаю Москвы. Полагаюсь на вас. В какое-нибудь тихое место, где мы сможем поужинать, поближе узнать друг друга. Шофер отвезет нас, куда захотим, — он кивнул на водителя, который благосклонно наблюдал за ними.

— Тогда поедем на Фрунзенскую набережную, недалеко от Крымского моста. Там на Москве-реке есть милый ресторанчик-

поплавок. Грузинская кухня. Хозяйка — грузинка, Мама Зоя. Ну просто состарившаяся царица Тамара. Можно там посидеть у воды.

— Замечательно. Посмотрим, как выглядит в старости царица Тамара. — Он вдруг испытал пьянящее веселье, свободу в выборе слов, легкость в движениях. Время стремительно, с блеском и музыкой, понеслось, увлекая его в неведомое, чарующее будущее, которое чудилось ему в туманных, годами длящихся ожиданиях. Теперь чья-то благая воля превратила его ожидания в сладостную явь. Они уселись на заднее сиденье автомобиля. Он оказался в тесной близости с прелестной, едва знакомой женщиной, ставшей вдруг драгоценной. Боялся смотреть на ее близкое лицо, обнаженную шею, малиновое, с лучистыми вспышками платье.

Подкатили к набережной, где блестела река и к гранитному парапету прижался плавучий ресторанчик, напоминавший речную пристань. Шагнули на деревянный трап и оказались в пестром вестибюле. Алебастровый, едко раскрашенный моряк топорщил усы, держал на весу поднос с красными, зелеными и синими рыбами. Вдвое крупнее его, молчаливый, как истукан, возвышался служитель. Рядом по мобильному телефону говорила пожилая, смуглая, сморщенная, в яркой помаде, с обилием серебра на худых коричневых запястьях женщина. Цветастое, не по возрасту, платье, малиновый лак на длинных ногтях, сжимавших изящный мобильник.

— Мама Зоя, — шепнула Алексею Марина, проходя мимо старой горбоносой грузинки, похожей на колдунью.

— Царица Тамара? — так же тихо, веселым шепотом переспросил Алексей. И пока они проходили мимо бурно говорящей колдуньи, у той начинали сиять черные, под алюминиевыми веками глаза, сердитый скрипучий голос приобретал чарующее звучание, и этот воркующий звук, и сияние нестарых, зорких, черно-сиреневых глаз были обращены к Алексею. Она улыбалась ему безукоризненными искусственными зубами, источала обожание.

— Какое счастье, что я вас вижу, — она прятала в ворохах платья телефон, протягивала Алексею сухую, как ветка, руку с серебряными обручами и кольцами. — Я видела вас по телевизору. Я счастлива, что ко мне пожаловал такой высокий гость. Я сама из грузинских князей. Мои предки верой и правдой служили русскому императору и имели

от него похвальные грамоты. Прошу вас, дорогой мой, в наше скромное заведение. Вам здесь окажут самый теплый прием.

Она ловко скользнула вперед, махнула звенящими браслетами в одну и другую сторону. На ее взмахи, словно из воздуха, возникли рослые молодцы с кавказскими лицами, как на подбор, с чертами фамильного сходства. Через минуту Алексей и Марина уже сидели за столиком у окна, выходившего прямо на реку. В руках у них оказались тяжелые карты с описанием грузинских блюд и напитков. Мама Зоя следила, как кружится вокруг них рой официантов, колдовскими взмахами управляя их хороводом.

Стол наполнялся яствами, душистыми соленьями, разноцветными пряными травами. Пиалы с красным и черным лобио. Золотистое блюдо с хачапури. Появилась ваза с яблоками, грушами и апельсинами, с которой свисали грозди фиолетового винограда.

Черноусый официант с маслеными, ласковыми глазами, сверкая золотым зубом, будто с картины Пиросмани, принес бутылку с потемнелой наклейкой и золотыми вензелями:

— Только для вас. Из тайных запасов хозяйки. Настоящее мукузани.

И вот они уже пьют черно-красное, вяжущее вино. Он видит, как над краем бокала приподняты ее изумленные чудесные брови. Губы, пьющие вино, улыбаются. На них остается темный след винного ожога. Река за окном слабо колышется, колебанье воды чуть слышно качает пол, бокалы с вином, свисающую гроздь винограда, и ему так чудесно все это видеть и чувствовать.

— Я хочу вам сказать. Но не решаюсь. Вы позволите?

— Я позволю.

— Наше первое свиданье было так чудесно и так странно. Когда я увидел вас, мне показалось, что мы уже прежде встречались. Не здесь, не сейчас. В иной жизни или, может быть, на какой-нибудь иной планете, в таком же зале, с такими же креслами, с такой же картиной в золотой раме, написанной известным художником Нащокиным. Вокруг меня были те же странные люди, их бороды, старомодные сюртуки, непонятные, многозначительные речи. Мне снилось, что я был взят в плен, насильно приведен в этот зал с купидонами, и меня ожидают какие-то неприятности, быть может, даже мученья. И вдруг вы вошли. Ваше платье изумрудного цвета, ваше лицо, такое родное, со следами

страданья, с какой-то не прошедшей обидой, от которой так хотелось вас заслонить. И вдруг, представляете, наяву я все это вижу. То же изумрудное, малахитовое платье, которое меня так волновало во сне. То же прекрасное, со следами огорчений лицо. Вы словно явились из другой жизни, и от вас полетел ко мне стеклянный вихрь, словно жаркий мираж, из которого вы возникли. Я не знал — то ли я проснулся и это явь. Или, напротив, я заснул и мой сон продолжается.

— И что же — сейчас ваш сон продолжается?

— Наше второе свидание. На вас было синее, с серебристыми переливами платье, казавшееся иногда аметистовым. Меня окружали монахи, их рассуждения о святости, о царских мучениках. Они говорили так, будто и мне предстояло мученичество и они готовили меня к неминуемым страданиям. Мне было странно, одиноко и даже страшно. Казалось, что я принимаю на себя чужую судьбу и отказываюсь от своей. Меня лишали моей собственной жизни, заменяя ее чьей-то другой, придуманной. И вдруг ны вошли, как спасение, как единственный человек, которому я могу все объяснить, во всем признаться, покаяться. Я ждал, что нм подойдете ближе, окажетесь рядом, но вы не приближались, и н вдруг испугался, что вы исчезните, навсегда, и я не успею вам слова сказать. Испуг был такой, сердце мое забилось так сильно, что колыхнулись свечи в подсвечниках, и перед образом сама загорелась лампада. Вся икона покрылась прозрачными слезами и алыми струями.

— Это чудо вы сотворили. От вас загорелась лампада.

— Наше третье свиданье сегодня. Ваше платье цвета вечерней зари. Есть такие негаснущие вечерние зори, от которых в малиновом небе тихо блуждают лучи и вода течет золотая. Все наши платья сотканы из небесных материй, из лучистых нитей, каких нет на земле. Я наливал воду в бокал, и вы ко мне приближались. Казалось, время остановилось, остановилась льющаяся в бокал вода, и вы идете ко мне миллионы лет, и расстояние между нами не сокращается. Словно нас запаяли в стеклянный куб, и мы не можем пошевелиться, не можем сойтись, не можем коснуться друг друга. Я пережил такое мученье и боль, рванулся, и ледяная глыба распалась, а вместе с ней раскололся бокал. И вот вы стоите передо мной, перевязываете платком мой палец, и на нем проступает малиновая влажная капля.

— Верните мне платок с каплей вашей крови.

Ему было легко. Каждое слово, каждый обращенный к ней взгляд приносили освобождение. Он освобождался от неловкости, застенчивости, мучительного непонимания, мнительного ожиданья, которое сулило несчастья после необъяснимых, случившихся с ним перемен. Перемены были теперь объяснимы. Они случились для того, чтобы он сидел сейчас в милом ресторанчике на вечерней реке, за окном текла зеленая густая вода, на другом берегу, в парке, высились ажурные сооружения аттракционов, гремела музыка, зажигались огни. И странный, величественный, бог весть откуда взявшийся космический корабль. И прелестная женщина, желанная, внимавшая ему с чуть насмешливым блеском в глазах, находилась так близко, что протяни руки и коснешься нежной шеи с розовой гирляндой кораллов.

— Вы сказали, что вас взяли в плен, вы чувствуете себя пленником. Мне это так знакомо. Всю жизнь, с рождения, я чувствую себя пленницей. Словно окружена высокой стеной, которая отделяет меня от далекой, чудесной и недоступной жизни. В той жизни существует светлый уютный дом, дворянская усадьба, липовая аллея. Гостиная с портретами офицеров — их эполеты, мундиры, лучистые звезды за подвиги на турецких войнах. На солнечной веранде собираются счастливые люди, огромная семья, ваза с белой сиренью. Все так любят друг друга, так добры и прекрасны. Прекрасна сельская колокольня, далекие стога на лугу, библиотека с собранием книг. Прекрасен томик Пушкина с его дарственной надписью, слепок гибкой женской руки — фрейлины императорского двора. Это мой дом, моя родина, моя духовная обитель, удаленная от меня на несколько поколений. Мой рай, на который налетели ужасные вихри, сломали дом с колоннами, вырвали с корнем липы, замучили, погубили обитателей дома, расшвыряли их по войнам, по тюрьмам, а меня, разлучив навсегда с обожаемым миром, заточили в эту жизнь. Навязали мне в современники чуждых людей с чужими словами и мыслями. Поместили в темницу, где некому слово сказать. И вдруг в тяжелой стене появился просвет, расступились камни угрюмой кладки, и я увидела ваше лицо, услышала ваши слова. Они мне так близки, так понятны.

За окном по реке проплывал кораблик. На палубе толпись люди, кто-то махал рукой, кто-то держал воздушный шарик. Кораблик был веселый и трогательный, торопился по воде, неся на мачте

разгоравшийся в сумерках огонек. Волны докатились до ресторанчика, мягко толкнули, и все покачнулось, сошло с мест, повисло как в невесомости, — бокалы с вином, ваза с фруктами, улыбавшаяся издалека смуглая, в серебряных кольцах колдунья. Он ждал, когда все опустится на свои места, и волны на зеленой воде уплывут к далекому, с белой беседкой, берегу.

— У меня всегда были две жизни, — он продолжал свою исповедь. — Внешняя, которую я проживал, — детский дом с крикливыми воспитателями и сумасбродными сверстниками. Школа–интернат, где мне повезло с педагогами, особенно со словесником и историком. Институт, когда я много и жадно читал русских писателей, философов и историков. Работа в Тобольском музее, где мне открылась пучина русской истории. Вечеринки, провинциальные барышни, газетные журналисты, пенье под гитару. И одновременно — другая жизнь, лунатическая, в которой я двигался с закрытыми глазами по какому-то шаткому карнизу. Мои мечтанья, воспоминанья о каком-то неясном, моем или не моем избавлении от какого-то ужасного зла. О какой-то чудесной, уготованной мне судьбе. Ожидание чуда, которое так и не наступало в сутолоке дней. Две эти жизни иногда соединялись, будто в первую из второй прилетала огненная частица, несла в себе странную и прекрасную отгадку обо мне, о моем происхождении, о моем предназначении. Загадку, которую я не умел разгадать. И вдруг чудо случилось. Меня подхватил вихрь, перенес из Тобольска в Москву. Носит кругами, знакомит с удивительными людьми, помещает в чью-то опасную и увлекательную интригу. Что это? Кто мне все объяснит? Кто все это задумал? Может быть, вы объясните?

Он исповедовался, испытывая к ней доверие и благоговение, ибо она и была тем чудом, что ему открылось. Возникла из необъятного и непостижимого города. Явилась среди множества непонятных и опасных людей. Сделала этот город нестрашным, завораживающим и пленительным. Сделала этих людей не опасными, а подвижниками, исполненными удивительных знаний и талантов. Вторая, состоявшая из сновидений жизнь, поменялась с первой местами. Та, тобольская, отступила в туман. А призрачный туман его сновидений обрел яркую явь, среди которой предстала долгожданная женщина.

— Я вас так понимаю. Знаю, о какой другой жизни вы говорите. Какая частица к вам прилетала. Тогда, когда вы наклонились над несчастным, упавшим стариком, у вас было такое огорченное и родное лицо. В монастыре, когда вы проходили мимо куста с красной розой и чуть наклонились к цветку, — вы стали мне вдруг для меня дорогой и знакомый. Сегодня, когда вы уронили бокал и из пальца у вас закапала кровь, — я так испугалась за вас, хотелось крикнуть, прижать к губам ваш окровавленный палец. Вы говорили о снах. Знаете, мне снится сон, постоянно, один и тот же, с самого детства. Будто в нашу родовую усадьбу, на веранду, из сада поднимается императрица и держит в руках белое платье, бальное или подвенечное. Протягивает мне, и я слышу ее голос: «Это твое, бери. Тебе его носить». И исчезает. Как разгадать этот сон? В каком соннике есть отгадка? Может быть, вы разгадаете?

За окном проплывал теплоход, торжественный, с золотыми огнями, роняя в воду змеистые отражения, разноцветные летучие искры. Играла музыка, полыхали бенгальские огни, качались цветные фонарики. На палубе танцевали, пили вино, метали друг в друга летучие серпантины. Невеста в белом платье кружилась в вальсе с женихом, — были видны ее воздушная вуаль, красный цветок в петлице у жениха. Перестали танцевать, приблизились к поручням и смотрели на берег. Алексею казалось, что они посылают ему и Марине какой-то знак. Свадьба уплыла под изогнутые своды моста, по которому летела в сумерках непрерывная череда огней. Волны достигли ресторанчика. Все заколебалось, тихо снялось с мест, стало летать в воздухе. Это головокружение длилось минуту, покуда стеклянные гребешки волн пробежали вдоль гранитной набережной.

— Все говорят мне, что я — отпрыск рода Романовых. Что я — претендент на русский престол. Я-то знаю, что это не так. Что это недоразумение, плод нелепой шутки, за которую шутник заплатил ужасную цену. Но меня продолжают уверять и оказывают мне чуть ли не царские почести. Я вижу в этом чей-то коварный замысел, чью-то хитроумную интригу. Но что-то со мной происходит, какие-то странные перемены. Там, у монархистов, я вдруг остро ощутил бремя власти, не своей, разумеется, а власти царя, вождя, властителя такой громадной страны, как Россия, и словно бы стал примерять на себя эту непомерную тяжесть. В монастыре, когда замироточила икона, мне

кажется, я ощутил дуновение святости. Опять же не моей, а таинственной чудесной силы, делающей непрозрачное прозрачным, неживое живым, смертное бессмертным. Сегодня, в Думе, когда все ссорились, поносили друг друга, когда проснулись и сразились все неистовые духи русской распри, я вдруг понял, как важно России преодолеть эти длящиеся веками расколы. Мне показалось, что я могу их преодолеть, еще немного, и найду рецепт долгожданного русского примирения. Что со мной происходит? Ко мне подошел странный человек, демонического вида, ласковый, приторно-сладкий, с жестокими глазами вампира. Представился режиссером Олеарием. Сказал, что существуют практики и искусства, способные преобразовать физическую природу человека, внести изменения в его генетический код. Он дал мне понять, что на меня воздействуют с помощью этих практик, и мой генетический код Горшковых преобразуют в генетический код Романовых. Какая-то дичь, безумие. Но там, в монастыре, когда я представил казнь царской семьи в ужасном подвале, представил, как пули из револьвера вонзаются в хрупкое тело цесаревича, я испытал в груди ужасную боль. Что со мной происходит?

— Вы и есть Романов. Вы и есть цесаревич. Вы и есть претендент на русский престол. Когда я вас увидала, меня поразило ваше сходство с Государем Императором, не внешнее, а внутреннее, духовное. Наивность, доверчивость, прямота. Исходящий от вас свет и одновременно глубокая печаль, необоримая и трагичная. Я почувствовала вас сердцем, как будто ангел пролетел и сказал: «Это он». Я из старинного дворянского рода Волховитиных. Мои предки сражались под Псковом со Стефаном Баторием. Вместе с Петром ездили в Голландию и строили на Балтике флот. Вместе с Суворовым брали Измаил. Погибали на Бородинском поле и под Плевной. При большевиках нас расстреливали под Воронежем, рубили шашками в Крыму, морили на лесоповалах. Я — последняя из Волховитиных. Всю жизнь живу среди враждебных, чужих, оглохших и ослепших людей. Несу под сердцем золотую свечечку своей фамильной веры, родовой чести и красоты. Когда я вас увидала, эта свечечка вдруг ярко вспыхнула. Вы тот, долгожданный, кого вымаливали соловецкие мученики, о ком мечтали изгнанные за правду эмигранты, кого

выстрадала Россия. Верьте мне, вы получите царство, и при вас Россия снова станет могучей православной монархией, империей света.

Ее слова кружили ему голову. Не безумной, неисполнимой мечтой. Не честолюбивой страстью. А звуками чудесного голоса, музыкой близких, сияющих глаз, песнопениями прекрасного лица, ставшего вдруг драгоценным. Ее лоб с разлетом изумленных золотистых бровей, на которые хотелось дохнуть. Ее губы с тончайшим рисунком, которого хотелось коснуться губами. Ее высокая белая шея с розовой ниткой кораллов, под которой трепетала нежная жилка.

За окном, по темной воде, плыла баржа, плоская, низко сидящая, с прожектором на высокой мачте. Прожектор озарял палубу, на которой кружились в танце клоуны и шуты. Ряженые, размалеванные, в колпаках, смешных балахонах, полосатых чулках. Ходили взад-вперед на ходулях. Кувыркались. Жонглировали тарелками и кеглями. Среди них расхаживал косматый медведь. Скакал рогатый козел. Гримасничала дрессированная обезьяна. Плавучий цирк оглашал берега бравурной музыкой, хохотом. На турнике кружилась, сверкала, кидалась вниз и снова взлетала маленькая гимнастка, похожая на серебристую птицу. Цирк проплывал, оставляя на воде пестрое отражение, будто за баржой тянулось лоскутное одеяло. Алексей улыбался блаженно, радуясь этой детской потехе. Волны раскачивали поплавок, и ему казалось, что он на качелях.

Он вдруг ощутил хрупкость, быстротечность, случайность этих драгоценных мгновений, которые были, как разноцветная искра в хрустальном бокале: голову поверни — и погаснут. И нужно сберечь эту светоносную грань, этот ускользающий поворот головы, чтобы не исчезли ее близкие брови, рисунок губ, похожий на розовое крыло мотылька, чтобы продолжала биться на шее ее хрупкая милая жилка. Нужно покинуть этот коварный город, спрятаться там, где их не достанут рубящие сабли, лязгающие револьверы, грубые крики насильников. Где они сберегут эти хрупкие мгновенья, эту радужную искорку, эту горящую свечечку. Теперь же, немедленно, встать и уехать.

— Мы так мало знакомы, и так много друг другу сказали. Мы должны дорожить этой чудесной случайностью. Или, напротив, этой неслучайной, нам уготованной встречей. Ее надо сберечь, сохранить.

Здесь столько коварства и хитрости, столько тайных угроз. Мы должны уехать. Сбежать из плена. Перелезть высокую стену, о которой вы говорили. Вырваться из равелина. Убежим, заметем следы, чтобы нас не догнали. Как в сказке, кинем гребень, и вырастет непролазный лес. Кинем полотенце, и разольется река. Убежим в Сибирь, где «сосна до звезды достает».

— «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе?»

— «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы надо мной в первобытной красе».

Это было восхитительное совпадение, к ним одновременно явились строчки из русского священного текста. Значит, они оба молились по одному и тому же молитвеннику. У обоих было одно и то же евангелие.

— Я знаю заброшенные деревни в тайге. Поселимся в избушке. Я буду охотиться, рыбу ловить, собирать кедровые орехи. Нас никто не отыщет. Мы избегнем опасности. Не будем знать ничего об этом ужасном жестоком мире, где казнят царей, убивают поэтов, тихие родовые усадьбы оплетают колючей проволокой. Давайте встанем сейчас и уедем.

— Нет, мы не можем уехать. У вас совсем другая судьба. Вы избранник. Вам суждено стать русским царем. Спасти Россию, воссоздать великую империю, где восторжествует дух, воцарится красота, возобладает могущество, не свирепой силы и подавления, а добра, справедливости, русского стремления к божественной правде. Я вижу вашу судьбу, ваш венценосный удел. Я буду молиться за вас, следовать за вами, благословляя издалека ваш путь. И если вы позовете, я окажусь рядом. Буду вам служанкой, помощницей. К вам придут все народы, все обиженные и оскорбленные, все обожающие Россию. Ваш удел — воссоздать Империю, чертежи которой уже приготовлены, лежат на небесном престоле. Ждут, когда вы их перенесете с небес на землю.

Она говорила страстно, с молитвенным упованием. Вовлекала его в свою веру, в свое пророчество. Она была ясновидящей. Прозревала его триумфальный путь, его победное шествие. Венчала на царство. Набрасывала ему на плечи горностаевую мантию. Надевала на голову золотую корону. Вела к золоченому трону под парчовым балдахином.

В тронном зале под хрустальными люстрами склонялись перед ним сановники в алых лентах, полководцы, усыпанные орденами, убеленные сединами государственные мужи, славные на всю Россию поэты и художники. Голова у него кружилась, и он с обожанием, с мучительной сладостью видел, как плещет зеленая волшебная влага в ее сияющих близких глазах, как приближаются к нему ее губы, словно мотыльковые, в нежном узоре, крылья.

За окном, в сумерках, по густой маслянистой воде, проплывал военный катер с отточенным носом, упрямой рубкой, контуром пулемета. Его боевая оснастка не пугала, а доставляла наслаждение. Мачта, борта, пулемет были украшены гирляндами, усыпаны бриллиантами, и он казался драгоценной брошью, опрокинувшей в темную реку лучистое отражение. Волны принесли к поплавку этот блеск, и Алексею казалось, что поплавок снялся с якоря и плывет вслед за бриллиантовым кораблем.

— Может быть, прав режиссер Олеарий? — говорил Алексей, провожая взглядом бриллиантовую волну. — Перевоплощение возможно? Переселение души и преображение тела? Ведь об этом сказано в Писании, об этом говорили поэты и философы древности. На это сегодня направлены лучшие умы человечества. Вы произносите огненные слова, в которых присутствует лучистая, на меня обращенная сила. Я чувствую, как начинаю меняться под воздействием этих лучей. Меняется состав моей крови, меняется строй моих мыслей, ход моей судьбы. Значит, преображение души и тела возможно?

— «Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь»… — ее голос был певуч, и он не испугался, а изумленно восхитился тому, что к нему секундой раньше залетел тот же стих, и она словно прочитала скользнувшую в его памяти строчку.

— «Но Святой Георгий тронул дважды пулею не тронутую грудь», — вторил он ей, чувствуя волшебное совпадение их переживаний, искавших и нашедших среди бесчисленных стихов один и тот же, им обоим ниспосланный стих.

— «Я угрюмый и упрямый зодчий храма, возводимого во мгле»… — ее голос был льющийся, струнный, и этот струящийся звук вливался в него, и вместе со стихом вливалась она сама, наполняла его своим дыханьем, своей сладкой силой, прелестной, пьянящей

женственностью. Ему казалось, она перетекает в него, растворяется в нем, превращается в него.

— «Я возревновал о славе Отчей, как на небесах, и на земле». — Он нараспев продолжал вслед за ней слова русского акафиста. Перевоплощался в нее, насыщал ее своим обожанием, своим жадным влечением. Они были нерасторжимы, слились, преодолев изначальное разделение. Стих, который они читали, был волшебным псалмом, сопровождал их венчание, их соитие, их нерасчленимую близость.

— «Сердце будет пламенем палимо»… — ее голос звучал торжественно, пророчески, словно от нее исходила огненная и страстная весть. Она славили новое царство, новую Империю, императора-чудотворца. Он был ее кумиром, ее императором, которого она возводила на трон.

— «Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны». — Как возвышенны были слова стиха. Какой святостью исполнено новое царство. Как чудодейственно преображалась неживая материя, обретая свойства жизни вечной. Какое искупление находила горькая история Родины, обретающей черты земного рая. Как он любит ее, сидящую перед ним, боготворит ее.

Теперь они читали вместе, на два голоса, как поют на клиросе, держа перед глазами священный текст. Их двухголосие отражалось от сводов и столпов волшебного храма, расписанного дивными фресками. Они стояли под венцами в луче света, и своды над ними теряли вещественность, раскрывалась бесконечная высота с мириадами звезд.

И тогда повеет ветер странный,
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Преображение случилось. За окном вода переливалась певучими радугами. В небесах загорались разноцветные светила и луны. Над городом реяли крылатые духи, несли волшебные граненые фонари. Их грани отражались в реке. С волны на волну перебегали невесомые крылатые дива. С набережной в небо взлетали пышные букеты, алые и

золотые соцветья. Огненные ленты струились ввысь, рассыпаясь серебристой дрожащей пылью. Мост превратился в прозрачную дугу, переливался, как стеклянный бокал, розовым и фиолетовым.

Алексей чувствовал бесконечную любовь и благодарность к Творцу, соединившему его с драгоценной женщиной, окружившему их несказанной красотой. И внезапная острая боль, режущая тоска, предсмертные слезы. Чувство тщеты и беспомощности. Близкая тьма, в которой неизбежны траты, жестокие мученья, гибель любимых и близких.

Он видел ее лицо, исполненное муки. Оно темнело, на нем гасли сияющие глаза, исчезали пленительные губы. Вместо лица открывался провал, куда он падал с беззвучным воплем, не понимая, чем провинился перед Творцом, какую заповедь нарушил, каким неосторожным словом и помыслом навлек на себя ею гнев.

Свет, озарявший ресторан, погас. Воцарилась тьма. Лишь за окном догорали в небе искры фейерверка, крутилась спираль аттракциона, плескался на реке тусклый отсвет.

Внезапно темный зал взорвался неистовым звоном и грохотом. К их столу, в тусклый отсвет, подскочили плясуны и музыканты. Били в бубен, дули в узкую дудку, звенели аккордеоном. Усатые лица, радостно оскаленные рты, выпуклые неистовые глаза. Извивались, притоптывали, оглашали воздух яростными, грохочущими звуками. В дальнем углу ресторана растворилась озаренная дверь. Из нее выскочил усатый джигит, ликующий и поющий. Нес перед собой поднос, на котором пылал огонь, окруженный шампурами с мясом. Жонглируя подносом, летел через зал, приближаясь к столу, где сидели Алексей и Марина. Следом выскакивали официанты, бравые, легконогие, танцующие. Вскрикивали, ударяли на бегу в ладони, мчались за подносом, на котором пламенел огненный дар. Танцоры приблизились, обступили стол, озаренные красным пламенем. Шипело темное мясо, падали в огонь яркие капли. Усатый джигит с сияющими глазами ударил в ладони, упал перед Мариной на одно колено.

— Да будет счастье с вами во веки веков! — пылко воскликнул он.

Это был жертвенный дар. Алексей видел, как изумленно и радостно приподнялись у Марины брови, как смеются ее растворенные губы.

Вспыхнул свет. На серебряном подносе догорал огонь, шипело розовое мясо. Грузины с поклонами, разгоряченные, доброжелательные, красивые, пятились, скрываясь в дальних дверях. Издалека кланялась Мама Зоя, добрая волшебница и колдунья, посылая от сердца дар грузинской княгини русскому цесаревичу.

Они покинули ресторан, когда начался дождь. Асфальт превратился в блестящее черное зеркало, по которому скользили белые огни, отражаясь в черном стекле. Машина поджидала их. Водитель Андрюша выскочил, раскрыл зонтик, предупредительно подводя Марину к автомобилю.

— Куда прикажете?

— Куда-нибудь, — отрешенно махнул рукой Алексей, погружаясь в бархатный сумрак салона, в котором таинственно светились красные и голубые циферблаты. — Куда глаза глядят.

Они мчались в дожде, среди огненных брызг, шелестов, плесков, пересекая изумрудные и рубиновые отраженья реклам, врываясь в расплавленную магму проспектов, ныряя в разноцветное зарево трепещущих небес.

Они вышли на Тверской около его дома. Стояли под дождем. Он видел, как по ее лицу бегут капли.

— Ко мне зайдем?

— В другой раз.

— Значит, завтра?

— Нет, завтра вы улетаете. С вами будет другая телевизионная группа.

— Куда улетаю? Почему другая?

— Так решило начальство.

— Но я смогу вам звонить?

— Вот мой телефон. — она диктовала номер, он вслед ее словам нажимал жемчужные кнопки. Позвонил, — в кармане ее плаща отозвался телефон, отпечатал своими огоньками и клавишами его номер.

— Когда мы увидимся?

— Скоро.

Она потянулась к нему, сжала ладонями его щеки и поцеловала. Он чувствовал ее мягкие сладкие губы, не хотел отпускать, хватал

своими губами. Видел, как близко дрожат ее закрытые веки, как текут по лицу разноцветные капли дождя.

— Счастливо! — Она скользнула в машину, и та зашелестела по воде, словно отчалила от пирса. На Пушкинской площади дышал, пламенел огромный огненный крест. Среди бесконечных бриллиантов и рубинов затерялась машина, в которой уносилась его любимая женщина. Губы все еще чувствовали душистый кус ее губ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наутро он ждал визитеров, и они не замедлили явиться. Раздался энергичный длинный звонок. Алексей пошел открывать. На площадке стоял широкоплечий, тяжеловесный мужчина с обилием мяса в щеках, в складках лба, в решительном властном носе, из ноздрей которого торчала рыжеватая щетина. За плечами незнакомца виднелся полковник в фуражке с непомерно высокой тульей, подобострастный и улыбающийся.

— Алексей Федорович, разрешите представиться, — уверенно произнес гость, переступая порог. — Министр обороны Российской Федерации Курнаков. Честь имею!

Он произнес это аппетитно и сочно, тряся Алексею руку, веря, что визит его приятен. Напоминал бифштекс, небрежно брошенный на сковородку.

— Чем обязан? — сухо спросил Алексей, пропуская гостей в прихожую.

— Это я обязан, Алексей Федорович, — захохотал министр, и вслед ему захихикал полковник. — Обязан вас пригласить с собой в машину, которая доставит нас на военный аэродром Чкаловский. Там ждет самолет, специально для нас снаряженный. Летим на космодром Плесецкий, где сегодня состоится пуск новой баллистической ракеты «Порыв». Вы увидите новейшую русскую ракету, которая для американцев, доложу я вам, горше редьки. Можно сказать, Царь-Ракета, пробивает любую противоракетную оборону. Как говорится, от нашего стола вашему столу.

— А разве мы договаривались? — Алексей пытался уяснить смысл приглашения, походившего на приказ.

— Мне сказали, что вы в курсе. Я военный, не обсуждаю приказы начальника.

Начальником министра обороны мог быть только Верховный главнокомандующий, Президент Лампадников. Алексей, уже привыкший не удивляться повышенному вниманию к своей персоне, не стал выведывать, в чем состоит интерес Президента к нему, скромному провинциалу. Стал собираться в дорогу.

— Максимыч, помоги Алексею Федоровичу, — приказал министр полковнику, и тот услужливо принял от Алексея портфель, куда тот успел сунуть несколько необходимых в дороге вещей.

Машина, огрызаясь сиреной, разбрасывая синие блески, пробилась сквозь пробки. Промчалась по шоссе и причалила прямо к трапу белоснежного самолета. Экипаж выстроился под крылом. Министр поздоровался с летчиками за руку с тем особым, начальственно-отеческим выражением лица, какое бывает у высоких военных в минуты хорошего настроения, перед охотой или баней. Самолет взмыл над туманной зеленой землей и, пробив облака, оказался в яркой солнечной пустоте, отбрасывая на облака перламутровую легкую тень. В хвостовой части салона скромно разместились офицеры с портфелями и папками, телеоператор, ассистент и мужчина-режиссер, подменивший собой Марину. В носовой части, где уселись Алексей и министр, очень быстро был покрыт скатертью столик, уставлен закусками, хрустальными рюмками, и в могучих мясистых руках Курнакова появилась бутылка французского коньяка.

— Ну что ж, Алексей Федорович, за приятное, как говорится, знакомство!

Алексей вяло чокнулся, неохотно выпил. Чувствовал себя вначале скованно, испытывая раздражение подневольного человека, которого бесцеремонно принуждали каждый раз выполнять неясные для него процедуры. С каждым новым принуждением он все глубже втягивался в загадочную игру, становясь орудием чьей-то осмысленной воли, — конечно же, не этого оживленного, весьма добродушного человека, к которому с каждой выпитой рюмкой он испытывал все больше симпатии. Министр Курнаков, опрокидывая в себя коньячные струи, все больше багровел, глаза его безумно синели, а из ноздрей, шевеля волоски, вырывалось горячее дыхание.

— Должен вам доложить, Алексей Федорович, что все военные в душе монархисты. Пусть не батюшка-царь, а вождь, такой, как Иосиф Виссарионович. Или наш бывший президент Виктор Викторович Долголетов, человек царской воли. Или наш нынешний Президент Артур Игнатович Лампадников, любого императора стоит. Я сам монархист, и этого не скрываю. Оттого так приятно мне с вами завести

знакомство и представить вас нашим генералам, которые вас ждут на космодроме.

В иллюминаторе блестел белый бивень крыла, на котором не хватало резьбы якутских оленеводов. Толпились перламутровые башни облаков. Коньячная рюмка летала взад-вперед от губ министра к столу и сразу же обратно, к мокрым, сочно говорившим губам.

— Скажу вам под большим секретом, что наши головастые ученые разработали целое семейство сверхсовременных ракет, которые мы начинаем испытывать. Будь моя воля, я бы каждому изделию дал имя одного из членов царской семьи, увековечив память великомучеников. Представляете, летит ракета: «Царь Николай Александрович». Следом ракета: «Царица Александра Федоровна». Далее: «Царевич Алексей». Далее: «Царевна Ольга», «Царевна Татьяна», «Царевна Анастасия», «Царевна Мария». Семейство ракет, защищающее Россию. Может быть, мы озвучим эту идею? Вам в самый раз и озвучить.

Через два часа самолет погрузился в облака и сел на мокром бетоне среди северной еловой тайги. Их встречали. Начальник космодрома, грузный, полный генерал, отдавший у трапа рапорт министру. Другие генералы и полковники, которых представлял Алексею начальник космодрома, и те с подчеркнуто, как им казалось, кастовым выражением, пожимали ему руку. Телевизионная группа снимала встречу. Алексея, окруженного военными.

— Какая программа, Антон Иванович? — спросил министр. — Так и будешь нас держать под дождем?

— Если Алексей Федорович не возражает, мы сейчас положим вещи в гостиницу, перекусим с дороги, а потом посмотрим стартовый стол с готовой ракетой. Затем отдохнем, а в 21.00 на смотровой площадке вместе с конструкторами и испытателями будем наблюдать пуск. Все пройдет хорошо, потому что мы, ракетчики, — люди суеверные и очень надеемся, что ваш приезд, Алексей Федорович, принесет нам удачу. Стало быть, после пуска мы устроим дружескую встречу с нашим коллективом в узком, как говорится, кругу. Побеседуем за чашкой чая. Вы, Алексей Федорович, расскажете нам о своем видении дел. Должен сказать, что офицеры и генералы очень ждут встречи. Многие видели вас по телевидению и разделяют ваши убеждения… — Все это начальник космодрома произносил с

некоторым волнением, мимолетно взглядывая на министра, словно сверял свои слова с поступившими ему указаниями.

— Тогда действуй по плану, Антон Иванович, — министр кивком головы уверил подчиненного, что тот придерживается инструкции.— Гостиница, перекус, а то мы с Алексеем Федоровичем в самолете не дообедали.

Кортеж машин пронес их по военному городку. Оператор снимал Алексея, возлагавшего цветы к памятнику погибшим при испытаниях ракетчикам. Еще он снимал Алексея в Доме офицеров, где его окружили женщины — жены военных, преподнесли букеты.

В музее космодрома он сделал в книге отзывов неловкую, чуть выспреннюю запись, и это тоже запечатлела телекамера. Посещение детского сада и школы, солдатской казармы и военного училища также заняло время. Наконец, утомленный встречами, приняв в гостинице душ и еще раз вкусив обед с тостами за ракетные войска стратегического назначения, за сильную Россию и великих русских царей, он погрузился в автомобиль. Они покатили по бетонке среди широких лесных просек, выезжая на просторные поляны, где были оборудованы ракетные старты, — железнодорожные пути, выложенные бетоном площадки, стальные фермы, забетонированные пологие спуски, вокруг которых чернел обгорелый лес. Здесь в моменты пусков бушевало пламя, ревела раскаленная плазма, ракеты возносились над лесами ослепительными колокольнями. Алексею казалось, что он видит в тучах незарастающие отверстия, сквозь которые ракеты проникали в космос. В этих скважинах, как в прорубях, трепетала пульсирующая бесконечность.

— Ну, вот и наша родная, — начальник космодрома преобразился, и в его обветренном, грубом лице появилось подобие нежности, какая возникает у пожилого отца, созерцающего юную дочь.

Леса расступились. Отпрянули голубые туманные ели и цветущие ивы, напоминавшие золотые подсвечники. На открытом пространстве, стройная, белоснежная, высилась ракета. Ее нежно охватывала ажурная ферма, словно изящный кавалер обнял за талию танцовщицу. К ней из лесов тянулись дороги и просеки. У ее подножья завершалась железнодорожная колея. На поляну взволнованно выбегали высоковольтные мачты, развешивая гирлянды изоляторов. Ракета была

центром притяжения, несла в себе сгусток мощи, готовая скользнуть в небеса.

Выйдя из машины, Алексей с волнением созерцал ракету. Поднимал лицо к небу, из которого сыпалась холодная роса. Ракета казалась тонкой, стремительной, стреловидной, с хрупкими перемычками, придававшими грацию. Завершалась отточенным жалом, в котором присутствовала яростная жестокость, неодолимое стремленье умчаться, достичь, вонзиться огненной раскаленной струей. Он чувствовал ее человеческую, земную природу и одновременно ее сверхчеловеческое предназначение. Ее сотворили люди, но сделали это по заданию разгневанного Творца, который поручил людям самим позаботиться о Конце Света. Снял с себя бремя ронять на землю ядовитые звезды, разливать по планете кипящие океаны, обрушивать на города и селенья распиленные небеса. Он нашел среди людей гениальных изобретавшей и инженеров и научил их построить орудие, завершающее земную историю.

К нему подошел начальник космодрома и отвлек внимание, указывая на людей в комбинезонах, совершавших подле ракеты какие-то действия. Цепко поднимались и опускались по ажурной ферме. Подключали змеящиеся, в металлической оплетке жгуты. Казались сосредоточенными муравьями, облепившими сочный стебель.

— Это самая умная ракета в мире. После старта она выйдет на баллистическую траекторию и сразу спрячется от глаз противника, окружит себя тысячами помех, как семенами одуванчика. Она преодолеет противоракетную оборону, развернутую в Польше и Чехии и уйдет через полюс к Америке. На Аляске ее встретит еще одна заградительная система, но ракета изменит траекторию, снизится, начнет рыскать, сбивая с толку радары, а потом неожиданно, с непредсказуемого направления, выйдет на цель и ударит. Она умная, хитрая и неотвратимая. Такая она, наша голубушка!

Алексей испытывал больное влечение к ракете. Любовался и ужасался. Находил совершенными ее пропорции, ее легкость и гармоничность, сознавая, что эти безукоризненные формы вписывают ракету в завершающий, ниспадающий отрезок истории, на конце которой расцветет жуткий цветок последнего взрыва. Ее красота казалась венцом творения. В ней чудились скульптуры Фидия и тексты Илиады, храм Василия Блаженного и философия Канта, русские

народные песни и Эйфелева башня. Вся необъятная культура от наскальных рисунков до изысканной компьютерной графики присутствовала в орудии Конца Света, делая его прекрасным. Но рассудок ужасался, не мог постичь апокалипсической диалектики, превращающей благое стремление к совершенству в чудовищное отрицание бытия. Красота ракеты была дьявольской, в ее целомудренной белизне чудилась сатанинская ухмылка.

— Как мы ее, голубушку, спасали, когда Борис Николаевич, земля ему пухом, хотел ее запретить. Конструкторы падали в голодные обмороки, а чертежи доводили. Американцы их миллионами долларов из России сманивали, а они не ехали. Офицеры-испытатели по полгода зарплаты не получали, ходили лес валить, вагоны разгружать, а с космодрома не уезжали. От нас электричество отключали, бензина лишали, хотели закрыть космодром, а мы отстояли. В этой ракете, если посмотреть, наши слезы и наша кровь. Все мы в нее по стакану своей крови влили, вот она и стоит, такая красавица.

Алексей чувствовал неумолимый вектор истории, который завершался острим ракеты. Неодолимый напор, толкающий человечество к своему концу. Все духовные ценности и богатства, помещенные в головную часть ракеты, откуда полыхнет раскаленное ядовитое пламя. Старался противодействовать напору. Обращал вспять жестокий вектор. Останавливал стремление человечества к самоубийству. Заговаривал, преображал взрывчатку, чтобы ракета взмыла в космос, достигла безжизненной планеты, опустилась среди безводных морей и ледяных кратеров, и из нее потекли животворные реки, распустились божественные сады, поднялись дворцы и соборы и среди цветов, окруженная светоносными силами, пошла босоногая и прекрасная «Весна» Боттичелли.

Он вспомнил вчерашнее свидание с Мариной, ее женственность, красоту. И этой нежной, обожаемой мыслью совершилось преображение. Орудие гибели превратилось в источник творчества.

— Перед каждым пуском мы освящаем ракету. Для этого у нас есть гарнизонный батюшка, отец Никодим.

Из фургона появился священник в облачении, фиолетово-золотой, с крестом и священной книгой. Служка в темном подряснике нес серебряную чашу с горящей свечой и раскладной столик. Военные приблизились, обступили священника. Испытатели среди высоких

ажурных конструкций перестали двигаться, смотрели вниз. Священник глухо, неразборчиво загудел, шевеля русой бородой, поднимая троеперстие ко лбу. Стоящие вокруг генералы, министр, офицеры свиты неумело и старательно крестились. Алексей, глядя на белое, улетающее ввысь острие ракеты, перекрестился, словно перед ним была колокольня, рассылающая по окрестным лесам благую весть, и на этот благодатный звон откликались кукушки, ярче горели цветущие золотые ивы, несся в тучах лоскут голубого неба. Телеоператор осторожно и вкрадчиво обходил молящихся офицеров, снимая ракету и Алексея. Священник, завершив молитву, окунул кропило в серебряную чашу и стал размашисто брызгать на ракету, на генералов, на Алексея, и, вторя ему, вновь посыпал мелкий дождь, осыпая всех небесной росой.

— Алексей Федорович, — начальник космодрома отвлек Алексея от мечтаний. — Мы тут с товарищем министром посовещались. Он сказал, что вы с ним обсуждали возможность присвоения ракетам имен царских мучеников. Это, конечно, дело высшего руководства страны, будет такое или не будет. Но сейчас, на испытательном пуске, можно было бы написать на ракете какое-нибудь царское имя. Не откажитесь, Алексей Федорович. — Он обернулся, кивнул. На его знак появился полковник, держа ведерко с красной краской и кисть, — Любое царское имя, на ваше усмотрение.

Алексей принял ведерко и кисть. Сопровождаемый полковником, стал подниматься по стальным конструкциям. Миновал металлическую юбку, окружавшую основание ракеты. Переступил через жгуты в сетчатой оплетке, подключенные к приборному блоку с циферблатами. Перед ним оказалось белое, как слоно– иая кость, тело ракеты. Помедлил. Окунул кисть в ведерко. Красной краской вывел на ракете: «Царевич Алексей». Надпись вместе с ракетой улетит в космос, достигнет Божьего престола, и Господь прочитает имя святомученика, прикажет всем праведникам и угодникам молиться за Россию. Смотрел, как, отделяясь от букв, скользят вниз алые струйки.

Они возвращались в гарнизон по широкой просеке, среди темных, напоенных дождем и туманом елей. По обочинам бетонки цвели ивы. Алексею захотелось вдохнуть их запах, почувствовать губами влажную сладость соцветий.

— Если можно, остановите на минуту.

Машина остановилась. Военные вышли, стали курить, равнодушные к чудесной природе. Алексей сошел с бетонки на мокрую землю, на которой отпечатались огромные клетчатые следы ракетовоза. Тягач провез громаду ракеты, выдавив в грунте ребристые, наполненные водой вмятины.

Еловые ветви были полны дождя, усеяны прозрачными каплями. Алексей качнул еловую лапу, и капли обильно сыпались на лицо и плечи. Ива, вся в золотистых цветах сияла среди синей хвои. Губы нежно ухватили цветок, выпили медовую сладость. И вновь мысль о Марине томительно и блаженно посетила его. В лесу гулко барабанил дятел. Где-то рядом в дожде кричала кукушка. Было странно ощущать вечную красу природы, которую прорезают бетонные трассы, пронизывают высоковольтные провода, прожигают огненные струи ракет. Природа, зажигая золотые лампады ив, захлебываясь кукованиями, не замечала упорной, неукротимой человеческой деятельности. Два мира — природы и человека, — пересекаясь, не замечали друг друга, существовали отдельно. Он наклонился к сочной, недавно оттаявшей земле с отпечатком громадного колеса. В наполненной водой вмятине лягушка отложила икру. Прозрачный студень был полон черных зерен, слабо дрожащих икринок. Жизнь трепетала, росла, стремилась вырваться из стекловидной гущи, замелькать, заструиться множеством юрких существ. Не ведала, что где-то на стапелях дремлет ракета, в ангаре отдыхает тягач. В урочный час захватит ракету, потянет по просеке. Громадное колесо нащупает недавний след, заполнит вмятину, расплющит слепую, беззащитную жизнь. Вот так и он, Алексей, — целует цветы, слушает кукушку, думает о прелестной женщине, уповая на чудо. Но где-то, невидимое и громадное, движется колесо, готовое раздавить и расплющить.

«Господи, спаси и сохрани!» — молил он, шагая к машине.

В гостинице, казенной, гарнизонной, даже картина на стене — взлетающая ракета — не позволяла забыть о военном предназначении этой неуютной обители. Но Алексей, утомленный перелетом, небывалыми впечатлениями, с благодарностью к байковому одеялу и сыроватой простыне, кинулся в постель и заснул, погружаясь в волнистые сновидения, где из каждой волны смотрели на него чьи-то забытые лица, словно старинные фотографии исчезнувших и любимых людей. Он был разбужен твердой поступью в коридоре, стуком в дверь.

Открыв глаза, увидел, что в номере темно, под дверью горит полоса света и на пороге, заслоняя голую лампочку черной фуражкой, появляется грузная фигура начальника космодрома:

— Алексей Федорович, до старта осталось сорок минут. Пора на смотровую площадку.

В автомобиле их поджидал министр обороны Курнаков. Несколькими машинами тронулись по бетонке, погружаясь в леса, и скоро оказались на обширной поляне с рядами фонарей, асфальтированной площадкой, над которой возвышалось сооружение, напоминавшее башню. Ее венчала крыша с множеством антенн, ниже располагалась открытая галерея, светились окна.

— Прошу, товарищ министр, — начальник космодрома приглашал гостей, — давайте поднимемся, Алексей Федорович.

Они одолели высокую лестницу. Достигли открытой галереи, окруженной деревянными поручнями.

— Вон там ракета, — начальник космодрома протянул руку в шрую моросящую темень, где в лесах, удаленный, светил холодный синеватый огонь. Там, на старте, озаренная прожекторами, стояла ракета, и на мокрой, блестящей от дождя оболочке была выведена надпись: «Царевич Алексей».

Начальник космодрома толкнул дверь. Открылось обширное помещение с длинным столом и стульями, множество горящих экранов, перед которыми сидели офицеры, а у стола над схемами, чертежами, планшетами сгрудились озабоченные, дымящие сигаретами люди, чей вид удивил Алексея. Среди них было несколько генералов в помятых, несвежих плащах. Немолодые, С небритыми лицами мужчины, в скомканных пиджаках и неловко повязанных галстуках. Нервные куряки, просыпающие пепел мимо пепельниц прямо на чертежи. Все были встревожены, напряжены, мельком, отрешенно взглянули на визитеров и снова погрузились в чертежи и схемы.

— Это цвет нашего ракетостроения, — негромко пояснял начальник космодрома. — Главные конструкторы. Специалисты по топливу, рулям, электронике. Генеральный конструктор, создавший ракетный комплекс «Порыв». Они не брились из суеверия, чтобы пуск был удачным. Они вообще как язычники, со своими амулетами и талисманами.

Алексей посмотрел на начальника космодрома и заметил на его полном лице белесую, не тронутую бритвой щетину, а в руках какие-то четки, которые тот нервно теребил.

— Товарищи, министр обороны прибыл на космодром, чтобы лично принять участие в старте, — эти слова начальник космодрома произнес рыкающим командирским голосом, от которого обитатели помещения словно проснулись. Офицеры оторвались от мониторов и бодро вскочили. Конструкторы и генералы оставили чертежи и обступили министра, докладывая, пожимая руку. — А еще я хочу вам представить нашего гостя Алексея Федоровича Горшкова. Вы его все, должно быть, видели по телевизору. Он прибыл к нам по рекомендации политического руководства страны. Вы знаете, чей он отпрыск и какое отношение он имеет к нашей русской истории.

Алексей почувствовал неприязнь, исходившую от ракетчиков. Недоверчивые, исподлобья взгляды. Сумрачные морщины. Неодобрительное бормотанье. Его визитом были недовольны Его появление раздражало. От него поспешили отвернуться.

— Не обращайте внимания, Алексей Федорович, — изви нялся начальник космодрома, теребя четки. — Это от суеверья. Они боятся, что появление незнакомого человека сорвет старт. Знаете, как женщина на борту корабля. Или та же женщина в алтаре. Казалось бы, гиганты мысли, ученые, физики, а суеверны, как дети.

Алексей отошел в сторону, смущенный этой нескрываемой антипатией. Сознавал неуместность своего появления. Стыдился своего праздного любопытства, мешающего рискованной работе специалистов.

На экранах пульсировали импульсы, змеились синусоиды, трепетали разноцветные зубцы. Офицеры в наушниках принимали информацию, передавали в микрофоны команды и коды, каждый из которых описывал поведение ракеты, — ее двигателей и топливных блоков, управляющих органов и телеметрических систем. Алексею казалось, офицеры были соединены с ракетой своими органами, питали ее живыми соками, сплелись нервными волокнами и кровяными сосудами. Были донорами ракеты, пересадили в нее свои почки, печень, полушария мозга.

Конструкторы, обступившие стол, уткнувшиеся в чертежи испытатели, представители корпораций и фирм, военпреды и

инженеры заводов были носителями колоссальных знаний, владели невиданными технологиями, воплотили в ракете мечты и прозрения. Они воздействовали на ход исторических процессов, участвовали в мировой борьбе и соперничестве. Созданная ими ракета своим острием вытачивала желоб, по которому польется грозный поток истории. Их интеллект обладал могуществом. Терпение и воля делали их хозяевами мира. Этика государственного служения превращала в героев. Но было странно видеть их неказистые одежды, провинциально повязанные галстуки, несвежие рубашки, невычищенную обувь. Их затрапезный вид не мог соперничать с кумирами телеэкранов. С блистательными стилистами и спортсменами, великолепными режиссерами и модельерами, актерами и эстрадными певцами. Они были не видны народу, которого развлекали фигуристы и дурачили светские львицы, предлагая эталоны поведения и образцы для подражания. Алексей чувствовал порочность уклада, в котором лучшие люди страны были спрятаны в тень, а глаза слепили глянцевые обложки с гламурными красавицами и мнимыми суперменами.

— Внимание, до старта осталось десять минут, — раздался металлический голос из репродуктора, и эти металлические слоил заставили быстрее бежать по экрану синусоиды и импульсы, теснее сдвинуться конструкторов и военных.

Алексей наблюдал со стороны за работой одухотворенных людей, следы переутомления на простых русских лицах, обыденных и знакомых, какие встречаются у заводских проходных, в селах и рабочих городках, в переполненных электричках. Он любил эти лица, испытывал к ним благоговение и любовь. Они были лучшими из русских людей, искупая царившие повсюду праздность, потерю смысла, духовное прозябание. Они были русские витязи, не сдавшиеся мертвящим силам, тлетворным энергиям, ведущие бой за русское возрождение. Ему вдруг показалось, что он их уже видел однажды. Они были столь типичны, что напоминали героин кино, только те талантливо вживались в героический образ, а эти сами являлись героями.

Он вдруг почувствовал на себе чужой взгляд. Невысокий, сгорбленный, очень худой человек с заостренным носом, впалыми щеками и тревожными взглядом, единственный из всех, наблюдал за

ним. Такая болезненность, худоба и мучительная тревога в глазах бывает у горбунов. Человек был в нейлоновой куртке, которая топорщилась на загривке, скрывая бугор. Казалось, он что-то хочет сказать Алексею, передать тревожную весть. Но снова щелкнул репродуктор, и металлический голос произнес:

— До старта осталось пять минут.

Холодный голубоватый огонь над лесами недвижно горел. Невидимая ракета была окружена тысячами неслышных сигналов. В ней пробегали бессчетные импульсы, переливались бесшумные волны, подбираясь к ядру, готовому воспылать и взреветь.

Алексей испытывал небывалое волнение. Его допустили в святая святых обороны. Сделали участником действа, от которого зависела участь России. Ему доверяли, на него уповали. Ему предлагали посвятить себя делу Империи, внести свой посильный вклад в ее безопасность. Взять в свои руки отточенный меч государства.

— Стартовая готовность «два», — произнес металлический робот.

Алексей сознавал — либо ракета взлетит, и оборона России окрепнет, и враг, желающий погубить страну, будет остановлен. Либо ракета взорвется на старте, и откроется брешь, в которую устремятся бесчисленные ракеты врага, зальют страну ядовитой расплавленной магмой. Что может сделать он, пленник неясной интриги, провинциальный историк, которому навязывают роль самозванца? Как может помочь России?

— Стартовая готовность «один», — возвестил металлический робот.

Ему вдруг открылось, — подобно сидящим у экранов ракетчикам, он подключит к ракете свое сердце. Внесет, живое, пульсирующее, в тело ракеты. Поместит среди электронных блоков контейнеров с топливом, металлических раструбов.

Страстным порывом, глубоким вздохом, молниеносным усилием он разъял себе грудь. Перенес брызжущее сочное сердце из груди, через леса, под моросящим дождем туда, где горел голубой огонь. Вбросил сердце в ракету. Стало тяжко дышать. В груди заухало, заломило в висках. Он чувствовал грудью непомерную тяжесть ракеты, ее угрюмую жизнь, частью которой он стал.

— Начинается обратный отсчет… Десять, девять, восемь…

Он сделал выбор — отдал свое сердце ракете. Принес себя в жертву Родине. Так поступали до него «Сыны Отечества», слуги Империи, русские аристократы. Он, самозванец, поступил так, как если бы был цесаревичем.

— Семь, шесть, пять…

Ему было страшно. Синий огонь таил в себе его смерть. Ему оставались последние секунды перед разрывом сердца. Еще было время одуматься, изъять из ракеты сердце, поместить обратно в грудь. Отделить свою судьбу от горькой судьбы России. Но он стоял, слыша удары пульса, глядя на одинокий льдистый огонь.

— Четыре, три, два…

Он прощался с жизнью, зная, что проживает последние секунды. Молитвенно, с последней нежностью и любовью, подумал о Марине — ее золотистые изумленные брови, зеленые глаза, ненаглядные легкие руки возникли перед ним.

— Один, ноль…

В лесах полыхнуло, будто моргнула глазница. Там, где сиял мертвенный синий огонь, стал распускаться пышный одуванчик. Из белого облака встал клин огня, раздался далекий треск. На огненном столбе, узкая, белоснежная, вознеслась ракета, окруженная бесцветной плазмой. Треск превратился в гром, отточенное острие вонзилось в низкие тучи, превратилось в розовый шар. Сквозь мглу стремительно неслась спектральная звезда с четырьмя лучами, накрывая леса прозрачным павлиньим пером. Исчезла за облаками, утягивая за собой меркнущий звук, и на землю, из низких туч, опадали блески, огненные капли, мерцающие искри, будто в небесах взорвалась хрустальная люстра, осыпала драгоценные подвески.

Алексей, счастливый, потрясенный, стоял, слушая стук сердца, которое уцелело и билось в груди, и одновременно уносилось в бездонный космос, превращенное в лучистую звезду.

Испытатели слабо колыхнулись в момент старта, однако продолжали напряженно ждать, всматриваясь в мониторы, на которых плясали и струились сигналы.

— Отсечка двигателя первой ступени… — известил репродуктор. Это означало, что ракета сбросила часть своего сгоревшего тела, продолжала полет, а раскаленная ступень упала в ночную тундру, шипела и сверкала в болоте, наводя ужас на стадо оленей.

— Отсечка двигателей второй ступени. Объект вышел на заданную траекторию…

В ответ все собравшиеся на смотровой площадке взревели, возликовали, громогласно воскликнули. Кинулись обнимать друг друга. Тузили кулаками, целовались в уста. Танцевали, подпрыгивали. Седой генерал прижимал к груди стареющего конструктора. Начальник космодрома сгреб в объятья двух инженеров и по очереди их расцеловывал. Министр обороны Курнаков приседал, шлепал себя по бедрам. Они напоминали детей, играющих в «куча мала». Их серые утомленные лица порозовели, красные от бессонницы глаза сияли, морщины и складки расправились. Это была их победа, их ослепительный успех. Созданная ими ракета, могучее диво летело под звездами, улавливая в окуляры мерцанье светил, прокладывая путь среди серебряных чертежей мирозданья. Стремилось к ночной Камчатке, где десятки радаров следили за ее приближеньем.

— Цель поражена… — возвестил микрофон. Это известие породило новый всплеск ликованья. Но теперь шумная радость, торжествующие возгласы, неистовые жесты были обращены на Алексея. Его обступили, поздравляли, обнимали.

— Вы, Алексей Федорович, принесли счастье, — гудел министр обороны Курнаков.

— Я загадал, если пройдет старт нормально, значит, будет в России монархия! — вторил ему начальник космодрома.

— Каждый раз приезжайте, без вас запускаться не будем, — тормошил его Главный конструктор в съехавшем на сторону галстуке.

— С этого момента сию площадку приказываю именовать «Царской»! — басил Генеральный конструктор, обнажая прокуренные желтые зубы.

— Качать наследника русского престола! — Все кинулись к Алексею, подхватили, стали подбрасывать к потолку, и он, пугаясь и хохоча, взлетал вверх, видя обращенные к нему ликующие лица, экраны мониторов, генеральские погоны. Верил, что чудесным образом, своей жертвенностью и молитвой принес успех испытателям.

Его не оставляли в покое. Требовали автографов, сувениров. Он раздавал монетки, авторучку, завалявшийся в пиджаке клочок ткани с пришитой пуговицей. Расписывался на записных книжках, чертежах, инженерных схемах.

— Ну, спасибо, Алексей Федорович! Выручили ракетные войска! — благодарил министр. — Теперь же, по русскому обычаю, надо обмыть успех.

Они собрались в банкетном зале небольшого ресторана. И с первых же тостов Алексей оказался в центре внимания. Все поднимались, держа на весу рюмки, и обращались к нему.

— Не скрою, Алексей Федорович, я встретил ваше появление в штыки.— Генеральный конструктор, расстегнув ворот рубахи, обнажил смуглую, с крупным кадыком шею. — Мы, ракетчики, люди суеверные, набожные. Птичка не так пролетела, кошка дорогу перебежала, нож со стола упал — и мы падаем духом, ждем несчастья. Таким был Королев. Таким был Челомей. Таким был Бармин. Как нам сообщили, что на пуск приедет царевич, ну все, думаю, опять на старте взорвемся. Но теперь, когда мы сработали идеально, это, смею заметить, ваша заслуга. Через вас, должно быть, царские мученики нам помогли. С этого момента я монархист. За успех! За нашу и вашу победу! За русскую царь-ракету!

Главный конструктор, создатель телеметрии, сбросив пиджак, в одних тертых подтяжках, тянулся чокнуться с Алексеем:

— Вам, как представителю царского рода и, быть может, будущему русскому царю, скажу по секрету. У России есть такое оружие, которого нет ни у одной страны мира, включая Штаты. Мы готовы запустить в космос платформы и развесить их над крупнейшими городами Америки. С этих платформ ракеты смотрят прямо вниз, по вертикали, и в случае чего, срываются с платформ и вонзаются в города, как ножи, с минимальным подлетным временем. Их не засечь, не сбить. В Америке сто одинаковых дырок с оплавленными краями! — Он растопырил длинные костлявые пальцы, изображая висящие над Америкой ракеты. Опрокинул в рот рюмку, вонзая пальцы в блюдо с закуской, хватая ягоду маслины.

Еще один конструктор, специалист по баллистике, взял слово:

— Мы в России можем построить все, если это не противоречит законам физики. Например, они создают вокруг нас системы ПРО в Чехии и Польше. Создавайте на здоровье, тратьте денежки налогоплательщиков. А мы потихонечку на подводной лодке подтянем

в Атлантику термоядерный заряд и взорвем напротив Манхеттена. Цунами будет такое, что пол-Америки смоет. Останется чистый пляж.

— Можно на дне океана взорвать, а можно в ионосфере, над Штатами. Образуется озоновая дыры величиной в пятьсот километров, и сквозь эту дыру Америка подвергнется жесткому облучению космоса. Первый год — десять миллионов раковых больных. Второй год — сто миллионов. От всего населения — двадцать тысяч мутантов, двухголовых и шестируких. Вот и вся сверхдержава. И они это знают, собаки! — лысый, с глянцевитым черепом генерал чокнулся с Алексеем, доверяя ему еще один стратегический секрет, хранимый в недрах Генштаба.

— Расскажи, Антон Егорович, как ты в прошлом году докладывал на Военно-промышленной комиссии, — обратился к генералу тощий конструктор с редкими черными волосами и огненно-фиолетовыми глазами. — Мы предложили правительству, — обернулся он к Алексею, — разместить в космосе несколько алюминиевых зеркал и направить их на Америку. Представляете, день и ночь, круглые сутки, территория Штатов облучается солнечным светом. Вечный день. Взрыв биосферы. Сходят с ума насекомые. Сходят с ума животные и птицы. Сходят с ума люди. Бунт биосферы, с которым не справится никакая политическая или социальная система. За штурвалами самолетов — сумасшедшие. У пультов атомных станций — сумасшедшие. В Сенате — сумасшедшие. В Белом доме — сумасшедшие. И над всеми в небе пылают негасимые солнца, созданные на русских заводах.

Алексей выпил несколько рюмок, и голова его шла кругом. Люди в затрапезных костюмах, с небритыми лицами русских крестьян и мастеровых владели механизмами Конца Света. Апокалипсис в их изложении не выглядел ужасающей мистерией с явлением Ангелов Смерти, невиданных чудищ и падающих звезд. Он выглядел лабораторным экспериментом, во время которого группа инженеров решила поставить физический опыт по уничтожению крохотного участка Вселенной. И если опыт все еще не был поставлен, то это означало, что мир находится под сберегающей дланью верховного Божества, удерживающего силы разрушения. «Удерживающий» Бог проявляется в мире через «удерживающего» правителя, коим может быть только Царь, земное подобие Царя Небесного. Восстановление

монархии в России есть неотложная, не терпящая отлагательств потребность, связанная с сохранением человечества.

Такие умозаключения проносились вихрями в его опьяненном сознании, когда он слушал бурные речи сотрапезников, смотрел на сверкающие рюмки, падающие на скатерть блестящие капли водки.

— Дорогой Алексей Федорович, — министр обороны Курнаков поднялся, держа рюмочку в огромной мясистой длани, стараясь изобразить на своем брутальном лице верноподданные чувства. — Вы уже успели заметить, что мои товарищи — ракетчики люди очень осторожные, скептические и недоверчивые. И вы видите, как они вас приняли. Всем сердцем, всей верой. Они признались, что вы принесли им счастья. Такое же счастье, не сомневаюсь, вы принесете и всей нашей Родине, всей матушке России, которая давно ждет своего царя. Два наших лидера, Виктор Викторович Долголетов и Артур Игнатович Лампадников, замечательные, достойные люди. Но ведь недаром мне поручено сопровождать вас, открыть вам самые секретные сферы обороны. Значит, и они считают, что России нужна монархия, и видят вас будущим монархом России. Со своей стороны могу вас заверить, армия всегда с вами. Русская армия всегда хранила в душе завет: «За Веру, Царя и Отечество». Мы присягнем на верность монарху, искупим грех измены Государю генералитета русской армии. У меня, Алексей Федорович, есть предложение, чтобы вы поступили в Академию Генерального штаба и прошли ускоренный курс, который сделает вас настоящим русским военным, настоящим армейцем, как это было принято в достославные времена Империи. Еще раз предлагаю в вашем лице выпить за восстановление Русской Империи, русской монархии. Верьте в нашу преданность! — Он повернулся к застолью. — По моему счету: два коротких, одно протяжное — ура!

Стол двоекратно грохнул «ура», раскатав его долгим рокотом.

Алексей был благодарен за это выражение любви. Любил их всех, великих и достойных, простых и доступных. Ему снова казалось, что он их где-то встречал, был с ними знаком, узнавал их улыбки и жесты, манеру говорить и курить, вскакивать и подносить ко рту рюмки. Они были родные, он сам был одним из них. Лишь маленький нахохленный горбун мерцал издалека затравленными глазками. Страдальчески тыкал вилкой в ломти красной рыбы, не чокаясь, пил рюмку за рюмкой.

Шумное торжество завершилось за полночь. Все расходились, воодушевленные и счастливые. Алексей, оказавшись в гостинице, раздевался, готовясь ко сну, с улыбкой и благодарностью вспоминая сказанные в его адрес слова. Он по-прежнему не отождествлял себя с семьей несчастных Романовых. По-прежнему усматривал во всем происходящем необъяснимую интригу. Но ему начинало казаться, что в интриге есть благой смысл. Что люди, затянувшие его в интригу, руководствуются благом страны. Он был готов закрыть глаза на очевидный обман, если этот обман был нужен для блага России. Если люди, прибегающие к обману, не имели иного способа достичь блага.

В дверь тихо поскребли, раздался осторожный стук.

— Войдите!

В комнату, крадучись, затравленно озираясь, вошел горбун. Старообразный, с безволосым скопческим лицом, с порога оглядел углы, занавески, картину с нарисованной ракетой, словно искал подглядывающую камеру, спрятанный микрофон:

— Простите, что решился вас потревожить. Я не представился. Стреногов, испытатель телеметрических систем. Мне важно было вас увидеть. Мне есть что вам сообщить.

— Прошу, садитесь, — Алексей застегивал расстегнутую было рубаху. — Спасибо, что вы зашли.

— Вас обманывают. Не было никакого старта. Все имитация. Не было ракеты.

— Как не было? — Алексей изумленно вглядывался в болезненное лицо неурочного гостя. — А что же было?

— Был фейерверк. Был муляж, который спешно изготовили к вашему приезду. Несколько дней личный состав космодрома клеил картонный цилиндр, наполнял его пиротехникой. Вам показали не ракету «Порыв», а бутафорскую картонную трубу, начиненную китайской пиротехникой.

— Не может быть! Для чего? — не верил Алексей, всматриваясь в заостренное личико горбуна, напоминавшее мордочку испуганного зверька. — Для чего им меня обманывать?

— Все эти люди, которых вы видали на старте, это никакие не ракетчики, не генералы, не конструкторы. Это артисты, которых пригласили, чтобы они разыграли перед вами спектакль. Неужели вы не узнали известных на всю страну артистов?

— Я мало смотрю кино. Почти не смотрю телевизор. Зачем было меня обманывать? — Алексей припоминал недавнее общество— воодушевленные лица, жарко говорящие губы, энергичные жесты и начинал понимать, почему они казались ему знакомыми. Они действительно напоминали артистов из сериалов, — их хорошо поставленные голоса, артистические позы, выразительная мимика. Вот почему ему чудилось, что он уже их видел когда-то. Видел на телеэкранах, в бесчисленных сериалах, в которые иногда погружалось его утомленное сознание.

— Генерал-майор, лысый, с морщинами, который представился вам военпредом. Это актер Золотухин. Странно, что вы не узнали. Генеральный конструктор — это артист Боярский, просто он снял свою черную шляпу и слегка загримировался. Главный конструктор по телеметрии, который вас пугал космическими платформами над Манхеттеном, — это артист Гоша Куценко. А второй конструктор, говоривший о цунами,— это артист Миронов. Удивляюсь, что вы не узнали.

— А вы тоже артист? — спросил Алексей, пораженный открытием.

— Я не артист. Я работник космодрома. Меня приставили к мониторам. Чтобы сидящие за ними статисты в офицерских мундирах не испортили дорогую технику.

Алексей был потрясен. Перед ним разыграли искусный спектакль с привлечением лучших артистических сил, и кому-то, неведомому, было важно, чтобы он поверил в бутафорию с ракетой, был одурачен, поверил царящим в армии монархическим настроениям.

— Не верьте ни единому слову,— произнес горбун.— Все блеф. Все отвратительный блеф. Нет никаких ракет. Нет никакой ракетно-космической обороны. Нет армии. Россия беззащитна.

— Но заверения министра обороны? Заверения Президента Лампадникова? Слова Духовного Лидера Долголетова? О том, что Российская армия надежно защищает страну?

— Все блеф. Нет танков — одно старье. Нет самолетов — выработан ресурс. Нет систем ПВО — открыто небо над городами, заводами, стратегическими объектами. Нет подводного флота с ракетами. Нет космических орбитальных группировок. Нет оборонных заводов — везде сидят американцы, добивают русский военно-

промышленный комплекс. Нынешний министр, который так сладко вам пел про оборону России, закрывает одно за другим военные академии и училища. Громит штабы сухопутных войск и флота. Продает с молотка военные объекты. Уже нет офицеров нижнего звена, а генералы только и знают, что воровать. Вместо боевых частей передового базирования устраивают показушный балет кремлевского полка с дефиле в киверах и с мушкетами. Американцы считают, что деградация русских ракетно– ядерных сил сдерживания зашла так далеко, что сейчас они могут нанести по России ядерный удар без всякого риска получить «удар возмездия». Со стороны президента Лампадникова одни обещания, один блеф, который должен держать народ в неведении, пока по всему горизонту не вырастут ядерные грибы.

— Не верю! Невозможно! Почему я должен вам верить? — тоскуя, воскликнул Алексей, глядя на заостренное рыльце горбатого человечка.

— Если вы сейчас поедете со мной, вы сами во всем убедитесь. Машина ждет у гостиницы.

Алексей оделся. Весь, дрожа, не позволяя себе верить в ужасный блеф, вслед за горбуном спустился к подъезду. Военная машина с молчаливым шофером подхватила их и понесла по лесистой бетонке, там, где пролегал их дневной путь.

Ночные леса расступились, и они достигли пустоты, окруженной черным бором, над которым, малиновая, угрюмая, догорала северная заря. Фары машины озаряли плиты бетона с черным, обгорелым мусором. Пахло паленой пластмассой, зловонием химических материалов. Алексей наклонялся, поднимал обугленные куски пластика, белые ломти скорлупы, покрытые изнутри сажей. Казалось, что здесь лопнуло огромное яйцо, из которого в черной слизи вылупился уродливый птенец. Перед ним валялся крупный обломок. На закопченной поверхности было выведено краской: «Царевич Алексей». Все было ясно — множество петард и декоративных пороховых шутих вознесли бутафорскую ракету, превратили ее в пылающий шар, который в тучах казался сияющей звездой, а потом из мокрых облаков вместе с дождем опадали искры салюта, кусочки горящей пластмассы. Артисты на смотровой площадке талантливо

разыграли сцену удачного старта, попадания ракеты в намеченную на Камчатке цель.

Алексею было невыносимо тяжело. Его мучил сотворенный с ним отвратительный обман. Мучил страшный блеф, в который верил наивный, обманутый народ. Будущее казалось ужасным. И в этом ужасном будущем ему отводилась отвратительная и ужасная роль.

— Зачем это все? Кому это нужно? — обращался он к маленькому, сгорбленному человеку, стоящему среди обгорелой рухляди.

— Не знаю. Они боятся «Формулы Рая». Они думают, что вы владеете «Формулой Рая». Они не позволят вам донести ее до народа.

— Какой «Формулой Рая»? Я ничего не знаю.

— Гагарин владел «Формулой Рая». Он первый побывал в космосе, и ему открылась «Формула Рая». Он хотел поведать ее людям. Но ему не позволили.

— Его убили? Подстроили катастрофу?

— Он жив. Его упрятали за решетку, и он находится там по сей день. Под Нижним Тагилом есть колония строгого режима. Там сидит Юрий Гагарин. Его видел один бандит, который сидел за разбой. «Формула Рая» стремится снизойти к русским людям, но ее не пускают. Русские космисты были близки к постижению «Формулы Рая». Циолковский был близок к ее постижению. Вернадский, Чижевский. Но им не позволили. «Формула Рая» ищет человека, через которого она будет явлена русским людям и через которого будет прервано бесконечное русское страдание. Быть может, вы — тот человек. Вас ищет «Формула Рая».

Они стояли в лучах автомобильных фар, отбрасывая длинные тени, среди обломков бутафорской ракеты, каждый из которых отбрасывал тень. Алексей смотрел на маленького горбуна, держащего в руках кусок скорлупы с надписью: «Царевич Алексей». Это был русский космист, последний из плеяды великих прозорливцев. Было странно, чудесно и больно смотреть на негасимую ночную зарю с черными зубцами елей, сознавая, что где-то на эту же зарю смотрит сквозь колючую проволоку Юрий Гагарин, владеющий райской истиной.

Они возвращались в гарнизон. Навстречу из леса полыхнули слепящие фары, жалящие прожектора. Вдоль бетонных плит, плавно колыхаясь на мягком грунте, двигался ракетовоз на гигантских

колесах. Пятнистое тулово, кристаллическая кабина, ребристые шины. Пропыхтел, обдав жирной горячей гарью. Двигался, раздвигая ели слепящим светом. Алексей чувствовал фатальность бытия — в лесной колее, в студенистых икринках трепещут тысячи жизней, не ведая, что к ним неуклонно и слепо приближается гибель.

С бессильным гневом и изумлением Ромул смотрел на телеэкран, где в новостной программе показывался сюжет с пуском ракеты «Порыв». Отточенный белый бивень. Священник с кропилом. Все тот же странный, бог весть откуда взявшийся самозванец выводит краской на корпусе ракеты надпись: «Царевич Алексей». Зарево над ночными лесами. Перламутровая, летящая в тучах звезда. И неистовая радость ракетчиков, обступивших самозванца, — обнимают, целуют, подбрасывают вверх, словно это его личный успех. Словно армия обрела в его лице своего подлинного кумира.

Это было невероятно. По центральному телеканалу показывался сюжет, которого могли удостоиться лишь первые лица государства,— Президент Лампадников либо он, Долголетов, Духовный Лидер России. Налицо был заговор, имевший целью устранить из политики его, Долголетова. Вытеснить его из общественного сознания. Разрушить статус Духовного Лидера. Заместить его в этой роли другим человеком, чей наивный и трогательный облик, загадочная судьба, ореол мученичества и величия привлекали симпатии народа, питали народный миф о справедливом и благочестивом правителе. Автором заговора мог быть только Рем, его коварный, византийский ум угадывался во всей шее возвеличивания и прославления убогого провинциала. Чем привлекательней и ярче становился самозванец, тем скучнее и невыразительней казался Ромул. Тем меньше у него оставалось шансов сменить на президентском посту Рема. Тем легче было тому баллотироваться на второй президентский срок.

Едва справляясь с бешенством, он позвонил к вероломному другу в Кремль, видя на экране его самодовольное волоокое лицо, письменный стол с малахитовой лампой, кипу документов, над которыми Рем взмахивал изящной золотой ручкой.

— Все это я тоже только что видел, мой дорогой, и собирался тебе звонить, предвидя твою реакцию. Отвлекло послание этого наглеца Саакашвили, который, представляешь, грозит «окончательным решением южно-осетинской и абхазской проблемы». Неужели

американцы будут воевать из-за этого параноика? Хотелось бы показать его мозг профессору Коногонову, чтобы тот воспроизвел его сексуальный бред на тему «Великой Грузии».

— Почему без моего разрешения сдвинули запуск ракеты «Порыв»? Почему на запуске присутствовал не я, как было оговорено, а этот увалень, на которого вы с Виртуозом напяливаете горностаевую мантию и шапку Мономаха? Что все это значит? Я требую объяснения!

— Прости, мой дорогой, что я не предупредил тебя о мистификации, — влажные воловьи глаза Рема источали благостное расположение. — Эта была не ракета «Порыв», а дешевый муляж. Ракетчики, которые «качали» нашего лжецаревича, были актерами московских театров. Мне привезли пленку, и я тебе сейчас ее покажу.

Он перегнал Ромулу ролик, и тот мрачно, недоверчиво смотрел, как солдаты космодрома склеивают из пластмассы и папье-маше корпус ракеты, устанавливают ее на стартовом столе. Как дурачатся известные артисты, словно разыгрывают сценки капустника. Актер Куценко сбил с головы актера Боярского черную шляпу, и открылась розовая смешная плешь. Актер Золотухин чеканил строевой шаг, тараща глаза, а актер Миронов, схватив щетку, делал «на караул». Ролик заканчивался зрелищем обгорелых обломков. Солдат поднял с земли, держал перед телекамерой кусок пластмассовой скорлупы с надписью «Царевич Алексей».

— Ну, ты убедился, мой друг, что все это смешная бутафория? — дружелюбно рассмеялся Рем.

— Для чего этот балаган? Как ты из него будешь выпутываться?

— Это идея нашего непревзойденного Виртуоза. Стремительно приближается финансовый кризис. Будут лопаться банки и корпорации. Возможны социальные потрясения. Обостряется ситуация на Кавказе. Грузинский параноик неизбежно атакует Цхинвал. Мы должны создать отвлекающий пропагандистский эффект. Разоблачение самозванца. Гневные обвинения. Страстные дискуссии. Ток-шоу. Судебный процесс. Народная энергия будет в очередной раз уловлена, и мы в очередной раз выиграем социальное время. Разве это не есть искусство управления, не есть «управляемая демократия»?

— Но разве ты не чувствуешь, что ваши игры наносят урон моей репутации? Я теряю престиж. Нарушается равновесие духовного и властного начала в наших с тобой отношениях.

— В какой-то мере ты прав. Но это, поверь, ненадолго. Разоблачение самозванца вернет тебе твой поколебленный статус. И даже его увеличит. Мнимый кумир падет, а подлинный останется. Тем более что падение ложного кумира будет предшествовать празднеству Духовного Лидера Русского Мира. Это будет твой личный триумф.

Ромул слегка успокоился, хотя раздражение и недоверие оставались. Ласковые, выпуклые глаза Президента скрывали в своей глубине чернильную, непроглядную муть, в которой, как в океанских впадинах, жили таинственные чудища подводного мира.

— Ты сегодня идешь на освящение колоколов в Свято-Даниловский монастырь? — спросил Рем, желая успокоить мнительного друга. — Я бы тоже присоединился, но, увы, встречаюсь с губернатором-казнокрадом. Тебе — небесное, мне — земное. Тебе — чистота, мне — грязь. Ну, ничего, скоро мы поменяемся ролями, и ты снова займешься земными президентскими делами.

Экран погас, оставив в душе неясную тревогу, неисчезающее чувство опасности, словно в экран скользнул и спрятался гибкий чешуйчатый хвост.

Он отправился в монастырь, где освящались привезенные из Америки колокола. Прославленный еврейский олигарх, составивший несметное достояние на русской нефти, алмазах и никеле, отблагодарил матушку-Россию, выкупив у американцев русские колокола, вывезенные другим еврейским олигархом Хаммером и годы русских бедствий.

На монастырской площади, среди храмов и служебных построек, был сооружен деревянный помост. Колокола висели, как смуглые фантастические груши. Служили молебен. Митрополит Арсений в серебряном облачении кропил колокола. Олигарх набожно крестился, терпеливо подставлял лицо под ворох солнечных брызг. Множество народа окружало помост, радовалось встрече с православной святыней. Завершив чин освящения, митрополит Арсений подошел к Ромулу и предложил ему ударить в колокол.

— Пусть ваша рука, столько сделавшая для благоденствия Отечества нашего, первая исторгнет звук радости, возвещая о торжестве православия.

Все телекамеры устремились к Ромулу. Он торжественно приблизился к самому большому колоколу. Взялся за веревку,

привязанную к кованому языку. Потянул. Язык не сразу коснулся колокола, и Ромулу пришлось несколько раз напрягать и раскачивать тяжелое било. Удар получился гулкий, глубокий, рокочущий. Звук медленно выплыл из колокола и, не растворяясь в воздухе, полетел, продолжая на лету звенеть, переливаться, играть множеством оттенков и звучаний. Ромул почувствовал, что с этим звуком от него отделилась невидимая, сочная часть его сущности, стала удаляться, и он чувствовал случившуюся с ним утрату. Снова ударил, и еще одна доля его сущности, заключенная в рокочущий, торжественный звук, покинула его и полетела над головами, над церковными кровлями, через монастырскую стену, в невидимый город, где кто-то незримый принял в себя этот звук, вдохнул, стал сильнее, крупнее, величественнее. Он бил и бил, чувствуя, как исчезают, как истекают из него живые силы и его становится все меньше и меньше. Звоны, которые он извлекал из старинной меди, были погребальными. Он продолжал раскачивать кованый язык, и слезы текли по лицу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Утром, пользуясь одиночеством, Алексей позвонил Марине. Нажимая светящиеся кнопки, испытывал нежность к крохотным цифрам, каждая из которых издавала едва уловимый музыкальный звук, приближала их свидание.

— Это ты? — услышал он ее взволнованный голос, близкое, чудесное дыхание. — Я скучаю. Тебя нет рядом.

— Мне очень тебя не хватает. Все вспоминаю наше свидание. Твой платок, которым ты перевязала мне руку, он пахнет твоими духами. Достаю его и целую.

— Вчера проходила мимо ресторанчика, где мы с тобой ужинали. Зашла и сидела за столом, где мы смотрели на реку, читали наизусть Гумилева. Выпила чашечку кофе. Мне было так одиноко.

— Сегодня вечером я приеду. Мне нужно с тобой посоветоваться. Происходят странные вещи. Мне не с кем поделиться.

— Я тебя очень жду.

Он смотрел на погасшую клавиатуру, блаженно улыбался. Достал из-под подушки платок с запекшимися брызгами крови. Прижал к губам. Легкая ткань источала благоуханье. Любимая женщина была рядом. Он касался ее губами.

В дверь громко, бесцеремонно постучали. Министр обороны Курнаков, красно-сизый, выбритый, пахнущий туалетной водой, возник на пороге. Вслед за ним вошел незнакомый человек с гладким розовым черепом, полными веселыми губами и выпуклыми, водянистыми, как у земноводных, глазами.

— Здравия желаю, Алексей Федорович! — бодро приветствовал Курнаков. — Разрешите представить: министр энергетики и промышленности Данченко. Передаю вас, как говорится, из рук в руки.

Алексей был смущен. Торопливо прятал платок, убирал в карман телефон, в котором теплилось эхо любимого голоса.

— Алексей Федорович, — министр Данченко долго не выпускал из своих мягких, влажных рук холодную ладонь Алексея. — Мне поручено встретиться с вами и пригласить вас на знаменательное

мероприятие. Сегодня в Северодвинске, на нашем знаменитом кораблестроительном заводе, состоится спуск на воду первой стратегической подводной лодки из так называемой «царской серии». Спускаемый на воду «стратег» носит имя: «Царь Михаил Романов». В стадии строительства находится лодка «Царь Алексей Михайлович». Заложена на стапели лодка «Царь Петр Великий». Сегодня для завода и для всего флота знаменательный день. Мы хотели бы, чтобы вы почтили своим присутствием этот праздник, украсили его своим появлением

— Так сразу? Я ничего об этом не знаю. Где же этот завод? — беспомощно отвечал Алексей, не готовый к столь внезапным вторжениям, надеясь на возвращение в Москву и свидание с Мариной.

— Вертолет ждет, и через сорок минут мы на заводе, на берегу Белого моря. Позавтракаем, и в путь! — министр Данченко говорил предупредительно, мягко. Толстые губы старательно улыбались, но водянистые глаза тритона смотрели холодно и жестоко. Было бессмысленно возражать. Непререкаемая воля, управлявшая судьбой Алексея, еще раз себя обнаружила. Ее было невозможно игнорировать, невозможно обмануть. Был единственный выход — подчиниться.

Они позавтракали яичницей с беконом. Министр обороны Курнаков выпил освежающую рюмку коньяка и с видимым сожалением распрощался с Алексеем, заверяя который раз в симпатиях армии, в личной преданности его, министра Курнакова. Вертолет поджидал на аэродроме, и скоро они летели в трепещущей, звенящей машине над зелено-голубыми лесами, солнечными озерами и реками.

— Алексей Федорович, — министр Данченко старался преодолеть шум винтов и вибрацию вертолетной обшивки. Наклонялся к уху Алексея, и тот чувствовал его горячее плотное дыхание. — Поверьте, очень важно и символично ваше участие в предстоящем торжестве. Это не какая-нибудь парадная одиночная акция, а мероприятие глобального масштаба. Мы начинаем нашу экспансию на север, прерванную печальными событиями девяностых годов. Россия лишилась цветущих территорий на юге, черноземов, плодородных земель, коммуникаций, соединяющих нас с огромными регионами Азии. Нас выдавливают на север, и мы, русские, все в большей степени становимся северным народом. Русский — значит, нордический. Мы продолжаем строить начатую Сталиным северную

русскую цивилизацию, заполярную русскую техносферу. На Русском Севере судьба России сходится с судьбой человечества. Здесь, в озерах Ямала, находятся гигантские запасы пресной воды в момент, когда человечество умирает от жажды. На дне Ледовитого океана разведаны несметные месторождения нефти и газа, без которых невозможна экономика Европы и Китая. В прибрежном шельфе скопилась живая биомасса, которой можно прокормить десять миллиардов людей. Полярная область с ее северными сияниями и сложными электромагнитными процессами открывает путь к энергетике будущего, когда энергию станут черпать прямо из космоса.

— Но при чем здесь я? — Алексей старался отстраниться от жаркой струи, вдуваемой ему в ухо, уклониться от напора слов, которые нагнетались в него упрямой помпой.

— В Арктику направлены усилия современных мировых держав, Америки и Англии, Норвегии и Китая. Строятся ледоколы и подводные лодки. Развертываются наземные и подводные поселения. Формируются подразделения полярной морской пехоты. Завязывается огромный узел борьбы, экономической, политической и военной. Очень важно, чтобы наша экспансия на север получила свой выразительный образ, свою эмблему, своего харизматического героя.

— Но, повторяю, при чем здесь я?

— Не мне судить, Алексей Федорович, как сложится в ближайшие годы политическая система России, как будет выглядеть Государство Российское. Но что-то мне подсказывает, что в России может быть восстановлена монархия. Если бы вы, с вашей родословной, с вашей династической перспективой заявили себя как сторонника освоения Русского Севера, стали эмблемой русского арктического проекта, это в дальнейшем, послужило бы прекрасным стартом для вашего восхождения на престол. Русский народ нуждается в масштабной идее, в масштабном деянии, в масштабном лидере. Царская корона на вашей голове будет усыпана якутскими алмазами, засверкает голубыми полярными льдами, станет переливаться северным сиянием. Горностай — обитатель северной тундры — ляжет вам на плечи чудесной мантией.

Алексей с удивлением смотрел на соседа, в чьей технократической речи обнаружила себя романтическая поэтичность.

Вертолет пролетел над безлюдными перламутровыми лесами. Открылись просеки, дороги, поселки. Солнечный разлив реки с кварталами города. Речная дельта влилась в голубое туманное море. В иллюминаторе возникли стройные бруски заводских цехов. Геометрия промышленной зоны. Сгусток железнодорожных путей. Проблеск высоковольтных линий. Алексей увидел с небес пирсы с причаленными кораблями, их стальные грозные контуры, орудийные башни и рубки.

— «Севмаш», — гудел ему в ухо министр. — Любимое детище Сталина. Матка, родившая русский атомный флот.

Снижались, делали круг над заводом, опускались среди цехов. К вертолету торопились люди, придерживая шляпы, кепки и морские фуражки. Представлялись Алексею: Генеральный директор, Главный инженер, Начальник штаба Северного флота. И уже через несколько минут плотной группой, покинув сочный ветреный воздух, входили в жаркую духоту громогласного цеха.

— Здесь, Алексей Федорович, мы режем металл, создаем заготовки для корпусов будущих кораблей и подводных лодок. — Директор, маленький, широкоплечий, с бусинками синих поморских глаз, поддержал Алексея под локоть, чтобы тот не споткнулся о металлический, со сверкающей кромкой завиток.

Цех являл собой необъятное пространство. Размытые дали дымились тусклым железом. Над головой проносились тяжелые металлические тучи, из которых сыпались лучистые молнии, хлестали стальные дожди. Треск и раскатистый гром. Скрежет и свист. Колокольный гул и пронзительный визг. От какофонии содрогалось сердце. Будто великаны грохотали кузнечными молотками, кидали в чаны с водой раскаленные поковки. Синие сгустки плазмы — словно в черном железе раскрываются ярые очи. Искрящиеся кометы — ими швыряют друг в друга могучие исполины. Косматые летучие звезды сталкиваются, ударяются в стены, отекают красными и золотыми ручьями. Это напоминало светомузыку первых дней творенья. Казалось, что эти звуки и вспышки сопровождают не рожденье машин, а сотворение молодой земли из первородного огня и металла. Вся громада цеха находилась в постоянном движении. В высоте трепетали кипы стальных листов, точно страницы железной книги, которую читает незримый чтец. Проплывали громадные пустые цилиндры, в

которых, как в окулярах, туманилась синяя даль. Надвигалась черная махина, будто обломок горы с пещерой, в которой пламенел жертвенный алый очаг. Полусферы и параболоиды, цилиндры и усеченные пирамиды — в цеху обитал невидимый геометр, доказывал теорему великих пространств, формулу неведомой жизни. Среди фигур и поверхностей мерещились образы кораблей. Рубка и ребристый отсек, заостренная корма и выпуклый нос. Все исчезало, превращалось в фиолетовый дым, в голубую зарницу, в слепящую молнию.

Алексей был ошеломлен. Перед ним государство являло свое могущество, жуткую красоту и непомерную волю. Оно обнаруживало себя как творчество, соединяющее материю, разум и дух. Воздействовало на слепую материю, превращая ее в бесконечные формы. Демонстрировало разум, направляя эти формы в мир, совершая с их помощью историческое действие. Было одухотворено, ибо уподобляло свои деяния божественной воле.

«Значит, мне уготовано место в этой стихии творчества? Мне надлежит направлять ход истории? Меня помещают в средоточие огня и железа?» — думал он, шагая по цеху.

В этом огне и металле, крохотные и почти незаметные, мелькали люди. В тесной застекленной кабине крана. У могучего пресса. Стойкой иглой, на которой трепетала серебристая бабочка сварки. Их слабые усилия, хрупкие прикосновения, умноженные усилиями и перемещениями машин, складывались в грандиозную мистерию. Чудовищной силы пресс выгибал толстенный лист, который мялся, как пластилин, воспроизводя изящный овал — будущий корпус лодки, выдерживающий мощь океана. Лазерный луч наносил на стальную плоскость эллипсы, окружности, прихотливые линии, будто закройщик готовился сшить стальной костюм исполину. Краны из противоположных оконечностей цеха, словно из разных частей Вселенной, мчались навстречу, как космические корабли, сближали громадные полуцилиндры. Опускали на платформу, стыковали отточенными зеркальными кромками. И вот уже крутились вдоль швов огненные клубки электросварки. Остывающий шов был похож на алые губы.

«Мне предназначено сочетать в себе бесчисленные усилия людей, чтобы выдавливать, выковывать, выкраивать новый образ Империи?

Мне суждено продолжить строительство ковчега Государства Российского?» — он задавался вопросами, в которых уже заключался ответ.

Люди вначале были почти незаметны. Скрывались в железных нишах, прятались в металлических гнездах, таились в глухих катакомбах. Обнаруживали себя мгновенной вспышкой, мелькнувшей пластмассовой каской. Проступали, проявлялись, увеличивались в размерах. Превращались в великанов, перемещали по воздуху железные горы, лепили фантастические, непомерных размеров фигуры. Их совместный труд был грандиозен. Намерения и замыслы каждого складывались в громадный результат, выражавший смысл государства. Государство соединяло их не просто в бригады, артели и батальоны, а в организованный народ, способный одерживать великие победы, выдерживать непосильные несчастья, продлевать свое существование в истории.

«Мне предлагают возглавить народ, повести его чрез триумфы и испытания? Предлагают стать средоточием народной мечты и воли?»

Небывалые, вчера еще невозможные мысли являлись Алексею под угрюмую светомузыку цеха, где оркестр играл симфонию Русской Империи.

Они покинули цех и вышли в ветряную пустоту с блеском воды, кричащими чайками, на край замкнутой акватории, посреди которой высился рукотворный конический остров. Окруженная водой гигантская пирамида отливала сталью, мерцала в глубоких нишах голубоватыми и розовыми огнями, словно невидимые жрецы совершали мистический обряд.

— А это, Алексей Федорович, плавучая нефтедобывающая платформа. Мы строим ее по заказу Газпрома. Ее отбуксируют к Новой Земле, к подводному месторождению «Приразломное». Европа ждет не дождется, когда станем оттуда газ качать, — директор, поблескивал синими поморскими глазками, предлагая Алексею любоваться плавающим диковинным островом, над которым вились чайки, словно собирались устроить на нем свои гнездовья. — Вот говорят, «сырьевая экономика», «нефтяная игла». Дескать, на большее Россия не способна. А кто, спросите, кроме России, способен в условиях полярных льдов развернуть современную добывающую индустрию? Это, я вам скажу, все равно, что добывать нефть на Луне, сделать Луну

обитаемой. Топором и мотыгой этого не достичь. Это требует космических технологий. Поэтому я и говорю, что современный помор — это космонавт. Платформу мы хоть и отбуксируем к Новой Земле, но, в сущности, отбуксируем на Луну. На ней работать и жить — все равно, что работать и жить в лунном городе.

Алексей восхищался невиданной красотой стального острова, который насыщали могучими машинами и средствами космической связи, сверхновыми материалами и комфортным жильем. В стеклянных, озаренных оранжереях зацветут зимние сады с тропическими растениями, вольеры наполнятся диковинными животными и птицами. Русский ковчег отправится в странствие в черный безжизненный космос, где «русская цивилизация» рассеет свои семена.

Директор заметил, каким благодарным слушателем является его царственный гость. Это вдохновляло его. Его рассказ напоминал научно-фантастическое повествование. Платформа — гигантский кристалл, будет вживлен в необитаемый мир полярных льдов, геомагнитных бурь и космических радуг. Сталь платформы будет работать при сверхнизких температурах, делающих металл хрупким, как стекло. На кристалл будут наваливаться льды, круша и сминая. Бурильщики станут трудиться среди буранов полярной ночи, где организм задыхается от нехватки кислорода, а разум мутнеет от черноты и вечной бури. Жилые помещения платформы подобны камерам искусственного климата на орбитальных станциях, где в иллюминаторах блещут зловещие звезды, а в комнатах цветут орхидеи и порхают колибри. Связь платформы с Большой землей осуществляется через космос, а бурение морского дна, «наклонное», «кустовое», регулируется компьютером. Платформа снабжена гидроакустической аппаратурой, как подводная лодка. К платформе может подлететь вертолет, причалить танкер, от нее к материку протянутся нефтепроводы. Насыщенная автоматикой, с атомным энергоснабжением, она является искусственной планетой,— плод русской инженерии, дерзновенной русской мечты, которая ждет своего героя, своего долгожданного Императора.

Алексей вдохновенно слушал. Ощущал дерзновенный русский порыв на север, который был созвучен с его детской туманной мечтой, сказочной верой в Беловодье. В северный Русский Рай, к которому

стремились старинные ладьи поморов и сталинские ледоколы. Ему предлагалось олицетворить этот пассионарный русский порыв. Стать Императором Полярной Звезды. И он соглашался.

— А теперь, Алексей Федорович, мы вам покажем супертанкер, который строим для сжиженного газа. Газ будем доставлять по Северному Морскому пути прямо в Америку, — директор увлекал Алексея в сторону заводских корпусов. Министр, адмирал, главный инженер торопились следом, переступали железнодорожные рельсы, обрезки металла. Алексей казался себе царем Петром с картины Серова — длинноногий, бурный, окруженный свитой, шагает по кромке моря.

Танкер на стапеле под открытым небом являл собой громадное, колючее, шевелящееся сооружение. Строительные леса окружали его множеством вертикальных опор, горизонтальными галереями. Он казался готическим собором, создаваемым из лучей, взлетающих линий, стремящихся вверх огней. Едва различимый, угрюмо-черный, был заключен в кружевной кокон, в сквозную лучистую оболочку, в недрах которой шло накопление вещества, оседала и сплачивалась материя, увеличивалась масса. Горело множество ламп, словно шел праздник. Сверху вниз лениво и пышно ниспадали красные огненные ручьи, ударялись о невидимую преграду, превращались в алое бурление, будто наполнялся огненный водоем, ручей переливался через край и вновь стремился к земле.

Звучала металлическая музыка, дышал, рокотал, высвистывал трубами огромный орган, будто шло богослужение, превращавшее строительство танкера в торжественный религиозный обряд. Люди, едва различимые, были повсюду, их перемещение, мельканье, исчезновение среди огней и лучистых конструкций придавало танкеру вид шевелящейся громады, белые каски были похожи на муравьиные яйца, а шевелящаяся колючая гора напоминала могучий муравейник, насыщенный таинственной организованной жизнью. Движение людей было не хаотично, а подчинялось строгим закономерностям, словно это был коллективный танец множества танцоров, перемещавшихся по воле невидимого балетмейстера. Они двигались вверх, мелькая белыми касками, сосредотачиваясь на одном горизонте. Сбегали вниз, превращаясь в длинную волнистую цепочку. Пересекали пространство по диагонали, вписываясь в треугольники и квадраты. Тянули жгуты

проводов и резиновых труб, словно перетягивали канат. Передавали друг другу красные и голубые огни, будто участвовали в эстафете. Молитвенно возносили верх руки, и в ответ на молитву небо посылало им кипу стальной арматуры, и они бережно уносили во тьму ниспосланный небом дар. Строительство напоминало храмовое действие, сопровождалось возжиганием лампад, курением дымов, ритуальным хороводом жрецов. Звоны и гулы были музыкой священных бубнов, выкликавших верховное божество. Незримое, оно управляло возведением храма. Ему одному были ведомы чертежи. Оно собрало в одном месте разноязыкие народы, объединило в священное братство, уравняло в творчестве, озарило их жизни великой мечтой и целью.

Алексей чувствовал священную тайну, сочетавшую множество людей в единую артель, обратившую их таланты и жизни на Общее Дело. Слабые и смертные, объединенные в Общем Деле, они обретали мощь и бессмертие. Были способны создавать империи, осваивать материки, улетать в другие галактики, зажигать погасшие солнца. Об этом учили русские космисты и мистики русской истории. Об этом говорил ему вид громадного танкера, предназначенного для ледовых морей и полярных радуг. Об этом гудели трубы и били бубны, призывая его на царство, нарекая Императором Полярной Звезды.

— А теперь, Алексей Федорович, на пути к нашему главному стапелю хочу показать вам удивительный уголок завода, — директор загадочно улыбнулся, и его голубые бусинки затеплились, как огоньки.

Они миновали корпуса с зияющими провалами, в которых сквозила туманная металлическая тьма.

— Это эллинги, с которых сошли на воду сотни атомных подводных лодок, составивших мощь советского ракетного подводного флота. Теперь, увы, они пустуют. Да и лодки уже устарели, выбывают из состава флота, — директор с благоговением и печалью смотрел на облупленные строения и огромные черные скважины, из которых, как из утомленных долгими родами маток, выходили длинные громады лодок. Погружались в пучину, где шла невидимая миру борьба подводных гигантов.

Среди этих облупленных, закопченных строений приютилось странное сооружение, нелепый обломок. Кирпичное крыльцо в древнерусском стиле с пузырчатыми колонками и подвесками. Часть

стены с одиноким окном, которое украшал изящный каменный наличник. Из кровельного, нелепо лежащего железа торчал невыразительный крест. Сквозь окно светился чахлый огонек.

— Это, Алексей Федорович, все, что осталось от Николо-Карельского монастыря. Его заложили новгородцы, последователи Марфы-посадницы. Завод построен на болотах, на месте монастыря. Когда строители усомнились, можно ли строить завод на болотах, Сталин сказал: «Старые монахи — люди толковые. Они знали, где надо строить». Монастырь снесли, а завод поставили. Это все, что осталось от монастыря. Мы здесь раньше газовые баллоны держали. А теперь приход открыли. Цех, как говорится, Господа Бога. Держим священника, он нам новые корабли освящает.

Алексей смотрел на каменный обломок с недоумением и щемящей болью. Облупленные корпуса с зияющими прогалами, как и этот ломоть с древнерусским крыльцом, являли собой образ катастрофы, в которой погибли два русских времени. Искрошили друг друга, оставив после себя обугленные обломки.

По ступенькам крыльца спустился священник, высокий, узкоплечий, с черной бородой и тревожными, огромными, как у лося, глазами.

— Отец Михаил, настоятель, — представил его директор. — Батюшка, вы готовьтесь к освящению «Михаила Романова». Сделайте все от души. Это наш дорогой гость, Алексей Федорович, человек царского рода.

Священник молча поклонился, и Алексею показалось, что и его темных, как маслины, глазах таится мольба, невыразимая мука, желание что-то сообщить, о чем-то поведать. О своем одиноком служении перед робкой лампадой, что теплится среди громадных машин, металлических грохотов, неистовых людских начинаний.

— Приходите, отец Михаил, — повторил директор, увлекая Алексея дальше, через железные пути и бетонные дороги к огромному цеху, выходящему на залив. Высоченные ворота цеха были закрыты, но за ними чудилось могучее чудище. Ворота напрягались от непомерного давления. Гладь воды тревожно ждала, когда в нее плюхнется и провалится многотонное тело лодки.

Они шли по стапельно-сборочному цеху, в его гулком бархатном сумраке, где воздух был пропитан мельчайшими каплями масла,

металлической пудрой, искрящимися частицами газа. Вдаль цеха тянулись три параллельные линии, три протяженных стапеля, заполненные кораблями разных проектов. Лодки имели разную степень завершенности, казались созревающими эмбрионами, у которых зарождались и укрупнялись органы. Шло выращивание невиданных существ, в гигантской утробе вынашивались плоды. Лодка «Царь Михаил Романов» была завершена, черная, глянцевитая, покрытая резиной, с хищным плавником, с изящным лепестком бесшумного руля, с громадным покатым туловом, в котором виднелись люки ракетных шахт. Казалось, ее покрывает слизистая оболочка материнского лона, в ней еще бьются два сердца — материнское и ее собственное, сливаясь в сложную пульсацию жизни. На черной рубке, яркий, золотой, красовался двуглавый герб. Откроются ворота цеха, из огромного чрева, выпадая из матки, скользнет на воду гигантский младенец, и жарко вспыхнет под солнцем начертанная на рубке золотая птица.

На том же стапеле, упираясь овальным носом в хвостовой плавник построенной лодки, стоял подводный крейсер «Царь Алексей Михайлович», ржаво-красный, с провалом рубки, с пустотами незаполненных шахт. Вся в стеклянных вспышках сварки, лодка была соединена со стапелем множеством труб, проводов, гибких кабелей, через которые в лодку поступали тепло, электричество, газ. Жадно поглощались живой оболочкой, которая наливалась силой и соком. Третья лодка, недавно заложенная, «Царь Петр Великий» являла собой всего несколько несостыкованных секций — прообраз корабля, слабо намеченный, едва зародившийся после зачатья. Все три существа рассказывали об эволюции стальных организмов, описанных теорией Дарвина.

Алексей чувствовал свою сокровенную связь с этими стальными изделиями. Их царственные имена, их исполинские туловища, их непомерная мощь влекли к себе, затягивали в гигантское поле русской истории, где ему, Алексею, была уготована великая роль. Эта роль была связана с жертвой, с нравственным подвигом, с мессианским поступком, который он предчувствовал с детства. Поступком, о котором грезил во снах и мечтаниях. Который казался несбыточным и вдруг обнаружил себя громадами атомных кораблей, именами его августейших предков.

Он трогал пальцами надпись «Царь Михаил Романов», желая убедиться, что лодка живая. Резиновое покрытие, словно теплая кожа, создавало ощущение одушевленной телесности. Ладонь сквозь оболочку ощущала множество чуть слышных биений, чутких пульсаций, нежных трепетаний.

— Алексей Федорович, давайте пройдем на борт, — директор шагнул на трап, соединяющий стапель с кораблем.

Внутренность лодки была озарена ровным немеркнущим светом. Пахло сладкими лаками, пластмассами, красками — таинственный обмен веществ дремлющего организма. Отсеки удалялись в разные стороны в бесчисленных трубах, оплетках, уложенных плотно жгутах. И повсюду, с переносными приборами, в касках, в комбинезонах или в матросских робах и офицерских мундирах виднелись люди. Занимались последними приготовлениями к спуску. На одном приборе волновалась синусоида, как кардиограмма потаенного сердца. На другом экране дрожали разноцветные импульсы — энцефалограмма спящего мозга. В центре управления лодкой штурман с усиками опробовал компьютерную систему, ведущую корабль среди подводных течений. Тут же энергетик снимал параметры с сонного реактора — могучий мускул, притаившийся в сердцевине лодки. Оружейник, иключая тумблеры, исследовал состояние шахт, ожидающих загрузку баллистических ракет. Командир лодки, с бронзовым лицом и седыми висками, скрывая волнение, готовил лодку к первому соприкосновению с водой. Лодка, полностью готовая к спуску, была наполнена множеством драгоценных деталей, уникальных приборов, чувствительных элементов, придающих громаде неукротимую скорость, неуязвимую мощь, пластичность и чуткость морского зверя.

«Мне выпала священная доля, божественная миссия — стать но главе России. Принять на себя непомерное бремя власти. Понести Россию вперед, через великие испытания, невыносимые невзгоды, к неизбежной Русской Победе. Я, Император Полярной Звезды, сбережен божественным промыслом среди всех побоищ, всех иродовых избиений, чтобы в урочный час стать русским царем» — так думал он, переходя из отсека в отсек, опьяненный наркотическими испарениями лодки, стараясь не мешать ученым, офицерам, технологам, довершавшим приготовления к спуску.

Он думал, что здесь создавали не просто лодку. Здесь создавали Империю. Идея лодки родилась в Петербурге, уточнялась в Москве и Казани, обогащалась множеством идей и открытий, возникших в Сибири и на Дальнем Востоке. Ее элементы строились на Украине и в Белоруссии, доставлялись из Ташкента и Алма-Аты. Бесчисленные детали, от реакторов и турбин, до крохотных клапанов и миниатюрных вентилей стекались в лодку из тысяч предприятий, из заводов и институтов, где множество трудолюбивых умельцев, невидимых миру гениев дарили могучему кораблю свои таланты и жизни. Соединялись в громадный артельный труд, что под силу лишь великой стране. Ослабевшая, обездоленная, готовая было распасться, Россия вновь сжималась в дееспособную целостность. Обретала имперский смысл. Избирала себе Императора.

Он двигался вслед за директором, который открывал ему тайны подводного крейсера. Погружал в мегамашину войны. Вводил в реакторный отсек — эту фабрику энергии, скорости, мощи. Алексей, не знавший ничего, кроме жизни в захолустной провинции, вдруг оказался в средоточии знаний о «природе вещей», о «физике явлений», о психологии человека, включенного в гигантские процессы борьбы, в могучую стихию земли, в мерцание невидимых звезд. Он, будущий Император Российский, должен был знать оружие русской империи. Металлургию новейших сплавов. Механику сверхпрочных оболочек. Ядерную физику сверхновых реакторов. Технологию бесшумных винтов. Акустику дальнего обнаружения. Звездную навигацию и новейшие средства связи. Он перемещался в лодке, из отсека в отсек, с одного уровня на другой, поражаясь бессчетным элементам, сведенным в гармоничное единство. Верил, что у новой русской Империи есть флотоводцы, готовые к глобальной борьбе. Существует Генштаб, способный мыслить категориями мирового соперничества, заказавший поколение новых подводных крейсеров, — «плеяду русских царей». Сознавал, что эта грозная и изящная махина — есть инструмент дипломатии, которую ведут современные Горчаковы, отстаивая интересы России на всех континентах. Он, будущий русский царь, не останется одиноким, а будет окружен блистательным сонмом сподвижников — «птенцов гнезда Алексеева».

Величие России было несомненным. Ее судьба, трагическая и прекрасная, вела страну к возвышению. Хранимый провидением,

Божий избранник, он станет Императором Русской Победы.

Он снова вышел на палубу, огромную и покатую, с пластикой женского тела, овалами и выпуклостями, как у черной великанши. Шел по гибкой могучей спине. Закупоренные люки пусковых установок напоминали клапаны огромной флейты. Раскроются — с ревом брызнет слепящий свет, рванется ввысь пылающая свеча, туманным пятном растает в полярной мгле. Он трогал пальцами клапаны, мысленно играя концерт на флейте с оркестром, — музыку Русской Империи. Спускался с лодки на стапель. Заметил, как молодой монтажник в комбинезоне и каске, ухмыляясь, глядя на товарищей, выводил мелом на черном борту лодки: «Не валяй дурака, Америка».

Ближе к обеду состоялся спуск на воду подводного крейсера «Царь Михаил Романов». В цеху, обступив тяжеловесную громаду, собрались рабочие в касках, инженеры, ученые, представители фирм, военпреды. Был выстроен экипаж — матросы в парадной форме, в синих пилотках, офицеры в белых кителях с кортиками. Обвитые медными трубами, с барабанами наперевес, застыли оркестранты. Пестрели букеты живых цветов, красочные венки. Телеоператор кружил, держа на плече телекамеру.

Уже знакомый Алексею священник, отец Михаил, чернобородый, высокий, в золотой епитрахили, отслужил молебен, окропил черные борта лодки, белую надпись, двуглавого орла. Алексей перехватил его взгляд, в котором дрожала золотая искра необъяснимого испуга и боли. Перед микрофоном с краткими речами выступили Генеральный директор, главный инженер, руководить проекта, отличившийся рабочий. Директор приблизился к Алексею и попросил:

— Несколько слов, Алексей Федорович. По просьбе коллекций.

Алексей, робея, не зная, что он может сказать, приблизился к микрофону, видя над собой туманные своды цеха, а рядом — глянцевитую, как кит, махину лодки. Множество глаз было устремлено на него. Необъятное пространство цеха гудело, рокотало, тдыхало, словно неслась бессловесная песнь. Он вдруг почувствовал прилив вдохновения, будто заговорил его устами радостный дух.

— Эта лодка — сама Россия. Она связана с космосом, принимает своими антеннами райскую весть. Она слышит океанскую бездну, вписывается в грозные потоки мировой истории. Она несет в своем имени великое русское прошлое, завет исчезнувших поколений. Она

стоит на страже русского будущего, где Россию ожидает неизбежная Победа. Эта лодка — воплощение силы, но и любви. В ней беспощадность, но и доброта. Она — концентрация материи, но исполнена духа. Она — плод наших усилий, наше возлюбленное чадо. Но она — олицетворение России, и мы все — ее дети. Славного тебе царствования, Царь-Лодка!

Ему аплодировали. Множество рабочих вскидывали руки, славили его. Оператор снимал ликующую толпу, взволнованного Алексея, корпус лодки.

Грянул оркестр. Привязанная к веревке, полетела к рубке бутылка шампанского и с пеной раскололась. Черные створы ворот стали медленно раздвигаться. В высокую узкую щель хлынул свет. Ворота раздвигались все шире, открывая солнечный светлый прогал, где сияла вода, летали чайки, туманилась далекая дельта. Ветер ворвался в цех, колыхнул на лодке Андреевский стяг. Лодка дрогнула, чуть заметно сдвинулась с места. Стала скользить вдоль стапеля, тяжко, с тревожным шорохом. Быстрей и быстрей, удаляясь от скопленья людей, которые торопились ей вслед, кидали на палубу букеты цветов и венки. Из-под лодки, от смазанных маслом полозьев, валил дым. Лодка удалялась и светлый квадрат ворот. Коснулась воды. Мягко сошла, с тяжким плеском проваливаясь в глубину и тут же всплывая. Вода расступилась двумя черно-стеклянными гребнями. Волны вернулись и пенно ударили в лодку. Черная, глянцевитая, облизанная водой, озаренная солнцем, она качалась на воде, и два маленьких стучащих буксира подходили к ней, натягивали буксирные тросы, начинали тянуть на открытую гладь.

Алексей ликовал. Чувствовал мистику русской истории, предначертание судьбы.

После банкета, взволнованный, утомленный, он был доставлен в гостиницу, где его неохотно оставили одного министр Данченко, директор завода, представители флота, каждый изъявляя знаки верноподданного обожания. Он засыпал, продолжая слышать ликующие крики, славословия в свой адрес, бодрый гром оркестра. Уносил все это в тревожный и сладостный сон, где синела студеная вода, летали чайки, и лодка, черная, глянцевая, оставляла за кормой серебряный след.

Его разбудил стук в дверь. Он не сразу встал, озирая темный номер и мутное окно, за которым не гасла белесая северная ночь. Отворил дверь. На пороге стоял священник отец Михаил, без облачения, в плаще, с черным клином опадавшей бороды.

— Я не мог не прийти, — глухо произнес священник. — Я пришел за вами. Мы должны сейчас пойти на завод, в мой храм, и там отслужить молебен по убиенным монахам. Сегодня день поминовения убитых монахов, — его выпуклые, лосиные глаза пылали в темноте болью и страстью. В них была истовая непреклонная воля, которой невозможно было перечить.

— Какие монахи? — спросил Алексей, стоя босиком на полу?

— Когда начали строить завод, монастырь разорили, а монахов расстреляли. Похоронили тут же, на территории завода. Завод вырос на костях монахов. Сегодня день поминовения. Вы, будущий царь, должны принять участие в заупокойной службе. Кости должны успокоиться. Иначе и ваше царство, возведенное не костях мучеников, падет, как предшествующее. Мы должны вместе отслужить литию и успокоить кости мучеников.

Священник не просил, а требовал. Знание, которым он обладал, было выстраданным и несомненным. Алексей не стал расспрашивать. Оделся, вышел вслед за священником из гостиницы, где их ждала неказистая легковушка. Отец Михаил сел за руль. Они миновали спящий город, подъехали к заводу, где строгая охрана пропустила их сквозь электронные турникеты. Шли в сумерках по безлюдной территории, пока ни достигли старинного крыльца и узорного оконца в стене, в котором туманно горела лампада.

Храм помещался в тесном, не отремонтированном помещении, на стенах была синяя несвежая краска, кое-где прилепилась кафельная плитка, торчали обрезки труб, свисали оборванные провода. И только в уголке висел большой старый образ Георгия Победоносца, аналой пестрел бумажными разложенными иконками, стоял сияющий, из дутого металла подсвечник, горела повешенная на крюк лампада.

— Присядьте, — священник пододвинул Алексею табуретку, сам же присел на шаткий стул. — Вот и все, что осталось от Николо Карельского монастыря. Память о дивной обители.

— Как расстреляли монахов? — Алексею было холодно, как в склепе. Толстые стены тянули из мерзлоты ледяные соки. И только

вокруг лампады сберегалось едва ощутимое тепло, тихо сиял одуванчик света.

— Монастырь тут был красивейший по всему Северу. Его основали Соловецкие старцы. До него добирались лодками по Двине и по морю. Он стоял на болотах, как чудный град, как образ русского рая. У монахов здесь рос виноград, вызревали дыни. Тут писались иконы, северные письма, все в цветах и ягодах, красным по золоту, голубым по изумруду. На болотах жили тетерева, на озерах гнездились журавли и лебеди. Когда пели монахи, казалось, в воздухе витает райская песнь, и на эту песнь слетаются херувимы…

Отец Михаил говорил твердо, без умиления, не желая увлечь и растрогать гостя, — свидетельствовал о потерянном рае, выполняя завет.

— Сталин выбрал для завода это место. Пожаловали к монахам комиссары. «Убирайтесь, будем ваши церкви взрывать». Монахи говорят: «Взрывайте вместе с нами. У нас в старых книгах написано, что подступит к нашим стенам антихрист, будет стены ломать. Ваш Сталин — и есть антихрист». Всех монахов погнали в скит, где жил старец. Он говорит: «Братия, пришла пора Христе Богу душу предавать. Помолимся на прощанье». Их во время молитвы расстреляли и тут же в скиту зарыли. Монастырь взорвали, и на месте скита построили цех, где самые большие атомные лодки на воду спускали. Можно сказать, на монашьих костях. С тех пор у этих лодок много случалось аварий. И «Ленинградский комсомолец», и «Курск», и другие. Весь советский атомный флот, который построен на монашьих костях, — где он теперь? Сгнил, лодки стоят у пирсов на базах, и из них радиоактивная грязь вытекает. Пока монахов не отроют, не отпоют по-христиански, не покаются за содеянное злодеяние, никогда ничего путного здесь не будет. Вам, как будущему царю, придется эти кости отмаливать, чтобы они не поднялись из своих могил и не порушили царство. Давайте помолимся за упокой душ праведников.

Отец Михаил надел золотую епитрахиль. Взял из ящика пучок церковных свечей, по числу убиенных монахов. Закрепил в подсвечники и зажег. Свечи жарко, чудесно запылали, превращав подсвечник в яркий шар серебра. Оба они с Алексеем встали перед аналоем, и священник рокочущим голосом отслужил литию. Алексей

видел его бледный лоб, фиолетовые глаза, черную бороду, сквозь которую просвечивала золотая парча.

Сидели перед пылающими свечами, в каждой из которых трепетала душа убиенного мученика.

— Но ведь новая Россия искупила грех России прежней, — произнес Алексей.— Оплакала мучеников, претерпела много страданий. Строит империю, спускает на воду лодки «царской серии». Как знать, не восторжествует ли в России монархия?

— Новый царь вернет в Россию «Райскую Правду». Без «Райской Правды» не быть ни царю, ни России.

— «Райская Правда»? — Алексей уже слышал о загадочной «Формуле Рая» из уст горбуна-ракетчика.

— «Райскую Правду» не всякий поймет. А если поймет, то не всякий выскажет. А если выскажет, не всякий с собой понесет. Великий русский поэт Кузнецов понял «Райскую Правду», начал ее высказывать, но ему не позволили.

— Какой Кузнецов? Как не позволили? — Алексея тревожили невнятные слова священника, пугали его огненные глаза, отражавшие блеск свечей.

— Великий русский поэт Юрий Кузнецов, Данте нашего времени, написал поэму «Ад» и в ней запечатал зло. Начал писать поэму «Рай», чтобы воспеть добро и святость. Но его схватили и упрятали в сумасшедший дом. Напечатали в газете, что он умер от разрыва сердца, но он живет на Урале в доме умалишенных под Невьянском и все пишет свою поэму. Отправьтесь к нему, и он вам откроет «Райскую Правду».

— Но разве сегодняшнее торжество не вселяет надежды? Разве мы не отринули зло?

— А вы ничего не поняли? — священник поднял глаза, в которых дрожали слезы.

— А что я должен понять?

— Не поняли, что вас обманули?

— В чем же обман?

— Нет никакой «царской серии». Лодки, которые вы видели, остались недостроенными от советских времен. Эту лодку, на которой написали: «Царь Михаил Романов», ее по договору с американцами надлежало пустить на слом, разрезать автогеном. Ее после спуска

отвели в сухой док и уже режут под надзором американцев. Вас просто ввели в заблуждение.

— Не верю! — ужаснулся Алексей, вспоминая красоту и мощь корабля, ликующих строителей, преданные взгляды директора, золотого орла на черной могучей рубке.— Никогда не поверю!

— Тогда пойдемте со мной.

Они покинули утлый храм. Направились сквозь заводской пустырь, мимо заброшенных цехов, вдоль округлой акватории, млечной, под негаснущей голубой зарей. Впереди возвышалась огромная стена, чернея на бледном небе. Вдоль стены наверх, отмеченная тусклыми лампами, вела лестница. Перед ней на земле стояла группа людей, краснея сигаретами. Проходя мимо, Алексей услышал английскую речь.

— Это док, — сказал отец Михаил. — Поднимайтесь осторожнее. Лестница может быть скользкой.

По сваренным железным ступеням, вдоль серой бесконечной стены, они поднимались к небу. Останавливались, переводили дыхание. Достигли верхнего уровня. Вышли на стену. Алексей с колотящимся сердцем сделал несколько шагов и заглянул вниз, по другую сторону стены. Под ногами открылась пропасть, глубокий провал с удаленной, мерцавшей водой. В пропасти висела лодка, черная, как гигантский кит, застрявший среди бетонных конструкций. В черном теле зияли огненные надрезы, из которых сыпались искры, изливалась красная жижа, пламенела белая плазма. Лодку резали на части, на сочные ломти. В распилах шипело, скрежетало, словно огненная пила рассекала позвонки, раскраивала скелет. Один из распилов пришелся на название лодки «Царь Михаил Романов». Другая огненная щель рассекала начертанную мелом надпись: «Не валяй дурака, Америка». Третий разрез вонзился в золотого орла. Лодка сотрясалась, издавала мучительный, похожий на стенание звук. Алексей округлившимися, полными ужаса глазами смотрел на истребление лодки.

Виктор Викторович Долголетов, он же Ромул, принимал приехавшего из Швейцарии финансиста, которому доверял размещение своих средств в иностранных банках. Владея акциями Газпрома, сталелитейных компаний, алюминиевых и никелевых

корпораций, Ромул постоянно пополнял свое многомиллиардное состояние, размещая деньги в швейцарских банках, в «Барклае», в «Банк оф Америка», «Дейчебанке», а также в офшорных банках Кипра и Каймановых островов. Он приобретал ценные бумаги на фондовых рынках Европы, Америки, Азии, пользуясь рекомендациями опытных игроков, к числу которых принадлежал приехавший из Женевы советник. У советника был голый череп, складчатый затылок черепахи, пронзительные васильковые глаза и вислая розовая губа, свидетельствовавшая о тайных пороках. Он обстоятельно, с множеством примеров, предупреждал Ромула о неизбежном и очень скором, мировом финансовом кризисе.

Объяснял характер американской «финансовой пирамиды», не выдерживающей бесконечных внешних заимствований. Чертил графики ипотечных кредитований, приближавших американскую экономику к краху. Констатировал исчерпанность рынков, переоценку доллара, аномально высокие цены на нефть, рисуя картину ужасающего коллапса, который неизбежно сметет мировую финансовую систему.

— Что же вы предлагаете делать? Отказаться от банковских вкладов? — допытывался Ромул.

— Не надо класть яйца в одну корзину.

— По вашему совету я уже выбрал десяток корзин.

— Надо выбрать еще.

— Советуете Гонконг?

— Кризис сметет Гонконг.

— Советуете банк Токио?

— Кризис сметет банк Токио.

— Советуете Сингапур?

— Кризис сметет Сингапур.

— Что же вы советуете?

— Рассовываете деньги по карманам.

Это была еврейская шутка, которая на минуту развеселила Ромула.

— Так все-таки, что же делать?

— Кризис минует, а русская нефть останется. Потери неизбежны, но они не смертельны. Вкладывайтесь в недвижимость.

Он стал предлагать услуги по покупке золота в слитках, антиквариата, включая картины мастеров Ренессанса и русские иконы. Советовал приобретать большие участки земли в различных районах мира — саванну в Кении рядом с Национальным парком, территории Сахары с подземными линзами пресной воды, австралийские предгорья с неразведанными запасами олова, и конечно угодья русского Нечерноземья, — будущую продовольственную базу планеты.

— А как обстоят дела у президента Лампадникова? Ведь он держит свои деньги в Европе.

— Артур Игнатович просил у меня совета. Я посоветовал ему рассовать деньги по карманам.

Вторично повторенная еврейская шутка, розовая слизистая оболочка губы, складчатая кожа на шее советника вызвали у Ромула легкую гадливость, которая не укрылась от васильковых глаз коммерсанта.

Еще большую гадливость и близкое к истерике раздражение испытал Ромул, просмотрев телевизионный сюжет, где ненавистный провинциал из Тобольска присутствовал на спуске стратегической лодки. Был окружен ликующими рабочими, славящими его, как будущего царя. Его выступление было похоже на тронную речь.

Всякие сомнения отпали. Налицо был заговор. Лукавый и вероломный Лампадников нарушил священную клятву дружбы. Отказывается уступать ему кремлевское кресло. Заслоняет его от народа лжецарем. Воздвигает самозванца, который должен привлечь к себе народные симпатии и отвратить эти симпатии от него, Духовного Лидера, Виктора Долголетова.

Он не стал звонить Виртуозу и Рему, не стал набрасываться на руководителя телеканала Муравина. Впервые пришла ему в голову, жарко обожгла мысль о верных воинских частях. О преданных офицерах двух подмосковных дивизий. О командирах десантных полков, получавших из его рук награды за Чеченскую войну. Ему стало сладко и жутко. Он представлял шелестящий бег по московскому асфальту юрких «боевых машин пехоты» и тяжкое лязганье танков.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Алексей, еще с вечера, вернувшись в свою просторную квартиру на Тверской, бросился звонить Марине, но так и не дозвонился. Разочарованно упал на кровать, видя, как на лепном потолке плывут водянистые медузы — отражения ночных автомобилей. Ночью ему снилась огромная, висящая в небе лодка, из пламенеющих разрезов клокочут, бурлят, опадают на землю бесчисленные огненные ручьи, и под этими огненными водопадами стоят молчаливые монахи.

Проснулся поздно среди солнца и городского шума. Тверской бульвар за окном был в круглых ярко-зеленых вершинах, краснели на клумбах тюльпаны, из переполненной площади на бульвар переливались машины. Он тут же позвонил Марине:

— Где же ты была? Я вернулся! Так хочу тебя видеть! — упрекая, любя, с нетерпеливой настойчивостью, он звал ее к себе.

— Родной мой, какое счастье, что ты вернулся. Я была на ночных съемках. Не вынимала телефон из сумочки. Ты жив, здоров?

— Приезжай ко мне сейчас, не откладывай. Ты где? Я пришлю машину.

— Я в Останкине. У меня могут быть съемки.

— Скажи начальству, что это царское повеление. Высылаю к тебе машину.

Он позвонил шоферу Андрюше, и тот бодро, молодецким голосом, пообещал:

— Не волнуйтесь, Алексей Федорович. Мигом доставлю, как в сказке про Конька-Горбунка!

Алексей принялся ждать, представляя, как машина ныряет в московских улицах, проскальзывает в узких зазорах, приближается к Останкинской вышке, причаливает у стеклянного входа. Из прозрачного вестибюля, щурясь на солнце, подхватывая летящий по ветру пучок золотых волос, выходит Марина. Усаживается на сиденье, поправляя на коленях свое лучистое, из таинственных тканей платье. Машина мчит ее среди слепящего блеска, прорывается сквозь запруды. Пробирается к высокому, сталинскому дому на Пушкинской площади, где он нетерпеливо расхаживает по комнатам, прислушиваясь к

металлическим шелестам лифта. Он чувствовал огромный, в витринах, особняках, небоскребах город как место ее обитания. Словно ясновидец, видел в нем драгоценную светящуюся точку — вел ее по невидимой карте, приближая к себе.

В подъезде глубоко звякнул лифт. Тихо зарокотало, закрутилось в каменных недрах старинное колесо. Эта приближалась она. С каждой секундой увеличивалась его счастье, его страх, почти ужас, заставлявший останавливаться сердце. Хотелось кинуться прочь, спрятаться или, напротив, броситься ей навстречу, обнять на лестничной площадке, у лифта. Раздался звонок, и пока длился звук, Алексей чувствовал их стремительное сближенье, словно в мир влетал метеорит. Марина стояла перед ним с изумленным, любимым, беззащитным лицом, словно была не уверена, ту ли выбрала дверь. Он не видел ее лица, а только чудесный туманный одуванчик света. И в этот свет потянулись его руки, его губы, его счастливые бессвязные возгласы. Они кинулись друг к другу, слепо и безрассудно целуясь, говоря бессмысленные слона. Он увлекал ее из прихожей в комнату по длинному коридору, и она на ходу теряла туфли, легкий плащ с пояском, шелковистую полупрозрачную блузку, под которой, слепя и пугая его, открылась белая, мягкая под его губами грудь. В спальне они упали, обнявшись, поверх китайского покрывала с белым цветком. Целуя ее лоб, глаза, золотистый венчик волос и снова глаза и губы, и подбородок, и горячую шею, боясь смотреть на близкую, с темным соском грудь, он думал, пораженный: «Неужели? Такое возможно? Она? Мы вместе! Так чудесно! Люблю! Невозможно!»

Он ее обнимал, чувствуя сладость, бесконечное, неутолимое блаженство. Глаза его были закрыты. Под ними белое мельканье, скольженье. Сильные, страстные рывки в блестящей лыжне, в которую вонзаются красные лыжи. Сухой, хрустнувший под лыжей цветок, голубые кристаллики инея, льдистая цепочка следов. Он приближается к синему лесу. Все ближе, выше, скользя над вершинами, над гроздьями малиновых шишек, над взлетевшей лазурной сойкой. Белая высота, где с каждым рывком и вздохом приближается несказанное счастье. Высоту нельзя удержать. Стремительное падение вниз. Неразличимо слепящий блеск, словно вспышка поглотила все виденья прошлой и будущей жизни. Сожгла все пространство, в котором жил и еще предстояло жить. Взрыв звезды и гаснущая пустота, ни земли, ни

неба. Под веками густая темно-синяя неподвижность, в которой гаснут осколки звезды.

— Ты здесь? У тебя глаза закрыты? Твое сердце бьется? — Он почувствовал, как ее рука коснулась бровей, прошелестела около уха, скользнула по плечу и легла на грудь. — Милый, отзовись.

— Не знаю, что это было.

— Что, милый?

— Сначала я мчался по снежному полю, как в юности, на красных отточенных лыжах. Накатанный блеск лыжни, сухие, торчащие из-под снега соцветья, удар лыжи по сухому цветку, иней опадает с цветка, мгновенье держится в воздухе, повторяя узоры соцветья. Лисий след с обледенелым донцем, в котором, словно в стеклянной рюмочке, блестит голубая искра. Поле выпуклое, сияющее, с далеким туманным лесом. Меня подхватывает на воздух, помещает на небесную дугу, закручивает в солнечную спираль, а потом бросает вниз. И пока я лечу, в ослепительной вспышке мне показывают мое будущее. Но в ней столько блеска, так сжаты виденья, что я не могу рассмотреть. Какие-то воды, дворцы, огненные вензеля, то ли гербы на фасаде, то ли отраженье в воде. И такое упоение, такое страдание, невозможность рассмотреть эти пророческие видения с промелькнувшей опасной тенью. А потом тишина, тьма, как было до сотворения мира. Или, напротив, когда мир сжался в искрящуюся точку, взорвался и исчез. А что видела ты?

— А у меня были аллеи с красными и голубыми деревьями. Клумбы с огненными, сложенными из цветов монограммами. Фонтаны, окружающие брызгами мраморные статуи. Улетающий в ночное небо фейерверк. Чудесная музыка — клавесин, свирель, лютня. Дамы в великолепных кринолинах с раскрытой грудью, кавалеры в напудренных париках. Какие-то шуты и карлики носят разноцветные фонари. А вдали за деревьями великолепный дворец с золотыми горящими окнами. Мы с тобой танцуем менуэт, и я чувствую у себя на талии твою крепкую руку. — Она тихо смеялась, то ли делилась с ним своими сладкими миражами, то ли пересказывала содержание какой-то картины из «Мира искусств».

— В этих вспышках человеку дано угадать свое будущее, — свой триумф или свое поражение. В это последнее мгновение сладость такая, словно ты достиг высшего блаженства. И такая боль, будто тебя

мучают в застенке, перед тем как казнить. Но тебе не дано расшифровать эту огненную точку, растянуть ее по времени, разглядеть спрессованные кадры. Остается только предчувствие, тайна собственной жизни и смерти.

— В Москве есть один удивительный ученый, профессор Коногонов. Он изучает тайны мозга. Он построил такие чувствительные приборы, что с их помощью проникает в подсознание и угадывает потаенную человеческую сущность, о которой человек сам не догадывается. Он разгадывает сны, галлюцинации, фантазии сумасшедших и художников. Уж он бы разгадал твои видения.

— А вдруг там какая-нибудь колокольня Ивана Великого, на которую тебя загоняет бешеная толпа и сбрасывает вниз, на кровли, кресты, булыжную мостовую, как Лжедмитрия?

— Нет никакой колокольни, нет никакого Лжедмитрия. Ты — истинный наследник престола, и в тебе течет царская кровь. Твои красные бегущие лыжи — это твои успешные продвижения к триумфу. Белое чистое поле — это белая святая Россия. Черное сухое соцветье — это козни твоих врагов, которые ты сметаешь ударом лыжи. Лисьи следы — это придворные интриги, в которых ты развираешься, как опытный следопыт. Взлет по небесной дуге — это той божественный промысел. А лучистая звезда — это звезда твоей царственной победы, которая загорится на русском небе.

Она гладила его грудь, будто рисовала на ней невидимую буквицу. Закрыв глаза, он чувствовал, как на груди возникает узор, — ветвящиеся цветы и плоды, среди них волшебная птица. И когда она убрала руку, на груди продолжал гореть едва ощутимый ожог.

— Я стремился к тебе. Мне не хватало тебя. Я нуждался в твоих советах.

— А я так гордилась тобой, мой любимый. Смотрела по телевизору все сюжеты. Как ты присутствуешь при пуске ракеты, и генералы, ракетчики чествуют тебя, а ты выводишь на ракете алой краской «Царевич Алексей». И на северном огромном заводе, среди кораблей, когда ты гладишь рукой огромную черную лодку, словно послушное тебе морское чудовище. Ну, прямо как библейский сюжет об Ионе в чреве кита. Рабочие, простой люд, приветствовали тебя, видели в тебе надежду, будущего царя. Эти сюжеты показывали по

главному каналу, в самое престижное время. Значит, люди в Кремле сочувствуют тебе, содействуют возрождению в России монархии.

— Вот здесь-то и кроется главная загадка. Не было никакой ракеты, а картонный муляж, который был начинен петардами и шутихами. А все эти ракетчики и генералы — это лицедеи, артисты московских театров. Не было никакой новейшей лодки, которую спустили на воду, а было уничтожение могучего советского крейсера, который распилили по требованию американцев. Меня хотели обмануть, а вместе со мной телезрителей. Нет никакой могучей ракетной техники, могучего подводного флота, а одна видимость, блеф, обман. Россия лишена обороны, ее можно взять голыми руками. Кругом ложь, преступление, предательство. И меня зачем-то вталкивают в эту ложь, громоздят обман ча обманом.

— Подожди, мой милый. Ты, наверное, не все понимаешь. В телевидении важна телевизионная картинка, эффектно сияний сюжет, не важно — реальный или мнимый. Тот, кто помогает тебе в твоем восхождении, хотел показать тебя в самые выигрышные моменты. Если он и пошел на обман, то ради другой, высшей правды. Правды твоего восхождения.

— Нет, здесь кроется чудовищный обман. С самого начала, когда меня силой привезли в Москву из Тобольска, навязали эту роль. Шутник, безвредный Марк Ступник, убит. Меня убеждают, что я наследник дома Романовых. Создают вокруг меня какой-то бутафорский спектакль, привлекают почтенных профессоров, церковных иерархов, высоких чиновников. Спектакль разрастается от действия к действию, от сцены к сцене, и я не знаю, чем он кончится. Какой-нибудь чудовищной финальной сценой, где меня убьют. Мне чудятся ужасные вещи.

— Нет, мой милый. Ты не должен бояться. Я не могу ничего объяснить, я слишком мало знаю. Но я вижу, как вокруг тебя копятся могучие силы, как ты наполняешься энергией, своей собственной и той, что тебе дарят люди. Тебе нужна стойкость, вера. Ты слишком быстро взрастаешь, и твои сомнения — это сомнения бурного роста. Я чувствую, как меняется твоя суть, как в тебе рождается новая личность. Хочу вдохновить, поддержать тебя.

— Мне мерещится во всем этом жестокий и мрачный замысел. Беспощадная, бесчеловечная хитрость. Какое-то страшное

преступление, страшная для России беда. Еще есть время. Есть несколько недель, может быть, месяцев. Давай убежим. Они обманывают нас, а мы обманем их. Соорудим какие-нибудь чучела, какие-нибудь манекены. Уложим их в кровать или посадим у окна. Пусть снаружи наблюдают и думают, что мы здесь. А мы будем уже далеко.

— Ну, куда же мы убежим, милый мой?

— Боже мой, велика Россия, необъятна Сибирь. Можно скрыться без следа, уйти от них волчьими тропами.

— Как же убежать от судьбы? Твоя судьба не злая, не ужасная. Твоя судьба светлая, великая, царственная. На тебе перст Божий. Целый век тебя ждала Россия, вымаливала, выкликала. Столько людей на тебя уповает. Стольким людям ты внушил надежду на новое русское царство, справедливое, православное, благодатное. На тебя смотрят живые. К тебе тянутся души убитых. Тебя призывает на царство ни чья-нибудь капризная прихоть, ни чья-нибудь отдельная воля, а сама Россия. Ты должен искупить грех цареубийства. Должен исправить больную огреху отречения. Превозмочь предательство царедворцев, великих князей, генералов, вероломство иерархов церкви. Твое восхождение на престол соединит разорванное русское время, прекратит вековечную русскую рознь. Мы снова станем богооткровенным единым народом, имеющим своего Царя Помазанника. Я вдохновляю тебя. Люблю тебя. Молюсь за тебя.

Она целовала ему грудь. Вдыхала свою нежность, женскую прелесть, молитвенную страстную волю. Голова начинала кружиться. Смолистая дощатая лодка плыла по летней реке. На днище деревянный черпак. Блестки рыбьих чешуек. Весла в деревянных уключинах погружаются в воду, булькают, толкают лодку в темной тяжелой воде, пробираясь сквозь вязкие водоросли, глянцевитые листья, желтые цветы кувшинок. Тускло блеснула рыба. Порхнула голубая стрекозка. Весла туго дрожат, лодка скользит быстрее, вперед, на вольную ширь, на светлую гладь. И вдруг из поды слепящий шар света, голубая молния, огромное зеркало с бесчисленными отражениями, — лица, дома, проспекты, узорные решетки, дворцы. Плавятся, рассекают друг друга, ломаются на множество ярких осколков. Осыпаются, гаснут. Скользнула неясная тень. Пустота. Испепеленное пространство и время.

Она коснулась пальцами его лба, чертила легкие круги, нежные вензеля, витиеватые монограммы. Возвращала ему зрение, память, дыхание.

— А сейчас что видел?

— Сначала лодку, уключины, тесаные весла с красными лопастями, которые вырывали из воды буруны, и они уплывали по воде ленивыми кругами. Синяя стрекозка села на желтый цветок кувшинки. Хлюпнула, тускло блеснула рыбина. Выплывал на середину реки, и вдруг что-то взметнулось, ослепительное, в грохоте, блеске. Так бывает в ночном экспрессе, когда навстречу несется состав. Его прожектор врывается в купе, как шаровая молния, отражается в зеркалах, мечется в бессчетных отражениях. В этих вспышках и блесках какие-то лица, дворцы, города, озаренные дали. Их невозможно разглядеть, невозможно запомнить. Состав проносится, зеркала осыпаются осколками, и ты лежишь, ошеломленный, во тьме где-нибудь между Читой и Иркутском, и не знаешь, что это было.

— Быть может, так же ночью, где-нибудь между Читой и Иркутском, просыпался цесаревич Николай Александрович, когда совершал путешествие на Дальний Восток. Это видение подарила тебе родовая память. Профессор Коногонов умеет проникать вглубь родовой памяти и отыскивать в сознании сына видения отца, а в сознании внука угадывать переживания деда. Наверное, если верить этой теории, у современного человека в родовой памяти таятся видения Адама, когда он еще не был изгнан из Рая. Нам ведь снятся райские сны.

— Нас волнуют райские сны, тревожит «Формула Рая». Люди ищут «Райскую Правду», а за это их помещают в темницы, запирают в сумасшедшие дома. Ты ничего не слышала о «Райской Правде»?

— Это что-то от староверов, от русских скитальцев? Беловодье, Голубиная книга, не так ли?

— Я открою тебе страшную тайну. Мне ее поведали сразу два человека, в разных местах. Горбун, ракетчик, когда мы разглядывали остатки бутафорской ракеты. И священник, из бедного, чудом уцелевшего храма на территории завода, в месте, где были расстреляны монахи. Один рассказал мне, что Юрий Гагарин жив, не погиб в самолетной аварии, а посажен в тюрьму, в колонию строгого режима, на Урале, потому что в космосе, куда он летал, он увидел

чертежи рая, ему открылась «Формула Рая». А она не нужна была правителям, и они возненавидели Гагарина. Если бы Гагарин показал людям чертежи Рая и открыл им «Формулу Рая», Советский Союз уцелел и мы бы жили сейчас в процветающей счастливой стране. Другая история — о русском поэте Юрии Кузнецове. Его называли «русским Данте». Он написал поэму «Ад», и все рукоплескали ему. Но потом ему открылась «Райская Правда», и он начал писать поэму «Рай». Все от него отвернулись, а правители схватили его и упрятали в сумасшедший дом, тоже на Урале, объявив народу, что он умер.

— Разве этому можно верить? Это часть спектакля, который с тобой разыгрывают.

— Нет, это истина. Вокруг меня крутились лицедеи, а эти двое, горбун и священник, были подлинными. Горбун мне сказал, что «Формула Рая» ждет человека, через которого она будет явлена миру. Ни Гагарин, ни Кузнецов не сумели ее явить. Значит, сумею я. Никакое царство, никакая Империя не устоит без «Формулы Рая». Я должен ехать на Урал, отыскать их обоих, узнать от них «Райскую Правду».

— Но это опасно. Тебя тоже могут схватить, заточить.

— Если мне суждено стать русским царем, если в Россию вернется монархия, она должна покоиться на «Формуле Рая». Иначе не устоит.

— Мне страшно за тебя, милый.

— Поедем со мной. Возьмешь оператора, мы проникнем в колонию и в сумасшедший дом и расскажем людям о живых Гагарине и Кузнецове.

— Мне невозможно. Начальство поручило мне сделать передачу о потомках великих русских поэтов, писателей, государственных деятелей. Они приезжают в Москву со всей России и изо исех стран мира. Я работаю над этой передачей.

— Тогда я поеду один.

Он смотрел на нее, лежащую рядом. Ее нагота была ослепительной и целомудренной, как у тех, кто, не ведая своей наготы, нежится на отмелях теплых морей, дремлет на первозданных цветах, качается в гамаках, сотканных из душистых стеблей. Она лежала на покрывале, на большом шелковистом цветке, и солнце из-за шторы золотило рассыпанные волосы. Окруженные светящейся кромкой, дышали ее полуоткрытые губы. Мочка уха, просвечивая, казалась

сочной ягодой. Немигающие глаза чуть прищурились, и в них таинственно, влажно мерцали зеленые капли. Белые груди были окружены мягкими голубоватыми тенями, и над каждым соском горел крохотный нимб. Дышащий живот был залит ровным светом, и в ложбинке пупка притаилась смуглая тень. Золотистый лобок казался солнечным зайчиком. Длинные ноги были вытянуты лениво и сонно, погружены в прозрачную тень. К ним медленно приближалась солнечная бахрома, и в этом смещении света, в перемещении невидимого за окошком светила чудилось вращенье земли. Он смотрел на нее, как на чудо, ниспосланное ему за несуществующие заслуги и несовершенные подвиги, в знак высшего благоволения.

— Люблю, — говорил он неслышно, — любовь моя.

— Чувствую, как ты смотришь, — сказала она. — Знаешь, о чем я думаю?

— О чем, моя прелесть?

— Ты поедешь в некое царство, в тридесятое государство добывать свою «Райскую Правду». На Урал, к Хозяйке Медной горы. Она подарит тебе малахитовый ларец, в нем перевязанный лентой свиток, а на этом свистке, среди волшебных птиц и дивных цветов, рукописными буквами записана «Райская Правда». Когда вернешься, обещай мне исполнить мое желание.

— Какое желание?

— Мы поедем с тобой в Петербург. Вдвоем, никому не сказав. Это город русских царей, подлинная столица Империи. Я так люблю этот город, так много с ним связано. Покажу тебе любимые дворцы, любимые решетки, сады. Покажу тебе место у Эрмитажа, на набережной, где на сиреневой волнистой Неве трепещет золотая игла, будто плывет золотистый рыбий косяк. Погуляем вдоль Мойки и поклонимся янтарному особняку Пушкина и оранжевым конногвардейским казармам. Пройдем по Марсову полю и полюбуемся Михайловским замком среди густых дубов и кленов. Покажу тебе ампирную церковь, у которой ограда построена из трофейных турецких пушек, скованных цепями. Побываем в Русском музее, у моего любимого Врубеля, Серова, Петрова-Водкина. И, конечно же, восхитимся помпезным, ало-золотым, имперским «Государственным советом». Мне кажется, ты многое узнаешь и вспомнишь своей родовой памятью. Город, который построили твои предки. Где

совершалось столько великих деяний и темных преступлений, где обитает русская слава и русский позор. Тебе покажется, что мы уже бывали здесь прежде. Гуляли по набережным и проспектам.

— «В Петербурге мы сойдемся снова, будто солнце мы похоронили в нем…» — тихо загудели, заволновались в нем вещие слова.

— «И блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесем…»— вторила она, поймав с полуслова гудящую музыку стиха.

— Хочу произнести тебе блаженное слово, — сказал он, положив ее пальцы себе на глаза.

— Какое?

— Ты услышишь меня?

— Услышу.

— Я люблю тебя. Ты станешь моей женой. Это и есть блаженное слово, которое я хотел произнести.

Она молчала. Сквозь ее пальцы ему на лицо сочилось солнце, будто лилась позолота.

— Ты хочешь сказать, что я буду царицей?

— Ты будешь царицей и матерью моих детей. У нас родятся четыре прекрасные дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. И младший сын Алексей. И у всех у нас будет жизнь, счастливая, исполненная любви и благоденствия. Нас минует тот ужасный подвал в Ипатьевском доме и та страшная, кромешная Ганина яма. Потому что я добуду «Формулу Рая», тот свиток с волшебными буквицами. Мое царствование будет основано на завещанной «Формуле Рая», на «Райской Правде», которая не позволит пулям вылететь из ужасных ночных револьверов, убивших царских мучеников. Пули больше не будут жужжать вокруг нас.

— Вокруг нас будут жужжать бронзовые летние жуки, садиться в белые пахучие цветы. И золотые шмели, которыми будет полна клумба под окнами нашего дома в Царском Селе. Так и будет, мой милый.

Она целовала его плечо, касалась губами груди, скользяще и нежно гладила его вздрагивающий живот. И он снова качался на больших деревянных качелях, летал между двух поскрипывающих столбов. Вниз — и открывался зеленый травяной косогор, недвижное озеро, тонкий серебряный след от плывущей лодки. Вверх — и

высокое небо с белым облаком и семейством парящих ястребов. Вниз — и кто-то идет по склону горы, машет ему букетиком полевых цветов. Вверх — и из синей тучи полетели бесчисленные солнечные капли, наполнили мир драгоценными проблесками. Сорвался с доски, по дуге, над горой, над озером, сквозь прозрачную радугу, превращаясь в слепящую пустоту, в бесконечную сладость и счастье. Немота, слепая тьма, неподвижность.

Уже в сумерках она устало поднялась из постели. Босиком, белея спиной, пошла в коридор, подбирая разбросанную по квартире одежду. Появилась опять, в легком плаще с пояском, стоя в дверях на высоких каблуках.

— Не поднимайся, мой милый.

Было слышно, как стукнула дверь, закрутилось колесо, поплыла вниз кабинка лифта. Она удалялась, растворяясь в огромном вечернем городе.

Он остался лежать на покрывале. Касался пальцами шелковистых лепестков цветка. Чувствовал запах ее духов. Блаженно улыбался.

Ромул не находил себе места в ночных покоях «Дома Виардо». Его мучило искушение применить к заговорщикам последнее средство. Обратиться к верным войскам. Объявить в Москве и нескольких городах России военное положение. Арестовать заговорщиков и тем самым сорвать коварные планы Рема, желавшего восстановить в России монархию. Посадить на престол слабоумного, безвольного провинциала, стать его регентом, сохранить за собой реальную власть на неограниченный срок, оттесняя его, Ромула, навсегда из политики. Военное положение предполагало арест Рема и слабоумного самозванца, изменников-министров и, конечно же, главного предателя — Виртуоза, обманщика и лжеца, игравшего в заговоре «первую скрипку». Однако столь решительному шагу должно было предшествовать обращение к народу. Его мог бы написать для Ромула красноречивый журналист Натанзон, пылкий и убедительный, если бы давно не переметнулся на сторону Рема, забыв прежнего благодетеля. Его могли бы заменить искусные мастера слова, писатели Сорокин или Пелевин, Быков или Ерофеев, если бы они отказались использовать в тексте матерные слова.

В этом обращении следовало рассказать народу о баснословных суммах на иностранных счетах Рема. О его замках в Швейцарских Альпах, средневековых виллах на Лазурном Берегу, о богатых дворцах в предместьях Лондона. Была бы уместна оперативная съемка его похождений в закрытых клубах Сардинии, участие в оргиях на яхтах в Тирренском море, те замечательные кадры, где Рем забавляется в бассейне с мулатками и дрессированными дельфинами. Пусть народ узнает, как Рем, в угоду Америке, саботирует перевооружение армии, тормозит испытание ракетного комплекса «Порыв», распиливает на металлолом стратегические лодки, способные нести баллистические ракеты. Пусть люди ужаснутся его тайному сговору с Америкой, по которому под контроль американцам переходит российский ядерный комплекс. Послание расскажет об остановленном «монархическом перевороте» в России, о самозванце, который намеревался подарить американцам нефтяные и газоносные месторождения Сибири, отделить от России Северный Кавказ, превратить страну в рыхлую конфедерацию. В том же обращении будет объявлено о начале долгожданного Русского Развития, о триллионах рублей, которые он, Виктор Долголетов, направляет на строительство дорог и университетов, медицинских центров и агрогородов, уникальных заводов с технологиями двадцать первого века. Это послание он зачитает по центральным каналам телевидения в момент, когда в Москве начнутся аресты.

Но эти соблазнительные планы прерывала пугливая мысль о судьбе ГКЧП, о провалившихся путчистах, посаженных за решетку. Мысль о тюрьме, о камере, о параше и нарах была невыносима. К тому же, вспоминалось предсказание старца, согласно которому правитель России, то есть президент Игнатий Лампадников, будет убит. И предсказанный срок приближался. Так стоило ли торопить события?

Ромул мучился, нервничал, не раз наливал в хрустальный стакан золотистый хеннесси. Пока вдруг не услышал на другой половине дома пленительный и сладостный голос Полины Виардо. Она пела итальянскую арию. Голос то возносился в необъятные небеса, где обитали не ведающие печалей ангелы. То ниспадал на грешную землю, где мучилась в ревности и безответной любви человеческая душа. Душа его, Ромула.

Захотел увидеть певицу, насладиться вблизи ее чарующим пением. Стал искать ее в доме, следуя туда, откуда изливался голос. Посетил зимний сад, где, казалось, минуту назад была она. Перебежал в библиотеку с персидскими коврами на полу, где шевелилась занавеска от ее прикосновения. Хотел настичь в зале, где в воздухе еще витал тонкий запах французских духов. Искал и кабинете, в столовой, откуда раздавалось пение. И вдруг увидел в сумерках, на пороге своей спальне. Она стояла вполоборота к нему, в белой ночной рубашке с вольным вырезом на груди, с чудесными черными локонами и темными пугливыми, как у антилопы, глазами.

— Не пугайтесь, умоляю… Я так вас люблю… — произнес он, обнимая ее прохладное плечо, увлекая в сумрак спальной, успев мметить, как легко перепорхнули порог ее босые ступни.

Она не противилась. Позволила совлечь с себя прозрачный покров, полыхнувший в темноте голубоватой зарницей. Он жадно ее обнимал. Погружал лицо в горячие груди. Неистово целовал круглый высокий живот. Гладил шелковые прохладные бедра. Чувствовал бровями и переносицей ее шелестящий лобок. Вдыхал ее душный, пряный, сладостный запах.

Он обладал ею слепо, с животной яростью и неутомимой июбретательностью. Душил, сжимая пальцами ее тонкие ноздри и запечатывая поцелуем рот. Делал больно ее ногам, поднимая их ввысь. Хватал губами жаркую плоть, оставляя на теле красные отечатки. Мял и скручивал возбужденные соски. Давил пальцами дрожащие веки. Она терпела покорно, беззвучно. Разбрасывала руки, превращаясь в белый, терзаемый крест. Возносилась над ним, как наездница, бешено скакала, рассыпав по плечам волосы, иолнуя живот и груди. Обращалась к нему спиной, и он видел ее круглый торс, дрожащие лопатки, дотягивался до ее колыхавшейся груди, вдыхал ее парной, плотский запах. Он властвовал над ней. Владел ее пленительным телом, ее божественным голосом, ее загадочной легендарной судьбой, которой завидовали в аристократических салонах Европы, изумлялись дипломаты, поэты, разведчики, в том числе и великий писатель Тургенев, ценитель всего прекрасного, великодушного, благородного.

Иван Сергеевич возник на пороге спальни и смотрел на них молча, внимательно, сложив на груди руки, с длинной шевелюрой, красиво расчесанными бородой и усами.

Его присутствие волновало Ромула.

— Я так мечтал, что мы окажемся втроем, — задыхался он, не выпуская из рук округлый, похожий на амфору, торс Виардо, видя блестевшую от пота ложбинку на ее вогнутой спине. — Как хороши, как свежи были розы…

Эти поэтические слова превратились в длинный вопль, бурлящий клекот, долгий мучительный стон. В паху взорвалась жаркая, больная петарда, брызнули во все стороны перламутровые маслянистые капли. Он упал без чувств, успевая заметить, как повернулся и ушел Тургенев.

Очнулся, почувствовав под собой холодное, скользкое. Уловил неприятный запах резины. Приподнял голову. Под ним лежала расплющенная, утратившая объем надувная женщина. С плоского лица дико, как с вывески, смотрели грубо намалеванные глаза. Он гадливо отстранился, сбросил резину с постели. Резина упала на пол и липко хлюпнула.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Алексей позвонил Директору ФСБ Лобастову и голосом, в котором не было просьбы или заискивания, а уверенная властная воля, произнес:

— Мне нужно побывать на Урале. Посетить под Нижним Тагилом колонию строгого режима. Посещение входит в «монархический проект». Милостивый наследник престола ищет «разбойника благоразумного». Обрести сторонников среди заключенных, пообещать им амнистию — это, как понимаете, входит в замысел руководителей «проекта». Поэтому, будьте любезны, билет в Екатеринбург. Пусть меня встретят и сопроводят в колонию. И если можно, без всякого телевидения.

— Конечно, конечно, — заторопился Лобастов. — «И в мой жестокий век»… Я понимаю… «Восславил я свободу»… Все сделаем в лучшем виде… «И милость к падшим ангелам призывал»…

Уже в полдень Алексей летел на Урал. Был встречен в аэропорту начальником Управления исполнения наказаний, седоватым строгим полковником. От трапа, минуя Екатеринбург, огибая его по кольцу, они помчались на север, туда, где по утверждению горбуна-ракетчика, томился «на зоне» живой Юрий Гагарин. В дороге полковник пытался заинтересовать Алексея рассказами о трудной судьбе офицеров, несущих службу в колониях, о малой зарплате, о нехватке жилья, о нервной работе среди враждебного, склонного к неповиновению и бунту контингента. Алексей отмалчивался. Смотрел на гранитные откосы, поросшие лесом, на дымящие по горизонтам заводские трубы. Размышлял об Урале, таинственном и священном, — становом хребте России, плахе царей, танковом оплоте державы. О Ганиной яме, куда были брошены изрубленные, сожженные, ошпаренные кислотой останки царской семьи, знаменуя страшный конец «белой империи». Из этой ямы, через семьдесят лет, как чудовищный демон возмездия, явился Ельцин, могильщик «красной империи». Алексей думал, что непременно, побывав в колонии у Гагарина и в доме умалишенных у Кузнецова, освободит пленников, а потом посетит в Екатеринбурге Храм на Крови и Ганину яму, с которыми связан таинственным

предначертанием. К вечеру они достигли Нижнего Тагила, где черные трубы дымили на красной заре. Переночевали в пригородной гостинице.

Утром подкатили к колонии, на краю унылого поселка.

Здание штаба, куда его привел полковник, было двухэтажное, из силикатного кирпича, со всеми признаками гарнизонного строения. Грязно-зеленые масляные стены. Грубо выкрашенные двери. Тесные одинаковые кабинеты. Циркуляры и приказы на стенах. В кабинетах военные — мужчины и женщины. Мышиного цвета форма. Какие-то папки. Шелестящие бумаги. Назойливый треск телефонов. Находившееся в их распоряжении хозяйство доставляло им массу забот, и эти заботы делали их шумными, раздраженными и подвижными. Начальник колонии размещался в кабинете, где странно пахло железом и несвежей человеческой плотью. Этот запах исходит от громадного сейфа, столь большого, что у Алексея явилась пугающая мысль, не содержится ли в этом сейфе наиболее опасный заключенный, требующий надзора самого начальника. Не здесь ли, в этом железном коробе, долгие десятилетия томится Юрий Гагарин со своей заповедной «Формулой Рая».

— Мы, конечно, слышали о вас, — поднялся навстречу начальник колонии. Он был невысок, лыс, с низким лбом и руками, которые не прижимались к туловищу из-за могучих, разбухших бицепсов. От него исходила биологическая мощь и настороженная чуткость, которая требовалась от вожака племени, находящегося в постоянной борьбе. — И администрация колонии, и заключенные смотрят телевизор и знают вас. Мы вам покажем все, что вы пожелаете. Вы можете побеседовать с заключенными. Можете побывать в отрядах, отведать пищу в столовой, послушать выступление самодеятельного ансамбля. Вас будет сопровождать начальник отряда капитан Маркиросов.

В дверях появился военный, тоже лысый, с остатками черных волос, с могучей, выступавшей из ворота шеей. Он улыбался, но глаза, темные, тревожные, казалось, считывали потаенные мысли, и Алексей испугался, что замысел его будет разгадан. Гагарина спрячут, а его самого арестуют и посадят в этот ужасный сейф, который снаружи был выкрашен в коричневую, с желтыми разводами краску, фальшиво изображавшую древесную фактуру. Никто никогда не узнает о его аресте, никто не хватится о его исчезновении.

— Вы сможете убедиться, как нелегка наша служба. Еще неизвестно, кому тяжелее, — осужденным или администрации колонии, — начальник кивнул на открытую дверь, где стояли другие работники штаба, желавшие взглянуть на Алексея. Все они показались Алексею похожими. Лысоватые, чернявые, низкорослые, с могучими конечностями, проницательными чуткими глазами, они были словно одна семья, — братья, дети, племянники начальника, и он управлял ими не по военному уставу, а по законам племени, ведущего борьбу за существование.

— Тогда пойдемте, — сказал капитан Маркиросов.

Полковник, сопровождавший Алексея из Екатеринбурга, остался в штабе, будто бы желая познакомиться с какими-то документами, а Алексей, покинув штаб, направился вслед за капитаном в колонию.

Обогнув строение штаба, они оказались на сером пустыре, где обрывались дома поселка, кончались деревья, исчезала растущая из земли трава, и все улицы, дорожки и тропки сходились к одной серой асфальтовой дороге, которая мрачно проходила через пустырь и упиралась в стену. Стена была пугающая, уродливо-сложная, состоявшая из нескольких ярусов. Нижний ярус был из бетонных, грубо выбеленных плит с потеками серой грязи. Над ними возвышались высокие дощатые щиты, сколоченные из плохо отесанных досок. Верхняя кромка досок была утыкана штырями, увита клубками колючей проволоки с едким металлическим блеском. Еще выше над проволокой виднелись караульные вышки с козырьками, и там маячили часовые с автоматами. Уродство стены показалась Алексею неслучайной, осмысленной. Здесь присутствовала продуманная эстетика ужасного и отталкивающего, отчуждавшая пространство колонии от окрестного мира. Это отчуждение достигалось невидимым ядовитым полем, какое бывает вокруг кратера вулкана, где земля выжжена и отравлена кислотными газами, и на склонах горы нет ни единой травинки, а только черный и зернистый шлак. Ядовитое и испепеляющее поле окружало колонию, туманило небо над вышками, словно по ту сторону стены шло постоянное тление, поднималась вялая гарь. Алексей чувствовал особый состав воздуха над колонией, его химический, непригодный для дыхания состав. Казалось, вокруг стены искривлялись магнитные силовые линии, как в районе аномалии. Преломлялись световые лучи, и по этим

искривленным линиям, не достигая колонии, далеко огибая ее, проносились птицы, частички тополиного пуха, корпускулы света.

Дорога упиралась в железные склепанные ворота, подле которых виднелась проходная — уродливая каменная выпуклость, закупоренная стальной дверью с несколькими сигнальными кнопками. Перед проходной на солнцепеке стояли женщины. Пожилые, в невзрачных кофтах и старомодных платках, и молодые, в кокетливых блузках и нарядных шляпках. Они были похожи одна на другую своим безнадежно-терпеливым ожиданием, покорно-тусклыми лицами, кульками и сумками, которые они поставили на серый шлак пустыря. Казалось, такими их сделало многодневное стояние перед этой глухой стеной, безропотное горе, что привело их из далеких городов и селений к этим глухим воротам, к стальной двери с красными и желтыми кнопками.

— Ой, смотрите, вон кто идет! — ахнула одна из женщин, узнав Алексея. — Это царь, это царь! — Она кинулась к Алексею, хватая его за рукав. — Там мой сын, мой сыночек. Он не убивал. Он не мог убить. Он был добрый, хороший мальчик. Вы пойдите туда и скажите, мамочка ждет. Вы спасите его. Мы за вас будем Богу молиться.

Она цеплялась за него, из-под старенького платка смотрели синенькие подслеповатые глазки, и Алексею было мучительно больно. Он испытывал такую вину перед ней, такое стеснение сердца, словно это он отнял у нее сына, по его вине тот оказался в тюрьме. «Мой народ, — думал он сокрушенно. — Это мой народ».

Сопровождавший Алексея капитан оттолкнул женщину, грубо прикрикнул:

— А ну стоять! Сейчас вас живо отсюда выдворят! — оттеснив испуганную просительницу, он нажал на сигнальную кнопку. В глубине стены затрещало. Железная дверь отворилась, и стальной сквозняк всосал Алексея.

Он почувствовал эту всасывающую силу, словно случился перепад давления. Уши заложило, и он на мгновение оглох и ослеп, оказавшись в стальном полутемном отсеке, как на борту батискафа, который погружался на дно. Капитан прикладывал пластинку к сигнальным датчикам. Лязгали замки, открывались и закрывались двери. Одна решетка сменяла другую. Они проходили сквозь накопители, шлюзы, тесные тамбуры. Во время этого бесконечного

прохождения Алексею казалось, что он попал внутрь сложной машины, где его обрабатывают железом. Прессуют, сдавливают, прокатывают сквозь валики, как болванку, обдувают железным ветром, напыляют на кожу металлическую пудру. Превращают в деталь, в железное изделие, по сложной, заложенной в машину программе. Когда наконец они миновали последнюю, лязгнувшую дверь и оказались по другую сторону стены внутри колонии, он был уже другим человеком. С иным зрением и слухом, иными сердцем и легкими, с иной физиологией, позволявшей существовать в иной, неземной среде обитания.

Его поразил неестественный, нестерпимый блеск, от которого было больно глазам. Казалось, в небе горело не солнце, а другое, более яркое, ослепляющее светило, создающее вокруг бесчисленные серебряные вспышки. Мир вокруг был жгуче серебряным, почти драгоценным, если бы не множество острых, как иглы, колючих мерцаний. Этот эффект серебра рождала развешенная и растянутая повсюду колючая проволока. Завитками и плотными клубками она лежала на стене по всей ее протяженности, и каждый зубчик ярко и хищно сверкал. Она была натянута в несколько рядов, на разной высоте, по всему периметру колонии, и на ней, словно капли ядовитого света, сверкали острые жала. Тут же, почти от самой стены, начинались сетчатые, покрашенные серебряной краской решетки, высокие, ослепительно яркие клетки, делившие пространство колонии на квадраты. Вид этих серебряных клеток, этой сверкающей лучезарной проволоки рождал ощущение празднества, какое бывает в перевернутом мире, в помраченной психике смертельно больного, которому дали надышаться веселящим газом. Такое веселящее безумие испытал Алексей, оказавшись среди отточенного серебра, словно его привели на Праздник Зла и предлагали принять в нем участие.

— Тут, знаете, иногда не поймешь, кто зэк, а кто охранник. Кто осужденный, а кто начальник отряда, — произнес капитан Маркиросов. Было видно, что и он, пройдя сквозь механическую обработку проходной, превратился в деталь, и его не обошло стороной безумие этого серебряного, колючего, решетчатого мира.

Квадратные участки, огороженные этим жестоким блеском, были черными, траурными. На черных квадратах, на солнцепеке, сгрудились люди, — темные, как вар, недвижные сгустки, бритые головы,

глядящие исподлобья глаза. Множество настороженных, угрюмозорких глаз следило за ними, идущими. Так смотрят на звероферме выращенные в неволе норки и черно-бурые лисы, сохранившие подавленный инстинкт свободы, а также инстинктивное ощущение неизбежного насильственного конца. Алексея мучили эти взгляды. Он стыдился своего здесь появления, своей свободы, сытого, здорового тела, возможности повернуться и в любую минуту покинуть эту жестокую планету, где не растет трава, не гаснет слепящее, словно тысячи скальпелей, светило, и люди слиплись, словно комья черного пластилина, срослись телами, желудками, общим на всех страданием.

— Мы можем зайти. Вы поговорите с заключенными. Спросите, о чем желаете, — капитан остановился перед жестяной надписью «рубеж». Приложил пластину к электронному замку. Дверь с оружейным звяканьем раскрылась, и они прошли внутрь вольера, мгновенно изменив сложившуюся внутри обстановку.

Со всех сторон к ним вяло потянулись люди в черных бушлатах, с номерами, или голые по пояс, в татуировках, в надписях, с фантастическими змеями и драконами. Смыкались, обступали, теснились вокруг, словно огромное существо заглатывало их в свой губчатый, мускулистый желудок. Начало переваривать, выделяло едкий сок, тлетворный запах. Было готово растворить и впитать без остатка.

Совсем близко перед Алексеем оказался невысокий, молодой мужчина с красивым умным лицом, синими глазами, с белесой головой, на которой начали отрастать короткие золотистые волосы. Он был в черном бушлате с нагрудной нашивкой, на которой был начертан пятизначный номер.

— Здравствуйте, — растерянно сказал Алексей и протянул человеку руку. — Как вас зовут?

— Лакшин Анатолий Степанович, — доброжелательно, отвечая на рукопожатие, произнес заключенный.

— За что вы отбываете наказание? — спросил Алексей и тут же устыдился своего вопроса, в котором присутствовало пустое, праздное любопытство, без всякого намерения и возможности помочь попавшему в беду человеку. Но человек охотно ответил:

— Разбойное нападение и убийство.

— Как же это случилось? — все так же робея, спросил Алексей.

— Да кто его знает. С товарищем начали грабить квартиру еврея-ювелира, а он возьми, да и явись. Я его и пристукнул. Как– то машинально, без злобы.

— И сколько же вам дали?

— Пятнадцать лет.

— И сколько уже отбыли?

— Шесть лет.

Заключенный отвечал охотно, откровенно, ничего не скрывая, ничего не стесняясь, будто не раскаивался. Ему нравилось, что его спрашивают, им интересуются. С ним заговорил свежий, явившийся с воли человек, в красивой одежде, пахнущий одеколоном, с легким румянцем на чистом лице, так не похожий на окружавших, надоевших товарищей, с их одинаковыми застиранными бушлатами, несвежим запахом, серыми, выцветшими лицами.

— Вот еще полтора годика отсижу и выйду условно-досрочно.

Алексею было стыдно за свою беспомощность. За то, как нарочито, боясь показаться надменным и чужеродным, он торопливо протянул заключенному руку. За все различие их положений и судеб. За разницу выпавших на их долю страданий. Все это вместе усиливало чувство вины. Вызывало острое сострадание к этим людям, совершившим в прошлой жизни неслыханные злодеяния, но претерпевшим со стороны слепого, как неумолимая машина, государства насилие.

«Мой народ, — думал он с болью, — мой народ, с которым себя не разделяю и для которого готов положить свою жизнь».

— А мы вас знаем, — сказал человек в серой майке с синей замысловатой татуировкой, покрывавшей всю его руку от плеча до запястья, уходившей под майку на грудь и живот и снова выплывавшей волнистыми хвостами и змеиными кольцами на другой руке. — Вас по телевизору часто показывают. Вы и вправду наследник престола? — У человека была длинная костистая голова и вставные металлические зубы. С таким, как у него, лицом в кинофильмах играют блатных, но здесь, под палящим солнцем, на вытоптанном, без единой травинки пустыре, он казался усталым и беззлобным. С наивным удивлением рассматривал Алексея. — А что, если станете царем, отпустите нас по амнистии?

Все заволновались, еще плотнее сгрудились, будто хотели заручиться обещанием, воспользоваться невольным знакомством, опереться на это знакомство в каком-то, предстоящем им всем разбирательстве.

— До этого еще далеко, да и будет ли, — ответил Алексей уклончиво, но не отрицал самой возможности воцарения и связанной с этим амнистией, чтобы не разочаровать этих надеющихся людей. Все оживились, стали переговариваться, с надеждой смотрели на Алексея. Сопровождавший его капитан Маркиросов беседовал с кем-то из заключенных, втолковывал что-то строго и властно. Алексей воспользовался тем, что капитан от него отвлекся:

— Я вот что хотел спросить. Здесь, в этой колонии, мне говорили. Здесь будто бы содержится Юрий Гагарин, космонавт. Он якобы не умер, не погиб в катастрофе. Говорят, он все пишет, чертит какие-то чертежи. Говорит о «Формуле Рая». Вы не слышали?

Он видел, как изменились лица тех, кто стоял рядом. Напряглись, окаменели. Глаза ушли под надбровные дуги, подозрительно, отчужденно смотрели. Все стали расходиться, удалялись от него, разбредались по черному пустырю среди серебряных сверкавших решеток.

— А вы ничего не слышали? — Алексей спросил у молодого, стоящего перед ним заключенного, с кем только что здоровался за руку. У того отчужденно потемнели глаза. У рта образовались две презрительные злые морщинки. Отвернулся и пошел прочь, не ответив.

— Ну что, поговорили? — подошел Маркиросов. — Пойдемте, я покажу вам спальное помещение.

После колючего едкого солнца в казарме отряда было почти темно. Окон не было видно. Под сумрачным потолком горели тусклые голые лампочки. Тесно, сплошными рядами, стояли двухъярусные железные койки, застеленные серыми одеялами. Воздух был недвижный, душный, с застывшими запахами несвежего тела, ветхого белья и железа. Казалось, в казарме образовалась и не рассеивалась туча тяжелых сновидений, безысходных дум, молчаливых страхов, которые прерывались ночными побудками, обысками или внезапными шальными налетами с тонким вскриком, удушающим хрипом, проблеском втыкаемого в тело острия, и потом под лампой, на

скомканном одеяле лежало скрюченное тело в окровавленном тельнике.

Их встретил дежурный, бесшумно возникший из тьмы. Рапортовал Маркиросову, стоя навытяжку. Закончил рапорт бодрыми словами: «Нарушений нет». Стоял, переминаясь, круглое добродушное лицо, мягкий взгляд. Тихо улыбался Алексею.

— Все тихо, спокойно? — спросил Алексей, вновь смущаясь нелепости своего вопроса, который был поверхностным и никчемным в этом стиснутом пространстве казармы, где царили особые закономерности, невозможные на земле, а только в этом внеземном бытии, с ограниченными ресурсами жизни.

— Да все у нас хорошо, — ласково глядя на Алексея, ответил дежурный.

— А вас за что осудили?

— Двойное убийство, — мягко ответил дежурный. — Срок — четырнадцать лет

Как же такое стряслось?

— Поехал на охоту. Вернулся на день раньше. Застал жену с любовником. Прямо в коридоре собрал ружье и застрелил обоих. Тут зайцы убитые лежат, а тут они рядом.

— Должно быть, раскаиваетесь, мучаетесь?

— Да нет, давно это было. Я как увидел их, у меня в голове что-то вспыхнуло и ум отключило. Следствие, суд, этап — все, как во сне. Я еще до сих пор не проснулся.

Алексей поражался тому, что этот убийца не вызывает в нем страха и осуждения, а только мучительное сострадание. С ним сотворили нечто такое, что сделало его самого жертвой насилия. Слепая, необоримая машина пропустила его сквозь себя и превратила в деталь. Этот мягкотелый, круглолицый дежурный был больше не способен на ревность, ярость, на охотничью страсть, на погоню за зверем, на безрассудный поступок. В нем был переломан становой хребет, выбит стержень, извлечены внутренности, вместо которых напихали мягкую ветошь, как в матрас.

«Мой народ. Мой бедный любимый народ», — думал Алексей.

Маркиросов прошел в глубь казармы, осматривая койки, заглядывая в деревянные тумбочки. Пользуясь этим, он тихо спросил дежурного:

— Может быть, вы знаете. Здесь, говорят, в колонии содержится Юрий Гагарин, который не погиб, а был схвачен и помещен н колонию. Он будто бы знает какую-то тайну о «Формуле Рая», знает план и чертеж рая. Вы не слышали?

Стоящий перед ним человек слегка отшатнулся, ссутулился, будто ожидал удара. Его лицо при свете тусклых лампочек побледнело, словно он ждал, что его схватят, поволокут, осыпая ударами, закуют в железо.

— Ничего не знаю, — едва прошептал он.

— Ну вот, там, как вы видели, осужденные гуляют на воздухе. Здесь спят. А есть те, кто занимается художественной самодеятельностью.— Маркиросов, приземистый, мускулистый, исполненный упругой напористой силы, приглашал Алексея продолжить осмотр. Покидали казарму, оставляя в ней притихшего сутулого дежурного.

Маркиросов вел его по колонии, прикладывая свою волшебную пластинку к электронным замкам, как колдун, владеющий покоями таинственного дворца, растворяющий ворота в заколдованное, запретное царство.

Они посетили тесную комнату, где работал телевизор, и множество бритоголовых, в темных бушлатах зэков смотрели фильм, заворожено и страстно, веря каждому произносимому на экране слову, каждому цветному кадру. В небольшой зальце ансамбль музыкантов с электрогитарами репетировал, бил в струны, неестественно копировал жесты и ужимки известных рок-звезд, топорща свои черные, с пятизначными цифрами, бушлаты. Тут же сидел художник, разложил краски, кисти. Рисовал при свете электрической лампы картину, копируя маленькую открытку с синей речкой, зеленым лужком и милой избушкой.

Алексей не докучал им вопросами, не нарушал их скудных радостей. Испытывая к ним щемящую жалость, слезное сострадание, повторяя про себя неустанно: «Мой народ. Мой несчастный народ». Не понимал, что вкладывал в эти безмолвные жалобные причитания. Причислял ли себя к обездоленному, исполненному грехов и пороков народу, наивному и в глубине души своей верящему и доброму. Или думал о нем, как будущий царь, принимая его под свой скипетр, под свою милостивую защиту, обещая смягчение его вековечной доли.

«Все они убийцы или воры, так судил им рок. Полюбил я грустные их взоры с впадинами щек»,— печально и нежно звучал в его сердце есенинский акафист, написанный об этом, в пронумерованном черном бушлате, с запавшими глазами зэке, рисующем речку и деревеньку.

Весь час, который он находился в колонии, его не покидало ощущение, что пространство здесь выстроено по таинственному, не трехмерному принципу. Не подчиняется законам эвклидовой геометрии. Составлено из незримых плоскостей и граней, спиралей и эллипсов, в которых блуждает, укорачивается, теряет свою яркость залетающий сюда луч света. Часть световой энергии пропадает бесследно, а вместе с ней утрачивается и часть времени. Человек, здесь оказавшийся, как космонавт, унесенный во Вселенную, теряет в полете часть календарного времени. Выходя на свободу, не узнает окружающий мир, отделенный от него несколькими поколениями. Несмотря на яркость посеребренных решеток и палящее солнце, в воздухе присутствовала загадочная тусклость, прозрачная мгла, как если бы происходило частичное солнечное затмение.

— Ну что вам еще показать? — спрашивал Маркиросов, кажется довольный тем, что визит странного посетителя благополучно заканчивается. — Вот здесь у нас содержатся туберкулезники, отдельно от остальных.

Алексей увидел, как в глубине вольера, сквозь блеск натянутой сетки, двигаются темные существа. По их вялым перемещениям, согбенным фигурам, по тому, как некоторые бессильно сидят на солнцепеке, почти не отбрасывая тени, было видно, что они больны. Там, на черном вытоптанном пустыре, в посеребренных клетках, среди запоров, двухъярусных коек, истлевала их жизнь, с каждым сиплым вздохом отмирала их плоть, и казалось, сам воздух, льющийся сквозь решетку, был пропитан болезнью.

— Что поделать, бич наших колоний, — сокрушенно сказал капитан, торопясь пройти мимо, задерживая дыхание, чтобы не глотнуть тлетворный воздух.

— Я хочу войти к ним, — вдруг сказал Алексей, еще не понимая смысл своего порыва.

— Зачем вам? — спросил капитан раздраженно. — Заразу подцепить, раз плюнуть.

— Я войду, — настойчиво повторил Алексей, понимая, что этим поступком он устраняет разницу между собой и заключенными, преодолевает чувство необъяснимой вины, облегчает их долю, принимая на себя часть их страданий и их болезней.— Я войду.

Маркиросов, угрюмо, отводя темные бегающие глаза, приложил пластину к замку. Они вошли в инфекционный бокс. Кто-то из притулившихся зэков вяло встал. Кто-то продолжал дремотно, отрешенно сидеть. Несколько больных потянулись навстречу.

— Зря вы это, — повторил капитан. — Сюда без респиратора вход запрещен, — и он приотстал от Алексея, не желая приближаться к больным.

Несколько человек обступили Алексея. Они были худы, неряшливы, плохо выбриты, словно махнули на себя рукой, не считая нужным следить за чистотой одежды и тела.

Один, тощий, с серой щетиной и слезящимися, запавшими, как у старой лошади глазами, подошел особенно близко. Сипло дыша, произнес:

— Я жалобу буду писать. Меня по болезни выписать надо, а они без лекарства держат. Хотят, чтоб я здесь отдал концы. У меня температура тридцать восемь и кашель.

Он стал кашлять железным кашлем, выбрасывая из себя струи жаркого, пропитанного пеплом воздуха, словно в груди у него шло горение и наружу выносилась больная, пропитанная ядами гарь. Алексей не стал отстраняться, удержал себя около изнуряемого кашлем больного. «Мой народ. Один с ним воздух, один дух, одна судьба». Дождался, когда хриплый кашель сменился тонким мучительным свистом, спросил:

— За что сидите?

— За дело сижу, за убийство, — ответил зэк, держась за тощую, в седых волосах грудь. — Я ведь сидел два раза. Досижу срок, выхожу, две недели на воле, а потом опять загужу. Водка проклятая. Запью и чего-нибудь сотворю.

— Что сотворили?

— С подругой, с женщиной моей, пили шибко, а где денег брать? Воровали. Раз залезли в избу, в погреб, когда хозяев не было. Банки с огурцами вытаскиваем, а тут хозяин приди. Моя подруга его по темени поленом хватила, он и умер. Я на себя вину взял. Ее отпустили, а меня

сюда. Сначала писала, что ждет, а потом писать перестала. Должно, померла от водки. А я вот помру от чахотки. Такая судьба.

Его опять начинал бить кашель, словно в легких разгорался металлический уголь, и частички окалины летели Алексею в лицо.

— Я вас хотел спросить. Не слышали про Юрия Гагарина, который сидит в колонии. Он, говорят, не погиб, а где-то его здесь скрывают.

— Почему не слышал? Слышал. — Зэк внимательно и печально взглянул на Алексея. Было видно, что он уже ничего не боится, и смертельная болезнь делает его бесстрашным. — Он, Гагарин, сидит здесь лет тридцать, аль больше. Только один срок отсидит, ему другой впаяют. Он из карцера не вылазит. Все какие-то бумажки пишет, рисунки чертит, а начальство запрещает. Как бумажку напишет, его в карцер заткнут. Он и сейчас там.

Грудь заключенного затряслась, глаза выпучились, синий язык вывалился из губ, и он мучительно, со скрежетом, закашлял. Удаляясь, Алексей слышал его невыносимый, хрипящий из серебряного вольера кашель.

— Теперь, с вашего позволения, я хотел бы осмотреть карцер, — Алексей старался придать своим словам тон не просьбы, а требования.

— Карцер? Этого не следует делать, — глаза капитана сверкнули, и в их черной глубине зажглась недобрая красная искра.

— Почему? — спросил Алексей.

— В колонии у нас неспокойно. Участились случаи неповиновения. В карцере собраны смутьяны. Мало ли что случится.

— Я все же настаиваю, — Алексей произнес это холодно, властно, как человек, привыкший, чтобы ему повиновались.

Капитан напружинил под формой мускулы, будто собирался вступить в единоборство. Вытащил из кармана рацию с гибким усиком. Отошел на несколько шагов и стал переговариваться. Алексей слышал его рыкающий голос, который постепенно сникал, умягчался. Маркиросов вернулся и тихо, но все еще недовольно сказал:

— Хорошо, мы осмотрим карцер. Только прошу, соблюдайте меры предосторожности.

Это был длинный одноэтажный бокс старой постройки, без окон, с единственной дверью, железной и тяжкой. Бокс окружало несколько завихрений колючей проволоки. Земля вокруг была столь же

бестравой, как и везде, но не черной, а ядовито-ржавой, будто карцер стоял на железной плите, которая окислялась. По всему периметру карцера на гнутых кронштейнах висели фонари, продолжая гореть при солнечном свете. Действуя своей колдовской электронной пластиной, Маркиросов проник за проволочную ограду, нажал на дверях глухо прорычавшую кнопку, и они оказались внутри бокса. В тускло освещенном коридоре им навстречу шагнуло несколько охранников, принадлежавших все к тому же, мускулистому и лысоватому племени. Невысокие, кряжистые, они были готовы действовать быстро, слаженно, в интересах своей многочисленной популяции.

— Здесь содержим нарушителей режима, — Маркиросов доверительно позволял Алексею познакомиться с той частью колонии, которая составляла ее сокровенное ядро, ее основополагающую сердцевину, где несвобода была доведена до высшей концентрации. Эта «тюрьма в тюрьме» в еще большей степени сжимала и стискивала пространство, подчинявшееся неэвклидовой геометрии ада. Луч света, залетавший в этот темный кристалл, почти останавливался и гас. Неподвижность света и была тем невыносимым страданием, на которое обрекалась душа, рожденная среди лучистых энергий.

Сквозь весь бокс тянулся сумрачный коридор, освещаемый рядами грубых электрических ламп. Вдоль стены, удаляясь, размещались одинаковые железные двери с замками, вид которых мучительно поразил Алексея. На каждой двери было несколько замков и запоров, из разных эпох, различных конструкций, каждая из которых, усовершенствованная и улучшенная, усиливала эффект запирания. Накладывала на дверь дополнительную степень несвободы. Все замки — старые, с грубыми щеколдами, скобами и засовами, и новые, с блестящим, электронным замыканием, — содержались в образцовом порядке. За ними следили и ухаживали. Их смазывали маслом, протирали и подкрашивали. Они были главной деталью в машине, которая вырабатывала несвободу. Воздух в коридоре туманился от бесчисленных частичек железа, капелек масла, был пропитан кислыми запахами живой и неживой материи. За дверями притаилась невидимая жизнь, знавшая о появлении новых людей, ожидавшая от этих людей новых для себя несчастий.

— Ну, давайте посмотрим камеры.

Охранник щелкнул электронным замком, повернул механический рычаг, передернул щеколду. Дверь тяжело отворилась, за ней открылась решетка. За решеткой, впритык, тесно, заполняя всю камеру, стояли люди, молчаливые, с тревожными глазами и землистыми лицами. На Алексея близко, сквозь прутья решетки, смотрел полуголый, в майке, человек, жадно выведывающий, что сулит ему появление незнакомца. Поблажку и облегчение или новое ущемление и жестокость.

— За что попали в карцер? — спросил Алексей, видя, как из-за спины человека выглядывают другие лица, землистые, как картофельные клубни в подвале. Но не было среди них того, которое могло принадлежать Юрию Гагарину. — За что вас сюда посадили?

— За грубость начальству. Ругнулся на командира отряда матом, — тихо, почти шепотом, произнес человек. Голос его казался пропущенным сквозь невидимые фильтры, которые поглотили негодование, ярость, моментально вспыхнувший гнев.

— Ничего, посидит, вежливым станет, — произнес Маркиросов, захлопывая дверь. Человеческие лица, мерцающие глаза, дышащие губы превратились в стальную плоскость с привинченными замками. — Ну, давайте еще посмотрим.

Следующая дверь отворилась. И опять сквозь стальные прутья, из сумрака камеры, возникли лица, словно настенные фрески, серые, размытые, недвижные. Ближе всех стоял сутулый, очень худой, с рубцом на щеке, человек, улыбаясь беззубыми деснами.

— А вас за что наказали? — спросил Алексей, высматривая, ни возникнет ли знакомое лицо космонавта, служившее символом человеческой красоты и свободы. Понимал, что Гагарину, если тот и впрямь жив, должно быть почти девяносто. Что старость и тюрьма неузнаваемо его изменили. И все же надеялся узнать его по той лучистой энергии, которой столь щедро наградила его природа. — Вы за какую провинность?

— Алкоголь, — продолжал улыбаться человек, словно ему доставляла удовольствие сама мысль о водке, само звучание произносимого слова.

— Свинья найдет грязь, где вымараться,— презрительно заметил Маркиросов и закрыл фреску стальной непроницаемой плоскостью.

Из третьей камеры, когда ее отворили, вырвался плотный тампон горячих испарений и чего-то душного, зловонного, бешеного. Алексей увидел маленького, голого по пояс человека с круглыми мускулами и наколкой. На лице запеклась кровь, все тело было покрыто синяками. Но грязные кулаки сжимали прутья решетки, словно он пытался ее выломать. Глаза человека жарко блестели, и Алексею стало не по себе от их ненавидящей силы.

— А вы как сюда попали? — спросил он, чувствуя неуместность вопроса. Человек молчал, только верхняя губа у него дрожала от ненависти и в глазах горела несломленная воля.

— Драку затеял. Товарища кольнул ножом. Оказал сопротивление администрации,— пояснял Маркиросов, и в голосе его чувствовалось торжество укротителя, ломающего волю животного, которое подлежит длительной и искусной дрессировке. Заключенный надвинулся на решетку изувеченным лицом, и казалось, хочет плюнуть, — так задрожали его расквашенные губы. Капитан поспешно захлопнул дверь, вогнал обратно в камеру тампон удушья и ненависти.

— Ну вот, так и везде, — произнес он, улыбаясь, словно ему было неловко перед Алексеем за этих звероподобных людей, от которых можно ожидать плевок в лицо и удар ножа в спину.— Пойдемте отсюда.

Алексей понимал, что его поход в колонию завершается неудачей. Он поверил в миф о Гагарине, в один из народных мифов, к которым столь тяготеет русская, ищущая правды, душа. Его собственный миф был сродни этой фантастической легенде, — миф об уцелевшем наследнике, способном привнести в русскую жизнь справедливость, добро и святость. Он смотрел вдоль сумрачного коридора, где каждая дверь запечатывала страдания и ненависть, дававшие о себе знать проникавшим сквозь сталь излучением тьмы. И только из самой последней двери, такой же угрюмой и страшной, как все, таинственно, едва ощутимо для глаз изливалось сияние. У этой двери воздух желтый, как рыбий жир, насыщенный железной пудрой и частицами больной плоти, странно светился. Источником света были не грязные, ввинченные в потолок лампы, а загадочный светоч, упрятанный в глубь каземата.

— Хочу туда, — сказал Алексей, — Откройте ту дверь.

— Да там все то же. Такая же мразь, — произнес Маркиросов.

— Будьте любезны, откройте дверь.

Это было сказано так спокойно и холодно, с такой неколебимой властностью, что Маркиросов повиновался и пошел от крывать.

Он возился долго. Дверь не открывалась. Его колдовская пластинка не срабатывала. Он стучал по замку. Наконец дверь распахнулась, и оттуда пахнуло не тленом, не зловоньем неоп рятного тела, а странной свежестью, смолистой сладостью, какая бывает в намоленной церкви.

Алексей приблизился. Сквозь решетку он увидел сумрачную, как тесная пещера, камеру. На железной койке, один, без сокамерников сидел старик, изможденный, в ветхой, прорванной во многих местах одежде, из которой выступали костистые конечности. Его череп был голый, синеватого цвета, кожа на лице повисла серыми складками, нос согнулся к верхней губе, а рот, лишен ный зубов, провалился. Глаза заросли бровями. Выделялись большие, неестественно оттопыренные уши. Он сидел, сгорбившись, неподвижно, опустив между колен руки с коричневыми безжизненными кистями. Он был похож на отшельника в пещере, какие изображаются на иконах, и Алексей стал искать глазами ворона, который приносит отшельнику пищу.

— Заходи, я ждал тебя, — услышал он внятный голос, в котором, несмотря на усталость, чувствовалась тихая радость. — Знал, что придешь.

От этого проникновенного, задушевного голоса, от тихого, струящегося из камеры света голова Алексея закружилась. Все на мгновение исчезло. Маркиросов с раздраженным лицом, стоящие в отдалении охранники, ряд тусклых, ввинченных в потолок ламп, решетка камеры. А когда очнулся, сидел на табуретке перед узником. Дверь в камеру была закрыта. Он находился один на один с человеком, в котором, по необъяснимым приметам, узнал Юрия Гагарина.

Тот говорил, и начало его повествования пришлось на минуты обморока, поэтому Алексей стал слышать старика не с первых слов, а лишь с момента, когда обрел способность понимать.

— Боль перегрузок стала проходить, и я вошел в свободный полет, в невесомость. И такая легкость, такая благодать неземная. Тяжести нет никакой, тела нет, костей нет, ничего материального, а одна душа. И она поет. Нет воли, нет мысли, нет желания, а одно только счастье. Земля голубая, серебряная, зеленая, золотая. Вижу все реки, все горы,

все океаны. И люблю. Землю люблю, как мать родную. Любуюсь на нее, ненаглядную. Я — сын земли. Я — сын неба. Люблю тебя, Земля-матушка. Чувствую, что навстречу моей любви откликается другая любовь. Как будто свет приближается. Лечу над Тихим океаном, вижу водную рябь, вижу лайнер, как белую чайку, вижу черную черточку — всплывшую подводную лодку. А свет приближается. Окружил мой корабль, как будто я вошел в сияющее облако. Я посмотрел на часы: 17.43 по Москве. И чувствую, что меня из корабля вынимают, проносят сквозь обшивку и помещают в огромный кристалл, где во множестве граней, в несчетных плоскостях, в бесчисленных измерениях летают вспышки света, преломляются лучи, горят спектры, переливаются из грани в грань, из пространства в пространство волшебные радуги. Будто составлено вместе множество зеркал, и все отражают друг друга, и от этого образуется сверкающая бесконечность. Повсюду, как птицы в небе, летают души, резвятся, ликуют, купаются в спектрах и радугах, несутся в пучках лучей. «Где я? — спрашиваю. И чей-то голос, не звуком, а сияющей радугой, мне отвечает: «Ты в раю. Тебе дано узнать, как устроен рай, измерить его, снять чертежи. Запомнить «Формулу Рая» и принести эту формулу на Землю. Постройте вашу земную жизнь по «Формуле Рая», и жизнь будет протекать без болезней, печалей. Люди забудут ненависть, перестанут убивать, умирать от страшных болезней и познают жизнь вечную»…

Алексей слушал старика, сидящего в черном карцере. Старался узнать в нем молодого офицера с белоснежной улыбкой, который на Красной площади рапортовал о подвиге престарелым красным вождям. А потом, на всех континентах, среди ликующих толп, в венках из живых цветов, нес человечеству «благую весть», уже зная о рае, о бесчисленных спектрах и радугах, о бессмертных, ликующих душах. Голос старика был без хрипов и кашлей, тихий, певучий, словно старость не коснулась души.

— Мне дали обычный землемерный аршин, и я стал измерять рай. Измерял множество высот и широт, множество периметров и сечений. Измерял кристалл, в котором сходились бессчетные пространства, сливались мириады миров. Луч света, влетавший в кристалл, не терял лучистую силу, а отражался от граней, становился ярче и чище. Превращался в пучки лучей, расширяя объем кристалла. Работая с

аршином, я испытывал несказанное счастье. Мне помогали обитатели рая. Вместе со мной переставляли аршин православные праведники и святые. Там были Иван Сусанин и Зоя Космодемьянская. Монахи Пересвет и Ослябя и двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев. Там были Пушкин, Менделеев и Глинка. Были Шолохов и Толстой. Вслед за моим аршином шел Петр Великий. Потом его сменил Сталин, а рядом шагал последний царь Николай. Появился русский солдат Евгений Родионов и полководец Геннадий Трошев. Солдаты Шестой десантной роты и экипаж подводного крейсера «Курс». Многие еще жили на Земле, еще были младенцами, были далеки от своих свершений, но души их уже пребывали в раю. Среди рая росла береза небывалой красоты, белизны. Праведники подходили к березе и целовали ее душистые листья. Циолковский протянул мне кусок бересты, и я нанес на него чертеж рая. Вернадский начертил на бересте математическую «Формулу Рая», и я оказался в моем космическом корабле. Взглянул на часы, было 14.44 Москвы. Путешествие в рай длилось одну минуту…

Алексей слушал повествование Гагарина с упоением. Начинали всплывать из туманного детства волшебные сказки о хождении за три моря, о золотых яблоках, о жар-птице, о кудесниках и чародеях, о молочных реках и кисельных берегах. Повествование было сродни легендам о чудесном острове, на котором живут счастливцы. Напоминало сказания монастырских старцев и деревенских сказителей. В рассказе была та подлинность и чистота, которая делала русских народом-ребенком, народом-сказочником, народом-мечтателем. Русская жизнь представлялась нескончаемым странствием в поисках обетованной земли, кото рая туманно манила сквозь все пожары и заточения.

Алексей поражался. Пространство колонии являло собой зловещий кристалл, в котором утрачивалась сила света, свертывалась энергия жизни, безмерно концентрировалось страдание. Но внутри этого адского кристалла, в черном карцере, русский космонавт выращивал райский кристалл, в котором свет стремительно увеличивал силу, разбрызгивал лучистые траектории в бесконечность Вселенной, рождал светоносное счастье.

— Я облетел Землю и опустился в казахстанской степи. Меня поместили в клинику для обследования, и я рассказал врачам о моем

посещении рая. Но они сказали, что рассудок из-за больших перегрузок и резкой смены давления может быть подвержен галлюцинациям, миражам, и это был мираж. Я встретился с командиром отряда космонавтов и показал ему чертеж рая, который я выполнил, измерив все его высоты, широты, биссектрисы, грани и плоскости, весь многомерный кристалл. Командир посмотрел на меня с сочувствием, спросил, из какого дерева был сделан землемерный аршин и пожелал поскорее восстанавливать силы и готовиться к торжественной встрече в Москве. Когда на Красной площади я рапортовал Генеральному секретарю Никите Сергеевичу Хрущеву о покорении космоса, он расцеловал меня и спросил, правда ли, что я видел рай. Я показал ему чертеж, и он велел художнику Налбандяну нарисовать картину для детского сада: «Юрий Гагарин в раю». После приема в Кремле мы поехали в Звездный городок с Сергеем Павловичем Королевым, уединились в его кабинете, и я достал кусок бересты, которую мне подарил Циолковский с чертежами рая и с «Формулой Рая», которую вывел на бересте Вернадский. «Вот по этой формуле мы должны жить. Это формула коммунизма. Мы должны построить по этим чертежам райский чертог, уловить в него луч света, и этот свет станет умножаться, расширять пространство чертога вплоть до границ Советского Союза. Этим способом мы построим рай на Земле. Это и есть послание из Космоса, выраженное в математической форме, которое я принес на Землю. Это и есть моя встреча с инопланетным разумом». Королев долго разглядывал бересту и хотел ее поджечь спичкой, но я не позволил. С тех пор кому я только ни показывал бересту, ни рисовал чертеж, ни выводил «Формулу Рая». Это были писатели Шолохов и Бондарев. Академики Александров и Сагдеев. Маршалы Гречко и Толубко. Патриарх Пимен и Митрополит Питирим. Руководители партии и государства Брежнев, Косыгин и Суслов. Патриарх сказал мне, что это ересь и помрачение разума, и он всегда возражал против посылки человека в космос. Суслов сказал, что это проявление диссидентства и подрывает коммунистическую теорию и планы построения реального коммунизма. Вы знаете, я много ездил по миру, и агенты иностранных спецслужб, прослышав о бересте, предлагали мне огромные деньги, чтобы я им открыл «Формулу Рая». Но я-то знал, что только русским под силу построить рай на Земле, только русские могут прочитать на бересте «Формулу Рая». За мной

стали следить работники КГБ. Меня вывели из отряда космонавтов. Перестали посылать за границу. Я боялся, что у меня украдут бересту и «Формула Рая» будет утрачена. И тогда я решил самостоятельно построить кристалл, соорудить из зеркал стомерное пространство, уловить в него луч света и построить рай на земле. Я долго думал, где соорудить кристалл, и понял, что это должно быть место вокруг старинного храма, где люди веками молились о рае и научились молитвами привлекать на землю пучки космических лучей. Я выбрал храм Покрова на Нерли, что недалеко от Владимира. Он стоит на пустом месте, в лугах, белый, как праведник в ангельском облачении. Я привез туда зеркала, соорудил деревянный аршин и стал мерить землю вокруг храма, сверяя измерения с берестой, выводя на земле райский чертеж. Я стал устанавливать зеркала, так чтобы в них залетали лучи из неба, из заливных лугов, с речных берегов, и все сходились на храме. Я видел, как в зеркалах начинали сверкать дивные спектры, загорались прозрачные радуги, влетали разно цветные световые пучки, похожие на букеты райских цветов, которые держали в руках Циолковский, Вернадский, русский космист Николай Федоров и царевич Дмитрий, зарезанный в Угличе. Рай вокруг храма стал разрастаться, и я испытывал ни с чем не сравнимое счастье. Но в это время со всех сторон подкатили машины, из них выскочили агенты КГБ, разбили зеркала, растоптали бересту, а на меня надели черный мешок и отвезли неизвестно куда. Так я очутился в этой колонии. Чтобы не забыть чертеж и «Формулу Рая», я все время рисую их, а меня за это сажают в карцер и морят голодом. Спасибо мышкам, которые приносят мне крохи хлеба, не дают умереть. Ах, вы мои мышки-норушки, Божьи зверьки!

С этими словами Гагарин опустил руку к полу, и по ней, от ладони к плечу, взбежали две крохотные мышки. Алексей увидел, что у мышек во рту кусочки хлеба и белые ломтики, напоминавшие то ли мел, то ли сахар.

Алексей улавливал исходящие от старика благодатные силы, Доброту и святость, которые чувствовали даже мыши. Струящийся аромат незримого сада. Певучесть голоса. Слабое мерцание хрустальных граней, которыми было застеклено пространство, Волшебный райский кристалл заслонял старика от излучений ада, сберегал его десятилетиями в кромешной тьме.

— Я знал, что ты придешь. Ты будешь царем. Россию ждут великие испытания,— смута, мор и нашествие. Ты станешь царем в ужасное время, но я передам тебе «Формулу Рая», и она спасет Россию, спасет твое царство. Ты примешь Россию, как неухоженное, незасеянное поле, а оставишь, как райский сад. Смотри и запомни «Формулу Рая».

Старик приподнялся с кровати. Обернулся к стене. Простер руки. Из ладоней брызнули лучи света, озарили стену карцера. На стене от потолка до самой кровати, застеленной грубым дырявым одеялом, тянулись строчки с нескончаемыми значками, уравнения с множеством неизвестных. В этом уравнении были обычные, квадратные и узорные скобки. Были интегралы и дифференциалы. Многоэтажные дроби и многостепенные корни. Были скопления знаков, возведенных в сложные степени. Иногда математические символы переходили в витиеватые знаки, напоминающие наскальные руны, орнамент ацтеков, китайские иероглифы. Иные изображали животных, как на золотых украшениях скифов. Другие были подобны цветам и ягодам, оплетавшим древнерусские буквицы. И снова тянулись математические цепочки, громоздились дроби, пульсировали дифференциалы и интегралы. Это была гигантская формула, описывающая мир в момент творения, когда еще в мироздание не проникла порча первородного греха.

Алексей изумленно взирал, не запоминая, а фотографируя нескончаемую формулу зрачками, пряча ее на дне глазных яблок. Она была нарисована на стене кусочками мела, которые приносили узнику мыши.

— Так, значит, я не ошибся? Вы — действительно Юрий Гагарин? Вы побывали в раю и добыли для людей «Формулу Рая»? — воскликнул Алексей, испытывая неземное блаженство. Он протягивал руки к старику, боясь коснуться его жалкого тела, полуистлевшего бушлата с нагрудными цифрами. — Мне выпало огромное счастье.

Он видел, как черные стены расступаются множеством прозрачных плоскостей, раскрываются сияющими гранями. Кристалл, составленный из бесконечных миров, трепетал лучистыми вспышками. В нем загорались дивные радуги, озарялись прозрачные спектры. Крохотный луч, залетая в кристалл, начинал отражаться в зеркалах, превращался в лучезарный пучок, расширял пространство и

огненной кометой уносился в беспредельность. Адский кристалл колонии рассекался лучистым кристаллом рая. Там, где раньше была черная безжизненная земля и отточенное, как смерть железо, там качались цветущие травы, текли прозрачные лучи. Поднимаясь до неба, росла береза дивной белизны с душистыми клейкими листьями, и все, кто недавно носил черные изжеванные бушлаты, теперь облеклись в белые одежды, приближались к березе, целовали ее душистые листья.

Старик обернулся к нему. Но не было старика, а стоял перед ним улыбающийся белозубый красавец, смотрел с любовью голубыми глазами, и на его плечах солнечно сияли золотые погоны.

В дверь карцера загрохотали.

— Ты запомнил «Формулу Рая»? — они опять были в черном карцере, и на кровати сидел согбенный старик.

— Запомнил. Почти запомнил. Завтра снова приду. Вас освободят. Я позвоню в Москву. Когда я стану царем, вы будете моим главным советником. Мы поедем к церкви Покрова на Нерли и там построим райский кристалл, который распространится на всю Россию.

Скрипучая дверь карцера растворилась, и Маркиросов, держа в руках резиновую дубинку, почти закричал на Алексея:

— Я говорю вам, что здесь оставаться опасно! Колония на грани бунта! — Он вывел Алексея из карцера, замкнув все щеколды, замки и засовы. — Я отвечаю за вашу безопасность.

Они покинули колонию, и молчаливый полковник доставил Алексея в гостиницу.

Оставшись один, Алексей принялся звонить Директору ФСБ Лобастову. Но номер был заблокирован. Он каждые пятнадцать минут набирал злополучный номер, но все безуспешно.

Позвонил Марине:

— Ты не представляешь, что я узнал. Действительно здесь, под Нижним Тагилом, содержится Юрий Гагарин. В карцере, в страшных условиях. На стене мелом, который ему приносят мыши, он вывел «Формулу Рая». Я не мог ее всю запомнить, нагромождение знаков, иероглифы, руны. Завтра утром приду с фотоаппаратом и сфотографирую. Хочу дозвониться до Лобастова, но как нарочно телефон отключен. Что мне делать?

— Милый, ты уверен, что это не обман? Ты говорил, что тебя постоянно обманывают.

— Не обман. Я видел эффект кристалла. Он волшебный, магический, из бесчисленных граней и радуг. Мы поедем с тобой во Владимир к церкви Покрова на Нерли и построим кристалл. Когда я стану царем, мы изучим «Формулу Рая» и сделаем Россию счастливой.

— Как ты себя чувствуешь, милый? Ты здоров? У тебя все хорошо?

— Как жаль, что тебя нет рядом. Сейчас прощаюсь. Надо звонить Лобастову. Люблю тебя.

Остаток дня прошел в безуспешных звонках. Измученный, изведенный всем пережитым, он лег и заснул. Казалось, спал минуту. Проснулся от стука дверь. Полковник, взволнованный, с белым, без кровинки, лицом, стоял на пороге:

— Нам с вами повезло, Алексей Федорович. В колонии бунт. Захвачены заложники. Есть убитые и раненые. Вызван ОМОН. Идет усмирение.

— Сейчас же едем в колонию!

Они подкатили к колонии, проникли сквозь оцепление. Перед стеной стояли солдаты в бронежилетах и касках. Стена возвышалась, слепая, черная, и над ней колебалось багровое зарево. Вышки казались хрупкими, без караульных, окруженные малиновым небом. За стеной слышался треск очередей. Раздался глухой взрыв, и взметнулся рыжий, клубящийся дым. Железные ворота в стене были открыты, и туда осторожно, приседая на толстых колесах, вполз бэтээр, и за ним, прикрываясь броней, проследовала цепь ОМОНа, — в камуфляже, разбухшие от бронежилетов, в черных беретах, с автоматами, на кривых пружинящих ногах.

— Нам нужно туда. Там делают черное дело, — обратился Алексей к полковнику.

— Невозможно. Опасно для жизни. Там убивают.

По пустырю металась стая коренастых охранников в касках, С малыми рациями. Мимо пробегал Маркиросов, и Алексей окрикнул его:

— Что там такое? Почему убивают?

— Ах, это вы? — с радостной злостью отозвался капитан. — Это «Формула Рая». Одни ее пишут мелом, а другие стирают кровью. —

Он побежал, невысокий, упругий, похожий на рассерженного примата.

Раздался еще один взрыв. Какие-то крики. Зарево за черной стеной разгоралось. Алексей подумал — так выглядели старинные, взятые штурмом города, где горели терема, волокли на арканах пленных, насиловали на обочинах женщин.

— Пойдемте, — он решительно двинулся к воротам, вырываясь из рук полковника. Ему удалось проникнуть в ворота, и его «держала густая солдатская цепь. Прожектор «бэтээра» светил в упор в посеребренную сетку, вдоль сетки ходили бойцы ОМОНа и били по ней резиновыми палками, отчего сетка сотрясалась, звенела. Далеко от сетки, оттесненные ударами и слепящим прожектором, стояли слипшимся сгустком заключенные. Были видны их спрессованные тела, головы, мерцающие, как у кошек, глаза.

Второй «бэтээр» стоял у карцера. Половина здания была разрушена взрывом. Что-то тлело, сочился розовый дым. Солдаты из карцера выносили провисшие брезенты с убитыми. Из переднего брезента торчала худая нога в носке. Из второго вываливались две мощные руки с татуировкой. Третий был слабо нагружен, слегка прогибался под тяжестью утлого тела. Алексей подошел, заглянул через край брезента. Там был Гагарин, в окровавленном рубище, сжав на груди беспомощные руки. Алексей шел за ним, держась за край брезента, провожая первого космонавта, провозвестника Русского Чуда, обладателя «Формулы Рая». На дне глазных яблок рябило множество значков и символов, волновались руны и буквицы. Он старался удержать моментальный снимок формулы, сберечь волшебное знание.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Оглядываясь на прошедшие недели и месяцы, с тех пор, как его насильно привезли в Москву из Тобольска и объявили наследником русского престола, Алексей ощущал происходящие в нем перемены. Словно в нем зародилась другая натура. Неуклонно, шаг за шагом, взрастала, присутствуя рядом с первоначальной личностью. Эта вторая личность все больше сознавала себя наследником. Каждая встреча — с экзотическими монархистами, или с православным духовенством, или с военными космодрома, несмотря на их мнимость, или с Юрием Гагариным, завещавшим ему перед смертью «Формулу Рая», — каждая встреча меняла его. Он ощущал себя наследником русского престола. Не потому, что поддался соблазну и изощренной, лукавой лести. Не потому, что им овладела гордыня, и он стал жертвой прельщения. Не оттого, что он подчинился гипнозу и уверовал в свое царское происхождение. Эта новая личность, эта вторая натура все сильнее чувствовала свою мистическую связь с Россией. Воспринимала Россию как святую, завещанную ему землю, ради которой он должен принести жертву. Все острее, горше и сладостней чувствовал он свою связь с многострадальным русским народом, веруя в то, что в будущем царстве народу уготовано, наконец, избавление от мук и лишений, и это избавление принесет он, наследник престола, русский Самодержец. Эта уверенность проистекала не от людей, а свыше. Не по наущению властных персон, а по благословению незримого, всеведущего и всемогущего Пастыря. Ужасные события минувшей ночи, убийство в колонии Юрия Гагарина, лишь укрепили его в мессианской идее, сделали сопричастным «Формуле Рая», запечатленной на дне его глазных яблок.

Наутро они выехали с полковником из Нижнего Тагила, и как только скрылись дымящие трубы металлургического комбината и тяжеловесные корпуса танкового завода, он обратился к полковнику:

— На обратном пути в Екатеринбург мне нужно посетить больницу в поселке Зацепино, что под Невьянском. Я вас прошу, свяжитесь с властями. Пусть предупредят о нашем визите.

— Что за больница? — неуверенно переспросил полковник, угнетенный побоищем в колонии, ожидая для себя неприятностей по служебной линии.

— Лечебница для душевно больных. Хочу убедиться, что и здесь, на Урале, действует столь широко разрекламированный Национальный проект «Медицина».

Полковник не стал перечить. Стал связываться по телефону с Екатеринбургом. Многократно перезванивал. Получал ответные звонки. Наконец произнес:

— Есть договоренность. Нас ждут в Зацепино. Главный врач больницы — Евстафий Сергеевич Лунько.

И они замолчали надолго, окруженные скалами, лесом, которые вдруг расступались, и открывались на горизонте дымящие трубы, и белая, в солнце, проплыла в отдалении наклонная башня Невьянска. «Как в Пизе», — вымолвил полковник и вновь погрузился в горестные раздумья. Алексей же предвкушал встречу с поэтом Юрием Кузнецовым, который, так и не дописав поэму о рае, был помещен в психиатрическую лечебницу.

Клиника располагалась за неказистым поселком, среди старого заросшего парка, где растительность казалась влажной, тропической, источала соки, дурманы, пьянящие запахи цветочной пыльцы. Среди этих первобытных зарослей стоял деревянный больничный корпус, двухэтажный, столетнего возраста, но крепкий на вид. Коричневые, масляной краской выкрашенные венцы. Белые наличники на окнах. Белые же решетки, не создающие ощущения темницы или острожного дома, а, напротив, — чего-то надежного, устойчивого и заботливого. Главный врач, предупрежденный по телефону об именитом госте, встретил их на крыльце больницы. В белом халате, круглолицый, седоватый, с румяными щеками и радушными улыбками милого и доброго провинциала, он напомнил Алексею чеховских персонажей.

— Как же это вы к нам, в нашу глушь-деревню завернули? Вот уж не могли рассчитывать на столь замечательную встречу. Когда мне позвонили из управления, думал, разыгрывают. «Царь, царь!» У меня, видите ли, есть один пациент, который в периоды обострения называет себя «царем». На это время мы его забираем в больницу, проводим курс лечения, а потом отпускаем домой. Вот я и думал, что наш «царь» к нам снова пожалует! — Он вел Алексея в свой кабинет, и в этих

радушных улыбочках и округлых жестах чудилась Алексею едва проступавшая ирония, то ли над собой, то ли над ним, Алексеем. Главврач уже не казался столь простым и радушным. В его добродушных глазах пульсировала темная тревожная ягодка.

— Что же вас интересует, Алексей Федорович? — доктор ласково, сквозь очки рассматривал гостя, сидя на фоне книжной полки — труды по психиатрии, медицинские справочники, монографии с надписями «эпилепсия», «шизофрения», «паранойя».

— У меня есть ощущение, доктор, что состояние общества, его глубинные заболевания, травмы, нанесенные общественному сознанию, можно лучше понять, если читать не только политологов и обществоведов, но прислушаться к бредам душевнобольных. Из их сотрясенного разума, как из проснувшегося вулкана, вырывается глубинное содержание человеческих страхов, упований, надежд. Ставя диагноз душевнобольным, можно поставить диагноз обществу, не так ли?

— Мысль очень глубокая, Алексей Федорович. То, что мы называем болезнью разума, может означать включение в работу мозга его запечатанных участков, его резервных центров. Тогда у мозга открываются несвойственные здоровому человеку возможности. И вот мы видим кликушу, предсказывающую будущее. Видим юрода, разгадывающего тайны прошлого. В истерических бредах и параноидальных видениях можно усмотреть картины мира, недоступные обыденному сознанию. В этом смысле, сумасшедшие дома могут стать центрами нетрадиционной футурологии.

— У вас здесь создано нечто подобное?

— Нет, разумеется. Для этого нет научной базы, нет оборудования, персонала. Впрочем, и мы не чураемся науки. Ведем кое-какие исследования. Знаменитый доктор Коногонов, — надеюсь, вам знакомо это имя, — спускает нам кое-какие задания, и мы проводим исследования по его методике. Итак, — улыбнулся он добродушно, — чем могу быть полезен?

— Покажите мне вашу больницу, доктор. Признаться, никогда не был в психиатрических лечебницах. Быть может, этот опыт мне пригодиться в скором будущем.

Они осматривали больничный корпус, начав обход с первого этажа, где помещалось женское отделение. Вход в отделение вел

сквозь крепкую решетчатую дверь с электронным замком. Было чисто, линолеум полов стерильно блестел. В кадках и горшках стояли комнатные растения. В аквариуме плавали золотые рыбки. За столиками сидели спокойные, доброжелательные сестры в халатах, приветствуя вошедших. Из коридора был виден ряд дверей, заботливо выкрашенных в белое. За ними находились палаты.

— Хоть мы и небогаты, но стараемся создать уютную, приятную для глаз обстановку, — доктор трогал пальцами косяки дверей, желая обнаружить на них пылинки. Не находил, приоткрывал двери в палаты. Алексей заглядывал, видел кровати, на которых лежали, дремали, уставились в потолок остановившимися глазами женщины, молодые и старые, в поношенных халатах, в ночных рубашках, в теплых домашних носках. Их сонная неподвижность говорила о какой-то, пронесшейся над всеми ними беде, которая вырвала их из семей, разлучила с мужьями, детьми и внуками, лишила женских хлопот, суетливых переживаний. Отобрала вмененную природой роль заступниц, хранительниц, собирательниц семейного мира, который без их радений распадается и глохнет, отданный на откуп жестоким смутам. Он робел от вида этой незащищенной женственности, испытывал мучительное беспокойство, не понимая природы таинственной беды, которая, словно невидимая радиация, реяла в чистых палатах, среди ухоженных цветов и золотых рыбок.

— Им ввели транквилизаторы и сняли излишнюю возбудимость, — доктор бережно прикрывал двери. Его осторожность и вкрадчивость трогали Алексея. Он был благодарен этому немолодому человеку, посвятившему себя уходу за обездоленными существами, затворившему себя, как и они, в этом уединенном корпусе, вдали от оживленных центров.

«Мой народ, — думал он с состраданием. — Мой обездоленный, любимый народ».

За одной из дверей слышался шум, невнятные вскрики, похожая на завывание песня.

— Здесь мы еще не провели терапию, — доктор приоткрыл дверь, впуская Алексея в палату. Она была больше других. В ней находились четыре кровати, и на каждой сидела женщина. Все крайне возбужденные, говорящие, не одна с другой, а с невидимыми собеседниками, которые, казалось, докучали им, дразнили и мучили.

На одной кровати сидела толстая, грузная женщина с отечным тупым лицом, с пухлыми, бурачного цвета щеками, слюнявыми губами. Ее халат был расстегнут. Из рубахи вываливались громадные, голубоватые груди. Босые ноги с грубыми пальцами и желтыми нечистыми ногтями упирались в пол. Она чмокала, облизывалась, стонала, принималась тихонько выть:

— Пашку моего отдайте! Пашку мне! Пашку хочу! Мне мужик нужен. Не могу без мужика. Пашка ночью ко мне приходил, имел меня много раз, — она хваталась за голые груди, валяла их из стороны в сторону, и они, как кули несвежего теста, переваливались, издавая хлюпающий звук. Увидела Алексея. Подняла на него водянистые безбровые глаза. Растворила слюнявый, беззубый рот: — Паша пришел! Пашка мой! Иди сюда, Пашка, ложись на меня! Скорей, Пашуня, ложись, — она тяжело, с сиплым выдохом завалилась на кровать. Раздвинула отечные ноги. Стала скрести себя по расцарапанному животу, колыхать складками жира, терла пах, бесстыдно топорщила блеклые рыжеватые волосы. — Давай, Пашка, ложись!

Алексею стало гадливо и страшно от ее животных ужимок, нетерпеливой похоти, отвратительной наготы.

— Это не Паша, — доктор заботливо прикрывал ее одеялом. — Ты, Валюша, успокойся. Сейчас лекарства дадут. Поспишь немного.

— Пашку хочу! — Женщина слезливо выла, двигала под одеялом ногами, высовывала уродливую, с костяными ногтями стопу.

На соседней кровати сидела полураздетая старуха — седые, свалявшиеся волосы, сутулые, под несвежей рубахой плечи, длинные, пустые, с почернелыми сосками груди, дряблый живот с морщиной пупка, изуродованные старостью ноги в при спущенных чулках, непрерывно шевелящиеся, болезненно распухшие пальцы. Она то и дело хваталась за живот, гладила смор щенную кожу:

— Меня нельзя бить, я беременная. Мне молочко пить надо и кушать больше. Он кушать хочет и меня теребит. Мне простыночки принести обещались, а сами не несут. Со мной сидеть надо, а то не равен час, ночью рожу. Кого рожу, не покажу. От кого рожу, не скажу. Будет Васенька румяненький, ручки беленькие, ножки быстренькие. Мама Васеньку будет любить, молочком будет поить. Ах, ты мой масенький, мой сладенький, да какой же ты у меня красивенький!

Старуха гладила живот, улыбалась мокрыми деснами с одиноким желтым зубом. Ее молочные железы давно истлели, как пустая ботва. Ее чрево ссохлось, как сухое дупло. Но она казалась себе цветущей и млечной, исполненной соками материнства, источала нежность и любовь к готовому родиться чаду.

— Меня нельзя бить, я беременная, — повторила она, когда Алексей к ней приблизился.

— Никто вас пальцем не тронет, Анна Ефимовна, — доктор погладил ее по седой голове. — Здесь вас любят, заботятся.

— Мне бы молочка принести. Васенька молочка попить хочет, — ответила старуха, успокаиваясь от прикосновения доктора.

На третьей кровати сидела женщина средних лет с тонким нервным лицом, гордым носом, с красивыми, искусанными в кровь губами. В ее блестящих черных волосах начинала сквозить седина. На тонких пальцах сияло кольцо с изумрудом. Ее больничный халат был ветхим, но под ним белела отороченная кружевами рубаха. Когда к ней приблизился доктор, она схватила его руку и умоляюще, страстно заговорила:

— Прошу вас, отпустите меня! Мне нужно срочно послать телеграмму! Москва, Кремль, Президенту Виктору Долголетову! Это неотложно! Он ждет!

— Елена Викторовна, дорогая, у нас теперь другой президент, — ласково урезонивал ее медик. — Наш президент — Артур Игнатович Лампадников.

— Да нет же, уверяю вас. Наш Президент Виктор Викторович Долголетов. Он меня ищет, ждет. Хочет на мне жениться!

— Но ведь он женат, Елена Викторовна. Когда он был Президентом, мы все видели его «первую леди».

— Да какая она «первая леди»! Разве она пара ему? Мещанки! Как одевается, какую носит прическу, а как тускло, неинтересно говорит! Он любит только меня. Он меня ищет. Я должна дать знать, что я здесь, что я готова выйти за него замуж.

Доктор ласково, тихо кивал, и женщина, увидев сочувствие, сострадание в глазах Алексея, обратилась к нему, отбрасывая назад свои черные волосы, поднимая к нему измученное красивое лицо:

— Видите ли, их было двое, Артур и Виктор, в Петербурге. И оба меня любили. Прекрасные молодые люди, настоящие аристократы. Мы

вместе ходили в Русский музей, в Филармонию, на литературные вечера. Они состязались друг с другом в остроумии, посвящали мне стихи, дарили подарки. Виктор в мою честь кинулся в Неву около Эрмитажа, переплыл и вышел на сушу у Петропавловской крепости, когда ударила пушка. Артур занимался в аэроклубе и в день моего рождения на маленьком самолете пролетел под Троицким мостом. Оба сделали мне предложение, но я любила Виктора. В старинной квартире на Васильевском острове я ему отдалась, и это была самая прекрасная ночь в моей жизни. Из окна была видна осенняя ночная Нева, на ней стояли военные корабли, усыпанные бриллиантовыми огнями. Они отражались в черной воде, и я смотрела на их отражения и думала, что мы больше никогда не расстанемся. Но Виктор был разведчиком. Он получил от начальства важное задание. Уезжая за границу, сказал: «Любовь моя, я скоро вернусь, и мы поженимся». Уехал, и лишь по косвенным признакам я догадывалась о его делах. Наверное, это он совершил очередное покушение на Римского Папу. Он устроил пожар на американской подводной лодке. Он способствовал разрушению Берлинской стены. Шли годы, а он не возвращался. Я ждала его, как Сольвейг. И тут появился Артур, все такой же красивый, только волосы его побелели от инея. Он стал дипломатом и играл важную роль в МИДе. Он сообщил мне, что Виктор погиб при выполнении опасного задания на юге Африки. Они встретились незадолго до смерти, и, предчувствуя скорую гибель, Виктор завещал Артуру: «Ты — мой друг. Отправляйся в Петербург и возьми Елену замуж. Постарайся сделать ее счастливой» Такова была его последняя воля. Я не могла ее нарушить. Вышла за Артура. Мы прожили несколько лет. Он носил меня на руках. Мы объехали все мировые столицы. И вдруг я узнаю, что Виктор жив. Получил ранение, был в плену, его долго мучили, но он бежал и вернулся в Россию. Стал крупным политиком и, наконец, — Президентом. Он стал искать меня, используя все свои средства и связи. Артур видел, что моя любовь к Виктору вспыхнула с новой силой. Отвез меня на Урал и спрятал здесь, чтобы Виктор меня не нашел. Но я хочу дать знать Виктору, что я здесь, что по-прежнему его люблю. Вот поэтому мне нужно поехать в город и дать телеграмму, — она умоляла Алексея, готова была целовать его руку.

— Ну, хорошо, Елена Викторовна. Я сам поеду в Невьянск и отправлю телеграмму. Диктуйте, — доктор вынул авторучку и за

писную книжку. Приготовился писать.

— Да, да, спасибо. Я сейчас продиктую. Москва. Кремль. Президенту Виктору Викторовичу Долголетову. Мой любимый. Точка. Мой ненаглядный. Точка. Я жива. Точка. Жду тебя. Точка. Помнишь, как горели на черной Неве бриллиантовые корабли. Вопрос. Приезжай как можно скорее. Точка. Тоскую. Точка. Твоя Елена Прекрасная. Точка. Ну и адрес, доктор, вы знаете.

— Конечно, Елена Викторовна, сегодня же отправлю, — доктор спрятал записную книжку и ручку. — Он непременно приедет.

Женщина благодарно улыбалась. Отбрасывала назад длинные темные волосы. Прикасалась пальцами к обкусанным губам, словно держала помаду. Поднимала брови и накладывала на веки мнимые тени. Трепетная, нервная, она готовилась к заветной встрече.

Алексей страдал. Ему было неловко за обман, совершенный доктором, — обман, в котором он невольно участвовал.

На четвертой кровати сидела жилистая женщина с грубым лицом и зазубренными руками, какие бывают у работниц на железной дороге. День и ночь под дождем и ветром машет кувалдой, наносит тупые удары, разрывая в животе тонкие пленки жизни.

— Мужик — как собака. У него вместо ума болтается хер собачий. Перед ним юбку задери, и он пойдет за тобой хоть по минному полю. От мужиков все зло, все болезни, все бабьи обиды. Всех мужиков собрать и сжечь. Положить в кювет, облить соляркой и сжечь.

Она делала движенье рукой, будто чиркала спичкой, кидала зажженную спичку в канаву, где лежали облитые соляркой мужики. Восхищенно смотрела, как пылает огонь, пожирая ненавистные существа.

— Она — пироманка, — тихо сообщил Алексею главный врач. — Несколько раз пробовала палату поджечь. За ней особый присмотр. Все передачи из дома проверяем, как бы в них спичек не было.

— Всех до одного мужиков сжечь! — убежденно и радостно повторила женщина, любуясь на пламя.

— Сжечь, — повторила толстая соседка, шевеля под одеялом ногами.

— Сжечь, сжечь, — вторила старуха, гладя впалый живот.

— Сжечь, — с неожиданной страстью подхватила черноволосая, влюбленная в Президента женщина.

— Сжечь, сжечь, сжечь! — повторяли они одна за другой, образуя яростный хор, раскачиваясь, заходясь страстным воплем, который переходил в визг, завывание, удушливый клекот.

— Ну, все, все, ладно, — доктор прерывал их голошение. — Сейчас лекарство примем, и — баиньки.

В палату вошли две сестры с флаконами и столовыми ложками. Наливали лекарство, давали женщинам выпить. Те послушно глотали, затихали. Что-то бормотали и нашептывали. Укладывались на кровати и замирали. Алексей видел, как на худых пальцах черноволосой пациентки блестит изумрудный перстенек.

— Видите ли, если вернуться к вашему первоначальному вопросу, — говорил доктор, когда они покинули палату. — Эти сексуальные бреды и эротические комплексы иллюстрируют тот печальный факт, что количество женщин в нашем обществе значительно превышает число мужчин. В подсознании женщины это проявляется как гиперсексуальность, мнимая беременность, поиск идеальной любви. И как крайний случай — мужефобия. И все это проистекает из тайных страхов по поводу вымирания нации, исчезновения русского народа. Страхов, которым женщины подвержены больше мужчин.

«Мой бедный народ»,— в отчаянии повторял Алексей, следуя за рассудительным доктором.

Они перешли в соседнее крыло первого этажа, где располагался детский покой. Все та же чистота, ароматные запахи. В кадках фикусы и цветущие домашние розы. На стенах рукодельные коврики с трогательными персонажами сказок.

— Наши маленькие пациенты только что прошли процедуры. Большинство из них спит.

Доктор приоткрывал двери палат, и там, на одинаковых кроватях, в бледном солнце, среди чистого, льющегося из форточек воздуха, спали дети. Мальчики, девочки, с худенькими нежными лицами, с бледными запястьями, трогательными голубыми жилками на висках. Их сон был тих, безмятежен. Казалось, они спали давно, с самого рождения, и были обречены спать всю оставшуюся жизнь, не взрослея, оставаясь в безгрешной ангельской святости. Алексей всматривался в их безмятежные лица, и ему казалось, что дети во сне проживают

особенную, неведомую взрослым жизнь, где нет жестокостей и страхов, изнурительных страстей и разочарований. А есть ангельские дуновения, прикосновения нежных рук, любимые голоса, рассказывающие тихую, одну на всю жизнь, блаженную сказку. Прожив во сне эту сказочную жизнь, оставаясь навечно детьми, они перелетят на небо, населив своими ангельскими душами прозрачный райский кристалл. Заметил, как мальчик с трогательным белым чубчиком улыбается во сне и кого-то целует.

— Что ж, теперь осмотрим мужское отделение, — доктор, гордясь образцовым порядком своего заведения, повел Алексея на второй этаж, продолжая рассуждать на темы коллективных фобий.

В мужском отделении было неспокойно. Едва доктор отомкнул запертую дверь, как навстречу хлынул гул голосов, крики, возбужденные возгласы, будто в одной из палат происходила ссора.

На кровати с ногами сидел чернявый мужчина, небритый, с кустистыми бровями и вишневыми, навыкат, глазами. Он с ненавистью сжимал волосатые кулаки, сотрясал ими над головой:

— Жиды! Повсюду жиды! Почему русский народ жида терпит, голову ему не свернет? Царя жиды замучили! ГУЛАГ жиды придумали! Ленин жид. Сталин жид. Горбачев жид. В телевизоре день и ночь жид торчит. Почему русской песни не слышно? Почему стихов Пушкина не читают? Одни жиды торчат!

Он ненавидяще тряс кулаками, обращаясь к кому-то невидимому, от кого исходили напасти. Доктор подошел и укоризненно спросил:

— Семен Львович, вы же сами еврей. За что же вы так евреев не любите?

— И ты жид. Нас жидовскими таблетками кормишь. Погоди, придет русский Иван, он твой жидовский нос обломает!

Тут же крутился моложавый, легкий в движениях пациент. В одной руке его находилась скрученная из бумаги трубка, в другой горстка шариков, слепленных из ржаного хлеба. Он прятался за кровать, заслоняясь подушкой, выставлял из-за нее трубку. Перемещался по палате танцующей походкой, укрываясь за занавеской. Замирал, сжимаясь в комок, пережидая опасность. Стремительно бросался в угол, вытягиваясь и вставая на цыпочки, чувствуя себя невидимкой. Вдруг припадал на колено, превращаясь в стрелка, вытягивал трубку, стрелял из нее хлебным шариком.

— Ну, что, Сергеев, готовишь покушение? Опять у тебя заказное убийство? — доктор преградил ему путь. Но стрелок ускользнул. Приложил к губам палец, сделал несколько движений рукой, копируя немые жесты спецназа. Дунул в трубочку, угодив Семену Львовичу в лысеющий череп.

— Ну, ты, жидяра, ты у меня достреляешься!

На кровати, натянув одеяло до самого носа, лежал худой, с ввалившимися щеками пациент, поводя измученными, полными слез глазами:

— Доктор, я страшно болен, — стонал он. — У меня СПИД, доктор. Мне нельзя находиться в палате. Я всех заражу, доктор. Инфекция перелетает по воздуху. Я чихаю. Зараза передается со слюдой, — он накрылся с головой и чихнул под одеялом. Затих. Снова показались его страдающие, влажные глаза, жадно дышащий нос. — Доктор, возьмите у меня анализ на СПИД.

— Иван Савельевич, дорогой, нет у вас никакого СПИДа. Мы уже брали анализ. У вас кровь такая, что впору донором быть.

— Доктор, у меня СПИД. Они все от меня заразились. Возьмите у них анализ.

Еще один обитатель палаты, одутловатый, с озабоченным лицом, перекладывал кипу бумажных салфеток. Вносил в них какие-то заметки. Смотрел сквозь них на свет, желая обнаружить тайные знаки. Клал по одной внутрь перевернутой ножками вверх табуретки. Опасливо оглядывался на соседей, не подсматривают ли. Вновь извлекал салфетки. Тщательно пересчитывал. Заворачивал отдельными стопками в куски газеты, делая на газете надписи. Прикладывал к уху столовую ложку и, прикрывая рукой рот, что-то говорил в полголоса. Были слышно:

— Да, Тихон Тихонович… Все нормально, Тихон Тихонович… Явка нормальная… Все по инструкции,Тихон Тихонович… — Его одутловатое лицо выражало чиновничью исполнительность. Он рапортовал о добросовестно выполненном поручении.

— Ну, как, Анатолий Захарович, кто у нас сегодня лидирует? Опять «Единая Россия»? Вот и ладно, вот и славно, нам нужна стабильность и предсказуемость.

Пациент нахохлился, сгреб салфетки, заслонил своим телом кипу бюллетеней. Спрятал под подушку столовую ложку, служившую ему

телефоном.

— Доктор, скажите им, что это их гражданский долг, — кивнул он на соседей. — Они могут проспать свое будущее.

Еще один пациент, как только в палате появились посетители, встал во весь рост на кровати. Высокий, с длинными до плеч волосами, чернобородый, с горящими черными глазами, он продавливал постель босыми стопами. Ждал, когда на него обратят внимание. Как только главврач приблизился к его ложу, он воздел вверх руки и певучим голосом проповедника, возгласил:

— Братья, доколе будем питать сердца свои злобой? Доколе станем видеть друг в друге врагов? Неужели земля наша не пропитана кровью? Неужели русские не устанут убивать друг друга? Покаемся, братья. Принесем покаяние за грехи наши и наших отцов. Обнимем друг друга со слезами прощения. Воздвигнем в сердцах наших храм любви и смирения. Пусть с этой минуты в нашем доме царит мир и благодать.

— Жид проклятый, — пробормотал его сосед-юдофоб. — Ты Христа распял, жидяра гадкий!

— Вы все заболеете СПИДом! — простонал пациент, выглядывая из-под одеяла, — Не целуйте друг друга! Носите маски! СПИД предается через поцелуи!

— Прошу всех исполнить гражданский долг. Приходите на выборы. Вы можете проспать свое будущее, — вещал обладатель бюллетеней.

Пациент, исполнитель заказных убийств, нацелил трубку на проповедника, дунул и поразил его хлебным шариком. Удар оказался болезненным. Пророк соскочил с кровати и стал гоняться за обидчиком, громко шлепая босыми ступнями. Но тот ловко ускользал. Случайно задел табуретку. Лежащие в ней бюллетени разлетелись по палате. Пациент, мнящий себя председателем избирательной комиссии, с воплем кинулся их собирать:

— Тихон Тихонович!.. Я пожалуюсь Тихону Тихоновичу!…

— Твой Тихон Тихонович — жид, и дело твое жидовское! — хохотал ненавистник евреев.

— Прошу не трогать меня! — стонал пациент, забиваясь с головой под одеяло. — СПИД передается при рукопожатии!

Кричали, скакали и молниеносно затихли, кинулись в кровати, когда в палату вошли два дюжих санитара, неся лекарства и кружки с водой. Пичкали пациентов таблетками, заставляли запивать водой. Больные лежали, притихшие под одеялами, с глазами настороженных зверьков.

Алексею было невыносимо. Эти мании напоминали игры, сюжеты которых коренились в общественной жизни. Вся общественная жизнь состояла из игр, смешных или пошлых, жестоких или кровожадных. Если пациентов палаты могли успокоить психотропные средства, то больное общество могла исцелить только «Райская Правда». В поисках этой Правды пришел он в больницу. В поисках загадочного поэта обходил он палаты.

— Их фантазии напоминают творчество, — сказал Алексей, когда они покинули отделение, щелкнув электронным замком. — Я слышал, что творчество душевнобольных содержит в себе откровения, способные перевернуть представление об искусстве. Среди душевнобольных есть великие художники, непревзойденные музыканты, вдохновенные поэты, не так ли?

Доктор задумчиво посмотрел на Алексея.

— Вы правы. Есть больные, у которых чудовищный бред граничит с гениальностью. Я покажу вам одного из таких прозорливцев.

Они проследовали в дальнее крыло второго этажа. Дверь в палату была снабжена особым электронным замком с сигнализацией. Перед палатой, сидя на табуретке, дежурил санитар в белом халате. Главврач попросил его отпереть дверь, и они вошли в палату, белоснежную, стерильную, с воздушным голубоватым потолком и белыми стенами, по которым были проложены трубки, кабели, соединенные с мониторами, датчиками, капельницами. На одинокой кровати под легким красивым одеялом дремал человек. Большая голова утонула в подушке. Высокий бледный лоб был разделен надвое глубокой морщиной, которая, казалось, собрала в себя накопленные за жизнь горестные размышления. Крупные пухлые губы, сохранившие детскую наивность и мечтательность, были слегка приоткрыты. Чуть улыбались, будто человек видел сладкий сон. Его лицо было изможденным, но причиной изможения были не пороки и страсти, а неимоверная умственная усталость, какая копится у человека,

стремящегося одолеть ограниченность разума, пробиться сквозь пределы сознания. Поверх одеяла лежала его обнаженная рука с вонзенной иглой, от которой тянулась прозрачная трубка к капельнице. Путь раствору преграждал стеклянный краник. Флакон с раствором был полон бледного неподвижного солнца. На экранах мониторов струились плавные синусоиды, говорившие о дремотных процессах, протекавших в человеческом мозгу.

— Видите ли, я не имел права приводить вас сюда. Но из уважения к вашему имени, веря в вашу грядущую миссию, зная, какие влиятельные персоны прислали вас в мою больницу, я показал вам этого больного. Его курирует сам профессор Коногонов. Он поручил мне ряд исследований, которые мы проводим по его уникальной методике, — главврач, не приближаясь к больному, оглядывал его издали. Наклонял голову, словно любовался аппаратурой, к которой был подключен испытуемый. — Этот больной — поэт, подверженный бреду. Его бред носит бессмысленный и ужасный характер и вдруг переходят в чудесные стихи, которые он создает тут же, в состоянии бреда. Однако профессора Коногонова интересуют не стихи, а именно бессмысленный бред, который во время приступов мы записываем на диктофон и отсылаем кассеты в Москву. Там этот бред расшифровывается. Позволяют профессору проникнуть в миры, недоступные здоровому разуму. Он утверждает, что полученные данные меняют не только представление о мозге, но и представление о мироздании в целом. Открывают новые свойства времени и пространства, незнакомые ни Эйнштейну, ни Планку.

Больной словно почувствовал, что о нем говорят. Раскрыл большие серые глаза.

— Здравствуйте, доктор. Спасибо, что пришли. Мне уже гораздо лучше. Я повторяю мою просьбу, не могли бы мне принести бумагу и карандаш. Мне кажется, я снова начну писать стихи.

— Вам что-нибудь снилось? — доктор заботливо пощупал пульс на запястье больного, прикоснулся к его большому лбу.

— Какой-то чудесный сон. Будто под этот голубой потолок влетела бабочка. Как у Бунина. «Все так же будет залетать цветная бабочка в шелку, витать, шуршать и трепетать по голубому потолку». Чудесно, не правда ли?

— Вам действительно лучше, мой дорогой. Так действует на вас внутривенное вливание. Давайте примем еще немного облегчающего препарата.

Главврач повернул стеклянный краник капельницы, пропустив из флакона в трубку небольшую порцию раствора, и вновь перекрыл кран. Было видно, как влага медленно погружается в вену больного. По мере того, как раствор вливался в кровяную систему, лицо пациента менялось. Его большие, серые, ласковые глаза стали туманиться, в них появлялся слепой ужас, они выкатывались, выдавливались, словно изнутри на них давила невыносимая болезненная сила. Закатились, оставляя в глазницах мокрые липкие бельма с красной жилкой лопнувшего сосуда. Лицо сотрясали судороги. Оно искривилось, будто в нем согнулись оси симметрии. Изо рта вырвался храп, преходящий в животный рев, словно пациент, испытывал нечеловеческую боль. Звук, который он издавал, был лишен согласных. «О-у-э-и-ооо»! — ревело человекоподобное существо, вываливая изо рта язык, пытаясь выразить несусветные, одолевавшие человека страдания.

— Сейчас он начнет выдавать свою поэму, — произнес главврач, торопливо снимая с полки портативный диктофон, поднося к искаженным губам больного. Он походил на ловца, торопящегося захватить драгоценную добычу. На астронома, получившего краткую возможность наблюдать неизвестную звезду. На испытателя, добывающего уникальные знания.

— Ы-а-у-о-э-а-оууу, — неслось из глубины терзаемого рассудка. Алексей был в ужасе от внезапной, случившейся с больным перемены, от зрелища пытаемого человека, от вида мучителя, облаченного в белый халат, страстно следящего за протеканием опыта.

Казалось, человеку срезали вершину черепа с волосяным покровом, обнажили влажный, красно-белый, с лиловыми прожилками мозг и прикладывают к нему раскаленное железо.

— У-э-а-о-у-а-ыыы! — неслось из распухших губ.

Алексею чудилось, что в мозгу человека распались скрепляющие обручи, разомкнулись защитные оболочки, отделявшие разум от чудовищного безмерного Космоса. Космос из своей черноты впрыскивает в беззащитный мозг непознаваемые кошмары, огненные

вихри, непостижимые миры, населенные чудовищами неземных видений.

— Сейчас начнет рифмовать! — сказал доктор, зная наперед ход эксперимента, держа диктофон с алой ягодкой индикатора.

Маола лавапа лаума илеба кавэва.
Сута матыла калыва запома бавээва.
Алама уныва асома курала исты,
Видома еныра адоба фамила усты.

Прозвучал стих, в котором отпечатались ландшафты иных измерений, действовали другие законы пространства и времени, господствовала иная оптика и перспектива. Всплывали и гасли оранжевые и желтые солнца. Кружились фиолетовые и голубые луны. Рождались пылающие светила. Гасли, превращаясь в зияющие пустоты, из которых излетали черные вихри, сметали планеты и луны. Возникала чудовищная, переливающаяся голограмма, стоцветный кошмар, спектральная стокрылая бабочка с отточенными кромками и разящим клювом. Врывалась в незащищенный мозг человека, резала, колола, разбрызгивала мякоть, рассекала сосуды, рождала кошмар.

Бера измола алота иреба листа.
Греба атама нукира афона диета.
Эвера нута аляма инэра ату.
Лепа ихаса илепа ихаса уту.

— Профессор Коногонов непременно пришлет благодарность и какой-нибудь ценный подарок, — доктор держал у губ больного маленький диктофон, поглощавший звук бреда. Больной говорил на наречье древнего племени, члены которого жили в первобытных хвощах и папоротниках, обладали теменным оком, умели улавливать обступавшие их звуки и видения Космоса.

Алексею хотелось ударить по руке доктора и выбить диктофон. Вырвать из вены больного стальную иглу. Схватить несчастного в охапку и унести прочь из этой стерильной палаты, которая на деле являлась камерой пыток.

Вечная туча летела в Божественном мраке,
По сторонам возникали священные знаки:
То пролетят голоса, то живые цветы,
То Голубиная книга раскроет листы,
И унесется во тьму золотого сеченья,.. —

дивный стих излился вдруг из уст пациента. Голос был тихий, певучий, сладостный. Лицо, секунду назад, изуродованное судорогами, стало просветленным, красивым. Серые глаза счастливо сияли. Грудь ровно дышала, источая мелодичные звуки.

— Ну вот, действие препарата закончилось. Теперь пошли никому не нужные стихи. Профессор Коногонов их выбрасывает, оставляя для себя только бред. Я же на всякий случай их записываю, — доктор указал на толстую, лежащую на полке тетрадь. — Интересная, знаете ли, поэма складывается. Райские сады, да и только.

Алексею захотелось открыть тетрадь, прочитать записанные стихи, которые сливались в райскую поэму, стоившую их автору адских мучений.

Главврач потянулся к капельнице и на мгновение приоткрыл краник. Зловещий раствор вновь пролился в прозрачную трубку, стал втекать в вену. Лицо стало утрачивать красоту, вдохновенность, начало ломаться, будто его изнутри выдавливали, как уродливую резиновую маску. Ровное дыхание сменилось страдальческим хрипом. Больного ломало, сводило судорогой.

Мароли дау истерна кучача финола.
Лайдури кача ирмитко яппи алоло.
Дикара ита инату апильно фиоты.
Займину акри жиголо итари миоты… —

рыдающим голосом произнес он абракадабру. В этих рыдающих муках была мольба к кому-то невидимому и ужасному, кто вторгся в него из беспредельного Космоса, причинял нечеловеческие страдания. У голубого потолка, где ему недавно мерещилась нежная бабочка-капустница, теперь зиял черный пролом, и оттуда вонзался отточенный

разноцветный кристалл, резал остриями, вскрывал мозг лучистыми гранями, впивался множеством ломких осколков.

— Вот это истинная поэзия! — доктор ловил в магнитофон бессвязный бред. — Это и есть настоящее описание рая. Только не дай бог нам с вами попасть в этот рай.

Алексей понимал, что перед ним находится врач-мучитель. Эта клиника, как и недавняя колония строгого режима, являет собой образ русского ада, в который превращена его несчастная Родина. Его царство, если сбудутся предначертания, и он станет русским царем, должно преобразить страну ада, разделенную на множество застенков, в райскую обитель, о которой мечтали святые и праведники, русские космисты и художники, творцы утопий и откровений.

Больной с оголенным черепом, чувствовал, как в его мозг из бездны вонзилась алмазная фреза, срезает слои, погружается в мякоть, наматывает на себя кровавые клочья. Хрипел, мычал, сражался с неведомым, прилетевшим из мирозданья драконом. И вдруг успокоился, вернул себе человеческий облик, певуче, с обожанием возгласил:

Скоро ли, долго ли шел я в цветущей долине,
Запахом скажет тот цвет, что примят и поныне.
Видел двенадцать апостолов издалека,
Словно из детства блистающие облака.

Алексей испытывал к поэту состраданье, любовь. Преклонялся перед ним, Знал, что вызволит его из пыточной камеры. Поместит его в чудесный чертог на берегу божественного озера, где красные сосняки, белые храмы, прозрачные над озером радуги. И он напишет там свою райскую поэму, которая станет гимном нового русского царства.

— Ну, на сегодня хватит, — произнес доктор, убирая диктофон. — Наш пациент очень изможден. Еще бы, он переносит нагрузки космонавта, который перемещается в другие галактики, а потом мгновенно возвращается обратно. Теперь ему нужно спать.

Пока санитар поил поэта микстурой, а доктор подключал диктофон к Интернету и передавал свежие записи в Москву,

неведомому профессору Коногонову, Алексей взял тетрадку с записями, открыл и стал читать. Неровным почерком, кое-как, наугад и с разрывами, были записаны строки.

И, словно эхо, на голос изгнанника Рая
Сонмы святых зарыдали, его повторяя.
Вздрогнуло сердце! Рыдай, моя лира, рыдай!
Плач покаяния есть возвращение в Рай.
. . . . . .
Тут я увидел узорчатый купол сиянья.
Это сияло великое древо познанья.
Я в исступленном порыве лица моего
Остановился в шагах сорока от него.
. . . . . .
Огненный воин на облаке дыма возник,
Пику вонзил во врага и исчез в тот же миг.
Вздрогнуло древо, осыпав плоды роковые.
Гулко о землю они застучали впервые.

— О, вы знаете, не стоит читать. Здесь все хаотично, необработанно, — отобрал у него тетрадку доктор.

— Но мне бы хотелось почитать. Это божественные стихи.

— Давайте завтра. Обещаю, завтра вы почитаете. Я внесу туда сегодняшние строки. А сейчас пойдем. Больному нужен покой. Он очень устал, — в голосе врача звучала непреклонность. Поэт Юрий Кузнецов запрокинул на подушке свою тяжелую, с большим лбом голову. Глубокая складка на лбу была полна тени, словно в ней еще притаились темные образы иных миров. Но губы были спокойны, мерно дышали. В лицо вернулась благородная красота и величие.

— Хорошо, доктор. Я приду завтра. Когда вам удобнее?

— С утра, после обхода, пожалуйста. Я как раз внесу в тетрадь свежие записи.

Главврач проводил его до выхода. Удаляясь от больничного корпуса, среди огромных лопухов и крапив, Алексей старался угадать, где на втором этаже находится окно палаты с белыми решетками, за которыми томится русский поэт-ясновидец.

Они поселились с полковником в утлой гостинице на краю поселка. Оставшись один, Алексей сразу же позвонил Марине.

— Я так скучаю, — услышал он ее обожаемый голос. — Так Пусто без тебя. Когда ты вернешься?

— Я не позвонил тебе утром. Не собрался с духом. Случилось ужасное. В колонии восстание. Были вызваны части. Кровавое побоище. Юрий Гагарин погиб. Какой-то злой рок. На стене его камеры была начертана «Формула Рая». Я хотел вернуться к нему наутро и записать формулу, а потом обратиться к могущественным людям в Москве, чтоб они немедленно освободили Гагарина. Но роковая ночь. Теперь его нет в живых, русского мученика и святого. А «Формула Рая» отпечаталась у меня на сетчатке. Вернусь в Москву, буду искать ученых, которые смогли бы считать с моей сетчатки «Формулу Рая».

— Милый, мне страшно за тебя. Мы живем в ужасное время. Люди, которые клянутся тебе в верности и любви, — обманщики, плуты, злодеи. Мне тревожно за тебя. Хочу тебя видеть.

— Помнишь, какое было солнце в комнате, и ты лежала, дремлющая, золотая, и я боялся смотреть на тебя, такая ты была прекрасная.

— А ты говорил, что видел какой-то всплеск красоты, и в этом всплеске тебе чудились набережные, дворцы и соборы.

— Сегодня у меня была удивительная встреча. Я нашел поэта Юрия Кузнецова. Он находится в руках тех, кого ты назвала обманщиками и злодеями. Но я его вызволю. Он болен, но в своей болезни пишет изумительную поэму о Рае. Я слушал отрывки. Он, как и Юрий Гагарин, был допущен в Рай. Добыл его божественную формулу и воплощает ее в поэме. Возле его кровати есть тетрадка, куда врачи записывают его откровения. Я заглянул в тетрадку. Там есть такие строки:

> Рядом стояло, мерцая плодами познанья,
> Вечное древо — таинственный знак мирозданья.
> Эта поэма и есть — русское древо познанья. Я посажу его в центре русского царства, и оно наполнит жизнь народа мудростью, справедливостью, счастьем.

— Хочу почитать поэму.

— Завтра мне позволят взять тетрадь, и я перепишу из нее стихи.

— Родной, приезжай поскорее!

Среди ночи его разбудил полковник, который казался вестником несчастья,— таким бескровным было его лицо, и так страшно мерцали его глаза — множество глаз, покрывавшие все его тело с ног до головы:

— Алексей Федорович, в клинике, где мы с вами были, пожар.

Ужасное предчувствие побудило Алексея вскочить и одеться. Скоро они были возле больницы — в черноте ночи, сквозь деревья и травы, в красном зареве горел двухэтажный корпус. Заросли лопухов и крапивы в багровом свете казались первобытными хвощами и папоротниками. Из них вылетали растревоженные мотыльки и ночные бабочки, с бриллиантовыми глазами летели на пожар. Кругом скапливалась боязливая, бездействующая толпа.

Входная дверь— раскаленная железная плита — была заперта изнутри, к ней пытались подскочить служители и тут же отскакивали, обжигаясь. Деревянные венцы первого этажа начинали дымиться. А весь верхний этаж был охвачен пламенем, горели сухие бревна, в них трескались и сверкали сучки, огненными жилами струилась старая пакля. Сквозь решетки в окнах нижнего этажа метались женщины в ночных рубахах, скребли стекла, беззвучно кричали, раскрывая рты, а за их спиной начинала краснеть наполняемая огнем палата. Детей не было видно, должно быть, они продолжали спать, видя райские сны. Крыша была окутана багровыми клубами, сыпались искры, валил жирный дым, в малиновом дыму, красные, с раскрытыми клювами, носились вороны.

— Фашисты! Живых людей в крематорий засунули!

— Специально заперли на все замки и подожгли, чтобы растраты скрыть!

— Они на живых людях опыты делают, а их застукали. Комиссия из Москвы приехала, а они на пожар все спишут.

— Пожарные куда провалились? Небось в пьяную напились!

Несколько стекол разбились, мужчины просовывали сквозь решетки руки, сжимали кулаки, истошно кричали. Больничный корпус был огромной клеткой, в которой заживо сгорали люди.

Алексей заметил в окне черноволосую женщину, которая днем поведала историю своей любви к президенту Виктору Долголетову. Она трясла решетку, грызла ее зубами, билась об нее головой. Там же появлялась и исчезала оплывшая жиром пациентка, которую мучили приступы похоти. Мужчины сквозь верхние разбитые окна голосили. Тот, что мнил себя председателем избирательной комиссии, пытался протиснуть голову сквозь тесные прутья:

— Тихон Тихонович! Мне здесь нельзя оставаться! Тихон Тихонович, у меня не полный комплект!

Алексей пытался пробиться к дверям сквозь белый жар, но сухой огненный воздух обжигал лицо, опалял ресницы и брови. Одежда начинала дымиться, и казалось, волосы превращаются в факел. Он всматривался в крайнее окно верхнего этажа, надеясь увидеть там большелобое лицо поэта. Но окно было пустым. Должно быть, Юрий Кузнецов, оглушенный снотворным, находился в тубоком забытьи. Вместе с ним сгорали приборы, капельницы, диктофон, и толстая тетрадка с отрывками райской поэмы. Мелькнула мысль — вот так же исчезали в огне и навеки утрачивались античные пергаменты и папирусы Александрийской библиотеки, староверческие свитки и книги Соловецкого монастыря. Райские откровения поэта-боговидца пожирала геенна огненная.

С воем, расшвыривая фиолетовые вспышки, к корпусу подлетели три пожарных машины. Пожарные в касках, в асбестовых робах, разматывали рукава, свинчивали шланги, начинали тянуть к горящей крыше стальные лестницы. И уже хлестали красные слюдяные фонтаны, превращались в пар, не долетая до крыши.

Пожарный, заслоняясь локтем от пламени, боком приблизился к зданию, зацепил крюк за решетку, набросил петлю на корму машины. Та попятилась, вырывая решетку с мясом. Из окна стали выпрыгивать полуголые женщины, падали на землю, поднимались, с визгом бежали прочь в заросли в белых ночных рубашках. Черноволосая женщина с открытой грудью, с развеянными волосами, выбросилась из окна. Вскочила и пропала в лопухах и крапиве.

Дом ревел голосами, звенел разбивавшимися стеклами. Входную дверь вскрыли, и пожарные кидались в багровый дым, выносили на руках задохнувшихся пациентов.

Алексей увидел, как в крайнем окне второго этажа появилось знакомое лицо. Юрий Кузнецов встал на подоконник, в рост, ухватился кулаками за решетку, молча, жадно смотрел наружу, словно кого-то искал, от кого-то ждал избавления.

— Лестницу туда! — Алексей схватил пробегавшего мимо пожарного. — Там великий поэт, надежда России! — Пожарный зло ругнулся в ответ, протащил мимо тяжелый от воды шланг.

Ужасно затрещало. Крышу повело. Из-под нее встали два красных столба, и она просела, провалилась, сплющила верхний этаж. На землю стали падать горящие кругляки, пылающие бревна, крики почти затихли.

Подкатывали одна за другой кареты «Скорой помощи», на носилки клали обгорелых, слабо шевелящихся людей. Пожарные выносили на руках детей. Какой-то безумец в горящем халате, высоко подпрыгивая, убегал по аллее. Главврач, неизвестно откуда возникший, смотрел на пожар, скрестив на груди руки, словно молился огненному алтарю, на котором догорала «жертва всесожжения».

Алексей чувствовал, как горит на руке ожог. Повернулся и побрел наугад сквозь заросли. Слышал за спиной вопли пожарных, шипение ударявшей в огонь воды.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Он находился под воздействием двух противоборствующих сил, двух встречных потоков. Одна могучая, уму непостижимая сила выхватила его из обыденной жизни, навязала иную судьбу, неуклонно и последовательно вела к триумфу. Другая — противилась этому, чинила препятствия. Превращала его восхождение в отвратительный фарс, как это было на космодроме и на заводе подводных лодок. Ввергала в кровавые трагедии, в которых гибли носители райских откровений, как это случилось в колонии строгого режима и в клинике душевнобольных. Иногда ему казалось, что две эти силы исходят из единого центра, то ускоряют, то останавливают его восхождение, вписывают его жизнь в прихотливое и опасное русло, изгибы которого непредсказуемы.

Не возвращаясь на жуткое пепелище, где остывали обгорелые кости мучеников и летала по воздуху, оседая на лопухах, зола сгоревшей поэмы, он отправился в Екатеринбург. Он собирался посетить Храм на Крови, место казни последнего императора, и Ганину яму, место обретения останков царской семьи. Со страхом и благоговением ожидал встречу, которая мерещилось ему в сновидениях, которую с детских лет предвкушала душа.

«Урал таинственный, подземный, самоцветный, — думал он на заднем сиденье автомобиля, летящего среди лесистых предгорий. — Источник русских побед. Плаха царей. Родина демонических сил. Кузнечный молот, что из века в век кует судьбу Империи. В Урал ударяют стенобитные машины враждебного Запада, I хребет откликается «громом огня» и «блеском стали», вбивая в тepony клинья танковых армий. На Урале русская история сжимается в тугие жгуты, вспыхивает ослепительным светом. Помять Урал — значит, понять сокровенные тайны русской страны, где каждая равнина, гора, океанский берег несут божественный Смысл, являют собой часть священной географии Родины. Геополитики называют Урал становым хребтом Евразии, «хартландом», земной сердцевиной, которой и является для мира Россия. Каменная крепь от полюса до азиатских пустынь, на которой, похрипывая, висят два материка. Гигантский

складень, раскинувший створки от Китая до Германии. Фантастическая, зримая из Космоса бабочка с зелеными и голубыми крыльями. «Уральская идея» уму непостижима, ускользает от прямых определений. Видна по-своему из недр каждой религии, каждой культуры, из которых складывается симфония Государства Российского.

На юге Урала — Аркаим. Божественная территория, где земля соединяется с небом, ночные небеса трепещут от загадочного сияния, словно в световоде струятся космические силы, падают на землю таинственные семена, прорастая царствами, творениями сказителей и поэтов, культами жрецов и пророков. Аркаим — бутон, из которого распустился цветок европейской цивилизации. Матка, родившая Европу. Стойбище, откуда пустилось в странствие великое арийское племя.

На севере Урала — Верхотурье. Седое дерево ветхих домов, из которых белоснежные, волшебно прекрасные храмы уральского барокко тянут к небу золотые кресты. Намоленное место русских праведников, отважных воителей, «очарованных странников», родившихся на берегах Ильменя, а усопших на Аляске и в Калифорнии. «Верхотурские старцы» — ревнители Святой Руси, окропившие уральские кручи кропилом Преподобного Сергия.

Верхотурье и Аркаим — две лучистых нити, на которых тяжкий Урал подвешен к небесам.

Уральский сказочник Бажов открыл подземное царство с сокровенными духами камней, языческими богами самоцветов и руд, колдовской красотой запретного творчества, которому предается русская душа, одним оком созерцающая Царя Небесного, а другим — волшебную Царицу Подземелья. Не то ли запретное творчество сотворило деревянных пермских идолов, набросин им на плечи христовы ризы и богородичные покровы?

Никита Демидов — ревнитель «первой, петровской» модернизации России. Владелец уральских рудников и невьянских железоделательных заводов, он использовал в металлургии и горном деле труд крепостных крестьян, заковывал их в кандалы, создав прообраз Ураллага. Одновременно посылал детей в Европу, где они постигали науки и технологии, изучали машины и тайны литья, осваивали астрономию и ботанику. Он добывал в Европе драгоценные

знания, с их помощью, руками подневольных рабочих, строил русские пушки, которые крушили стены Нарвы, Отливал якоря для русских фрегатов, которые бороздили воды Балтики. Это был первый «мобилизационный проект» России, повторенный с размахом во время «второй, сталинской» модернизации. Проект, к которому присматривается сегодня Россия, готовясь к своей «третьей» модернизации.

Почему на Урале, а не в ином месте, казнили последнего Царя? Его могли расстрелять прямо в Царском Селе, где августейшая семья была взята под стражу предателями-генералами. Могли задушить в поезде по дороге в Сибирь. Могли спустить в Иртыш во время Тобольской ссылки. Могли зарезать на выезде из Тобольска. Но нет, его возили по всей России, словно выбирали место для казни. Выбрали Урал, подвал Ипатьевского дома, где под лязг револьверов завершилась империя Романовых. Урал, носитель инфернальных сил русской истории, унес под землю, в рудную штольню изрубленные, сожженные тела царских мучеников. Ганина яма — таинственное и жуткое место, где заросшая дерном щель ведет в преисподнюю. Лилии, цветы небесного рая, посаженные монахами по склонам ямы — есть стремление преодолеть страшную гравитацию ада. Там происходит боренье свете и тьмы, святости и злодейства. «Уральская идея» предстает как схватка космических сил.

Урал испытал прикосновение сталинской длани. Нигде нет такого скопления великих заводов и лабораторий, научно-исследовательских институтов и университетов. Космическое производство. Ядерные центры и атомные станции. Ракетные и танковые заводы. Все виды металлургии. Оптика и лазеры. Города, открытые и зарытые, — средоточие невиданных трудовых дерзаний, итогом которых стали армады танков, перемоловших фашизм, ракетно-ядерный щит, заслонивший Советский Союз от беспощадной мощи Америки. Разве эта «сталинская модернизация» стала возможной лишь на костях последнего Императора? «Красная империя» Сталина требовала для своего возникновения казни в Ипатьевском доме? Или связь того и другого не поддается линейному исчислению, сложнее причинно-следственной зависимости? Царь-Святомученик, последний монархист романовской империи, передал имперское знамя Красному монарху

Иосифу, и тот водрузил это знамя на немецком рейхстаге, завершив русско-германскую войну 14-го года?

Демонизм Урала обнаружил себя в явлении Ельцина. Из уральских подземелий и штолен, из Медной горы явился Горыныч Ельцин. Он разрушил Ипатьевский дом, еще раз символически расстреляв царя Николая, — вторично уничтожил империю Романовых. А потом разрушил «красную империю» Сталина. Дважды Урал переламывал с хрустом позвоночник русской истории, открывая в ней «черные дыры», зияющие Ганины ямы. И вновь мистические силы русской судьбы, незримые ангелы русской государственности высаживали на обугленных, изъеденных кислотой склонах штольни белые лилии Воскрешения. А я? Моя в этом роль? Припадаю к тебе, Урал».

Так думал Алексей, созерцая отроги гор, розовые от цветущего шиповника, и казалось, из горных расщелин поднимаются пламенные знаменосцы, машут вслед огненными полотнищами

Приехав в Екатеринбург, Алексей под благовидным предлогом избавился от сопровождавшего его полковника. Добросовестный служака и сам спешил в администрацию города, чтобы поведать о злоключениях необычного странствия. Алексей был рад освободиться от опеки. Поймал проезжавшее мимо такси:

— Привезите меня в Храм на Крови, — попросил он таксиста.

— Вот ведь какая история,— рассуждал по дороге таксист, — Ельцин Ипатьевский дом разорил, потому что царя ненавидел. А потом сам царем стал и Храм на Крови поставил. У нас в России царем интересно быть. Сначала тебя расстреляют, а потом святым сделают, а потом опять на помойку выбросят. Мой дед говорил: «Перенесение порток с гвоздя на гвоздок». Такие дела.

Они кружили по городу, кипучему и богатому, с обилием архитектурных стилей, где довоенный конструктивизм соседствовал с помпезным сталинским ампиром, брежневская пуританская архитектура прорастала буржуазными зданиями с затейливыми башенками и колонками, и повсюду, в просветах домов, золоти лись купола церквей.

— Ну, вот вам и Храм на Крови. Только чьей тут кровушки больше, царской или народной, это никто не скажет, — произнес таксист, высаживая Алексея в указанном месте. Алексей вышел и

остался стоять перед белоснежным, стройным, с обилием византийского золота, храмом.

Сооружение покоилось на высоком гранитном цоколе и имело два уровня, нижний и верхний, и два входа, ведущие в нижний и верхний храмы. Кругом было не людно, не докучали назойливые автомобили. Оказавшись перед храмом, с первого мгновения Алексей ощутил таинственную зыбкость пространства, в котором высились белоснежные стены, круглились золотые купола, струились на солнце кресты. Воздух слабо трепетал, неслышно содрогался, незримые струи налетали на стены храма, отраженные, свивались в завитки и кольца, уносились вспять. Казалось, храм был подвержен непрерывным приливам и отливам, выдерживал натиск бескрайнего океана, противостоял упорным стихиям.

Вглядевшись в белокаменные стены, в гранитное основание, в солнечное золото кровли, Алексей обнаружил, что они не до конца материальны, наполовину прозрачны. Сквозь них просвечивало иное сооружение, бестелесно-голубое, как лунный свет. Призрачный дом, созданный из голубых теней, скрывался внутри храма, как в коконе, находился под защитой его мраморной, гранитной, золотой оболочки. Дом был одноэтажный, с подвальной частью, украшен каменным орнаментом, с округлым арочным входом. Алексей понял, что это дом Ипатьева, разрушенный в своем материальном виде, но уцелевший в бесплотном, идеальном образе.

Дом словно плавал внутри храма, как зародыш в яйце. Его первый этаж помещался в пространстве верхней церкви, а подвал опускался в глубину церковного цоколя. Этот внутренний, сокровенный дом также был прозрачен. В нем просвечивали гостиная, столовая, спальные, парадная лестница, зеркала и люстры, картины на стенах.

Все это лишь угадывалось, туманилось, как в потоках воды, покрывалось размытой рябью. Сквозь рябь вдруг появлялись обитатели дома, бестелесные, как тени на занавесках, — мужчина и женщина, четыре барышни, мальчик. Алексей догадался, что это была царская семья, но не мог объяснить, явлена ли она душами, не желавшими покидать последнее земное пристанище, или это отражения, сохраненные развешенными по дому зеркалами и живущие по законам нематериального мира.

Он стоял перед храмом и испытывал головокружение, какое бывает при мысли о бесконечности. Или от долгого всматривания в глубину звездного неба, когда в черных пустотах среди лучистых звезд обнаруживается мерцание удаленных светил, а среди них проступают туманности галактик, а в этих туманностях брезжат прогалы, уносящие твой взгляд в беспредельные глубины, и то телескопическое удаление миров, анфилада беспредельных пространств вызывает помутнение разума.

Он понимал, что пространство, в котором совершилось убийство, давно отлетело. Земля в своем осевом вращении, в круговом движении вокруг Солнца, в полете вместе с Солнцем к созвездию Лебедя, давно оставила тот крохотный объем Вселенной, где размещался роковой подвал, — царь нес на руках цесаревича, царица, боясь оступиться, держалась за холодные стены, царевны, приподымая подолы платьев, нащупывали ступени. Но случившееся в подвале убийство гналось за Землей, не отпускало Землю, догоняло ее. Пули, выпущенные из револьверов в царя, летели вслед за Землей, настигали живущие на ней поколения, порождали бесконечные убийства и бойни. Земля, охваченная убийствами, мчалась во Вселенной, оставляя кровавый след.

Храм, возведенный на месте убийства, служил ловушкой для пуль. Собирал под золотыми куполами выпущенные убийцами пули. Не давал им разлететься. Спасал живущие на земле поколения. Запрещал пулям распространяться по Вселенной. Этим и объяснялась вибрация, окружавшая стены храма. Протуберанцы и вихри, отраженные от белокаменных стен.

— Пойдите, помолитесь Святомученикам. Они вам помогут, — произнесла проходившая мимо женщина в платке и долгополом платье. Ее немолодое лицо было красиво, с тонким носом и бледными синими глазами, в которых было столько доброты, просветленной веры, преодоленных испытаний и мук, что у Алексея возник благодарный отклик, ощущение, что она возникла неслучайно, послана, чтобы пригласить его в храм. Он поклонился ей, поднялся по лестнице и вошел в церковь.

Здесь было солнечно, лучисто, чудесно. Светящаяся высота снопами голубых лучей подхватывала душу и возносила к своду, на котором то ли были начертаны воздушными красками, то ли

прижались пушистыми крыльями золотые и белые ангелы, большеглазые, изумленные, страстные. Иконостас был фарфоровый, покрыт глазурью, льдисто-драгоценный. В нем свободно и обширно поместились иконы царских мучеников, писанные жарко и истово, словно ликам было тесно в фарфоровом обрамлении, и они всей красотой и силой стремились выйти из фарфоровых рам и оказаться среди гулкого, пронизанного лучами пространства. Очутившись в этом живом и трепещущем воздухе, в переливах и волнениях света, Алексей испытал внезапное волнение, подобное страху и восхищению. Будто со всех сторон — из купола, из расплавленных солнцем окон, из каждой ало-голубой, изумрудно-золотой иконы летели в него брызги света, вспышки лучей, зеркальные полыхания. Каждое касание света меняло его. Преображало личность, данную ему от рождения, в иную, сотворяемую в лучистых потоках. Будто он отражался в этих волшебных зеркалах, приобретая внутреннее сходство с царем и царицей, прекрасными царевнами и отроком.

— Вот, возьмите свечечку, поставьте перед Царем-Мучеником, — обратилась к нему прислужница храма. Маленькая, вся в черном, с пучком восковых свечей, она подняла на Алексея голубые глаза, дивно цветущие на поблекшем лице. Он принял свечу, запалил от алой лампады. Установил в серебряном подсвечнике перед образом царя Николая. «Не прошу у Тебя ничего. За Тебя прошу у Господа. Пусть Тебя любит Господь», — мысленно произнес он неканоническую, рожденную в сердце молитву. Ему вдруг показалось, что воздух, отделявший его от царского лика, стал горячим и заволновался. Он вдруг на мгновение стал царем, обрел его зрение, память. Царь был убит в подвале, но ожил в нем, Алексее. Хрупкая свеча с золотым огоньком чудодейственно сблизила их души.

Фиолетовые петербургские сумерки. Синий рассыпчатый снег. Желтые фонари на дворцовой набережной окружены голубыми шарами. Нарядный блеск экипажей, пар вокруг лошадиных голов. Длинное осиное тело подкатившего автомобиля. Из карет выскальзывают опушенные мехом женщины, мужчины в шубах с бобровыми воротниками, военные в парадных мундирах. В сиреневых небесах, словно скользнула из необъятных высот, пронзила петербургскую ночь, тончайшая золотая игла. Он смотрит в окно, чувствуя холод широких стекол. Где-то рядом шелковый шелест

туалетов, благоуханье зимних цветов, отблеск белого мрамора. Министр в черном фраке, с золотыми запонками в белых манжетах, говорит ему что-то почтительно и настойчиво. А он заворожен красотой петербургской зимы, серыми, в яблоках рысаками, дамой в пушистой шубке, ее легкой коснувшейся снега стопой.

Это переживание, принадлежащее когда-то царю, посетило Алексея, как его собственное воспоминание. Он не отпускал его от себя, как не отпускают чудесный сон.

Мимо прошел священник, молодой, чернобородый, посмотрел на него ярко и пристально. Вернулся:

— Здесь у нас есть иконка Богородицы Троеручицы. Она принадлежала государыне императрице, находилась с ней вплоть до последнего часа. Там же находится изумрудный перстень, найденный у Ганиной ямы. Можете подойти, приложиться к иконке. — Священник указал на небольшой, лежащий на аналое образ. Алексей приблизился. Икона была смугло-коричневой, покрыта стеклом. На тонкую блестящую нить были нанизаны золотые серьги, колечки, драгоценные камушки, и среди них в серебряной оправе — большой изумруд, прозрачный, водянистый, с глубокой мерцающей искрой. Приближая лицо к иконе, он почувствовал исходящее от нее тепло, волнующую женственность, чудесный аромат, более сложный, чем сладкий кадильный дым, — медовое благоухание. Целуя икону, видел, как затуманилось от его дыхания стекло, как дрогнула в глубине изумруда искра, словно узнала его, откликнулась на его поцелуй.

Они плывут на яхте по Финскому заливу, оставив в дымке желтые дворцы Петергофа. Вода бело-голубая, со стеклянной, льющейся вдоль борта волной. Дочери в соломенных шляпках, в белых платьях бегают по дощатой палубе, кидают в воду кусочки пирога, приманивая сильных, с желтыми клювами чаек, которые с криками летят за яхтой. Он обнимает за талию жену, чувствуя, как округлился ее живот, стали выше груди. В ее глазах появилась задумчивая нежность, туманная блуждающая улыбка. Исчезло гордое, властное выражение, с каким она являлась на балах и приемах. Сменилось терпеливым ожиданием, слезной беззащитностью, умоляющим обращеньем к кому-то, кто оберегает ее любимых и близких. Дочерей, что так весело кружат по палубе, обегая капитана в белом кителе с золоченым кортиком. Мужа, бережно обнявшего ее располневший стан. И того, не рожденного, кто

наполняет ее горячей трепетной тяжестью, — еще не видит, но уже чувствует бирюзовую воду залива, падающих за кормой белых чаек, далекий, в красных соснах и янтарных отмелях, берег, и это нежное, робкое прикосновение мужа.

Алексея поразила достоверность переживания. Оно излетело из глубины изумрудного перстня, из влажной зеленой искры. Принадлежало царице, но отразилось в памяти, как образ его собственной жизни. Заметил, что рядом со священником стоят несколько женщин в платках, в долгополых платьях, похожих на паломниц, тихо шепчутся, посматривают в его сторону.

Дворцовая площадь в жгучем январском солнце. Полукруглый янтарный Штаб с заснеженной колесницей. Розовый, в дымке, Александрийский столп, окруженный цепями солдат. Красные околышки, красные язычки погон. Топчется зло казачья сотня — седые, с красным верхом папахи, синие шинели, зачехленные шашки. Из круглой арки валит на площадь толпа, вязкая, липкая, окутанная туманом злых испарений. Гул, песнопения, окруженные рушниками иконы. Колышутся хоругви. Какой-то священник в черном, с золотой епитрахилью, воздевает руки, обращает их к небу, к дворцу, к гудящей толпе, что-то выкрикивает. Казачий сотник выносится на коне, скачет галопом по заметенной снегом брусчатке, подлетает к толпе, поднимая на дыбы жеребца, что-то кричит, выдыхая железный пар. Из толпы летят в него камни, осколки льда, мерцающие на солнце бутылки. Сотник хлещет по бокам жеребца, уносится вспять, возвращается сквозь солдатскую цепь. Солдаты поднимают винтовки, солнце блестит на штыках. Трескучий неровный залп, кудрявые голубые дымки. Валятся люди на снег, ползут, недвижно лежат. Их затаптывает толпа, которая продолжает валить из арки на площадь, слепо, густо. Солнце молнией бежит по штыкам. Залп, колечки сизого дыма. Передняя кромка толпы редеет, из нее выпадают люди. Рушится цветная хоругвь. Истошные вопли. Казачья сотня с голубым блеском шашек мчится к толпе, врезается в темное месиво. Вздымаются на дыбы жеребцы, блещет сталь, бегут врассыпную люди. Солдатская цепь, подняв винтовки, мерно шагает по площади, переступает через черные, лежащие на снегу тела, через красные пятна, через брошенные иконы и флаги. В зеленом небе ангел с молитвенным жестом взирает

на окровавленную площадь, на янтарные стены штаба, на серых, уходящих к арке солдат.

Это видение потрясло не своей жестокой достоверностью, но живым, несмотря на столетнюю давность, присутствием в настоящем времени, словно он, Алексей, смотрел на площадь из-за тяжелой портьеры окна.

Пространство храма продолжало мерцать, трепетать, словно с икон срывались зеркальные блески, облучали его, и он находился под воздействием этих волшебных облучений. Каждая вспышка меняла частичку его плоти, — изменялся хрусталик глаза, менялись клеточки мозга, преображались кровяные тельца, нервная и костная ткань. Он чувствовал, что становится иным. Его личность замещалась другой, царственной личностью, и он уже не грезил наяву, а вспоминал события собственной жизни.

Детская спальная в Царском Селе. Душный сумрак, в котором краснеет накрытый платком ночник. Беспомощно и забыто выглядят сдвинутые в угол игрушки — большие деревянные кубики с цветными наклейками, конь-качалка из раскрашенного папье-маше, детское ружье с серебряным, на прикладе узором, книжка сказок с иллюстрациями Билибина. На кровати, светясь лицом, горит в жару цесаревич. Доносятся его редкие стоны. Домашний врач смачивает водой полотенце, прикладывает к пылающему детскому лбу. Рядом, перед сумрачным киотом, пламенеют лампады, озаряют грозный, с темными глазами Спас, серебристый нимб богородицы, кресты на одежде Николая Угодника. «Молитесь, молитесь жарче! Царь небесный услышит молитву царя земного!» — (розно приказывает старец. Они с царицей опускаются на колени, лицо царицы в слезах, на стене черная, с косматой бородой, качается тень старца. А у него — такая боль и любовь к больному сыну, такое предчувствие неизбежных и гибельных бед, такое слезное обращение к темному молчаливому Спасу.

Алексей чувствовал, как лучи, пронизывающие храм, причиняют ему легчайшие ожоги. Проникая сквозь одежду, каждый луч находил в нем капельку крови, живую клеточку тела, частицу костного вещества и преображает ее. Он переживал второе рождение. В него продергивали невидимые нити чужой судьбы, помещали отражения чужих воспоминаний и чувств.

Стрелковый полк отправляется на фронт. Железнодорожная насыпь, отворенные двери вагонов. Священник читает молитву, дымится золотое кадило. Множество бритых голов, офицерских усов, солдатских скаток, — полк стоит на коленях, и он. Государь, тоже стоит на коленях, чувствуя, как начинается дождь, как падают из низкой тучи тяжелые капли. Запах креозота, сырого шинельного сукна, и мешающий этим запахам приторно-сладкий кадильный дым. Полк поднимается с колен, играет оркестр. Он идет вдоль рядов, всматриваясь в солдатские лица, в их крестьянские лбы, в сжатые губы, в моргающие глаза, пытаясь прочесть их будущую судьбу, чувствуя кровную с ними связь, общую с ними, роковую, нависшую над ними беду. Зычный крик: «По вагонам!» — и гуща солдатских тел валит к составу, набивает вагоны. Курят, смотрят из вагонов на царя, на свиту, пока не задвигают тяжелые створы, и состав под дождем начинает скрипеть, колыхаться. Уходит вдаль по насыпи, превращаясь в точку, в маковую росинку, в тусклое облачко дыма. Пустая колея блестит под дождем. На насыпи ярко цветет оброненный, расшитый шелками кисет.

Алексей обошел храм. Перед ним возник все тот же молодой, чернобородый священник, не перестававший издали за ним наблюдать.

— Спуститесь в нижний храм. Там есть чудотворная икона, которая мироточит. Именно там находился подвал, где царская семья приняла мученическую смерть. Там из малахита построены ступени, по которым Святомученики восходили на Голгофу.

Алексей чувствовал, что привлекает внимание. Ему хотелось побыть одному. Благодарно кивнул, спустился в нижний храм.

Здесь было сумеречно, почти темно. Горели перед иконостасом лампады. Мерцал фарфоровый иконостас, и казалось, что в лед вморожены цветы, узорные листья, гибкие стебли, вся летняя красота, застигнутая внезапным морозом. Здесь, в нижнем храме, не было зеркального света, светоносных отражений и вспышек. Но ощущение новой, народившейся в нем личности не ис чезало, видения не отпускали его.

Литерный вагон качается, мягко поскрипывает, чутко постукивает на стыках. За окном — серые сырые снега, гнилые, выступающие из-под снега стожки, черные кривые деревни. Баба в душегрейке глядит на проходящий поезд. Бородатый мужик в тулупе смотрит из саней на

мельканье вагонов. На зеленом сукне стола белый лист с отречением. Депутаты Думы пьют чай из стаканов в серебряных подстаканниках. Холеная профессорская борода Гучкова, его многозначительное, с важным благородством лицо. Шульгин с фатовскими, вразлет усами, пошлыми, как у французского жуира. Генерал Алексеев с обрюзгшим бабьим лицом, трусливо бегающими глазами. Так страшно, пусто в душе, такое одиночество среди ненавидящих, отшатнувшихся от него людей, такое убывание жизни среди утлых псковских пейзажей. Россия, как огромная, из черных комьев, развороченная пашня, солдатские трупы среди кровавых воронок, стонущие лазареты, угрюмая, в тусклом золоте столица со свирепыми толпами. Повсюду злоба, отчуждение и измена. Только его милые, беззащитные ждут его с нетерпением среди ненависти и позора, на которые обрек их он, виновник их неизбежных страданий. Поезд тормозил, вагон качнуло. Серебряная ложечка зазвенела в стакане Гучкова.

Алексей медленно двигался в сумерках храма, силясь рассмотреть иконы в иконостасе. Почувствовал тепло, словно где-то здесь, в прохладных сумерках, топилась кафельная печь, — так сильно, жарко дохнула на него темнота. Сделал несколько шагов, словно хотел положить ладони на горячие кафельные плитки. И увидел икону, большую, занимавшую почти всю стену, — царская семья, как на известной фотографии. Государь с открытым лбом, золотистой бородкой, в офицерском мундире с Георгием. Перед ним цесаревич в матроске, хрупкий и нежный, с болезненно-белым лицом. Императрица за спиной Государя, спокойная, утоленная в своем материнстве, белолицая и дородная. Четыре царевны, как цветы в букете, миловидные, целомудренные, с одинаковыми девичьими прическами. И у всех — золотистые нимбы, усиливающие сходство с цветами.

От иконы исходило тепло. От нее струился благоухающий чудный воздух, какой бывает в натопленной горнице. Окружал Алексея, звал к себе. Он шагнут в эту струящуюся теплоту, припал и иконе лбом, губами, глазами. Из глаз полились обильные слезы, грудь сотрясали рыдания. Ему было больно, чудесно. Его переполняли необъяснимая нежность, обожание, любовь. Сбылись заветные желания, случилась долгожданная встреча. Он плакал, целовал руки царевича, Георгиевский крест на груди Государя, кружева на платье царицы,

тонкие пальцы царевен. «Пусть вам будет светло и прекрасно! Заступитесь за многострадальную Родину, за русский народ-страстотерпец! Заступитесь за меня в моих необъяснимых кружениях, в моей неисповедимой судьбе!»

Столовая в доме Ипатьева. Дубовый стол с тяжелой резьбой. Буфет с набором хрусталя и фарфора. Висящая над столом люстра с теплым, оранжевым абажуром. Вся семья собралась на вечернее чаепитье. Он орудует маленькими острыми щипчиками, откалывает от белого льдистого сахара колючие ломтики, передает поочередно жене, дочерям и сыну. Царевич держит в тонких пальцах голубоватый беломраморный ломтик, смотрит сквозь него на свет, откладывает на скатерть. «Мне что-то не хочется сладкого». Сестра Татьяна назидательно выговаривает брату: «Тебе необходимо сладкое. Ты должен пополнеть. И тебе станет лучше». «Не третируй его, пусть делает, как знает», — заступается за брата Мария. Сестры Ольга и Анастасия шепчутся, тихо смеются, и затем Ольга, оглядывая всех ярким смеющимся взглядом, говорит: «А помните, князь Феликс привез нам огромный букет белой сирени, и ветки никак не хотели влезать в хрустальную вазу?» «Пожалуйста, не говорите при мне о Юсупове», — строго и горько, поджав губы, выговаривает дочерям Императрица. Он откладывает щипчики, стряхивает в стакан скопившиеся на ладони сахарные крошки. И внезапное, бог весть чем вызванное, пугающе-сладкое воспоминание. Он ребенком играет в кабинете деда, стараясь не мешать работающему за письменным столом Императору. В парке над высокими липами начинает темнеть, грохотать. Серый, тускло-блестящий ливень обрушивается сквозь кроны на клумбы, хлещет в стены, звенит о стекла раскрытого окна. Дед поднимается из кресла, собираясь закрыть окно. Но из парка в комнату влетает расплавленный белый шар. Колышется, облетает стены, плавает под потолком, трепещет над головой деда, над его детским испуганным лицом. Вылетает обратно, в ливень, к шумящим деревьям, возвращаясь в бушующий мир, приславший им свой таинственный знак. Теперь, плененный вместе с семьей в этом уральском доме, он видит расплавленную, улетающую в окно жидкую молнию, ее голубоватый тающий след, чувствует оставленный ею запах озона. Странный знак, посланный ему в дет стве из непознаваемого мирозданья.

Алексей отошел от иконы, исполненный ожидания, словно в полутемном храме должно было с ним что-то случиться. Будто кто-то всю жизнь, с самого рожденья, вел его в этот храм, в этот призрачный дом, зыбкий, как лунная тень. В стороне от иконостаса, в свете одинокой лампады, слабо зеленели ступени. Малахитовая лестница вела вверх, «на Голгофу», как сказал священник. Восхождение на Голгофу соответствовало нисхождению вниз, в подвал. Алексей поднимался по малахитовым зеленым приступкам, но ему казалось, что он погружается вниз, откуда веет сыростью, холодной плесенью, близкой землей.

Их привели в подвал, где прежде они никогда не бывали. Низкая комната была оклеена сырыми полосатыми обоями. На тумбочке горели две керосиновые лампы, и потолок над ними казался красным. Посреди комнаты стоял плетеный венский стул с поломанной спинкой. «Садись сюда», — сказал царь сыну, усаживая его и опуская руки на его худые острые плечи. «Почему такая экстренность? Почему среди ночи?» — удивлялась царица, заспанная, недовольная, накинув поверх платья теплую шаль. «Но они же сказали, мама, что в целях нашего благополучия. Ожидается какой-то налет». «Просто нас мучают, вот и все», — сердито отозвалась Ольга, поправляя рассыпающиеся волосы, машинально поводя глазами в поисках зеркала. «У меня голова болит», — тихо пожаловался царевич. «Ничего, мой хороший. Сейчас вернемся, ляжешь в постель, я тебе дам микстурки», — погладила его по голове царица. А у него, царя, такая к ним нежность, любовь, желание раскинуть над ними спасительный покров, накрыть большими пышными крыльями, как это делает пугливая птица, заслоняя своих птенцов. В дверях показался высокий, затянутый в черную кожу человек, плечистый, чернобородый, с горящими, почти без белков, глазами. Складки кожанки хрустели, освещенные лампами, отливали красноватым глянцем. Колечки бороды, черно-синие, были как у вавилонских царей. Он сунул руку в карман, извлек кусочек бумаги. Сочным страстным голосом стал читать: «Именем Исполкома Уралоблсовета…» «Что, что?»— переспросил царь. И пока спрашивал, из-за спины человека выскакивали другие люди, выхватывали револьверы и начинали стрелять, наполняя сумерки комнаты белыми вспышками, пламенеющим грохотом, букетами серого дыма. И последнее, что видел царь, — поднятое к нему, изумленное, с

возведенными бровями лицо сына, на хрупкой шее набухшая голубая жилка, и два толчка в грудь, в самое сердце погасили свет керосиновых ламп и близкое сыновнее лицо.

Алексей почувствовал страшные удары в грудь, невыносимую боль. Закричал, теряя сознания, скатываясь вниз по малахитовым ступенькам.

К нему бежал священник, обступали женщины, загорелся яркий электрический свет.

— Сестры, умоляю вас, отойдите. Дайте ему больше воздуха, — говорил священник, расстегивая рубаху на груди Алексея.

— Это царь, — с восторгом и ужасом шептала паломница в белом платке, осеняя себя крестным знамением.

— Я говорила вам, это Царь Мученик к нам пожаловал. Боже, чудо какое! — вторила ей служительница.

Священник расстегнул Алексею рубаху, и у него на груди около сердца открылись два взбухших красных рубца, какие случаются у солдата, если в его бронежилет ударят пули.

Алексей очнулся.

— Что было со мной? — спрашивал он, поводя глазами, видя над собой склонившиеся лица и электрическое солнце золотого паникадила.

— Все хорошо, все слава Богу, — отвечал священник, поднося ему чашу с прохладной водой.

Алексей шел по улицам Екатеринбурга наугад, в толпе, в самом центре горячего летнего города. Проходил мимо строгого, со стеклянными иллюминаторами, конструктивистского здания, похожего на огромный корабль. Задерживался перед лепным фасадом, высоким золоченым шпилем и башенными часами, украшавшими Дворец культуры сталинских лет. Поднимал голову вслед возносимым этажам нового, еще недостроенного, высотного дома с громадной полотняной рекламой «мерседеса». Его грудь болела. Под рубашкой наливались метины от таинственных ударов. Он знал, что это были удары пуль, выпущенных в царя сто лет назад в подвале Ипатьевского дома и долетевших через столетье до его сердца. Он не мог объяснить происшедшее с ним на малахитовых ступеньках Голгофы, реальность видений, его посетивших. Он помнил ужасного чернобородого

человека, стрелявшего ему в грудь, лепестки пламени из револьвера и пустоту среди этих лепестков, откуда вылетали пули.

Помнил, как после ударов пуль испытал невесомость, под нялся к потолку и оттуда, прижимаясь к потолку спиной, смотрел, как в подвал заскакивают разъяренные люди. Наугад, навскидку они стреляли в жену, в дочерей, в сына. Те падали на пол, бились, пытались ползти, а к ним подскакивали, стреляли в грудь, в голо ву, в девичьи прически дочерей, в белое, с кричащим ртом лицо жены, в хрупкое тело царевича. Подвал наполнился дымом. Люди ходили среди едкой мглы и втыкали штыки в недвижные тела.

Воткнули штык и в него, лежащего на спине, туда, где уже темнели сырые пятна ран.

Он видел себя, лежащего на полу, и при этом находился у потолка, парил в невесомости. Рядом с ним, у потолка, парили его дети и его жена. Все вместе с высоты они смотрели, как человек с бородой наклоняется над недвижными телами, щупает у них пульс на запястье и на шее, а у него, у царя, оттягивает веко пальцем, заглядывая в глубину открытого, с огромным белком, голубого глаза. Все это Алексей пережил в храме так, как если бы это случилось с ним в действительности.

Он чувствовал произошедшую с ним перемену. Она заключалась в том, что мир, его окружавший, словно обрел новое содержание, как бы расступился и увеличился, стал очень важным для него, утратив свою мимолетность и случайность. Каждая мелочь, каждый встречный, каждый звук были наполнены значимостью, важностью и глубиной, являли непреходящую ценность. Он был ответственен за этот мир, пугался за него, искал для него безопасности, совершенства и целостности. Обнимал своей любовью, прилагал к нему свою волю, чувствовал с ним нераздельность.

Мимо пробегали, взявшись за руки, юноша и девушка, оба солнечные, смеющиеся, с маленькими рюкзачками за спиной. У него — пушистые первые усики, у нее — голый живот с блестящим камушком в пупке. Как важны они были для Алексея, как драгоценны. Увидев их однажды, он уже их не забудет, станет опекать и лелеять, держать в поле своей любви и заботы.

Усталый рыхлый старик, опираясь о палку, ждал на краю тротуара, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти улицу.

Торопливо, нелепо заковылял, отставая от остальной, перебегавшей улицу толпы, беспомощно волоча ноги. Алексей всем своим состраданием, всей любящей волей удерживал в глазнице светофора зеленый свет, позволяя старику достигнуть противоположной стороны. Напутствовал его своей сберегающей мыслью.

Великолепный тяжеловесный джип мягко затормозил, отражая в черном стекле перламутровую клумбу. Открылась дверь, и вальяжно, победно, высокомерно вышел господин в легком костюме и шелковом галстуке, стал кого-то выглядывать в клубящемся Многолюдье. И его опекал Алексей, его респектабельность и гордыню, его преуспевание и ощущение своего превосходства, его деятельность, благодаря которой растут небоскребы банков и офисов, Горит при солнечном свете рубиновая реклама «НИСАН».

Жадно, словно впервые, он смотрел на заворачивающий красный трамвай. На ворон в мутно-синем небе, исчезающих за крышей дома. На высокое, отразившее солнце окошко. Это окошко было его, птицы были его, трамвай, поворачивающий по блестящим рельсам, принадлежал городу и стране, за которые он был в ответе. Он был невидимым миру царем. Чудотворные иконы храма, выпущенные из револьвера пули преобразили его. Видоизменили состав крови. Создали иную судьбу. Перекодировали прошлое и будущее.

Ему оставалось выполнить еще одно предназначение. Побывать у Ганиной Ямы, где, обезображенные и расчлененные, сожженные в огне и едкой кислоте, были обнаружены останки царской семьи. Его венценосные предки. Поймал такси и отправился к зловещему и святому месту.

Сначала город не выпускал, замуровывал в пробках, путал в лабиринтах тесных некрасивых улиц с гаражами, складами, застарелыми мастерскими и заводами. Затем такси вылетело на свободное шоссе. Мчалось на просторе широкой ухоженной трассы. Свернуло на асфальтированную, окруженную соснами дорогу. Покатило среди красного соснового бора. Алексей всматривался в глубину сумрачного леса, старался представить, как сто лет назад здесь по ночному проселку трясся разболтанный грузовик. В кузове, распростертые, лежали мертвые тела. Следом подскакивал на ухабах легковой автомобиль. В чаще леса, в свете автомобильных фар сбрасывали на землю трупы царя и царицы, мертвых, исколотых

штыками царевен, пробитого пулями царевича. Топорами, как мясники, рубили их на куски, с хрястом отделяли руки, ноги и головы. Складывали окровавленные обрубки в груду. Обливали бензином, тщательно пропитывая волосы женщин, торчащие из одежд кровавые кости. Чадным пламенем, освещая вершины сосен, горели тела. Из огненного шара смотрела царская, с залысинами и седой бородой голова, тонкое, с остановившимися глазами лицо царевича. Как пакля, пылали пропитанные бензином волосы царицы и ее дочерей. В затухающий костер с черными комками швыряли ковшами серную кислоту. Кислота шипела, съедала останки, поднималась ядовитым паром. Экзекуторы отскакивали, заслоняли рты рукавами, кашляли, скверно ругались, Заматывали обожженные кости в мешковины, волокли по мхам и папоротникам в заброшенную шахту, кидали в темную щель.

Эти жуткие зрелища преследовали Алексея, и он, увидев придорожный указатель «Ганина Яма», ожидал встретить нечто ужасное, невыносимое. Противился этой нечеловеческой встрече.

Однако все выглядело совсем иначе. Шоссе привело к просторной асфальтированной площадке, на которой тесно стояли туристические автобусы. У киосков и палаток туристы и паломники покупали буклеты и книжицы. Дымились жаровни с шашлыками, за столиками под тентами люди закусывали, оживленно говорили. Часть соснового бора была огорожена, сквозь изгородь, напоминавшую древний частокол, вели ворота с надвратной башней, как в древнерусских городах. За воротами, среди сосен расходились во все стороны асфальтовые дорожки. Повсюду, меж стволов, виднелись рубленные из круглых венцов церкви и часовни. Высились шатровые колокольни, пестрели узорные крылечки, точеные столбики, резные наличники. Все было красиво, добротно, выполнено с любовью и старанием. Но во всем этом чудилась Алексею легкомысленная туристическая затея. Все напоминало ярмарочный городок или детскую площадку с затейливыми теремками и раскрашенными столбиками. Везде по дорожкам расхаживали туристы, слышалась громкая английская речь. Паломники стайками переходили от одной церкви к другой, старательно крестились, прилежно слушали поводырей.

Это огорчило Алексея. Расторопные предприниматели и церковные казначеи с поспешной легкостью прикоснулись к

космической тайне. Монастырские «ловцы человеков» и здесь, по соседству с ужасным местом, расставили свои сети. Роковая тайна требовала иного к себе отношения, иного искусства, иной искупительной веры и слезной, неутешной молитвы. Однако, двигаясь по тропинкам среди туристов и богомольцев, он изменил свое мнение. Нарядная, из детских сказок, архитектура церквей и часовен, лубочная, словно из книжек Билибина, наивность теремков и крылечек были неслучайны. Служили обезболивающим средством для тех, кому были невыносимы ужас и боль царской казни, непосильна помрачающая разум трагедия, непостижима глубина космической тайны. Церковные мудрецы были целителями и врачевателями смертельной, поразившей людские души болезни.

Алексей блуждал по дорожкам, не заходя в деревянные церкви, слыша над головой мерный шум сосен. Внезапно, среди размеренных дуновений ветра, он уловил иной, невнятный гул, Звук исходил не из неба, не из пышной, сияющей хвои. Гудели корни деревьев, слабо содрогалась земля, едва заметно трепетало растревоженное звуком пространство. Сердце испуганно дрогнуло, и он, повинуясь чуткому, затрепетавшему сердцу, пошел на этот подземный звук.

Миновал несколько срубов с церковными луковками и шатровыми колокольнями. Увидел указатель с надписью «Ганина яма», поясняющий текст, как это бывает в местах массового посещения туристов. Земля под ногами гудела, словно сотрясался невидимый кратер. Еще несколько шагов, и он оказался на дощатой, покрытой навесом галерее, что вела под соснами, огибая небольшой овраг, окружая земляную рытвину, смыкаясь вокруг просевшей земли. В центре рытвины чернела неровная щель, напоминавшая лесную нору.

Из этой щели исходило трясение, передавалось в сухие доски настила, в расползавшиеся корни сосен. Этот тектонический звук сопровождался жалобным звоном досок, струнным гудением сосновых стволов. Он понял, что находится у заброшенной шахты, куда сбрасывались тела убиенных. Звук, который он улавливал не слухом, а испуганным сердцем, был гулом неисчезнувшего, случившегося сто лет назад злодеяния.

Он всматривался в глубину норы, и казалось, ее заволокло мутным дымом. Это и впрямь был кратер, ведущий в центр земли, и глубже, в сокровенную, ужасную тьму, в преисподнюю, в сердцевину

ада. Мутный дым был дымом вечного пожарища, испепелявшего свет, ликующую жизнь, божественные силы мира. Железной окалиной тянуло из-под земли, словно там находилась невидимая кузница, где грохотали наковальни, шипели кузнечные мехи, пламенели угли, и чудовищные существа орудовали раскаленными клещами, тяжкими молотками, красными шкворнями. Ему стало дурно, горло першило от кислотных испарений. Он чувствовал жуткое притяжение, которое затягивало его в черный зев. Видел свивавшееся воронкой пространство, где скрученные, сплетенные в жгут, ввинчивались в дыру земные стихии, погибшие души, тщетные упования, великие проекты. Туда, как темная струя, сливалась земная история, пропадала линия русской судьбы. Ее расплющивали удары, жгли раскаленные угли, и на поверхность просачивался запах пепла и паленой плоти.

Склоны рытвины поросли травой. По склонам ямы были посажены лилии, белые, розовые, нежно-золотые. Их было множество, цветущих на склонах и кромках провала, словно своими корнями они скрепляли зыбкую почву, не давали увеличиваться оврагу, со всех сторон обступали темную щель. От них исходил дивный аромат. Благоухающее облако окружало зловещую щель. Сквозь сосновые кроны летели лучи, и навстречу лучам тянулись дивные цветы, раскрывались божественные лепестки, струились райские ароматы.

Нежность, целомудрие, несказанная красота боролись с же лезными силами, укрощали волю преисподней. Здесь, в Ганиной Яме, шла непрерывная схватка. Духи света сражались с духами тьмы. Одни, вместе с дымом, излетали из Подземного прогала. Другие, в плеске сверкающих крыльев, мчались из неба, неся перед собой сияющие цветы. Алексей чувствовал, что кругом сшибаются крылья, свистят мечи. Борьба идет за его душу, за его судьбу, за его таинственное предназначение. Он стоял на дощатом настиле, рассекаемый надвое. Одна его половина затягивалась в дымный зев, а другая, окруженная лилиями, возносилась в лучах. И он стал молиться:

«Господи, Отец Небесный, люблю Тебя! Люблю ненаглядную Родину! Люблю мой великий, мой страдающий, мой гибнущий народ! Господи, спаси Россию! Сбереги, Господи, русский народ! Запрети зло, запечатай врата ада! Если надо, возьми мою жизнь! Если надо, отдай меня на растерзание зла!»

Он молился страстно и слезно, ожидая отклика. Ему показалось, что отклик явился. Господь, услышав его молитву, ее последние жертвенные уверения, согласился на жертву. Требует, чтобы он своим телом, своим молящимся сердцем закрыл амбразуру зла, закупорил ужасную щель, из которой на Русь вылетают смертоносные вихри. Войны и мятежи, раздоры и ненависть, несусветные зверства и казни. Он услышал отклик Господа, угадал его волю, и, любя эту божественную волю, кинулся вниз, навстречу железным свистам. Подставлял грудь, помещал сердце в черное, стреляющее жерло ямы. Падал, расставив руки, как падают в воду ныряльщики. Не долетая до кратера, почувствовал, как его подхватили могучие силы. Повлекли ввысь, навстречу лучам, сквозь заросли божественных лилий, сквозь серебряные кроны сосен, к пышным голубым облакам. Выше, выше, в столбе ликующего света. Он возносился, теряя вещественность, превращаясь в ликующий дух, пролетая миры, цветущие райские поляны, дивные рощи, лазурные озера, по берегам которых гуляли сонмы счастливых людей, не сминая растущие под ногами цветы. Они несли на плечах завороженных пернатых птиц, держали в руках кротких лесных зверей. Среди них было много знакомых лиц, любимых писателей и героев, обожаемых праведников и святых. Там были поэт Юрий Кузнецов и космонавт Юрий Гагарин. По синей реке на смоленой лодке плыла царская семья. Царевны улыбались ему, царь благодарно кивал, царица махнула рукой, а цесаревич зачерпнул горсть воды и шаловливо брызнул в него.

Он пронесся сквозь райские пределы и предстал перед Господом, который был сплошным светом, бесконечной любовью, нескончаемым счастьем. Господь принял его в свой свет, поцеловал в уста, а потом отпустил на землю.

Он очнулся, стоя на дощатом настиле, окружавшем Ганину Яму. К нему торопились паломники, подбегали богомольцы. «Царь! Святой!» — кричали они и ловили его руки, чтобы целовать. И сквозь сосны, с соседней колокольни, торжественно запел колокол.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Илларион Васильевич Булаев, именуемый в кругах кремлевских чиновников Виртуозом, проживал свой обычный, наполненный интригами и встречами день, напоминавший разноцветный витраж из затейливо раскрашенных стекол. К ночи, прежде чем уснуть в своей одинокой постели, этот улетающий день складывался в изображение, похожее на картину Филонова. Множество голов, наложенных одна на другую, множество интерьеров, фасадов, и сквозь все наслоения брезжит желтоватое свечение непостижимого бытия, просачивается сизая тень внеразумной реальности, которая маскирует себя призрачным скоплением человеческих лиц, видом скользящих улиц, хаотичным убранством жизни.

Утром он встречался с комиссарами молодежного движения «Наши», которое, по его замыслу, должно было постепенно вытеснить нынешних партийцев из сконструированной им правящей партии. Партия состояла из циничных и медлительных чиновников. Когда вереницей они шествовали в зал партийного съезда, казалось, движется конвейер с одинаковыми, туго набитыми чемоданами. Создаваемая наспех партия была подобна сырой глине с неразмешанными комьями, из нее невозможно было слепить изящную посуду, царственные вазы, свадебные сервизы, а только грубые горшки и кувшины, которые было не жалко разбить. Молодые комиссары, напротив, радовали свежими мыслями, пытливыми взглядами, разнообразием точек зрения. Виртуоз произнес перед ними несколько блестящих пассажей о «государственной идее» и «русской цивилизации». Один из них, светловолосый, с упрямым лбом и крепким подбородком, напоминавший чем-то легендарного Олега Кошевого, спросил:

— А как вы полагаете, возможно ли восстановление в России монархии?

Отвечая легкомысленно и остроумно, Виртуоз подумал, что «монархический проект» с участием тобольского провинциала пустил в обществе глубокие корни.

Другой активист, худой, черноволосый, с горящим, фанатичным блеском в глазах, похожий на Сережку Тюленева, спросил:

— А почему мы не можем использовать американские технологии «оранжевых революций» в самой Америке? Я бы поехал в Штаты и организовал там протестные выступление чернокожих и индейцев. Честное слово, это не потребует большого финансирования.

Виртуоз похвалил активиста за креативность, порадовался этому фантастическому предложению, ибо в современном слипшемся, пластилиновом мире только фантастические рецепты могли привести к результату.

Довольный встречей, он отправился на свиданье с политологом, который только что вернулся из Америки и привез оттуда самые свежие впечатления. Политолог ярко и убедительно поведал о симптомах скорого экономического кризиса в Штатах и тлеющей финансовой катастрофе, которая может легко перекинуться на российский финансовый рынок. Он рассказал, что предвыборная борьба между афроамериканцем Обамой и престарелым ветераном вьетнамской войны, скорее всего, кончится блестящей победой чернокожего лидера, потому что Америка устала от накопленных противоречий и традиционных способов их разрешения. Грезит новизной, абсолютной асимметрией, политическим и идеологическим экспромтом, который обещает обаятельный и экстравагантный Обама.

— Мы ведь тоже исчерпали весь ресурс политтехнологий и доктрин, которые управляли страной последние десять лет,— мдумчиво произнес Виртуоз, рассматривая белый хрящ на переносице политолога, его коричневые веки и розовые холеные ногти. — Нам очень не хватает экспромта.

— Уж не о Батюшке Царе вы говорите? — усмехнулся политолог, обнажая синеватые фарфоровые зубы. — Что-то часто мелькает на экране этот карнавальный господин из Тобольска.

— Почему бы нет, — столь же задумчиво произнес Виртуоз. — Почему бы и нет.

Он возвращался в Кремль, где должен был просмотреть текст президентского выступления, написанный спичрайтерами. Предстояла встреча Президента с представителями крупного российского бизнеса, от которых Президент потребует большей социальной ответственности. Эта формула скрывала недовольство Президента

крупными корпорациями, которые переводили активы за границу и там платили налоги, истощая российскую казну. Виртуоз представлял себе физиономии миллиардеров, тощие и пухлые, носатые и курносые, надменные и добродушные, русские, еврейские и кавказские. При всем своем разнообразии они имели внутреннее сходство, какое бывает у членов сокровенного ордена, исповедующих общую тайну, общую религию, общее отчуждение от толп неудачников, люмпенов и бездельников.

Машина мчалась по Знаменке, распугивая фиолетовыми шлепками ленивый автомобильный поток, когда внезапно, за тонированным стеклом, он увидел чудесную усадьбу с колоннами — ее янтарную желтизну, нежную белизну, целомудренную строгость фронтона. Усадьба промелькнула, родив воспоминание о другой, подмосковной усадьбе Суханово, — мама возила его туда, когда проводила отпуск в доме отдыха архитекторов. То же сочетание нежной белизны и медовой желтизны, чудесные светильники и люстры, библиотека с удобным диваном и старинными фолиантами, от которых пахло вкусным клеем, запахом минувших эпох. Названия чудесных журналов, в которых переливались звуки античной свирели: «Мир искусств», «Аполлон», «Золотое руно», «Весы». Зимний сад в ротонде, за окнами которой падал медлительный снег, а внутри цвели орхидеи, и на кожаных креслах дремали непомерных размеров косматые коты. Он вдруг вспомнил женщину, которая, увидев его в ротонде, радостно ахнула: «Ах, какой милый, красивый мальчик!», чем несказанно его смутила. Мама представила ее, как свою сокурсницу, с которой случайно, через много лет, встретилась в доме отдыха. У нее были волнистые черные волосы с красивой сединой, яркие, восхищенные глаза и над пунцовой верхней губой пробивались темные усики. Кажется, она была армянка, и у нее было странное имя, — Жаклина Мартиросовна или Анжела Саркисовна. Он старался вспомнить, какое именно. Не мог, и это его огорчало. Подумал — приедет на работу, позвонит маме и узнает, какое имя было у той армянки. И вдруг испуганно замер, испытал укол в сердце. Мама умерла, и он никогда не узнает, как звали эту армянку. И множество других воспоминаний останется навсегда неразделенными. Ему никогда не удастся поделиться ими с мамой, которая одна могла бы

откликнуться на его сентиментальные всплески памяти, полузабытые образы детства.

Пока он ехал по Знаменке, проскальзывал на красный свет мимо Храма Христа Спасителя, пробивался через Волхонку к Боровицким воротам Кремля, он все время думал о маме. О своей обездоленности без нее. О невосполнимости ее смерти, которая обрекла его на одинокое существование среди громадного множества окружавших его людей. Ни одному из них он не расскажет, какие сиреневые, в февральском воздухе, были сосульки за окном их квартиры. Какие желтые фонари освещали сугробы в их переулке. Как чудесно было смотреть из своего уголка на материнское лицо, наполовину заслоняемое книгой. Как восхитительно, духами, морозом, благоухал енотовый воротник ее шубы, когда она, наконец, после нетерпеливых его ожиданий, возвращалась с работы домой. Теперь единственным местом их свидания, их длящегося молчаливого общения оставалось Старо-Марковское кладбище, ее могила с живыми цветами.

В своем кремлевском кабинете он бегло прочитал президентское выступление, сделав незначительные исправления. Секретарша положила на стол распечатку электронного письма, в котором замгубернатора Екатеринбурга сообщал о передвижениях Алексея Федоровича Горшкова, о посещении им колонии строгого режима и психиатрической лечебницы, о сегодняшнем визите в монастырь возле Ганиной ямы.

Зазвонил президентский телефон:

— Хотел тебя, мой дорогой, спросить, что происходит с нашим тобольским провинциалом? Давно не вижу телевизионных сюжетов.

— Он находится на Урале, где, кажется, действует самостоятельно, оторвавшись от телевизионных камер.

— Это плохо. Ты не должен выпускать его из вида. Нам нужна постоянная телевизионная картинка. Пусть снимут его в Храме на Крови и на месте обретения царских останков.

— По-моему, он там уже был. Только без камеры.

— Это надо немедленно исправить. Лети туда и исправь.

— Завтра же полечу.

— Почему завтра? Разве сейчас нелетная погода? Лети сегодня, — эти последние слова были произнесены ледяным тоном, из чего

следовало, какое огромное значение придает президент задуманной им интриге.

— Хорошо. Сейчас полечу.

Через час Виртуоз садился в изящный «Фалькон», поджидавший его на аэродроме Внуково-2. Белая остроносая машина легко излетела, набрала звенящую скорость. И уже прелестная стюардесса стелила на столик скатерть, ставила рыбные и мясные закуски, баночки с черной и красной икрой, наливала в хрустальную рюмку золотой французский коньяк.

Вернувшись в город, Алексей купил в авиационной кассе билет в Москву на вечерний рейс. Коротая время, бродил по улицам, испытывая небывалое счастье. Повсюду ему виделось чудо, которое открывалось в каждом прохожем, в каждом встречном предмете, в каждом мимолетном звуке и блеске. Разделенность мира на отдельных пешеходов, на отдельно пролетавшие автомобили, на отдельно стоящие здания — эта разделенность была мнимой. Мир был целостным и лучистым, как сфера. В ней переливались, превращались друг в друга, менялись обличьями — и тот симпатичный бородач, похожий на старомодного библиотекаря. И высокая коринфская капитель, в которой притаился живой голубь. И плещущий фонтан с дрожащей радугой. И летящий высоко над крышами самолет с двойным белым следом. И его мысль о самолете. И его воспоминание о лилиях у Ганиной Ямы. И тот бесконечный свет, в котором он оказался, поднятый на небеса и затем возвращенный на землю. Он был причастен святости, той, что были наделены царские мученики в лодке, на синей реке. Любил всех, и эта любовь делала его счастливым. Она, любовь, была тем чудом, с которым он теперь не расстанется.

Алексей присел на каменный парапет, мимо которого шумно двигалась толпа, скользили автомобили. Достал телефон и позвонил Марине.

— Боже мой, как я волновалась. Ты был занят? Не мог позвонить?

— Я сегодня лечу в Москву. Ты непременно должна приехать. Я столько всего пережил, столько должен тебе поведать. Какие-то поразительные знамения, поразительные во мне перемены. Я видел яму, видел прогал в преисподнюю. Как Матросов, хотел закрыть амбразуру. Меня подхватили ангелы, и я побывал на небе. Как Илья-

пророк. Видел Бога, он меня целовал. Это счастье, невыразимое счастье!

— Родной мой, поскорей прилетай. Я приеду к тебе. Целую тебя вслед за Богом. Люблю!

Он спрятал телефон, блаженно улыбаясь, помещая этот раз говор с любимой женщиной в лучистую сферу, которая обнима ла все мирозданье. Увидел, как рядом с тротуаром остановилась черная машина с фиолетовым маячком на крыше. Из нее вышли двое в одинаковых темных костюмах и галстуках.

— Алексей Федорович, нас прислали за вами. Вас ждут.

— Кто? — изумился Алексей этому внезапному появлению.

— Вас ждет в резиденции Илларион Васильевич Булаев.

— Это кто?

— Прошу вас, Алексей Федорович, пойдемте в машину.

Они уже неслись в завывающей нетерпеливой машине, проскальзывая в тесные зазоры между трамваями, людьми и автомобилями.

Виртуоз ждал встречи в резиденции, в чудесном саду, за высокой изгородью, через которую не проникал взгляд постороннего. Кругом высились кедры и голубые ели. Клумбы в вечернем воздухе благоухали душистыми табаками и флоксами. Искусный садовник создал из живых цветов фантастические узоры. Тут же плескался и журчал подсвеченный фонтан, выложенный малахитом, полудрагоценными камнями, черным и белым мрамором. В центре фонтана высилась женская скульптура, окруженная водяными спектрами и играющими брызгами, по-видимому — Хозяйка Медной горы. Виртуоз сидел за столиком, ожидая, когда место напротив займет человек, который, по прихоти Рема, получил широкую известность царского отпрыска, а стараниями его рассматривался во многих кругах как реальный претендент на российский престол. И скоро человек появился.

Его подвел к столу любезный распорядитель и тут же удалился, предоставив Виртуозу самому выбрать стиль и манеру общения. Манеру, которую избрал Виртуоз, можно было назвать обольщением — так простодушно и сердечно поднялся он навстречу Алексею, так по-дружески, тепло и непосредственно пожал ему руку, помогая усесться в плетеный стул. Его круглые кошачьи глаза лучились

удовольствием от негаданной встречи, а красивое лицо выражало смущение и чувство вины.

— Ради бога, Алексей Федорович, простите мою настойчивость, даже бестактность. У вас, наверное, были свои планы, а я поломал их своим вторжением. Но, право слово, желание увидеть нас, поближе познакомиться, лишило меня чувства такта.

— Ну что вы, не извиняйтесь, пожалуйста. Мне тоже очень приятно встретиться с вами. Ведь мы знакомы, не правда ли?

— Почти нет, одна мимолетная встреча. Вас-то, слава богу, знает вся Россия, а я скромный чиновник, прячусь от людских взоров за кремлевской стеной.

— Где же мы встречались? — Алексей старался вспомнить, где он встречал эти страстные, вишневые глаза, гибкую, играющую мышцами фигуру, раскованные повадки светского щеголя и богемного художника и тайную, исходящую от человека угрозу, возможность разящего удара и беспощадного истребления.

— Помните ваше выступление в Государственной думе? Тогда вы блестяще соединили две русских эпохи, две империи, сочетав их так, как прежде никто не делал. Вы говорили о лампаде, которую последний «белый монархист» Николай Романов передал первому «красному монархисту» Иосифу Сталину. Это поразительное историософское открытие. Вот тогда-то я вас и увидел.

— Ах да, в самом деле… — Алексей вспомнил появление в конференц-зале этого яркого человека, перед которым все умолкли и сникли, стараясь оказывать ему знаки высшего обожания. — Я еще спросил моего соседа: «Кто это?» А он мне ответил: «Самый влиятельный человек в России. Быть может, влиятельнее самого президента. Его зовут Виртуоз». Ничего, что я вас так назвал? Может быть, вам неприятно, когда вас так называют?

— Ну что вы, напротив. Есть известный оркестр скрипачей «Виртуозы Москвы». Если угодно, я один из этих скрипачей.

Они посмотрели один на другого, и таким добродушным, милым, смешливым показалось Алексею лицо нового знакомого, так весело и шаловливо блеснули его глаза, что Алексей рассмеялся. Ему стало легко и свободно, словно знакомы они были давно. Как если бы их встреча в этом чудесном саду была оговорена заранее, и не было

ничего приятнее, чем сидеть теплым вечером перед великолепным фонтаном с языческой, усыпанной самоцветами девой.

Им принесли ужин. Виртуоз ухаживал за Алексеем. Клал на его тарелку лепестки красной рыбы. Наливал в бокал белое сухое вино. Продолжал обольщать.

— Вы путешествовали по Уралу? Что сумели увидеть?

— Я был в Нижнем Тагиле, в Невьянске, — вопрос насторожил Алексея. Он подумал, что придется рассказывать о злоключениях, которые он пережил в окрестностях этих двух городов, и, быть может. Виртуоз знает об этих злоключениях и станет о них выпытывать. Но тот, услышав названия городов, оживился, сча стливо округлил яркие, цвета черной вишни глаза:

— О, вы знаете, я был в Нижнем Тагиле, на танковом заводе. Конечно, это уникальное производство, грозные современные танки. Но меня поразило другое. Перед заводом построен храм. Современный канонический иконостас, традиционные настенные росписи. И среди этих фресок — одна неканоническая, из ряда вон выходящая. Изображен горящий Рейхстаг, черный окоп, в котором лежат убитые немцы, как грешники на Страшном суде. Лесистые холмы, по-видимому, Зееловские высоты, и оттуда выскакивают краснознаменные танки Т-34, «гремя огнем, сверкая блеском стали». Мчатся на Берлин, а над ними летит Ангел Русской Победы. Удивительная фреска, чем-то подтверждает ваше прозрение о царе Николае и Сталине. Связь православного и советского, «белого» и «красного», образующих нерасторжимый имперский сплав.

Огромная заинтересованность слышалась Алексею в словах Виртуоза. Сидящий перед ним могущественный кремлевский чиновник был истинным государственником, имперским мыслителем, творческим историком. Видел в Алексее единомышленника, угадывал в нем пророческий дар, был занят поиском спасительной для России идеи. Как и он, Алексей, чаял преображения измученного народа, победы над историческим злом. Был готов закупорить собой черный провал в преисподнюю, совершить искупительный подвиг. Ему захотелось поведать новому знакомцу о своих чудесных превращениях у Ганиной ямы, о своем полете на небо, к божественному источнику света, о несказанном блаженстве и святости, что он пережил во время небесного странствия.

— Мне говорили, что вы жестокий и коварный человек. Что за вами тянется след непрерывных интриг. Именно вы удерживаете у власти кремлевских самозванцев, изобретаете яды, которыми отравляете народное сознание. Пусть «народ безмолвствует», или улыбается наркотической сонной улыбкой, а в это время бессовестные стяжатели выгребают из России последнее добро. Но это не так. Теперь я вижу, что вы совсем другой человек. Что молва либо заблуждается, либо клевещет. У вас много врагов, и это они создают из вас образ чудовища. Вы очень искренний, глубокий и добрый человек. Страдаете за Россию. Готовы жертвовать за нее. Простите, что я говорю вам это. Быть может, вам неприятно, но я не ошибаюсь, я чувствую вас душой. Мне кажется, что вы очень одинокий человек. Всем от вас что-то надо, все перед вами заискивают, льстят. А в вас много тайных невысказанных чувств, много любви, много нежности и обожания к дорогому, драгоценному и, увы, недоступному человеку.

Алексей говорил, волнуясь, исполненный глубокого сочувствия к этому светскому красавцу и баловню, прозревая сквозь его искусственную и пленительную маску скрытую боль и беззащитность.

Виртуоз был поражен. Этот провинциал, который казался игрушкой в его руках, забавной и безопасной, обнаружил дар прозрения. Разгадал его, Виртуоза. Проник в заповедную сердцевину души, где, невидимое миру, скрывалось его нежное обожание матери, неисчезающая тоска, невозможность увидеть ее. Он испытывал непреходящую боль, которую прятал среди встреч и интриг, государственных забот и радений. Эти заботы и радения, неутомимая изобретательность и страсть маскировали невысказанную любовь к матери, неутоленную сыновнюю нежность, надежду на их чудесную встречу.

— Боже мой, вы так странно, так глубоко сказали. Никто не говорил мне такого, — Виртуоз устыдился своей неискренности и лукавства, своего мнимого превосходства над этим провинциалом, которого воспринимал как забавную послушную куклу и который вдруг обнаружил прозорливость ясновидца. Захотелось открыться ему, исповедоваться, как перед пастырем, чувствуя возвышенный мир, к которому тот был причастен, таинственную силу, которой тот обладал, одухотворяя этой силой жизнь, лишенную целостности и благодати.

— Как вы угадали мою печаль и мою безысходность? Есть такой человек, любимый и безвременно ушедший. Это мама. Если бы вы ее видели, вы могли бы меня понять до конца. Это идеальная, чудная женщина, быть может, святая. Она была красива, как те, что изображены на греческих камеях. Благородна, как русские аристократки, которым посвящали стихи Пушкин, Тютчев и Фет. Подвижница, как те учителя и врачи, что ехали учить и лечить в нищие деревни, кишлаки и аулы. Она была талантлива — замечательно рисовала, блестяще писала, знала историю, литературу, искусство. Всем, что есть во мне доброго и совестливого, я обязан ей. Она посвятила мне свои таланты, свои надежды. Пожертвовала ради меня своей красотой, своими успехами, своей судьбой. Я все время слышу ее голос, как она читает мне Карамзина, страницы о Петре и Петербурге. Вижу ее восхищенные глаза, когда она смотрит на чудную церковь в Дубровицах. Благодаря маме я чувствую мой род, сплетение крестьянских, купеческих и дворянских фамилий. Она научила меня этике русского служения, рассказывая о родне, в которой были герои Герман ской и Великой Отечественной, мученики сталинских лагерей и изгнанники эмиграции. Учила любить Россию со всеми ее бедами и скверн ами, с ее мудростью и наивностью. Помню, как она читала стих Блока о России: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу». Или: «Не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь за бота затуманит твои прекрасные черты». Вижу мамины «прекрасные черты». Она уходила тяжело, очень страдала. Боже мой, что я только не делал, чтобы ее удержать! Гонял самолеты в Германию и Америку за лучшими врачами и медикаментами. Выписывал целителей из Алтая и Тибета. Ставил свечи в монастырях и храмах. Я держал ее хрупкую руку, а она говорила: «Ты только не грусти, когда я умру. Я буду с тобой всегда. Буду сверху смотреть на тебя, молиться за тебя, посылать тебе мои тайные знаки». Она посылает мне знаки. На ее могиле вырастают чудесные цветы. Я их не сажал, сами вырастают. Это мамины послания, ее пречистые обо мне молитвы.

Виртуоз исповедовался, и глаза его наполнялись блестящими слезами, и ему было сладко от этих слез, от этой боли, которая возвращала его в мир подлинных переживаний и возвышенных чувств. Его собеседник, пастырь, которому он исповедовался, был бледен, и его глаза были полны слез. Он не замечал этого, сострадал, хотел

разделить чужую боль. Воспринимал ее, как свою собственную, и Виртуоз испытывал к нему благодарность, доверие, свою с ним глубинную, неизреченную связь.

— Вы верьте, верьте, ваша матушка смотрит на вас, любит вас, посылает вам свои молитвы, — Алексей дорожил откровением этого могущественного и надменного человека, который предстал перед ним в своем истинном свете страдающего сына, безответного молитвенника, беззащитного одиночки. — Вы сказали, на ее могиле вырастают цветы. Это ангельские послания. Верьте тому, что я вам сейчас расскажу. Я сегодня побывал в раю. Пусть это звучит безумно, но вы мне должны поверить. От Ганиной ямы, где тоже цвели божественные лилии, я был поднят на небо в вихрях слепящего света. Прежде, чем предстать перед Господом, я пролетал Рай. Видел в нем праведников и героев, видел царское семейство, видел Юрия Гагарина и поэта Юрия Кузнецова. И видел вашу матушку. Она сидела под огромным кустом жасмина и держала в руках какую-то книгу в голубом переплете с золотыми буквами. У нее было прекрасное лицо, должно быть, она думала о вас. Вы верите мне?

— Конечно, верю. Эта ее любимая книжка стихов Агнивцева. «Скажите мне, что может быть прекрасней дамы петербургской, когда она захочет свить любви изысканную нить рукой небрежною и узкой». Она так любила эти стихи. После ее смерти я искал «тот томик стихов, но так и не нашел. Оказывается, она взяла его с собой в рай. Боже мой, как бы я хотел на мгновенье ее снова унидеть, прикоснуться к ее теплой руке.

— Вы ее увидите. Представьте себе ее образ, как если бы он был в медальоне, а медальон погружен в ваше сердце. Изгоните из вашего сердца все посторонние мысли, заботы, государственные помыслы, придворные интриги. Только любимый вами образ матери. Я стану молиться, чтобы вам открылись врата рая, и, может быть, я буду услышан, и вам откроется путь в небеса, распахнутся райские врата, и вы увидите маму.

В саду веяло вечерней прохладой, фонтан переливался разноцветными радугами, в отдалении расхаживал вкрадчивый служитель, проходили официанты, неся на подносах изысканные блюда. А они оба, Алексей и Виртуоз, сидели напротив друг друга, глаза в глаза. Алексей, побледнев, с бескровными губами, с

огромными, возведенными ввысь глазами, что-то шептал, бессловесное, страстное. Виртуоз вдруг увидел, как воздух над столиком стал слабо светиться, в нем трепетали мерцающие частицы, вспыхивали и гасли молекулы. Столб света уходил в небеса, становился все ярче, бездонней. Не было вокруг фонтана, деревьев, скользящих официантов, а только огромные, страстные глаза сидящего напротив человека, и столб света, как огонь прожектора, уходил ввысь, где на огромной высоте, словно пойманный лучами самолет, что-то мерцало и брезжило. Образ матери был окружен алыми лепестками сердца. Его тело утрачивало вес и вещественность, становилось невесомым, как свет. Огромные молящиеся глаза человека отрывали его от земли, подталкивали в поток лучей. Внезапная могучая сила подхватила его, понесла в лучистом световоде. Он успел разглядеть улетающий вниз фонтан, столик с бутылкой вина, крыши домов, огни вечернего города, огромную круглую Землю, окруженную синей зарей. Промчался сквозь бесконечные миры и галактики и очутился в раю, рядом с матерью.

Она находилась в облаке света, и не было вокруг ничего, кроме этого света, но он знал, что она сидит в светлой летней комнате на даче, окно раскрыто, чуть колышется прозрачная занавеска, а за окном, совсем близко, благоухающий белый куст жасмина. На маме — ее легкое летнее платье с широкими рукавами, пестрый поясок, золотое кольцо на белой руке, в которой она держит знакомую книжку в голубом переплете с золотыми тисненными буквами.

— Ты пришел, я ждала тебя. Знала, что ты придешь, — сказала она своим чудесным, родным голосом. Он обнял ее, и они сидели молча, за ненадобностью слов. Переживали вместе всю счастливую жизнь, когда были неразлучны, и каждый прожитый день прибавлял им любви и счастья. С той новогодней ночи, когда он, почти младенец, с просыпающейся памятью, увидел диво с благоухающей колючей зеленью, розовыми, горящими свечками, переливающимися серебряными шарами, — где-то за огнями, за хрупким стеклом, невидимое и чудесное, было мамино лицо. До того летнего, теплого вечера, одного из последних в ее жизни, когда он вывез ее на коляске в сумерки сада, и они молча, держа друг друга за руки, смотрели на летние звезды, зная о скорой разлуке, уповая на чудо будущего свидания.

— Мама, — сказал он, любуясь золотым тиснением на голубом переплете. — Я хотел спросить. Как звали твою однокурсницу, с которой ты меня познакомила в Суханове. У нее было какое-то смешное армянское имя.

— Действительно, мы посмеивались над ней, над нашей восторженной Жанет. Ее звали Жанна Матисовна.

— Спасибо. А то я все не мог вспомнить.

Они сидели до той поры, пока кто-то невидимый, за пределами лучезарной сферы, прошел мимо, подавая им тайный знак. Пора было разлучаться.

— Я хотела тебе сказать. Тот, кто помог нашему с тобой свиданию, Алексей — он Божий человек. Ты люби его, защищай. Это мой тебе наказ.

Пахнуло жасмином, сфера улетела, словно семечко одуванчика, и он опять оказался за столиком. Официант любезно наклонился и спрашивал:

— Прикажете подавать второе?

Виртуоз слабым мановением руки отослал официанта прочь. Сидели с Алексеем молча, не находя слов.

— Я хочу вам сказать. Хочу перед вами покаяться, — Виртуоз чувствовал, как горят его щеки. Это был жар одухотворенного Космоса, сквозь который он промчался со скоростью светового луча. — Я страшно виноват перед вами. Вся эта история о спасенном цесаревиче Алексее, вся неловкая выдумка о претенденте на русский престол — я к этому причастен. Эта интрига была затеяна Президентом Лампадниковым в пику прежнему Президенту Долголетову. Здесь сложные взаимоотношения, конкуренция двух политических лидеров. Вам это трудно понять, но Долголетов на время уступил свой престол Лампадникову с тем, чтобы снова вернуться в Кремль, когда созреют для этого условия. Он поддерживает свое влияние в народе, присвоив себе роль Духовного Лидера. Но нынешний Президент вошел во вкус правления и не намерен возвращать престол. Для этого он всячески принижает роль Долголетова, как русского Духовного Лидера. Вот он и придумал этот апокриф о спасенном царевиче Алексее. Натолкнулся на ту дурацкую публикацию в тобольской газете и затеял всю интригу. Я был к ней причастен, разрабатывал драматургию, вводил вас в общественное

поле, представляя монархистам, иерархам церкви, знакомил с политиками и военными. Я признаюсь вам в этом. Я страшно виноват. Играл вашим именем, вашей судьбой. Но теперь раскаиваюсь. Умоляю простить меня.

— Господь с вами, вы ни в чем не виноваты! — Алексей старался остановить его горячечные признания, — Во всем есть свой глубокий смысл. Во всем перст Божий!

— Нет, нет, вы не понимаете, Алексей Федорович. Это опасная игра. В ней есть нечто, что мне до конца неясно. Какой-то второй, глубокий, опасный замысел, который вынашивает Президент. В этом замысле много трагичного для судеб государства, народа, для меня и для вас. Вам нужно скрыться и разрушить интригу. Этим вы спасетесь сами, спасете многих людей. Я помогу вам исчезнуть. Хоть за границу. Хоть в Аргентину или Перу. Мы сделаем паспорт, если угодно, пластическую операцию. Вас не найдут. Вы будете жить с вашим удивительным мистическим опытом, с вашим даром превращать материю в свет, с вашей святостью, которую бог знает от кого получили.

Виртуоз волновался, ему казалось, что их могут услышать. Их подслушивает любезный официант и вкрадчивый служитель. Подслушивающие устройства вмонтированы в Деву, усыпанную самоцветами, в крону дерева, иллюминированную бриллиантовыми лампочками. — Послушайтесь меня, уезжайте. Я ответственен за вас. Перед той, у которой только что побывал.

— Илларион Васильевич, напротив, я не должен никуда исчезать. Это раньше все могло казаться интригой, но в эту интригу, поверьте, вмешались божественные силы. Вначале я противился совершенному надо мной насилию. Пытался убежать. Но постепенно со мной совершались странные превращения. Так глиняная кукла, когда в нее вдыхают божественный жар, превращается в человека. Так человек, когда на него воздействуют мистические стихии, преображается, меняет сущность, обретает иную натуру, иную группу крови. Я проникался государственным сознанием. Мне открывались трагические пути русской истории. Я чувствую мое мессианское предназначение. Мне трудно вам объяснить, но сегодня, в Храме на Крови, мне показалось, что в моих жилах действительно течет царская кровь. А у Ганиной Ямы мне передалась малая толика царской

святости. Вот тому доказательство… — Алексей расстегнул рубаху, обнажил грудь и открыл лилово-алые гематомы.

— Что это? — изумился Виртуоз.

— Следы от пуль, которые ударили в грудь Государя Императора и долетели до меня. Знак нашей родственной и мистической связи.

— Поразительно, — прошептал Виртуоз, глядя на красно-синие метины. — Это стигматы.

— Вот поэтому я не должен бежать. Этими пулями, как гвоздями, я прибит к русской истории. Я стану русским царем, и царство мое будет Империей Света, Добра и Любви. Именно этим достигается могущество и неколебимость государства. Вы мне поможете. Ваше знание технологий и законов управления, ваш непревзойденный авторитет и ваше чувство русской истории, — все это поможет мне основать Империю Света. В государственную философию, в искусство государственного управления мы внесем «Формулу Рая», которой владел Юрий Гагарин. В основу государственных уложений мы положим «Райскую Правду», которая открылись поэту Юрию Кузнецову. Мы посетим с вами все тюрьмы и остроги, все лечебницы и дома престарелых, все сиротские приюты и богадельни. Мы протянем руку слабому и обиженному. Поможем бескорыстному герою и богооткровенному творцу. Я буду царем бедных, царем униженных и оскорбленных, среди которых сегодня большинство русского народа, других народов, изгнанных из империи. Вы согласны? Вы станете мне помогать?

— Вас убьют, как убили последнего царя.Бы не знаете этих жестоких, коварных людей, которые не захотят отдавать вам власть. Следы от пуль на вашей груди — это предупреждение о пулях, пока еще дремлющих в обойме снайперской винтовки. Умоляю вас, скройтесь!

— Нет, я останусь. Народ не позволит меня убить. Есть знамения. Я нахожусь под покровом Божьей благодати. Я исполню мою миссию.

Эти слова были произнесены тихо, истово, как присяга и духовная клятва. Не подлежали отмене. Виртуоз смотрел на бледное синеглазое лицо, окруженное золотистой бородкой. От нее ли, от золотистых ли отсветов фонтана, но вокруг головы Алексея чуть светился воздух, как в том световоде, сквозь который недавно промчалась душа Виртуоза.

«Почему я, талантливый, верящий, положивший всю мою жизнь на служение Государству Российскому, должен быть тенью циничных и злых самозванцев? Почему я должен дарить мои силы канатоходцам, которые балансируют над раскаленным морем народной ненависти, делать все, чтобы они не сорвались с каната и их не поглотила пучина русского бунта? Передо мной человек, имеющий око, которым созерцает Бога. Будущий царь, способный одухотворить «субстанцию власти», внести в нее «райские смыслы», сберечь от порчи и тления «государственную идею» России. Стану ему помогать. Стану ему, как брат. Вместе будем служить России».

— Хорошо, — произнес Виртуоз, протягивая Алексею через стол две руки. — Я иду за тобой. Станем строить Империю Русского Света. Считай меня своим братом. Я — твой духовный брат.

— Ты — мой духовный брат, — ответил Алексей, вкладывая свои ладони в протянутые руки Виртуоза. — Брат, — повторил он тихо.

Слабо замузицировал, замерцал лежащий на столе телефон Виртуоза. Тот открыл створку раковины, поднес к уху.

— Да, конечно. Я понимаю. Обязательно буду, — отрывисто отвечал Виртуоз. Сложил створки раковины, в которой укрылся аметистовый моллюск.

— Звонил президент Лампадников. Завтра в десять утра ждет нас обоих в Кремле.

— Брат, — тихо повторил Алексей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Рано утром их отвезли в аэропорт. Белый, похожий на дельфина «Фалькон» поднялся в синеву и взял курс на Москву. В салоне им предложили легкий завтрак. От приветливой стюардессы пахло свежестью, духами. Пилот в белой форме, белозубый, предупредительный, рассказал о маршруте, о температуре за бортом, о городах на пути следования. Алексей и Виртуоз сидели напротив друг друга, большей частью молчали. Словно боялись спугнуть возникшие между ними отношения братского единодушия и доверия. Погода над всей европейской Россией стояла безоблачная. Солнце светило на всем пространстве, до горизонта, где воздух начинал туманиться, сгущался в синеву, и угадывалась выпуклость земли. Под белым плавником самолета плавно текли леса — хвойные, черно-синие и густые, и лиственные, прозрачные, пронизанные изумрудным светом. Струились реки, большие и малые, на них возникала солнечная латунная рябь, будто на воды ложился лист трепещущей фольги, и казалось, самолет пролетает над тускло-золотистым зеркалом. С неподвижными дымами, прилепившимися к оконечностям труб, проплывали заводы. Города и поселки казались аккуратными чертежами, нанесенными на планшет кварталами, улицами, подъездными дорогами, и к самолету вдруг прилетал луч, отраженный от раз битой на пустыре бутылки. Состав с крохотными бусинами цистерн казался недвижным, уловленным в хрупкую кисею железнодорожного моста.

Алексей смотрел сквозь голубоватую линзу воздуха, которая позволяла видеть каждую тропинку в поле, каждую белую церквушку в селе. Ему казалось, что кто-то незримый и великодушный показывает сквозь волшебное стекло его будущую державу, дарованное ему царство. Он с высоты принимал под свою длань эти маренные русские дали, испытывая к ним благоговение и бесконечную любовь. Из его сердца исходил незримый луч, чертил землю, и все, что попадало в этот скользящий по земле луч, преображалось, исцелялось, одухотворялось. Выздоравливали страдающие на больничных кроватях больные. Утешались убитые горем вдовы и сироты, надеясь на грядущую встречу с любимыми. Утихали распри и ссоры, и люди,

словно очнувшись от наваждения, просили друг у друга прощения. Охотник в лесах отводил от бегущего лося ружье, и прекрасный зверь продолжал бежать, расплескивая болотную воду. Отравленное ядами озеро, с ядовитыми пленками нефти, становилось прозрачным, и в нем начинала играть рыба. Этот излетавший из сердца луч имел своим источником тот необъятный свет, к которому он стал причастен, воспарив от Ганиной Ямы к божественному престолу.

Виртуоз смотрел на него теплыми, темно-золотыми глазами, думал с нежностью и благодарностью: «Брат».

Автомобиль от трапа понес их по утренней, переполненной и бурлящей Москве в Кремль.

— Не знаю, почему Президент столь неожиданно пожелал увидеть тебя, — рассуждал Виртуоз. — Он непредсказуем, очень скрытен и по-своему гениален. Не угадаешь, в какой момент его дружба обернется ненавистью, а его благодушие сменится вспышками гнева. Иногда мне кажется, что он водит дружбу с теми силами, о которых ты мне рассказывал и которые таятся в глубинах Ганиной Ямы. Субстанция власти, которая питает его волю и делает успешной его хитроумную политику, имеет темную природу русского подполья, русской преисподней, откуда изливается магма великих потрясений и злодейств.

— Я жду от этой встречи только хорошее. Благодаря его замыслу я был извлечен из небытия. Это он предложил мне мою миссию и помогал моему восхождению. Я чист перед ним. Испытываю к нему благодарность и доверие.

Они просверливали режущим звуком автомобильные пробки, разбрасывали по сторонам фиолетовые лепестки. Перепорхнув мост, перед белыми дворцом на зеленом холме свернули к кремлевской башне и оказались в Кремле.

Ступая по черной брусчатке, Алексей чувствовал, как каждый камень тайно звенит и чуть слышно вздрагивает, словно радуется его прикосновениям. Стоящие вокруг соборы и колокольни, золотые купола и белокаменные галереи, казалось, очнулись от ленивой дремоты, посветлели, наполнились радостным сиянием. Встречали его, долгожданного, славили его появление, которое прерывало томительное ожидание, гнет временщиков и самозванцев. Глядя на высокий столп колокольни с золотым шаром и черно-золотой

надписью у самой вершины, он подумал, что в этой пророческой надписи предсказан день и час его появления, отмечен хрустальным звоном невидимых небесных часов.

Они вошли во дворец. Нырнули в воротца пискнувшего металлоискателя. Поднялись на лифте. Миновали посты охраны. В просторной приемной им навстречу поднялся любезный секретарь:

— Здравствуйте, Илларион Васильевич. Здравствуйте, Алексей Федорович. Президент ждет, — и растворил перед ними белую, с золотыми инкрустациями дверь. Алексей успел заметить соседнюю с приемной комнату, в которой сидел морской офицер, и пред ним на столе — кожаный кейс с хромированными застеж ками, — пресловутый «ядерный чемоданчик».

Кабинет открылся Алексею царственным убранством, ампирными креслами, диваном, столиком из красного дерева на точеных львиных лапах. На малахитовом камине стояли золотые часы. На рабочем столе лежали бумаги и старинный фолиант. Казалось, сидящий за столом человек сейчас обмакнет в чернильницу гусиное перо и сделает на мелованном листе размашистую красивую надпись. Таким, похожим на Наполеона Бонапарта, предстал перед Алексеем президент Лампадников. Короткие, косо закрывавшие белый лоб, темные волосы. Слегка одутловатые щеки. Большие, женственные глаза, в которых странно переливались два выражения — неги и целеустремленной воли, и было неясно, какое из двух возобладает в следующий момент. Он сидел чуть боком, театрально, будто принял эту позу специально перед приходом Алексея, чтобы произвести наилучшее на него впечатление. Его губы слегка улыбались и вздрагивали, словно он репетировал заготовленную заранее фразу. И эта фраза не замедлила явиться:

— Наше заочное знакомство не могло длиться вечно. Настало время пожать друг другу руки. — С этими словами он вышел из-за стола, невысокий, с маленькими полными ногами, взял ладонь Алексея в свою пухлую изнеженную руку, покрыв сверху второй ладонью. Что означало не рядовое приветствие, а особые, уже сложившиеся заочно отношения дружбы.

Лишь спустя минуту, получив самые первые впечатления о хозяине кабинета, Алексей заметил присутствие еще одного человека. Он сидел в стороне, на диване. Черные волосы, волнистая, с вороненой

синью, борода, выпуклые глаза с отливом солнечного окна. Перед ним был раскрыт блокнот, лежал миниатюрный диктофон.

— Познакомьтесь, это наш известный журналист Илья Натанзон, — представил его президент. — Ему пришла фантазия написать обо мне книгу. Мы иногда встречаемся и непринужденно беседуем.

Рука Натанзона, которую пожимал Алексей, была вялая, влажная, но лицо, волевое и страстное, окруженное колечками бороды, волнистой чернью волос, показалось Алексею знакомым. Испугало сходство с тем таинственным «черным человеком», что явился в столовую Ипатьевского дома в момент предсмертной трапезы царской семьи, а потом в полутемном подвале читал царю приговор. И от этого сходства заломило в груди, набухли под рубашкой гематомы.

— Давайте расположимся поудобнее, по-домашнему, — президент усаживал Алексея на диван, Виртуоза — в ампирное кресло, сам занял другое, поставив ноги на львиные лапы стола, удобно опершись локотком на красную полированную панель.

— Ну что ж, — после минутного молчания начал президент Лампадников, позволяя Алексею привыкнуть к убранству роскошного кабинета, известного стране по новостным телепередачам. — Надеюсь, все это время вы чувствовали мое незримое присутствие, мою неназойливую опеку.

— Я вам так благодарен, — взволнованно ответил Алексей, все еще чувствуя неловкость перед этим могущественным человеком, возымевшим к его персоне странный и настойчивый интерес. — За это время я столько пережил и прочувствовал, так много повидал и понял. И все благодаря вашему вниманию, вашим побуждениям, которые, если честно признаться, мне все еще до конца не понятны.

— Вот за этим я вас и пригласил. Чтобы открыть вам мои побуждения, — он опять помолчал, удобнее утверждая свои маленькие ступни на когтистых львиных лапах, что усиливало впечатление о его властной силе. — Побуждения мои были вначале весьма просты, о чем, вероятно, вам уже поведал мой друг Илларион Васильевич Булаев. Похоже, у вас установились дружественные, почти братские отношения, не правда ли? — проницательно улыбнулся он. — Эти побуждения были связаны с моим предшественником, прежним хозяином этого кабинета, Виктором Викторовичем Долголетовым. Он, видите ли, слишком озабочен тем, чтобы снова сюда вернуться.

Пускается на разные хитрости, интригует совсем по-детски. Возомнил себя Духовным Лидером России, полагая, что его духовная власть уравновесит мою власть политическую. Поэтому не пропускает ни одной обедни, ни одной благотворительной встречи, представляя себя мудрецом, покровителем всех малых и сирых, эдаким Пантелеймоном Целителем Земли Русской. Вот я и решил его немного подразнить, создав рядом с ним другого Духовного Лидера, то есть вас, который ведет свою родословную от убиенных Романовых.

— Да, я об этом узнал. Мне это объяснил Илларион Васильевич, с которым у нас, как вы верно сказали, братские отношения. — Алексей заметил, как Виртуоз потупил глаза. Президент Лампадников чуть улыбнулся, а Натанзон довольно заерзал на диване. — Мне вполне понятны ваши мотивы.

— Однако мотивы могут меняться, Алексей Федорович. Жизнь не стоит на месте. Меняются мотивы, меняются роли, меняетесь вы, меняюсь я. Я внимательно следил за вашими превращениями, и если поначалу вы казались неопытным робким актером, то впоследствии вполне овладели ролью. А затем роль растворилась среди обстоятельств естественной жизни, и вместо роли возникла судьба. Ваша судьба, Алексей Федорович. Судьба будущего монарха России.

Президент изменил позу, отказавшись от театрального позирования. Сосредоточился, его глаза утратили женственную негу, сузились и сверкнули острым блеском.

— В России за сто лет накопились гигантские противоречия, сгустки трагедий, комки неразрешимых, нерастворимых конфликтов. Казненный царь. Бездарный Керенский. Узурпатор Ленин. Большевистская рать, которая была уничтожена Сталиным. Сталин, которого убили Хрущев и Берия. Расстрелянный Берия и отлученный Хрущев. Застойный Брежнев и явившийся ему на смену либеральный Андропов. Горбачев, подточивший Советский Союз. Ельцин, разваливший имперские территории. Мой предшественник Долголетов, желавший совместить «царское» и «советское». Наконец, мое президентство, в котором все исторические осколки и глыбы повисли над головой и готовы обвалиться. Эти противоречия не разрешить, не распутать. Их можно только отринуть и начать с белого листа. Восстановить династию, посадить на трон монарха. Чтоб к нему не предъявляли счет ни жертвы, ни палачи, ни кулаки, ни

комиссары, ни горбачевцы, ни брежневцы. Вы для этого — идеальный человек. Вы снимете накопившиеся перегрузки истории. Предотвратите взрывы. Спасете Россию от очередного ужасного потрясения, которое может случиться в любое мгновение. Вы меня понимаете? — Рем пытливо всматривался в бледное лицо Алексея, в его сияющие голубые глаза, желая понять, как глубоко и истинно проникли эти слова в сознание претендента на царство.

— Мне кажется, я вас понимаю, — взволнованно ответил Алексей.— Вы готовите акт передачи власти. Готовы совершить отречение, которое искупит то, другое отречение, совершенное сто лет назад на станции Дно. Если то отречение перерезало артерию, из которой хлынула кровь русской истории, обагрив весь русский двадцатый век, то это отречение должно соединить рассеченную артерию, запечатать в ней русскую кровь, не дать ей снова разлиться.

— Вы меня правильно поняли. Я готов отказаться от власти и восстановить в России монархию. Я вижу в этом единственный способ сохранить гражданский мир, не допустить революции, Сберечь страну. Этот акт чрезвычайно сложный, но, имея таких рафинированных управленцев, как Илларион Васильевич Булаев, мы сможем найти технологии передачи власти. Это и есть ответ на вызов истории. Это и есть настоящее историческое творчество. Вы готовы на это пойти?

— Готов, — страшно побледнел Алексей, и ему казалось, что он теряет сознание, и земля начинает вращаться, захватывая в свое вращение золотые купола соборов. — Я думал об этом.

— Если вы думали об этом, если вы примеряли к своей голове корону русской империи, вы наверняка размышляли о шагах, которые вам предстоит совершить. Конечно, у вас нет реального опыта управления государством. Вы не сталкивались с истинными проблемами внутренней и внешней политики. Но это все наживное. Преодолевается с помощью советников и помощников, круга единомышленников, среди которых вы, разумеется, найдете и меня, и Иллариона Васильевича, и всех, с кем уже успели познакомиться.

— Да, да, я надеюсь на помощь. Вы познакомили меня с замечательными людьми, талантливыми государственниками, на которых я смогу положиться. — Алексей чувствовал стремительность происходящих кругом перемен. Внезапное завершение тех странных превращений, которым был подвержен. Его готовили не к карнавалу,

не к забавному спектаклю, а к царству. Взирающий на него человек, обладавший несравненным могуществом, в распоряжении которого находился флотский офицер с «ядерным чемоданчиком», бомбардировщики и ракеты, несметная казна и послушные его воле чиновники, — этот человек добровольно уступал ему власть, возвращал громадную, измученную разладом страну в русло традиционной истории. Это являлось актом Божественного промысла, несло в себе космический смысл. Недаром пели под его стопами черные камни брусчатки, звенели голубые проемы колоколен, возвысились и озарились стены кремлевских соборов, в которых мироточили мощи царей и праведников, светились камни великих гробниц. — Я, конечно же, стану опираться на драгоценный опыт советников, как это делал Петр, окружив себя «птенцами гнезда Петрова». Пусть будут «птенцы гнезда Алексеева», не правда ли? Наш замечательный режиссер Басманов, чьи киношедевры оставляют позади лучшие ленты Голливуда. Владыка Арсений, мудрейший пастырь, светоч нашего православия. Искушенный в делах разведки генерал Лобастов, который вывез меня из провинции и показал первопрестольный град Москву. Министр обороны Курнаков, который, храня государственную тайну, не смог показать мне настоящую ракету «Порыв», но дал понять, сколь крепок и надежен ядерный щит России. Министр экономики Данченко, блестящий стратег и управленец, сохранивший великие советские заводы, рабочий класс и ученых. Искушенный и умный политик Сабрыкин, кому послушна Государственная дума и кто будет незаменим во время перехода России от Президентской республики к монархии. И, конечно же, Илларион Васильевич Булаев, чей управленческий гений и мистическое чувство России сделали его метаполитиком. И вы, Артур Игнатович, гениальный провидец, истинный русский подвижник, совершающий акт, небывалый в истории Государства Российского. И Виктор Викторович Долголетов, управлявший страной в самые страшные, кромешные годы. Вы все станете мне содействовать, мы вместе станем целить Россию, вправлять вывихи русской истории, сращивать переломы русских эпох.

Алексей был воодушевлен, ему казалось, что кто-то внушает ему вдохновенные мысли, кладет на уста пророческие слова. Его душа

была фанфарой, в которой рокотали звуки небесного трубача, флейтой, в которой струилась «музыка сфер».

— Ждал, что вы произнесете эти слова, — Было видно, что Президент находится под впечатлением услышанного. — И все же, Алексей Федорович, что бы вы лично предприняли, когда оказались в тронной зале, в горностаевой мантии, держа в руках усыпанные каменьями державу и скипетр? Ваши первые идеи и деяния?

Незримый горнист вдувал в него свое пламенное дыхание, флейта из тростника, растущего по берегам лазурных райских озер, переливалась волшебными звуками.

— Моя тронная речь будет посвящена Справедливости. Я обращусь к народу, провозглашая Справедливость той божественной ценностью, которую мы положим в основание новой Империи. Справедливость, во имя которой погибли князья Борис и Глеб. Которую проповедовал в русских лесах Преподобный Сергий. О которой князь Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в Правде». О которой писали Пушкин, Достоевский и Гоголь. Мечтали русские космисты. Шли на муку Зоя Космодемьянская и Олег Кошевой. За которой полетел в Космос Юрий Гагарин. О которой в своей поэме писал поэт Юрий Кузнецов. Потому что Справедливость положена Творцом в основу мироздания, и если Справедливость попирается, то прерываются не просто династии и царства, гибнут не просто исторические эпохи и империи, но гаснут светила и солнца, затухают участки Вселенной, лучезарные звезды превращаются в «черных карликов», сжирающих Свет Мира сего. Я положу Справедливость в основу всех законов и уложений, и Справедливость, воспринятая государственными мужами И учеными, воинами и художниками, землепашцами и строителями, сама возведет Империю, сделает ее самой прекрасной и доброй, привлечет в нее ныне разобщенные и несчастные народы, которые обретут в ней свой дом и свой Храм. Я привнесу в государственную жизнь «Райскую Правду», напишу на кремлевской стене «Формулу Рая». Такой будет наша Империя.

Президент слушал, сжав плотно губы, словно сравнивал образ реальной страны с образом дивной утопии. Так светская картина меркнет в сравнении с иконой. Размытое отражение храма уступает белоснежной красоте божественного собора. Виртуоз, утонченный и страстный, жадно внимал, и казалось, что в нем уже роятся будущие

проекты и замыслы, политические доктрины и культурные инициативы, которыми будет ознаменовано будущее царство. Илья Натанзон быстро писал в блокнот, глазок включенного микрофона был похож на каплю рубина. Алексею он больше не казался двойником «черного человека», но трудолюбивым и опытным публицистом, готовым служить Империи.

— Я вас услышал, — произнес Президент. — Хоть это и самое общее представление о будущем устройстве страны, но это путь, это свет, это светильник, который не будет поставлен под сосуд, но станет светить. Разумеется, переход к монархии не прост, потребует конституционных изменений, усилий многих правоведов. Но это, в конце концов, юридические тонкости. Правоведы у нас найдутся.

— Конечно, найдутся,— воодушевленно подхватил Алексей, — Как сказано в замечательном стихотворении о Петербурге:

Над желтизной правительственных зданий
Три дня кружила мутная метель.
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Правоведы у нас найдутся…

— Кстати, о Петербурге. Отправляйтесь туда, посмотрите город, выстроенный Романовыми. Подберите себе резиденцию. «Мраморный дворец», или «Михайловский», или «Константиновский» в Стрельне. В Москве вашей резиденцией мог бы стать дворцовый комплекс в Царицыне. А первой вашей имперской постройкой мог бы стать «Дворец Справедливости».

— Прекрасная, светлая мысль! Ваша мысль великолепна — «Дворец Справедливости»!

— Очень скоро у нас состоится празднование «Дня Лидера Русского Мира». Яркое торжество. Парад на Красной площади. Гости со всех континентов. Там я объявлю о своем намерении восстановить в России монархию. Представлю вас народу. — Президент повернулся к Виртуозу. — Все думают, что я вынашиваю коварную мысль о продлении президентских полномочий. А я объявлю о добровольном отказе от этих полномочий в пользу нового русского Монарха.

В дверях кабинета появился секретарь. Рем кивнул ему, и в кабинет вошла телевизионная группа, появилась камера.

— Пусть узнают о нашей встрече, — произнес Рем, приглашая Алексея занять место за столиком. Они приняли позы, к которым привыкла страна, когда наблюдала кремлевские встречи Президента. Сидели, молча улыбались друг другу, в то время как оператор, не меняя положения, снимал малахитовый кабинет, золотые часы на камине, их улыбающиеся лица. Съемка заняла не больше пяти минут. Группа бесшумно, соблюдая протокол, покинула кабинет. В дверях вновь возник секретарь, почтительно приблизился:

— Артур Игнатович, на проводе Президент Соединенных Штатов. Что мне ответить?

— Через пять минут подойду.

Аудиенция была окончена. Президент провожал Алексея до дверей и на прощанье приобнял за плечо:

— Теперь мы будем часто встречаться. У нас есть неисчерпаемая тема для разговоров — «Справедливость».

В коридоре дворца, прощаясь, Виртуоз сказал Алексею:

— Он — гениальный человек. Ожидал всего, чего угодно, но только не этого. Я был тысячу раз не прав.

И они обнялись по-братски.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

С Мариной они встретились на Тверской. Лежали утомленно и обморочно, сбросив на пол подушки, скомкав китайское покрывало с цветком. Голым локтем он чувствовал шелковистость ее волос. Ее голова доверчиво и нежно прижалась к его плечу. Задернутые шторы пропускали у потолка свет, и на белом потолке, как на экране, возникало перевернутое изображение бульвара. Зеленоватая бахрома деревьев, водянистый поток машин, размытые вспышки стекол, иногда их расцветка, легкая, как акварель — малиновая, черная, желтая. Он смотрел эту киноленту, бегущую по млечной голубизне потолка, на чудесное, необъяснимое явление перевернутого бульвара.

Марина подняла голову и слегка повернулась, так что стала видна ее ключица, грудь с розовым соском и ложбинка под мышкой, вызвавшая в нем нежное обожание. Она наклонилась, ссыпав струящиеся золотые волосы ему на лицо. Стало душно, и он осторожно раздвинул эту скользящую золотую массу, пробираясь к ее губам, подбородку и шее. Она целовала ему грудь, прикасаясь губами к двум метинам, которые приобрели цвет крупных темных фиалок.

— Что это? Где ты ударился? Как будто в тебя метнули копье! — Она трогала губами фиолетовые метины, дыхание погружалось в грудь, туда, где остановились невидимые, выпущенные из револьвера пули. Расплющенные кусочки свинца умягчались, таяли, как льдинки. Метины на груди бледнели. — Что ты видел за эти недели? Что пережил?

— Подумай только, долгие годы я существовал, как во сне, в смутной дремоте провинциального города, где ничего не происходит, где дни одинаковы, где разнообразны только стихи моих любимых поэтов и суждения историков о русском времени. Но это время, полное взрывов и скоростей, оно — исчезнувшее, не мое. Мое остановилось и дремлет. И вдруг, о чудо! Меня подхватило и повлекло, но не в хаосе событий, а в череде каких-то поразительных, следующих одно за другим превращений. Так изменяется зерно, которое бросили во влажную почву. Оно набухает, выпускает корень, листья, бегущий

вверх стебель, на котором образуется колос, зацветает, окутывается розовой пыльцой, наполняется зрелыми зернами. Вот так и со мной.

— Ты говоришь притчей, мой милый. Евангельская притча о зерне, которое упало на благодатную землю. Значит, Бог бросил тебя на благодатную почву.

— Именно Бог. Я чувствую, что нахожусь под Божьим покровом, осуществляю Божественный замысел. Такая легкость и счастье чувствовать себя в потоке Божественного разумения. Так легкое пернатое семечко несется в солнечном ветре, переливается стеклянным блеском, возносится к темному коньку крыши, сверкнет и исчезнет на солнце. Так сладко исполнять Божью волю!

— Я говорила о твоем Божественном предназначении.

— Я попал на ракетный полигон, где меня обманули, показали фальшивую ракету, но там я узнал о существовании «Формулы Рая» Гагарина, и мне указали путь на Урал. На заводе подводных лодок меня опять обманули, подсунули старую, списанную лодку, но в этом обмане гнездилась истина, — мне поведали о поэте Юрии Кузнецове, о его «Райской Правде». Я видел ужасную бойню в колонии, где сгубили не только космонавта-провидца, но и его «Формулу Рая». Видел страшный пожар в клинике для душевнобольных, где огонь поглотил великого поэта и его божественную поэму. Но оттуда я сразу же попал в Храм на Крови, где со мной случилось преображение, у меня изменилась группа крови, преобразился генетический код, и я стал Романовым. А на Ганиной Яме, среди райских лилий, я был вознесен на небо, и мне передалась толика святости, которую снискал последний государь.

— Эти синие метины на твоей груди — это следы от расстрела? Тебя расстреляли в том темном подвале, как Государя Императора?

— Преображался не только я. Преображался мир. С людьми совершались чудесные превращения. Помнишь, ты говорила о Виртуозе? Какой он коварный, лукавый, воплощение вероломства, искусительный и прекрасный дьявол. Так вот, этот Виртуоз теперь мой названый брат. Готов жизнь за меня отдать. Готов следовать со мной по избранному пути, набросить мне на плечи горностаевую мантию.

— Быть не может! Ведь его считают воплощением зла. Он «белое» нарекает черным, а «черное» превращает в золотое и пленительное. Как тебе удалось снискать его расположение?

— А ты знаешь, где я провел это утро? В Кремле, в кабинете Президента Лампадникова. Он сказал, что готов содействовать превращению России в монархию. Готов передать мне власть, как законному представителю династии. Сказал, что начинает переписывать Конституцию, а в день предстоящего праздника, кажется, в День Духовного Лидера Русского Мира, объявит народу о своем решении.

— Боже, я же верила! Я говорила! Я столько раз молилась и ставила за это свечу!

— Он сказал, что мне следует поехать в Петербург и там выбрать для царской резиденции дворец. Говорил почти твоими словами. Мы едем с тобой в Петербург и там обвенчаемся.

— А ты уверен, что тебе это нужно? Уверен, что тебе нужна такая жена, как я? Разве я похожа на императрицу? Тебе нужен династический брак. Жена из среды Романовых, или европейских династий, Гогенцоллерны или Габсбурги, или принцессы Гессенские. А я родом из простой дворянской фамилии Волховитиных. Тебе не ровня.

— Боже, что такое ты говоришь? Ты царица души моей. Ты мне послана небом. Ты явилась, как ангел, в своих дивных платьях, которые сотканы из неземных материй, словно крылья бабочки в сияющей пыльце. Лазурное, золотистое, алое, как облачение ангелов.

— Обыкновенные земные ткани. Французские платья от Сен–Лорана. Купила их в Кузнецком пассаже на свои гонорары.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь, —
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй.
Из которых хлопья шьют.
Он с упоением произнес созвучное его переживаниям.

— Люблю тебя, мой император!

Наклонился над ней, целуя ее теплые плечи, душные, льющиеся волосы, и сквозь волосы — ее глаза, ее губы, ее хрупкую переносицу. Закрыть веки и ждать, когда на ветке появится сойка с бирюзовыми крыльями, вытянет клюв, не решаясь взлететь, приседая на цепких лапках и вновь вытягиваясь, перед тем, как ринуться в глубину леса. Белое пышное облако медленно уплывает за круглую вершину, и смотреть, как его голубоватый край скрывается за волнистой кроной, и там, у вершины, попадая на солнце, вьется, слабо трепещет лесная бабочка. Росинка загорается фиолетовым, нежно-голубым и оранжевым, полыхнет упоительно-алым, и вновь темно-синим, дивно-зеленым и желтым, и стоять на крыльце, любуясь невидимой каплей, которая прилепилась к листу крапивы и играет с солнцем и с твоим восхищенным зрачком. Белый речной песок, сухой и горячий, пристающий к руке мерцающими песчинками, с разбросанными у воды створками раковин, чьи перламутровые донца гладкие и прохладные на ощупь. Рисованная нарядная буквица с фантастической птицей, увитая цветами и ягодами, и на твердой странице — косматая голова коня, витязь в седле, копье, опущенное к придорожному камню. Стекло, туманное от бесчисленных поцелуев и вздохов, и в сумраке за стеклом — изумрудный перстень, оправленный в серебро, и на дне прозрачного камня драгоценная зеленая искра, Белое, охваченное нимбом лицо царевны, хрупкая шея, окруженная кружевами рубашки, и оттуда, из-за ворота, стекает коричневая янтарная струйка, смоляная слеза, отразившая алую точку лампады. Поросший травою склон, и на длинных стеблях тянутся, стремятся к лучам, благоухают сладостными ароматами розовые и белые лилии. И такое счастье, такое жаркое ослепленье, переполняющая сердце любовь, что все начинает сверкать, сливается в стремительный блеск, в трепещущую молнию света, в бесконечное отраженье зеркал, из которого выпадаешь в пустыню, в сумрак, и только на потолке, у задернутой шторы водянистое скольженье теней.

Он дремал, чувствуя на плече ее дыханье.

— Ты спишь? — тихо спросила она.

— Нет, — отозвался он.

— Я хочу тебе что-то сказать.

— Что, милая?

— Мне кажется, сейчас у меня случилось зачатие.

— Как ты могла почувствовать? — Он повернулся, стараясь рассмотреть ее лицо. Оно было чуткое, зоркое, исполнено нежного изумления. — Разве такое можно угадать?

— Я почувствовала, как вдруг стало горячо и сладко, и все распахнулось до неба, а потом сжалось до плотной точки, как будто завязалась сочная почечка, набух крохотный плотный бутончик. Я его чувствую в себе.

— Но, может быть, тебе показалось?

— Нет, я чувствую эту живую, растущую почку. Это сын. Я рожу царевича.

— Боже мой, — он смотрел на нее со слезным блеском в глазах. Это случившееся зачатие было продолжением всех чудотворных превращений, которым он был подвержен. Оно не могло не случиться, ибо все, что он пережил в эти недели и месяцы, было преодолением смерти, торжеством жизни вечной. Она лежала рядом, тихо улыбаясь, прислушиваясь в себе к потаенному росту. Он положил ладонь ей на живот, выпуклый, теплый, дышащей, и у него под ладонью — он это чувствовал — пульсировала и разрасталась нежная алая почка. Исходило, — он это видел своими полными слез глазами, — разноцветное прозрачное зарево, предвещая восход неведомого светила.

— Боже мой, — повторял он, целуя ее живот, вдувая свое нежное тепло, которое проникало в темное лоно, и оно откликалось едва уловимым биением.

Ближе к вечеру Марина сообщила, что оба они званы в оккультно-политологический театр Леонида Олеария, московской знаменитости, авангардного режиссера и визионера, чьими тайными услугами пользуется Кремль, к чьим невнятным, с затемненным смыслом, прогнозам присушиваются интеллектуальные центры мира.

— Ты думаешь, нам стоит пойти? — рассеянно спросил Алексей, все еще переживая чудесную весть, которой она его одарила. Он желал побыть со своей любимой, насладиться случившимся чудом, которое сочетало их в нерасторжимое, на все бесконечные времена, единство.

— Тебе будет интересно, я уверена. К тебе повышенное внимание, и этим надо пользоваться, — ответила она тоном советницы, искушенной в придворной дипломатии. И этот деловой, хлопотливый тон умилил его, — она заботится о его будущей, августейшей роли,

собирает вокруг него придворных, ищет себе место среди грядущих дворцовых интриг и хитросплетений.

Был вызван к дому шофер Андрюша, улыбающийся и жизнерадостный, будто он постоянно принимал эликсир счастья. Солнце с бесшумным плеском лилось с крыш на бульвары. Аллеи были полны нарядной, предвкушающей вечерние развлечения толпой. Москва, как маслянистый благоухающий лепесток розы, источала сладкую пряность. Сулила близкие сумерки, прозрачные огни, неутомимые ночные наслаждения. Машина доставила их к Чистым прудам, к зданию театра, который уже наполнялся зрителями, избранной кастой посвященных, чье сознание многократно подвергалось воздействиям гениального мага и обладало повышенной восприимчивостью к явлениям незримого мира.

Уже в вестибюле к ним устремился режиссер Олеарий, в черном сюртуке, белоснежной манишке, с артистическим, вольно повязанным шарфом. Его розовое безволосое лицо и заостренный нос, круглые очки и круглые же, с желтыми ободками глаза придавали сходство с раскрашенной ритуальной маской. Ему сопутствовал красивый светловолосый мужчина с синими ясными глазами, белыми большими руками, на которых красовался золотой перстень.

— Марина, дорогая, спасибо, что привели Алексея Федоровича. Алексей Федорович, если не забыли, я уже был вам представлен на встрече с думскими фракциями. А это, — Олеарий повернулся к своему спутнику, — наш известный нейрохирург и открыватель тайных свойств мозга, профессор Коногонов. Прошу любить и жаловать.

У Коногонова была большая, теплая, чисто вымытая рука, и в первый момент Алексей подумал, снимает ли профессор во время операций свой золотой перстень, или перстень просвечивает сквозь резиновую перчатку, обрызганную кровью и мозговой жидкостью. В следующий момент он вспомнил палату психиатрической лечебницы, в которой лежал несчастный поэт Кузнецов. Лечащий врач приоткрывал на секунду капельницу, пускал в кровь пациенту несколько едких капель, отчего поэта поражало безумие. Он начинал изрыгать бессмысленные, тяжелые и липкие, как сырая глина, созвучия, из которых вдруг выпадали бриллианты дивных

четверостиший. Это воспоминание испугало Алексея, отвратило от профессора. Но тот, светло и ясно глядя ему в глаза, произнес:

— Мы сегодня видели по телевизору замечательный сюжет, где вы в Кремле беседуете с Президентом Лампадниковым. Это был немой сюжет, ваша беседа с Президентом не воспроизводилась, но диктор сообщил, что обсуждалась проблема Справедливости. Это тем более удивительно, что сегодняшняя мистерия моего друга Леонида Олеария как раз посвящена Справедливости.

— В самом деле, удивительное совпадение, — подхватил Олеарий, крутя нежным, словно из целлулоида, лицом и пышно завязанным шарфом, еще больше напоминая маску, в которой гениально играют актеры «пекинской оперы», будучи людьми, изображают кукол, которые, в свою очередь, играют людей. — Хотя в природе ничего нет случайного. Принцип Справедливости положен в основание мира, и не только мира людей, но и мира камней, трав, небесных светил. Все священные тексты, от Авесты и Ригведы до Евангелия, Корана и Торы, говорят о Справедливости. Царства и цивилизации, в которых нарушается Справедливость, становятся богонеугодными и разрушаются. Наша цивилизация — одна из самых несправедливых в истории, и она готова разрушиться. Мой спектакль — это тест на Справедливость. Артисты будут изображать те или иные сословия нашего российского общества. В их среду будет врываться молния, радуга и бабочка-голубянка, которую вы наверняка видели на цветущем лугу. Все это — метафоры Справедливости. Как себя будут вести социальные группы, соприкасаясь с принципом Справедливости, это зависит от восприятия зрителей. В зрительном зале распылен особый аэрозоль, составленный профессором Коногоновым. Он воздействует на мозговые функции, порождает видения. Эти видения фиксируются особым сканером, — тоже изобретение профессора. Так что сегодня, дорогой Алексей Федорович, вы будете и зрителем и одновременно визионером, активным участником спектакля.

Они отошли, оставив у Алексея неясное чувство тревоги и недосказанности. К нему подходили другие посетители театра, и среди них те, с кем он уже был знаком.

Известный кутюрье Любашкин, женственный, с миндалевидными глазами лесной лани, с холеными розовыми пальцами, которыми

жеманно отводил со лба шелковистые пряди, подплыл на высоких каблуках, переступая с ноги на ногу, поводя круглыми бедрами:

— Поздравляю, вас пригласил сам Президент. Вы помните наш разговор? Я приготовил эскиз императорской мантии из горностая, на шелковой алой подкладке. Ко дню венчания на царство мы сможем иметь комплект туалетов для фрейлин, мундиры для камергеров и тайных советников. Все в традициях, — парча, шелк, кринолин. Черное сукно, золотое шитье, алая лента. Но и современно, с элементами актуальной высокой моды.

Архитектор Кнорре, проектировавший в Дубае роскошные отели на искусственных островах, был похож на сосредоточенного носатого грача, весь черный, скачущий, отливающий металлической синевой:

— Империя — это большой стиль. Назначьте мне аудиенцию. Я принесу вам чертежи, выполненные в золотом сечении, где любое строение — тюрьма, царский дворец, казарма или университет — связано единством стиля. Создают единое имперское пространство, раз и навсегда отвергая отвратительную буржуазную эклектику.

Банкир Козодоев с комочком русой бороды и пухлыми выбритыми щеками доверительно наклонился и зашептал:

— Деньги любят тишину, не правда ли? «Монархический проект» потребует немалых денег. Предлагаю свои услуги. Мы бы могли основать банк «Монарх», и я привлеку в него средства отечественных и зарубежных инвесторов. Олимпиада в Сочи смехотворна в сравнении с грандиозным проектом восстановления в России монархии. Предлагаю на досуге обдумать мои слова.

Прозвенел звонок. Отворились двери в черной стене, и скоро вся публика из вестибюля перешла в совершенно черный зал с черными атласными креслами. Расселась в металлическом полумраке, взирая в пустой, непроглядный зев сцены.

Алексей, усадив подле себя Марину, с беспокойством всматривался в ее близкое, матово-жемчужное лицо, волнуясь, не повредят ли ей странные эксперименты этих двух то ли режиссеров, то ли психиатров, от которых исходила потаенная угроза. Но Марина улыбалась завороженно, как будто ожидала от представления необычайных удовольствий, и Алексей успокоился.

Он почувствовал, что воздух в зале пахнет мандаринами и еще какими-то сладкими специями, корицей или гвоздикой, — видимо, это

был запах рассеянного аэрозоля. Его действие он тотчас ощутил, как повышенную бодрость и свежесть, избыточность всех чувств, которым было тесно в привычном теле и которые требовали для себя большего простора, искали повода проявить себя необычным образом. Глядя на архитектора Кнорре, сидящего на соседнем ряду, Алексей вдруг понял, что Кнорре сейчас полезет в карман, вытянет клетчатый платок и станет аккуратно отирать им лоб и заостренный нос. И Кнорре действительно достал платок и принялся осторожно промокать выступивший на лице пот. Сидящая поодаль чопорная дама, приобщенная к тайноведению, с видом превосходства озиравшая зал, должна была вот-вот чихнуть. Алексей ждал, когда она потешно, по-собачьи, сморщит нос и издаст писклявый чих, и чих через минуту последовал.

Эту удивительную способность предугадывать события, опережать их по времени и ждать их наступления он объяснил действием аэрозоля, и это ощущение было волнующим. Он собирался проверить обретенную способность еще на ком-нибудь из соседей, но в глубине темной сцены зазвучала музыка, тьма стала медленно разгораться, и возник интерьер, наполненный изысканно одетыми людьми.

Шла светская вечеринка, собравшая самых модных, обожаемых публикой звезд, стилистов, кумиров шоу-бизнеса. Алексей, как ни был далек от этой вычурной, эстетизированной и капризной среды, узнавал многих знаменитостей. Известная своими неприличными выходками и скабрезным поведением, появилась телеведущая распутной молодежной программы — крупное лицо, выставленная зубастая челюсть, квадратные очки, смесь отталкивающего, грубо-животного и порочно-привлекательного, развратно-пленительного. Она энергично перемещалась, громко хохотала, показывала свои огромные белые зубы. Задевала и поддразнивала свою вечную соперницу, прелестную балерину, знаменитую театральными скандалами и скоротечными браками с миллиардерами. У балерины была высокая шея, на которой красовалась прелестная головка с огромными глазами стрекозы, и весь ее полупрозрачный наряд, просвечивающее сквозь ткань весьма плотное, мясистое тело делали ее похожей на красивое, опасное и ядовитое насекомое, способное больно язвить и жалить. Что она и делала, отвечая разящими колкостями на грубые выпады соперницы.

Ведущий модного ток-шоу, комильфо, в бархатном пиджаке и шелковом галстуке, светски беседовал с модным кинорежиссером. Тот снял единственный блокбастер, а затем распродавал свой глянцевитый выбритый череп, холеные усики и смеющиеся вишневые глаза на всех рекламных щитах, от кошачьего корма до дамских прокладок. Два певца, баснословно богатые и популярные, тайно ненавидящие друг друга, обнимались и целовались. Один, сладострастный тенор, превращал свои концерты в сказочные феерии, с громадным количеством огней, спецэффектов, магических дымов, и едких, как павлиньи перья, вспышек, среди которых являлся, словно великолепный демон. Другой, обладатель оперного бельканто, белокурый красавчик, любил выступать в обществе сдобной, невероятно полной итальянки, погружая свою голову в ее необъятные груди, откуда вырывались ангельские звуки. В их дуэте присутствовало нечто порочное, запретное, словно любовные отношения между сыном и матерью, что привлекало на концерты как истинных любителей оперного пения, так и утонченных извращенцев. Модный живописец целовал руку хрупкой красавице. Живописец, принятый в европейских салонах, был славен тем, что рисовал современных деятелей, помещая их в антураж картин Веласкеса, Рафаэля, Рубенса. Так недавно он изобразил Президента Лампадникова в латах средневекового рыцаря, а прежнего Президента Долголетова в облачении венецианского дожа. Красавица, с которой он флиртовал, была любовница самого богатого человека в России, молчаливого зверька с серым косматым рыльцем, который позволял ей содержать салон авангардного искусства. Артисты, используя грим, копировали упомянутых героев, добиваясь портретного сходства.

Вначале на вечеринке танцевали, пили из стеклянных подсвеченных бокалов, обменивались поцелуями, и не только мужчины с женщинами, но и образуя нежные жеманные пары, состоящие из мужчин, и пылкие дуэты, состоящие из чувственных женщин. Дым от наркотических сигарет становился синим. Музыка теряла ритм, превращаясь в заунывное, длинное, маслянистое стенание. Танцуя и кружась, светские львицы и кумиры модных салонов начинали освобождаться от стеснявших одежд. Упал на пол бархатный пиджак телеведущего, легко соскользнуло прозрачное платье балерины, кинорежиссер оказался таким же голым, как и его

череп. Теперь в слоистом дыму, поднося друг другу стеклянные сосуды с вином, кружились обнаженные тела, то свивались в пластичные сгустки, как на античных фризах, то распадались в одиноком лунатическом танце. В руках художника появилась кисть и палитра с красками. К нему приблизилась телеведущая молодежной программы, бесстыдно вращая выпуклым, с тенью пупка животом, и художник, откинув голову и прицеливаясь, несколькими сильными мазками позолотил ей лобок. Она удалилась, продолжая танцевать, и внизу живота яркий, как куполок, сверкал золотой треугольник.

Перед художником предстала балерина, приподнялась на мысках крепких ног, совершая руками волнообразные, змеевидные движения, нависая над живописцем полными круглыми грудями. Маэстро потрогал их руками, словно проверял на спелость. Одну из них покрасил желтым и оранжевым, преобразив в пухлую тыкву. Другую, с помощью темно-зеленой и изумрудной краски, разделяя их черными дугами, превратил в арбуз. Балерина, подергивая плечами, поигрывая бахчевыми культурами, поплыла к своей сопернице, и обе танцевали, целуя друг друга.

Ведущий ток-шоу показал художнику свою мускулистую спину и плотные, как у античного героя, ягодицы. Мастер быстро и жирно нарисовал на спине огромного черного паука, ведущий напрягал спину, раздвигал ягодицы, и паук шевелился, перебирал длинными членистыми лапами.

Миловидный златовласый тенор, когда его покрыли грязно-серыми пятнами, стал похож на возбужденного дворового кобелька. Второй певец, с пухлым животом и начинавшей разрастаться грудью, под кистью художника обрел желанную стройность, — алой краской ему прочертили ребра, ключицы, позвонки, прописали плечевые и берцовые кости, и красный скелет закружился, захватывая в свои объятья любовницу миллиардера, оставляя на ней липкие отпечатки.

Это был карнавал обнаженных тел, где разноцветные маски закрывали не лица, а интимные части тела. Эротический танец был полон ритуальных телодвижений, коими выкликалось верховное божество, языческий бог любви, покровитель оргий и безумных соитий. Не хватало ритуальной жертвы, которая бы своей мучительной смертью исполнила чашу сладострастия. И жертва явилась.

В руках художника появилась живая птица, лесная сойка. Ее ноги были связаны красной ленточкой, художник держал ее за крылья, и она беспомощно билась, трепетала в крепких кулаках живописца. Все окружили птицу, тянулись к ней, выдирали из нее лазурные перья. Птица жалобно пищала, мучительно верещала, а женщины и мужчины выхватывали из нее по перу, пускали на воздух. Голубые перья медленно кружились, летел розовый птичий пух, посреди которого, раскрыв желтый клюв, выпучив черные бусины глаз, содрогалась птица. Лишаясь оперенья, открывала худое, покрытое пупырышками, желтоватое тело. Балерина завела обе руки к затылку, что-то искала в своей античной прическе. Извлекла из волос булавку с бриллиантом и ловко, как богиня Артемида, вонзила острие в несчастную жертву. Пронзила насквозь. Птица дрогнула в последний раз, голова отвалилась в сторону. Мертвую птицу стали передавать друг другу, натирали себя птичьей кровью, клали себе на грудь, сжимали между колен. Слышались стоны, вопли, начиналась долгожданная оргия.

Внезапно свет померк. В тусклой мгле, над голыми, липкими телами, протянулась из конца в конец сцены голубая пульсирующая жила. Раздался треск электрического разряда. Пузыри синего огня потекли, забурлили, помещенные в невидимую прозрачную трубку. Распадались на белые жилы и ослепительные волокна, вновь свивались в огненные жгуты. Синяя молния, как натянутая, дрожащая синусоида, прочертила пространство, звенела, грохотала, с оглушительным треском раскалывалась, издавала звук шипящего огня. Она была осью, вокруг которой вращалось пространство. Координатой, относительно которой совершались все земные деяния. Из непроглядного купола сцены металлический голос, пропущенный сквозь жестяную трубу, громоподобно произнес: «Справедливость!» И это звучало, как Божий приговор, как последний вердикт погрязшему в пороках и преступлениях миру.

Алексей с первых минут спектакля был раздражен нарочитой вольностью и мнимым свободомыслием постановки, бесстыдством сцен, отвратительным умерщвлением птицы. Слишком жесткой, негибкой и искусственной выглядела категория «Справедливость», включенная в драматургию пьесы. Аллегория казалась надуманной. Образ молнии был механически привнесен в ткань действа. Но постепенно, созерцая голубую конвульсивную вену, брызгающие

снопы огня, повалившиеся наземь обнаженные тела грешников, ему стало чудиться, что спектакль утратил свою морализирующую суть. Превращается в космогонию, подобную той, что изобразил Микеланджело, — Сотворение Мира, Ад и Рай, День и Ночь, календарное кружение Вселенной, божественный симфонизм мироздания, в котором действует изначальный непреложный закон. Этот закон пронизывает раскаленной молнией каждое сердце, каждую пядь пространства, каждую молекулу живой и неживой природы. Сверкающая координата является мерилом добра и зла, удаление, отпадение от нее знаменует меру греха, определяет воздаяние и кару.

Он чувствовал, как взбухает сердце, словно сквозь него продет оголенный провод. Его глаза выдавливались из орбит. Из ноздрей текла кровь. Мозг плескался, ударяясь о черепную коробку, и в нем вот-вот должна была лопнуть набухшая красная жила. Голые грешники были опрокинуты и разбросаны молнией. В пятне света лежала мертвая птица.

Балерина бесстыдно раздвинула ноги, ее раскрашенные груди лопнули, и из них по всему телу разбегались тараканы, муравьи, ядовитые сороконожки — кусали, царапали, и ее красивое лицо было изуродовано непрерывной гримасой крика. Ее вечная соперница что есть силы сжимала колени, но из них выскальзывала блестящая чешуйчатая змея с золотой головой, обвивала несчастную грешницу, впивалась ей в шею, впрыскивая мучительный яд. Элегантный модник, любимец сентиментальных женщин, ведущий ток-шоу лежал на животе. На его спине взбух огромный черно-синий паук с глянцевитым туловищем, мохнатыми, жадно скребущими лапами. Стальной клюв паука вонзился в позвоночник несчастного, пробил кость и сладостно сосал живой мозг. Светловолосый и миловидный, как Лель, тенор превратился в похотливого кобелька. Его тревожили блохи, он заваливался на бок, грыз кишащую насекомыми шерсть. При этом норовил вскочить на любовницу миллиардера, но художник, который принял облик миллиардера, — узкие глазки, мохнатое рыльце, прижатые рваные уши, — отгонял его от своей подруги хрустящими ударами дубины. Второй певец, привыкший к рукоплесканиям зала, стоял в поклоне, а с него сползала скользкая плоть, капала на пол студенистая жижа, и от него оставался кровавый скелет, как арматура отвратительной куклы.

Алексей чувствовал смрад разлагающейся плоти, и запах озона, синтезированного электрической молнией, и рассеянный в воздухе новогодний вкус мандаринов. Он понимал, что находится под воздействием препаратов, его опьянил разбрызганный в воздухе наркотик. Возникавшие видения — это галлюцинации, рожденные измученным мозгом. Посмотрел на Марину — она по-детски, блаженно улыбалась, словно любовалась новогодней елкой. Видела совсем не то, что видел он.

Электрический разряд стал гаснуть, импульсы синего огня замирали, актеры в сумерках покидали сцену. Алексей подумал, что это конец спектакля и сейчас наступит облегчение.

Но полумрак сцены стал вновь разгораться. Слегка размытая, словно спроецированная на матовый экран, возникла Ганина Яма. Склоны травянистой рытвины. Стебли лилий, чересчур длинные и худосочные из-за растущих вокруг тенистых сосен. Розовые, белые, голубоватые цветы, окружающие черный провал. Из провала, как из землянки, где топится печь, валил дым. Мутные клубы выкатывались на поверхность, лилии увядали, стебли хрупко ломались. Среди дыма двигались тени, колебались пятнистые мундиры, поблескивало оружие, слышался хруст гусениц. На поверхность из преисподней выползала война, полыхали зарницы орудий, рассекали воздух трассы реактивных снарядов, горели дома, на город из синевы пикировали самолеты, и взрывы поднимали на воздух каменные строения, разбрасывали растерзанные тела. Алексей испытывал ужас. Его усилия оказались напрасными, его поступок, повторивший подвиг Александра Матросова, был тщетным. Ему не удалось закупорить грудью адское жерло. Пули, выпущенные в царя, продолжали лететь, уносили жизни, мчались вперед, оставляя в русской истории кровавый бесконечный след.

— Боже мой! — крикнул он. — Война! Началась война!

Никто не услышал его крика. Вспыхнул яркий свет. Публика аплодировала. На сцене показались актеры, утомленные и счастливые, лишь отдаленно, при ярком освещении, напоминая своих прототипов.

— Ты ничего не видела? — спросил он у Марины. — Не видела Ганиной Ямы?

— Нет, — удивилась она, — Видела веселое представление, в духе сказок Гоцци, итальянский театр дель арте. С таким вкусом и

тактом.

— Так ты не видела адской оргии, не видела кары Господней? Не видела начало войны?

— Ну что ты, милый. Ничего подобного не было.

К ним подходили профессор Коногонов и режиссер Олеарий.

— Как вам спектакль? Как подействовал аэрозоль? Какие прозрения? — интересовался профессор, приветливо рассматривая Алексея синими чистыми глазами.

— Дорогой профессор, я предупреждал, что вы занижаете концентрацию аэрозоля. В него следовало добавить алтайскую смесь или же споры перуанских грибов.

— Сейчас, пока мы сидели в театре, началась война, — произнес Алексей, чувствуя, как его колотит озноб. — Не знаю где, но она началась. Убийство царя продолжается. Пули, выпущенные в Ипатьевском доме, продолжают лететь и уносят жизни. Я должен попасть на войну и остановить полет пуль. Моя Империя, мое царство должны быть спасены от войны.

Олеарий смотрел на него пристально и тревожно. Извлек из кармана крохотный мобильный телефон, который вспыхнул всеми цветами радуги. Постучал по кнопкам.

—Это Олеарий. Что на ленте новостей? Где? Когда началось? Позвоните скорее в Генштаб.

Захлопнул телефон. Смотрел на Алексея вишневыми, изумленно цветущими глазами:

— По закрытым каналам информации. Только что начался массированный обстрел Цхинвали. Грузинские танки прорываются к центру города. Есть жертвы среди мирного населения и потери среди российских миротворцев. Кажется, началась масштабная война на Кавказе. Вы настоящий прозорливец, Алексей Федорович.

— Мне надо на эту войну. — Алексей торопился к выходу. — Пули не должны разлететься.

Профессор Коногонов острым взглядом хирурга посмотрел на него. Дохнул на золотой перстень.

Они шли с Мариной в вечерних сумерках, среди свежих московских огней. Алексей на ходу звонил по мобильному телефону министру обороны Курнакову:

— Мне необходимо попасть на Кавказ. Необходимо попасть в Цхинвали.

— Но это небезопасно. Обстановка неясна. Мы в самом начале конфликта.

— Я помню, вы мне обещали всяческое содействие. Этот момент настал. Не думаю, что мне следует по этому поводу обращаться к Президенту.

— Разумеется, мы это решим своими силами. Завтра утром во Владикавказ отправляется борт с аэродрома «Чкаловский». Там будут офицеры оперативной группы. Я отдаю вас на их попечение.

— Благодарю. Аэродром «Чкаловский». Завтра утром.

Он вызвал машину с шофером Андрюшей. Марина, мучаясь и тревожась, держала его за руку, отговаривала, умоляла:

— Разве тебе обязательно лететь? Там война, там смерть. Останься со мной.

— Там воюет мой народ, воюет моя армия. Я должен лететь.

— А я? А он? — она положила его руку на свой живот. — Ты не подумал о нас?

— Там война. Царь должен быть с воюющей армией.

Подкатила машина. Шофер Андрюша за стеклом хрустально моргнул фарами.

— Поужинаем вместе, — сказал Алексей, — в том грузинском ресторанчике на реке, у Мамы Зои, где были очаровательные грузины, и один, ты помнишь, с черными усами, жгучими глазами, как с картины Пиросмани, упал перед тобой на одно колено. Грузины — народ империи. Столько великих грузин создавали славу русской империи. Хочу увидеть грузин и убедиться, что они не наши враги. Хочу засвидетельствовать Маме Зое мое почтение.

Они сели в автомобиль, подкатили к ресторанчику на Моск– вереке. Прошли по шаткому трапу на поплавок. Он был безлюден. Огни не горели. Музыка молчала. С кухни не доносились ароматы грузинских блюд. В сумерках вестибюля, на кресле, они заметили согбенную фигуру. Это была Мама Зоя, совсем старуха, печальная, укутанная в черную шаль, словно у нее случилось горе.

— Мы хотели у вас поужинать, — сказал Алексей. — Хотели сказать, что против этой войны. Не видим в грузинах врагов.

— Ресторан закрыт. Все мои официанты и повара, все мои мальчики уехали на Кавказ, защищать грузинские села, на которые напали осетины. Не знаю, откроемся ли мы когда-нибудь. Вернутся ли с войны мои мальчики.

Алексей смотрел в сумрак ресторанного зала, где совсем недавно все звенело счастливой музыкой, танцующие джигиты несли на пылающем блюде ломти шипящего мяса, и усатый красавец с пунцовыми губами ослепительно им улыбался, падал на одно колено, желал счастья.

Они вышли с Мариной на набережную. Он обнимал ее у вечерней, ленивой реки, по которой торопился речной трамвайчик, словно отталкивался от воды золотыми веслами. Она молча плакала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Поздно вечером Ромул увидел телевизионный сюжет. Президент Лампадников принимал в кремлевском кабинете самозванца Горшкова, который именовался не иначе, как претендентом на российский престол. Подобно тому, как искусные селекционеры прививают к стволу элитной яблони горький, чахлый дичок, надеясь получить от него сладкий, медовый плод, так кремлевские хитрецы, в первую голову, вероломный Виртуоз, поместили жалкого самозванца в разветвленное древо Романовых, выдавая его за полноценный благородный побег. Сюжет передавался несколько раз в течение дня, и ему уделялось особое внимание в зловредной интриге, длящейся вот уже несколько месяцев. Ромул перебирал в памяти все предшествующие появления на экране этой новоявленной знаменитости, убеждаясь в безупречной продуманности проекта, когда никому неведомый персонаж настойчиво и успешно навязывался общественному сознанию. Укрупнял свой образ, представал в окружении все новых и новых общественных слоев, демонстрировал свое влияние в среде военных, интеллигентов, политиков. Сегодняшний сюжет был вершиной этого виртуального восхождения. Самозванец был гостем самого Президента в малахитовом кабинете Кремля, что означало высшую приближенность к сокровенному центру власти. Фонограмма беседы отсутствовала. Однако диктор передал ее содержание. Этим содержанием было определение Справедливости, как основы будущей Российской Империи. Складывалось впечатление, что Президент Лампадников обсуждал с самозванцем принципы имперского устроения России, которому надлежало осуществиться с восстановлением в скором будущем монархии. И в центре этого монархического возрождения оказывалась фигура этого мнимого романовского отпрыска.

Ромул испытал моментальный прилив крови, от которого в глазах замелькали красные вензеля. Бешенство его было столь велико, что он откинулся на диван, оглушенный ударом ненависти. Измена, которая чудилась ему в последние месяцы, стала реальностью. Заговор, который он старался нащупать и разоблачить и от которого тщательно

отвлекали его вчерашние друзья и соратники, — этот заговор вдруг обнаружился.

Он выглядел шутом, напыщенным простаком, восседал на картонном троне бутафорского величия, в то время как истинная власть и величие от него ускользали. Его друг Президент Лампадников, которому он на время, под честное слово, с клятвой на Евангелии, передал власть, чтобы вернуть ее в урочный час, — обманул, предал, придумал коварный план, где ему, Ромулу, отводилась роль жалкого шута и тряпичной куклы. Вначале был создан ложный кумир, цветок-паразит, поглощавший живые соки его, Ромула, влияния. Теперь эта упитанная, с жирными лепестками орхидея, окончательно вытесняла его из власти, и в политических кругах обсуждался не способ и срок возвращения власти к Ромулу, а способ и срок передачи власти от Президента Лампадникова к новому русскому императору.

Это было невыносимо. Ромул чувствовал, как рядом, в мутном металлическом воздухе, закручивается стремительная воронка, завинчивается водоворот, рождается засасывающий вихрь, который утягивает его в чудовищную щель. Его протащит по каким-то отвратительным трубам, сквозь мерзкие отверстия, липкие фильтры и выплюнет вместе с потоком зловонных вод в сточную канаву истории, где безликие, лишенные признаков, плавают разложившиеся тела исторических неудачников.

Он впал в истерику. Метался по ночным апартаментам, и не спасал ни французский коньяк, ни портрет кисти художника Никаса Сафронова, изобразившего его в виде римского консула, ни богато изданная книга его мудрых изречений и афоризмов. Спасение было в другом. Он должен был немедленно, сию же минуту, услышать пленительный голос Полины Виардо, переносивший его из отвратительного мира лжи и ненависти в лазурные сновидения. Там, на розовых водах, дремлют белоснежные птицы, недвижно парят голубые облака, по водам, не расплескивая хрустальные отражения, ступает желанная женщина, облаченная в прозрачную ткань. Целуя воздух, он слушает божественный голос, ждет ее приближения.

Ромул проскользнул через гостиную с камином, в котором молча остывали гранатовые угли. Миновал библиотеку, где в стеклянных усыпальницах покоились великие мудрецы и поэты. Оказался в

спальной с распахнутой, как белый сугроб, кроватью. Из резной тумбочки, усыпанной лазуритом и яшмой, — подарок индийского посла, — извлек драгоценный сверток. Развернул шелковую ласкающую ткань, и вместе с ней — бархатистый, чуть влажный свиток. Женщина, плоская, словно нарисованная наивным художником на клеенчатом коврике, смотрела большими телячьими глазами, манила пунцовым ртом, слегка округлой грудью, длинными, как пустые чулки, ногами, кончавшимися нежными каплями педикюра. Со времени их последней встречи, когда она уступила его настояниям, одарила неземными ласками, а потом, испугавшись появления Ивана Сергеевича Тургенева, сжалась, уменьшилась, пытаясь исчезнуть, — с тех пор он не докучал ей, боясь показаться навязчивым и брутальным. Сейчас же желал от нее не телесных услад, не жарких объятий и поцелуев, а только голоса, божественного звука, который мог спасти его помутненный рассудок, обещая блаженство, если не здесь, на земле, то хотя бы там, где нет обмана, коварства и ненависти.

Он уложил свою ненаглядную на кровать. Обнаружил у нее под мышкой трещинку, сквозь которую в ту роковую ночь ушел наполнявший ее воздух. Плотно сжал пальцами кромки разрыва. Взял в рот тонкую трубочку, прикрепленную к бедру любимой, и стал дуть. Его дыхание было сильным, сопровождалось молчаливыми уверениями в любви, обещаниями сделать ее «Первой леди», когда будут сокрушены вероломные изменники, и она, несравненная певица, станет примой Большого театра. Из золотой президентской ложи он станет ждать с нетерпением, когда померкнет громадная хрустальная люстра, раздвинется занавес, и по лазурным водам, под розовыми облаками, пойдет несравненная женщина, оповещая неземным голосом о своем приближении.

С каждым выдохом плоскость обретала объем. На лице появился трогательный и нежный нос. Выпукло и пленительно закраснелись сочные губы. Груди возвысились, молодо и уверенно завершаясь смуглыми сосками. Плоские ноги стали полнеть, округляться. Заблестели розовые колени, лунным светом отливали плавные бедра. Волновался, мягко дышал восхитительный, жемчужного цвета, живот.

От чрезмерно глубокого дыхания голова у Ромула кружилась. Ему чудилось, что у женщины задрожали ресницы, наполнились слезной влагой глаза.

— Пой, умоляю тебя! — шептал он в трубку, делая выдох за выдохом, видя, как раскрываются ее губы, сияют зубы, и вот-вот его печальное жилище огласят звуки райских напевов.

Он наклонился к ней, желая дотронуться губами до ее близкой груди. Пальцы, сжимавшие под мышкой трещинку, разжались, и вместо пения раздался отвратительный змеиный свист, сипящий хрип. Запахло тальком, которым посыпают медицинскую резину. Женщина, утратив объем, превратилась в плоский резиновый язык, вульгарно заляпанный краской.

Разочарование было огромным. Горе его удвоилось. Однако он нашел в себе силы скатать в рулон предмет своих воздыханий, обернул в шелковый саван и спрятал в потаенную индийскую тумбочку. Зарылся в постель, как зарывается в сугроб одинокий медведь.

Утром ему был нанесен второй удар, вдогонку первому, тому, что он получил накануне. После крепкого кофе, еще в халате, еще до запланированной встречи с детьми-инвалидами, где он должен был перед телекамерами одарить больного энцефалитом мальчика новейшей германской коляской, Ромул в библиотеке просматривал свежие газеты. На первой странице «Коммерсанта» он обнаружил цветную фотографию президента Лампадникова и самозванца в малахитовом кабинете. Под ними — огромная статья журналиста Ильи Натанзона, которая называлась «Трон не останется пустым». Натанзон присутствовал на упомянутой встрече и в своей экспрессивной манере, в которой угадывалась легкая картавость, передавал дух и букву исторического свидания. Ромул читал, чувствуя, что сердце его разрывается, словно граната, готовое выплеснуться из груди красными брызгами.

Натанзон передавал дружескую атмосферу, в которой протекала беседа единомышленников, давно искавших этой встречи. Алексей Федорович Горшков, а по сути — Романов, только что явился из Екатеринбурга, от Ганиной Ямы, где пережил мистическое откровение, соединяясь в духе со своими августейшими предками. Президент поделился с гостем раздумьями о возвращении в Россию монархической формы правления. Это возвращение положит конец смутному времени, которое длится в России вот уже целый век, накапливая в русской истории неразрешимые противоречия, несоединимые разрывы, несопоставимые смыслы. Примирить их в

личности нового монарха, не затронутого вековыми распрями, одухотворенного религиозным чувством и «райской мечтой» — значит обеспечить России процветание в это неспокойное время. Гость, согласившись с Президентом, поведал, что в основание новой империи будет положен принцип Справедливости. Она соединит распавшиеся территории от Кушки до Нарвы, от Курил до Беловежской Пущи, примирит богатых и бедных, сочетает все населяющие империю народы в симфоническое единство. Президент заметил, что переход к монархии не будет трудным, ибо общество созрело для этого, о чем свидетельствуют многочисленные встречи будущего Императора с представителями всех сословий. Останется уладить некоторые частности с Семьей Романовых. Договорится с иерархами Православной церкви. Обсудить с политическими партиями контуры новой конституции и сроки ее принятия. Во время беседы были высказаны критические и, порой, ироничные замечания в адрес прежнего Президента Долголетова, который для укрепления своей власти присвоил себе неподобающий статус Духовного Лидера, напоминающий надувную резиновую куклу.

Это звучало как чудовищное оскорбление. Как намек на некие резиновые изделия из магазина «Интим», которыми пользовался Ромул. Это был открытый призыв к смене конституционного строя, начало ползучего государственного переворота. И это требовало незамедлительного ответа.

Стальная воронка разверзалась перед Ромулом, затягивая в свое бешеное вращение. Жуткий магнетизм неодолимо увлекал его в крутящуюся бездну, и было невозможно устоять, не вступить в борьбу, отдать без боя власть, которая была его дыханием, костным составом, кровеносной системой, вне которой было невозможно его существование. Тем же непомерным усилием воли, что и в дни террористического акта в Беслане, он превозмог свою панику. Вернул в грудь похоже на гранату сердце, вставил в него чеку, не дав разорваться. Стал обдумывать меры противодействия.

План предателя Рема сводился к тому, чтобы возвести на престол провинциального увальня, тобольского святошу. На бессрочные времена захватить в свои руки все струны управления государством, оставаясь у власти до смерти. Его же, Ромула, отодвинуть на самую периферию общественной жизни, где он будет забыт, превратится в

комочек бесцветной пыли. Чтобы это не случилось, следует нанести превентивный удар. Совершить контрпереворот, опираясь на верные воинские соединения, антиклерикальные круги интеллигенции, оборонный бизнес, которому отвратительны разглагольствования о справедливости. Результатом переворота должно стать возвращение его, Ромула, в Кремль, изоляция, а если необходимо, то истребление изменника Рема, интернирование заговорщиков, среди которых первое место занимает Виртуоз, недавний сердечный друг, а ныне гнусный предатель.

Сбывалось пророчество старца Иоанна Крестьянкина, предсказавшего скорую смерть Верховного Правителя России, коим в настоящее время являлся Рем. Его истребление предвидел святой монах в тесной келье Псково-Печорского монастыря, и это истребление проистечет от него, Ромула. Вот почему умирающий старик упал перед ним на колени и, обливаясь слезами, целовал ему руки. Что ж, такова воля Божья. Рок действует через него, Ромула, как он действует всегда через волю великих мужей.

Конечно, существовал незабытый и скверный опыт ГКЧП, когда группка битых перхотью заговорщиков, обладая армией и партией, телевидением и разведкой, упустила власть, безвольно передала ее свирепому кентавру с головой Ельцина и туловищем танка. Но этот опыт не повторится. Воля и только воля, жестокая решимость идти до конца, мистическая вера в свою звезду — вот слагаемые победы, которую он, несомненно, одержит.

Операция, что он молниеносно осуществит, будет называться «Пророк», знаменуя пророческое предвещание старца, которому суждено сбыться.

Легкой походкой античного скорохода Ромул обежал несколько раз кабинеты и залы «Дома Виардо», мраморные лестницы и зеркальные вестибюли, мелькая стремительным отражением, черпая в скоростных перемещениях энергию и волю, на ходу оттачивая замысел. Замысел опирался на две составляющие. На силовой захват властных центров, министерств и штабов, а также резиденции самого Рема. На информационную поддержку электронных СМИ, что предполагало захват телецентра и установление цензуры военного времени. Написание манифеста, патетическое обращение к народу требовало искусства слова и рафинированной логики, которой в

полной мере обладал Виртуоз, переметнувшейся к врагам. Нельзя было положиться и на Илью Натанзона, который когда-то, в пору его, Ромула, президентства, писал для него блистательные речи. Вероломный иудей служил теперь другому кумиру. Приходилось искать сподвижников среди нового поколения литераторов, еще не продавших девственное перо могучим обладателям власти.

Он вызвал к себе двух людей, коим намеревался поручить сокровенное дело, составлявшее природу русской дворцовой жизни, куда нередко вторгались яд, пистолетная пуля, серебряная табакерка или удавка. Усмехнулся, подумав, что в новую Конституцию обязательно внесет статью, оставляющую за Духовным Лидером право на государственный переворот.

Первым на его зов явился командир бригады специального назначения, расквартированной на окраине Москвы, полковник Гренландов. Он был в камуфляже и портупее, громадный, созданный из уступов и неровностей, будто его выломали из стены взрывом. Голова, плечи, бедра, стиснутые кулаки были похожи на глыбы разных размеров, которые слегка громыхали, несли в себе эхо взрыва. Узкий лоб был в свинцовых складках, металлические брови напоминали подковки сапог, но глаза под ними умные, зоркие, проницательные, давали понять, что внутри этих глыб и валунов замурован умница, осторожный и вдумчивый наблюдатель.

— Здравствуйте, Геннадий Кириллович,— Ромул усаживал полковника в кресло, слегка подталкивая, как подталкивают груженную гранитом вагонетку. — Как семья? Как здоровье? Как служба?

— Спасибо, Виктор Викторович, все нормально, — полковник сел в кресло, в котором жалобно простонала пружина и образовалась внутренняя грыжа.

— Как с квартирой? Удалось переехать в элитный район?

— Спасибо вам за квартиру, Виктор Викторович. Живу, как Абрамович, — хмыкнул полковник, подвигав тяжелыми, как каменные ступени, губами.

— Русский офицер должен жить лучше Абрамовича. Абрамович при виде русского офицера должен уступать дорогу и снимать шляпу.

— Кипу, Виктор Викторович. Офицеры Российской армии ценят вашу заботу. Я лично умирать стану, не забуду, что вы для меня

сделали, — голос полковника рокотал, как далекий камнепад.

— Верховный главнокомандующий не должен давать в обиду русских офицеров, особенно тех, кто проливает кровь за Отечество.

Ромул хвалил себя за тонкий подход к офицеру, боевое подразделение которого обладало сокрушительной мощью, мобильностью, способностью малыми силами контролировать крупные объекты. Гренландов был обязан Ромулу. Во время второй Чеченской кампании, воюя свирепо и беспощадно, он угодил под следствие, которое обвинило его в изнасиловании и убийстве чеченской девушки. Ее нашли в командирском кунге Гренландова мертвой, голой, со следами побоев и надругательств. Гренландов утверждал, что девушка была чеченским снайпером, застрелила несколько офицеров бригады. Ему грозила тюрьма, разжалование, лишение наград, если бы в дело не вмешался лично Долголетов, бывший в ту пору президентом. Он вызвал к себе военного прокурора и произнес фразу, облетевшую войска: «У женщин-снайперов при отдаче разрывается девственная плевра. Гренландов не гинеколог, а специалист по спецоперациям». Дело закрыли, Гренландов окончил войну Героем России, получил должность командира элитной бригады.

— Ну что, вспоминаете своего Верховного главнокомандующего? Или уже влюблены в нового? Какие настроения в армии?

— Тревожно, Виктор Викторович. Не реформа, а одна болтовня. Вооружение старое, связь допотопная. Обмундирование придумал Любашкин такое, что, если срать садиться, надо сто пуговиц расстегнуть. Кавказ вот-вот взорвется, а чем воевать? Опять сорок первым годом пахнет.

— Запустил Лампадников армию, ничего не скажешь. Все, что по крохам добывали после Чеченской кпмпании, все спустил. Не удивлюсь, если скоро на ядерных объектах России увидим американских морпехов.

— Кругом предательство, Виктор Викторович. Больно смотреть, — голос звучал так, как если бы в груди полковника терлись два жернова.

— При такой политике скоро американцам Сибирь отдадим.

— Не для этого мой дед под Сталинградом погиб, с саперной лопаткой ходил в рукопашную.

— Что ж, так и будем терпеть?

— А что делать?

— А вот слушай.

Ромул поведал полковнику о чудовищном замысле расчленения России, который вынашивает любимчик американской администрации, ненавистник всего русского Президент Лампадников. Поведал о последней возможности предотвратить коварный замысел. Открыл свой план смещения изменника Родины. Объявил о той миссии, которую возлагает на Гренландова.

— В день, когда ты арестуешь Лампадникова в его резиденции, соберутся на экстренные заседания Дума и Совет Федерации. Отстранят его от должности и утвердят меня. Произведем полную смену кабинета. Курнакова — долой. Министром обороны станешь ты. Начнем полномасштабную модернизацию армии, пуски ракеты «Порыв», закладку стратегических лодок. У России нет друзей кроме армии и флота, а у меня — кроме полковника Гренландова. Если Лампадников будет дергаться, чего доброго, задумает бежать, поступи с ним, как с чеченской снайпершей. Порви ему плевру. Что скажешь?

Из гранитного валуна, поросшего железными мхами, смотрели на Ромула умные, зоркие, все взвешивающие и просвечивающие глаза. Каменные губы раскрылись, и подземный голос произнес:

— Служу России!

Ромул провожал полковника до дверей, слыша, как скатывается по парадной лестнице каменный оползень.

Через некоторое время в «Доме Виардо» появился молодой литератор Минтаев, чьи модные романы рекламировались на бигбордах и растяжках на всех центральных улицах Москвы. На звания романов были эпатирующие, состояли из русских и английских слов, например «Sweet ляжка», или «Admirebl пупок», сопровождались рисунками Никаса Сафронова — прельстительная женская нога в кружевном чулке или пленительный девичий живот с бриллиантиком в лунке пупка. Литератор был одет в изысканный костюм, в безупречном галстуке, первоклассных часах, являл пример атакующей бесцеремонной молодости, его ясные глаза захватчика оценили качество мебели в гостиной, стоимость малахитовых часов на камине, перевесили старинный персидский ковер в кабинет своего дорогого, только выстроенного коттеджа. Он был отлит из горячих и звонких сплавов честолюбия, рыночных технологий, презрения к

литературному процессу. Ромул уловил исходящий от его розовой кожи запах женщины, с которой тот недавно и неохотно расстался.

— Хотел познакомиться с литератором, который прервал, наконец, унылую скрипку постмодернизма и внес в литературу звук боевых валторн, могучее дыхание органа, огненный плеск фортепьяно. — Ромул усадил гостя и очертил вокруг него магический круг, помещая его в центр своего обаяния.

— Вот уж не предполагал, что вам знакомы мои произведения! — произнес Минтаев. — Мне казалось, президенты не читают книг. Им не нужны обременительные знания о том, как живут их подданные.

— Это только в том случае, если в книгах не содержится подлинных знаний. Постмодернизм свел литературу к игре в бисер. Эта литература учит, как расплести время на бесчисленное количество пестрых, не связанных между собой нитей. Людям, живущим в наши дни, нужна литература, связывающая распавшиеся волокна в единую ткань, как этот хорасанский ковер, на который вы смотрите с таким восхищением.

— Действительно, мои книги нужны тем, кто придерживается лозунга «Сделай себя сам», — самодовольно ответил писатель, взбодрив под шелковистым пиджаком молодые мускулы, прекрасно поработавшие в течение тридцати лет для того, чтобы стать литературным удальцом, обладателем красного «Ягуара» и элитного коттеджа на Ново-Рижском шоссе в сосновом бору с видом на озеро и старинную церковь.

— Я выбирал вас среди многих других писателей, и этот выбор было не трудно сделать. Ибо подобных вам нет, вы единственный в своем роде. Я не литературный критик, но вы становитесь геральдикой нового литературного направления. Ясность мысли, материализм, стремление овладеть миром здесь и сейчас. Вы являетесь и писателем, и одновременно героем, которого описываете. Государство должно повернуться лицом к такой литературе, преодолеть досадный разрыв между властью и художественными текстами.

— В чем же ваши намерения? Какую пользу мы можем принести друг другу? — В ясных серых глазах Минтаева появился особый синий ободок, как вокруг фонаря в морозном воздухе. Знак повышенного внимания, предвкушение выгодного для себя предложения.

— Хочу предложить вам сюжет романа, издание которого возьмет на себя государство. Крупный тираж. Распространение по всей России. Очень большой гонорар. Престижная премия, вроде «Большой книги» или «Русского Буккера». Вы становитесь государственным писателем в том смысле, каким им был Шолохов. Под особой опекой государства, с особой идеологической миссией со всеми вытекающими материальными и статусными благами.

Минтаев старался сохранить видимость гармоничного и во всем утоленного человека, однако сплавы, из которых он был создан, плескались в тигле, разбрызгивались через край, и Ромул бояться этих раскаленных, медно-оловянных капель.

— Что за сюжет?

— Ну, как вам сказать. Кремль, кремлевская интрига. Антураж современной политики — я вам помогу материалом. Современные, узнаваемые фигуры, — я вам дополню их портреты. Смысл интриги в следующем. Президент задумал переориентировать Россию в сторону Америки, свести на нет все усилия своего предшественника, который сделал Россию самостоятельной и сильной. Только не нужно прямых аналогий. Он хочет отказаться от ядерного оружия, передать Курилы японцам, а Калининград немцам, установить протекторат Америки над Сибирью с ее несметными ископаемыми. Как вы знаете, это далеко не фантазия. Для этого он хочет восстановить в России монархию и сделать это руками самозванца, который уже выращен в американском инкубаторе, где-то в штате Колорадо, и заброшен в русскую провинцию. Самозванец переезжает в Москву, его, как куклу, возят по кругам монархистов, церковников, показывают интеллигенции, военным, — приучают общество к мысли о монархии. Разве мы не являемся свидетелями этих телевизионных махинаций? Его уже совсем было сажают на трон, уже готовится венчание на царство, съезжаются главы Большой Восьмерки, подготовлена новая Конституция. Но, как это не раз бывало в русской истории, поднимаются патриоты, обнаруживаются современные Минин и Пожарский. Они идут на Москву с ополчением, с бригадой спецназа, свергают самозванца и его клику. Возможен любой антураж, ну хоть как в эпоху Гришки Отрепьева. Лжецаря скидывают с колокольни, топят в проруби, выстреливают из Царь-пушки. Россия спасена,

торжествует русская правда, «Русская Справедливость». «Русская цивилизация» спасена от разгрома.

Минтаев выглядел человеком, для которого нет невозможного. Он был похож на озаренный разноцветный бигборд вдоль правительственной трассы из Внукова. Самый модный писатель России, автор бестселлера «Lier царь». Он держит на ладони Царь-пушку, из которой выстреливается скомканное тело бессмысленного проходимца.

— Как быстро я должен изготовить роман? — поинтересовался писатель.

— Время не терпит. Даю вам месяц. Предоплата обеспечена. Однако уже через день вы должны принести мне речь новоявленного Минина, с которым тот обращается к народу по телевидению. Там должен быть компромат на изменника Президента, обличения в адрес Лжедмитрия. Нужно сказать о Курилах и о Кенигсберге. О нефтяных месторождениях и об американских морпехах, которые занимают наши ядерные центры. И о секретных банковских счетах Президента в офшорах, — я, кстати, дам вам конкретные счета. И о схемах увода этих денег— с этим я тоже помогу. А также о намерении выпустить из тюрьмы Ходорковского и вернуть ему ЮКОС, средства от которого сегодня идут на поддержание пенсионеров, сирот, оборонки и сельского хозяйства.

— Ну что ж, мне это вполне под силу, — самодовольно ответил Минтаев.

— Однако в этом тексте должны быть пафосные, эмоциональные выражения, которые западут в народную душу. Запишите, пожалуйста.

Минтаев удивленно поднял тетеревиную бровь, из-под которой круглый глаз с нескрываемым хохотом посмотрел на Ромула:

— Что ж, я записываю.

— Пусть будет такая фраза: «Заклинаю вас святой Русью и всеми витязями русскими, и гренадерами, и ополченцами, и пехотинцами сорок первого года…» Записали?

— Конечно.

— «Ничтожный лукавец, бездельный побирушка, выпавший из чужого гнезда кукушонок…» Записали?

— Да.

— «Мы сорвем с него одну маску, но под ней откроется другая. Сорвем и ее, но под ней снова маска. И ее сорвем, и снова маска под маской, и так бесконечно, пока ни откроется зияющая пустота. Он — пустота, ноль, ничто…» Записали?

— До последнего слова.

— Жду вас через день в это же время. Не сомневаюсь в успехе.

— А каково происхождение этого ковра? —Минтаев жадно рассматривал темно-синий, опаленный красными узорами и арийскими золотыми крестами ковер, в котором чудилась зороастрийская тайнопись и ведические коды.

— Это подарок иранского президента в знак благодарности за содействие в ядерной отрасли.

Минтаев покинул гостиную, оставив в ней отблеск раскаленных страстей, приторный запах женщины, которая видела в нем богача и гения.

Следом явился Председатель Думы и лидер правящей партии Сабрыкин. Ромул разглядывал его серое, худосочное, с седоватыми усами лицо, испытывая к нему давнишнее, плохо скрываемое презрение. В нем всегда было что-то жестяное, негибкое, внутренне дребезжащее, ранящее слух то фальшивым скрипом, то монотонным звуком падающих в бочку капель. Сейчас, устроившись в кресле, странно вывернув ноги, он напоминал обрезок оцинкованного железа с загнутым, опасно заостренным завитком. Так выражалось его вероломство, готовность оправдываться и защищаться.

— Ну что, — начал небрежно Ромул, — значит, вы там у себя в Думе хотите царя посадить?

— Что вы, какого царя! — голос Сабрыкина был похож на звук консервной банки, которую вскрывают ножом, — Зачем нам царь, Виктор Викторович?

— Значит, зачем-то нужен, если ты собираешь в Думе руководителей фракций, представляешь им претендента на царский престол и говоришь, что можно изменить Конституцию и учредить в России монархию.

— Побойтесь Бога, Виктор Викторович, откуда ветер дует? Интриги коммунистов, которые хотят меня выставить перед вами дураком и предателем, — заостренный завиток поднялся, как хвост скорпиона, готовый обороняться и жалить.

— Есть записи, Сабрыкин, отличные записи прослушивания, где ты обещаешь этому самозванцу изменить Конституцию. А ведь это пахнет государственной изменой, Сабрыкин. Это без пяти минут конституционный переворот. Я собираюсь предъявить эти записи и показания свидетелей в Конституционный суд.

— Да что вы, Виктор Викторович, все это было так, смеха ради. За бокалом шампанского. Президент Артур Игнатович попросил меня принять в Думе Алексея Федоровича Горшкова и поразвлечь его. Не более того. — Колючий хвост Сабрыкина, готовый жалить, свернулся сам собой и куда-то спрятался, и он сидел на краюшке кресла, дребезжащий, как вырезанный из жести флажок, послушный дуновениям ветра.

— А ведь это очень неприятная процедура, Сабрыкин. Заключение прокуратуры. Лишение депутатской неприкосновенности. Отстранение от должности Председателя Думы. Позорное изгнание из партии. Страна, затаив дух, будет следить за процессом.

— Виктор Викторович, да спросите вы, кого хотите, как мы его в Думе встречали. Один балаган. Одни пустые речи. Встретились и разошлись, чтобы больше не встречаться. Сейчас все мои силы на том, чтобы провести через Думу закон, увеличивающий президентские полномочия с четырех до шести лет. Чтобы вы, когда вернетесь в Кремль, чувствовали себя уверенней и тверже. Этим я сейчас занимаюсь.

— Хорошо, Сабрыкин, я хочу тебе верить. Хочу верить, что ты не забыл, откуда вышел и как оказался в Москве.

— Да кем бы я был, если бы не вы, Виктор Викторович? Так бы и сидел в местном самоуправлении под Уржумом. А вы заметили меня, дали ход.

— Уж больно ты хорошо принимал меня в Уржуме, Сабрыкин. Больно вкусную уху сварил, на баяне играл и сплясал по моей просьбе. Я тогда подумал, вот золотой человек, будет всегда плясать по моей просьбе. И взял тебя в Москву, сделал третьим лицом в государстве.

— Виктор Викторович, да хоть сейчас прикажите: «Сабрыкин, спляши», — да я с наслаждением, нашу русскую «Камаринскую». — Он уже вставал, закручивая ус, лихо отводил плечо, готовясь запустить витиеватое коленце. Но Ромул остановил его.

— Ладно, Сабрыкин. Верю тебе. Хочу тебе сказать две вещи. Первая. Блюди Конституцию. Она не уличная девка, а богиня, а ты жрец, приставленный к богине, чтобы ни одна грязная рука не коснулась божественного чела. Понял?

— Понял, Виктор Викторович. Она и есть богиня, вроде Венеры Милосской, только с руками.

— Второе. Все наши слова и дела записаны в скрижаль, один экземпляр которой хранится на небе, а другой в ФСБ. Когда обсуждали судьбу Ходорковского, одни, те, что помягче, предлагали отнять у него ЮКОС, оставить полмиллиарда на пропитание, и пусть себе живет в России, как частное лицо, «Левые повороты» пишет. Другие, что пожестче, хотели выслать его за границу. Дескать, там у него есть заначки в швейцарских банках, не пропадет. А ты, Сабрыкин, требовал его посадить на цепь. Это с твоей подачи бедный узник в Сибири томится. И пока он в тюрьме, ты в Думе. Он на свободу выходит, ты занимаешь его место на нарах. Это понятно?

— Про скрижали мне все понятно, Виктор Викторович.

— А посему делай, что я приказываю.

— Все сделаю, Виктор Викторович.

— По моему сигналу соберешь Думу на чрезвычайное заседание. Речь может зайти о предотвращении государственного переворота, да не твоего, потешного, а настоящего, с пулями и с кровью. И еще речь может пойти о моем досрочном возвращении во власть, что потребует утверждения Думы. Если все совершись, как надо, по совести, с благодарностью к своему благодетелю, благодетель тебя не оставит. Станешь Премьер-министром. Вторым лицом в государстве. Понял?

— С полуслова, Виктор Викторович.

— Теперь ступай и жди от меня сигнала.

Сабрыкин поднялся, пятясь, удалился, оставляя в воздухе верещащий звук вырезанной из жести вертушки.

Самые первые приготовления к превентивному удару были завершены. Контуры операции «Пророк» были прочерчены. Предстояло разработать множество деталей — выбор объектов в Москве и Санкт-Петербурге, которые надлежало блокировать. Секретные переговоры, чрез головы министров, с преданными командирами подмосковных дивизий и частями внутренних войск. Интернирование сторонников Президента Лампадникова и его самого

на время проведения операции. Незамедлительная, после первых дней операции, встреча с послами иностранных государств и сигналы дружбы в адрес Америки и стран НАТО. Все это предстояло сделать немедленно, не привлекая внимания Рема. Но прежде его неодолимо потянуло в святую святых Государства Российского, в святилище, превыше мавзолея и усыпальницы Архангельского собора, в тайную лабораторию «Стоглав», где хранились головы величайших государственников, в своей дремотной потусторонней жизни продолжая окормлять страну посмертными думами и великими, не успевшими завершиться проектами.

Доступ в «Стоглав» осуществлялся непосредственно из Кремля. А также из подвального помещения ГУМа. И с воды, с набережной Москвы-реки, у крохотного причала, где в невидимой нише дежурил скоростной катер. Ромул прошел галерею ГУМа с бутиками Сен-Лорана и Гуччи. Опустился в подвальный этаж, где разгружались фуры с товарами и рабочие-таджики в комбинезонах толкали тележки с коробками затейливой формы, в которых покоились моднейшие шляпки, галстуки, туфли. У незаметной железной дверцы приложил к сканеру растопыренную ладонь, позволив сделать с нее электронный отпечаток. Прошел по шершавому, в грубом бетоне тоннелю до следующих дверей, где предъявил электронному окулисту свой широко раскрытый, с голубоватым райком и дрожащими ресницами глаз. Оказался в просторном сияющем зале с немеркнущим светом и сладковатым парфюмерным запахом, словно где-то рядом истлевали тропические цветы и корки бананов. В зале, во всю длину, стояли мраморные столы с рядами стеклянных сосудов, в которых плавали головы русских властителей. Их счет открывал Николай Второй, а завершал необычную коллекцию Ельцин. Ромул в пору своего президентства не часто бывал в подземном питомнике профессора Коногонова, не слишком верил сомнительным результатам его опытов, не переносил приторную смертоносную сладость, витавшую над стеклянными ретортами. Было тяжело смотреть на корнеплоды, по которым прошлось лезвие гильотины. Приходили на память стихи Гумилева:

Вывеска… кровью налитые буквы.
Гласят: «Зеленная», — знаю, тут

Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

Но на этот раз его привлекли сюда чрезвычайные обстоятельства. Была важна каждая малость, любой прогноз, указывающий на возможный исход операции. Вот почему он и двигался теперь вдоль беломраморных столов, улавливая легчайшие трески электрических разрядов, мерцание прозрачных зарниц, словно над отрезанными головами, в свете фонарей, сталкивались с тихим шелестом прозрачные существа, окружали сосуды млечным трепетаньем.

На этот раз здесь творилось нечто необычное. Головы были охвачены мучительным возбуждением. Их переполняли эмоции, терзали тревоги, в мертвом мозгу взрывались невыносимые мысли, и губы и языки непрерывно шевелились, гримасничали, желали высказаться. Но желтоватый раствор, наполнявший сосуды, толстое стекло аквариума гасили звук, и требовался глухонемой, чтобы прочитать беззвучные вопли, бессловесные проклятья и крики. Стройная вереница сосудов, выверенный ряд голов, насаженных на незримую ось, создавали видимость исторического единства, преемственность исторического времени. Перетекая из одной стеклянной банки в другую, время олицетворялось той или иной головой, ее дремотой грезой, ее длящимися десятилетия созерцаниями. Теперь же единая линия исторической жизни казалась разорванной. Банки были сдвинуты с места. Головы прыгали в них, как чудовищные поплавки, так что раствор переливался через край, растекался по столу, и там где жидкости разных сосудов встречались, начиналось шипение, выскакивали болезненные пузыри, выделялся едкий газ. Головы ненавидяще смотрели одна на другую, ударялись лбами о банки, словно бодались. Скалились, хотели прогрызть ненавистное стекло, добраться до соседа, вцепиться в его щеку, нос, высунутый язык. Голова царя Николая вращалась, как в водовороте, поворачиваясь то седым затылком, то измученным ожесточенным лицом, успевая крикнуть какую-то безумную фразу соседнему Ленину, который брезгливо оттопыривал нижнюю губу, всем видом выражая презрение к царю. Сам же Ленин обращался к Сталину, его дергающаяся, страстно несогласная голова предполагала характерный жест

выбрасываемой вперед руки с зажатой кепкой, а сквозь желтые зубы и ржавые колючие усики сыпались беззвучные проклятья. Сталин не откликался на эти нападки, его рыжие глаза метали сквозь стекло молнии ненависти в сторону одутловатой, покрытой трупными пятами головы Хрущева, который безмолвно огрызался, в бессилии нанести Сталину иной вред, показывал ему толстый, как у утопленника, синий язык. Брежнев жутко шевелил черными кустистыми бровями, продолжавшими расти после смерти, силился сложить губы для какого-то осмысленного звука, но губы складывались в липкую трубу, как у коровы, издающей долгое мычание. Это мычание касалось головы Андропова — трусливо, боясь смотреть в глаза Брежневу, он шлепал негроидным, вывернутым ртом, силясь что-то объяснить своему предшественнику, в чем-то перед ним оправдаться. Черненко был похож на высохший стручок крымской акации, мелко дрожал, всплывал, голова ложилась на бок, и становилось видно сморщенное, черного цвета ухо с торчащим из ушной раковины ватным тампоном. Две последние банки раскачивались, попав в резонанс, готовые перевернуться. Ненавидящие друг друга головы Ельцина и Горбачева плевались, прижимались носами к стеклу, превращаясь в жуткие маски. Родимое пятно на лбу Горбачева лопнуло, и из него, как из каракатицы, сочились чернила. Давление ненависти в черепной коробке Ельцина было столь велико, что казалось, сейчас из орбит выскочат глаза и, как резиновые пули, выстрелят в Горбачева.

Стол сотрясался, хлюпала влага, мотались в сосудах головы, и казалось, они чувствуют приближение страшной беды, неминуемой гибели, как если бы к Москве, еще на огромном удалении, подлетал метеорит и они предвидели неминуемое столкновение.

— Здравствуйте, Виктор Викторович, мои питомцы испытывают сегодня некоторую нервозность, — бесшумно появился профессор Коногонов, приветливый, спокойный, чуть ироничный. На нем был зеленоватый костюм хирурга, клеенчатый фартук, и Ромул заметил маленький сгусток студенистого вещества, прилепившийся к фартуку, и крохотный, пронизывающий сгусток, кровеносный сосудик.

— В чем причина? Все еще делят власть? — Ромул брезгливо смотрел на желеобразный комочек с красным, впившимся в него червячком.

— Каждый в отдельности переживает отдельные неудачи власти. Все вместе чувствуют метафизический сгусток, появившийся в пространстве актуальной русской истории, который угрожает целостности государства. Трудно сказать, что это за сгусток. Находится ли он в русле внутренних процессов страны, или же имеет внешнюю природу. Я тщательно отслеживаю показания сканеров. Сталин упрекает Хрущева в разрушении бомбардировочной авиации, а также в бессмысленном гонении на церковь. Брежнев винит Андропова в отказе от имперской сущности СССР и переходе на модель национального государства. Горбачев бранит Ельцина за то, что тот не отстоял право России на крымскую резиденцию в Форосе. Черненко корит Горбачева за то, что тот в последние дни болезни лишил его астматического ингалятора. Царь Николай утверждает, что в ближайшее время монархия в России будет восстановлена. Все это уже фиксировали сканеры, однако важно поведение не отдельно взятой головы, а всего «Стоглава». Так сказать, коллективный разум, соборное сознание российской власти. Если мне удастся добиться интегрального результата, я немедленно оповещу вас и президента Лампадникова.

Студенистый комочек мозгового вещества вобрал в себя искру света. Кровеносный сосудик продолжал питать частицу мозга, и Ромулу казалось, что он слышит писк продолжающих функционировать нейронов.

— Если не возражаете, я здесь еще погуляю, — сказал Ромул.

— Разумеется, я буду рядом, в соседнем зале, — ответил профессор и удалился туда, где на соседних столах толпились банки с головами политиков второго ранга. Виднелась морщинистая, как печеное яблоко, ушастая голова Керенского и бодрая, с черными усиками и, как ни странно, в пенсне голова Лаврентия Берии.

Ромул прошел вдоль стола до конца и обнаружил в стороне от прочих сосудов прямоугольную стеклянную банку, пустую, чисто вымытую, отливавшую блеском. По углам, в местах утолщений, скопилась льдистая зеленоватость. Стенки были безукоризненно, драгоценно прозрачны. Ромул остановился перед банкой. Созерцал ее снаружи, но ему казалось, что он смотрит сквозь нее изнутри. И эта странная двойственность тревожила его. Его память хранила неявные, похожие на сны впечатления, словно он носился в этой банке по

необозримым пространствам, претерпевая восхитительные, волшебные преображения.

То его окружало нежное пурпурное облако, из которого земля смотрелась, как сквозь розовый лепесток, и он был исполнен обожания к родной ненаглядной планете. То ему чудилось, что он плывет в смолистой ладье по лимонным водам Нила, — звон весла, тугое плечо невольника, и он наклоняется к проносящимся струям, выхватывает цветок белого лотоса с длинным змеящимся стеблем. То ладонь его касается окисленного ствола противотанковой пушки — перевитый морозными волокнами бруствер, далекая роща с красно-ржавыми осинами, и солдаты молча курят, дым самокруток медленно летит над лафетом, над бруствером, над убитым артиллеристом, чьи сапоги с подковками торчат из– под плащ-палатки. Вот он врывается в беспредметное поле, где все явления исчисляются цифрами, и 8 сияет, как два золотых обручальных кольца, а 4 соответствует безупречному квадрату из платины, а 666 похоже на косматую злую сороконожку. Он идет по серебряному хрустящему насту незнакомой планеты, где в кристаллическом воздухе плавают разноцветные луны, охваченные радугой полумесяцы, кометы с голубыми хвостами, как на картине безумца Ван Гога, и наст под ногами не снежный, а металлический, из тончайших чешуек алюминия. Он оказывается внутри голубого цветка цикория, и рядом целуются две слипшиеся бабочки, их страстные спиралевидные хоботки, мучнистые тельца, судорожно дрожащие лапки.

Все эти переживания были связаны со стеклянным сосудом, в прозрачной пустоте которого поместилось бесконечное мироздание, куда сливается душа после смерти. Это мироздание делало смерть привлекательной, извлекало душу из тягостного материального мира, из житейских обуз и обременительных государственных радений. Помещало в пучки лучистой энергии, взрывы рождающихся светил, меланхолические сумерки меркнущих галактик, из которых звучал недостижимый на земле, божественный женский голос. И хотелось нырнуть в этот прозрачный сосуд, откуда однажды все вышло и куда все непременно вернется.

Ромул очнулся. Сосуд предназначался для головы предателя Рема, о котором пророчествовал святой старец. Ведомый божественным

предопределением, Рем сам торопил час своей смерти. Торопил начало операции «Пророк».

Ромул повернулся и пошел, не простившись с профессором Коногоновым.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Шофер Андрюша, все с тем же фирменным, незамутненным жизнелюбием мчал Алексея на военный аэродром «Чкаловский».

— Сувенирчик привезите из Тбилиси, Алексей Федорович. Ухо Саакашвили, если можно.

Утренняя, в перламутровой дымке Москва, ее холеные фасады и ковровые клумбы, плотоядные рекламы и дымчатые фонтаны, тучные витрины и упитанные автомобильные пробки с самодовольными клерками, вальяжными предпринимателями, хорошенькими деловыми барышнями — Москва ничего не знала и знать не хотела, что где-то у границ государства начинается очередная война. Он, Алексей, претендент на российский престол, ехал в войска, чтобы разделить вместе с ними все муки и тяготы этой опасной, очередной Кавказской войны. Война не давала о себе знать в развлекательной радиопередаче, которую он слушал по радио, и в сентиментальных низкопробных шансонах. В огромных, голубых и розовых супермаркетах, опустившихся по краям дороги, как пышные облака. В придорожных поселках с нарядными коттеджами, черепичными крышами, ладными крылечками, ведущими в невидимый, уютный мирок. И только на аэродроме, проехав военный пост, Алексей ощутил обнаженную электрическую жилу, по которой бежал ток войны.

В зале для пассажиров было тесно от камуфляжей, военных рюкзаков, брезентовых тюков, от множества молодых, напря женных и нервно ждущих людей, сбитых в группы, в отделения, сплоченных вокруг одного, кто был для них командиром. Эти командиры куда-то исчезали, возвращались, смотрели на часы, пересчитывали вверенные им команды, с одинаковой волчьей затравленностью смотрели на взлетное поле, где ревели турбины, жужжали пропеллеры, и машины с тусклым алюминиевым блеском уходили на солнце. И лишь когда в ретранслятор объявлялся номер рейса, следующий на Ростов, или Беслан, или Моздок, та или иная группа дружно поднималась, забрасывала за плечи рюкзаки и тюки, подхватывала зачехленное оружие и продиралась к выходу. И на лицах было одинаковое,

ожесточенное выражение, с которым они стремились к тому невидимому и уже случившемуся, что именовалось войной.

Алеша привел его в зал для привилегированных офицеров и сдал на поруки немолодому, лобастому полковнику с островками невыбритой щетины, что говорило о сборах впопыхах, начавшихся еще глубокой ночью. Тут же находились другие офицеры с портфелями, кейсами, та самая опергруппа, к которой был приписан Алексей.

— Ах да, мне звонили,— рассеянно сказал полковник, вскользь, недружелюбно осмотрев Алексея и тут же о нем забывая. — Караваев, — обернулся он молодому майору, державшему на коленях картонный тубус, — ты мой комплект карт захватил? А то я просил Осетию, а картографы прислали Абхазию. Им там, на Арбате, один хрен, что Цхинвал, что Сухум.

Майор, не отвечая, флегматично постучал по тубусу, успокаивая полковника.

Через час Алексей, занесенный в бортовой список, летел на белоснежном лайнере в пустынной лазури, брызгающей в салон слепящим солнцем. Все кресла были заняты офицерами. Иные держали на коленях планшеты и портфели, готовые моментально приступить к штабной работе. Другие отрешенно дремали, отдавая себя во власть таинственной синусоиды, в которую укладывается человеческое время, человеческая бренная жизнь, человеческая судьба. Алексей смотрел на их обыденные лица, и солнце, заглядывая в салон, желая убрать с лиц выражение обыденности, вело по ним огненной кистью.

Он летел на войну, на первую в своей жизни, без оружия, без специального задания, без намерения способствовать победе, или совершить подвиг, или примирить русских, осетин и грузин — народы, когда-то входившие, как драгоценные бриллианты, в диадему великой империи. Летел, как царь летит в воюющие части, чтобы разделить с ними опасность и тяготы. Чтобы измученные походом, болезнями и голодом, раненые и ждущие смерти, видели рядом с собой своего государя, который оставляет роскошные дворцы и помпезные храмы. В простой шинели смотрит, как дождь заливает окоп, как гремит прикрепленная к колючей проволоке ржавая консервная банка, как тихо кончается в лазарете солдатик с простреленной грудью. Он летел

на войну, чтобы находиться со своими подданными «во дни торжеств и бед народных», повторяя неписаную традицию русских царей.

Они опустились в Беслане, толпились под крыльями лайнера, озирая далекие фиолетовые холмы, соседние черно-бархатные, полосатые пашни, близкие бетонные полосы, которые звенели и сотрясались от соприкосновенья с самолетами. Один за другим выплывали из неба, с размазанным шлейфом копоти, тяжелые транспорты, увеличивались, раздувались, растопыривали закрылки, как чудовищные глубоководные рыбы. Дымно ударяли в бетон и катились, замедляли скольжение, разворачивались, грузно причаливали на стоянку. Опускалась аппарель, и с нее сбегали солдаты в фуражках, десантники в синих беретах, танкисты в ребристых шлемах. Начинали пятиться пятнистые боевые машины, неуклюжие грузовики, длинноствольные пушки. Казалось, самолет облегчает свое чрево темными перезрелыми личинками, становясь легче, серебристей, воздушней.

На дальней полосе начинало звенеть, свистеть, воздух трескался по швам, и в разрывы и трещины черными клиньями вонзались стреловидные штурмовики. Взмывали, обнаруживая в хвостах оранжевое пламя, уменьшались до маковых росинок и пропадали, оставляя хмурую полоску дыма, указывающую на фиолетовые и розовые предгорья, за которыми таились поля сражений.

Алексей, оглушенный военной машинерией, не успевал охватить сложные траектории, по которым, не сталкиваясь, не задевая друг друга, кружились,два вертолета, приземлялись транспорты, наперерез взмывали штурмовики, и по всему аэродрому шло непрерывное, на вид хаотичное, перемещение солдат, боевой техники, юрких, с синими мигалками, грузовичков.

— Подождите здесь, — сказал Алексею полковник, который, казалось, не знал, что делать с доставшейся ему обузой. — Сейчас подойдет командир батальона, который маршем идет на Цхинвал. Он будет вами заниматься. — Полковник был уже с рацией, которая шипела в его кулаке и в которую он монотонно, не надеясь на ответ, повторял: «03-04», ответьте!»

Алексей видел удаленное здание аэропорта с неоновой надписью «Беслан», и это слово родило тягостное, ноющее, как рана в животе, ощущение, связанное с детоубийством. Где-то близко, среди зеленых

садов и желтых созревших пашен, находилось кладбище растерзанных школьников, быть может, там, за соседним шоссе, где что-то пугающе краснело, слишком обильное и сочное, под стать венкам и букетам.

Он увидел, как к полковнику подходит невысокий, очень плотный и ладный офицер в камуфляже. Под полевой погон на плече был продет сложенный синий берет. Короткий бобрик волос начинал седеть. Круглое, с коротким носом и сильным подбородком лицо выглядело спокойным и слегка отстраненным, быть может, из-за больших, чуть навыкат, серых глаз, смотревших одинаково внимательно на полковника, на Алексея, на летчика, стучащего башмаком по резиновому колесу самолета, на стреловидную взмывавшую пару, резанувшую воздух оглушительным, быстро сникающим ревом.

— Майор Молочников, командир батальона, — знакомил их полковник, — Алексей Федорович Горшков… Ну, вы, наверное, слышали… Из царской фамилии… Можно сказать, почти царь. Возьмете его в колонну, в командирскую машину. Отвечаете за него головой. А вы, Алексей Федорович, все указания комбата выполняйте, как Отче наш. Это не маневры — война. Какая готовность? — обратился он к комбату.

— Колонна построена.

— Тогда вперед. За туннелем вам уточнят задание у представителя штаба армии. — И снова, выпятив губы, приблизил их к рации: — «03-04», ответьте!

— Пойдемте, — пригласил Алексея майор. Они направились на край поля, где в стороне от бетона, на пыльной, выгоревшей земле выстроилась боевая колонна. Два десятка остроносых гусеничных машин, несколько «бэтээров» и грузовики с открытыми платформами, на которых торчали двуствольные зенитки. В люках виднелись бритые головы, рядом расхаживали или лежали на теплой земле десантники. Все повскакали, подтянулись, когда подошел комбат.

— Садитесь сюда, в головную, — он указал Алексею на переднюю машину с пушкой и несколькими гибкими хлыстами антенн. — Антошкин, посади человека в командирский люк.

Неловко, ошибаясь в движениях рук и ног, цепляясь не за те скобы, Алексей забрался на броню. Опустил ноги в глубину круглого, с острой кромкой люка. Тот, кого назвали Антошкиным, положил на

кромку мягкую засаленную подушку. Алексей оказался среди горячего, пахнущего топливом железа. Держался за облупленный зеленый ствол пушки. Ловил на себе множество любопытных молодых глаз, не понимавших, что за нелепая фигура в пиджаке и белой рубашке очутилась вдруг в их боевом порядке, намереваясь вместе отправиться в военный поход.

Когда колыхнулась машина, рыкнула, швырнула из кормы жирный ком дыма, когда с мелодичным стрекотом плавно поплыла по грунтовке, вытягивая за собой гибкую, волнистую колонну, скользнула на асфальт, производя мелодичный металлический цокот, Алексей ощутил несравненное волнение, свободу и радость. Командир, набросив на шею жгуты от шлема, то и дело вдувал в шлемофон неслышные за лязгом команды. Кругом проносились деревья, поселки, съезжали на обочину легковые автомобили, пропуская колонну. Птицы густыми россыпями догоняли машины, летели над ними, растворив клювы и заглядывая сверху, а потом резко отворачивали и исчезали в холмах. Плыли и волновались шелковые дали, словно переплетались розовые и голубые ленты. Алексей был рад оказаться среди этой стремительной слитной силы, в окружении родных и любимых лиц, спаять с ними свою судьбу, свою долю и, если придется, умереть вместе с ними под этим лазурным небом, среди перламутровых кавказских предгорий.

Война не давала о себе знать ничем ужасным и грозным. Лишь иногда колонна обгоняла другую военную колонну грузовиков, катившую в ту же сторону. Дважды им встречались танки, неподвижно застрявшие у обочины, с промасленными танкистами, колотившими в железо кувалдами. Навстречу изредка попадались грузовики, битком набитые стиснутыми, сжавшимися стариками, детьми и женщинами, словно за ними что-то гналось, безымянное и ошеломляющее.

К вечеру горы стали возвышаться, пепельные, песчаные, зеленовато-сизые. Вдруг открылся ледник, голубой и парящий. В его прозрачной голубизне сочилось розовое, зеленое, будто кто-то нежно зажигал неяркие светильники, готовя вечернее торжество. Алексей залюбовался этим предвечерним, приуроченным к богослужению таинством. И вдруг оказался среди грохота, давки, истошных криков, скопления сотен дымящих машин, слипшихся в жесткие сгустки. Давка происходила у входа в туннель, чья каменная губастая арка

медленно всасывала в скалу танки, артиллерийские тягачи, крытые брезентом реактивные установки, грузовики с солдатами, выпуская навстречу растерзанные вереницы легковушек, мотоциклов, автобусов, из которых черноглазо и испуганно смотрели смуглые женщины, трясли головами старики, прижимались к стеклам полуголые дети. И Алексей вдруг понял, что этот туннель ведет на войну. Розовые и зеленые светильники в небесах, голубые и золотые лампады на вершине хребта озаряют не дворец и не церковь, а поле брани.

— Антошкин, втягивайся постепенно, чтобы борт не помять, — комбат обернулся на идущую следом машину, показывая руками дистанцию, подкрепляя свой приказ покачиванием огромного, сжатого кулака. Несколько военных регулировщиков с красными полосками на белых касках крутили жезлами, ошалело, хрипло орали. Как дрессировщики, подманивали к себе неуклюжие танки, которые послушно, качая хоботами, надвигались, медленно переставляли железные стопы гусениц.

Внутри туннеля было тускло, смрадно. Под бетонными сводами светили закопченные лампы. Техника едва ползла, включив прожектора и фары, в которых клубился синий, железный дым. Алексей, держась за пушку, смотрел на идущий впереди танк, с привязанными к броне ящиками, бревнами, прилепившимися солдатами. Из танка хрипло вырывался жирный дым, от которого склеивались глаза, слипались губы и начинал бить кашель. Навстречу, прижимаясь к стене туннеля, двигались грузовики, колесные трактора с тележками, автобусы с выбитыми окнами, мотоциклы с колясками. На них был навален скарб, домашняя рухлядь, в кузове качалась корова, на крыше автобуса блеяли овцы, и отовсюду смотрели изможденные женские лица, густо сидели глазастые дети, их обнимали грузные, в черных платках старухи, жалко, с потухшими лицами, притулились старики. Среди скарба вдруг призрачно вспыхивало зеркало, из-под тряпицы выглядывал экран телевизора, мелькала какая-то ваза, какая-то табуретка или кастрюля. Все это были наспех подобранные обломки уклада, который больше не существовал, был разорен и растерзан. Он видел, как трясется мопед, за рулем которого сидит небритый, в шляпе водитель, а сзади приторочена деревянная клетка, полная кур. Водитель неосторожно вильнул, решетчатая коробка ударилась о корму танка, и из нее полетели куры, с

кудахтаньем, бестолково рассыпались по туннелю, под колеса и гусеницы. Одна очумелая курица, меченная на крыльях малиновой краской, залетала на броню, прямо в руки солдата, и тот ловко сунул растрепанную орущую птицу в люк машины.

Алексей испытывал тоскливое недоумение, словно этот туннель, переполненный военной техникой и обозами беженцев, напоминал ему что-то. Он уже где-то чувствовал эту слепую подземную силу, выдавливающую на поверхность сгустки слепой материи, готовой крушить, убивать. Где-то вдыхал сернистый ветер, дующий из центра планеты. Там, у Ганиной Ямы, из темного кратера, сочились те же мучительные извержения смерти, выдавливались тягучие клубки смертоносного вещества. Вулкан, который он хотел погасить, продолжал чадить, источал удушливый ржавый яд. Туннель был соединен с Ганиной Ямой, и сквозь эту тесную нору, как железная сороконожка, ползла война.

В селении Джава застал их вечер. Солнце колючими вспышками било из-за кромки холмов. Фасады домов были желтые, ярко-синие и малиновые. Деревья металлически поблескивали в вечернем свете, и все, что в туннеле было плотно сдавлено, медленно ползло, здесь рассыпалось и растекалось по окрестным улицам, пылило, сигналило, рокотало. В проулке, невидимая, грохотала танковая колонна. Мчался сумасшедший «бэтээр», окруженный солнечной пылью. Стоял заглохший грузовик с беженцами, шофер рылся под капотом, а женщина в яркой желтой блузке и в черном платке, поднявшись в кузове, напрягала грудь, так что отпечатывались крупные соски, голосила: «Убили Георгия, убили!»

Колонны военных грузовиков и боевых машин на въезде в село встречали офицеры штаба, измученные, потные, с красными от пыли глазами. Комбат отправился к запыленному кунгу, вокруг которого толпились офицеры, а Алексей спустился с брони, разминая затекшие ноги. В глубине машины кудахтала курица, которой еще не успели отвернуть голову. Слышались разговоры солдат. Сипловатый голос осторожно спрашивал:

— А это что за чмо нам на броню подсадили?

— А кто его знает, говорят царь какой-то, — отвечал другой голос.

— Царь Додон?

— Вроде того.

— Долдон и есть.

Комбат вернулся с тощим, щербатым подполковником, который прижал к пыльному борту карту и стал водить замусоленным пальцем по зеленым и желтым пятнам, вокруг красной горстки квадратиков, изображавших Цхинвали.

— Полгорода под контролем грузин, — устало, видимо повторяясь, втолковывал он комбату Молочникову. — Другую половину продолжают сносить из «градов». Миротворцы ведут бой в окружении. Есть потери. Осетинские ополченцы отошли на окраины. Части 58-й армии обходят город с запада, подавляют грузинскую артиллерию. Вы пройдете колонной на юго-восток, по возвышенностям, и займете рубеж у товарного рынка. Следите за воздухом. Сильное воздействие авиации. Будете работать на штабной частоте. Мой позывной: «Беркут». Как меня поняли?

— Понял, — ответил комбат.

— Тогда выдвигайтесь.

И когда Алексей снова, подтягиваясь за скобы, усаживался на броню и комбат передавал по рации команду на выдвижение, близко, за соседними домами, ударили два взрыва. Будто прокатились две пустые железные бочки. Поднялась высокая пыль и мерцала, драгоценно переливаясь на солнце. Война, навстречу которой они стремились, сама подлетела к ним.

Десантный батальон в составе двух рот двигался в вечерних предгорьях извилистой, вползавшей в расселины колонной. Алексей, сидя в головной командирской машине, оглядываясь, видел, как заостренные ромбы машин, словно бусы, охватывают холмы. То пропадают, то появляются, возникая на открытых склонах, исчезая в темно-зеленых садах. Солнце уже скрылось за горизонтом, но небо, сияющее, зеленовато-прозрачное, было полно лучей, и этот нежный, реющий, не имеющий источника свет волновал Алексея, будто в нем присутствовала весть о приближении небесного дива. Кто-то бесшумный, с прозрачными крыльями, летел в холмах, развешивал, расставлял на вершинах разноцветные светильники и лампады. Гора, уже вся в тени, темная и плоская, вдруг зажигалась алой вершиной, которая пламенела, будто прозрачный дышащий уголь. Соседняя вершина становилась вдруг золотой, словно отдергивали пыльный чехол и открывался драгоценный слиток. Рядом, как самоцвет, начинал

светиться изумрудный купол, и пока восхищенный глаз не мог наглядеться на лучистый свет зеленой горы, алая вершина меркла, становилась пепельно-розовой, серой, будто фонарщик убирал с нее свой божественный светильник, переносил на другую вершину.

По пути встречались села, казавшиеся богатыми, с добротными домами и изгородями, в окружении садов, где в тяжелых сине-зеленых деревьях светились плоды, как оранжевые и красные лампочки. Было видно, что деревья отяжелели от обильного урожая, но их никто не обирал. Окна в домах были погашены, отливали темными стеклами. На улицах сел было безлюдно, и лишь на обочине слепо и недвижно застыл старик в обвислых штанах, в рыхлой рубахе навыпуск, с тоскующим, несчастным лицом. Не замечал военной колонны, смотрел куда-то вдаль, где угасала лазурная, тонущая в дымке вершина. Оттуда, из-за лазурной горы, громыхало, встряхивало воздух, катило гулкие волны звука. Алексей заметил, как с дерева, мимо которого проезжала машина, упало несколько спелых плодов.

Он почувствовал приближение темного сверканья, которое обнаружила себя вначале туманным, мерцающим сгустком, а потом длинным, режущим звуком. Звук мчался навстречу колонне, превращался в грохот и свист. Низко, выпадая из неба, пронесся самолет— стреловидные крылья, пятнистый, как у ягуара, фюзеляж, кристаллическая кабина. Звук плашмя упал на колонну, расплющил, вдавил, и Алексей глазными яблоками почувствовал давление ветра, чудовищную скорость и мощь промчавшегося небесного тела.

— Воздух! — комбат рыкнул в шлемофон, сначала проваливаясь в люк, словно желал спрятаться от самолета, а потом выдавливаясь на броню всей силой мускулистого тела. —Увеличить скорость!

Алексей панорамным зрением, раскрытыми от страха птичьими зрачками, видел одновременно все, что его окружало. Складку, дико вздувшуюся на лбу комбата. Слюдяную струйку мелькнувшего в саду арыка. Солдата, вылезавшего из люка с тяжелым пеналом. Сверкающий высоко, как осколок зеркальца, самолет, взмывший от тенистой земли в озаренное солнцем небо. Колонну, которая, ускоряя бег, рвала интервалы. Метнувшийся из кормы шлейф гари. Размытую скоростью, темную массу садов с яркими яблоками, оставлявшими гаснущие траектории. И опять самолет.

Играя светом, резвясь, поворачиваясь всеми зеркальными плоскостями, он мчался в высоте, уже не снижаясь, догоняя колонну, роняя из-под себя легкие соринки. Алексей понимал, что это бомбы. В оптике прицелов, в скорости самолета, в беге машин, в траекториях светящихся яблок и его, Алексея, обезумивших зрачках существовала точная математика, приближавшая бомбы к колонне. К командирской, пульсирующей на лбу жиле, к солдатским рукам, держащим на худом плече неуклюжий пенал. Сближение было неотвратимо. Соринки, раздуваясь, напоминали скворцов, которые всей стаей снижались. Бомбы были готовы клюнуть колонну, превратить ее в жаркие клочья взрывов. Испытывая необъяснимый порыв, проживая последние секунды жизни, он обратил свое сердце навстречу бомбам. Дрожащее от безмолвной молитвы, оно ринулось навстречу черным скворцам. Это была не молитва, а воспоминание о прозрачном перстне, водянисто-зеленом, с глубокой таинственной искрой. Об иконе, которую целовал, испытывая слезную нежность к убиенной царице. Теперь эта нежность превратилась в страстный порыв, была направлена на летящие бомбы. Отстраняла их от дороги, отдувала в сторону, ломала рассчитанную пилотом траекторию. Сметаемые незримой дланью, бомбы падали невпопад за дорогой. Красные вспышки, бархатно-черный дым, толчки пространства, давление на грудь поднятого скоростью ветра. И отрешенная мысль — это перстень царицы отодвинул бомбы. Он, Алексей, принял в сердце потаенную искру святого перстня, и она сотворила чудо.

Стреляли с грузовиков спаренные зенитки, долбили небо, насыщая его красными брызгами. Отгоняли самолет, который уходил высоко, переливаясь, как осколок стекла, пропадая из глаз.

Быстро темнело, только за черной волной холмов, желтая и мутная, остывала заря. Но иногда она моргала, усиливала свою яркость, по ней пробегала судорога. Сквозь стрекот несущихся гусениц, рык двигателя доносился далекий гул, раскаты глухого грома, и Алексей понимал, что это не гроза, а артиллерия, ведущая огонь по невидимой цели. Колонна встала, к головной машине подлетела другая, светя прожекторами. Офицер перепрыгнул с брони на броню, и они с комбатом, подставляя карту в луч прожектора, переговаривались, тыкали пальцами. Офицер имел круглое лицо с маленьким крепким носом и совиными глазами, голова его была в танковом шлеме, и эта

шаровидность головы еще больше делала его похожим на ночную птицу, не боящуюся темноты.

— Давай капитан, поразведай. Дойдешь до Цхинвали, определись с рубежом. А мы за тобою подтянемся.

Человек-сова козырнул и перелетел в свой люк. Выключив свет, три машины ушли в темноту, а в колонне был объявлен привал. Моторы остывали, из десантных отсеков вылезали солдаты. Как тени, бродили вокруг машин. Краснели точки сигарет. Рокотали голоса, поругивались, посмеивались. Алексей, оставаясь на броне, наблюдал ночную жизнь русской военной колонны, затерявшейся в кавказских предгорьях. Бледно полыхали зарницы, рокотало и вздрагивало. Среди отдаленных сверканий и приглушенных раскатов таился неведомый ствол, который поджидал его, Алексея. Держал для него про запас снаряд или пулю.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою пенною Двиной.
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной, —

прозвучал в нем русский псалом, сочиненный пророком, предсказавшим собственную смерть. С бархатной болью и сладостью он вспомнил Марину, как сидели в крохотном ресторанчике, качался на волнах зыбкий поплавок, и они в два голоса, нараспев, читали стихи псалмопевца.

Между тем на земле вдоль колонны один за другим загорались белые светлячки. Это солдаты вырывали в земле неглубокие лунки, наливали в них солярку и подогревали банки консервов. Вдоль всей колонны, повторяя ее невидимые в ночи очертания, теплились огоньки, трогательные и нежные, будто солдаты ставили свечки, бессловесно молились перед сражением, вымаливая себе спасение.

— Эй, царь, а царь, — позвали его солдаты, — спускайся, похлебай суп куриный.

Алексей слез, вошел в круг сидящих солдат, опустился на теплую сухую землю. Принял в руки котелок с бульоном, пахнущим паленными перьями. Трофейная курица из Рокского туннеля, залетевшая в люк

машины, теперь была ощипана, кое-как опалена и служила утешением для утомленных солдат, предпочитавших ее жирной свиной тушенке из казенных запасов.

— Царь, а где твое царство? — насмешливо спросил механик командирской машины Антошкин, обсасывая куриную косточку.

— Да вот оно, мое царство, — Алексей повел алюминиевой ложкой по холмам, по грохочущим зарницам.

— Значит, мы едем царство тебе отвоевывать?

— Выходит, что так. Воюете за Веру, Царя и Отечество.

— А что нам будет, когда отвоюем?

— Могу тебя князем сделать. Ко двору приблизить.

— Антошкин, ты будешь князем, — загоготали солдаты. — Неплохо звучит: князь Антошкин.

— А квартиру дать можешь? — спросил механик. — А то, когда в контрактники шел, квартиру обещали. А по сей день с женой в бараке живем.

— Проси дворец, Антошкин. На кой ляд тебе квартира? Проси дворец с золотой крышей и «мерседес».

— Ладно, «мерседес». У меня вместо «мерседеса» — боевая машина десантника. И дворец мне не нужен. Знаешь, сколько стоит его отапливать? А трехкомнатную квартиру, с расчетом на будущих детей, я бы взял от Царя.

— Тогда и нам по квартире. Давай составляй царский список на жилплощадь. Пусть распишется и печать поставит. Поставишь, царь?

Ив темноты с бряцаньем и хрустом, туманясь приглушенными габаритами, вырвались машины разведки. Офицер в танковом шлеме что-то докладывал командиру, и через минуту властный, с протяжными длиннотами голос прокричал:

— По машинам!

Задрожали моторы, Алексей занял свое место в люке. Колонна пошла, не зажигая огней. Отставая, повторяя контур уже несуществующий колонны, продолжали гореть земляные светильники. Будто служба кончилась, прихожане покинули храм, а лампадки еще теплились.

Алексей чувствовал, что его жизнь неумолимо сближается с чем-то грандиозным, существующим в человечестве столь же неотъемлемо, как существует гроза. Гроза живет неявленно, потаенно,

ожидая условий для своего проявления,— восходящих потоков воздуха, концентрации облаков, накопления в них электричества, пока вдруг ни воспламенится полнеба, ни заблещут слепящие молнии, ни упадет с неба черный, все застилающий ливень, ни затрещат вырванные с корнем дубы. Так же и война, к которой он теперь приближался.

Удары становились все ближе, не сливались в сплошной гул, а катились каждый со своей стороны, со своим особым, все более хриплым и душераздирающим звуком. Бесшумно загоралась зарница. Из нее летели косые, царапающие небо полосы. Прилетал свистящий звук. В стороне, куда указывали летящие струи, распахивалась тьма и вставало млечное облако. Доносился гул и треск распадающейся материи. Алексею было страшно, но он не мог отвести своих страшащихся, но и любующихся и восторженных глаз от зрелища божественного гнева и божественной красоты, в которых одновременно присутствовало сотворение и скончание мира.

Машина взлетела на очередной покатый бугор, и с высоты открылся город — лежащая в низине чаша, полная огня. Огонь был рыжий, бурный, окружающий черные остовы зданий. Красный, с черными клубами, летящими сквозь окна и снесенные крыши. Синеватый, тлеющий, вдоль улиц, где виднелись мрачные фасады, столбы негорящих фонарей, застывшие в нелепых позах автомобили. Иногда в город падал белый раскаленный шар, перекатывался, оплавляя здания, деревья, начинал желтеть, краснеть, исходил голубыми язычками газа, бенгальскими искрами. И каждая фаза этого взрыва сопровождалась особенным звуком — тугой удар, хриплый простуженный свист, каменный скрежет, множество мелких, разбегающихся хлопков, вплоть до писка и шелеста.

— Цхинвали, — произнес майор, чье лицо озарилось и померкло от очередного взрыва, и глаза казались полными ртути. — Вон там наш рубеж, — он указал на темную, еще не подожженную часть города, над которой метались красные светляки и белые брызги. — А там, — он кивнул на пожары, — 58-я армия выбивает грузин.

Колонна, петляя в предместьях, встречала на пути патрули и заслоны осетинских ополченцев — одутловатые мужчины в бронежилетах и касках, небритые, с лихорадочными глазами лица, висящие на плечах пулеметные ленты, старомодные, с торчащими

корнеплодами гранатометами. Спустились в город. Комбат с помощью осетинского командира — забинтованная голова и черные, пышные, как у моржа, усы — укрывал машины за хозяйственными постройками, среди жестяных гаражей и обвалившихся бетонных заборов. Солдаты окапывались, долбили землю, устанавливали пулеметы.

Алексей лежал, прижавшись к тускло блестевшему траку гусеницы, всматривался в мутную темень сквозь пролом в бетонной стене. Угадывалась неосвещенная улица с низкорослыми домами, какая-то площадь или пустырь, над которым пролетали красные мухи трассеров. Иногда в полутьме перебегал ополченец с какой-то ношей — то ли патронный цинк, то ли куль с вещами. Взрывы раздавались в стороне, не приближаясь, перенося по небу блеклые красноватые отсветы.

Он думал, что ему, будущему Государю, довелось оказаться на братоубийственной войне. В ней сошлись народы недавней Империи, потерявшие ощущение единой истории и судьбы, ввергнутые в кровопролитную распрю. Воцарившись, он соединит под скипетром распавшиеся пространства Империи, усадит за братский стол осетин и грузин. Именно на этой войне ему предстоит открыть воюющим сторонам «Райскую Правду», которая ляжет в основу Империи. Обнародовать «Райскую Формулу», которая сочетает народы в симфонию красоты и любви.

Президент Лампадников отпустил его на войну, чтобы из первых уст услышать доклад о военных действиях. Использовать эту, постигшую народы, беду, чтобы оповестить Россию о возрождении долгожданной монархии. Чтобы ее возрождение было отмечено миром, возвращением всех измученных, отпавших от царства народов в лоно любящей и справедливой Империи.

Еще мечтательно и нежно он думал о Марине, которая вынашивает его драгоценный плод.

Зачатие наследника состоялось среди кровавых неурядиц и смут, а рождение случится среди долгожданного мира, на заре справедливого и цветущего царства.

Он оглядывался на солдат, которые терпеливо и ладно отрывали окоп, укрепляли бруствер, клали на него пеналы гранатометов и стволы автоматов. Среди упорных, сосредоточенных лиц, коих

множество в русских деревнях и поселках, не было ни одного, кто носился в этот час в роскошных машинах по нарядным московским улицам, танцевал в дискотеках, развлекался на модных вечеринках. Это были дети русских простолюдинов, поднявшихся в час беды на защиту Отечества. Его народ, его возлюбленные чада, которые не отторгали его, а приняли, как равного, в свой жертвенный батальон. Так он грезил, сонливо закрывая глаза, прижимаясь виском к стертому гусеничному траку.

Его толкнуло ударом, оглушило трескучим взрывом, ослепило волной огня. Озарилась соседняя площадь, на которой повсюду блестели осколки стекла. Осветились фасады невысоких домов с балкончиками, подворотнями, пустыми прогалами окон. Обнаружилась улица, ведущая с площади, в выбоинах, с опрокинутым мусорным баком, разбросанными комками мусора. Свет не исчезал, волновался. На улицу, из домов, с непрерывным криком и воплем, побежали люди — простоволосые женщины, дети, семенящие тучные старухи, ковыляющие старики. Их было множество, доселе невидимых, притаившихся за глухими фасадами. Испуганные светом и грохотом, они бежали навстречу друг другу, волна сквозь волну, прячась все в тех же домах, словно менялись местами. Вопли умолкли. Жизнь снова притаилась в щелях и лунках, чутко прислушиваясь к гуляющим раскатам и взрывам.

Опять полыхнуло горячей волной. На площадь повалил дым. Из дыма выполз танк — крутились катки, отвисли гусеницы, башню облепили ребристые бруски, пушка покачивалась. Танк пересек площадь, исчезая за выступом дома. Ему вслед, прихрамывая, побежал ополченец, выцеливая из гранатомета. Были видны его спортивные, заправленные в ботинки штаны, не застегнутый, трясущийся бронежилет, круглая, с большой плешью голова. С нескольких сторон в него полетели белые длинные иглы, вонзились, напитали огнем. Он увеличился, раздулся и упал навзничь. Гранатомет откатился в сторону. Ополченец лежал на спине, вяло шевелясь, как жук, не умея перевернуться и встать на ноги.

Еще один танк, вслед за первым, пересек площадь, пропадая в строениях.

— Грузины прорвались, — комбат взлетел на броню, хватая жгуты шлемофона, прижимая к кадыку. — Батальон, к бою! Огонь по

команде!

Площадь, ограниченная строениями, казалась театральной сценой, на которой, среди искусно нарисованных, подсвеченных декораций совершалось действо. Прокатывались танки, лежал убитый ополченец, под разными углами пересекались трассеры. Внезапно выбежала женщина, с распущенными волосами, в прозрачной ночной рубашке, сквозь которую просвечивало молодое сильное тело. Она держала в руках ребенка — не прижимала к себе, а выносила вперед, словно отдаляла от ужасной площади, от металлического стрекота танков, от секущих лучей. Было видно, как бегут по осколкам стекла ее босые стопы, как колышется грива волос, как поджал ноги и скрючился в ее руках ребенок. Над ее головой запульсировал тонкий пунктир, чуть коснулся, полетел дальше. Женщина упала лицом вперед, успевая в падении поставить ребенка на ноги. Лежала, с задранной рубахой, обнажив полные ноги, накрытая черной гривой, а ребенок, выпущенный из рук, стоял перед ней и покачивался. Вокруг метались колючие иглы, ударялись об асфальт рядом с ребенком, под разными углами отскакивали. Все, обомлев, смотрели — солдаты в окопе, несколько прижавшихся к броне ополченцев, комбат, держа на весу автомат.

Алексей почувствовал, как зарябило в глазах. Их наполнила разноцветная влага. Вся площадь, и улица, и окрестные дома с балкончиками, и лежащая женщина, и стоящий перед ней ребенок поместились в фарфоровые арки, витые колонки иконостаса. Но вместо икон, вместо ликов царя и царицы, убиенных царевен и цесаревича, в полукруглых проемах горел пожар, валил багровый дым, крутились танковые катки, разбивались бенгальскими брызгами ударявшие в асфальт пули. Его подняла с земли не воля, не порыв человека, спасающего гибнущего ребенка. Подняла головокружительная, неодолимая, не в нем пребывающая сила, от которой зазвенело в ушах и ощутилось могучее вращенье Земли. Большими скачками, похожий на кенгуру, прижимая к животу согнутые руки, видя свою тень на асфальте, он помчался на площадь. Хрустело под ногами стекло. У самого лица метались свистящие проблески. Он пробежал мимо убитого ополченца, видя открытые, отражавшие зарево глаза. Приблизился к ребенку, стараясь не смотреть на полные женские икры, изрезанные стеклами пятки, на шелковую

гриву волос. Схватил младенца, уловив млечный запах пухлого детского тельца. И теми же звериными, не человечьими скачками пустился обратно. Он чувствовал, что по нему стреляют из разных мест, с разных высот. Вокруг посвистывали и повизгивали пули, скрещивались лазерные лучи. Он не испытывал страха. Знал о своей неуязвимости. Его окружала прозрачная сфера из бронестекла, от которой отскакивали пули, рикошетили косые попадания. Он был помещен в фарфоровую арку иконостаса, с виноградными листьями, золотыми гроздьями, витыми стеблями. Добежал до окопа, упал с бруствера на руки солдат и ополченцев. Ребенок не плакал, белел в темноте голым тельцем, которое целовал заросший щетиной, рыдающий осетин.

— Ну, ты даешь, Царь! — не то испуганно, не то с восхищением произнес Антошкин, держа у живота ручной пулемет.

Батальон отразил несколько грузинских атак. Должно быть, грузины, покидая город, прорывались из окружения. Бой стих, переместился в сторону, стал удаляться в предгорья.

К утру поступил приказ покинуть рубеж и маршем, сквозь территорию Южной Осетии, войти в Грузию. Уничтожать по пути военные базы и тыловые гарнизоны противника, продвинуться к Гори и встать на его окраинах. На рассвете, на красной заре, машины ушли из Цхинвали и врезались в тень холмов.

Алексей, укутанный в солдатский бушлат, то дремал, покачиваясь в люке. То просыпался, глядя, как розовые, зеленые, золотистые перья появляются из-за гор, словно там крутила хвостом волшебная птица, не решаясь выглянуть. Но вот она выглянула — алое, быстро белеющее солнце, от которого тенистые долины вдруг наполнились жаркими душистыми испарениями. «Солнце Империи», — думал он, засыпая под рокот неутомимого двигателя.

Они проезжали опустелые села, не то грузинские, не то осетинские. В домах были выбитые стекла. Из некоторых домов вороватые кучки осетин с автоматами вытаскивали скарб, грузили на мотоциклы, грузовички, запряженные лошадьми телеги. Останавливались с тюками за спиной, смотрели на проходящую колонну недоброжелательно, сурово, желая, чтобы машины поскорее прошли.

На окраине села слышалась стрельба. На центральной площади с небольшой каменной церковью толпились вооруженные ополченцы. На траве, у церковной стены, лежали убитые в камуфляже. Человек с завязанными руками, в пятнистой форме, с разбитым в кровь усатым лицом, стоял у стены под дулом автомата. Механик нажал на газ, стремясь поскорее проскочить скопленье людей, вырваться из села и продолжить скоростной марш. Но Алексей крикнул в глубину люка:

— Стой! — И, поворачиваясь к удивленному комбату, резко, почти командирским тоном, повторил: — Надо встать на минуту!

Колонна застыла на площади, разбрасывая по сторонам синие выхлопы. Алексей соскочил, пошел к церкви. Комбат, держа автомат, и несколько вооруженных солдат проследовали за ними.

— Что за дела? — спросил комбат, косясь на убитых, обращаясь к осетину. У того было длинное фиолетовое лицо, маленькая шапочка, из-под которой ниспадали на плечи артистические черные волосы и смотрели жгучие, нетерпеливые глаза. Именно он держал автомат, наставив его в живот связанного человека.

— Дела такие, что грузин к стенке ставим, — дерзко ответил осетин, недовольный вторжением. Другие осетины, все с оружием, сомкнулись вокруг говорящего. — Они наших жен насилуют, детей убивают. В плен не берем, к стенке ставим.

Алексею показался знакомым человек, обморочно прислонившийся к церковной стене, подле которой, в траве, лежали его расстрелянные товарищи. Сквозь текущую кровь, слипшиеся от слез и слюны усы, в сером, небритом лице ожидающего смерти грузина он вдруг узнал удалого джигита, танцевавшего перед ним и Мариной в ресторанчике у Мамы Зои. Пел, ликовал, улыбался румяным ртом, лихо и весело были закручены его молодые усики. Горели светильники на подносе, шипело раскаленное мясо, и джигит, ловко подскочив, упал на одно колено, воскликнув: «Да будет с вами счастье во веки веков!» Теперь, избитый в кровь, он в ужасе смотрел на лысый, побелевший ствол автомата в руках беспощадного врага.

— Отпустите его. Мы его забираем с собой, — сказал Алексей.

— Что?— вскинулся на него длинноволосый, поведя автоматом, как хищник, у которого отбирают захваченную в сватке добычу.

— Он пленный. Мы его забираем с собой, — повторил Алексей. Майор и солдаты с удивленьем на него посмотрели.

— А ты кто такой? — наливаясь бешенством, произнес осетин. — Ты кто такой, мне скажи!

— Я — Царь, — почти шепотом, глухо, с комком подступав шего душного гнева, сказал Алексей. И такие сжатые, беспощадные и страшные были его глаза, что осетин вдруг осекся. Сделал рукой артистический взмах: — Бери его, если тебе нужен грузин. Мы себе еще лучше найдем. Они здесь, как зайцы, прыгают. — Что– то глумливо буркнул своим товарищам, и все они гурьбой, помахивая автоматами, двинулись по улице, скрываясь за церковью.

Алексей развязывал пленному руки, освобождая от веревки взбухшие, посиневшие запястья.

— Что с ним делать? — недовольно спросил комбат.

— Отвезем километров на пять и выпустим.

— А он опять воевать пойдет.

— Не пойду воевать, конец войне, — не веря в свое спасение, слезно возопил грузин. — Мы оружие побросали, шли по домам. Они нас стреляли.

Его привели к машине, затолкали в десантное отделение, набитое солдатами. Скрючившись, он притулился на железном днище. Колонна рванулась. Уйдя далеко за село, погрузилась в низину, поросшую мелколесьем. Остановилась. Алексей спрыгнул, отворил бронированные двери в корме, выпустил грузина.

— Здесь пусто. Можете идти, — смотрел на него, ожидая, что тот вспомнит его среди ресторанных огней и музыки счастливого московского вечера. Но тот не вспомнил. Поклонился, схватил его руку и поцеловал. Быстро зашагал, зашуршал по сухой траве, побежал, скрываясь в придорожной дубраве.

Колонна летела дальше. Двадцать машин, похожих на топорики, прорубались к Гори.

Они уже пересекли границу Южной Осетии, и теперь их окружали грузинские горы, невысокие и лесистые, без снежных вершин. Проезжая села и возделанные на склонах сады, они застигали врасплох сборщиков яблок и персиков, груш и мандарин. Женщины, отряхивающие деревья, прислонившие к стволам легкие лестницы, с изумлением оглядывались на гусеничные машины с русскими десантниками. Переговаривались, подзывали пожилых, в линялых шляпах мужчин. Те вглядывались из-под коричневых ладоней,

испуганно вскрикивали, и женщины, чуть не падая с лестниц, убегали, оставляя полные плодов корзины и ящики. В нескольких местах они подвергались автоматному обстрелу, и Алексей слышал, как неприятно и звонко чмокнула пуля в борт машины. Сразу из нескольких машин хлестнули пулеметы, срезая ветки яблонь, осыпая красно-золотые плоды. В одном месте по колонне ударил гранатомет, попал в каток, повредив ходовую часть. И пока десяток пулеметов обрабатывали обочину, поджигая сухую траву, подбитая машина была взята на буксир и, натягивая трос, катилась в хвосте колонны. Разведгруппа, рыскающая по окрестностям, обнаружила на железнодорожной станции склад грузинских боеприпасов. Боевые машины с ходу ворвались на товарные площадки, стреляли из пушек по складским помещениям, поднимая на воздух громадные облака огня и дыма, из которых в разные стороны летели невзорвавшиеся снаряды, трещали в огне патроны, брызгало ядовитое медное пламя. Со станции улепетывал тепловоз с несколькими вагонами, его подбили из пушки, он загорелся, и было видно, как с него на скорости выпрыгивает машинист. Оставляя закопченное небо и рвущиеся боеприпасы, колонна ушла в горы, в пряные запахи лавровых рощ, в тенистую синь лесов, из которых проступали то ли серые каменные породы, то ли старинные, развалившиеся крепости.

У горной речки был сделан привал. Оставив раскаленные, покрытые мучнистой пылью машины, солдаты пили, окуная губы в ледяную воду. Раздевались догола, кидаясь в мелкую, обжигающую реку, с визгом, гоготом, поднимая солнечные брызги. Алексей смотрел на молодые, окруженные радугами и фонтанами брызг тела. Прошел вверх по реке, где не было поднятой солдатами мути. Сквозь синеватую от холода воду просвечивала разноцветная галька, скользили серые тени рыб. Они были неуловимы, мгновенно отлетали в сторону, растворяясь среди рябых камней. И снова возникали, колыхали хвостами, балансируя в потоке, едва заметные, в легких крапинках. На берег прилетала малая птичка с голубой грудкой, раскачивалась на хрупких ножках, тонко посвистывала. Буравила Алексея крохотным глазком, словно решала, улететь ей или остаться. Алексей, после чудовищных взрывов и свирепого воя моторов, радовался целомудренной красоте горной реки, в которой обитали Божьи создания, на берег которой прилетела крохотная райская птичка.

Он чувствовал к ним молитвенное бережение, нежное обожание, робкое благоговение. Испытывал благодарность Творцу, который пожелал соединить их на берегу безымянной речки, чтобы они ощутили неразделимую, сотворившую их всех любовь.

— По машинам! — донеслось сквозь деревья, и Алексей потянулся на этот крик, не успев до конца насладиться дарованным ему ощущением.

Они продолжали рейд к Гори, избегая шоссейных дорог, виляя проселками, обходя стороной населенные пункты, где протекала не потревоженная войной, не замутненная страхами жизнь. Струились высокие тихие дымы, обирались сады, кипел в давильнях под танцующими, стучащими пятками фиолетовый виноградный сок.

Они мчались по грунтовой дороге, соединявшей две кудрявые зеленые горы. Дорога напоминала насыпь, длинная и прямая, так что Алексею с головной машины была видна вся колонна, растянувшаяся солнечным пыльным шлейфом. В сторону от дороги, полого и далеко снижался склон, золотисто-коричневый, в сухих травах, с темными копнами, испятнавшими шелковистую долину. Колонна встала, дожидаясь отставшую, волочившуюся на буксире машину. Было тихо и солнечно. Над горами, отбрасывая тени, стояли неподвижные белые облака. Было так тихо, что слышалось постанывание утомленного работой железа и нежный стрекот кузнечиков, в изобилии населявших нагретую солнцем обочину. Алексей вслушивался в этот мирный, блаженный стрекот, напоминавший безмятежное детство. Стрекот затихал и усиливался, удалялся вдоль дороги и опять возвращался, наполнял всю солнечную золотистую долину вплоть до синих теней, застывших у далекой горы. Прапорщик с рябым лицом и узкими, глядящими против солнца глазами, потянулся вперед заостренными плечами и тихо выдохнул:

— Танки!

— Где? — встрепенулся комбат.

— Вон, — прапорщик вытянул тощий палец, указывая в солнечную пустоту долины.

— Бинокль сюда! — крикнул в люк комбат. Водил тяжелым полевым биноклем, направляя окуляры на коричневый шелк долины, на сгустившуюся синь перелесков, на темные, шахматно расставленные копны. Алексей слепо водил глазами, щурясь от лучей,

от бесчисленных блестящих стеблей травы, от хрупко — стеклянных, проносящихся паутинок. И вдруг увидел танки. Они были далеко, под цвет земли, грязно-пятнистые, глиняно-желтые. Медленно выдвигались из перелесков, наполняя долину металлическим стрекотом, и казалось, это сдвинулись с места копны, — такие же округлые, выгоревшие, не меняя свой шахматный порядок.

— Грузины! Нам конец! — панически, сглатывая слюну, произнес комбат. — Расстреляют нас, как на стрельбище. Против их пушек наши — слабее рогаток. Наша броня для них, как бумага! — Одолевая минутное безволие, уже хрипел в шлемофон: — Командирам рот! На левом фланге — танки противника! Людей из-под брони! Рассредоточить в складках местности! Гранатометы к бою!

По всей колонне залязгали кормовые двери. Десантники кубарем выкатывались из машин, рассыпались по другую сторону дороги, растворялись в траве. Кое-где из травяных метелок выглядывали солдатские лица, зеленели трубы гранатометов. Комбат перебегал среди лежащих солдат, выстраивая рубеж обороны.

Алексей оставался сидеть на броне, всматриваясь в долину. Танки, десятка два, оставили лес и двигались по открытой местности несколькими рядами, образуя сложный порядок. На их броне краснели метины, похожие на брызги крови. Шли не напрямую к дороге, а под углом, словно нацелились на хвост колонны. Алексей чувствовал их уверенную, неумолимую мощь, целеустремленность их экипажей, натренированных и бесстрашных, прошедших подготовку у иностранных инструкторов. Те снабдили их лазерными прицелами, современными средствами связи, приборами космической разведки. Эти приборы рассмотрели из космоса шальную русскую колонну, без прикрытия совершающую дерзкий бросок. Передали ее координаты. Вывели на ее уничтожение танки. Сейчас начнут разворачиваться пушки, выплевывать сизый дым. Машины десантников станут перевертываться от прямых попаданий. И вся дорога — в клочьях огня, в расплавленной стали, в разбросанных недвижных телах.

Он понимал, что с легким стрекотом, среди вянущих трав, приближается смерть, и все они, примчавшиеся в эти грузинские горы, погибнут. Лишь редкие, убегающие, кровоточащие, спасутся в лесах, пока их не станут отлавливать с собаками подразделения грузинской полиции. И все его упования на райское чудо, на свя тую Империю, на

рождение любимого сына завершатся здесь, в солнечной грузинской долине, полной стрекота танков.

Эти опустошающие, цепенящие мысли стали отступать, будто кто-то их отвлекал, уводил прочь. Вместо этих предсмертных образов стала всплывать высокая икона царской семьи, которую видел в Храме на Крови. И не вся, а лишь та, озаренная лампадой часть, где царица в белоснежном платье стояла за спиной Государя.

Белоснежная, с кружевными оборками ткань стала расширяться. Воздушно увеличивалась, словно в нее дул ветер. Под нимал струящимся полупрозрачным куполом над застывшими боевыми машинами, над лежащими в рытвинах солдатами, над ним самим, сидевшим на виду у танковых прицелов. Купол волновался, был похож на туманную пелену, на белесый дым, застилавший глаза танкистов.

Танки продолжали двигаться под углом к дороге, не меняя направления, не вращая башнями, не поворачивая пушек. Словно колонна была им не видна, отделена непроницаемым покровом, стала колонной-невидимкой. Алексей слышал хрустящий перезвон гусениц, храп двигателей. Заметил, как один танк наехал на копну сена, раздавил, продолжая движение. Легчайшая полупрозрачная завеса не мешала видеть опознавательные знаки — красные кресты на броне, каждый из которых был окружен еще четырьмя крестами. Черным блеском отливали крупнокалиберные пулеметы. Тусклым лаком отсвечивали пушки. Танки шли, соблюдая интервалы, сохраняя свой строгий порядок. Но казалось, что в них нет экипажей или ими управляют слепцы, — так странно они не замечали русской колонны, беззащитных, как мишени, машин, копошащихся в траве десантников.

Танки пересекли ложбину, не задев хвост колонны. Перевалили дорогу и скрылись в холмах, утягивая за собой железные звуки, как призрачные, существующие в параллельном мире фантомы с красными колючими крестами на пятнистой броне.

Белесая дымка стала таять, прозрачный купол сносило ветром. Алексей вдруг почувствовал слабый запах духов, который сменился благоуханием высохших трав.

— По машинам! — перекатывалось вдоль дороги. Десантники проворно занимали отсеки. Механики включали моторы. И снова был стремительный бег по горным дорогам, сквозь рощи и сады, солнечные речки, и никто не спрашивал о случившемся чуде, не

старался объяснить чудесное избавление. Алексей испытывал сладостную усталость, какая бывает под утро пасхальной службы, после многих часов стояния, среди тягучих, словно мед, песнопений.

Они увидели Гори с высоты — гончарный, солнечный, среди кудрявых холмов. Пестрые крыши, освещенные фасады, улицы с блестящими бусинами автомобилей, их зеркальные вспышки. Город был уютный, мирный, в скверах и садах, с белыми зданиями. Казалось, он ссыпался с окрестных склонов, временно собрался в горсть, чтобы вскоре рассыпаться, но склеился фасадами, сцепился крышами, запутался среди парков и скверов, да так и остался на дне уютной долины, пропитанный солнцем, виноградным соком, сладким дымом жаровен.

Отмеченный на карте рубеж проходил по окраине. На эту окраину, спускаясь с гор, стала пробираться колонна. При выезде с проселка на асфальтовое, синеющее шоссе навстречу головной машине из деревянной будки выскочили два милиционера. Оба с автоматами, стали размахивать милицейскими жезлами, желая остановить колонну. Комбат с брони сделал ладонью отмашку, требуя, чтобы они посторонились. Оба подняли автоматы и открыли огонь, осыпав машину пулями, нанеся по броне несколько скрежещущих царапин. Комбат, получив пулю в грудь, молча сполз в люк, зацепившись за кромки бессильными руками. Колонна рванулась, открыв на ходу пулеметный огонь, который растерзал милиционеров, разметал в щепки милицейскую будку.

Алексей, еще слыша невыносимый скрежет пуль по броне, видел упавших милиционеров, продырявленную дощатую будку, сложенные мешки с песком, мимо которых неслась колонна. Шарахнулась в сторону встречная легковая машина. Промелькнуло табло с грузинским названием. Зарябили пригородные коттеджи с ухоженными клумбами и лужайками. Комбата втягивали в глубину люка, сдвигали зацепившиеся за кромки локти. Колонна скатилась по серпантину и встала в сосновой роще на въезде в город. Машины рассредоточивались среди деревьев, пятились, урчали, разворачивали пушки в разные стороны. Замкомбата, круглолицый капитан, напоминавший в темноте под Цхинвали ночную сову, принял командование, сновал среди машин, давал указание командирам рот оборудовать рубеж. И уже мелькали саперные лопатки, летела вверх

красноватая земля, наклонялись голые солдатские спины с гибкими позвоночниками, и сетчато, и прозрачно качались тени высоких сосен.

Комбат лежал на днище машины, на истертом матрасе, под круглым отверстием люка, сквозь которое на его голую грудь лился сиреневый свет. Под соском, на округлой выпуклой мышце, темнело пулевое отверстие — крохотная черная лунка, полная неподвижной малиновой крови. Антошкин держал на весу пластиковый пакет капельницы с витиеватой трубочкой, которая ниспадала к обнаженной руке комбата. Военврач, немолодой и усатый, трогал осторожными пальцами окружавшую рану плоть, словно нащупывал невидимую кнопку, нажав которую смог бы запустить остановившееся сердце, выдавить из раны бурунчик крови.

— Нет пульса, конец! — сказал он задумчиво, кусая седоватые усы, отирая проспиртованной марлей коричневые пятна на груди комбата.

— Сделайте что-нибудь! — умолял Антошкин, прозрачный пакет в его руке плескался жидким солнцем.

— В сердце, прямое попадание.

— Ну, сделайте что-нибудь!

Сквозь люк на грудь комбата упало несколько сосновых иголок, — стеклянные, зеленоватые, склеенные каплей смолы. Военврач осторожно взял хрупкий пучок, отложил на матрас.

Алексей смотрел на лицо комбата, и оно, еще недавно твердое, выпуклое, вылепленное для командирских окриков: «Воздух!», «По машинам!», «Огонь по команде!», вдруг осунулось, похудело. Сквозь бледные тени лба, подбородка и щек странно проступило детское, наивное выражение, словно смерть обнаружила в нем мальчика с изумленно поднятыми бровями и тонким обиженным ртом.

— Сделайте что-нибудь! — однообразно повторял Антошкин.

— Пусть замкомбата вертолет вызывает.

Алексей смотрел на странное, в смерти, омоложение комбата. Слышал звук, похожий на шуршанье большой стрекозы, когда, подогнув инкрустированное тельце, пошевеливая агатовыми глазами, она вращает слюдяными крыльями, собираясь взлететь. Так шелестела и звенела в нем, Алексее, кровь. Сердце увеличивалось, взбухало в груди, словно к нему подключили дополнительные артерии и вены, оно взяло на себя двойную работу, прогоняя кровь сквозь собственное

тело и тело лежащего на матрасе комбата. Эта нагрузка была непосильна. Алексей задыхался, словно бегом взбирался на кручу. Хватал жадно воздух, издавал больной стон. Видел бесконечное количество лилий, белых, розовых, фиолетовых, на тонких стеблях, обращенных в одну сторону, вверх, навстречу лучам, куда возносилась его бессловесная молитва, его страстное упование. Сердце не справлялось с обилием пропускаемой крови. Он не добегал до вершины, срывался с кручи. И навстречу ему, подхватывая на лету,ринулись крылатые духи. Вознесли в столбе лучистого света, выше, выше, туда, где у лазурных озер и цветущих рощ гуляли святые и праведники, и по синей реке плыла смоляная ладья, святая семья улыбалась ему, и царевич, зачерпнув горсть воды, шаловливо в него плеснул.

Алексей увидел, как дрогнула грудь комбата, и из раны ударил фонтанчик, запульсировал, забился. Военврач, забрызганный этой живой алой кровью, рвал пакет с бинтом, накладывал на рану тампон, сильно, умело наматывал витки марли.

— Зови замкомбата, — крикнул он кому-то через плечо. — Срочно вызывать вертолет!

Алексей отходил от машины, чувствуя, как обморочно и пусто в груди, словно изъяли сердце, пересадили в другую грудь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не своей волей, но пригоршней райской воды, которой брызнул в него царевич, он совершил воскрешение комбата. Но была в том и его самозабвенная заслуга, огненная молитва, жертвенное отречение. Больной и усталый, желая удалиться подальше от места, где он израсходовал сочную долю своей жизни, сократил срок службы собственного сердца, Алексей покинул расположение батальона. По вечереющему шоссе спустился в город, белый, желто-оранжевый, еще в низком солнце, но уже в фиолетовой дымке крыш, в густой синеве дворов и подворотен. Казалось, город не ведал о войне. Люди, по-южному говорливые и подвижные, толпились у магазинов. Холеные молодые мужчины в дорогих машинах останавливались, опускали стекла, подманивая к себе игривых женщин. Дети шалили у киосков, вырывая друг у друга баночки с соком и фунтики с орехами. У ресторана с витиеватой грузинской надписью расхаживал декоративный портье в папахе, в наборном ремешке, с кинжалом и газырями. Среди пальм красовался большой портрет президента Саакашвили. Его губы, разомкнутые и слегка искривленные, казалось, никак не могли выговорить какое-то путаное, застрявшее на языке слово. Никто не обращал внимания на Алексея, на его запыленный костюм, белую рубаху с почернелым от пота воротником.

«Как странно, — думал он, — еще недавно — моя страна, моя Родина, моя Империя, но сегодня — чужое государство, военные стычки, в которых грузины и русские убивают друг друга».

Он вышел на площадь с помпезными зданиями из ракушечника и белого камня, с автомобильной каруселью, издающей истошные сигналы. И увидел памятник. На высоком постаменте, бронзовый, в полный рост, стоял Сталин. Величественный, в форме генералиссимуса, в фуражке, с погонами и Звездой Победы. Его спокойная тяжеловесная поза говорила о полноте воплощенных им замыслов, о достижении всех намеченных целей, об утоленных мечтаниях, превративших его собственную жизнь и жизнь подвластного ему народа в непрерывное сражение, в непосильный труд, создавший великое государство. На постаменте он был задумчив

и замкнут. Все враги его были сокрушены и мертвы. Его государство выстояло в страшной войне, раздвинуло свои пределы, окружило себя непробиваемой защитой. Его преданные генералы и маршалы, изобретатели и ученые, садоводы и писатели возвели небывалую в мире Империю, каждый камень которой, каждая песня или поэма, атомный реактор или цветущая яблоня были ведомы ему, чувствовали на себе его царственное внимание.

Алексей зачарованно смотрел на памятник Сталину, быть может, единственный, сохраненный на просторах созданного им государства, которое, разрушаясь и падая, отвергло его. Переплавило и раскололо его монументы, переименовало названные в его честь города, осквернило его прах, разорило собранное им богатство — великую, среди трех океанов, Державу. Гранитный постамент и бронзовая фигура по грудь были погружены в тень, но лицо отливало солнечным смуглым металлом.

«Как жаль, что мне не дано услышать твой голос, — думал Алексей, подняв глаза к монументу. — Не дано услышать твои напутствия в предстоящих мне царских свершениях. Ты, «красный монарх», предостерег бы меня от ошибок, уберег от роковых неудач. Но, увы, теперь ты не человек, а бронза. И я могу лишь тебе поклониться».

Он почувствовал, как металл памятника умягчился. Плащ колыхнулся, словно на него пахнул ветер. Лампасы, лишь прочерченные на бронзовых брюках, обрели цвет красного шелка. На грубо вылепленной Звезде вспыхнул бриллиант. Недвижный слиток лица дрогнул, в глазах появился влажный блеск, веки устало опустились и вновь поднялись — подали знак Алексею, что он услышан. В ту же минуту из-за постамента вышел мужчина, молодой, с черной бородкой, с черными, спускавшимися на лоб волосами, легкий в походке, грациозный и узкий в талии, переставляя быстрые ноги в мягких коротких сапожках. Алексей узнал в нем Сталина, в ранний, кавказский период, каким запечатлело его охранное отделение в моменты арестов и ссылок. Он поманил Алексея, проходя мимо, произнес:

— Сталин — не бронза, а скорость света, — и пошел, увлекая за собой..

Они оставили площадь, прошли по многолюдной улице, пересекли сквер с могучими платанами и косматыми пальмами. На краю сквера прилепилась к необъятному, стального цвета стволу харчевня. На вывеске намалеваны усачи в белых и черных бурках. Стол, уставленный разрезанными арбузами, бутылками и бокалами. Длинноволосый грузин, выпучив глаза, опустошает рог, полный вина. Сталин вошел в харчевню, приглашая за собой Алексея. Навстречу заспешил угодливый хозяин в шелковой безрукавке, с коричневым носатым лицом, на котором изобразились искренняя радость и неподдельное радушие.

— Здравствуй, Coco, — открыл он объятья навстречу Сталину.

— Здравствуй, Каха, — ответил Сталин, прижимая свою щетинистую щеку к выбритой щеке хозяина.

— На твое любимое место, Coco? — хозяин шел перед гостями с легким поклоном, зазывая в глубину харчевни, где стояли черные, пропитанные вином и бараньим жиром столы, крутилось неуклюжее мельничное колесо, переливая мягко хлюпающую воду, на стенах висели связки красного перца, высушенные желтые тыквы, гирлянды чеснока и лука

— Сегодня Зураб у тебя работает? — спросил Сталин, отодвигая тяжелый, грубо сколоченный стул, садясь спиной к стене, сплетенной из гибких ветвей. — Пусть принесет все, чем богато твое заведение. Мой гость долго находился в пути, и ему нужно хорошо подкрепиться.

— Есть бутылочка киндзмараули, Coco, специально для тебя, из Сванетии.

— Там еще живо несколько лоз, которые родят настоящий виноград. Угостим гостя натуральным грузинским вином.

Хозяин с ликующим выражением лица ускользнул в отдаленные сумерки харчевни, откуда доносилось шипенье, летели искры, пламенели угли мангалов. Алексей и Сталин остались вдвоем, окруженные плетеньем веток, словно укрылись от посторонних глаз на дне огромной корзины.

— Как проходил поход? — Сталин положил на стол ладони, и Алексей заметил, какие длинные, гибкие, с розовыми гладкими ногтями у него пальцы. — Эту войну со стороны России ведут не генералы, не командующие округов и армий, а командиры полков и комбаты. Только их мужеству и находчивости обязана Россия своей

победой. Генералы никуда не годятся. Генеральный штаб никуда не годится. Министр обороны — пустое место. Россия после своего страшного поражения, когда отступала на всех фронтах в течение двадцати лет, сегодня ведет свою первую наступательную, имперскую войну. Ты верно поступил, оказавшись с воюющей армией. В дальнейшем ты сможешь спросить у своих генералов, конструкторов, директоров военных заводов, почему они не были готовы к войне. Почему штурмовики Су-27 лишены приборов ночного видения и систем постановки помех, что позволило грузинам в первые дни войны уничтожить десяток русских самолетов. Почему маршевые колонны не насыщены современными средствами связи, работающими в закрытом режиме. Американцы со спутников перехватывали переговоры командиров, определяли маршруты движения, передавали грузинам, а те успевали совершать маневры, избегая ударов. Почему русские танки Т-72 выступили в поход без «активной брони» и несли потери от грузинских противотанковых средств. За все эти упущения платит кровью русский солдат, а всего-то надо было расстрелять одного-двух генералов.

Сталин барабанил пальцами по столу, блестел молодыми, оливковыми глазами, и было видно, что он страдает от невозможности вмешаться в ход событий, отделенный от них толщей застывшей исторической магмы. В этой толще оцепенели и навек иссохли причинно-следственные связи, не позволяя вождю из великого прошлого дотянуться до ничтожного настоящего.

— Я знаю природу того, что позволило тебе изменить траектории падающих бомб и спасти от бомбардировки колонну. Знаю природу того, что побудило тебя пойти на верную смерть, спасая осетинского младенца, но, окруженный непробиваемой сферой, ты остался невредим. Я понимаю твои побуждения, когда ты вырвал из рук осетин обреченного на смерть грузина и отпустил его на опушке дубовой рощи. Ты накрыл прозрачным шелком, заслонил невидимой завесой колонну десантников, спасая ее от грузинских танков. Тебе удалось воскресить убитого комбата, подключив к его пробитому сердцу свое, живое. Когда-то, в шумном собрании не понимающих тебя людей, ты сказал, что Царь Николай мне, «красному царю», передал с небес райскую лампаду, сделав меня сопричастным своей святости. Но это не так. Он передал ее тебе у Ганиной ямы, и ты держишь лампаду,

которую он вложил в твои руки. Только святость способна протянуть лучи из прошлого в будущее, преодолеть глухую толщу времен. Ни железная воля, ни отважная мысль — только святость оживляет, делает влажными и сочными связи, через которые исчезнувшее время соединяется с еще не наступившими днями.

Алексей слушал и при этом замечал, как сидящий перед ним темноволосый молодой человек с оливковыми глазами, постепенно меняет внешность. Волосы его становились гуще, приобретали слабый медовый оттенок. Зачесанные назад, они открывали широкий лоб, на котором обозначились морщины и выпуклые надбровные дуги. Щеголеватая бородка исчезла, образовались густые усы с легкими завитками на концах. Губы, утратив малиновую свежесть, стали резче, подвижнее. Теперь это был тот Сталин, что выиграл битву за Царицын, добился неоспоримых высот в партии и уже произнес знаменитую речь над гробом Ленина, в лютую стужу, стоя без шапки, глядя, как из хрупких замерзших цветов выглядывает мертвенное лицо Ильича.

Явился тот, кого Сталин назвал Зурабом, — войлочная шапочка покрывала седую шевелюру, пышные, как песцовые хвосты, усы разлетались в стороны, коричневый, с сухим горбом нос, делал лицо воинственным, воинственность подтверждал багровый шрам на щеке.

— Здравствуй, Иосиф, — улыбался Зураб, расставляя на столе тарелки с душистой зеленью, горшочки с красным и черным лобио, стаканы с жирным, как сметана, мацони. — Ты спрашивал у меня в прошлый раз, как зовут дочку Гоги Квартели. Так вот, я вспомнил. Ее зовут Цесана. Цесана Квартели.

— Хорошо, что сказал. А то я все мучился, не мог припомнить, — Сталин ухватил с блюда сизый, с синим отливом лист, потер в тонких пальцах, и запахло мятой, терпкой маслянистой горечью. На столе появилось блюдо с горячим, золотисто-белым хачапури.

Миска с лоснящимися хенкали. Большая тарелка с гроздьями дымной, пронзенной шампурами баранины. Зураб, прижимая к груди, принес бутылку вина с красной наклейкой и сургучным утолщением на горлышке. Так кормилицы прижимают к сосцам драгоценное чадо.

— Вахтанг Шаткелава шлет тебе в подарок это чудесное вино. Говорит, пусть Иосиф вспомнит наш спор о пользе овечьего сыра. Когда Иосиф приедет, мы закончим спор об овечьем сыре.

— Скажи Вахтангу, что спор о сыре можно вести бесконечно, передавая его по наследству от отца к сыну, и от сына к внуку.

— Скажу, Иосиф, непременно скажу.

Благородный нос воина и пышные усы поэта удалились в туманные сумерки харчевни. Алексей и Сталин пили чудесное, благоухающее, с нежнейшей сладостью вино. Снимали с шампуров розовое мясо. Совали в рот темно-зеленые и фиолетовые кисти пряной травы. Сталин учил Алексея есть хенкали.

— Русские не умеют кушать хенкали. Они думают, что это пельмени. Попробуй научиться кушать хенкали, и тогда в грузинском обществе ты не ударишь в грязь лицом. — Он тут же, действуя замедленно и наглядно, демонстрировал Алексею это непростое искусство. Цепко, пальцами, хватал выступающий из хенкали черенок. Подносил ко рту лепное изделие. Обнажая острые белые зубы, надкусывал краешек тестяного, наполненного мясом мешочка так, чтобы не пролить скопившийся сок. Показывал Алексею сделанную в мешочке скважину с катышком горячего мяса и готового излиться золотистого сока. Складывая губы трубочкой, с легким свистом выпивал сок, закрывая от наслаждения глаза. Медленно, по частям, поедал мясо, вместе с тестяной оболочкой, пока в руках у него ни оставался пустой хвостик теста. Бережно откладывал его на тарелку.

— Попробуй ты.

Алексею не вполне удался опыт. Сок вытек из мешочка, и пришлось подбирать его ложкой с тарелки. Сталин с добродушной укоризной качал головой:

— Русский думает, что это пельмень. Но это совсем не пельмень.

Из темных, дымных глубин появились музыканты, одетые, как джигиты, с кинжалами, газырями, в белых и черных папахах. У одного была скрипка, другой нес на ремне аккордеон, третий держал в руках стальные звенящие палочки. Приблизились, поклонились. Улыбающиеся рты. Грузинские смоляные усы. Печальное и нежное выражение выпуклых глаз,

— Иосиф, — хозяин харчевни Каха, который привел музыкантов, прижал руку к сердцу. — Они хотят сделать тебе приятное. Они хотят исполнить твою любимую песню, от которой в прошлый раз на твоих глазах появились слезы.

Если они споют «Черную ласточку», то и теперь на моих глазах появятся слезы. Но как мой гость узнает, о чем поется в грузинской песне?

— Твой гость будет слушать музыку, смотреть на твои слезы и угадает слова песни.

Музыканты замерли и остановили дыхание, словно прислушивались к таинственному звуку, недоступному для обычного слуха. Их груди были кувшинами, в которые вливался звук. Волновался, плескался, и они ждали, когда он успокоится, наполнит их груди на уровне сердца. Скрипач припал щекой к маленькой лакированной скрипке, тронул смычком одинокую печальную струну. Второй растревожил перламутровые клавиши аккордеона, брызнул каплями солнца. Третий ударил в цимбальцы, поместив всех троих в серебристый расходящийся круг. Они растворили под пышными усами рты, завели глаза, оставив под черными бровями большие голубоватые белки. Песня излилась сразу тремя ручьями, тремя прихотливыми потоками, тремя шелковистыми летучими лентами, которые сплетались, распадались, догоняли друг друга, образуя петли, узоры, неуловимый орнамент, где звуки переходили в письмена, а те — в бесконечные переливы света. Казалось, в солнечной синеве, среди тенистых гор, над садами, ущельями, пропадая в лучах, возникая среди хрупкого блеска, несется ласточка. Одинокая темная птица падает с крыла на крыло, взмывает и снова ныряет, гонимая в пространствах чьей– то неусыпной тревогой, страстной любовью и верой. Вестница чьей-то любви, посланница чьей-то печали.

Алексей, едва услышал сладостные звуки, испытал такое волнение и нежность, такое слезное погружение в музыку, что она стала понятна без слов, служила тому, чтобы соединить их всех, собравшихся в этой скромной харчевне. И были они все братья, все смертные, обречены на исчезновение, знали о неодолимости разлуки, о невозможности удержаться среди этой красоты и любви и о скором неизбежном прощании. И вот один из них уже превратился в черную ласточку. Удаляется, покидает их навсегда, переливаясь прощальным блеском под белой тучей, и оставшиеся провожают друга. А потом настанет и их черед. Один за другим, унесутся с этой чудной благословенной земли крохотными вихрями, под всхлипы

канифольных струн, всплеск перламутровых клавиш, перезвоны хрустальных палочек.

Эта песня была о нем, Алексее. О его одинокой юности, о чудесном предчувствии, о грозном предзнаменовании и о предначертанном великом пути. Эта песня была о прощении, об искуплении слез и несчастий. Эта песня была о его любимой, чье платье соткано из неземных материй, чья прелестная рука шелестит в его волосах, чье волшебное лоно испускает незримые радуги. Эта песня была о походе, о горящих городах и селеньях, а также о студеной воде с тенями пятнистых рыб, с крохотной птичкой, повернувшей к нему свой чуткий тревожный глазок.

Певцы поднялись на цыпочки, будто старались догнать последний улетающий звук. Не смогли. Поникли, ссутулили плечи, опустили бессильно инструменты, словно в каждом погас светильник. Все молчали. По щекам Сталина катились слезы. Глаза Алексея были в слезах.

— Спасибо, — произнес Сталин, не отирая слез. — Вы великие артисты. Лучше вас нет.

Певцы поклонились и, качая папахами, исчезли в сумрачных переходах харчевни.

— Что-нибудь хотите еще, Иосиф Виссарионович? — Каха поклонился, украдкой вытирая слезы.

— Пока все есть, дорогой друг. Мы позовем тебя, когда возникнет нужда.

Алексей заметил, как изменилась внешность Сталина. Его лицо осунулось и постарело, на щеках и лбу пролегли едкие морщины. Волосы были зачесаны назад, и в них появилась желтоватая седина. Усы стали реже, без щеголеватых завитков на концах, с никотиновой желтизной. По всему лицу стали заметны оспины, словно следы от ударов крохотных градин. Этими градинами, оставлявшими на лице металлическую рябь, были годы пятилеток, возведение заводов и домен, создание новых самолетов и танков, собирание колхозов и строительство городов. Это были годы судебных процессов, где прежние соратники отправлялись в расстрельные рвы, тюремные эшелоны расползались в пустыни и тундры. И он один, в кремлевском кинозале, в который раз смотрел черно-белый, колдовской фильм «Триумф воли» — творение гениальной и безжалостной немки,

магическое искусство которой была направлено против его «красной империи».

— Вы сказали: «Сталин — не бронза, а скорость света», — произнес Алексей. — Видимо, этим вы хотели объяснить, почему до сих пор ваше имя не меркнет среди других великих русских имен, но, напротив, становится все ослепительней. Это тайна, разгадав которую можно разгадать вековечную тайну России, загадочность «русской души», не так ли?

Сталин извлек из френча вишневую трубку с черным мундштуком. Положил на стол коробку папирос. Открыл и стал ломать папиросы, набивая табаком трубку, крепко придавливая его большим пальцем, на котором ноготь пожелтел от никотина. Услужливый Зураб неслышно возник, держа в щипчиках крохотный золотой огонек. Положил в лунку трубки, и Сталин, благодарно кивнув, стал всасывать дым. Было видно, как разгорается уголек, все обильнее сочится из сталинских усов синеватый дым, горячий огонь погружается в вишневую трубку.

— Вы правы,— произнес он, когда изо рта у него пахнула полноценная струя сизого дыма, — Товарища Сталина выскребают бульдозером из русской истории. Вытравливают кислотой, как постыдную татуировку. Выбивают зубилом, как угонщики перебивают номера на моторах. Закрашивают ядовитой масляной краской, как маляры замалевывают церковную фреску. На него льют нечистоты, кидают на могилу трупы генералов, писателей, кулаков, обкладывают телами расстрелянных инженеров и партийных работников. Пятьдесят лет непрерывно работает завод, вырабатывающий антисталинизм — радиоактивный раствор, которым промывают мозги младенцев в яслях и детских садах, заливают каждую семью, каждый дом…

Алексей слушал мерную, с грузинским акцентом, речь собеседника, который говорил о себе отстраненно, в третьем лице, как о состоявшемся, не подверженном пересмотру явлении. Так говорят о законах физики, о математических теоремах, о нанесенных на карту названиях хребтов и океанов. Они сидели в харчевне под связками красного перца, сухими золотистыми тыквами, гроздьями луковиц. Но у Алексея было ощущение, что он находится в безбрежном Космосе, где каждое произнесенное слово уносится со скоростью света, рождая лучистые вспышки. Эти вспышки излетали из разных концов

мироздания, мчались навстречу друг другу, сталкивались, и место их встречи превращалось в гигантский взрыв, из которого рождались молодые планеты, расцветали миры, и черная бездна расцветала садами.

— Вы правильно заметили, происходит необъяснимое чудо. Товарищ Сталин по-прежнему является героем русской истории, непревзойденным вождем, величайшим радетелем всех веков и народов. И добро бы, так славили его сталинисты, бравшие Берлин, кидавшие к мавзолею штандарты фашистских дивизий. Те давно уже спят под крестами и под столбиками с красной звездой. Их дети, их внуки и правнуки поют хвалу товарищу Сталину. Сочиняют о нем стихи, пишут книги, выставляют его иконы в церквях, к ужасу чернокнижников и фарисеев, испепеляющих образ товарища Сталина. Пускай себе берут очередное ведро с известкой, наматывают мочало на палку и закрашивают звездное небо. Все тем же волшебным светом переливается Полярная Звезда, как бриллиант на сталинском ордене Победы…

Алексею казалось, что он наблюдает игру космических сил. Разноцветные лучи вылетали из необъятной Вселенной, сворачивались в свитки, расплескивали протуберанцы, полыхали сияниями. Преображали бесформенную, бесцветную тьму в спирали галактик, развешивали над бездной люстры плодоносящих миров.

— В чем же, спросим мы, объяснение? В чем бессмертие товарища Сталина? В чем его пасхальное возрождение после очередного убийства? Товарищ Сталин возник из бездонных глубин русского сознания. Запечатлел неискоренимые русские архетипы. Воплотил глубинные коды русского человека, неистребимые, покуда существует Россия. Вытрави этот код из отдельной души, вырежи мерцающую частицу из отдельной памяти, и она тут же восстановится во всей полноте в другой душе, в другом поколении, в другом русском сознании, размышляющем о судьбах Родины…

Алексею казалось, он видит, как мечутся во Вселенной огненные частицы. Ищут себе подобные. Частицы сталкиваются, и в месте их столкновения загорается солнце, начинают вращаться планеты, и на одной из них, в неприметной харчевне он, Алексей, слушает великого человека.

— Товарищ Сталин создал великое государство, выхватив «русскую цивилизацию» из кромешной бездны, из гражданской войны, из кровавой бесконечности, в которую ухнула русская история после краха Романовых. Для русских людей государство — это вторая религия. Вся история русских — это летопись обретения государства и его потери, неоглядные беды и траты, связанные с этой потерей, и новые траты — для восстановления павшего государства. Русские готовы платить, не считаясь, за создание государства, ибо знают страшную цену, которую платит народ, теряя свою суверенность. Товарищ Сталин в русском сознании — великий государственник, потребовавший от народа огромную плату за воссоздание территорий от Курил до Минска и от Крыма до Шпицбергена. За возведение заводов, сумевших перевесить индустриальную мощь Европы. За сотворение культуры и армии, способных, каждая по своему, сберечь целостность огромной страны…

Алексей видел мертвую, из серой пемзы, из безжизненной пыли планету, на которую по дуге падала золотистая искра, горячее живое зерно, и там, где оно упало, расцвело чудесное дерево, потекли ручьи, засверкали цветы. Вся Вселенная восторженно пела русский псалом: «Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет».

— Товарищ Сталин создал не просто глыбу государства. Он пронизал его мистическим светом, наделил запредельной мечтой, поместил в лучезарный ореол утопии о вселенской справедливости, о братском равенстве, о достижении райского блаженства. Не об этом ли грезила веками русская душа, пели свои былины сказители, писали свои свитки старообрядцы, философствовали русские мистики и социалисты? Коммунизм был «хождением за три моря», где расстилалась райская страна, божественная ВДНХ с золотым фонтаном, из которого изливалась «живая вода» бессмертия…

Алексею казалось, Космос трепетал от бессчетных соитий, когда одна драгоценная частица проникала в другую, и обе сливались, начинали расти, как икринки. Бесчисленные споры засевали погасшие участки Вселенной, и там начинали дуть сладкие ветры, текли студеные реки, мелькали в потоках бесшумные рыбы, и на берег прилетала синегрудая райская птичка.

— Товарищ Сталин не просто манил народ нарисованной на клеенчатом коврике картинкой. Он превратил народ в героев и

открывателей, объяснив, что им под силу построить «рай на земле». Из темных крестьян он сделал летчиков и полярников, первоклассных ученых и великих артистов, открывателей новой физики и новой астрономии, учил их строить звездолеты, покорять вершины, побеждать недуги. Он разрушил пределы достижимого. Направил народ в недостижимое, в сказочное. В «третье царство, в третье государство», за жар-птицей, за Еленой Прекрасной, за Кощеевой смертью. Туда, куда издревле звала русского человека народная сказка, народная мечта, народная вера в Чудо. Товарищ Сталин — провозвестник Русского Чуда, великий русский сказочник и былинник, построивший университетов и институтов больше, чем Преподобный Сергий монастырей и приходов…

Алексею чудилось, что он перенесся на чудесную землю с незамутненными озерами, сверкающими ледниками, девственными лугами. Среди розовых зорь, голубых дождей, бриллиантовых рос высится дерево, полное птичьих песен. Его любимая сидит на траве и кормит грудью младенца. Из соседних лесов выходят олени и львы, прибегают белки и зайцы, летят стрекозы и бабочки. И он любит их всех неземной любовью.

— Товарищ Сталин реализовал это Чудо в мистической Русской Победе сорок пятого года. Тогда, на великой крови, на великих слезах и великом ликовании произошел долгожданный сплав русской истории, сложились все времена от Дмитрия Донского и до маршала Жукова, от победы на Бородинском поле до Сталинградской битвы. Все народы, населяющие красную Империю Сталина, сочетались в единый народ-победитель. Солнце, воссиявшее однажды над поколением богоносных людей, уже никогда не погаснет в их внуках и правнуках…

Алексей смотрел на смолистую ладью, плывущую по волшебной реке. Над ладьей стояла негасимая радуга. Царь держал в руках деревянное, испещренное письменами весло. Царица несла на плече голубую притихшую птицу. Царевны плели венки из золотых одуванчиков. Царевич достал из ведерка живую серебряную рыбу, выпустил ее в небо, и она плыла, оставляя сверкающий свет.

— Вот поэтому и тщетны усилия осквернителей. Поэтому и славен товарищ Сталин в русской истории. Поэтому неизбежно город Сталинград зацветет своими заводами, дворцами и храмами на

волжских кручах. А в русских церквях появится икона трех русских святителей — Преподобных Александра Невского, Дмитрия Донского и Иосифа Сталина, отстоявших Россию.

Сталин умолк, и Алексей поразился случившейся с ним перемене. Его лицо высохло, сжалось, болезненно пожелтело. Глаза сузились, помутнели, но в их глубине играл болезненный желтый огонь. Волосы поредели, стали пепельными, сквозь них просвечивал серый череп. Усы, алюминиевые, непослушно топорщились над верхней, бесцветной губой. Он был одет в белый парадный китель со стоячим воротником, сжимавшим дряблую шею. На плечах ярко, солнечно золотились погоны с вышитыми шелком огромными алыми звездами. На кителе, под самым кадыком, сверкал бриллиантовый орден Победы — Звезда Пленительного Счастья, посланная ему с небес райскими ювелирами в лазурных плащах с белоснежными крыльями.

Это был Вождь, выигравший самую страшную и кромешную в мире войну. В этой войне, кровавой и адской, превосходившей своими зверствами и кровавыми жертвами все прежние войны, он удержал человечество от падения в черную, беззвездную бездну. Одолел духов тьмы, которые сгибали земную ось, останавливали движенье планеты, которое ей задал, восходя на крест, Иисус Христос. Бездна отступила, окровавленная планета продолжала свое кружение вокруг Солнца, которое поцеловало благодарными золотыми устами погоны генералиссимуса. Нечеловеческая усталость была на лице Сталина, горькое разочарование сквозило в его тусклых, под алюминиевыми бровями глазах. Сердце Алексея болело от любви и сострадания к этому величественному старику, знавшему о себе страшную, неисповедимую тайну.

— Душа христианка, а народ — сталинист, — произнес Сталин, едва шевеля утомленными губами.

— Вам не в чем себя упрекать. Все жертвы оказались не напрасны. Вы — Победитель. Народ сбережет вас в своей памяти на многие тысячи лет. Православная церковь причислит вас к лику святых.

— Нет, я не буду святым. Я слишком много убивал. В миллионы раз превысил меру, за которой душа никогда не увидит рая. Многие, убитые мной, стали праведниками, и они стоят стеной у райских врат и меня не пускают. Я не достоин святости, но я достоин покоя.

Вы, спящие вокруг меня,
Вы, не встречающие дня,
За то, что пощадил я вас
И одиноко сжег мой час,
Оставьте будущую тьму
Мне также встретить одному.

Он надолго задумался, закрыв глаза, и Алексею казалось, что он дремлет. По его парадному френчу, приближаясь к плечу, ползла красная божья коровка.

— Пора идти, — произнес Сталин, вставая. Из сумрака харчевни возникли Зураб и Каха. Оба были в выцветших гимнастерках с сержантскими лычками. У одного на груди позванивали три Ордена Славы, а у другого алели три Ордена Красной Звезды.

— Вас проводить, товарищ Сталин?

— Спасибо, товарищи. Тут недалеко… — Он повернулся к Алексею. — Не бойся врагов. Их можно одолеть. Бойся предателей. Они окружают тебя, как соратники и друзья, а потом вливают в твои уста яд.

Вышел из харчевни и пошел через темный сквер, слабо белея кителем. Алексей задумчиво и печально побрел в противоположную сторону, в южную теплую ночь, в запахи цветущих растений, шелесты в черных вершинах, сквозь которые вдруг страстно и разноцветно вспыхивали звезды.

Наутро прилетел вертолет. В него погрузили раненого комбата, над которым раскачивалась капельница с золотистым раствором. На том же вертолете Алексей вернулся в Беслан, и к вечеру был уже в Москве.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

И вот долгожданное, «свадебное», как мысленно называл его Алексей, путешествие в Петербург. По настоянию Президента, по личному приглашению мэра Петербурга, великолепной Елизаветы Петровны Корольковой, он, вместе с ненаглядной невестой, отправляется в Северную Пальмиру, где состоится их венчание в одном из царственных соборов. Обаятельный, жизнелюбивый Андрюша привез их на Площадь трех вокзалов, которая еще недавно угнетала Алексея своей черной, как вар, толпой, тяжеловесными, с сусальной позолотой теремами, напоминавшими позолоченные тюрьмы, агрессивными и бешеными отрядами молодежной организации «Наши», остервенело марширующими под бой барабанов и визгливый рев мегафонов. Всего этого не было и в помине.

— За пирком да за свадебкой! — фольклорно приговаривал Андрюша, выгружая из багажника поклажу.

В ночном теплом воздухе над площадью сверкала драгоценная люстра, отражаясь в черной глубине омытого дождем асфальта. Летела карусель огней, метались бесчисленные брызги света. Зеленые, алые, золотые полосы светофоров одна за другой ложись под колеса. Лакированные спины и мокрые стекла машин отражали радужные рекламы, полыхание фар, северное сияние ночного сказочного неба. Здания вокзалов казались сказочными дворцами, и в один из этих дворцов Алексей и Марина внесли свои легкие, через плечо, саквояжи, радуясь тому, что они наконец вдвоем, без опеки, после мучительного и опасного расставания, накануне волшебного странствия.

Поезд «Северная стрела» застыл на перроне, литой, смугло-блестящий, устремленный в туманную мглу с металлическим плетеньем путей, фиолетовыми, трогающими душу огнями. Проводники в элегантной форме с серебряными эмблемами статно замерли у вагонов. Особая петербургская публика — моряки, разодетые дамы, барственного вида мужчины, — казалось, принадлежали к иному, немосковскому укладу, к истинно имперскому стилю, к петербургской красоте и величию. Алексей и Марина вошли в вагон и оказались в прекрасном двухместном купе, с зеркалами,

кожаной обивкой стен, матовыми светильниками, которые можно было включить до слепящей яркости или приглушить до слабых, лунного цвета, пятен. Побросали на полки баулы и сумки и поцеловались, долго и самозабвенно, не замечая мелькающих за стеклами людей, не обращая внимания на заглядывающих в купе пассажиров.

— Любовь моя, только о тебе и мечтал все время. Только и жил мыслью о тебе.

И как было славно услышать едва уловимый хруст тронувшихся колес, осторожное ускорение поезда, увидеть плавно отплывающие огни перрона, людей, торопливо шагающих вслед вагонам. Заструились оранжево озаренные проспекты, фантастические, в серебряной чешуе супермаркеты, какие-то фабрики с яркими окнами. Москва стала мелеть, темнеть, рассасываться, и вот уже побежали предместья, темные рощи с просвечивающими, еще не спящими дачами. Несколько раз прозвенели, зарябили окнами встречные электрички. Они уже плавно летели среди летнего ночного Подмосковья с неразличимыми дубравами, полными ночного тумана низинами. А здесь — чудесная мягкость постукивающего, нежно скрипучего купе, они держат друг друга за руки, и она говорит:

— Все время видела сны. О тебе, о нем… — Она прижала тонкие белые пальцы к животу, и он гладил ее руку, боясь прикоснуться к дышащему лону, где, подвластный ей, питаемый ее горячими источниками, сберегаемый ее животворными силами, созревал младенец.

— Какие сны, любимая?

— Сплю и чувствую, что он светится во мне, как звездочка. Все больше, ярче. От него начинают расходиться круги, сиреневые, голубые, золотые. Он трепещет во мне и звучит. Я слышу волшебную музыку, вижу, как мой живот становится круглым, золотым, словно солнце. Наш сын золотой, как солнце, Царь-Солнце. Мы родим царевича, и он когда-нибудь займет трон в нашей солнечной русской Империи.

— А ты уверена, что это сын?

— Я была у врача. Сейчас существуют удивительные приборы, позволяющие на первой неделе беременности распознавать у зародыша пол. Мне показывали снимок. Это мальчик. Не просто

мальчик, а крохотный портретик, с микроскопическим личиком, в котором, мне кажется, я угадала твои и мои черты.

— Боже мой, как у поэта Павла Васильева:

Дала мне мамаша тонкие руки,
А отец — тяжелую бровь.

Он вдруг вспомнил, как совсем недавно повторял эти строки в Тобольске, глядя в туманное старое зеркало. Рассматривал свои нахмуренные пушистые брови, припухлые губы. В нем волновались неясные переживания, сыновья нежность и печальное сострадание к умершим родителям, оставившим на его лице прикосновения своей любви. Теперь их безвременно канувшие жизни не растворятся в безвестности, а станут переливаться, отражаться в перламутровой капле еще не рожденного лица.

— Мне снился ужасный сон. Будто ты идешь по какой-то каменистой дороге, вокруг тебя голые черные горы, такие унылые, острые, как в сказках, где живут злые духи и находится Замок Зла. Ты идешь одинокий, усталый, и вдруг навстречу тебе летит ужасная птица, гриф или беркут. Огромные крылья с загнутыми маховыми перьями, желтый отточенный клюв, желтые чешуйчатые ноги с распущенными когтями. Летит прямо на тебя, сейчас вонзит в тебя когти. Я вижу желтизну его кривого клюва, злые оранжевые глаза. Бросаюсь вперед, кричу, отгоняю. Он рвет мои руки, но потом отворачивает и удаляется в горы. Вижу комья перьев на его ногах, желтую чешую, ленивые взмахи крыльев.

— Сон твой вещий. На нашу колонну напал самолет, собирался нас разбомбить. Но ты его отогнала.

— И еще один сон, той же ночью. Будто ты идешь по расплавленному свинцовому озеру, которое сверкает и плещет, выбрасывает тяжелые брызги, вздувает тусклые пузыри. Ты идешь босиком по кипящему свинцу, а в руках у тебя глиняный цветочный горшок, и из него вырастает чудесный цветок, алые лепестки, золотая сердцевина, узорные листья. Мне страшно, что ты уронишь цветок, не вынесешь ожогов свинца. Я кидаюсь тебе навстречу, кругом кипит

металлическое озеро, но я успеваю принять от тебя цветок, и такое во мне счастье, такое облегчение.

— И этот твой сон вещий. Я нес цветок по площади в Цхинвали среди свинцового кипятка.

— Другие сны, которые я не запомнила. Повсюду ты, среди опасностей, сердце мое разрывается от тоски, и я стремлюсь к тебе на помощь.

— Должно быть, так же волновалась и тосковала царица, кода царь уехал на фронт, в Ставку.

— Ты мой Царь-Победитель. Вернулся с победой. В награду за твое мужество нам дарована чудесная поездка. И, быть может, в каком-нибудь изумительном петербургском соборе мы обвенчаемся.

Она погасила светильники, они остались среди черных зеркал, мягкого колыханья купе. Он отодвинул с ее висков густые теплые волосы. Целовал ее закрытые глаза, слышал, как вздрагивают веки, трепещут ресницы.

От ее обнаженного тела исходили округлые волны тепла и прохлады. Он видел ее не глазами, а губами, касаясь плеча, груди, ложбинки пупка, чувствуя щекочущую нежность лобка. Внезапно в окно влетел грохочущий огненный шар, пламенно ворвался в купе и начал метаться, раскалывая зеркала на тысячи ослепительных осколков. Испуганно он видел ее сверкающее, как серебряная статуя, тело, открытые, исступленные глаза, блеск зубов, летучее пламя рассыпанных волос. Встречный поезд промчался, затихая вдали, а в купе все еще летали по углам, меркли в зеркалах, осыпались невесомые завитки света.

И было чувство, что такое уже с ним случалось, между Читой и Иркутском, где он никогда не бывал.

Солнечным утром состав, преодолев ночную Россию, мягко и устало припал к перрону, над которым красовалась золоченая надпись «Петербург». Алексей и Марина, подхватив на плечи сумки, стали выходить, пропуская шумных нетерпеливых пассажиров. Когда покидали ступени вагона, перепрыгивая на перрон в синих лужицах дождя, вдруг громко, бравурно ударил оркестр. Музыканты в киверах, с серебряными ментиками и эполетами, раздували щеки, качали медными трубами, энергично двигали взад-вперед мундштуки фанфар,

гремели начищенными, ахающими тарелками, колотили в гулкие барабаны.

— Марш лейб-гвардии Преображенского полка, — с видом знатока, воскликнул Алексей. — Кого же так встречают? — И в ту же минуту понял, что встречают их с Мариной.

Часть перрона была окружена дюжими охранниками. Отделяясь от красочных музыкантов и звериного вида телохранителей, к ним устремилась женщина — мэр Петербурга, великолепная, в васильковом облачении, Елизавета Петровна Королькова — жемчужное девичье лицо, белоснежная улыбка девственницы, античная, из золотистых прядей, прическа. Казалось, несколько салонов красоты и модных ателье трудилось всю ночь, чтобы утром хозяйка города предстала прекрасной, как Аврора. В руках ее был огромный букет белых роз, который она передала Марине:

— Мои дорогие, позвольте вас приветствовать в северной столице России, в имперском городе русского государства Санкт– Петербурге. — Запах роз мешался с запахом ее духов. Бирюзовое ожерелье и зелено-голубые клипсы из яшмы находились в чудесной гармонии с ее одеянием, и вся она, крепкая, костистая и жилистая внутри, снаружи блистала прелестью и молодой красотой. — Разрешите вам представить цвет нашей петербургской элиты. — Она подвела к Алексею сдобного, с мятной улыбкой мужчину, аттестовав его, как директора Эрмитажа, который готов показать гостям экспонаты императорской коллекции. Затем был представлен адмирал, моложавый, со свежим румянцем и красивой сединой в щегольских усах, — «начальник Кронштадта», как назвала его Королькова. — Он предоставит вам флагманский катер, а если надо, то и всю балтийскую эскадру, — пошутила она, и адмирал, понимая шутку, мягко улыбнулся. — Ну что, друзья, еще раз с прибытием. Наш Президент Артур Игнатович позвонил мне и просил оказать вам самое радушное гостеприимство. Что мы и делаем! — Она развела руками, на которых блеснули бриллианты, изумруды и топазы, как брызги этого царственного гостеприимства.

В черном, замшевом лимузине они отчалили от вокзала. Город плеснул им в лицо стеклянную струю проспекта, утреннюю толпу, несколько изумительных по красоте дворцов. Хозяйка посвящала их в приготовленную к их приезду программу.

— Сначала мы едем в гостиницу «Европейскую», где вы можете отдохнуть и позавтракать. Затем, на несколько часов, вы предоставлены самим себе, погуляйте по нашему замечательному городу. В час дня в Казанском соборе состоится ваше венчание. Настоятель собора отец Александр сочтет за честь совершить этот неповторимый обряд. Затем свадебная прогулка на катере по нашей петербургской Венеции, по каналам, с выходом на Неву. Катер причалит к Петропавловской крепости, где вы посетите усыпальницу Романовых. Вечером я присоединюсь к вам, и мы едем ужинать в Константиновский дворец, который, как знать, может стать резиденцией нового русского императора. На следующий день вы осматриваете Петергоф, Ораниенбаум и Царское Село. Какие-нибудь есть уточнения?

— Великолепная программа. Благодарим от души, — отвечал Алексей, уже обожая эту милую и в то же время величественную женщину, которая была под стать имперской столице, ее соборам, дворцам и равелинам.

Гостиница «Европейская» предстала во всем старомодном великолепии. Хрустальная карусель дверей. Импозантные швейцары с седыми бакенбардами и золотыми галунами, напоминавшие камергеров и старых генералов. Парчовые обои изумрудного цвета с серебряными разводами. Бронзовое литье на лестницах. Витражи, полные горячего солнца. Двухкомнатный номер с высокими потолками был роскошен, с видом на янтарно-белый ампирный дворец, зеленую аллею, вдоль которой скользили, вспыхивая умытыми стеклами автомобили.

— Очень хочу, чтобы вам здесь понравилось, — Елизавета Петровна Королькова ввела гостей, кидая туманный взгляд в сторону спальной с широкой кроватью под шелковым балдахином. Повела царственной рукой вдоль гостиной, где на столике красного дерева стояла картина в золотой раме. Алексей и Марина одновременно ахнули — на картине были изображены они. Алексей сидит в ампирном кресле, а Марина стоит за его спиной, положив руки ему на плечи, на фоне полукруглого окна, за которым бьющие фонтаны Петергофа, дворец, залив с косым скользящим парусом. Картина была выполнена в старой классической манере — Левицкого или Боровиковского.

— Как вы успели? Когда?— наивно изумлялась Марина.— Ведь мы не позировали.

— Для нашего известного художника Андрея Андреевича Нащокина нет ничего невозможного, — отвечала Королькова, радуясь тому, что подарок пришелся по вкусу. — А вот здесь нечто от меня лично, — она указала на изящный деревянный ларец, лежащий перед картиной. Открыла, и на темно-синем бархате касались друг друга два обручальных кольца, с особым солнечным свечением.

— Боже, как мы вам благодарны! — Марина, не умея сдержать восторг, устремилась к Корольковой. Две женщины расцеловались, как подруги, — умудренная, щедрая, умеющая доставлять радость другим, и неопытная, наивная, не способная сдержать своего молодого восхищения.

— Ну вот, друзья мои, отдыхайте. У меня есть кое-какие дела в Смольном. А в час дня я приеду в Казанский собор на ваше торжество. — Она покинула номер, стараясь быть грациозной, хотя немолодые и усталые ноги выдавали в ней пожилую, воюющую со своим возрастом женщину.

— Как чудесно! Какая красота! — Марина кинулась спиной на кровать, отчего из-под нее во все стороны разбежались шелковые лучи. — Закажи завтрак, что-нибудь легкое. Омлет, фрукты. И пойдем скорее гулять.

Они позавтракали в номере. Полюбовались картиной, которую Марина назвала: «Великий князь и великая княгиня в день своего венчания». Померили обручальные кольца, оказавшиеся им впору. Сдали в вестибюле тяжелый, с набалдашником, ключ. Принимая ключ, портье низко поклонился. Их все знали, все любили, даже в мелочах старались сделать приятное. Сквозь стеклянные лопасти выскользнули из гостиницы в огромный, шумный город, благоухающий бульварами, близкой холодной рекой, морским ветром.

Петербург ошеломил его. Показался огромным, великолепным. То каменным и тяжеловесным. То лучистым, летучим. Поражал безукоризненной прямизной улиц с неповторимым разнообразием фасадов и украшений, колонн и шпилей. Вызывал то преклонение и восхищение, то внезапную нежность и обожание. Он не старался понять и охватить необъятность проспектов, непостижимость озаренных мостов и набережных. Лишь замирал, встречаясь с

очередным дворцом или памятником. Она же летала среди колонн и площадей, словно город узнавал ее, возносил над ней золоченые шпили, склонялся головами белокаменных львов. Она трогала каменные выступы парапетов, как будто гладила загривки знакомых послушных животных. Прижималась лицом к узорным решеткам, словно целовала литые листья и кованые стебли. Говорила торопливо, без умолку, заставляя смотреть на очередной розовый или бирюзовый фасад, на высокий герб с поднявшимся на задние лапы барсом. Он чувствовал, как ей хорошо, сколько молодых и чудесных воспоминаний связано у нее с Петербургом, сколько влюбленности и одухотворенного счастья.

Ему казалось, что город строился по необычайному чертежу, линии которого расходятся не только вдоль и вширь, но и поднимаются ввысь, и в этой высоте вместо камней господствуют лучи, оттенки цвета, воздушные массы, продолжая на небесах архитектуру дворцов и храмов.

Во время прогулки, в разных местах города его охватывали переживания, остро и сладостно переносившие из эпохи в эпоху.

Вот они идут среди медово-желтых и нежно-белых колонн. Душа ликует от этого счастливого янтарного света. И мысли о Пушкине, о снеге, о легких каретах, о бальных нарядах и плюмажах. Он чувствует себя кавалером, готовым войти с мороза под чугунный навес крыльца, со звоном растворить парадную дверь, кинуть в руки лакею шубу с бобровым воротником. Устремиться в залу, где тесно от танцующих пар, офицерских мундиров, звенящих шпор.

Или они проходят вишнево-красный дворец с обилием колонн и капителей, кариатид и каменных ваз. «Растрелли», — говорит она. А у него мысль о Державине, о шитых серебром камзолах, белых париках. Парчовый, усыпанный жемчугом кринолин императрицы, ее стареющее, нарумяненное лицо, пухлая, в бриллиантах, протянутая для поцелуя рука.

Набережная Невы, сладкий холодный, ветер, солнечный плеск бесчисленных волн, туманная сталь мостов. Вдоль воды особняки, крепкие, тесно поставленные. Гранит, стрельчатые окна, мавританские витые колонны, мозаичные стены. Важные, насупленные и надменные, повторяющие характеры былых владельцев. Жилища дипломатов, министров. Посольства, масонские ложи, клубы. У каждого — свои

приподнятые брови, презрительные складки у рта, поджатые губы, выпуклые, сквозь монокли глаза. Она рассказывала, кому принадлежали особняки. Этот — знаменитому ученому. А этот — известному поэту. Тот — прославленному генералу. Тот — владельцу пулеметного завода. А в этом, в стиле готики, жил банкир, разоблаченный как английский шпион. Она знала город, как знают свою собственную родословную, собирая ее по малому ответвлению. «А здесь жил кадет Набоков, от которого родился великий писатель».

Они погружались в кварталы доходных домов, облупленных, мрачных, со сквозняками в арках, с пахнущими тленом подворотнями. Мерещились неопрятные молодые чиновники и студенты, нищие старухи, шаткая тень идущего на задание бомбиста, курсистка, прячущая в муфте смертоносную бомбу. Казалось, сейчас появится в полукруглом проеме больной, с измученным лицом Достоевский, и отлегало от сердца, когда выбирались из мрачных теснин к какому-нибудь желтому, милому особняку.

Не уставая, она водила его по мостам, вдоль каналов с солнечными вензелями, с отражениями розовых, фиолетовых и зеленых фасадов. Каждое, дробясь и волнуясь, перетекало в соседнее. По этой разноцветной воде, распахивая ее до черной глубины, проносилась моторная лодка с длинноволосым красавцем, упоенно и пьяно улетавшим под арку моста.

Она то и дело читала стихи, всю ту же священную поэму, которую в разное время писали русские пророки. Голос ее был восторженный и патетичный, когда выходили на Марсово поле:

Лоскутья сих знамен победных.
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Или туманный, завораживающий, когда смотрели с моста на белую Биржу:

Запорошенные колонны,
Елагин мост и два огня,
И голос женщины влюбленной,

И скрип саней, и храп коня.

Или трогательный и печальный, когда наклонялись к зеленой воде Фонтанки:

Я приехал в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских распухших желез.

И снова звонкий, блистательный, когда попадали на искрящийся Невский:

Как в пулю сажают вторую пулю,
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

Ему казалось, что она не в силах наглядеться, налюбоваться на город, боясь, что у нее отнимут его горделивую красоту. Хотела запечатлеть их пребывание здесь, отмечала поцелуями дворцы и храмы, словно ставила на них свои пламенные меты. Целовались на площади перед Зимним дворцом, и он видел высоко, на розовом гранитном столпе, вознесенного ангела. Целовались у Медного всадника, и он видел расплавленную в солнце, в раскаленном пятне света венценосную голову. Целовались на набережной у Академии художеств, и на их долгий поцелуй смотрели два серых сфинкса. Он и сам хотел запомнить, унести с собой эти божественные образы, чтобы потом, быть может, не на земле, а на небе, вспоминать озаренную бронзу, одухотворенный гранит, разлив необъятных вод.

— Боже мой, ведь мы опоздаем! Наше с тобой венчанье! — она бросилась останавливать такси, которое отвезло их к Казанскому собору.

Пробежали мимо памятника Барклаю-де-Толли — бронзовые ботфорты, шпага, сжатый в кулаке фортификационный план. Миновали рябую, как из ракушечника, рифленую колоннаду с колючими капителями. Вошли в собор, громадный, с поднебесными

столпами и золотыми иконостасами. Было людно, сумрак чередовался с потоками голубого света. Часть собора была огорожена лентой, вдоль которой стояли охранники. Там уже собрались хозяйка города в белом открытом платье, с голубым бантом в волосах, уже знакомые Алексею румяный флотоводец и сдобный, ванильный директор Эрмитажа.

— А мы волнуемся! Думаем, вдруг невеста из-под венца убежала! — добродушно шутила Королькова, качая на голове лазурным бантом. — Отец Александр, можете приступать к обряду.

Священник, молодой, статный, с кустистой рыжеватой бородой и большими синими глазами, был красив и чуть печален, напоминал Христа на Туринской плащанице. Взял Алексея и Марину за руки и ввел в середину небольшого предела с потемнелым иконостасом и сумрачными, словно закопченными иконами. Вложил им в руки две горящих свечи. О чем-то спросил, на что Марина отозвалась невнятно, а Алексей промолчал, не расслышав вопроса. Оказавшись среди уходящего ввысь пространства, откуда летел сноп голубого света, он словно впал в забытье. Словно кто-то невидимый положил ему на голову руки, остановил мысли, а вместо них наделил долгим, сладостным, как мед, переживанием. Все, что видели его глаза и слышали уши, казалось сном, в котором терялись лица, архитектура храма, горящая свеча, кустистая борода священника. Ему что-то говорили, читали большую тяжелую книгу. Невидимый хор пел, сплетал голоса, каждый раз возвращался к одному и тому же грустному и восхитительному псалму. Казалось, их, стоящих перед аналоем, очерчивали кругом. От чего-то навсегда отлучали, к чему-то приобщали навеки. Святой язык писания был не понятен, имена Иосифа и Марии, Иисуса и Иоакима и Анны казались золотыми печатями, которые ему прикладывали ко лбу и к губам. Вокруг него и Марины невидимый кудесник наматывал тонкие нити, окружал легчайшей пряжей, помещал в прозрачный, сотканный из золотых паутинок кокон. Отделял от остальных людей, заключая в тесную оболочку, в которой им теперь предстоит навсегда оставаться. Они соглашаются на это затворничество, в котором пребудут до самой кончины. Их положат рядом в этом золотом саркофаге, под голубым, льющимся из купола светом.

Священник накрыл его голову серебряной парчой и о чем– то спрашивал. Алексей отвечал, не понимая вопросов, но, видимо, ответы

удовлетворяли священника, потому что он перенес епитрахиль на голову стоящей рядом Марины. Потом Алексею показалось, что священник вдруг увеличился, стал огромным. Его лицо, повторяющее лик Туринской плащаницы, стало ослепительно ярким. Он держит на своей раскрытой ладони золотистый кокон, в котором находятся он и Марина. И это было так странно — видеть себя в руках Бога.

К ним приблизились Королькова с лазурным бантом и адмирал в белом парадном кителе. Оба держали золоченые венцы, усыпанные самоцветами. Адмирал, по указанию священника, воздел венец над головой Алексея, а Королькова поместила венец над головой Марины. Вчетвером, под тягучие песнопения, они несколько раз обошли аналой, и свечи в их руках продолжали гореть. У священника появился деревянный ларчик. На дне его, на темно-синем бархате, лежали обручальные кольца. Священник надел кольца ему и Марине на безымянные пальцы. Снова что-то спросил, улыбаясь добрыми синими глазами, и Марина торопливо ответила: «Да». Повернула к Алексею лицо, стала приближать к нему раскрытые дышащие губы. Он поцеловал их сладкую мякоть до самой глубины. И вдруг оцепенение кончилось. Синие лучи прянули из купола, как звуки из небесной трубы. Радостная, могучая сила подхватила их обоих, вознесла в бесконечную высоту, где не существовало мыслей и слов, а только одна необъятная, ликующая, сочетающая их любовь. Они держались в этом ослепительно свете, не ведая времени. Опустились на каменные плиты собора.

Их поздравляли, целовали, жали руки. Преподносили подарки. Женщина-мэр вручила Марине изумрудное парчовое платье из гардероба императрицы Анны Иоанновны. Адмирал подарил Алексею офицерский кортик времен Александра Второго. А директор Эрмитажа, скромно поклонившись, передал Марине золотой гребень с оленями из собрания скифского золота.

— Ну что ж, мои дорогие, — произнесла Королькова. — Теперь в вашем распоряжении катер. Совершите свадебное путешествие по нашим венецианским каналам. По пути вы можете причалить к Петропавловской крепости и посетить усыпальницу Романовых. А вечером, как было условлено, мы ужинаем в Константиновском дворце, на серебре и саксонском фарфоре, принадлежавшем императрице Александре Федоровне. До вечера, мои дорогие!

Голубой бант заколыхался среди телохранителей, словно ей на голову присела бабочка из лесов Амазонки.

Их привезли на набережную Фонтанки, где шершавые ступени спускались к зеленой воде и у причала плавно покачивался катер. Блестели на солнце медные детали. На белом корпусе играла солнечная вязь. Золотистым деревом были отделаны кабина, палуба и скамейки. За прозрачным щитком находились циферблаты и приборы управления. За кормой слабо развевался морской, с синими диагоналями, флаг. С катера протянул им руку красивый молодой офицер в белой парадной форме с золотыми нашивками.

— Осторожно, здесь слегка качает, — он элегантно помог Марине перебраться на катер, усадил ее на корму, под флаг. — Мы совершим прогулку по Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. А потом пойдем по Неве, где возможна небольшая качка. Вот, возьмите, на случай, если покажется ветрено, — он протянул Алексею два шерстяных пледа с заботливостью радушного хозяина.

Они уселись с Мариной на корме, рядом с полотняным флагом. Над их головами опускался и приподнимался каменный парапет с чугунным кольцом. Выше виднелся фасад красивого дома с лепными карнизами, балконами, вытесанными из камня дельфинами. Офицер тронул невидимую кнопку на пульте. Мотор взыграл, толкнул вперед катер, и казалось, два дельфина соскользнули с фасада в реку, маслянисто и гладко погнались за катером, разгоняя стеклянную волну от берега к берегу. Дух захватило от скорости, от шлепающего, шумного флага, от лихих виражей, которые, красуясь и бравируя, закладывал офицер, желая понравиться Марине. Вода впереди была неподвижная, с отражением разноцветных зданий. Но за кормой все цвета были смешаны. Черная рытвина, оставляемая катером, была окружена яркой пеной, в берега ударяли синие, изумрудные, малиновые буруны. Фасады растворяли в воде свой цвет, свою каменную материальность, сами же, невесомые, словно облака, летели по сторонам, вспыхивая на мгновение окнами.

Какие-то подростки и девушки сидели на парапете, любовались катером.

— Мы вас знаем! — закричала одна. — Вы царь! Вы царь! — Алексей хотел крикнуть в ответ, но налетал мост, катер нырнул в темноту, в запах тины, и, выскакивая по другую сторону арки, он успел

разглядеть висящий над мостом граненый фонарь, золотую, обвитую змейкой стрелу.

— Я тебя так люблю… — Марина прижималась к нему, натягивая на обоих клетчатый плед. — Так люблю тебя среди этого волшебного города, среди этой неповторимой красоты. Буду любить тебя в минуты нашего счастья, нашего триумфа. И в минуты несчастий и поражений, если Богу угодно будет их нам послать. Но ты, я знаю, будешь великий. И город это знает. Он славит тебя, своего Императора.

— Я буду любить тебя во время непосильных трудов и военных походов, в плену и в поражении, на эшафоте и под падающим пробитым знаменем. Но я уверен, я сделаю Россию великой. Благодаря тебе, благодаря твоей любви.

Они мчались среди дворцов, мраморных колонн, кариатид, которые выплескивались из воды, рождались, как миражи. Исчезали, словно их смывало водой, и на их месте возникали другие, прекраснее прежних. То и дело появлялись мосты. Алексей успевал разглядеть замковый гранитный камень, золоченого грифона, а потом все поглощал мрак и гул, струилась зеленая змея отражений. Мгновение мрака, и — солнце, решетка Летнего сада, белые статуи под тенистыми липами. Кто-то с моста кинул им цветок мальвы. Промахнулся, и цветок, отставая от катера, розовел на волнах.

— Представляешь, наш сын видит все это. Петербург — его город, все эти золотые шпили, бронзовые всадники, и этот розовый цветок, и Мраморный дворец, и Инженерный замок. Он будет у нас петербуржцем.

— Он — дитя любви. Его зачали в любви. А теперь окружают красотой и имперской славой. Когда-нибудь он промчится на катере среди этих мостов и дворцов, и ему будет казаться, что он уже это видел когда-то.

Ему самому казалось, что он уже это видел, — чей-то бронзовый насупленный лик, сиреневый фасад, группа девушек на мосту. Ветер отнял у одной из них платок, и он, невесомый, летел, догоняя катер, пока не опустился на воду.

— Господи, я все это видел! — воскликнул он, — Там, в Москве, когда мы были вместе, я тебя обнимал, и все взрывалось зеркальным блеском, и в этой блестящей струе уже были эти дворцы, солнечные стекла, мосты, и наш с тобой петербуржский полет.

— Поцелуй меня, — она повернула к нему мокрое от брызг лицо, и он поцеловал ее долго, до фиолетовой слепоты, а когда прозрел, увидел, как далеко, за зеленым газоном, золотится шпиль Инженерного замка.

Но вот кто-то незримой дланью удалил дворцы и зеленые парки, и открылся свет, струящийся воздух, озаренные воды. Катер вылетел на Неву. Это напоминало взлет в небо. Стучал от ветра флаг. Золотая игла Петропавловской дробилась, ломалась, отражаясь в каждой водяной лунке, в каждой бегущей волне. Крейсер «Аврора» утратил тяжеловесность брони, уловленный в светлую кисею, казался трепещущей рыбой. Зимний дворец напоминал бирюзовое, развешенное вдоль набережной колье. Исаакий казался громадным золотым яйцом, которое снесла загадочная, пролетавшая над городом птица. Медный всадник мчался по лучу от земли вверх и вдаль. Ростральные колонны поддерживали чаши темного, с завихрениями пламени. Внезапно из Невы ударил шумный гигантский фонтан, словно на дне открылся могучий ключ, и все подземные воды, питавшие этот город своей таинственной влагой, светоносной силой, животворным волшебством вырвались на свободу.

Рулевой, перекрикивая шум ветра и звон двигателя, обернулся:

— Теперь, если не возражаете, к Петропавловской крепости. Там предстоит сухопутная прогулка.

Алексей кивнул. Катер, описав по реке живописную дугу, помчался навстречу мрачным выступам фортов, из которых вырывалась в небо золотая игла.

Когда катер причалил к пристани, вдруг солнце пропало, нагнало холодного тумана, стало серо и сумрачно. Заморосил дождь. Город, минуту назад одухотворенный, воздушный, померк, прижался к земле, словно сверху на него давила незримая тяжесть, вгоняя в зыбкую землю его особняки, соборы и памятники.

Когда они с Мариной вошли внутрь крепости, гнетущее ощущение усилилось. Грязно-желтые, горчичного цвета, строения образовали замкнутое пространство, среди которых не угадывался выход. Вахты, казармы, склады, караульные помещения рождали тоску, под стать верстовым столбам или полосатым шлагбаумам, которыми разметило себя русское государство, разбросав свои тюрьмы и гарнизоны среди громадной страны. Где-то здесь, в казематах и

каменных мешках, тосковали княжна Тараканова, декабристы, народовольцы. Их молитвы обретали вид узкого золотого луча, который один мог вырваться из каменной крепости. Но сейчас шпиль был затянут туманом, с него осыпалась холодная золотая роса, словно молитвы и упования узников не были приняты на небесах, не услышанными возвращались на землю.

С редкими посетителями они вошли в усыпальницу Романовых. Вид некрополя, где покоились останки императоров, подействовал на Алексея гнетуще. Здесь было много уходящего ввысь пространства, но свет, его наполнявший, был мутный, известковый, сырой. Пахло побелкой, строительными работами, непре– кращающимся ремонтом. Надгробия имели вид одинаковых бетонных брусков, словно их отливали на комбинате железобетонных изделий. Расставлены они были упрощенно и грубо, как это делают дорожные рабочие, преграждая проезд по улице. В этих надгробиях не было величия, не было сожаления об усопших, не было трогательных украшений, характерных для русских могил. Все было строго, казенно, с той рациональностью, с какой устанавливаются на аэродромах гробы перед погрузкой на военный транспорт.

Надгробные бруски были тяжеловесны, словно их укрупнили и утяжелили специально, чтобы лежащие под ними мертвецы никогда не могли подняться, причинить вред живым. Будто покойники не оставляли намерений покинуть могилы, поэтому надгробия постоянно обновляли, цементировали трещины, обмазывали мастерком шершавые грани.

Здесь было неспокойно, не было той умиротворенности и идиллической грусти, какие возникают на русских кладбищах, среди смиренных надписей и кротких фотографий. Казалось, в усыпальнице Романовых идет постоянная, не утихающая после смерти борьба. Могила Екатерины Великой помещалась рядом с могилой Петра Третьего. Императрица-мужеубийца встретилась после смерти со своей жертвой, и их кости под каменным полом сводили ужасные счеты. Император Павел был похоронен рядом с сыном Александром Первым, и царь-отцеубийца не находил покоя рядом с костями задушенного им отца. Александр Второй лежал в склепе, растерзанный бомбой, и забетонированная могила сдерживала этот

взрыв ненависти, как бетонный купол сдерживает радиацию Чернобыля.

Погребенная династия была неблагополучной, несла в себе таинственный изъян, тайный грех, который сопутствовал ей от воцарения до низвержения. Алексей чувствовал это неблагополучие, не знал его природы, мучился непониманием.

Особое место занимало погребение последних Романовых. Там горели лампады, краснели живые цветы, веяло умилением и трогательной печалью. Но и это погребение вызывало смутное беспокойство, ощущение тайной огрехи. Эти останки по сей день не признавались Православной церковью останками царской семьи. Но главное, что мучило Алексея,— это выбитое на черном мраморе имя убиенного цесаревича. Кто был там погребен? Отрок, мещанский сын, Иван Мызников, в ту роковую ночь подменивший собой цесаревича и убитый в подвале? Значит, чудесно спасенный царевич продолжил свое существование и дал жизнь ему, Алексею, который теперь смотрит на мнимое погребение своего венценосного предка? Или же в могиле лежит цесаревич, а он, Алексей, — самозванец, игрушка в чужих руках, преступник перед Богом и людьми?

Ему стало худо. Склепы пахли больничной карболкой, удушающими парами формалина.

— Мне здесь тяжело, — сказал он Марине, — Пойдем наружу.

— Но там же дождь.

— Я здесь не могу. Пойдем.

Они покинули усыпальницу. Дождь прекратился. В воздухе стояла холодная сырость. Деревья вокруг собора блестели темной листвой. Они стали медленно обходить собор и вдруг увидели памятник. Алексей слышал о нем, видел его фотографию, знал о скандалах, сопровождавших установление памятника. Но только сейчас сообразил, что скандальный памятник нашел свое место в Петропавловской крепости. Его автор, художник Шемякин, проживавший в Америке, был завзятым русофобом и противником русской Империи. Он отлил из бронзы памятник Петру Великому, подарил Петербургу, и было понятно, почему установление памятника сопровождалось скандалами. Это был антипод великого Царя, воспетого Пушкиным, с которым Россия связывает свое имперское величие, дух новизны, вызов надменному Западу. Если Медный

всадник поднял на дыбы могучего коня, раздавил змея, указывал взмахом руки путь в Русский Космос, то этот, «шемякинский», Петр вяло сидел на стуле. Был странный уродец, с тощими ногами, круглым животом и крохотной черепашьей головкой, на которой дико выпучились глаза пациента, страдающего базедовой болезнью. Коричневая бронза во многих местах была стерта до желтого блеска — это посетители подсаживались Петру на колени, хватали его за нос, что должно было еще больше умалить образ великого Царя, показать его доступность, подчеркнуть бутафорскую роль.

Это была карикатура на царя, смешная и злая пародия на русскую Империю. Алексей смотрел на памятник с отторжением, но чувствовал, что Шемякин, в своей обостренной ненависти ко всему русскому, уловил какой-то болезненный звук, дребезжащий в русской истории. Какую-то скверный, больной дефект, мешавший России стать по-настоящему великой, ввергая ее в постоянные заговоры, революции, войны.

Из мокрых кустов появился лохматый, колченогий уродец. Большая безбородая голова, со слюнявыми губами. Тщедушное тело, вывернутые больные ноги, ужимки и гримасы. Он подошел к памятнику, облапил его, потерся по-собачьи о его туфлю. Заулыбался мокрым ртом, показав одинокий желтый клык:

— Ты, Алешка, — заплатка! Оторвал заплатку, и нету тебя! — ухмыльнулся он Алексею.

— Пойдем отсюда, — заторопилась Марина, испуганная появлением уродца. Алексей увлек ее прочь, стараясь отыскать среди крепостных гауптвахт и казарм выход наружу. И пока они уходили, им вслед семенил, переваливался на больных ногах слюнявый карлик, выкрикивая:

— Ты, Алешка, — заплатка! Дернул, и нету тебя!

Они нашли офицера у катера, пребывавшего в крайнем волнении.

— Алексей Федорович, звонили от Елизаветы Петровны Корольковой. Сегодняшний ужин в Константиновском дворце отменяется. Какие-то чрезвычайные события в Москве. Чуть ли не переворот. Мне приказано немедленно явиться в штаб.

— Что могло случиться? — изумленно спрашивал Алексей.

— Информация крайне отрывочна. Я должен вас покинуть, — он отдал честь, запустил мотор, и катер, оставляя бушующую борозду,

ушел по Неве.

Подъезжая на такси к «Европейской», они увидели, как по Невскому движется милицейская машина с мигалкой, за ней, длинные, приземистые, словно ящерицы, катят два «бэтээра», а следом натужно ревет бесконечная колонна крытых брезентом грузовиков, под тентами тесно сидят солдаты в касках и с автоматами.

Той же ночью Алексей и Марина на «Красной стреле» устремились обратно в Москву.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Операция «Пророк» началась ранним солнечным утром, когда московские клумбы еще благоухали накопленной за ночь сладостью, фонтаны на площадях сверкали, как огромные водяные балерины, и улицы еще не залипли бесчисленными автомобильными пробками. Операцией из «Дома Виардо» руководил лично Виктор Викторович Долголетов, он же Ромул, используя для управления все средства открытой и закрытой связи, которыми был оснащен особняк. Он решил не повторять ошибку ГКЧП, когда тот ввел в Москву громоздкие подразделения танков, наводнил столицу ненужными войсками, создав неразбериху и хаос, послужившие на руку противникам. Теперь вся операция проводилась мобильными подразделениями спецназа, подчиненными полковнику Гренландову. Подразделения брали под контроль важнейшие центры столицы — телевидение, Государственную думу, Совет Федерации и Правительство. Все эти центры прекращали свою деятельность. Министерства сохраняли видимость работы, но министры и их аппараты бездействовали. Супермаркеты и рестораны, развлекательные центры и игорные дома, кинотеатры и ночные клубы продолжали работать в полную силу, чтобы у людей не возникла паника. На телевидение, чьи программы были свернуты, направился личный представитель Ромула. Он вез обращение к нации Ромула, составленное талантливым литератором и стилистом Минтаевым, а также коробки с роликами, компрометирующими Рема. Послание объявляло Президента Лампадникова низложенным, уличало его в конституционных преступлениях, в намерении изменить государственный строй России, а также раскрывало соотечественникам подлинное лицо Президента — коррупционера, агента Америки, торгующего национальными интересами Родины, вплоть до передачи под международную юрисдикцию природных богатств Сибири. Пока это послание, запечатанное в конверт, двигалось в «Останкино», сам Ромул на бронированном «Мерседесе», в сопровождении двух джипов охраны и полковника Гренландова, отправился в «Огарево-2» арестовывать Рема. Они мчались навстречу

автомобильному потоку, покидавшему дворцы Рублевки, постовые, завидев их номера, вытягивались и отдавали честь. Ромул, сидя в салоне джипа, ощущал, как развертывается впереди свистящая спираль, образуя среди красных сосняков и придорожных ресторанов стремительную воронку, которая неотвратимо затягивает его в свою неисповедимую глубину.

При въезде в резиденцию бойцы спецназа, по приказу Гренландова, без труда обезоружили охрану Президента, отключили все имеющиеся системы связи, установили частотный генератор помех, блокирующий сигналы мобильных телефонов. Ромул, в сопровождении полковника, прошел через насаждения кипарисов и голубых елей, прямо через клумбы, к колонам крыльца. Гренландов мимоходом не больно ткнул в живот вооруженного привратника, вытащив у него из кобуры пистолет. Пошарил на ощупь в распределительном щитке, обрывая кое-какие провода. Проводил Ромула до дверей гостиной, оставшись у дверей, — руки за спину, ноги раздвинуты, ленивый взгляд сонно скользит по балюстраде, перилам и вазам, чтобы в секунду опасности вспыхнуть точно зоркостью, совместить зрачок с пистолетной мушкой и лбом противника.

Ромул застал свого соперника Артура Игнатовича Лампадникова, или попросту Рема, когда тот, уже вынырнув из бассейна, растер до розовых пятен маленькое холеное тело, облачился в китайский халат с шелковым драконом на спине, зашел в гостиную, чтобы перед завтраком посмотреть «Евроньюс». Не успел он включить огромный плазменный телевизор, напоминавший черное зеркало, как в гостиную скорым шагом вошел Ромул. Его точеная фигура и впрямь напоминала фигуру шахматного офицера, вырезанного из белой кости. Резкий, уверенный, левая рука прижата к бедру, правая делает решительный взмах. Небольшая, с редкими волосами голова являет безукоризненную форму черепа. Губы чуть вытянуты хоботком, что говорит о высшей степени сосредоточенности. Голубые, слегка навыкат глаза, остро, насмешливо оглядывают гостиную — мебель, стол с бюстом Вениамина Франклина, сменившим бюст Петра Великого, легкомысленный английский пейзажик, который вытеснил со стены «Битву при Корфу». Лишь в последний момент глаза визитера останавливаются на хозяине, давая ему понять всю его

мелкость и незначительность, всю временность и бренность пребывание в этой гостиной.

— Помешал? Оторвал от государственного планирования? — Ромул наслаждался изумленным, почти испуганным видом соперника, которого застал в неурочный час, неподготовленного к острым сюжетам политики. В этой гостиной совсем недавно Ромул претерпел унижение, плакал, искал милости у могучего победителя. Каялся пред другом. Уходил, затаив неутоленную ненависть и чувство реванша. Миг реванша настал. Видимо, так Гитлер, разгромив самодовольную Францию, подписал французскую капитуляцию в Версале, все в том же штабном вагоне, где когда-то капитулировала поверженная Германия. Место немецкого позора обернулось местом триумфа. Триумфальная арка французов обернулась для них эшафотом и плахой. Это историческое сравнение промелькнуло в голове у Ромула, когда он рассматривал голые ноги Рема, смешно торчащие из-под халата, его бегающие мутные глаза, ожидавшие подвоха, не умевшие отгадать цель стремительного, как возмездие, визита.

— Ты бы мог позвонить. Предупредить о приезде, — Рем усаживался на диван, комично, совсем как женщина, натягивая халат на костлявые коленки.

— Увы, позвонить не мог, — усмехнулся Ромул, ловко поворачиваясь на каблуке, еще раз, в полном обороте, оглядывая гостиную. — Все телефоны отключены. Мобильная связь заблокирована. В Москве объявлено военное положение. Я приехал сказать, что твое президентство закончилось, и ты арестован, как государственный преступник.

— Что? Почему? — рука Рема потянулась к телефону правительственной связи и тут же бессильно упала. — Почему заблокирована? — Он раскрыл перламутровый ларчик мобильного телефона, на котором не вспыхнула ни единая кнопка. — Что значит — арестован?

— Это значит, что тобой нарушена священная клятва, попрано братское соглашение. Ты поступил, как плотоядный хорек, которому чуждо чувство благодарности, дружбы. Ты решил узурпировать власть, которую я дал тебе подержать на время, как дают подержать портфель, чтобы зашнуровать развязавшийся шнурок. Ты решил не отдавать

портфель, поступил, как вор, как предатель, и теперь тебя ждет расплата…

Ромул видел, как трусливо сжался Рем, как он напуган, не находит слов — очередной лжи и лукавства. Он забился в угол кожаного, похожего на бегемота, дивана с вислыми складками кожи, словно хотел спрятаться среди этих морщин, переждать наваждение.

— Ты знал, что мой титул Духовного Лидера необходимо дополняет твой статус Президента, является второй ипостасью власти. Ты разрушил двуединство российской власти, выбил из купола замковый камень, и купол стал осыпаться, власть стала рушиться. Ты — дилетант, не понимающий законов русской государственности, ее сокровенной духовности. Ты отыскал на исторической свалке этого тобольского шута, внушил ему, что он помазанник и таковым представил народу. Этим самым ты стал создавать второго Духовного Лидера, надеясь вытеснить меня на задворки политики, чтобы мне никогда не вернуться в Кремль. Дьявольская выдумка. Кто же тебе ее подсказал? Предатель Булаев со своей виртуозной способностью разыгрывать интриги? Или сатанист Олеарий, который превратил свой театр в престол сатаны? Их тоже утопят в ведре с водой, как топят гадких хорьков…

Ромул наслаждался зрелищем раздавленного и попранного Рема. Тот забрался на диван с ногами, вжался в мякоть кожи, был готов исчезнуть, оставив на кожаной спинке дивана свой уродливый оттиск. Ромул чувствовал свист невидимой, разрезающей воздух фрезы, туманную воронку, куда устремлялось пространство. Из жерла воронки исходили невидимые магнитные линии, затягивали в себя Ромула. Так на дне полноводного озера образуется скважина, куда с рокотом молниеносно утекает вода. Так среди звезд внезапно разверзается «черная дыра», куда непомерными силами утягиваются планеты и солнца, сметаются галактики, и вместо разноцветных звездных бриллиантов небо заволакивает беспросветная мгла.

— Тебе надо отдать должное, ты неплохо поработал с самозванцем. Ты превратил его в мартышку, ловко примеряющую на себя горностаевую мантию и шапку Мономаха. Народу это понравилось, не скрою. Народ привык верить сказкам. Ты посадишь на престол бутафорского царя и станешь им управлять? Вернее не ты, а твои американские заказчики? Царскую свиту станут представлять

американские морские пехотинцы, переодетые в боярские шубы и соболиные шапки? Ты хочешь создать бутафорское русское царство, посадив царя-батюшку на нефтяной и газовый вентиль, как сажают тряпичную куклу на горячий чайник? Царь русский, а нефть американская, так, что ли? И ты думаешь, что после этого я тебя пощажу?..

Ромулу вдруг стало жаль Рема. Его большая властная голова, казалось, едва держалась на тонкой шее. Надменное выражение гордого, неколебимого лица сменилось жалкой растерянностью и умоляющей больной улыбкой. Ведь они были друзьями детства, и у них был общий большой петербургский двор, куда они выбегали из двух соседних подъездов, и первый, кто выбегал, звал на весь двор второго. И как чудесно они играли в рыцарей, в индейцев, в благородных разбойников. Как помогали друг другу делать уроки и решать контрольные задачи. Как восхитительны были их совместные поездки на охоту, и убитый селезень лежал на краю синей протоки, отливая изумрудом и золотом. И как чудесно они танцевали на школьных вечерах, ухаживая за одной и той же, теперь почти позабытой девушкой Леной.

— Ты собирался разбазарить ресурсы, который я копил, чтобы начать долгожданное, столь необходимое для России Развитие. Я хотел модернизировать армию, восстановить ВПК, создать новые технологии, которые обеспечат России суверенитет. Ты решил, что России не нужен суверенитет и собирался отдать ее под суверенитет Америки. Пусть американская армия защищает американскую Сибирь? Пусть американские звездолеты добывают лунный гелий для американских атомных станций на Урале? Таким образом, ты надеялся сберечь свои миллиарды в американских банках и миллиарды воровской шайки чиновников и олигархов, которые двадцать лет терзают Россию. Ты хотел свести на нет все мои титанические усилия по возрождению России. Тебя свергаю не я. Тебя свергает русский народ. Свергает русская история…

В нем копились сострадание к жалкому поверженному Рему, воспоминания детства мешали быть жестоким и непреклонным. Но бессердечная воля, присущая всем властителям, не позволяла проявлять милосердие. Власть, если стремишься ее удержать,

требовала бесчеловечности, требовала устранения соперника, его уничтожения и казни.

— Сейчас, когда я говорю все это, по телевидению уже читают мое обращение к нации с перечислением твоих преступлений. Вслед за этим народу покажут твои счета в американских и швейцарских банках. Прокрутят пленку твоих переговоров с японским эмиссаром о передаче Японии Курил. И еще, ты будешь удивлен, мы обнародуем документ, который закрепляет за тобой участок кладбищенской земли на Масленичной горе в Иерусалиме. Там, в твоем родном Израиле, ты решил упокоить свой прах, когда кончатся земные дни в России. На своей исторической родине, среди еврейских царей и пророков, во искупление постылых русских дней. Не правда ли, немного странно для русского Президента? Как, думаешь, отнесется к этому русский народ? …

Голос Ромула приобрел металлическую жесткость, звонкость топора, отточенность бритвы.

— Мы были с тобой друзьями. Нас многое связывало. Ты оказывал мне неоценимые услуги. И поэтому я предоставляю тебе выбор. Либо тебя судит Верховный суд, как судили в свое время «врагов народа», тебя приговаривают к пожизненному заключению в страшной колонии «Белый лебедь», где ты превращаешься в животное. Либо ты достаешь пистолет и пускаешь себе пулю в висок, как сделал Пуго, когда провалился ГКЧП. Либо тебя стреляют при попытке к бегству, где-нибудь на газоне твоей резиденции. Либо сейчас войдет полковник Гренландов, положит тебе подушку на лицо и сядет на нее. В информационном выпуске будет сказано, что ты умер от разрыва сердца, не выдержав известия об аресте. Выбирай, что больше по нраву.

Ромул, говоря это, расхаживал по гостиной, думая, как вернет на стол бюст Петра Великого, а на стену — морскую батальную сцену. Повернулся к Рему, ожидая увидеть трясущееся лицо труса и пораженца, умоляющие, полные слез глаза, протянутые в мольбе руки. На него смотрели хохочущее лицо, торжествующие, с победным блеском глаза, растворенный в хохоте, презирающий рот:

— Ты пришел ко мне, как благодетель, не правда ли? — смеялся Рем, — Предложил либо пулю в висок, либо подушку на лицо? Как благородный рыцарь, как джентльмен, играющий по правилам чести?

А ведь ты болван, напыщенная пустышка, чванливый гордец, не понимающий истинных механизмов власти. Плюшевый Духовный Лидер, место которому не в Кремле, а в магазине дешевых детских игрушек!

Ромул был ошеломлен этой дерзостью человека, которому оставалось жить минуты, над которым сбывалось пророчество святого старца, сулящего смерть Высшему Правителю России. Но, быть может, это была бравада приговоренного к смерти преступника, истерика висельника, когда его поднимают на табуретку. Он с сожалением смотрел на хохочущего безумца.

— Ты думал, что я изобрел этого тобольского самозванца, чтобы рядом с тобой воздвигнуть второго Духовного Лидера? Чтобы он отнимал у тебя твои энергии, поедал твои калории? Да не было у тебя никаких энергий, не было никаких калорий. Ты играл роль клоуна, над которым смеялась элита и потешался народ. Как только ты добровольно оставил власть и передал ее мне, как только ты стал пыжиться и разыгрывать из себя Преподобного Сергия, или, на худой конец, Солженицына, ты стал смешен, и в народе тебе дали кличку «дутыш». Нет, мой дорогой «дутыш», мой замысел был в другом. Я создавал мнимого царя, пугая тебя восстановлением монархии, при которой у тебя не было шансов вернуться во власть. Я создавал искусную ловушку, куда выманивал тебя, как рыбаки выманивают из-под коряги сома. От одного телесюжета к другому я создавал у тебя убеждение, что не сегодня-завтра в Кремле усядется царь. Это сводило тебя с ума, и, наконец, ты потерял разум. Затеял этот нелепый военный переворот, который вывел тебя из конституционного поля, сделал государственным преступником, узурпатором. Верховным Правителем России на один только час— время, достаточное, чтобы сбылось пророчество старца и ты был убит. Ты уже мертв, понимаешь? Тебе уже выкликают анафему во всех монастырях. Могильщик уже кончает рыть тебе могилу, откладывает лопату и заступ и наливает заработанный стакан водки.

— Это не так, — зашептал Ромул, чувствуя, как остывает кровь, и он становится холодным и фиолетовым, словно утопленник. Глаза Рема сверкали перед ним, будто в них отражался Георгиевский зал с зажженными люстрами и золочеными надписями. — Это ложь!

— Включи телевизор, глупец! Посмотри, что творится!

Ромул на ощупь взял пульт, нажал наугад кнопку, и черное зеркало экрана наполнилось синевой — той особой лазурью, какая сияет на картине Грабаря «Март». Во весь экран говорило, шевелило губами, моргало глазами лицо диктора, который заглядывал в рукописные странички и читал обращение:

— Мы сорвем с него маску, но под ней откроется другая. Сорвем и ее, но под ней снова маска. И ее сорвем, и снова маска под маской, и так бесконечно, пока не откроется зияющая пустота. Он — пустота, ноль, ничто…

Услышав это, Ромул враз успокоился. Узнал в тексте свои собственные, предложенные литератору Минтаеву пассажи, и возликовал. Рем разыгрывал его, выкраивал для себя лишние мгновения жизни. Дисциплинированный диктор с властными интонациями государственного вещателя зачитывал его, Ромула, обращение к нации, ставящее вне закона узурпатора Лампадникова.

Однако губы диктора продолжали шевелиться, слова властно и жестоко рокотали:

— И его, Долголетова, попытка совершить государственный переворот — тоже ничто, полный ноль. Народ никогда не потерпит над собой того, кто столько лет издевался над страной, душил свободу, отправлял за решетку лучших и талантливейших людей, мечтал возродить сталинизм. Заговор Долголетова провалился, как дурная и преступная попытка…

Это казалось безумием. Одно подменялось другим. Одно содержало в себе иное, прямо противоположное. В зайце таилась утка, в утке заключалось яйцо, в яйце хранилась игла, на игле угнездилась смерть, в смерти присутствовала непостижимая сущность, замыкавшая абсурд бесконечных превращений и вновь приводящая к зайцу. Какая-то страшная, необъяснимая карусель обнаружилась и вращалась в сознании Ромула. Диктор властно вещал:

— Ничтожный лукавец, кукушонок, выпавший из чужого гнезда… — Эти знакомые слова опять было породили у Ромула надежду. Но за ними последовало совсем иное: — Он собрался установить диктатуру, отобрать наши накопления, направить их на танки и пушки, чтобы снова Россия превратилась в осажденную крепость, подобно Северной Корее, где людей морят голодом и расстреливают за любое неосторожное слово…

— Но как же Минтаев? Он получил гонорар, я авансировал его книгу в лучшем издательстве России!

— Зря верил интеллигенции. Она продажна. Все эти режиссеры и актеры, звезды шоу-бизнеса и демократические литераторы — липкая пакость. Я переплатил ему всего лишь триста долларов, — смеялся Рем, наслаждаясь корчами проигравшего соперника. Диктор, между тем, продолжал:

— Заклинаю вас Святой Русью и всеми русскими витязями, и гренадерами, и ополченцами, и пехотинцами сорок первого года, — мы раздавим русским каблуком этого кровавого клопа. Сделаем Россию великой, демократической и свободной, чтобы чувствовать себя в единой семье с другими народами мира. А предателю и насильнику — смерть!

Этим завершалось обращение к народу, которое, видимо, зачитывалось не в первый раз. Едва оно завершилось, вновь в небесной лазури возникла голова того же диктора, и зазвучали чеканные, как затвор винтовки, слова.

— Посмотри на другом канале, — предложил Рем. — Там все гораздо разнообразнее и ярче.

Ромул послушно надавил соседнюю кнопку. Возник банный гул, эхо множества голосов. Знакомый зал Государственной думы был похож на стадион во время игры «Спартак» — «Динамо». Депутаты неистовствовали, рвались выступать. Трибуну занимал лидер правящей партии Председатель Думы Сабрыкин. Разъяренный, усатый, воздевал кулаки, грохал ими о трибуну, колотил себя в тощую впалую грудь, выбрасывал в зал растопыренные ладони:

— Долголетов посягнул на самое святое в жизни россиянина — на Конституцию! Он растоптал Конституцию, а значит, растоптал Россию. Мы были с вами в двух шагах от гражданской войны, если бы не решительные, мужественные действия нашего Президента Артура Игнатовича Лампадникова. Один, без оружия, он вошел в казармы сбитых с толку солдат и своим ярким словом вернул их в лоно закона. Один поехал на телевидение и передал руководству свое послание к нации, которое мы только что выслушали стоя. Я предлагаю сейчас же, в этом зале, в эти роковые для России часы продлить на второй срок пребывание у власти нашего дорогого Президента Артура Игнатовича Лампадникова. Прошу голосовать!

Электронное табло засвидетельствовало единодушие. Все лидеры фракций торопились присягнуть победителю и метнуть камень в побежденного. Лидер либерал-демократов, весь в розовой пене, словно рожденная Афродита, предложил казнить заговорщика, как Петр Первый казнил на Красной площади стрельцов, — был сам готов отрубить изменнику голову. Лидер коммунистов так напружинил волю, требуя казнить троцкиста Долголетова, так рокотал своим могучим, прекрасно поставленным басом, что на его широком лбу выступили два нароста, которые несколько лет назад, в канун очередных выборов, были им ликвидированы, — так у ящериц вновь отрастают оторванные хвосты. Лидер «Справедливой России», еще недавно представлявший в одном эффектном телевизионном проекте Александра Невского, срываясь на фистулу, выкрикнул: «Не в силе Бог, а в нашем Президенте Артуре Игнатовиче Лампадникове». А одна женщина — депутат от Рязанской области — предложила казнить предателя народным способом, — раздеть догола и посадить в муравейник. Уверяла, что, предчувствуя заговор и зная заранее его исход, присмотрела в рязанских лесах несколько великолепных муравейников. Предложение было принято на ура.

Выступали министр обороны Курнаков, — рассказал, как ему удалось пресечь в войсках преступную агитацию Долголетова. Выступал Директор ФСБ Лобастов — поведал, как усилиями «чекистов» вырезал грибницу заговора, которая тянулась в Пхеньян и в Минск. Выступал известный кинорежиссер Басманов — артистично, топорща усы, гневно хрустя пальцами, сравнил Долголетова с провокатором и убийцей Багровым, стрелявшим в Столыпина. Прилюдно помолился Господу, сохранившему для России великого преобразователя Артура Игнатовича Лампадникова. Митрополит Арсений заверил депутатов, что во всех церквях и обителях провозглашают анафему вероотступнику Долголетову и поют осанну Президенту Лампадникову. Выступила мэр Петербурга Королькова, в алой юбке, голубой блузке и белом шелковом шарфе, — цвета российского флага. Сообщила, что со стены школы, где учился «выкормыш» Долголетов, сбита мемориальная доска, и там же художник Шемякин устанавливает бюст Президента Лампадникова.

Ромул, наблюдая истерику своих вчерашних льстецов и фаворитов, потерял остатки сил. Хотел опуститься на стул, но

промахнулся и сел перед телевизором на пол.

— Это еще не все, — безжалостно произнес Рем. — Нажми на соседнюю кнопку.

Зрелище было ужасным. В Москву из Читы самолетом был доставлен только что освобожденный Ходорковский. Он появился в студии, облаченный в полосатый арестантский халат и тюремную шапочку. Был худ, как узник Освенцима, с промоинами щек, потерявший половину зубов. Снял шапочку, и стало видно, что он абсолютно лыс и у него отсутствует одно ухо.

— Это ухо отрезали мне в колонии по приказу Долголетова, которому мало было разгромить и разграбить ЮКОС. Он хотел знать, куда я перевел мое личное состояние. Под пыткой я назвал счета на Кайманах и на острове Мэн. Но утаил значительную сумму, из которой теперь стану жертвовать фонду «Открытая Россия» и «Мемориалу». Мне бы хотелось взглянуть на Долголетова, когда к его уху будут подносить отточенную бритву, — глаза Ходорковского мстительно сверкнули, как зеленые самоцветы, и было ясно, что он станет добиваться исполнения своего желания.

Читинский узник исчез, и его место заняла странная согбенная женщина, — трясущаяся старуха, с седыми нечесаными волосами и лицом, изуродованным ожогами.

— Я любила моего Витеньку, любила еще тогда, когда мы были школьниками и встречались у Ростральных колонн у здания биржи, — машинально, кусая ногти, залепетала женщина. — Он называл меня «Елена Прекрасная», а я его «Мой Победитель». Мы встречались долго, год, другой, третий, но наши отношения были совершенно платоническими. Он избегал оставаться со мной в пустом доме. Всегда требовал общества, многолюдных собраний, был крайне застенчив в ласках. Однажды я зашла к нему в дом без звонка. Он принимал душ. Я заглянула туда и поняла причину его застенчивости. Там, где у других мужчин отчетливо видны признаки пола, у моего Витеньки не было ничего. Ну, просто ничего, голое блюдце. Он увидел меня, понял, что я разгадала его тайну, и попытался меня убить. Гонялся за мной с ножом, порезал мне грудь. Я сказала, что люблю его, и это не является препятствием для нашего брака. Он сообщил, что поступил в разведшколу, над ним произвели операцию, необходимую для внедрения в банду. А те, кто разгадают его «легенду», должны быть

убиты. Снова гонялся за мной с ножом и порезал вторую грудь. С тех пор я продолжаю его любить, а он гоняется за мной, желая моей смерти. Узнав, что я лечу на пресловутом «Боинге» в Пермь, он подстроил катастрофу, было много жертв, но я чудом выжила. Он собирался отравить меня полонием, но ампула с ядом попала к незадачливому Литвиненко, и бедняга погиб. Я переехала в Москву, поселилась в доме на Каширке, а он, желая меня уничтожить, взорвал этот дом, и еще один в Печатниках, где жила моя сестра, но я уцелела. Ему сообщили, что я отправилась в плавание на подводной лодке «Курск», он устроил аварию, столько отважных моряков погибло, но мне удалось выжить. Я стала женщиной-космонавтом, летала на орбитальной станции «Мир», но он утопил станцию в океане. Я чудом спаслась, меня подобала пирога австралийских аборигенов. Я притворилась сумасшедшей, спряталась в один провинциальный сумасшедший дом на Урале. Послала ему оттуда письмо: «Мой Витенька, твоя тайна делает тебя еще более желанным. Всю жизнь меня преследует чудесное видение, — ты стоишь, прекрасный, как Аполлон, под душем, но там, где у настоящего Аполлона, непривлекательный и даже уродливый нарост, у тебя абсолютная гладкость, что делает тебя самым гармоничным из смертных. Мечтаю увидеть тебя, прижаться губами к тому, что так восхитительно напоминает фарфоровое блюдце Ломоносовского завода». Он вычислил меня по этому письму, подослал в сумасшедший дом поджигателей, и они подпалили заведение. Я бежала и горела, как факел. И теперь горю от любви к тебе, мой Витенька. Если ты слышишь меня, отзовись. Я обратилась в передачу «Жди меня», и мы непременно встретимся на глазах у миллионов телезрителей.

Ромул очнулся. Он больше не чувствовал себя околдованным и лишенным воли. Вероломный Рем перекупил фаворитов, запугал интеллигентов, поманил обещаниями слабосильных. Но его, Долголетова, воля остается неколебимой. В борьбе за власть он пойдет как угодно далеко, как шли великие деятели русской Истории, — Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Великая, Иосиф Сталин. Только воля и беспощадная сила обеспечивают власть в такой стране, как Россия.

— Все это не более чем студийные записи на пленку, — сказал он, поднимаясь с пола. — Жалкая инсценировка, придуманная

изменником Виртуозом. Оставайся здесь и жди под арестом своей участи. Кстати, можешь последовать одному из моих советов и пустить себе пулю в лоб. Я скоро вернусь. Да сбудется пророчество святого старца. Пусть Верховного Правителя России настигнет смерть!

— Но ведь ты, низложивший меня, и являешься на сегодняшний день Верховным Правителем России, — крикнул ему вслед Рем. Но Ромул не слышал. Выбежал из гостиной. Махнул стоящему на страже полковнику Гренландову. Заторопился к машине.

Они мчались по Рублевскому шоссе — бронированный «мерседес» с Ромулом и Гренландовым и два джипа с военными. Навстречу летали бигборды с рекламой лучших дантистов Германии, лучших проктологов Израиля, бриллиантов «Де Бирса, автомобилей Америки, Японии, Франции. Ромул вновь чувствовал себя всемогущим. Его воля сокрушит вялое сопротивление кремлевских аппаратчиков и думских депутатов. Он снова явится народу, блистательный, беспощадно спокойный, с бледностью на волевом лице, каким его помнили во время второй Чеченской кампании. Он расчистит место для своих начинаний, для которых наступил желанный час.

Оставшийся в гостиной Рем медленно приподнялся с дивана. Оправил на себе китайский халат с шелковым драконом. Пружинно потоптался босыми ногами. Замер, погружая сознание в глубину своей грудной клетки, где рядом с его собственным сердцем, билось сердце Ромула, — плод метафизической трансплантации. Принял тибетскую позу «Скрипичный ключ» — позу палача, иссекающего сердце врага. Выпрямил спину, придав ей устойчивость несгибаемого стержня. Туго напряг крестец, так что набухли все сходящиеся к крестцу железы и нервные окончания и открылись, задышали все чакры. Приподнял левую ногу, повернув босую стопу внутрь. Распростер руки, придав им форму пропеллера. Мощным взмахом провел ладонью перед грудью, совершая метафизический надрез. Грудная клетка растворилась, и в ней рядом билось два сердца, — его и Долголетова. Две алые сочные ягоды, растущие на двух красных аортах. Выбрал сердце, принадлежащее Долголетову, и мощным рывком, как вырывают с корнем тугой цветок, выдрал его. Держал перед собой трепещущее, брызгающее сердце.

Ромул из машины видел, как приближается бигборд с прелестной женщиной, надевающей на шею бриллиантовое ожерелье. Ее лицо показалось ему знакомым. Это была его любимая Полина Виардо. Ее влажные нежные глаза приближались, свежие уста растворились, и он услышал ее неземной голос, сулящий вечное блаженство, нетленную любовь, полноту обретенного счастья.

Почувствовал больной толчок в сердце. Еще и еще. Кто-то вырывал из него сердце, и оно, оставляя в глубине алые, брызгающие корешки, с треском и хлюпаньем выдралось сквозь ребра наружу. В груди оставалась огромная рана, сквозь нее были видны пузырящиеся легкие и ребристые дрожащие аорты. Сердце превратилось в красного нахохленного скворца, который стряхнул с себя брызги и вылетел из машины в сосновый бор. Полетел, исчезая в деревьях.

Ромул бездыханно упал на сиденье. Гренландов достал мобильный телефон, позвонил:

— Ему конец, Артур Игнатович… Понял… Вас понял… Действую по «Схеме-2».

Приказал шоферу:

— Притормози.

Джипы с военными причалили к обочине. Гренландов могучим рывком выхватил бездыханное тело из машины и отнес в лес. С помощью мобильного телефона сделал несколько снимков мертвеца. Большим десантным ножом, действуя осторожно, с похрустыванием, отделил голову от тела. Приподнял за уши, потому что волос на голове было слишком мало, и держал на весу, ожидая, когда сольется кровь. По земле ползла крохотная улиточка, и Гренландов старался не запачкать улитку кровью.

Когда кровь из перерезанного горла перестала сочиться, и оттуда торчал лишь нежный розовый позвонок, Гренландов достал из кармана пластиковый пакет с фирменной маркой магазина «Эльдорадо», — цветастой бабочкой. Положил туда голову и встряхнул. Извлек мобильник и снова позвонил:

— Все сделано, Артур Игнатович… Пересылаю вам снимок… Служу России!..

…Военные заворачивали в брезент безголовое тело. Оттаскивали в багажник.

Виртуоз, услышав о творящихся в Москве беспорядках, обзвонил несколько аппаратных знакомцев, навел справки в разведке, побеседовал с вездесущим журналистом Натанзоном. Картина складывалась противоречивая, бессвязная и вполне бутафорская, что внушало успокоение. Все события последнего десятилетия, благодаря его, Виртуоза, изобретательности, носили неподлинный, бутафорский характер. Усилия политиков, действия власти, общественные проявления ослаблялись настолько, что становились тенью самих себя. Проникали одно сквозь другое, не задевая, не причиняя вреда. Злая воля Кремля, протест оппозиции, народное недовольство, заговоры и интриги элит были представлены не подлинными продуктами общественной жизни, а химическими эссенциями, имеющими легкий привкус продукта, призрачный запах натуральности, как искусственный морс в пакетах синтетического фруктового сока. Политика была местом встречи всевозможных призраков, с каждым из которых у Виртуоза сложились дружеские отношения, и призраки сами тянулись к нему, нуждались в нем, как в режиссере «театра теней». Лишь одно беспокоило и раздражало его, — почему в этом карнавальном конфликте ни Ромул, ни Рем не прибегли к его услугам. Почему решили обойтись без него, непревзойденного мастера любых карнавалов.

По дороге в Кремль он наслаждался утренним солнцем и голубым густым воздухом Подмосковья, в котором начинала сквозить неуловимая осенняя желтизна. Решил свернуть с шоссе на асфальтированное ответвление, ведущее на Старо-Марковское кладбище, на могилу матери. Здесь все было подлинное. И его сыновья нежность, и наполненные слезами драгоценные воспоминания, и чудесные старые ели, в которых одиноко и чисто, словно чья-то душа, свистела невидимая птица. И могила мамы под розовым камнем и простым дубовым крестом, где ее начертанное имя обладало особой женственностью и певучестью, словно его переложили на музыку, которую она так любила слушать, посещая концерты Скрябина и Рахманинова.

Он вошел в оградку и поразился — весь продолговатый могильный холм был покрыт цветами. Душистые табаки, розовые, голубые, белые, темно-лиловые, густо и сладостно благоухали, покрывая могилу пышными ворохами. Он не сажал эти цветы, они

выросли сами. Они были посланием мамы ему, не часто являвшему на заповедные свидания. Были письмом, в котором мама сообщала, что с ней все хорошо, в душе ее царит гармония, она находится среди людей, которые на земле любили ее и здесь, на небе, продолжают ее любить. Ее душа, не обремененная земными заботами, предается любимым занятиям, — любуется божественными красотами, отдает себя творчеству, общается с подобными себе, глубокими и тонко чувствующими душами. И, конечно же, помышляет о нем, своем ненаглядном сыне, уповая на свидания.

Ему было удивительно знать, что ее хрупкие легкие кости находятся здесь, в глубине, под могильным холмом. А душа сквозь прозрачный, чуть светящийся коридор, нисходит с небес, и это двойное присутствие мамы, непостижимая близость с ней сладко волновали его, вызывали легкие радостные слезы. Он целовал цветы, словно целовал ее серо-голубые глаза, ее чудесные нежные руки. Убрал с могилы упавший с елки ломоть коры. Расправил примятые поцелуями соцветья. Вышел из оградки, низко поклонившись кресту. Одухотворенный, умиленный, поехал в Кремль.

В машине, слушая по телевизору обращение к нации Президента Лампадникова, был слегка шокирован безвкусными красивостями стиля, которых бы он, доведись ему редактировать послание, наверняка избежал. Наблюдая бутафорский шабаш в Думе, получил истинное удовольствие от выступления рязанской депутатки, предлагавшей рецепт муравьиной казни. В трагическом, как жертва холокоста, Ходорковском узнал актера Театра на Таганке, который действительно был лишен уха, проиграв его в покер.

И, лишь увидев некачественный, сделанный мобильным телефоном, снимок мертвого Ромула, услышав сообщение, что он был застрелен при попытке к бегству, Виртуоз понял, что совершились чудовищные события.

Он не сразу был допущен в кабинет Президента. Ждал в приемной, пропуская впереди себя посла США, высокого, надменного господина с гранатовыми склеротичными жилками на клубневидном носе. Министра обороны Курнакова, который вошел в кабинет, изображая на мясистом лице преданность к бесконечно любимому человеку, а выкатился ошпаренный, липкий, словно на голову ему опрокинули кастрюлю с киселем. Советника по экономическим

вопросам, предрекавшим скорый крах доллара и мировой экономический кризис. Советник имел узкий надменный рот и гордый нос, придававший ему сходство с грифом. Именно так, по мнению Виртуоза, и должен был выглядеть мировой экономический кризис, — обилие падали и парящие над ней трупоеды. Наконец и его пригласили.

Рем был подвижен, весел, источал шелестящее электричество, от которого воздух кабинета трепетал розоватым заревом, как изоляторы высоковольтной мачты в сырую погоду.

— Почему ты оставил меня в стороне от происходящего? — сухо спросил Виртуоз.

— Если быть откровенным, не был в тебе до конца уверен. Ты был слишком близок с Виктором, слишком многое вас связывало, — похлопал его по плечу Рем, и Виртуоз услышал сухой треск электричества, почувствовал ожог, как от прикосновения ската.

— Я был бы с тобой.

— Вот и ладно. Теперь, когда Виктора нет в живых, и у тебя исчезло искушение предать, мы будем вместе. Без тебя мне не обойтись. Ты должен с блеском обставить продление моих полномочий. День Духовного Лидера Русского Мира, который готовил для Виктора, теперь ему не понадобится, а мне сослужит службу. Мы объявим нашу новую доктрину, отряхнем прах предшествующего периода. Нам придется строить дружеские отношение с новоизбранным Президентом Америки. Исправлять конфузы и бестактности, допущенные Виктором в адрес Америки. К тому же, мировой кризис, кажется, и впрямь не утка. Потребуется «пиар эпохи кризиса», а это нечто совсем иное, чем «пиар ваучерной приватизации» или «пиар чеченской войны». Здесь тебе нет равных.

— Что ты намерен делать с тобольским помазанником? — Виртуоз спросил о том, что волновало его больше всего. — Я оценил твою гениальность. Используя «блеф монархии», ты спровоцировал Ромула на государственный переворот и уничтожил. Что же теперь станет с Горшковым?

— Избавимся от него, как от «бросовой агентуры».

— Ведь ты не убьешь его?

— Он слишком много знает.

— Ведь он сослужил тебе огромную службу.

— Тем более. Он слишком осведомлен.

Виртуоз разволновался. Понял, что именно эта мысль владела им, когда он мчался в Кремль. Страх за Алексея, которого видел лишь несколько раз, но ощутил в нем брата. Открыл его неземные способности, которые помогли чудесному свиданию с матерью и обладали силами, столь необходимыми государству.

— Приблизь его к себе, — ходил он вслед за Ремом по кабинету, повсюду ощущая электрические вспышки и прикосновения жалящего хвоста. — Он уникальный. Алексей — божий человек. Обладает даром, который открывается праведникам. Он и впрямь может привнести в жизнь государства «райскую идею». Одухотворить бессердечную власть «райским смыслом». Он тот, чрез которого власть может соединиться с народом, а народ — с Богом, что сделает Россию неколебимой. Мы вступаем в эпоху огромных испытаний, но хотим противопоставить этим испытаниям один «пиар». А он в состоянии привнести во власть субстанцию святости, которую Преподобный Сергий молитвенно передал русскому войску, русским купцам и крестьянам и сделал Русь непобедимой. В России накопилось столько тьмы, столько не отмытой и не отмоленной крови, столько злодейства и неправды, что грянет взрыв, и он сметет Кремль, рублевские дворцы, сметет тебя и меня. Найди способ оставить Алексея при себе, а вместе с ним оставить при себе наш загадочный народ, который молится Богу, а потом берет автомат Калашникова и идет расстреливать кортеж Президента.

— Да ты, я вижу, околдован этим самозванцем. И впрямь поверил, что его место на троне. Так, может, тебе лучше быть вместе с нищими и кликушами на папертях храмов, оббивать ноги в крестных ходах, выстаивать ночи, чтобы приложиться к частице очередного святого? Пусть другие берут на себя бремя государственного управления? Удерживают в хрупком сосуде этот вечно плещущий огонь народного недовольства, готовый опалить и сжечь дотла? Выбирай, ты с ним или со мной?

Рем остановился, маленький, мускулистый, с беспощадным лицом, на котором глаза вдруг страшно потемнели, наполнились фиолетовой жутью подводных глубин, и он превратился в хищное многоногое существо, готовое плеснуть вперед свои щупальца, впиться в лицо жертве, стягивая липкую кровавую кожу.

Виртуоз замер. Ему привиделся кристалл с сияющими плоскостями, разделенными бритвенно острой линией, по обе стороны которой был нестерпимый блеск. Ему надлежало выбрать либо ту грань, в которой в нимбах и диадемах отпечатался образ Рема, либо ту, где в тихих лучах переливалось лицо Алексея. Тоскуя, глядя, как в окне круглятся купола, как могуч и недвижен белый камень кремлевских соборов, чувствуя, как непомерно тяжела и неотвратима власть, как неизбежно бремя чудовищного государства, он выбрал плоскость с образом Рема. И вторая грань тут же померкла, утратила свет, превратилась из самоцвета в мертвый холодный камень.

— Вот и хорошо, — произнес Рем. — Позаботься, чтобы у тобольского блаженного взяли пробу на ДНК. Как знать, не придется ли нам доказывать народу его самозванство. А сейчас извини — телефонный разговор с этим смуглым американским красавцем.

Виртуоз возвращался домой в вязком, как варенье, автомобильном месиве, которое изливалось из Москвы, залипая в пробках, образуя сгустки и опухоли. В этих опухолях скапливалось людское раздражение, усталость, безнадежность и безотчетная ненависть, плодя в народе самоубийц и революционеров. Проезжая мимо придорожного, указывающего на кладбище креста, вновь свернул к матери. Хотелось посмотреть на ели в малиновых пятнах заката, услышать одинокую вечернюю птицу, поцеловать распустившиеся на могиле цветы. Зашел в оградку и ахнул. Цветы, еще днем нежно-розовые, белые, сочно-синие, почернели, словно их полили кислотой. Птица молчала. Божественный, уводящий к матери коридор несказанного света померк, будто наверху захлопнули люк. Сверху давила темная плита, которую было невозможно сдвинуть. Виртуоз покидал кладбище, будто вторично потерял мать, теперь уже навсегда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

На утреннем вокзале в Москве шофер Андрюша встретил их с неизменной ковбойской улыбкой.

— А у нас тут в Москве своя свадьба. Только не поймешь, кто жених. Кто выживет, тот и жених, — он принимал от них саквояжи и клал в багажник.

Марина прямо с вокзала поехала на телевидение, где ее поглотила громадная стеклянная реторта, в которой шла таинственная реакция синтеза и распада. Продукты этой реакции невидимым огнем прожигали небо над Останкинской башней. Дома Алексей, в дорожном платье, не притронувшись к завтраку, включил телевизор и, не отрываясь, околдованно следил за экраном, в котором волновалась лазурь, как на иконе Рублевской Троицы. Но вместо ангела шевелилась упрямая говорящая голова. Каждые десять минут голова воспроизводила слова мучительного, путанного, уводящего от правды текста, затмевающего какую-то ужасную истину. Ту же истину затмевали выступления думских депутатов, в каждом из которых кипел страх, как если бы им грозил арест и смертная казнь. Они отпихивали от себя эту казнь, указывали на того, кто ее заслуживал.

Выступление рязанской депутатки, предлагавшей использовать для казни лесные муравейники, больно поразило его. Ему стало безмерно жаль эти муравейники, их смугло-коричневые, с мерцающим блеском пирамиды, исполненные могучей жизненности и совершенства. Но когда на экране возник нечеткий снимок убитого Виктора Викторовича Долголетова, мучительно сжатые в трубочку губы, словно пытавшиеся прогудеть на прощанье какое-то заветное, слезное слово, он едва не лишился чувств. Он успел разглядеть на листке травы, возле мертвой головы Долголетова, крохотную улитку с завитком ракушки. Несовпадение двух миров, в которых совершалось бытие — жестокое убийство человека и перемещение улитки, равнодушной к убийству, породило непосильный для разума абсурд.

Выключил телевизор и беспомощно сидел на диване, слушая мерный, как морской прибой, шум города. Он понимал, что случилось то страшное, чего он старался избегнуть. В очередной раз русская

история, попытавшись вырваться из заколдованного круговорота возрождений и гибельных крушений, не удержалась на зыбкой грани. Снова свалилась в кармическую бесконечность дурных перевоплощений. Краткого величия — в долгий позор. Сиюминутного расцвета — в длительное тление. Святого взлета — в падение на кровавое дно. Вновь зашевелились тектонические платформы русской истории, наползая одна на другую, сминая царства, вероучения, заветы святых и праведников, окрашивая народную жизнь густой, застоявшейся в жилах кровью. И все, что он, Алексей, затевал, на что уповал, к чему стремилась его верящая, любящая душа, готово было обернуться бойней, расстрельным, от одного океана к другому, рвом, нашествием могучих и безжалостных чужеземцев.

Его бессилие и обморочность сменились необычайным возбуждением, потребностью немедленно вмешаться, предотвратить гибельную череду событий. Он кинулся к телефону и позвонил в Кремль, в приемную Президента.

— Артура Игнатовича сейчас нет. Кто его спрашивает? — раздался ровный, алюминиевый голос секретаря.

— Это Горшков Алексей Федорович. Вы должны были меня запомнить. Неделю назад я был на приеме у Президента.

— Я вас помню, Алексей Федорович. Я доложу, что вы звонили. Когда Артур Игнатович вернется, мы вам позвоним, — голос секретаря был из легкого металла, который идет на изготовление прочных несущих конструкций. Чувствовалось, что сегодняшние нагрузки намного превышают норму, но конструкции выдерживают и не дают трещин.

Алексей попытался дозвониться до Виртуоза, который назвал его «братом» и просил обращаться в любое время, ночью и днем. Сейчас был день, солнце ликовало, в комнату долетали зеркальные вспышки улицы, но телефон Виртуоза был заблокирован.

Он стал названивать Марине, нуждаясь в ней, желая в ее голосе обрести необходимую твердость. Уверенность в том, что огромная, проделанная им работа, не напрасна. Что путь преображения, который он совершил от безвестного, беспомощного изгоя до государственного мужа, признанного всеми наследника, — этот путь не оборван, будет продолжен, станет препятствием для разгоравшейся смуты. В этот трагический для родины час он сможет объединить вокруг себя

сословия, создать центр власти, угодный всем. Но телефон Марины не отвечал. Видимо, забыла его по рассеянности в своей кожаной сумочке, захваченная телевизионной неразберихой..

Он решил отправиться в «Фонд Культуры», которым заведовал режиссер Басманов, клявшийся в вечной дружбе, готовый прийти на помощь в трудную минуту. Вызвал машину и через несколько минут уже поднимался по стариной, стертой стопами лестнице.

И был счастлив увидеть, как спускается по этой лестнице сам Басманов, в великолепном белом костюме, с шелковым артистическим бантом, сиятельный, аристократичный, шевеля в разговоре с помощниками холеными, дворянскими усами.

— Это провидение, перст Божий, что я вас встретил! — Алексей снизу вверх смотрел на Басманова, протягивая ему руку. — В эти роковые минуты… Мы должны противодействовать насилию… Гражданский мир обеспечивается верностью всех сословий династии…

Басманов остановился. С изумлением посмотрел на Алексея, словно не узнавал его, мучительно припоминал, где мог его видеть:

— Позвольте, ах да! Разве вы еще здесь? Разве ваша роль не исчерпана?

— Моя роль? Нет никакой роли. Я пришел к вам за помощью. Вы предлагали мне бескорыстную помощь и сердечную дружбу. Теперь такая минута. У нас у обоих есть влияние, есть связи. Мы должны обратиться к Президенту, к военным, к церкви. Россия вновь на распутье. Вновь повисла над пропастью.

— Не смешите, ради Бога. Какое отношение вы имеете к России? Вам предложили сыграть крохотную роль, и вы ее сыграли. Не талантливо, но таланта от вас и не требовалось. Я бы не взял вас даже в статисты. Вы хотели играть претендента на царский трон, но для этого нужно иметь в жилах хоть несколько капель дворянской крови, чтобы не бросалось в лицо ваше плебейство.

— Вы сами явились ко мне, сами, вопреки моей воле, ввели меня в общество, но теперь, когда во мне появились силы, возникло понимание русской истории, к кому же мне было идти, как не к вам? Вы говорили о себе, как о потомке древнего рода, о приверженце русской монархии. Теперь вы можете доказать эту приверженность. Мы должны остановить братоубийственную русскую рознь.

— Во-первых, я не помню, чтобы пускался с вами в откровения относительно моей родословной. Во-вторых, действительно, Басмановы служили царям и России. В-третьих, мы пережили многие другие роды, сложившие головы, кто на плахе, кто у кирпичной расстрельной стенки, только потому, что чувствовали дуновения времени, ветер истории. Могли поднять парус, если это был попутный ветер, и быстро его опустить, если начиналась буря и шторм. Мой вам совет, господин… Забыл, как вас величать… Сматывайтесь поскорее из Москвы, пока вас не хватились. А то ведь, не равен час, ударят башкой о стену, вот и весь «монархический проект», да-с! — легонько посвистывая, он брезгливо обогнул на лестнице Алексея, вышел на подъезд, где шофер открывал перед ним дверцу дорогой машины.

Алексей был поражен его уверенной веселостью и сосредоточенным знанием того, что должно делать в этот роковой момент, дабы продлить в поколениях славное имя Басмановых. Их секрет заключался в том, что они страстно и преданно служили господину до той поры, пока власть того ни завершалась. Они ничего не предпринимали, чтобы защитить эту власть, с легкостью оставляли своего ослабевшего благодетеля и с тем же рвением принимались служить новому кумиру — царю, вождю или президенту. Спустившийся по лестнице Басманов, укативший на какую-то важную встречу, быть может, в Кремль, был птицей, перелетавший с одной властной ветки на другую.

Не отчаиваясь, Алексей решил добиваться встречи с владыкой Арсением, уповая на духовный авторитет церкви, способной пророческим словом укротить свирепые инстинкты власти, умиротворить сердца, встать между враждующими сторонами. По наитию отправился в Свято-Данилов монастырь, где часто подвизался Владыко. И встретил его, шагающего по ухоженной дорожке, среди белых палат и золотых куполов. Владыко опирался на пастырский жезл. Ряса его грозно развевалась. Мантия волновалась от ветра. Седая могучая борода делала его похожим на Моисея. Ему сопутствовал, отстав на полшага, настоятель монастыря, смиренно внимая наставлениям Владыки.

— И еще, отец Евлогий, вы бы сняли в канцелярии портрет Долголетова. Какой он для нас Духовный Лидер. Один у нас с вами

Духовный Лидер — Спаситель наш Иисус Христос. Ему и поклоняемся.

Эти слова уловил Алексей, вставая перед Владыкой, в смущении и торопливости забыв испросить благословение:

— Владыко, я решился прибегнуть к вашему вниманию, помня милостивое приглашение обратиться к вам в час необходимости. Необходимость настала, Владыко. Острейшая необходимость вмешаться церкви в начавшееся противостояние русских людей, между которыми уже пролилась кровь.

Владыка Арсений остановился, картинно ударил посохом в землю и отстранил рукоять с крестообразным навершием. Одна его бровь космато нахмурилась, почти совсем скрыв сверкнувший глаз. Другая — изумленно и гневно полезла вверх, открывая ярое око. Алексей не обратил внимания на эти признаки негодования, продолжал торопливо изъясняться:

— Владыко, слово церкви должно быть произнесено и услышано, прежде чем заговорят пулеметы и пушки. Прежде чем одни русские люди выпустят пули в других. Если бы в 93-м году церковь вышла крестным ходом к Дому Советов и вынесла навстречу стреляющим танкам икону Владимирской Божьей Матери, кровопролития удалось бы избегнуть. И не было бы в русской истории еще одного незаживающего рубца. Я чувствую, Владыко, как наливается кровью новый рубец. Надо идти крестным ходом в Кремль, нести икону Державной Божьей Матери, которая была явлена в год мученической смерти Государя и которая сегодня должна удержать Государство Российское от падения в пропасть. Ведите народ, Владыко. Я же, в вашем послушании, готов исполнять любую вашу волю.

Насупленная кустистая бровь пастыря вознеслась вверх, открыв львиный глаз. Другая — сползла на блистающее око, затмив его гневной сединой.

— Как ты смел явиться в это святое место! — рокочуще вымолвил Владыка, топорща железную бороду. — Да знаешь ли ты, что мы вынуждены освящать помещения, где ступала твоя нечестивая нога! В Екатеринбурге, в Храме Святомучеников, местное духовенство осветило верхний и нижний храм, где ты святотатствовал перед мироточащей иконой, объявив себя Царем и святым. Это верх богохульства, за это отлучают от церкви и предают анафеме. Сегодня

церковь предала анафеме вероотступника и заговорщика, смутителя покоя земли русской, Виктора Долголетова. А завтра отлучим тебя. Отдадим на сожжение вечного адова огня.

— Владыко, никогда не дерзал объявлять себя святым. Быть может, через меня действовала святость Царя Мученика, чья святая кровь течет в моих жилах. Сам же я не дерзнул бы творить чудеса.

— Развелось еретиков, — произнес Владыко, обращаясь к своему спутнику. — Осаждают церковь со всех сторон. Власть должна оградить церковь от покушения на ее святость.

— Сама власть нуждается в ограждении от нечестивцев, Владыко, — вздохнул настоятель, потупив глаза.

— А тебе совет, беги из Москвы, найди какого-нибудь старца и кайся, вымаливай прощенье. А то, знаешь, как в Москве поступают с самозванцами. Головой в пушку, да и пальнут в сторону Москвы-реки, как обернулось с Гришкой Отрепьевым.

— Владыко, умоляю, ваше слово к народу!

— Изыди, сатана! — грозно проревел митрополит, отогнал посохом Алексея и гневно прошел к машине, где его поджидал шофер, облаченный в рясу.

Алексей остался стоять посреди монастыря, глядя, как торопятся куда-то монахи, как розовощекий, с клочковатой бородой монах тащит ящики с иностранными фирменными надписями, как хорошенькая, в прозрачной косынке барышня, кокетливо беседует с молодым черноризцем. Ему было горько, пусто. Церковь, как и сто лет назад, перед началом великой русской распри, не захотела ударом посоха высечь из земли животворный ключ, не открыла русскому человеку путь в небо, запечатала небо золотыми печатями, заткала его золочеными ризами, закидала рубище праведника самоцветами. Россия и теперь в час беды оставалась с запечатанным небом, с замурованным райским источником.

Но не время было предаваться унынию. Он помнил прием, оказанный ему в Государственной думе, помнил единодушие политиков разных толков и направлений, когда речь зашла о целостности Родины, о преуспевании России. Тогда же Председатель Думы Сабрыкин поклялся ему в вечной дружбе, объявил себя монархистом и вручил бессрочный пропуск в Думу. Настала пора воспользоваться этим пропуском, отыскать Сабрыкина, собрать из

политиков мужественную когорту верных Сынов Отечества. С новым жаром и рвением он помчался в Думу.

Огромное здание было наполнено мелькающими, энергичными, исполненными страсти людьми. Одни торопливо сбегали с широких лестниц, чтобы достичь вестибюля, бросить несколько беглых взглядов в зеркала, убедиться, что они замечены, раскланяться торопливо с кем-нибудь из случайных знакомых и вновь бежать вверх по лестнице, по толстым коврам, к неведомой цели. Другие перемещались деловыми группами, морща лбы, таясь от остальных, переходя на шепот или вовсе затихая, если встречалась другая подобная группа. Тогда они гуртом входили в просторный лифт, делая вид, что не знакомы друг с другом. Но едва лифт достигал нужного этажа, дружно выскакивали, вновь объединялись в тайный союз, шли, шепотом называя фамилии, должности, перемещения по служебной лестнице. Было видно, что произошло чрезвычайное событие, смысл которого был до конца не ясен. Но оно касалось всех, требовало ото всех отклика, какого-то нового поведения, нового стиля, хотя и неизвестно какого. И обитатели Думы сновали по этажам, наводняли кабинеты, искали этот стиль, объединяясь в союзы, которые тотчас же распадались, словно внутри этих союзов происходили малые взрывы, расталкивая недавних единомышленников.

Алексей стал искать наугад кабинет Председателя Думы и вдруг увидел его самого, властно и энергично шагавшего по просторному коридору, по красной ковровой дорожке. Сабрыкин был окружен сподвижниками, которые несли за ним портфели и папки. Что-то обрывисто и беспрекословно бросал на ходу, и эти обрывки приказов тотчас подхватывались, превращались в могущественные деяния, блистательные идеи, небывалые проекты, которыми жила страна, выстраивая свое будущее среди непредсказуемого и опасного мира.

Он издали узнал Алексея и не стал уклоняться от встречи. Напротив, за несколько шагов возвысил голос, указывая на Алексея, обращая к нему свое металлически-шершавое, тронутое напильником лицо, жесткие, в ржавой окалине, усы:

— Я думаю, Комиссия по расследованию факта государственного переворота займется вами в первую очередь. Вам придется давать показания не только перед парламентариями, но и перед прокурором. Кто поднял вас из небытия? Кто с завидным упорством продвигал на

телевидении? Кто раздувал вашу репутацию, делая из вас общественно значимую фигуру? Кто хотел использовать ваше имя и ваше псевдоцарское происхождение для создания конституционного хаоса и, воспользовавшись этим хаосом, захватить незаконно власть? Слава богу, наш Президент стоит на страже Конституции и вовремя, со всей решительностью, отреагировал на козни врагов. И они еще ответят перед народом за свою подрывную деятельность!

Сабрыкин прошел мимо, словно вихрь гнева. И каждый, сопутствовавший ему чиновник, являл собой протуберанец этого гнева. Отшлепал Алексея лацканами и рукавами своих пиджаков, папками и портфелями, презирающими взглядами.

Они еще удалялись по красному ковру, развешивая в гулком коридоре неразличимые гроздья фраз, а Алексей вдруг с острой тоской, с ужасающей очевидностью почувствовал угрозу собственной жизни. Все это были вестники его смерти — и насмешливый аристократичный Басманов, и оперно-пышный, играющий театрально бровями Владыка, и этот вырезанный из жести герой, торопящийся с одних подмостков на другие. Все они предали его, все видели в нем свидетеля их вероломства, обличителя их предательства и позора. Все желали избавиться от свидетеля. И впервые за эти дни он подумал о Государе. Ощутил его безысходную тоску, непомерное одиночество, открывшуюся вокруг него пустоту, откуда отхлынули недавние обожатели, преданные придворные, верные генералы, величественные иерархи. Отдавали его в руки жестоких палачей. И страх за себя, не исчезая, усилился многократно при мысли о Марине. Те, кто ищут сейчас его, ищут и ее. Знают, что оба они нераздельны. Их соединяет царственный младенец, которого она носит под сердцем. Этот страх был столь велик, требовал немедленных действий, что он выхватил мобильный телефон и тут же, в Думе, среди снующих депутатов, принялся звонить Марине.

Вначале телефон продолжал молчать. Затем, на пятый или шестой раз, ответил женский замотанный голос:

— Это Илларион Васильевич? — И, не дожидаясь подтверждения, произнес: — Сейчас Мариночка поехала в театр Леонида Олеария. Там у нее репетиция. По этому телефону она будет только к вечеру.

Не понимая, кто такой Илларион Васильевич и почему Марина репетирует в театре Олеария, Алексей опрометью кинулся из Думы и

направил шофера Андрюшу к Чистым прудам.

Он появился в театре, когда здание покидали актеры, милые мужчины и женщины, с пластикой гимнастов и канатоходцев, утомленные тренировками, танцами и рискованными кульбитами, к которым принуждал их Олеарий. Он нашел Марину в гримерной, среди зеркал, в легком трико. Она убирала влажными салфетками грим со своего прекрасного, зеленоглазого лица. «Увидел это лицо сначала в зеркале — золотистые брови взлетели изумленно вверх, розовый рот приоткрылся, издав слабый возглас. Потом это лицо повернулось к нему, и он задохнулся от счастья, нежности и смятения:

— Родная моя, наконец-то нашел тебя. Случилось огромное несчастье. Опять начинается извечная русская смута. Опять рыскают по городу эти опричники, эти вечные чекисты. Требуют чьих-то голов. Наших с тобой голов. Мы должны бежать. Не должны повторить драму последнего Государя. Я все продумал. Мы едем в Верхотурье, в маленький городок на Урале. Там у меня друг, вместе учились. Работает в музее. Укроет нас на первое время. А здесь тем временем все выяснится, все успокоится.

— О чем ты? — спросила она, продолжая стирать грим со щеки, и он заметил, как на салфетке осталась полоса медового цвета.

— Я все продумал. Прямо сейчас, не заезжая домой, потому что там уже есть засада. На вокзал, на первый же поезд. До Екатеринбурга, но не под конвоем, а сами, безвестные, никому не открываясь, под покровом моих царских предков, у которых столько божественных лилий, столько небесных ангелов, что они повесят над нами покров, и мы станем невидимками, как тогда, с грузинскими танками.

Он торопился, сбивался, не понимая, почему слова его не вызывают в ней мгновенную вспышку счастья. Почему нет столь любимого, наивного обожания на ее чудесном лице, и оно не приближается, а, отраженное во многих зеркалах, ускользает. Переливается из стекла в стекло, и он не в силах понять, где оно подлинное. Он нырял за ней из зеркала в зеркало, из омута в омут, силясь поймать, но она, все в летучем серебре и брызгах холодного света, ускользает.

— Я не могу сейчас ехать. У меня задание. Дел непочатый край, — тихо и отчужденно сказала она.

— Какое задание? Какие дела? Под угрозой твоя жизнь, жизнь царевича, жизнь русской династии. Они беспощадны — все, и большевики, и Романовы. Они начали свое царствование, убив несовершеннолетнего отрока. Отсюда родовое проклятие. Они убивали жена — мужа, сын — отца. Все мраморные полы во дворцах, все тропинки в дворцовых парках политы кровью. И эти, нынешние, не остановятся ни перед чем. Убьют тебя вместе с нерожденным ребенком. Я просчитался. Моих сил не хватило. Хотел остановить пули, вылетевшие из револьверов в подвале расстрельного дома. Но он полетели дальше. Летят. Ты слышишь их свист? Летят к нам, сюда!

— Боже мой, ты ничего не понял? За все это время ничего, ничего не понял? — она смотрела на него с сожалением. А ему хотелось целовать ее любимые зеленые глаза, ее чудесный розовый рот, длинную шею, на которой трепещет знакомая нежная жилка, милую лунку у ключицы, там, где приспустилось трико.

— Едем, прямо сейчас, в Верхотурье, уральская святыня, обитель Верхотурских старцев.

— Ты ничего, ничего не понял. С тобой обошлись, как с куклой. Бессмысленной доверчивой куклой, с которой можно было играть в цесаревича, в наследника престола, и те, кто играл, тайно смеялись над тобой. Хохотали, взявшись за животы. Ты что, не слышал этого смеха?

Он не понимал, о чем она говорит. Ему изменял слух, изменял разум, изменяло зрение. Зрение видело полет по сияющим водам, отражение голубого дворца, серебряный вензель на зеленой воде канала, промелькнувший граненый фонарь, висящий на золоченой стреле.

— Собирайся, родная. Нельзя терять ни минуты!

— Несчастный, недалекий, слепой человек! Ты до сих пор не понял, что меня приставили к тебе? Что я следила за тобой, морочила тебе голову, усиливала в тебе твои бредни, распаляла в тебе твою манию? О русском престоле. О царской короне. О коронации в Успенском соборе. О восстановлении в России монархии. Весь этот сумасшедший бред я играла вместе с тобой, как актриса. Для меня это была роль, просто роль, забавная и несложная.

— Что ты говоришь, дорогая? Какая роль? Мы любим друг друга.

— Я была приставлена к тебе, как разведчица, как шпионка. Сообщала о тебе тем, кто меня приставил. Обо всех твоих безумных

мечтаниях, обо всех твоих встречах, дружбах и связях. — Она смеялась, открывая ослепительные белые зубы, играя у переносицы шелковистыми бровями, яростно отталкивая его зелеными хохочущими глазами. Она была все та же, любимая и прекрасная, но чуть больше и острее казались теперь ее резцы, губы слегка выворачивались в хохоте и делали лицо жестоким и неистовым. Он вдруг вспомнил, что такое лицо было у нее в купе ночного поезда, когда он наклонялся на ней, а навстречу промчался встречный состав, наполнив купе расколотыми зеркалами, и она лежала, как серебряная статуя, с серебряной маской, в которой почудилось ему безумие и жестокость.

— О чем ты говоришь? Какая шпионка? Какая разведчица?

— Объяснить, какая? Ты позвонил мне с Урала и сказал, что отыскал в колонии Юрия Гагарина, который готов передать тебе «Формулу Рая». Я сообщила об этом, и тут же ночью колонию штурмовали, и этот твой Гагарин, вымышленный или реальный, был убит. Потом ты позвонил из какой-то лечебницы и сказал, что отыскал поэта Кузнецова, и он тебе готов прочитать поэму о Рае. Я тут же сообщила об этом, и ночью лечебницу сожгли, а твоя поэма и твой поэт превратились в пепел.

Он почувствовал больной толчок в глубине плоти, который вышел наружу судорогой. Эта короткая, пробежавшая по телу судорога напоминала рывок рыбы на кукане, когда ей под окровавленные жабры просовывают корявую ветку. Марина заметила это содрогание боли, и оно вызвало в ней злое нетерпение, желание поскорей прекратить мучение этой злосчастной и безответной рыбы.

— Но ты же любишь меня, — продолжал он ловить ее в зеркалах. — Ты так тонко чувствуешь мои переживания и мысли. Ты видела в снах мои злоключения во время недавней войны. Видела, как пикирует на меня самолет. Как я несу по горящей площади ребенка. Как танки идут на меня, готовые стрелять из орудий. Такое ясновидение под силу только любящему сердцу.

— Мне так просто было придумать эти сны, потому что я читала донесения о твоих приключениях на Кавказе. Там тоже за тобой наблюдали и присылали сообщения в Москву.

Он не понимал ее слов. Не понимал, откуда в ней это выражение жестокости, брезгливого нетерпения, желания причинить ему

смертельную боль, после которой он бессильно замрет, перестанет ей докучать. Еще недавно он целовал ее шуршащие ресницы, словно на губах трепетал шелковистый ночной мотылек. В темноте она сбрасывала свое платье, сотканное из неземных материй, и воздух вокруг начинал разноцветно светиться, словно здесь должно было случиться чудесное явление, и оно каждый раз случалось.

Он не понимал сути, только чувствовал приближение страшной пропасти, и всячески отдалял ее край, отгораживал от себя, заговаривал, уводил и ее и себя вспять, чтобы не рухнуть в бездонную ямину.

— Но мы ведь с тобой венчались. Над нами держали венцы. На нас обручальные кольца. Священник, будто сошел с Туринской плащаницы, назвал нас мужем и женой.

— Ты видишь, на мне нет никакого кольца. А священник отец Александр — он вовсе не священник, а майор ФСБ, курирующий религиозную тематику.

— Но ребенок? Ты носишь в себе моего ребенка. Ты рассказывала, как в момент зачатия из твоего лона стали расходиться радужные круги, словно в тебя залетела небесная звезда, зажглось волшебное светило.

— Боже мой, я тебя обманула. Неужели ты мог подумать, что я захочу иметь от тебя ребенка? Все эти бредни про цесаревича, наследника престола, венценосного младенца! Ты действительно веришь в свою царскую кровь? В свое божественное предназначение? Ты обычный провинциал, с которым разыграли недобрую шутку. Ты, в сущности, обычный провинциальный увалень, который играл по предложенным правилам, играл весьма посредственно, скажу тебе, как актриса. Ты решил, что я захочу иметь от тебя ребенка? Родить такого же, как ты, недалекого увальня? У меня другие пристрастия. Другой человек будет отцом моего ребенка.

Боль, которую он испытал, была несравнима ни с какой другой болью, из тех, что Господь посылает человеку, раня его тело или наказывая душу. Эта боль была отражением недавнего счастья, опрокинутого во тьму. Боль была зеркальным отражением блаженства, перевернутого в черном зеркале, и ее невыносимая острота соответствовала лучистому, острому, до небес, всплеску недавнего счастья.

— Но ты говорила, что любишь меня, — его губы едва шевелились, словно окаменели на морозе, толстые, распухшие и недвижные.

— Глупый, бедный, наивный человек, я не люблю тебя. Я люблю другого. Этот другой прекраснее тебя. Он умен, остроумен, блистателен. Его обожают женщины. Он игрок, острослов, играет не на подмостках театра, а на огромной политической сцене, где ему удаются самые захватывающие спектакли, самые невероятные роли. Ты знаешь этого человека. Это он приставил меня к тебе. Он заставил меня лукавить и обманывать тебя. Но я сделала это, потому что, если бы он приказал мне кинуться под поезд или упасть в раскаленную печь, я бы сделала это, не задумываясь, — так я его люблю.

— Кто он? — пролепетал Алексей.

— Илларион Булаев. Виртуоз, как все его называют.

— Но он назвал меня «братом». Заверял в вечной дружбе.

— И что?

Боль, которую ему предлагали вынести, охватывала собой не просто его тело и душу, не только его память и несостоявшееся будущее. Она охватывала весь окрестный материальный мир, состоявший из городов, камней, рек и гор. Охватывала все мироздание, в котором реяли планеты и звездные туманности. Эта смертельная боль убивала не его одного, а весь мир, который был доступен его разумению. И было непонятно, зачем Господу надо было посылать ему эту боль. Зачем Творцу надо было ломать сияющую ось, на которой держался мир и которую он сам учредил, создавая Вселенную. Почему именно ему, из всех миллиардов живущих, было ниспослано это космическое страдание, в котором сворачивался белый свет, меркли звезды, и он один, всеми брошенный и ничтожный, висел в пустоте, прибитый огромными ржавыми гвоздями.

— А Петербург? — хватался он за последние, улетающие образы. — Наши прогулки? Наши поцелуи?

— Петербург — тот город, где мы встретились с Виртуозом. Мы жили с ним в гостинице «Европейская». Мы проносились в катере мимо дворцов и соборов. Он показал мне красоту этого имперского города, научил любить этот северный негасимый свет, отраженный на сияющих водах. Я целовала тебя у Александрийского столпа, но мне казалось, что я целую его. Я водила тебя по тем местам, где мы

обнимались и целовались, и я поцелуями отмечала эти заповедные, незабываемые места. Когда я была с тобой, я думала только о нем. Шептала не тебе, а ему. Кричала от наслаждения не тебе, а ему. Ты просто тень, дурная тень. Тебя нет. Уходи.

Сияли кругом зеркала. На салфетке желтела медовая полоска грима. Она натягивала на острое плечо темную ткань трико. А он думал, каков же должен быть его грех, если столь велика и страшна за него кара. Где был нарушен тот абсолютный закон, который он называл Справедливостью, или «Формулой рая», или неисповедимой «Райской Правдой», если платой за это нарушение являлась гибель мира во всей его полноте.

Его ноги были, как тяжелые обрубки отесанных бревен. Переставляя их, он слышал, как ударяют в пол их обрезанные торцы.

Вышел из театра. Машина ждала у подъезда. Приветливый Андрюша, видя, как он слаб, поспешил навстречу. Открыл заднюю дверцу. Бережно усадил на сиденье, вколов сквозь ткань пиджака ампулу снотворного. Смотрел, как смыкаются у Алексея глаза, как цепенеют руки. Осторожно, чтобы с ног не упали туфли, уложил своего подопечного вдоль сиденья и захлопнул дверцу.

В операционной, лишенной красок, блестевшей стерильной бесцветностью, находились нейрохирург профессор Коногонов и его помощник Евстафий Сергеевич Лунько, еще недавно главврач психиатрической лечебницы под Невьянском, что сгорела дотла в результате несчастного случая. Теперь Лунько получил новое назначение, в подобную же клинику, в Псковской губернии, и они обсуждали с профессором возможности дальнейшего сотрудничества.

— Есть некоторые преимущества вашего нового назначения, Евстафий Сергеевич,— говорил Коногонов, тщательно моя руки. — Все-таки ближе к Москве, чаще будем встречаться. А второе — я пришлю вам комплект нового американского оборудования, позволяющего снимать нейрологические картины мозга в трехмерных координатах. Эти комплексы были использованы в тюрьме Гуантанамо при допросах талибов. Полученные картинки вводились в систему наведения крылатых ракет, что давало ощутимые результаты при обстреле горных районов Афганистана.

— Преогромное спасибо. Я уже побывал в этой клинике. Место тихое, кругом сосны. Американское оборудование трудно переоценить.

Вот только где найти достойного пациента? Наш несчастный поэт Кузнецов являл собой пример трансцендентного прорыва. Он мог перебирать в себе все архетипы, вплоть до бактерий и первичных растений, и одновременно заглядывать в постчеловеческое будущее, которое именовал «Райской Правдой».

— Я приготовил для вас не только американские приборы, но и объект исследования. Сейчас вы его увидите.

В операционную на каталке ввозили погруженного в сон пациента, накрытого зеленоватой простыней. Его лицо было безмятежно спокойно. Светлые, чуть влажные волосы были аккуратно зачесаны назад. В крупных глазных яблоках выпукло и недвижно застыли веки. Из-под простыни выглядывали крепкие плечи и сильная шея. Лицо было выбрито, на подбородке с маленькой лункой был слабый порез от бритвы с каплей запекшейся крови.

— Видите ли, этот человек вообразил себя наследником русского престола и силой самовнушения добился определенного сходства с психотипом последнего Романова. Нам было бы интересно исследовать образы, в которых совершалось его психическое преображение. После лоботомии, которой я его подвергну, он поступит в ваше полное распоряжение. И там, в «глуши лесов сосновых», вы сможете проводить с ним свои исследования и защитить, наконец, докторскую диссертацию. Подробности мы обсудим позднее.

Санитары перенесли недвижное тело на операционный стол. Ассистенты надели на голову пациента сенсорный шлем, соединенный гибкими проводами с цветным монитором. Профессор Коногонов откинул белую салфетку, открывая набор инструментов, необходимых для операции. Это были пинцет и два хромированных молотка. Один почти ничем не отличался от обычного молотка — бочкообразный набалдашник, волнообразная рукоять, удобная для схватывания. У другого на торце верхнего утолщении имелся острый клювик, чем-то напоминавший приспособление для колки льда.

Профессор чистым пальцем с розовым, аккуратно подстриженным ногтем, коснулся переносицы пациента. Повел палец к глазнице. Тронул впадину в глубине лобной кости, слегка надавив на хрупкую перегородку, скрывавшую лобные доли. Ухватил пинцетом тампон ваты. Окунул в банку с йодом. Поднес к глазнице и несколько

раз протер углубление, так что глазница наполнилась золотой тьмой, словно в ней раскрылся неправдоподобно большой глаз.

Приставил к йодному пятну клювик молотка. Сделал несколько прицельных движений вторым молотком и точно, крепко ударил в торец первого. Раздался легкий хруст, — так хрустят раздавленные яйца небольших певчих птиц. Стальное жало пробило кость глазной впадины, проникло в мякоть мозга. Профессор, вращая рукояткой, несколько раз провернул стальное острие в недрах лобных долей, разрывая мозговые ткани, нанося непоправимые повреждения мозгу. Рассеченные лобные доли разомкнули каналы, по которым в полушариях мозга распространялись эмоциональные возбуждения, навсегда освобождая человека от бремени поэтических переживаний, сочувствия, страхов, мечтательности, способности создавать художественные образы, превращая человека в вечно дремлющее кроткое существо, в мозгу которого переливалась сонная лимфа.

Пациент не дрогнул во время операции, продолжая ровно дышать. Профессор извлек из глазницы острие молотка, из ранки вытекла розовая жидкая струйка. Йодным тампоном он промыл скважину, крепко прижал к ней пропитанную йодом вату.

— Ну, вот и все, — произнес профессор Коногонов, обращаясь к доктору Лунько, благоговейно наблюдавшему за мастерскими действиями мэтра. — Забирайте его себе. В нем — ваша докторская диссертация. Давайте-ка, взглянем, какой остаточный выброс произвел усыпленный мозг, — профессор Коногонов поправил на голове пациента сенсорный шлем. Включил монитор.

На экране заволновалась млечная пустота. Но затем возникли математические формулы, потекли уравнения, громоздились сложные дроби, квадратные и узорные скобки, знаки дифференциалов и интегралов. Выплескивались алгебраические символы, возведенные в бесконечно высокие степени. Набегали один на другой алгебраические группы, из которых извлекались сложные радикалы. Математические знаки прерывались, переходя в нормандские руны, в египетские иероглифы, в орнаменты ацтеков и майя. Среди бесконечно бегущих уравнений вдруг возникал храм Покрова на Нерли, Ангкор Вад или пирамида Хеопса. А затем снова струились дифференциальные уравнения, высились многоэтажные дроби, громоздились охватывающие их интегралы, мелькали узорные и обычные скобки.

Оба медика с удивлением рассматривали нескончаемую формулу.

— Что это? — спросил Лунько.

— Трудно сказать, — ответил профессор Коногонов, — Здесь рядом находится КБ, которое конструирует двигатели для космических аппаратов. Возможно, наводка,— и выключил монитор. Санитары увозили каталку, на которой слабо колыхалось большое дремлющее тело.

В операционную вошел ассистент, неся конверт.

— Просили вам передать,— сказал ассистент, протягивая конверт Коногонову. Тот извлек из конверта бумаги и внимательно их прочитал.

— Не может быть! — воскликнул он. — Это данные генетической экспертизы, произведенной военно-медицинской лабораторией. ДНК этого Алексея Горшкова полностью совпадают с ДНК последнего царя Николая Романова. Чудны дела Твои, Господи! — задумчиво, забыв снять бахилы, он побрел из операционной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Раннее утро предвещало чудесный осенний день, когда в воздухе начинает сочиться утонченная желтизна, словно растворенная позолота московских храмов, и с далеких полей и прозрачных опушек доносятся прощальные ароматы летнего увядания, — недвижных лесов, золотых шаров в палисадниках, сникшей, опутанной паутиной травы. Эта светящаяся желтизна, воздух, целебный и терпкий, были любимы Виртуозом с детства. Напоминали чудесные прогулки с мамой, когда вдвоем отправлялись то в Дубровицы с резной белокаменной церковью, увенчанной прихотливой короной. То в Коломенское с разливом реки, за которой белела Москва в синеве и золотой тихой ясности. Казалось, погода была ниспослана самой судьбой, приурочена к проведению сегодняшнего празднества, именуемого выспренно — Днем Духовного Лидера Русского Мира. Все хлопоты по оформлению торжества лежали на Виртуозе. Теперь же, когда не предвиделось никаких осложнений, и Красная площадь была оцеплены, и трибуны были приготовлены для многочисленных гостей, и войска на Ходынском поле были развернуты для парада, Виртуозу захотелось спуститься в «Стоглав» и исполнить обряд прощания с человеком, которому преданно служил многие годы. С которым сроднился, которого почти полюбил и, в конце концов, отрекся от него, перейдя в услужение к другому, что стоило прежнему другу жизни. Отправляясь на свидание с Ромулом, Виртуоз хотел перед ним покаяться и, быть может, получить прощение.

В лаборатории еще не было персонала, профессор Коногонов являлся позднее. Лишь кое-где расхаживали лаборанты, готовя аппаратуру для предстоящих опытов. Все было знакомо, внушало легкую оторопь, от которой невозможно было отделаться. Запахи физиологических растворов и специальных солей. Шелест и прозрачные вспышки электрических разрядов. Мониторы с бегущими разноцветными синусоидами, которые вдруг превращались в острые импульсы, совпадавшие с бульканьем в том или ином сосуде. То у Хрущева из-под фиолетового языка вынырнет пузырь воздуха и, волнуясь, всплывет на поверхность. То из ссохшейся головы Черненко

истечет коричневая едкая струйка и странно зашипит, испаряясь. Все пространство с мраморными столами, сплошь в стеклянных банках и колбах, плавающие в них вялые головы, напоминало странную кухню, где варилось загадочное, жутковатое варево, — варево русской истории. Виртуоз прошел весь основной ряд голов от Николая Второго до Ельцина и остановился перед последним сосудом, где плавала недавно помещенная голова. Знакомые, хоботком вытянутые губы, обиженные, с недосказанным словом. Чуть накрытые веками, выпуклые голубые глаза с белесыми ресницами. Редкий, беззащитный пух на голове, слегка колеблемый броуновским движением раствора. Не страшный, а трогательный, почти умилительный розовый позвонок, торчащий из шеи, не изуродованный ударом десантного ножа.

Виртуоз смотрел на голову друга и беззвучно шептал: «Прости». Голова не откликалась. От нее не исходило ни гнева, ни разочарования, ни отвержения. Она дремала, как дремлют пожилые люди, погруженные в свои бесконечные воспоминания. Или же, напротив, равнодушная к окружающей жизни, она вся была захвачена новым, посмертным опытом, небывалыми, доставшимися ей после смерти переживаниями.

Мимо проходил лаборант, несущий в руках какие-то хромированные щипцы. Виртуоз окликнул его:

— Нельзя ли включить сканер и посмотреть на мониторе галлюцинации Виктора Викторовича Долголетова?

— Конечно, сейчас сделаем, — охотно отозвался лаборант. Принес сенсорный шлем и стал надевать на голову Ромула. Действовал не слишком ловко, потому что раствор перелился через край сосуда, потек на стол, стал капать на пол.

Пока шла настройка прибора, Виртуоз с некоторым страхом ожидал увидеть последние секунды из жизни друга. Падающее на сиденье, с разорванной грудью, тело Ромула, из которого вылетает красный, обрызганный кровью скворец. Свирепые кулаки десантника, кромсающего ножом хрупкую шею. Торжествующее лицо Рема, его подводные, полные фиолетовой мути глаза. Искаженное криком, ненавидящее соперника лицо Ромула. Монитор включился, но не было ни одной из ожидаемых Виртуозом картин. А была тихая лесная опушка, два мальчика в тужурках и кепках сидят на белесой осенней

траве. Перед ними тихое поле со стогом темного клевера, а дальше — просторы, долины, туманные перелески, золотые иконостасы лесов, далекие озера и речки. Вся необъятная, неоглядная Русь. Мальчики завороженно смотрят в эти дали, и один дарил другому ягодку дикой лесной малины.

Лаборант ненадолго ушел и вернулся с чистым пустым сосудом. Поставил его на мраморный стол рядом с головой Ромула.

В полдень состоялось великолепное торжество, посвященное Дню Духовного Лидера Русского Мира. Трибуны на Красной площади были заполнены гостями, съехавшимися со всех континентов, где сохранились колонии и общины русских людей, — от потомков калифорнийских духоборов до беглецов от царского гнева в период первой Великой смуты. Потомки дворянских и аристократических родов «первой эмиграции» соседствовали с престарелыми власовцами и переселенцами «второй волны». Шумно, забавно картавя, обосновались на трибунах обитатели Хайфы и Брайтон Бич. Озирались восхищенными глазами на кремлевские башни и собор Василия Блаженного русские из Австралии, Южной Африки и Китая. Особой колонией, окруженные золотыми гербами, сидели представители Дома Романовых, и среди них — полногрудый, чернявый молодой человек восточного вида, работающий клерком в «Норильском никеле», — прямой претендент на российский престол. Подле него, чем-то неуловимо на него похожий, вертелся журналист Натанзон, — брал эксклюзивное интервью.

Перед мавзолеем, превосходя его высотой, возносилось ступенчатое сооружение, обтянутое шелками и бархатом, уставленное корзинами живых роз. На вершине сооружения сидел сам Духовный Лидер Русского Мира, он же президент России Артур Игнатович Лампадников. Рядом с ним, вся в пенистых кружевах, в розовой вуали поместилась его супруга, которая редко появлялась на людях и которую Президент держал поодаль от себя в одной заволжской слободе. На более низких ступенях сооружения, словно поддерживая и укрепляя собой величие Лидера, сидел Патриарх в золотом облачении, иерархи церкви, среди которых выделялся митрополит Арсений, весь серебряный, как небесное облако, от бороды до епитрахили. Ниже расположились богатейшие люди России — владельцы нефтяных

полей и алмазных копий, сталелитейных заводов и алюминиевых гигантов, обладатели необоримой русской пашни, русских озер и рек. Вместе с банкирами, слегка надменными и напыщенными, они составляли ту тектоническую платформу, на которой укрепилось, после всех неурядиц и недоразумений, Государство Российское. Еще ниже, крепко и властно, угнездились министры, губернаторы, лидеры политических партий. Среди них выделялась дама — мэр Петербурга в огромной шляпе, по краям которой сидели, прикованные золотыми цепочками, живые фазаны. А также лидер компартии, не преминувший нацепить на пиджак алый бант и значок с профилем Ленина. Основание пирамиды заполняли хорошо одетые и чисто вымытые дети-сироты, набранные специально для этого случая из сиротских приютов, в ожидании, что их усыновят и удочерят приехавшие из-за границы богатые соотечественники.

Уже прошла главная часть торжества, когда Патриарх своим рыдающим голосом просил Президента не отказать своему народу и всем его сословиям и согласиться продлить свои президентские полномочия на второй срок в этот, столь обильный опасностями и тревогами, период. Совершить жертвенный поступок, как всегда, поступали русские монархи в час надвигающихся на Отечество ненастий. Не сразу, со следами глубоких раздумий на смиренном лице, принял это предложение Президент. А, согласившись, произнес воззвание к нации, где обещал России благоденствие. После этого первым начал обряд землеприношения, — сойдя с возвышения, кинул к кремлевской стене горсть земли, взятую из-под алтаря Успенского собора. Вслед за ним потянулась нескончаемая вереница паломников, принесших в фамильных шкатулках, родовых медальонах, заповедных платках горсти земли со всего Русского Мира, — от Сен-Готарда, где прошли гренадеры Суворова, до парижского кладбища, где покоятся печальные кости русских воинов, художников и мыслителей. Не обошлось без небольшого курьеза. Какой-то старичок-мексиканец попытался вбросить горсть земли с могилы Льва Троцкого, но был изобличен и деликатно выдворен. Был насыпан целый холм, над которым духовенство совершило молебен.

После завершения символического, ритуального холмотво– рения начался парад. Но не тот грозный, устрашающий, который замышлялся Долголетовым и имел цель навеять ужас на заморских

врагов России. Главный режиссер праздничного действа Басманов внес в сценарий парада легкое изящество и веселость, что соответствовало новым веяниям.

Промаршировали каре военных академий. Офицеры были одеты в форму модельера Любашкина, который настолько увеличил размер головных уборов, что офицеры, дабы не задевать друг друга краями фуражек, вынуждены были сохранять между собой двухметровую дистанцию, отчего каре казались слишком разреженными и воздушными. Каждый офицер нес в руке оливковую ветвь мира, на которой сидел поющий соловей.

Механизированные части были представлены вереницами «бентли», «роллс-ройсов», «порше» и «альфа-ромео», в которых сидела «золотая молодежь», дети министров, банкиров и депутатов. Тонко переосмысливая знаменитый парад 41-го года, молодые люди прямо с Красной площади отправлялись в казино, дискотеки и ночные клубы.

Парад наземной техники завершала гигантская, самая большая в мире шутиха, своими формами напоминавшая ракету «Тополь-М». Эту раскрашенную спреями шутиху пронесли на плечах двадцать обнаженных атлетов, чемпионов по бодибилдингу, чтобы вечером запалить ее в Парке культуры и отдыха и вывести на «московскую орбиту» портрет Президента Лампадникова.

Воздушная часть парада никого не оставила равнодушными. Из-за шпилей Исторического музея на разных высотах появились серебристые дирижабли, под которыми размещались прозрачные молельни, — православная, мусульманская, буддийская и еврейская. Священники и муллы, раввины и бонзы совершали религиозные обряды. Над площадью пролетала вся веротерпимая Россия. Светились лампады и свечи, дымились благовонные палочки. В летающей синагоге, когда она проплывала над ГУМом, случилась какая-то неполадка, в ней все загорелось, задымилось, и раввин был вынужден выброситься на парашюте. Под рукоплескание зрителей он опустился на трибуну, чуть ли не на голову Великой Княгине, матери претендента на российский престол. Вслед за дирижаблями пронеслись стремительные дельтапланы, под которыми, на сияющих шестах, вращались очаровательные стриптизерши. Они разом побросали свои разноцветные лифчики и трусики, которые веселыми ворохами стали

падать на трибуны. Гости их ловили, целовали, рассовывали по карманам, чтобы привести в далекие столицы сувениры гостеприимной Москвы.

Последним над площадью пролетел музейный самолет «Илья Муромец», громадный биплан с восемью моторами. Десятилетиями, всеми забытый, он находился на старинном аэродроме, который зарос лесом, скрылся из вида, пока о нем не вспомнил один столетний современник Сикорского. Самолет разыскали лесники, прорубили к нему просеку, вывезли из леса. Он оказался на редкость в хорошем состоянии, так что его решили показать на параде. Низко, на бреющем полете, похожий на чудовищного дракона, первенец русской авиации пролетел над Кремлем. Крылья густо покрывали мхи и лишайники. На элеронах росли подберезовики и бегали проворные ежики. Самолет за несколько суток пересек океан и приземлился в Венесуэле.

Дневная часть праздника гармонично перешла в вечернюю, когда по Москве-реке заскользили иллюминированные кораблики, на которых помещались ресторанчики, представлявшие «кухни народов мира». На одном кораблике своими талантами блистала Мама Зоя. Раздавались грузинские песни, джигиты выскакивали с нижней палубы, несли пылающие подносы, шипящие шашлыки. Усатый горец, чудом уцелевший во время недавней кавказской войны, падал на одно колено, возглашал здравицы. Тут же оказался выздоравливающий комбат Молочников в компании сослуживцев, все с орденами и медалями. Вспоминали поход, и майор, глядя на разноцветный, проплывавший над ними Крымский мост, произнес:

— А где, интересно, Царь? Хотел бы я с ним повидаться.

— Да уж, правда, одно слово — Царь Додон. Мужик неплохой, — отозвался захмелевший капитан.

На другом кораблике, с японскими иероглифами, с изысками восточной кухни, сидели Виртуоз и Марина. Она с обожанием на него смотрела, дымя тонкой сладкой сигаретой. Потянулась к нему:

— Поцелуй меня, милый!

Он слабо коснулся губами ее щеки, глядя, как на берегу, под звенящую музыку, крутятся аттракционы.

Вечером из открытого окна кремлевского кабинета Рем, слегка утомленный славословиями, пресыщенный изъявлениями преданности, наблюдал праздник на воде. Уже взорвалась в небе царь-

шутиха, развесив над Москвой и Московской областью тысячи ослепительных люстр. Когда последняя из них, трепеща и мерцая, погасла, — в небе расцвел, словно шелковый Спас Нерукотворный, портрет Духовного Лидера Русского Мира, — его, Рема, небесный лик. На воде лазеры чертили змеящиеся письмена, воспроизводя речение из дневного выступления Рема. «Справедливость — суть русского сердца». «Миллиардеры, не забывайте Матушку Русь». «Россия — душа мира». «Властвовать — значит любить». «Вместе мы построим райское будущее».

Он смотрел, как на гаснущей заре темнеют кремлевские башни и на них разгораются сталинские рубиновые звезды.

Ему показалось, что заря становится светлее, желтее, приобретает латунный, металлический свет, и этот свет, словно ядовитый лимонад, заливает все небо. Среди химического, едкого свечения стала подниматься клубящаяся пепельная туча, выбрасывая рыхлые протуберанцы, курчавые ворохи, будто на западе разгорался гигантский пожар и жирный дым выталкивался из незримого очага. Туча покрывала все небо, летела к Москве, и в ней что-то мерцало, возникали неясные формы. Рему показалось, что он видит обломок Эйфелевой башни, ломоть Вестминстерского аббатства, выломанный фрагмент Колизея. В пепельных протуберанцах перевертывались отломанные вершины небоскребов, океанские лайнеры, обрывки нефтепроводов и множество летучих частичек, которые, если к ним приглядеться, оказывались вертящимися в воздухе людьми. Что-то ужасное, непомерное надвигалось на Москву. На реке все еще мерцали цветастые вензеля: «Справедливость — мать Государства Российского». «Президент — лишь один из вас». «Что хорошо Газпрому, то любезно России». Все эти надписи еще играли и веселились на водах. Но на них уже ложилась тень пепельной тучи, и они начинали одна за другой гаснуть.